

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Арчибальд
Кронин

ЗАМОК
БРОУДИ

ИНОСТРАНКА»



Annotation

Самый популярный роман знаменитого прозаика Арчибальда Кронина. Многим известна английская пословица «Мой дом — моя крепость». И узнать тайны английского дома, увидеть «невидимые миру слезы» мало кому удастся. Однако дом Джеймса Броуди стал не крепостью, для членов его семьи он превратился в настоящую тюрьму. Из нее вырывается старшая дочь Мэри, уезжает сын Мэт, а вот те, кто смиряется с самодурством и деспотизмом Броуди — его жена Маргарет и малышка Несси, — обречены...

- [Арчибальд Кронин](#)

- [Часть первая](#)

- [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)

- [Часть вторая](#)

- [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)

- [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [Часть третья](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [≈](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
-

Арчибалд Кронин
Замок Броуди

Часть первая

Весна 1879 года была удивительно ранняя и теплая. По полям Нижней Шотландии ровной пеленой стлалась зелень ранних хлебов, свечки на каштанах распустились уже в апреле, а кусты боярышника, живой изгородью окаймлявшие белые ленты проселочных дорог, зацвели на целый месяц раньше обычного. В деревнях фермеры сдержанно радовались, ребяташки босиком мчались за поливальными машинами. В городах, расположенных по берегу широкой реки, лязг железа на верфях теперь не казался уже таким навязчивым и в мягком весеннем воздухе, поднимаясь к холмам, сливался с жужжанием первой пчелы и тонул в ликующем блеянии ягнят. В конторах клерки, сняв пиджаки и в изнеможении развалившись на стульях, кляли жаркую погоду, возмущались политикой лорда Биконсфильда, известием о войне с зулусами и дороговизной пива.

Над всем устьем реки Клайд, от Глазго до Портдорена, над Овертоном, Дэрроком, Эрдфилленом — городами, расположенными между Уинтонскими и Доренскими холмами и образующими как бы три вершины треугольника плодородной земли на правом берегу лимана, — и над старинным городком Ливенфордом, лежащим в основании этого треугольника, в том самом месте, где Ливен впадает в Клайд, — над всем ослепительно сияло солнце, и, пригретые его чудесным благодатным теплом, люди трудились, бездельничали, болтали, ворчали, плутовали, молились, любили — жили.

В одно майское утро над Ливенфордом в истомленной зноем вышине лениво висели редкие клочки облаков. Но к концу дня эти тонкие, как паутина, облака медленно зашевелились. Поднялся теплый ветерок и погнал их по небу, а когда они скрылись из виду, ветерок налетел на город. Первое, что он встретил на пути, была высокая историческая скала, которая стояла, словно маяк, на месте слияния реки Клайд с ее притоком Ливеном и четко рисовалась на опаловом небе, напоминая неподвижную тушу громадного слона. Теплый ветер обогнул скалу, быстро пронесся по жарким улицам убогого предместья, Нового города, а затем между высоких стапелей, подъемных кранов и каркасов недостроенных судов на расположенных вдоль морского рукава верфях «Лэтта и К^о», где кипела работа; после этого он прогулялся по Черч-стрит — медленно, как и подобает прогуливаться по главной улице, где находятся городская ратуша,

городская школа и приходская церковь, и наконец, миновав эту чинную улицу, весело закружился в гостеприимно открытом пространстве главной площади. Потом как-то нерешительно, словно в раздумье, направился между рядами лавок Хай-стрит и достиг Ноксхилла, высоко расположенного квартала жилых домов. Здесь ему скоро надоело гулять по террасам из выветрившегося красного песчаника да шелестеть в плюще на стенах старых каменных домов, и, стремясь поскорее выбраться в поля, ветерок снова пронесся через город между чопорных вилл аристократического квартала Уэлхолл, овеяв мимоходом круглые цветнички пурпуровой герани, украшавшие палисадник перед каждым домом. Затем, беспечно пробежав по широкому, красивому проспекту, который от аристократического квартала вел за город, ветерок внезапно похолодел, налетев на последний дом в конце этой улицы.

Дом этот представлял собой своеобразное сооружение. Небольшой, таких размеров, что в нем могло быть не более семи комнат, но массивный, из серого камня, поражающий суровой тяжеловесностью и совершенно необычайной архитектурой.

Внизу дом имел форму узкого прямоугольника, длинной стороной обращенного к улице. Стены поднимались не прямо от земли, а стояли на каменном цоколе, который был на целый фут длиннее и шире их основания, так что все здание опиралось на него, как животное — на глубоко врытые в землю лапы. Фасад, с холодной суровостью высившийся на этом цоколе, одной своей половиной переходил в круто срезанный конек, а другая половина заканчивалась низким парапетом, который тянулся горизонтально до соединения со вторым таким же коньком над боковой стеной дома.

Эти остроконечные выступы имели очень своеобразный вид: каждый из них рядом крутых прямоугольных ступенек переходил в украшенную каннелюрами верхушку, на которой гордо красовался большой шар из полированного серого гранита. Они соединялись между собой парапетом, который своими правильно чередовавшимися острыми зубцами образовал как бы тяжелую цепь из каменных звеньев, кандалами сковывавшую все здание.

У того угла, где сходились боковая и передняя стены дома, поднималась невысокая круглая башня, также опоясанная зубчатой лентой парапета, украшенная посредине глубокой ромбовидной нишей и увенчанная башенкой, на которой торчал тонкий камышовый флагшток. Тяжеловесные пропорции ее верхней части делали башню приземистой и уродливой, придавая ей сходство с широким нахмуренным лбом,

обезображенным глубоким шрамом, а из-под этого лба угрюмо и загадочно глядели два глубоко посаженных глаза — прорезанные в башне узкие оконца. Как раз под башней был вход — невзрачная узкая дверь, весьма негостеприимная на вид, похожая на враждебно сжатый тонкий рот; боковые створки двери круто сходились вверху в стрельчатую арку, окружавшую окно из темного стекла и заканчивавшуюся острием. Окна дома, как и дверь, были узки, без всяких украшений, казались просто пробитыми в стене отверстиями, которые неохотно пропускали свет, но скрывали от посторонних глаз внутренность жилища.

Весь дом в целом имел какой-то таинственный, мрачный и отталкивающий вид, и непонятно было, какая мысль руководила теми, кто его строил. Небольшие его размеры мешали ему достигнуть надменного величия какого-нибудь замка баронов, если таково было назначение его готической башенки, бастионов и круто скошенных углов. Однако от этого здания веяло таким холодом, такой суровой мощью, что невозможно было увидеть в нем лишь самодовольную претензию на показное великолепие. Его зубчатые стены производили впечатление холодно-напыщенное, но не забавное, и он, при всей своей нелепости, вовсе не казался смешным. В его грандиозной архитектуре было что-то такое, от чего замирал смех, — что-то глубоко скрытое, извращенное, ощущаемое всеми, кто пристально всматривался в дом, как уродство, как воплощенное в камне нарушение гармонии.

Жители Ливенфорда никогда не смеялись над этим домом — по крайней мере не смеялись открыто. Такова была неуловимая атмосфера могущества, окружавшая его, что никто не решился бы и улыбнуться.

Перед домом не было даже палисадника; вместо него — усыпанный гравием, голый, палимый солнцем, но безукоризненно чистый двор, посреди которого стояла в качестве единственного украшения маленькая медная пушка; пушка эта некогда находилась на борту фрегата, участвовала в последнем залпе с него, а теперь, провалявшись много лет на портовом складе, важно красовалась, начищенная до блеска, между двумя симметричными кучками ядер, придавая последний штрих нелепости этому своеобразному жилищу. За домом находился поросший травой квадратный клочок земли с четырьмя железными столбиками по углам, окруженный высокой каменной стеной, под которой росло несколько кустов смородины — единственная растительность в этом жалком подобии сада, если не считать заглядывавшего в окно кухни унылого куста сирени, который никогда не цвел.

Через это окно, хоть его и заслонял сиреневый куст, можно было

разглядеть кое-что внутри. Видна была просторная комната, обставленная комфортабельно, но безвкусно. Здесь стояли диван и стулья с сиденьями из конского волоса, большой стол, пузатый низенький комод у одной стены и большой красного дерева буфет — у другой. Пол был покрыт линолеумом, стены оклеены желтыми обоями, а камин украшали тяжелые мраморные часы, своим важным видом как бы подчеркивавшие, что здесь — не просто кухня, место для стряпни (стряпали главным образом в посудной, за кухней), а скорее столовая, общая комната, где обитатели дома ели, проводили свой досуг и обсуждали все семейные дела.

Стрелки на украшавших камин часах показывали двадцать минут шестого, и старая бабушка Броуди уже восседала на своем стуле в углу у огня, поджаривая гренки к вечернему чаю. Это была ширококостная угловатая старуха, сморщенная, но не дряхлая, несмотря на свои семьдесят два года, высохшая, похожая на сучковатый ствол старого дерева, лишенного соков, но еще крепкого и выносливого, закаленного временем и непогодами. Особенно подчеркивали это сходство узловатые руки с утолщенными подагрой суставами. Лицо ее, цветом напоминавшее увядшие листья, было все изрыто морщинами; черты лица — крупные, резкие, мужские, волосы, еще черные, аккуратно разделены посредине прямым пробором, обнажавшим белую линию черепа, и тугим узлом закручены на затылке. Жесткие редкие волоски, подобно сорным травам, пробивались на подбородке и верхней губе. На бабушке Броуди была черная кофта и длинная, волочившаяся за ней по земле юбка такого же цвета, маленькая черная накладка и башмаки с резинками, которые, несмотря на то что были очень велики, не скрывали подагрических утолщений на суставах пальцев и плоской стопы.

Согнувшись над огнем (при этом от ее усилий накладка съехала немного набок) и держа вилку обеими трясущимися руками, она с бесконечными предосторожностями поджарила два толстых ломтя булки, с любовной старательностью подрумянив их сверху так, чтобы внутри они оставались мягкими, и, когда все было проделано к ее полному удовлетворению, положила их на том конце блюда, куда она сможет сразу дотянуться и быстро взять их себе, как только семья сядет за стол. Остальные ломтики она поджарила кое-как, не проявляя к ним никакого интереса. Делая это, она недовольно размышляла о чем-то, то втягивая, то надувая щеки и лязгая при этом вставными зубами, что у нее всегда служило признаком недовольства. «Это просто безобразие, — говорила она себе, — Мэри опять забыла купить сыр! Девчонка становится все невнимательней, и на нее, как на какую-нибудь дурочку, в столь важных

вопросах нельзя полагаться. Что же это за ужин без сыра, свежего дэнлопского сыра?»

От мысли о нем длинная верхняя губа старухи задрожала, и струйка слюны потекла из угла рта.

Размышляя так, она метала из-под насупленных бровей беглые обвиняющие взгляды на свою внучку Мэри, сидевшую против нее в кресле, в котором обычно сидел отец и которое поэтому было священным и запретным для всех остальных.

Но Мэри не думала ни о сыре, ни о кресле, ни о преступлениях, которые она совершила, забыв о первом и усевшись во второе. Ее кроткие карие глаза были устремлены в окно, сосредоточенно глядели вдаль, словно видели там нечто, чаровавшее ее сияющий взор.

По временам ее выразительные губы складывались в улыбку, затем она тихонько бессознательно качала головой, потряхивая локонами, и при этом по ее волосам, как рябь по воде, скользили блики света. Ее маленькие ручки, гладкие и нежные, как лепестки магнолии, лежали на коленях ладонями кверху, своей пассивностью свидетельствуя о том, что Мэри вся поглощена размышлениями. Она сидела прямо, как стебель тростника, прекрасная задумчивой и безмятежной красотой глубокого, спокойного озера, где качаются тростники.

В ней была вся нетронутая свежесть юности, но вместе с тем, несмотря на ее семнадцать лет, бледное лицо и стройная, еще не сформировавшаяся фигура дышали спокойной уверенностью и силой.

Все возраставшее негодование старухи наконец прорвалось. Чувство собственного достоинства не позволяло ей прямо приступить к вопросу о сыре, и вместо этого она сказала с подавленной и оттого еще более сильной злобой:

— Мэри, ты сидишь в кресле отца!

Ответа не было.

— Ты села на место отца! Слышишь, что тебе говорят!

Все еще никакого ответа.

Тогда старая карга закричала, вся дрожа от сдерживаемой ярости:

— Ах ты, разгильдяйка, ты что же — не только глупа, но вдобавок еще глуха и нема? Почему ты сегодня забыла купить то, что тебе наказывали? На этой неделе не было дня, чтобы ты не выкинула какой-нибудь глупости. Или ты очумела от жары?

Как внезапно разбуженная ото сна, Мэри подняла глаза, очнувшись от задумчивости и улыбнулась, словно солнцем осветив тихое и грустное озеро своей красоты.

— Вы что-то сказали, бабушка?

— Нет! — хрипло прокричала старуха. — Я ничего не сказала, я просто открыла рот, чтобы ловить мух. Это замечательное занятие для тех, кому делать нечего. Верно, ты этим и занималась сегодня, когда ходила в город за покупками. Меньше бы зевала, так лучше запомнила бы, что надо!

В эту минуту из посудной вошла с большим металлическим чайником в руках Маргарет Броуди. Вошла торопливо, мелкими и быстрыми шажками, наклонившись вперед и волоча ноги. Такова была ее обычная походка, — казалось, она всегда куда-то спешит и боится опоздать. Она сменила халат, в котором обычно стряпала и убирала, на юбку и черную шелковую блузку, но юбка была в пятнах, у пояса болталась какая-то неаккуратно завязанная тесемка, а волосы были растрепаны и висели прядями вдоль щек. Голова Маргарет была постоянно наклонена набок. Когда-то это делалось для того, чтобы выразить покорность и истинно христианское смирение в дни испытаний и бедствий, но время и вечная необходимость изображать самоотречение сделали этот наклон головы привычным. Ее нос, казалось, тоже отклонился от вертикального направления — быть может, из сочувствия, но вероятнее всего — вследствие нервного тика, который развился у нее в последние годы и создал привычку проводить по носу справа налево тыльной стороной руки.

Лицо у Маргарет было истомленное, усталое, и в выражении его было что-то трогательное. Она имела вид человека, падающего от изнеможения, но постоянно подстегивающего в себе последнюю энергию. Ей минуло сорок два года, но она казалась на десять лет старше.

Такова была мать Мэри, и дочь так же мало походила на нее, как молодая лань на старую овцу.

«Мама» (ибо так называли миссис Броуди все в доме), привыкшая в силу необходимости улаживать семейные передраги, с первого взгляда заметила гнев старухи и растерянность дочери.

— Сию же минуту встань, Мэри! — воскликнула она. — Уже почти половина шестого, а чай еще не заварен! Ступай позови сестру. А вы, бабушка, все ли поджарили? Ах, боже мой, да у вас один кусок подгорел! Давайте его сюда, придется мне его съесть. В этом доме ничего не должно пропадать даром!

Она взяла подгоревший ломтик и демонстративно положила его к себе на тарелку, затем принялась без всякой надобности переставлять посуду на накрытом к чаю столе, как бы показывая, что все сделано не так, как надо, и придет в порядок только тогда, когда грех небрежной сервировки будет заглажен ее безропотными, самоотверженными усилиями.

— Кто ж так накрывает на стол! — пробормотала она пренебрежительно, когда дочь встала и вышла в переднюю.

— Несси! Несси! — позвала Мэри. — Чай пить! Чай пить!

Из комнаты наверху ей ответил звонкий голос, певуче растягивая слова:

— Иду-у! Подожди меня!

Через минуту обе сестры вместе вошли в кухню. Не говоря уже о разнице в возрасте (Несси было только двенадцать лет), они резко отличались друг от друга и наружностью и характером, и контраст между ними сразу бросался в глаза.

Несси была прямая противоположность Мэри. Волосы у нее были светлые, как лен, почти бесцветные и заплетены в две аккуратные косички; она унаследовала от матери ее кроткие глаза с поволокой, нежно-голубые, как цветы вероники, испещренные едва заметными белыми крапинками, — глаза с тем неизменно ласковым и умильным выражением, которое заставляло думать, что она постоянно стремится всех задобрить. Личико у нее было узкое, с высоким белым лбом, розовыми, как у восковой куклы, щеками, острым подбородком и маленьким ртом, всегда полуоткрытым благодаря несколько отвисающей нижней губе; все это, так же как и мягкая, неопределенная улыбка, с которой она в эту минуту вошла в кухню, свидетельствовало о природной слабости этого еще не сложившегося характера.

— А не рановато ли у нас сегодня чай, мама? — заметила она лениво, подойдя к матери на обычный осмотр.

Миссис Броуди, занятая последними приготовлениями, отмахнулась от нее.

— Руки вымыла? — спросила она в свою очередь, не глядя на Несси. Затем, не ожидая ответа, посмотрела на часы и скомандовала: — Садитесь все!

Четыре женщины уселись за стол, — первой, как всегда, старая бабка. Они сидели в ожидании, и рука миссис Броуди беспокойно повисла наготове над стеганой крышкой чайника. Но вот в это выжидательное молчание ворвался низкий и густой звон старых дедовских часов в передней, пробивших один раз, и в то же мгновение щелкнул замок входной двери, затем ее с силой захлопнули. Стукнула поставленная на место трость; по коридору мерно прозвучали тяжелые шаги; дверь в кухню отворилась, и вошел Джемс Броуди. Он направился к ожидавшему его стулу, сел, протянул руку за своей собственной большой чашкой, наполненной до краев горячим чаем; потом ему подали прямо с плиты

полную тарелку ветчины с яйцами, булку, специально для него нарезанную и намазанную маслом, и он, как только сел, принялся за еду. Строгая пунктуальность, с какой вся семья собиралась к вечернему чаю, и их напряженное ожидание тем и объяснялись, что ритуал немедленного обслуживания главы дома во время трапез, как и во всех других случаях, был одним из неписаных законов, царивших в этом доме.

Броуди ел жадно и с явным удовольствием. Это был человек громадного роста, выше шести футов, с плечами и шеей, как у быка. Голова у него была массивная, глаза — небольшие, серые, глубоко ушедшие под лоб, а челюсти такие крепкие и мускулистые, что, когда он жевал, под гладкими загорелыми щеками ритмически вздувались и опадали большие твердые желваки. Лицо его, широкое и здоровое, было бы красиво, если бы не слишком низкий лоб и узкий разрез глаз. Густые темные усы отчасти прикрывали рот, но нижняя губа выступала из-под них с угрюмым и дерзким высокомерием.

Тыльная сторона его больших рук и даже толстые лопатообразные пальцы поросли густыми темными волосами. Нож и вилка, зажатые в этой громадной лапе, казались по сравнению с ней просто игрушечными и до смешного неуместными.

После того как глава семейства приступил к еде, разрешалось начать и остальным, но их меню состояло, разумеется, из одного только чая с гренками; сигнал подала бабушка, жадно завладев своими мягкими ломтиками. Иногда, если ее сын бывал в особенно благодушном настроении, он милостиво уделял ей со своей тарелки лакомые кусочки, но сегодня она по его манере держать себя видела, что этого редкого угощения ей не дожидаться, и безропотно удовлетворилась тем скромным наслаждением, какое могла доставить ей имевшаяся в ее распоряжении пища. Остальные члены семьи ели каждый на свой лад: Несси — с большим аппетитом, Мэри — рассеянно, а миссис Броуди, втихомолку закусившая какой-нибудь час тому назад, ковыряла подгорелый кусок на своей тарелке с видом существа, слишком хрупкого и слишком обремененного заботами о других, чтобы находить удовольствие в еде.

Стояла полная тишина, нарушаемая лишь чавканьем отца, когда он обсасывал усы, лязгом вставных зубов бабушки, старавшейся извлечь максимальное наслаждение и пользу из процесса насыщения, да время от времени шмыганьем неугомонного носа мамы. На лицах участников этого странного семейного чаепития не заметно было ни удивления, ни сожаления по поводу отсутствия общего разговора за столом: они жевали, пили, глотали, не произнося ни слова, а над всем царил грозный глаз

Джемса Броуди. Когда хозяину угодно было молчать, никто не смел произнести ни слова, сегодня же он был в особенно сердитом настроении и, хмурясь, в промежутках между глотками бросал мрачные взгляды на свою мать, которая в порыве жадности не замечала его недовольства и макала корочки в чай.

Наконец он сказал, обращаясь к ней:

— Ведь ты же не свинья, чтобы *так* есть, старая!

Она испуганно уставилась на него, моргая глазами.

— А? Что такое, Джемс? Как я ем?

— Да совсем так, как свинья, которая непременно вываливает или размажет свою еду по всему корыту. Неужто у тебя не хватает ума понять, что ты ешь, как жадная свинья? Влезет ногами в корыто — и счастлива и довольна. Что ж, продолжай! Веди себя как животное, если уж ты до того опустилась! Неужели в твоём высохшем мозгу не осталось ни гордости, ни чувства приличия?

— Я забыла... Я совсем забыла... Я больше не буду. Да, да, я буду помнить! — И от волнения она нечаянно громко рыгнула.

— То-то! — фыркнул Броуди. — Впредь веди себя прилично, старое чучело! — Лицо его потемнело от гнева. — Безобразие, что такому человеку, как я, приходится терпеть это в своём собственном доме. — Он ударил себя в грудь огромным кулаком, и грудь загудела, как барабан. — Такому, как я! — прокричал он. — Как я! — И вдруг замолк, обвел всех взглядом из-под насупленных кустистых бровей и снова принялся за еду.

Слова, сказанные им, были гневны, — но раз он заговорил, то, согласно принятому в этом доме неписаному своду законов, можно было разговаривать и другим, запрет был снят.

— Передай мне папину чашку, Несси, я налью ему ещё чаю, — начала миссис Броуди примирительным тоном.

— Сейчас, мама.

— Мэри, милочка, сиди прямо и не беспокой отца. Я уверена, что у него сегодня был трудный день.

— Хорошо, мама, — ответила Мэри, которая и без того сидела прямо и никого не беспокоила.

— Передай же отцу варенье.

Умилостивление разгневанного льва было начато, и нужно было его продолжать: выждав минуту, мама начала снова, на этот раз с испытанного и надежного хода.

— Ну, как сегодня твои успехи в школе, Несси?

Несси испуганно встрепенулась.

— Хороши, мама.

Рука Джемса, подносившая к губам чашку, задержалась в воздухе.

— Хороши? Ты, конечно, по-прежнему первая в классе?

Несси потупила глаза:

— Сегодня нет, папа. Сегодня я только на втором месте.

— Что такое?! Ты позволила себя обогнать? Но кто же это? Кто первый?

— Джон Грирсон.

— Грирсон! Отродье этого сплетника-хлеботорговца! Этого гнусного нищего! Теперь он не один день будет повсюду хвастать! Да что это с тобой приключилось, скажи ради бога? Или ты не понимаешь, как важно для тебя получить образование?

Девочка разрыдалась.

— Она почти полтора месяца была первой, папа, — храбро вступилась за сестру Мэри. — И потом, другие постарше ее.

Броуди смерил ее уничтожающим взглядом.

— А ты держи язык за зубами, пока к тебе не обращаются! — загремел он. — С тобой разговор впереди, моя милая, — вот тогда у тебя будет возможность пустить в ход свой длинный язык!

— Все этот французский, — всхлипывала Несси. — Никак у меня не держатся в голове спряжения... И по арифметике, и по истории, и по географии у меня хорошие отметки, а с французским ничего не выходит. Я чувствую, что никогда его не одолею.

— Не одолеешь! А я тебе говорю, что одолеешь, — ты у меня будешь образованной, дочь моя! Ты хоть и мала еще, да все говорят, что голова у тебя с мозгами (это ты от меня их унаследовала, потому что мать твоя всегда была дура), и я позабочусь о том, чтобы ты их употребила с пользой. Сегодня вечером ты сделаешь два упражнения вместо одного.

— Да, да, папа, я сделаю все, что ты велишь, — вздохнула Несси, судорожно пытаясь подавить рыдания.

— Вот и отлично. — Жесткие черты Джемса Броуди на миг неожиданно осветились чувством, в котором была и доля нежности, но гораздо больше необъятного тщеславия. Оно промелькнуло, как внезапный дрожащий луч света на мрачной скале.

— Мы покажем всему Ливенфорду, чего может добиться моя умница-дочка. Я об этом позабочусь. Когда мы добьемся того, что ты будешь первой ученицей, ты узнаешь, что твой отец хочет сделать из тебя. Но ты должна учиться серьезно, учиться изо всех сил.

Он теперь смотрел уже не на Несси, а в пространство, словно созерцая

будущее, и пробормотал еще раз: «Мы им покажем!» Затем опустил глаза, погладил склоненную золотистую головку Несси и добавил:

— Ты моя дочка, и ты с честью будешь носить фамилию Броуди.

Потом, когда он повернул голову, взгляд его упал на другую дочь и сразу же омрачился, и выражение лица изменилось.

— Мэри!

— Да, папа.

— Ну, теперь поговорим с тобой. Ты ведь за словом в карман не полезешь.

Развалясь на стуле, он заговорил, не повышая голоса, с саркастической усмешкой, взвешивая каждое слово с холодным спокойствием судьи.

— Приятно бывает иной раз услышать от посторонних о том, что делается в твоей собственной семье. Конечно, не слишком-то почетно для главы семейства, что узнавать приходится окольным путем, но это, в сущности, пустяки. И очень лестно было мне услышать о моей дочери новость, от которой у меня нутро перевернулось... — Он говорил все более и более холодным тоном. — Сегодня из разговора с одним из членов городского управления я узнал, что тебя видели на Черч-стрит болтающей с молодым человеком, да, с молодым человеком весьма приятной наружности... — Он оскалил зубы и продолжал едко: — Которого я считаю подозрительным субъектом, негодяем и бездельником!

Тут робко вмешалась миссис Броуди, воскликнув чуть не со слезами в голосе:

— Нет, нет, Мэри, это, конечно, была не ты, — порядочная девушка не станет так вести себя. Скажи же отцу, что это была не ты!

Но Несси, радуясь, что общее внимание отвлечено от нее, необдуманно воскликнула:

— Это был, верно, Денис Фойль, да, Мэри?

Мэри сидела неподвижно, не отводя глаз от тарелки, побледнев до самых губ. Она проглотила клубок, подкатившийся к горлу, и, повинувшись бессознательному порыву, сказала тихо, но твердо:

— Он не бездельник и не негодяй.

— Что такое?! — прорычал Броуди. — Ты смеешь возражать отцу и вступаться за какого-то бродягу-ирландца! Пускай эти Пэдди^[1] приходят сюда с их болот копать для нас картошку, но дальше мы их не пустим. Обнаглеть мы им не дадим. Пусть у старого Фойля самый известный трактир во всем Дэрроке, это еще не делает его сына джентльменом!

Мэри чувствовала, что ее всю трясет. Губы у нее пересохли, язык одеревенел. Никогда еще до сих пор она не осмеливалась спорить с отцом,

но теперь что-то заставило ее сказать:

— У Дениса есть профессия, папа. Она ничего общего не имеет с торговлей спиртными напитками. Он служит у «Файндли и К^о» в Глазго. Это крупная фирма, которая импортирует чай и ничего общего не имеет с... другими напитками.

— Вот как! — сказал Броуди насмешливо-поощрительным тоном. — Это важная новость! Ну, ну, что ты еще можешь сказать в доказательство благородства этого господина? Он в настоящее время не торгует виски. Он торгует чаем. Какое благочестивое занятие для сына кабатчика! Ну а дальше что?

Мэри понимала, что он издевается над нею, но у нее хватило выдержки продолжать тоном кроткого убеждения:

— Он не рядовой конторский служащий, папа. Он на очень хорошем счету и часто разъезжает по делам фирмы. И... и рассчитывает выдвинуться, может быть, он даже станет через некоторое время компаньоном в деле.

— Да неужели?! — усмехнулся Броуди. — Так вот каким вздором он набивал твою глупую голову! «Не рядовой служащий»! Самый обыкновенный коммивояжер — вот и все. А не говорил ли он тебе, что будет когда-нибудь лорд-мэром Лондона, а? Это так же правдоподобно, как все остальное. Щенок!

Слезы текли по щекам Мэри, но, не обращая внимания на протестующий вопль матери, она снова возразила:

— Он на очень хорошем счету, папа, уверяю тебя. Мистер Файндли принимает в нем участие. Я знаю.

— Ба! Уж не думаешь ли ты, что я поверю в его рассказы? Все это вранье, сплошное вранье! — снова заорал он на нее. — Этот малый принадлежит к подонкам общества. Чего можно ожидать от людей такого сорта? Одной нравственной испорченности! Ты осрамила меня уже тем, что говорила с ним. Но этот разговор был последним. — Не отводя от дочери властного взгляда, он повторил свирепо: — Никогда ты не будешь больше с ним разговаривать, слышишь? Я запрещаю тебе это!

— Ах, папа... — заплакала Мэри. — Ах, папа, я... я...

— Мэри, Мэри, не смей перечить отцу! Мне даже слушать страшно, как ты позволяешь себе говорить с ним! — раздался голос мамы с другого конца стола. Она пыталась таким образом умиловить мужа, но на этот раз ее вмешательство было тактической ошибкой и только сразу же направило гнев Броуди на ее собственную покорно склоненную голову. Сверкнув глазами, он обрушился на нее:

— А ты чего суешься? Кто здесь говорит — ты или я? Если имеешь что сказать, так пожалуйста! Мы все замолчим и выслушаем твою мудрую речь. А не имеешь, так держи язык за зубами и не мешай. Ты виновата не меньше, чем она. Это твое дело — следить, с кем она водит знакомство.

Он сердито фыркнул и, по своему обыкновению, выдержал эффектную паузу. Наступила гнетущая тишина, но вдруг старая бабушка, которая то ли не следила за разговором, то ли не уловила характера наступившего молчания и поняла только одно — что Мэри в немилости, не выдержала наплыва чувств и нарушила молчание, прокричав шипящим от злобы голосом:

— Она сегодня забыла сделать то, что ей поручили, Джемс! Она забыла купить для меня сыр, эта разгильдяйка!

И, излив таким образом свое бессмысленное раздражение, сразу осела и затихла, бормоча что-то себе под нос. Голова у нее тряслась, как у паралитика.

Сын не обратил ровно никакого внимания на это выступление и, глядя на Мэри, медленно повторил:

— Я сказал. И да помилует тебя Бог, если ты посмеешь ослушаться! Да, вот еще что: сегодня вечером открытие ярмарки в Ливенфорде, — я по дороге домой видел уже все эти вонючие балаганы. Так запомните: никто из моих детей не подойдет ближе чем на сто ярдов к территории ярмарки. Пусть туда бежит хоть весь город, пускай приезжает деревенщина, пускай идут всякие Фойли и их приятели, но никто из членов семьи Джемса Броуди не унижится до этого. Я это запрещаю.

Произнеся последние слова, в которых звучала угроза, он отодвинул стул, тяжело поднял свое громадное тело и с минуту стоял, выпрямившись, возвышаясь над группой слабых людей, окружавших его. Наконец отошел к своему креслу в углу, сел, привычным, механическим жестом нащупал подставку для трубок, выбрал трубку не глядя, на ощупь и, достав из глубокого бокового кармана квадратный кожаный кисет с табаком, открыл его и не спеша набил хорошо обкуренную головку. Затем из кучки за подставкой взял бумажную трубочку, с трудом нагнувшись вперед, зажег ее от огня в камине и поднес к трубке. Прodelывая все это, он ни на мгновение не отвел грозного взгляда от безмолвной группы людей за столом. Все так же не спеша закурил, выпятив мокрую нижнюю губу и не переставая наблюдать за всеми, но уже более спокойно, созерцательно, с видом критическим и высокомерным. Несмотря на то что им пора бы привыкнуть к тирании этого холодного наблюдения, оно их всегда подавляло, и теперь они, разговаривая, невольно понижали голос. У мамы

лицо все еще пылало. У Мэри дрожали губы. Несси вертела в руках чайную ложку и, уронив ее, смущенно покраснела, словно уличенная в каком-нибудь дурном поступке. Только старуха оставалась безучастной, погруженная в блаженное ощущение сытости.

Но вот шаги в передней возвестили чей-то приход, и в кухню вошел молодой человек лет двадцати четырех, стройный, бледный, с плачевной склонностью к прыщам, с неуверенным, бегающим взглядом. Одет он был настолько франтовато, насколько это позволяло состояние его кошелька и страх перед отцом. Особенно обращали на себя внимание его руки, большие, мягкие, мертвенно-белые, с ногтями, обрезанными так коротко, что на концах пальцев оставались круглые гладкие валики. Он как-то бочком уселся за стол, словно не замечая никого из присутствующих, молча взял из рук матери поданную ему чашку чая и принялся за еду. Это был Мэтью, последний член семьи, единственный сын, а значит, и наследник Джемса Броуди. Ему разрешалось опаздывать к вечернему чаю, так как он служил на судовой верфи Лэтта и кончал работу в шесть часов.

— Как чай, не остыл? — заботливо осведомилась мать, все еще вполголоса.

Мэтью решил ответить только молчаливым кивком.

— Положи себе яблочного повидла, дорогой, оно очень вкусное, — тихонько упрашивала миссис Броуди. — У тебя немного усталый вид. Что, сегодня много было работы в конторе?

Он неопределенно кивнул головой. Его белые, бескровные руки непрерывно двигались, то нарезая хлеб мелкими аккуратными ломтиками, то помешивая чай, то барабанив пальцами по скатерти. Они ни минуты не оставались в покое, двигаясь среди стоявших на столе предметов, как руки священнослужителя, поспешно совершающего какой-то религиозный ритуал. Опущенные глаза, торопливая еда, робкие, беспокойные движения рук — все свидетельствовало о том, как действует на его слабые нервы угрюмый взгляд отца, устремленный ему в спину.

— Еще чаю, сынок? — предложила шепотом мать, протянув руку за его чашкой. — Попробуй печенье, оно только сегодня испечено. — Затем, осененная внезапной догадкой, прибавила вдруг: — Может быть, у тебя сегодня опять желудок не в порядке?

— Да нет, ничего, — пробормотал он в ответ, не поднимая глаз.

— Смотри, медленнее ешь, Мэт, — конфиденциальным тоном предостерегала его мать. — Я склонна думать, что ты иногда недостаточно прожевываешь пищу. Не спеши!

— Но мне ведь сегодня еще надо побывать у Агнес, мама, — шепнул

он укоризненно, словно объясняя свою торопливость.

Миссис Броуди понимающе и сочувственно кивнула головой.

Через некоторое время старая бабушка, жуя губами, поднялась, стряхнула крошки с платья и пересела на свое место у огня, выжидая, не пожелает ли сын сегодня поболтать с нею. Когда он бывал в хорошем настроении, он развлекал ее самыми отборными городскими сплетнями, крича ей в ухо, рассказывал о том, как ловко он осадил Уэдделя, как мэр Гордон, встретив его на площади, дружески похлопал его по плечу, или о том, что дела Пакстона идут все хуже и хуже. Ни о ком никогда не говорилось доброго слова, но старуха обожала сплетни, позорившие людей, смаковала язвительную клевету и безмерно наслаждалась такими разговорами, с жадным интересом подхватывая каждое словечко о чужих делах, упиваясь им, гордясь превосходством сына над очередной жертвой, служившей предметом разговора.

Однако сегодня Броуди молчал, занятый своими мыслями, которые теперь приняли более мирный характер под влиянием удовольствия, доставляемого трубкой. Он говорил себе, что надо будет укротить Мэри, что она словно не его дочь: никогда она не подчинялась ему так беспрекословно, как он того хотел, никогда не оказывала такого полного почтения, как все остальные члены семьи. А ведь эта непокорная дочь становится красивой девушкой, — наружностью она в него. Но и ради собственного удовлетворения и для ее же пользы надо сломить в ней дух независимости. Он был доволен, что слух о ее знакомстве с Денисом Фойлем дошел до него, так что он сможет пресечь это знакомство в самом начале.

Он был поражен смелостью, с какой Мэри решилась возражать ему, и не мог понять, чем это объясняется. Да, теперь, после того как он заметил в ней склонность к непослушанию, он будет внимательнее следить за ней и окончательно искоренит эту склонность, если она еще раз проявится.

Потом взгляд его остановился на жене, но только на одно мгновение; ее он ценил лишь постольку, поскольку она заменяла прислугу в доме, и сразу же отвел взгляд, недовольно скривив губы в презрительную гримасу и торопясь перейти к более приятным мыслям.

Да, вот еще Мэтью, сын! Неплохой мальй. Немного себе на уме, да и характером слаб и изнежен — вконец избалован матерью. За ним нужен глаз. Впрочем, надо надеяться, что пребывание в Индии сделает из него человека. Через какие-нибудь две-три недели он будет отправлен на ту прекрасную службу, которую предоставил ему сэр Джон Лэтта. Ого, как в городе зашумят об этом!.. Лицо Броуди просветлело при мысли, что в

назначении Мэта все увидят знак особого расположения сэра Джона к нему, Джемсу Броуди, новое доказательство его видного положения в городе. Таким образом, назначение в Индию принесет пользу Мэтью и вместе с тем еще усилит всеобщее уважение к его отцу.

Затем глаза Броуди обратились на мать, и на этот раз уже с менее жестким выражением, снисходительнее и мягче, чем давеча за столом. Старуха любит поест. Видя ее насквозь, он знал, что даже сейчас, когда она сидит и клюет носом у огня, она уже мысленно предвкушает следующую трапезу — ужин из горохового пюре с пахтаньем. Она любила гороховое пюре и всегда твердила тоном, каким повторяют мудрое изречение: «Нет ничего лучше горохового пюре на ночь! После него спишь, как после горячей припарки на живот». У нее один бог — ее желудок. Но она еще молодчина, ей сносу нет, старой ведьме! Чем она старше, тем крепче. Видно, из прочного материала сделана, что так долго держится, и похоже, что проживет еще добрых десять лет. Если он, ее сын, проживет до таких лет, а может быть, и дольше, будет очень хорошо.

Наконец он взглянул на Несси, и в нем сразу затеплилось слабое, едва уловимое чувство нежности; выражение его лица не изменилось, но взгляд стал ласковее, внимательнее. Да! Пускай себе мать носится со своим Мэтом, можно ей уступить и Мэри в придачу, зато уж Несси — его дочка, его сокровище, из Несси он кое-что сделает! Несмотря на ее юность, в ней уже видны ум и способности, и вчера только директор школы говорил ему, что она когда-нибудь станет настоящей ученой, если будет усердно работать. Да, только так и можно этого добиться — надо с детства направлять ее по намеченному пути. У него есть кое-какие планы насчет будущего Несси. Стипендия Лэтта! Вот будет венец всех ее блестящих успехов в школе. У Несси есть способности, ее нужно только правильно воспитать. Боже, какой это будет триумф! Девушка — стипендиатка Лэтта, первая девушка, получившая стипендию Лэтта, и к тому же из семьи Броуди! Он позаботится, чтобы Несси добилась этого. Пускай ее мать лучше уберет прочь от дочери свои слабые, балующие руки! Он сам возьмется за ее воспитание.

Он еще не вполне ясно себе представлял, что хочет сделать из Несси. Но образование есть образование! Потом она сможет получать в университете различные ученые степени и одерживать победы. Все в городе знают, что Джемс Броуди — человек передовой, широких и либеральных взглядов, и он это еще сильнее подчеркнет, вдолбит это навсегда в глупые головы. Он уже воображал, как люди толкуют между собой: «Слыхали последнюю новость? Способная дочка Броуди поступила

в колледж. Ну да, она получила стипендию Лэтта, лучше всех выдержала экзамены, и отец отпустил ее в университет. Вот это передовой человек! И такой дочерью он вправе гордиться».

Да, он утрет нос всем в городе! Броуди выпятил грудь, ноздри его раздулись, глаза были устремлены куда-то вдаль. Он дал волю фантазии. Он не замечал, что трубка потухла и остыла. Он твердил про себя, что добьется всеобщего признания, что все будут смотреть на него снизу вверх, что он когда-нибудь заставит оценить себя должным образом. Мысль о Несси постепенно испарялась, он уже больше не думал о ее будущем, и центральной фигурой в его мечтаниях был уже теперь он сам. Он заранее упивался славой, которой дочь озарит его имя!

Наконец он зашевелился, выколотил трубку, вложил ее обратно в подставку и, в последний раз молча обведя взглядом всю семью, как бы говоря: «Я ухожу, но помните то, что я сказал, от моего глаза не укроетесь!» — вышел в переднюю, надел свою хорошо вычищенную войлочную шляпу, взял тяжелую ясеневую трость и, ни слова не сказав, ушел из дому. Такова была его обычная манера. Он никогда не прощался уходя. Пускай себе строят догадки, куда он ходит в свободные часы — на собрания, в городской магистрат или в клуб. Пускай остаются в неизвестности насчет того, когда и в каком настроении он вернется. Ему доставляло удовольствие, когда все вскакивали при неожиданном звуке его шагов в передней. Только таким образом и возможно держать их в узде, и им будет весьма полезно поломать головы над вопросом, куда он идет. Так подумал Броуди, когда входная дверь с треском захлопнулась за ним.

После его ухода все вздохнули с облегчением, словно рассеялась какая-то нависшая над ними туча. Миссис Броуди ослабила мускулы, которые бессознательно напрягала весь последний час, плечи ее сразу опустились, исчезло и душевное напряжение, и она немного оживилась.

— Ты уберешь со стола, да, Мэри? — сказала она просительно. — Я что-то сегодня устала и расклеилась. Мне не мешает посидеть часок за книгой.

— Хорошо, мама, — ответила Мэри и, как всегда, послушно добавила, зная, что от нее этого ожидают: — Ты заслужила отдых, я сама вымою посуду.

Миссис Броуди покачала склоненной набок головой, как бы протестуя против упоминания о ее заслугах, но вместе с тем соглашаясь с Мэри, встала и, подойдя к комоду, достала из своего собственного потайного уголка в одном из ящичков книгу, роман некой писательницы Эмили Эдвардс «Клятва Девенхэма». Как и все книги, которые читала миссис

Броуди, он был принесен ей из ливенфордской городской библиотеки. Нежно прижимая книгу к груди, она уселась у очага, и скоро Маргарет Броуди всей своей трагически сломленной душой ушла в переживания героини, предалась одному из тех утешений, которые еще оставила ей судьба.

Мэри быстро убрала со стола и застлала его суконной скатертью, потом, уйдя в посудную, засучила рукава, обнажив тонкие руки, и принялась мыть грязные тарелки.

Несси, оставшись одна за опустевшим столом, который молчаливо напоминал ей о приказе отца заниматься, посмотрела сначала на погруженную в чтение мать, затем на спину бабки, не обращавшей на нее никакого внимания, на Мэта, который теперь развалился на стуле и важно ковырял в зубах. Потом со вздохом усталости начала вытаскивать учебники из своей школьной сумки, неохотно кладя их один за другим на стол.

— Мэри, поди сюда, — позвала она, — сыграем сначала в шашки.

— Нет, дорогая, отец велел тебе заняться французскими упражнениями. Может быть, мы потом успеем сыграть партию, — донесся ответ из посудной.

— Хочешь, я перетру тарелки? — схитрила Несси, пытаясь оттянуть начало своих мучений.

— Нет, не надо, я управлюсь сама, дружок, — возразила Мэри.

Несси снова горестно вздохнула и сказала, словно про себя, совершенно таким же тоном, как мать:

— О господи!

Она подумала о других детях, которые, как она знала, соберутся вместе и будут весело играть в скакалки, в мяч, в чижи, в городки, в другие увлекательные игры, и с тяжелым сердцем принялась за работу.

Мэтью, выведенный из мимолетной задумчивости раздавшимся над самым его ухом монотонным бормотанием «je suis, tu es, il est», спрятал зубочистку обратно в карман жилета и встал из-за стола. После ухода отца его манера держать себя резко изменилась; с миной некоторого превосходства над окружающими он поправил манжеты, многозначительно посмотрел на часы и, шагая вразвалку, вышел.

В кухне наступила тишина, нарушаемая время от времени лишь шелестом перевертываемых страниц, слабым звяканьем посуды в соседней комнате да нудным бормотанием «nous sommes, vous êtes, ils sont».

Но через несколько минут звуки, доносившиеся из посудной, затихли, и вслед за тем Мэри бесшумно проскользнула через кухню в переднюю, поднялась по лестнице и постучала в дверь комнаты Мэтью. Это был

привычный ежевечерний визит, и если бы даже Мэри вдруг лишилась всех чувств, кроме обоняния, она могла бы найти эту комнату по исходившему из нее густому, приторному запаху сигарного дыма.

— Можно, Мэт? — спросила она шепотом.

— Войдите, — отозвался из комнаты делано бесстрастный голос.

Мэри вошла. При ее входе брат, только что ответивший ей, и не взглянул на нее. Он сидел без пиджака на кровати, сохраняя такое положение, которое лучше всего позволяло ему видеть себя в повернутом под надлежащим углом зеркале на комод, и продолжал безмятежно любоваться собой, пуская большие клубы дыма прямо в свое изображение.

— Какой приятный запах у твоей сигары, Мэт, — заметила Мэри с искренним восхищением.

Мэт с шиком вынул изо рта сигару, не переставая удовлетворенно рассматривать себя в зеркале.

— Да, — согласился он, — по цене и запах! Это — «Сюпрем», высший сорт. Пять штук стоят шесть пенсов, но за одну я заплатил полтора пенса. Я взял ее на пробу и, если этот сорт мне понравится, куплю еще. Запах хорош, Мэри; мы, курильщики, ценим больше всего букет. Сигара высшего сорта обязательно должна иметь букет. Эта имеет ореховый букет. — Он неохотно отвел глаза от зеркала и, внимательно осмотрев свою сигару, произнес: — Ну, теперь хватит, пожалуй.

— Ничего, ничего, покури еще, — поощрила его Мэри. — Мне нравится запах сигары. Это совсем не то что трубка.

— Нет, мне нужно оставить вторую половину на вечер, — решительно возразил Мэтью, осторожно потушил горящий кончик сигары о холодный фаянс умывальника и спрятал окурок в карман жилета.

— Так Агги Мойр нравится, когда ты куришь? — сказала Мэри, делая вывод из его поведения.

— Не Агги, а Агнес, — оборвал он ее, страдальчески морщась. — Сколько раз я просил тебя не фамильярничать. Это вульгарно. Это... это просто дерзость с твоей стороны!

Мэри потупила глаза:

— Извини, Мэт.

— То-то! Запомни, Мэри, что мисс Мойр — весьма достойная молодая девица и моя невеста. Да, если уж хочешь знать, мисс Мойр нравится, когда я курю. Сначала она была против этого, а теперь находит в курении что-то мужественное и романтическое. Она возражает только против того, что от меня потом пахнет табаком, и поэтому дает мне жевать ароматные пастилки. Она предпочитает сорт «Сладкие губки» — они очень приятны

на вкус.

— Ты очень любишь Агнес, Мэт? — спросила Мэри серьезно.

— Да. И она меня тоже очень любит, — сказал Мэт убежденно. — Но тебе не следует толковать о вещах, в которых ты ничего еще не понимаешь. Впрочем, ты, конечно, могла бы знать, что если люди гуляют вдвоем, значит они любят друг друга. Агнес меня боготворит. Посмотрела бы ты, какие подарки она мне делает! Каждому молодому человеку лестно иметь такую невесту. Она во всех отношениях достойная девушка.

Мэри некоторое время молчала, внимательно глядя на брата, потом вдруг прижала руку к груди и спросила с невольной стремительностью:

— А бывает тебе больно здесь, когда ты думаешь об Агнес... когда она не с тобой?

— Конечно нет, — чопорно возразил Мэт. — И некрасиво даже с твоей стороны спрашивать о таких вещах. Если бы я почувствовал боль, я бы считал, что это от расстройства желудка. Как ты любишь задавать вопросы — и какие вопросы! Пожалуйста, чтобы этого больше не было! Теперь я буду упражняться на мандолине, так что не мешай.

Он встал и, нагнувшись (осторожно, чтобы не измять парадных брюк), достал из-под кровати футляр, вынул из него мандолину, украшенную большим бантом из розовой шелковой ленты. Затем раскрыл ноты — тонкую тетрадку в желтой обложке с крупным заголовком «Первые упражнения на мандолине», а под ним шрифтом помельче: «Руководство для юных мандолинистов, составленное тетей Нелли по методу известного синьора Розас». Он раскрыл тетрадь на второй странице, положил ее на кровать и, усевшись рядом в позе картинной непринужденности, прижал к себе романтический инструмент и заиграл. Но, увы, он не оправдал ожиданий, вызываемых его позой опытного артиста, не разразился какой-нибудь упоительной чарующей серенадой, а пропиликал медленно и с вымученной старательностью два-три такта из «Нелли Блай», все больше и больше спотыкаясь, пока наконец совсем не остановился.

— Начни снова, — ободряюще посоветовала Мэри.

Он ответил сердитым взглядом:

— Я, кажется, просил тебя помолчать, мисс Трещотка! Ты должна помнить, что мандолина — труднейший и сложнейший инструмент, а мне необходимо подучиться раньше, чем я уеду в Индию. Тогда я сумею дорогой на пароходе играть дамам в тропические вечера. Музыка требует упражнений! Ты знаешь, что я делаю блестящие успехи... Впрочем, может быть, желаешь сама попробовать свои силы, раз ты считаешь себя таким знатоком?

Однако он начал сначала, как советовала Мэри, и кое-как доиграл пьесу. Нестройные, фальшивые звуки следовали друг за другом, терзая уши (этому искусству, как и курению, Мэт позволял себе предаваться лишь в отсутствие отца). Тем не менее Мэри, уткнув подбородок в ладони, с восхищением смотрела на брата, не столько слушая его игру, сколько любуясь им.

Окончив, Мэт небрежным, картинным жестом провел рукой по волосам.

— Я, пожалуй, сегодня не в ударе, Мэри... в легкой меланхолии... то есть огорчен, небольшая неприятность в конторе... Проклятые цифры, они вредно действуют на такой артистический темперамент, как мой. Не понимают меня там, на верфи.

Он вздохнул с томной грустью, приличной непризнанному гению, но скоро поднял глаза и, томимый жадой похвалы, спросил:

— А как все-таки у меня звучало? Как тебе показалось?

— Очень похоже, — сказала Мэри успокаивающим тоном.

— Похоже на что? — переспросил он подозрительно.

— Ну конечно на «Веселый галоп Кэти».

— Ах ты, дура! — вскипел Мэт. — Ведь это «Нелли Блай».

Он был совсем обескуражен; метнув на Мэри уничтожающий взгляд, вскочил с кровати и в припадке раздражения крикнул, наклонясь, чтобы уложить мандолину в футляр:

— Я уверен, что ты сказала это просто мне назло. — И затем, выпрямляясь, добавил презрительно: — У тебя совсем нет музыкального слуха.

Он словно не слышал усердных извинений Мэри и, повернувшись к ней спиной, достал из комода очень жесткий высокий крахмальный воротничок и ярко-синий, в крапинках, галстук. Но все еще переживая свою обиду, продолжал:

— А вот у мисс Мойр слух есть! И она говорит, что я очень музыкален, что у меня лучший голос в хоре. Она и сама чудесно поет. Я бы желал, чтобы ты была более достойна стать ее золовкой.

Мэри, ужасно огорченная своим промахом, в полном сознании собственного ничтожества попросила:

— Дай я завяжу тебе галстук, Мэт.

Он повернулся к ней, все еще надутый, и снисходительно позволил ей завязать на нем галстук. Это было неизменной обязанностью Мэри, и она выполнила ее ловко и аккуратно, так что, подойдя снова к зеркалу, Мэт остался доволен.

— Теперь брильянтин! — скомандовал он, показывая этим, что Мэри прощена.

Она подала ему флакон, из которого он обильно полил голову пахучей жидкостью, и, с сосредоточенной миной расчесав свои кудри, взбил их надо лбом.

— Волосы у меня очень густые, Мэри, — заметил он, старательно проводя гребенкой за ушами. — Я никогда не буду лысым. Этот осел Каупер, когда он прошлый раз подстригал их, уверял меня, что они уже реденут на макушке. Выдумает же! За такую наглость я перестану у него стричься.

Добившись достаточно эффектной прически, он протянул руки и позволил Мэри помочь ему надеть пиджак, затем достал чистый носовой платок, надушил его одеколоном «Душистый горошек», художественно выпустил кончик платка из верхнего кармана и внимательно проверил эффект в зеркале.

— Элегантный покрой, — бормотал он, глядя в зеркало, — в талии сидит прекрасно. Для провинциального портного Миллер шьет замечательно, не правда ли? Разумеется, я ему даю указания, да и на такую фигуру шить легко!.. Ну уж если *сегодня* Агнес будет мною недовольна... но нет, она, безусловно, будет довольна.

Затем, шагнув к двери, он вдруг отрывисто прибавил:

— И не забудь, Мэри, сегодня в половине одиннадцатого... или, может быть, чуточку позже.

— Ладно, Мэт, я не усну, — шепнула она успокоительно.

— На этот раз наверное?

— Наверное.

Последнее замечание Мэта обнаруживало его ахиллесову пяту: этот достойный восхищения элегантный молодой человек, курильщик, мандолинист, жених, будущий отважный путешественник в Индию, имел одну странную слабость — боялся темноты. Он удостаивал Мэри своего общества и доверия исключительно потому, что она выходила к нему навстречу в те вечера, когда он возвращался поздно, и провожала по неосвещенной мрачной лестнице до его спальни, делая это с неизменной аккуратностью и преданностью, никогда не выдавая его. Она ни во что не ценила услуг, которые оказывала брату, принимала смиренно и с благодарностью его милостивое расположение и, когда он, как сейчас, уходил, оставив за собой смешанный запах сигар, брильянтина и душистого горошка и воспоминание о своей ослепительной особе, смотрела ему вслед любящими и восторженными глазами.

Но когда он ушел и исчезло обаяние мишурного блеска, у Мэри настроение изменилось; ничем больше не занятая, она теперь могла подумать о своем, и ею овладело смятение, тоскливое беспокойство. Все в доме были заняты: Несси с мрачным видом готовила уроки, мама всецело погрузилась в свой роман, а сонная бабушка — в процесс пищеварения. И Мэри, расстроенная, возбужденная, слонялась по кухне, раздумывая о приказе отца, до тех пор, пока мать не посмотрела на нее и не сказала сердито:

— Что это с тобой, чего ты снуешь взад и вперед, как нитка без узла? Садись-ка за шитье или, если тебе делать нечего, ступай спать и не мешай людям читать!

«Лечь спать?» — растерянно спрашивала себя Мэри. Нет, просто смешно ложиться в такую рань! Весь день сегодня она не выходила из дому, так не выйти ли подышать свежим воздухом? Это освежит ее после душного дня. Все подумают, что она ушла к себе в комнату, и никто ее не хватится.

Раньше чем она успела подумать, что делает, она была уже в передней, надела свою старенькую жакетку и шляпку из грубой соломы с потрепанным непогодами пучком вишен и вылинявшей красной лентой, тихо отперла входную дверь и сошла по ступенькам во двор.

Она почти испугалась, оказавшись вне дома, но успокоила себя соображением, что в таком виде она все равно никуда идти не может. Вспомнив о том, что у нее нет ни одного хорошего платья, она грустно тряхнула головой, так что вишни, вот уже два сезона уныло свисавшие со шляпы, закачались, слабо протестуя, и чуть не упали на землю. На воздухе она вздохнула свободнее и задумалась о том, что делает сейчас Денис. Ну конечно, готовится идти на ярмарку. И почему это всем можно туда, а ей нельзя? Это несправедливо, потому что ничего тут нет худого. Самые почтенные люди в городе одобряют ярмарку и покровительствуют ей. Облокотясь о калитку и тихонько раскачиваясь взад и вперед, Мэри упивалась прохладой и прелестью сумерек. Вечер был такой чарующий, дышал влажными ароматами, вокруг пробуждалась жизнь, замершая в знойной духоте дня. Ласточки носились стрелой вокруг трех стройных серебряных берез, росших на лугу против дома, а откуда-то издали подорожник умоляюще взывал к ней: «Выходи! Выходи же! Дзинь, дзинь, дзинь, зазвени ключами, дзинь, дзинь, дзинь!» Просто стыдно сидеть дома в такой вечер! Она ступила за калитку, говоря себе, что только немного прогуляется, дойдет до конца улицы, а потом вернется в дом и будет играть с Несси в шашки. Она шла вперед, никем не замеченная, бессознательно

радуясь тому, что на всем протяжении дороги не видно ни единого человека. Сегодня вечером на ярмарке ее ждет Денис. Он попросил ее прийти и погулять с ним, а она безрассудно обещала! Обидно, что ей нельзя идти на ярмарку. Но она боялась отца, а отец решительно запретил ей это.

Как быстро она дошла до конца улицы! Кажется, и минуты не прошло, как она вышла из дому, а уже надо было возвращаться. Рассудок приказывал ей повернуть обратно, но какая-то иная, более могучая сила мешала сделать это. И она шла дальше и дальше, сердце у нее бешено колотилось, и, как бы в такт этому сердцебиению, она все ускоряла шаг. Вот сквозь зачарованную тишину вечера до ее ушей долетела музыка, тихая, но манящая, властно зовущая. Мэри еще больше заторопилась, она почти бежала, твердя себе: «Не могу! Я должна его увидеть!» И скоро она, трепеща, вступила на территорию ярмарки.

II

Ярмарка в Ливенфорде была ежегодным праздником, гвоздь которого составляли несколько бродячих трупп, маленький зверинец, где показывали, собственно, только слона и двух львов в клетке, тир, где стреляли настоящими пулями, и две гадалки, охотно демонстрировавшие всем безупречные отзывы об их искусстве. Все это и ряд других второстепенных аттракционов открывалось в назначенный день на участке городского выгона.

Территория ярмарки имела форму треугольника. На одной его стороне, там, где кончался город, расположились наиболее важные пункты ярмарки, самые большие палатки и балаганы, на другой — качели, карусели, американские горы, а на третьей стороне, огибающей луга у реки Ливен, находились стрельбища, галереи для метания кокосовых орехов и кукольные театры, стояли продавцы лимонада, фруктов, нуги, мороженого и множество нарядных киосков, привлекавших все взоры. Эта ярмарка была всегда самой многолюдной и популярной во всей округе и, как магнит, привлекала и городских и деревенских жителей. Она продолжалась обычно около недели и в течение всей этой головокружительной недели принимала по вечерам на свою территорию толпу празднично настроенных людей, которая и в этот первый вечер медленно колыхалась по краям треугольника на все выше вздымавшихся волнах веселья.

Мэри нырнула в это людское море, и оно тотчас поглотило ее. Она перестала быть отдельным существом, ее подхватил вихрь хохочущих, толкающихся, орущих, размахивающих руками людей и нес вперед помимо ее воли. Эта окружающая стихия бросала ее то туда, то сюда, но в то же время неизменно несла вперед, а Мэри только удивлялась собственному безрассудству. Напиравшая на нее со всех сторон шумная толпа, громкие крики, яркий свет — все это далеко не походило на идиллические картины, которые ей рисовало воображение, и не пробыла она и пяти минут на ярмарке, как уже пожалела, зачем пришла, и начинала думать, что, в конце концов, отец, пожалуй, был прав, когда запретил ей идти сюда. У нее была одна только цель — увидеть Дениса, но теперь она говорила себе, что Денис никак не сможет разыскать ее в такой толчее, а когда чей-то острый локоть вонзился ей в бок, потом здоровенный деревенский парень наступил на ногу и в виде извинения весело ухмыльнулся ей, Мэри окончательно испугалась и почувствовала себя несчастной. Что за чувство привело ее

сюда, в толпу грубого мужичья? Зачем она так неосторожно, так дерзко ослушалась отца, так легкомысленно, в необузданном порыве прибежала сюда по первому зову этого юноши, с которым знакома один только месяц?

Кружась в толпе, она мысленно оглянулась на этот месяц, вспоминая с простодушным огорчением, что здесь отчасти виновата дверь городской библиотеки. На этой двери изнутри красовалась авторитетная надпись «Тянуть», и, подчиняясь этому лаконичному повелению, те, кто выходил из библиотеки, изо всех сил тянули дверь на себя. Но дверь так туго поддавалась и была такая тяжелая, что человеку, у которого к тому же руки были заняты книгами, казалось гораздо легче нарушить правило и не тянуть, а толкать вертящуюся дверь, если за ним не следило недремлющее око привратника. И вот в один памятный ей день Мэри не задумываясь толкнула дверь, сильно упершись в нее рукой, и упала прямо на жилет какому-то молодому человеку в коричневом костюме. Налетев на него таким образом, она имела полную возможность заметить цвет его элегантного костюма. Волосы у него были темные, и глаза тоже, а лицо — в мелких коричневых веснушках. И когда Мэри сконфуженно подняла глаза, она, несмотря на смущение, сразу заметила (ибо как раз в эту минуту он улыбался), что у него чудесные белые зубы. Пока она большими глазами смотрела на него, полуоткрыв рот, он согнал с лица улыбку, вежливо подобрал уроненную ею книгу, хладнокровно раскрыл ее и прочел фамилию Мэри на абонементной карточке.

— Простите, что испугал вас, мисс Броуди, — сказал он серьезно, но карие глаза его смеялись. — Эта дверь ужасно коварна. Следовало бы сделать в ней окошечко. Виноват во всем я, потому что до сих пор не поднял этот вопрос в городском магистрате.

Мэри вспоминала, как она глупо и неприлично посмеивалась, не устояв перед его забавными шутками, и перестала смеяться только тогда, когда он, испытующе глядя на нее, сказал как бы между прочим:

— Моя фамилия Фойль, я живу в Дэрроке.

Они долгую минуту смотрели друг другу в глаза, причем она, конечно, покраснела как дура (потом Денис уверял ее, что она очаровательно краснеет) и застенчиво сказала: «Пожалуй, мне пора идти». («Какая глупая фраза», — подумала она теперь, вспомнив это.) Фойль не сделал попытки удержать ее, он с утонченной вежливостью отошел в сторону, давая ей дорогу, приподнял шляпу и поклонился. Но все время, пока она шла по улице, она ощущала на себе взгляд этих живых карих глаз, почтительный, внимательный, полный восхищения. И с этого все началось.

Потом она, никогда раньше не видевшая его в Ливенфорде по той

простой причине, что он редко сюда приезжал, начала частенько встречать его на улицах. Они постоянно сталкивались где-нибудь, и хотя Денису ни разу не представилось случая заговорить с нею, но он всегда улыбался и кланялся, весело и вместе почтительно. Ее все больше радовала эта веселая и открытая улыбка, она начинала уже высматривать в толпе смелый контур его плеч, жаждать живого блеска его взгляда. Иногда замечала его издали в группе наиболее смелой и свободомыслящей молодежи Ливенфорда, у входа в недавно открытое кафе Берторелли, и с благоговейным ужасом видела, что эти гордые молодые люди обращаются с ним как с равным, даже как с вожаком; это, а также то, что он бывает в таком гибельном месте, как итальянское кафе, приводило Мэри в трепет. Видимо, отдаленное знакомство с Денисом окружало и ее почетом в глазах этой избранной молодежи, так как, когда она, даже в его отсутствие, проходила мимо этой компании, сразу же воцарялось учтивое молчание, все как один снимали шляпы, приветствуя ее и вызывая в ее душе приятное волнение и смущение.

Неделю спустя она снова побывала в библиотеке, и, несмотря на то что на этот раз уже не толкнула, а старательно потянула на себя дверь, как бы выражая этим публично раскаяние и порицание себе, открыто признавая свою вину, она опять, выходя, столкнулась с Денисом Фойлем.

— Мисс Броуди, какое совпадение! Опять мы встречаемся на том же месте, подумайте! Ну не странно ли, что я как раз в эту минуту шел мимо?

Откуда было знать бедняжке Мэри, что он два часа поджидал ее на противоположной стороне улицы?

— Позвольте взглянуть, какую книгу вы взяли сегодня?

— «Помройский монастырь», сочинение миссис Генри Вуд, — пролепетала Мэри.

— Ах да, том второй. Ведь в прошлую нашу встречу я видел, что у вас был первый том.

Тут-то Денис и выдал себя. Мэри уловила робкую нежность в его взгляде, заметила, что он держит себя уже не так хладнокровно и самоуверенно, как в первую их встречу, и сердце ее растаяло, когда он сказал с горячей мольбой:

— Можно мне нести вашу книгу, мисс Броуди?

Мэри и сейчас густо покраснела, вспоминая свое непростительное, не подобающее молодой девице поведение; но факт оставался фактом — она отдала ему книгу, протянула ее покорно и безмолвно, как бы в виде благодарности за его милое внимание. При воспоминании об этом невинном и несомненно банальном начале Мэри вздохнула. С тех пор они

встречались несколько... нет, множество раз, и Мэри была так захвачена новым и непонятным ей чувством к Денису, что разлука с ним вызывала в ее сердце боль и ощущение одиночества.

Вздвигнув, она очнулась от воспоминаний. За это время она успела уже обойти кругом всю площадь, не различая никого в тумане разноцветных пятен, плывшем перед ее глазами. Снова подумала о неприятном и опасном положении, в которое попала, о безнадёжности попытки отыскать в бурлившем вокруг море лиц то, которое ей было нужно. И так как в этот момент в толпе перед ней образовался проход, по которому можно было выбраться на дорогу, она стала с трудом проталкиваться вперед.

Вдруг чья-то теплая рука сжала ее холодные пальчики. Она поспешно подняла глаза и увидела, что это Денис. Ее охватило ощущение безопасности, волной блаженного покоя разлилось по жилам, и она испытала такое облегчение, что сжала его руку в своей и в простоте душевной воскликнула горячо, торопливо, не дав Денису вымолвить ни слова:

— Ах, Денис, я чувствовала себя такой несчастной здесь без вас, словно я уже потеряла вас навсегда!

Он сказал, с нежностью глядя на нее:

— Как глупо было с моей стороны, Мэри, предложить вам встретиться здесь, в такой толчее. Я был уверен, что разыщу вас, но не сообразил, что вы можете еще до этого попасть в давку. К тому же мой поезд опоздал. Давно вы здесь?

— Не знаю, — прошептала Мэри. — Мне казалось, что годы, но теперь, когда вы со мной, все это пустяки.

— Надеюсь, вас не слишком затолкали, — не унимался Денис. — И как это я допустил, чтобы вы пришли сюда одна! Простить себе не могу! Мне следовало встретить вас на улице. Но я не думал, что здесь сегодня будет такое множество людей. Вы не сердитесь, Мэри?

Она отрицательно покачала головой. И, не скрывая своей радости, не упрекая его за то, что он опоздал, не упоминая о риске, которому подвергало ее свидание с ним в таком месте, весело и простодушно возразила:

— Да нет же, Денис. Теперь мне и давка не страшна, ничего не страшно, раз я вас нашла.

— Мэри, вы настоящий ангел, если прощаете меня! Но я не успокоюсь, пока не заглажу свою вину. Давайте наверстаем потерянное время. Я буду счастлив только тогда, когда повеселю вас, как вы еще

никогда в жизни не веселились. Ну, с чего же нам начать? Приказывайте. Все будет исполнено.

Мэри огляделась кругом. Как все изменилось! Как она теперь была рада, что пришла сюда! И люди в толпе казались не грубыми, только шумливыми и веселыми, и, столкнусь она снова с тем громадным детиной, который отдал ей ногу, она бы ответила на его широкую улыбку улыбкой сочувствия. Все было так красочно, повсюду движение, веселье; крики зазывавших публику владельцев балаганов забавляли ее, треск выстрелов в тирах возбуждал, но не пугал. Гремевшая вокруг музыка опьяняла. Когда ее сияющий взор привлекла карусель деревянных лошадок, скакавших по кругу то гордым аллюром, то веселыми прыжками в такт «Кандахарскому вальсу», она радостно засмеялась и указала на них пальцем.

— Вот с чего! — захлебываясь, шепнула она.

— Отлично! Ваше слово — закон, Мэри. Начнем со скакунов. «Все на коней, Донигольская охота начинается!»

Он схватил ее за руку и увлек вперед, и, как по волшебству, толпа, прежде напиравшая со всех сторон, расступилась, словно растаяла перед ними.

— Вот на эту парочку мы и сядем! — весело воскликнул Денис. — Хвосты у них, как у львов, зубы, как у дромадеров! В седло, Мэри! Ваш конь будет скакать выше домов, по глазам видно, что он с норовом!

Они сели каждый на свою лошадку, собрали поводья в ожидании. Закружились сперва медленно, затем быстрее, затем вихрем под бешеную музыку! Возбужденные наслаждением быстрого движения, неслись над толпой глазающих зрителей, и казалось им, что эта толпа — далеко внизу, под летящими по воздуху копытами их удалых коней, что они мчатся вдвоем в необъятных небесных просторах, поднимаются ввысь, вдохновленные чудесной радостью полета.

Когда лошади наконец медленно остановились, Денис не дал Мэри сойти и, к ее удовольствию, заставил проделать с ним рядом еще один рейс, потом еще и еще, до тех пор, пока Мэри, приобретя уже некоторый опыт и увереннее сидя в седле, ослабила поводья и, держась только слегка одной рукой, с гордостью показывала Денису, какая она ловкая и смелая наездница. Он хвалил ее, ободрял, упиваясь ее радостью. Мэри наконец стало совестно за свою безрассудную расточительность, она испугалась, что разорит его, и начала умолять его сойти. А Денис смеялся, хохотал до колик:

— Мы можем кататься хоть всю ночь, если вы захотите. Деньги — пустяки, только бы вам было весело.

— Ах нет, не пустяки, Денис! Это ужасно дорого. Сойдем, пожалуйста, — упрашивала она. — Мне будет так же весело смотреть, как катаются другие.

— Ну хорошо. Пойдем отсюда, раз вам так хочется, Мэри. Но это только еще начало. Сегодня вы здесь в обществе миллионера. И мы побываем на всех решительно аттракционах.

— Если только вы *наверное* можете истратить столько денег, Денис, — сказала нерешительно Мэри. — Здесь прямо-таки чудесно! Но я не хотела бы, чтобы вы слишком много тратили на меня.

— Мне не жаль было бы истратить на вас все, что у меня есть, до последнего фартинга, — возразил он с жаром.

Это было только началом. Они утонули в толпе, любуясь праздничной панорамой, жадно упиваясь весельем, царившим вокруг, радуясь тому, что они вместе.

Час спустя, проделав все виды движений, могущих доставить удовольствие, поупражнявшись в метании шаров во всевозможные предметы, посмотрев в зверинце заеденных блохами львов и апатичного слона, потыкав пальцем в жирного мальчика (по убедительной просьбе показывавшего его человека), чтобы удостовериться, что тут нет обмана, подивившись на самую крошечную в мире женщину, поглазев с интересом и вместе с содроганием на «живой скелет» и накупив всякой снеди — от «медовых» груш до леденцов из ячменного сахара, Денис и Мэри стояли перед самой большой палаткой, представляя собой самую веселую и счастливую пару на всей ярмарочной площади. То была палатка знаменитого Макинелли, обещавшего, как возвещалось в афишах, «праздник утонченных и изящных развлечений». Перед палаткой была воздвигнута деревянная эстрада, освещенная теперь четырьмя смоляными факелами, а посреди эстрады стоял сам знаменитый Макинелли, которого легко было отличить по высокому блестящему цилиндру и сюртуку с развевающимися полами, по брюкам в крупную клетку, по извивавшейся на его белом бархатном жилете медной цепочке фасона «Альберт», толстой, как цепь лорд-мэра, и желтой, как настоящее золото. По обе стороны от мистера Макинелли расположились те, о ком синими и красными буквами возвещали расклеенные на всех стенах и воротах предместья анонсы, называя их «блестящей плеядой талантов». Справа высокий мужчина романтической наружности, в парадном, но изрядно потрепанном вечернем костюме, с меланхолической грацией прислонился к одному из столбов, на которых была укреплена палатка, устремив томный взор поверх толпы, словно ища на каком-нибудь небесном балконе достойную его любви

Джульетту и в то же время пытаюсь, насколько возможно, скрыть свое заношенное и грязное белье, для чего он стянул до самых пальцев рукава фрака и гордо скрестил руки на манишке. Но этот мрачный Ромео был не единственной приманкой балагана: слева от Макинелли красовалось обольстительное создание в ярко-розовом трико и белой балетной юбочке, в лихо заломленной набекрень остроконечной матросской шапочке; время от времени она делала несколько мелких шажков по сцене, как бы намекая на те чарующие пируэты, которые предстоит увидеть зрителям, и посылала толпившимся внизу воздушные поцелуи, грациозно выбрасывая руки с таким видом, словно вытягивала из губ целые ярды лент.

— Какая она хорошенькая! — прошептала Мэри, которой к этому времени до того уже стал близок ее спутник, что она взяла его под руку.

— Посмотрели бы вы на нее днем, так удивились бы, — возразил более скептически настроенный Денис. — Я кое-что о ней уже слышал. Говорят, — продолжал он медленно, таким тоном, словно открывал позорную тайну, — говорят, что она косая.

— О, Денис, и не стыдно вам повторять подобные вещи?! — воскликнула с негодованием Мэри. Но глянула уже с некоторым сомнением на вызывающий залом надвинутой на один глаз матросской шапочки. Что это — просто кокетство или у балерины более серьезные причины носить так шапочку?

— Подходите, леди и джентльмены, подходите! — прокричал Макинелли, размашисто сняв цилиндр и держа его в протянутой вперед руке, словно любезно приглашая их войти. — Представление сейчас начнется!.. Мы как раз собираемся начать! Безусловно последнее представление сегодня! Развлечение самого высшего сорта, плата за вход два пенса, только два пенса! Художественно, изысканно, благородно! Джентльмены, вы можете приходить со своими женами или подружками, на нашем представлении им ни разу не придется краснеть. Единственный в своем роде театр Макинелли, безусловно высшего класса! Сейчас начинаем! Джентльмены! По левую руку от меня вы видите мадам Болиту, чудеснейшую и талантливейшую из Терпсихор нашего века.

При упоминании ее имени мадам сделала легкий пируэт, скромно улыбнулась, кокетливо развела руками и принялась еще усерднее, чем прежде, посылать воздушные поцелуи публике.

— Дамы! Справа от меня — синьор Маджини, знаменитый и замечательный певец, прибывший прямо из оперных театров Парижа и Милана, этих центров оперного искусства нашей эпохи.

Синьор Маджини, настоящая фамилия которого была Мадженти,

изобразил на лице еще более романтическую грусть и рассеянно поклонился. Можно было подумать, что парижские дамы забрасывали его букетами, а миланские соперничали друг с другом, добиваясь его благосклонности.

— Мы сейчас начнем! Подходите! Подходите! Последнее представление сегодня! Мы закрываем театр до завтра! Благодарю вас всех за внимание! Подходите же! Подходите!

— Должно быть, и в самом деле сейчас начнется, — заметил Денис. — Он столько раз уже это твердил. Войдем?

— Войдем! — с восторгом согласилась Мэри.

И они вошли.

Внутри стоял смешанный запах парафина, разогретых опилок, апельсиновых корок. Ощупью находя дорогу в пахучей полутьме балагана, они отыскивали свободные места, уселись и после короткого напряженного ожидания были вознаграждены: программа началась. Она состояла из двух отделений: в первом выступала мадам Болита, во втором — синьор из Парижа и Милана. Но потому ли, что великого Макинелли манил неотразимый аромат его ужина (бифштекса с луком), исходивший из фургона за палаткой, или потому, что он рассчитывал дать сегодня еще одно представление (уже безусловно последнее!), — трудно сказать: во всяком случае, представление было чрезвычайно коротким. Мадам делала пируэты, принимала различные позы, тяжело подпрыгивала и, шумно опускаясь на тонкие скрипучие доски эстрады, всякий раз выпускала невольные вздохи, которые у менее талантливой артистки можно было бы принять за хрюканье, а легкие движения сопровождала прищелкиванием пальцев и резкими вскриками: «Ля-ля! О-ля-ля!» Прodelав пируэты в глубине эстрады, она игриво семенила к рампе, с пренебрежительным видом выбрасывала вперед, в воздух, ногу основательной толщины, томно опиралась подбородком на вытянутый указательный палец и, слегка балансируя на второй ноге, победоносно озидала публику. Затем, словно сама себя поздравляя, сливала свое «о-ля-ля!» со слабым треском аплодисментов, кокетливо встряхивала головой и снова принималась за прыжки по эстраде, приводившие ее к прежнему месту. Кульминационным пунктом ее первого выступления был момент, когда она, с простертыми вперед руками и искаженным от напряжения лицом, медленно, с трудом опустилась на пол, вытянув ноги горизонтально. Вовремя опущенный занавес спас ее, избавив от необходимости снова подняться.

— Не так уж плохо, если принять во внимание ее возраст, — конфиденциально шепнул Денис. — Но когда-нибудь после таких

упражнений от нее останется одно воспоминание.

— Ах, Денис, — укоризненно отозвалась Мэри. — Это вы ведь не всерьез говорите? Неужели она вам не понравилась?

— Если вам нравится, то нравится и мне. Но не просите меня в нее влюбиться, — сказал шутливо Денис. — Посмотрим, что будет дальше, — заключил он, когда, после надлежащей паузы, занавес снова поднялся и за ним открылась слабо освещенная глубина сцены, где колыхалась тучная фигура несравненной Болиты. Закутанная в длинное белое одеяние, она на этот раз была без матросской шапочки, но вместо нее стыдливо прикрывала лицо длинными распущенными желтыми волосами. За плечами у нее была пара больших крыльев совершенно ангельского вида, и она парила в полумраке перед глазами изумленных зрителей, как настоящий серафим. Не было больше ни трюков, ни дешевой мишуры балета, и, казалось, она, преображенная, чистая, презирала то создание, которое только что кричало здесь «о-ля-ля!». Так она величаво плыла над сценой под аккомпанемент отчетливо слышного скрипа и кряхтения каната и блока, поддерживавших ее на воздухе, и брэнчание пианино за кулисами. Публика усиленно выражала свое одобрение главным образом пронзительными свистками на задних скамьях и громкими криками: «Бис! Бис!» Но выступления на бис не допускались в театре Макинелли. Мадам с поклоном, от которого затрепетали ее крылья, грациозно удалилась со сцены и поспешила в фургон, чтобы посмотреть, спит ли уже маленькая Кэти Мадженти, ее внучка.

Мэри, в экстазе хлопая артистке, повернулась к Денису.

— Ну, что вы теперь скажете? — спросила она серьезно и вызывающе, словно желая проверить, осмелится ли Денис критиковать такое божественное создание. Они сидели на узкой деревянной скамейке, тесно прижавшись друг к другу, держа друг друга за руки. Денис, глядя на повернутое к нему, сиявшее восторгом лицо Мэри, сжал ее пальчики и ответил многозначительным тоном:

— Скажу, что вы — чудная!

Мэри от души расхохоталась. И вдруг звуки ее собственного смеха, такого непривычно веселого и непринужденного, вероятно в силу контраста, вызвали в ее душе воспоминание о родном доме, и, сразу сжавшись, словно она нырнула в ледяную воду, Мэри задрожала и поникла головой. Но затем с некоторым усилием подавила приступ уныния, утешенная близостью Дениса, снова подняла глаза и увидела на сцене Маджини. На белом экране появилась наведенная волшебным фонарем из глубины балагана надпись: «Любовь и верность, или Подруга моряка». На

расстроенном пианино кто-то проиграл первые такты баллады, и Маджини запел. В то время как он пел слащавые слова баллады, на экране проходили картины, в ярких красках изображавшие волнующие испытания верной любви. Встреча моряка с дочерью мельника у плотины, расставание. Потом одинокий, страдающий моряк у себя в каюте, тяжкие невзгоды в море и не менее тяжкие страдания его возлюбленной дома, ужасы кораблекрушения, стойкий героизм, спасение — все эти картины мелькали одна за другой перед затаившими дыхание зрителями, и наконец, к облегчению и удовлетворению всего зала, достойная счастья пара встретилась и соединила руки у той же самой плотины (на экране снова первая картина).

После этого синьор Маджини по требованию публики исполнил «Жуаниту», балладу, воспевавшую обольстительные прелести одной дамы, более смуглой и пылкой, чем ангелоподобная невеста моряка, и страсти более бурные и опасные. Когда он кончил, на задних скамьях так долго и громко орали, выражая одобрение, что только через некоторое время удалось расслышать слова певца: он объявлял, что последним его номером будет «Страна любви», популярная песня Чиро Пинсути. В противоположность двум первым, это оказалась простая, мелодичная и трогательная песенка, и, несмотря на то что певец никогда не бывал южнее округа Демфри, где подвизался театр Макинелли, он спел ее хорошо. Когда волна сладких звуков полилась во тьму балагана, Мэри почувствовала, что ее влечет к Денису порыв трепетной нежности. Чувство это казалось ей таким возвышенным и прекрасным, что глаза ее наполнились слезами. Никто никогда еще не относился к ней так, как Денис. Она его любит. Увлеченная далеко за пределы своего замкнутого и однообразного существования опьяняющими впечатлениями этого вечера и колдовством музыки, Мэри готова была, если бы Денис этого потребовал, с радостью умереть для этого юного бога, чью близость ей было так сладко и вместе так горько ощущать: сладко — потому, что она обожала его, горько — потому, что ей предстояло с ним расстаться.

Певец умолк. Мэри вздрогнула и очнулась, поняв вдруг, что представление окончено. Спаянные одним и тем же невысказанным чувством, понимая друг друга без слов, они с Денисом вышли из палатки на свежий ночной воздух. Было уже темно, и ярмарочная площадь освещалась факелами. Толпа, хоть и поредевшая, все еще весело бурлила вокруг, но для нашей пары, находившейся под влиянием более мощных чар, ярмарочные развлечения утратили уже свою прелесть. Оба нерешительно оглядывались.

— Зайдем еще куда-нибудь? — медленно спросил Денис.

Мэри покачала головой. Она провела сегодня такой чудесный вечер, ей хотелось бы, чтоб он длился вечно. Но он прошел, все кончилось, и предстояло самое трудное — расстаться с Денисом. Предстояло возвращение домой, тягостный путь из царства любви, и — увы! — пора было в него пускаться.

— Тогда погуляем еще немножко, — настаивал Денис. — Да право же, Мэри, еще не поздно. Мы не уйдем далеко.

Как уйти от него? Ей уже сжимала горло тоска при одной мысли о расставании, она чувствовала, что ей необходимо побыть с ним еще немножко. Хотелось оттянуть печальное отрезвление от радости, от волшебства этого вечера. Присутствие Дениса было ей нужно всегда, оно приносило отраду и успокоение. Острота этого нового чувства к нему мучила ее, как рана в сердце, сила этого чувства изгнала из ее мыслей дом, отца, все, что могло бы удержать ее, помешать идти с Денисом.

— Идем же, Мэри, милая, — упрашивал он ее. — Еще рано.

— Ну хорошо, погуляем еще чуточку, — согласилась она наконец шепотом.

Тропинка, по которой они пошли, тянулась вдоль извилистого берега Ливена. По одну ее сторону журчала вода, по другую — лежали росистые луга, городские пастбища. Полная луна, сиявшая как полированный диск кованого серебра, плыла высоко в небе, среди серебряной пыли звезд, и гляделась в таинственную глубину темных вод. Временами на ее белый диск, сиявший так далеко наверху и в то же время заключенный в темном лоне реки внизу, набегали полосами тонкие пучки облаков, словно призрачные пальцы, заслоняющие глаза от невыносимо яркого света. Денис и Мэри шли молча, замороженные красотой лунной ночи, и воздух, дышавший росистой ночной свежестью и ароматами буйно разросшейся вокруг травы и дикой мяты, льнул к ним, касаясь их щек, как ласка.

Перед ними над тропинкой летали, гоняясь друг за другом, две большие серые бабочки, мелькая, как фантастические тени, над высоким тростником и осокой, которыми порос низкий берег Ливена; бесшумно кружась, порхая во всех направлениях, они оставались все время вместе, не улетаая одна от другой. Их крылышки блестели в серебряном свете, как большие пылинки, пляшущие в лунном луче, и шелест их полета падал в тишину, как трепетание падающего с дерева листа.

Река также текла почти неслышно, слабо плескаясь у берегов, и эта журчащая песня воды казалась чем-то неотделимым от тишины ночи.

Денис и Мэри отошли уже так далеко от ярмарки, что о ней напоминали лишь огоньки вдаль, меркнувшие в лунном сиянии, да звуки

духового оркестра, долетавшие со слабым шепотом ветерка и смягченные тишиной вокруг. Но Мэри и Денис не замечали ни музыки, ни луны, и хотя бессознательно они и наслаждались красотой ночи, но видели только друг друга. От мысли, что она в первый раз наедине с Денисом и они двое словно отделены от всего мира, сердце Мэри заливала трепетная радость, и оно бурно колотилось.

Да и Денис, это испорченное дитя города, был побежден новым, никогда не испытанным чувством. Его умение вести легкий, пустой разговор, делавшее его душой всякого общества, куда-то исчезло, источники комплиментов, которые текли так естественно из его уст, казалось, все высохли. Он молчал, как немой, и был мрачен, как на похоронах. Он чувствовал, что репутация его поставлена на карту, что необходимо сказать что-нибудь, хотя бы сделать самое банальное замечание. Но как ни ругал он себя мысленно болваном, простофилей, пустым человеком, воображая, что он оттолкнет Мэри этим глупым молчанием, язык его точно прилип к гортани, а сердце было так переполнено, что он не мог заговорить.

Они шли рядом степенно, неторопливо, с виду спокойные, но в каждом из них бурлил прилив невысказанного чувства, и оттого, что они молчали, чувство это все росло и росло. Мэри испытывала самую настоящую физическую боль в сердце. Они с Денисом шли, тесно прижавшись друг к другу, и ощущение его близости рождало в ней невыразимое томление, безмерную тоску, которую облегчала лишь рука Дениса, крепко прижимавшая ее руку, словно сковавшая ее трепещущее тело с его телом и, как целительный бальзам, успокаивавшая боль в груди.

Наконец они вдруг как-то помимо воли остановились и повернулись друг к другу. Мэри откинула назад голову, чтобы лучше видеть Дениса. Ее овальное личико было бледно от лунного света и казалось удивительно одухотворенным. Денис наклонился и поцеловал ее. Губы ее были мягки, горячи и сухи, она протянула их ему, словно причастие принимала. В первый раз она целовала мужчину, и, несмотря на ее полнейшую чистоту и невинность, в ней властно заговорил инстинкт пола, и она крепко прижалась губами к его губам.

Денис был потрясен. Его скромный опыт донжуана не заключал в себе ничего подобного этой минуте, и с таким чувством, словно он только что получил в дар нечто редкое и удивительно прекрасное, он, не сознавая, что делает, порывисто опустился на колени, обхватил Мэри руками и благоговейно приник лицом к ее платью. Запах грубой и заношенной шерстяной материи показался ему благоуханием; он ощущал под юбкой

ноги Мэри, такие трогательно тонкие и молодые, слабо вздрагивавшие от его прикосновения. Теперь ему ясно видна была маленькая впадинка у горла, от которой бежала вниз голубая жилка. Когда он снял с Мэри шляпу, непослушный локон свесился на ее бледный, гладкий лоб, и Денис поцеловал сначала эту прядку, поцеловал неловко, робко, с неуклюжестью, которая делала ему честь, а потом уже прижался губами к глазам Мэри и закрыл их поцелуями.

Они очутились в объятиях друг у друга, кусты ракитника и высокий тростник укрывали их, трава мягко поддавалась под ними. От соприкосновения их тел чудесная теплота разлилась по жилам, слова стали не нужны, и в молчании они забыли весь мир, видя и ощущая только друг друга. Голова Мэри лежала на плече Дениса, и меж ее полуоткрытых губ зубы блестели в лунном свете, как белые зернышки. Ее дыхание благоухало парным молоком. Снова Денису бросилась в глаза у изгиба шеи голубая жилка под белой кожей, напомнив ему ручеек, бегущий среди девственного снега, и он нежно погладил ее, осторожно проследив кончиками пальцев от шеи вниз. Как округлы и крепки были ее груди — каждая, как несорванное чудесное яблоко с гладкой кожурой, пряталась в его ладони, ожидая ласки. От прикосновения Дениса кровь бросилась Мэри в лицо, она часто задышала, но не оттолкнула его руки. Она чувствовала, как ее маленькие девичьи груди, которые до сих пор как-то оставались вне ее сознания, набухали, словно наливались соками из ее крови; казалось, вот-вот из сосков брызнет молоко для невидимого младенца. Потом сознание ее затуманилось, и, лежа с закрытыми глазами в объятиях Дениса, она забыла все, перестала существовать, она принадлежала уже не самой себе, а Денису. Душа ее быстрее ласточки устремилась к нему навстречу, ей казалось, что их души встретились, взлетели, оставив тела на земле, и несутся в вышине так легко, как те две бабочки, которых она видела сегодня, так же неслышно, как течет река, и никакие земные узы больше не сдерживают их упоительного полета.

Один за другим угасали огни ярмарки; старая лягушка с выпученными печальными глазами, которые светились в лунном свете, как драгоценные камни, выскочила из травы подле них и бесшумно ускакала; сверкающая гладь реки заволоклась серовато-белым туманом, потускнев, как тускнеет зеркало от дыхания, потом кружевное покрывало тумана окутало берег, сумрачные тени наполнили долины, земля стала холоднее, остывая под одевающим ее седым туманом. Туман глушил все звуки, и тишина стояла мертвая. Длилась она долго, пока где-то в реке не плеснула форель, подскочив и тяжело шлепнувшись обратно в воду.

При этом звуке Мэри шевельнулась и, наполовину придя в себя, шепнула чуть слышно:

— Денис, люблю тебя! Милый, милый мой!.. Но уже поздно, очень поздно. Нам надо идти.

Она с трудом подняла голову, медленно пошевелила онемевшими, как от наркоза, руками и ногами. Но вдруг молнией пронизало мозг воспоминание об отце, доме, сознание того, что произошло с ней. Вскочила испуганная, ужасаясь самой себе.

— Боже, что я наделала! Отец!.. Что будет с нами? — вскрикнула она. — Я безумная, что пошла сюда с тобой.

Денис тоже поднялся с земли.

— Ничего худого с тобой не случится, Мэри, — сказал он, пытаясь ее утешить. — Я люблю тебя. И позабочусь о тебе.

— Пусти меня, — возразила она, и слезы потекли по ее бледному лицу. — Ох, мне надо вернуться домой раньше, чем он, иначе я останусь на улице всю ночь и должна буду бродить, как бездомная.

— Не плачь, родная, — умолял Денис. — Мне больно видеть твои слезы. Не так уж поздно — еще нет одиннадцати. Не бойся, во всем виноват я, я и буду отвечать.

— Нет, нет! — вскрикнула Мэри. — Это я виновата. Мне совсем не следовало уходить из дому. Я послушалась отца. Страдать буду я одна.

Денис обнял одной рукой дрожавшую девушку и, заглянув ей в глаза, сказал твердо:

— Тебе не придется страдать, Мэри. Прежде, чем мы расстанемся, я хочу, чтобы ты поняла вот что: я тебя люблю, люблю больше всего на свете. И женюсь на тебе.

— Да, да, — всхлипывала она. — Только отпусти меня. Мне надо бежать домой. Отец меня убьет. Если он сегодня нигде не задержится и придет домой раньше меня, он сделает что-нибудь ужасное со мной... с нами обоими.

Она кинулась бежать по тропинке, скользя и спотыкаясь оттого, что так спешила, а Денис бежал за ней, пытаясь успокоить ее и утешить нежнейшими словами. Но хотя она от этих слов и перестала плакать, она мчалась все так же быстро и молча, пока они не добежали до города. Здесь Мэри круто остановилась.

— Не ходи дальше, Денис, — сказала она, тяжело дыша. — Мы можем встретить его... отца.

— Да ведь на дороге так темно, — возразил он. — Я боюсь отпустить тебя одну.

— Ты должен уйти, Денис! А вдруг он увидит нас вместе!
— Да как же ты пойдешь одна в темноте?
— Ну что ж делать! Я буду бежать всю дорогу.
— Но ты заболеешь, если будешь так мчаться, Мэри. Посмотри, какая тьма... И дорога так пустынна.
— Пусти меня! Так надо. Я дойду одна. Прощай!

В последний раз руки их сошлись, и Мэри убежала от него. Ее фигура исчезла, словно растаяла во мраке.

Денис вглядывался в сплошную темноту, тщетно стараясь не потерять из виду быстро бегущую девушку; не решаясь ни окликнуть Мэри, ни побежать за ней, он растерянно поднял руки, словно умоляя ее вернуться, но затем медленно опустил их и, долго простояв в такой нерешительности, в конце концов повернулся и, удрученный, побрел домой.

Тем временем Мэри в паническом страхе, преодолевая усталость, мчалась по той самой дороге, которую в начале этого вечера прошла так легко. Ей казалось, что за эти несколько часов она прожила целый век. Подумать только, она, Мэри Броуди, поздно вечером одна на улице! Звук ее одиноких шагов пугал ее, раздавался громко в тишине, как немолчное обвинение, которое мог услышать ее отец, мог услышать кто угодно; он вопил о ее безумии, о предосудительности положения, в котором она очутилась. Денис хочет жениться на ней! Он, видно, тоже сошел с ума; он представления не имеет о том, какой человек ее отец и какую жизнь она ведет дома. Эхо ее шагов точно дразнило ее, твердя, что она поступила как безумная, бросившись очертя голову в такое опасное приключение, и самая мысль о любви к Денису казалась теперь жуткой и мучительной нелепостью.

Приближаясь к дому, она неожиданно заметила впереди себя человеческую фигуру и при мысли, что это может быть ее отец, оцепенела от ужаса. Правда, он чаще всего возвращался из клуба после одиннадцати, но бывало, что приходил и раньше. Подходя все ближе, молча догоняя неизвестного, Мэри говорила себе, что это, несомненно, отец. Но вдруг у нее вырвался стон облегчения: она узнала брата и, позабыв осторожность, бросилась к нему.

— Мэт! О Мэт! Подожди! — прокричала она, задыхаясь, и, налетев на него, ухватила за его плечо, как утопающая.

— Мэри! — воскликнул Мэт, сильно вздрогнув, не веря своим глазам.

— Да, я, Мэт. Слава богу, это ты, а я сначала подумала, что это отец.

— Но... Господи помилуй, Мэри, что ты делаешь здесь в такой час? — продолжал Мэт, шокированный и удивленный. — Где ты была?

— Об этом после, Мэт. Скорее войдем, пока не пришел отец. Пожалуйста, Мэт, голубчик! Не спрашивай меня пока ни о чем.

— Да что ты это затеяла? Где ты была? — твердил Мэт. — Что подумает мама?!

— Мама думает, что я легла спать или что я читаю у себя в комнате. Она знает, что я часто читаю поздно, дожидаясь тебя.

— Мэри, какая ужасная выходка! Я просто не знаю что и думать. Встретить тебя на улице ночью! Какой срам!

Он прошел несколько шагов, потом вдруг, как бы под влиянием внезапной мысли, круто остановился.

— Было бы очень неприятно, если бы мисс Мойр узнала об этом. Позор! Такое поведение моей сестры уронило бы и меня в ее глазах.

— Не говори ей ничего, Мэт! И никому не говори. Скорее войдем! Где твой ключ? — торопила его Мэри.

Бормоча что-то себе под нос, Мэтью вошел на крыльцо, и, видя, что он отпирает дверь, Мэри вздохнула с облегчением: раз дверь не заперта на засов, значит отца еще нет. В доме было тихо, никто ее не поджидал, никто не осыпал ее обвинениями и укорами, и, убедившись, что она каким-то чудом спасена, Мэри в горячем порыве благодарности взяла брата под руку, и они бесшумно начали взбираться по темной лестнице наверх.

Очутившись наконец у себя в спальне, она тяжело перевела дух, и пока она уверенно пробиралась ощупью среди знакомых предметов, самое прикосновение к ним ее успокаивало. Слава богу, она в безопасности! Никто не узнает! Она поскорее разделась в темноте, скользнула в постель, и сразу же прохладные простыни обласкали ее усталое, разгоряченное тело, а мягкая подушка — болевшую голову. Она погрузилась в блаженное забытие, сомкнулись дрожащие веки, расправились пальцы рук, голова склонилась к плечу, дыхание стало спокойным и ритмичным, и с последней волнующей мыслью о Денисе она уснула.

III

Джемс Броуди проснулся утром, когда в окно спальни брызнул поток солнечных лучей. Он оттого и выбрал для спальни эту комнату в задней половине дома, что какой-то звериной любовью любил солнце, любил, чтобы яркие утренние лучи ударили в окно и, будя его, словно просачивались сквозь одеяло в его тело, наливая его бодростью и силой. «Ничего нет полезнее утреннего солнца», — твердил он часто. Это была его любимая поговорка из того запаса мнимо глубоких истин, к которым он охотно прибегал в разговоре, изрекая их с видом авторитетным и значительным. «Утреннее солнце — замечательная вещь, скажу я вам. Им недостаточно пользуются. Но в моей комнате его достаточно, я об этом позаботился!»

Проснувшись, Броуди широко зевнул и блаженно потянулся всем своим массивным телом; некоторое время он с удовольствием наблюдал из-под полуопущенных век за золотистым роем пылинок, плясавших в солнечном луче, затем вопросительно сощурился на каминные часы, стрелки которых показывали только восемь; убедившись, что можно еще с четверть часа полежать, он зарылся головой в подушку, повернулся на другой бок и барахтался под одеялами, как громадный дельфин. Но скоро голова его снова вынырнула наружу.

Несмотря на чудесное утро, на щекотавший ноздри аппетитный запах, поднимавшийся снизу, где жена варила овсянку, Броуди не испытывал того полного довольства, какое, по его мнению, мог бы сегодня испытывать.

Хмурясь и, видимо, пытаясь отыскать причину своего недовольства, он повернулся, и взгляд его упал на углубление среди простынь на другой половине кровати, оставленное телом его жены, которая, как всегда, встала уже целый час тому назад, чтобы все приготовить и подать завтрак на стол в ту минуту, когда хозяин сойдет вниз.

«Ну что толку в такой женщине! — подумал Броуди с возмущением. — Разве это жена для такого человека, как я?»

Пускай она стряпает, моет и убирает, штопает ему носки, чистит сапоги... эх, пускай хотя бы лижет ему сапоги, — но ведь как женщина она уже никуда не годится. К тому же со времени последних родов — когда она родила ему Несси — она постоянно болеет и вечно киснет и хнычет, оскорбляя его инстинкты здорового и крепкого мужчины своим вялым бессилием, вызывая в нем отвращение своей хилостью. Незаметно для нее,

например, по утрам, когда она, встав с постели раньше мужа, бесшумно, словно крадучись, одевалась, он уголком глаза наблюдал за ней с чувством, похожим на омерзение. Не далее как в последнее воскресенье, застав ее в тот момент, когда она прятала в постели какую-то испачканную принадлежность своего туалета, он заорал на нее как бешеный: «Нечего из моей спальни делать мусорную свалку! Мало того что я терплю здесь тебя, так ты еще будешь совать мне в лицо свое грязное тряпье!»

Он с горьким озлоблением признавался себе, что она ему давно противна; самый запах ее тела был ему ненавистен, и, не будь он порядочным человеком, он бы давно искал на стороне то, чего ему нужно. Что это ему снилось нынче ночью? Он плотоядно выпятил нижнюю губу и сильно напряг ноги, смакуя этот сон, припоминая, как он гнался по лесу за дразнившей его молодой бесстыдницей, которую спасала от него быстрота ног, несмотря на то что и он мчался как олень. Она неслась быстрее лани. Ее длинные волосы летели за ней по ветру, и никакая одежда не стесняла ее движений — на ней не было и нитки. Но, убегая так быстро, она все же оборачивалась и усмехалась ему обольстительной, дразнящей усмешкой. «Эх, попадись она только мне в руки...» — подумал он, давая волю своей фантазии. Он лежал, грея на солнце большое тело, губы раздвинулись в бесстыдную и вместе сардоническую улыбку. «Да, попадись она мне в руки, она бы у меня запела по-иному».

Вдруг он увидел, что уже четверть девятого, и сразу вскочил с постели, надел носки, брюки и домашние туфли, снял бывшую на нем длинную ночную сорочку. Его обнаженный торс блестел, мускулы плеч и спины, как гибкие узловатые веревки, ходили под белой кожей, лоснившейся как шелк, и только на груди густо росли темные волосы, как мох на скале.

С минуту он стоял перед небольшим зеркалом, висевшим над умывальником, любуясь блеском своих глаз и крепкими белыми зубами, поглаживая пальцами колючую щетину на широком подбородке. Затем, все еще голый по пояс, отвернулся от зеркала, взял ящичек красного дерева, в котором лежало семь специально отточенных бритв из шэффилдской стали, с костяными ручками — на каждой был указан один из дней недели. Броуди осторожно вынул ту, на ручке которой было вырезано «пятница», проверил остроту ногтем большого пальца и принялся медленно править бритву на ремне, висевшем тут же на предназначенном для него крюке. Ремень был толстый и, как не раз имели случай убедиться в детстве Мэри и Мэтью, изрядно жесткий. Броуди медленно водил бритвой вверх и вниз по его буро-коричневой поверхности, пока лезвие не было великолепно отточено. Затем он подошел к двери, взял принесенную вовремя, минута в минуту,

горячую воду для бритья, от которой поднимался пар, вернулся к зеркалу, густо намылил лицо и начал бриться медленно, точно рассчитанными движениями. С методической аккуратностью выбрил гладко подбородок и щеки, осторожно обходя блестящие завитки усов и проводя бритвой по тугой коже такими твердыми, размеренными движениями, что в тишине спальни слышались правильно чередовавшиеся хрустящие звуки. Выбравшись, он обтер бритву бумажкой из специально нарезанной стопки (приготовление и пополнение которой было обязанностью Несси) и уложил в футляр, затем, вылив воду из кувшина в таз, с азартом вымылся холодной водой, плеская ее себе в лицо, поливая полными пригоршнями грудь, голову и плечи. Такое усердное умывание холодной водой, даже в самые холодные зимние утра, вошло у него в неизменную привычку и, как он утверждал, прекрасно влияло на здоровье, предохраняя от насморка, которому была так подвержена его супруга. «Я люблю холодную воду, — хвастал он частенько, — и чем она холоднее, тем лучше. Ого! Я способен проломить лед, чтобы окунуться, и чем больше вода леденит, тем больше я потом разогреваюсь. А после этого я не стучу зубами, и у меня не течет из носа, как у некоторых других, которых я мог бы вам назвать. Нет, нет! У меня только разогревается кровь. Побольше холодной воды — от нее человек здоровее».

Умывшись, он крепко растер грудь и руки жестким мохнатым полотенцем, насвистывая сквозь зубы и чувствуя, как бодрость и теплота разливаются по всему телу и отчасти разгоняют скверное настроение, в котором он проснулся.

Он закончил туалет, надев, все с той же методической аккуратностью, сорочку дорогого тонкого полотна, крахмальным воротничок фасона «Гладстон», галстук с узором «птичий глаз», заколотый золотой булавкой в виде подковы, вышитый серый жилет и длинный сюртук отличного тонкого сукна. Потом сошел вниз.

Завтракал он всегда один. Мэтью уходил из дому в шесть, Несси — в половине девятого, бабушка никогда не вставала раньше десяти часов, а миссис Броуди и Мэри съедали что-нибудь на скорую руку, когда захочется, в тех темных закоулках, где происходила стряпня; так и выходило, что глава семьи садился за свою большую тарелку каши в гордом одиночестве. Ел он всегда с большим удовольствием, а к завтраку, полный утренней бодрости, приходил с особенным аппетитом, и теперь жадно накинулся на кашу, потом принялся за два свежих яйца всмятку (которые полагалось варить строго определенное количество минут и подавать уже вылитыми в чашку), большие мягкие булочки, намазанные толстым слоем масла, и кофе,

который он очень любил и который только ему одному в доме и подавался.

Мэри, прислуживая ему во время еды, бесшумно ходила из кухни в посудную и обратно. Поглядев на нее из-под опущенных век, он заметил, как она бледна, но не сказал ничего: такова была его домашняя политика — не позволять женщинам считать себя больными. В данном случае он даже почувствовал внутреннее удовлетворение, приписав подавленный вид дочери и темные круги под ее глазами своей энергичной атаке на нее накануне вечером.

Позавтракав в молчании, он, как обычно, вышел из дому ровно в половине десятого и минуту постоял у ворот, с гордостью озирая свои владения. Удовлетворенным взглядом обежал он всю небольшую усадьбу, отмечая про себя, что на посыпанном гравием дворе не пробивалось ни травинки, на окраске не было ни пятнышка, на сером мрачном камне — ни малейшего дефекта, и с величайшим самодовольством любуясь своим созданием. Ибо дом весь был его созданием. Пять лет тому назад он купил этот участок земли и подробно объяснил подрядчику Юри, какой дом он хочет себе построить, показав ему грубо сделанные им самим чертежи. Юри, человек положительный и прямой, посмотрел на него с удивлением и сказал:

— Будь вы каменщик, вы бы не носились с такими затеями. Но вы, я вижу, фантазер. Да вы представляете себе, как будет выглядеть этот проект в камне и известке?

— Это мое дело, Юри. Не вы, а я буду жить в этом доме, — возразил Броуди со спокойным упрямством.

— Но он потребует много лишнего труда и денег. Взять хотя бы расходы на прорезку такого парапета! А какой в этом прок? — И Юри разложил перед собой на столе карандашный эскиз.

— Расходы мои, а не ваши, Юри, — снова обрезал его Броуди.

Подрядчик нахлобучил шапку, в недоумении почесал голову карандашом, но все продолжал его увещевать:

— Не может быть, чтобы вы это предлагали серьезно, Броуди! Такой дом был бы хорош, если бы он был в десять раз больше, а вы ведь хотите только шесть комнат и кухню. Получится что-то нелепое. Весь город будет смеяться над вами.

— Посмотрим! — угрожающе воскликнул Броуди. — Не завидую тому, кто посмеет открыто смеяться над Джемсом Броуди.

— Да полноте, Броуди, — все уговаривал его Юри, — предоставьте это дело мне, я вам построю хорошую, солидную виллу вместо этой пародии на замок, с которой вы носитесь.

Глаза Броуди приняли странное выражение, в них вспыхнул мрачный огонь.

— Выражайтесь повежливее, когда вы говорите со мной, Юри, черт бы вас побрал! Не нужно мне ваших нарядных бонбоньерок. Я хочу иметь дом по своему вкусу. — Но он тотчас же овладел собой и добавил обычным спокойным тоном: — Не хотите — не надо. Я предлагаю вам работу, а если она вам не по душе, так в Ливенфорде найдутся другие подрядчики.

Юри посмотрел на него и свистнул.

— Вот вы как заговорили! Что ж, ладно. Раз вы стоите на своем, я приготовлю план и смету. Упрямый человек всегда останется при своем. Но только помните, что я вас предупреждал. Когда дом будет выстроен, не приходите и не просите меня снести его и строить другой.

— Нет, нет, Юри, не беспокойтесь, — усмехнулся Броуди. — Я приду к вам только в том случае, если вы не сделаете всего так, как я требую, — и тогда вам не поздоровится. А теперь беритесь за дело и не теряйте времени на болтовню.

Планы были изготовлены, просмотрены Броуди, и постройка началась. Дом вырастал с каждым днем на глазах будущего хозяина, который прохладными вечерами приходил сюда следить, точно ли выполняется его проект, пожирал глазами гладкий белый камень, растирал между пальцами известку, проверяя ее качество, поглаживал блестящие свинцовые трубы, взвешивал и одобрительно вертел в руках тяжелые квадратные черепицы. Все делалось из наилучших материалов, и хотя это сильно отозвалось на его кошельке, можно сказать, совсем истощило его, но так как на свои нужды Броуди никогда не жалел денег и копил он их только для этой единственной цели, то он был горд тем, что цель достигнута, что он может теперь выехать из наемного дома на Ливенгров-плейс, что осуществилось наконец его заветное желание.

К тому же он оказался прав: над домом никто не смеялся открыто.

Однажды вечером, вскоре после того, как дом был закончен, один из компании праздных гуляк, шатавшихся на площади, выступил вперед и заговорил с Броуди.

— Добрый вечер, мистер Броуди. — Он хихикнул, оглянулся на своих товарищей, видимо ища одобрения, потом снова повернулся к Броуди. — Ну, в каком состоянии сегодня ваш замок?

Броуди хладнокровно посмотрел на него.

— В лучшем, чем вы, — отрезал он и с ужасающей силой ударил насмешника кулаком в лицо, затем достал из кармана чистый полотняный носовой платок, вытер им кровь с пальцев и, безглаголиво бросив платок на

землю подле сваленного его ударом человека, спокойно пошел дальше.

Положение, которое Джемс Броуди занимал в городе, явно изменилось за последние пять лет; с тех пор как он выстроил себе дом, уважение к нему возросло, но его стали еще больше сторониться, поглядывали на него с опаской. Его общественное значение росло, а вместе с ним и одиночество. Он постепенно становился все более заметной фигурой в городе, у него было теперь много знакомых, но ни одного друга.

Постояв у ворот, он бросил последний взгляд на свой дом, выпрямил плечи и зашагал по дороге. Отойдя немного, он заметил в окне одного из соседних домов чье-то лицо, выглядывавшее из-за занавесей, и усмехнулся про себя: это был мелкий бакалейный торговец Петигрю, который только недавно поселился в столь аристократическом соседстве и сразу же, стремясь поднять свой престиж, решил ходить по утрам в город вместе с Броуди. Великий человек в первый раз стерпел эту вольность, но, когда и на второе утро увидел, что какой-то ничтожный мелкий лавочник снова поджидает его, он круто остановился.

— Петигрю, — сказал он спокойно, — уж не обманывают ли меня глаза? Вы снова здесь? Очень любезно с вашей стороны каждый день провожать меня, но лучше не надо. Притом я быстрый ходок. Идите себе своей дорогой и не утруждайте своих кривых ножек, пытаюсь не отставать от меня. Прощайте!

Проходя сегодня мимо дома Петигрю, Броуди саркастически усмехнулся при мысли, что теперь нервный Петигрю избегает его, как чумы, и завел обыкновение по утрам следить за ним из окна: только когда он скрывался из виду, Петигрю осмеливался выйти на улицу.

Броуди скоро миновал тихий жилой квартал и вступил в центральную часть города. Здесь, в южном конце Черч-стрит, какой-то ремесленник с сумкой, в которой он нес свои инструменты, проходя мимо, дотронулся до шапки. При этом знаке почтения, оказываемом лишь самым видным людям в городе, Броуди невольно выпятил грудь. «Доброе утро!» — любезно крикнул он, откинув голову в приступе надменной веселости. Завернув за угол, на Хай-стрит, он зашагал вверх по главной улице, держа палку на плече, как солдат ружье. Дойдя до самого верха Хай-стрит, он остановился у невзрачной с виду лавки.

Лавка была старая, грязная, с узкой, неприметной дверью, с одним небольшим окном, в котором не было выставлено никаких образцов товара; окно это с внутренней стороны было затянуто тонкой проволоочной сеткой, которая, закрывая его, как маска, открывала вместе с тем тайну лавки, так как на сером фоне сетки выступало написанное потускневшими золотыми

буквами на стекле одно-единственное слово: «Шляпы». Итак, это был магазин шляп. И хотя лавка была самой крупной и известной в городе, она как будто стремилась укрыться от людских глаз и стояла несколько в стороне от линии других домов, позволяя им выступать вперед и возвышаться над нею, словно, несмотря на прочность своего положения, желала оставаться незаметной и, насколько возможно, скрыть свое содержимое и все, что происходило внутри, от любопытных глаз. Вывеска над входом тоже стерлась и поблекла от времени и непогод, краска на ней от солнца местами покрылась мелкими трещинами, местами же была смыта дождями. Но на ней все еще можно было разобрать надпись узкими косыми буквами: «Джемс Броуди». Лавка принадлежала Броуди. Он каждое утро неизменно с каким-то удивлением констатировал про себя этот факт и в течение двадцати лет относился к своему предприятию с иронической терпимостью. Конечно, оно было для него единственным средством к жизни, неприглядным источником приличного и приятного существования, это солидное, верное предприятие, дававшее ему возможность и хорошо одеваться, и беззаботно бренчать деньгами в карманах. Но Броуди относился к нему как человек, который со снисходительным презрением замечает в себе какую-нибудь мелкую, но неприличную слабость. Он, Броуди, — торговец шляпами! Он этого не стыдился, наоборот, — он наслаждался смешной нелепостью этого факта, упивался контрастом между собой и своей профессией, контрастом, который, по его мнению, постоянно должен был всем бросаться в глаза.

Он повернулся и с высокого места, где стоял, озирает улицу, подобно монарху, который показывается народу и милостиво позволяет себя рассматривать. Он, Броуди, — не более как торговец шляпами!

Удивительная нелепость такого положения всегда занимала его мысли, неизменно поражала его. Вот и сейчас, когда он вошел в лавку, чтобы начать свой рабочий день, он внутренне хохотал над этим.

Лавка производила впечатление запущенной, в ней было темно и почти грязно. Во всю длину она разделялась пополам длинным прилавком, который служил барьером между отделением для посетителей и служебными помещениями; на одном конце этого истертого, покрытого зазубринами прилавок стоял ряд подставок из потускневшей меди с надетыми на них шляпами и фуражками разного фасона и цвета. Другим, дальним концом прилавка упирался в стену, и часть его поднималась, открывая доступ к лестнице, которая вела к застекленной двери с надписью на стекле: «Контора». Под этой дверью выступал во все стороны небольшой, имеющий форму полуподковы шкаф из заднего помещения,

часть которого отошла под контору. Здесь теперь с трудом умещались гладильная доска и железная печка, сушившая и без того лишенный влаги тяжелый воздух.

В самой лавке стены были оклеены коричневато-красными обоями и украшены несколькими старыми гравюрами. Шляп в лавке было выставлено мало, да и на тех не было ярлычков с указанием цен, а между тем позади прилавка высился ряд больших шкафов красного дерева и длинный ряд полок, на которых до самого потолка громоздились пирамиды картонок.

За прилавком, спиной к этому богатому, но скрытому запасу товаров, стоял молодой человек, наружность которого наводила на мысль о скрытых в нем запасах добродетели. Он был худ и бледен, его лицо своей бескровностью робко протестовало против отсутствия в лавке солнечного света и местами было изрыто почетными рубцами, полученными в непрестанной войне с одолевавшими его фурункулами, неприятной склонностью организма, которую его нежная мать объясняла малокровием и от которой лечила его, постоянно пичкая хинином Пеппера и железом.

Впрочем, его в общем приятного лица ничуть не портили ни эти мелкие недостатки, ни небольшая, но назойливая бородавка, самым неделикатным образом избравшая себе место на кончике носа. Лицо это выгодно оттенялось копной темных волос, всегда торчавших во все стороны, несмотря на то что он усердно их помадил, и так обильно обсыпанных перхотью, что избыток ее, подобно инею, хлопьями лежал на воротнике пиджака. В остальном наружность его была привлекательна, а костюм строго соответствовал социальному положению. Но он распространял вокруг себя специфический кислый запах, вызываемый склонностью к усиленному потению, в особенности ног, — прискорбное, но ничем не преодолимое свойство, из-за которого Броуди по временам выкидывал его вон из лавки через заднюю дверь, выходящую на реку Ливен, посылая ему вдогонку кусок мыла и циничный приказ вымыть благоухающие конечности. Таков был Питер Перри, посыльный, приказчик, помощник, истопник, гладильщик, лакей хозяина и его фактотум — все вместе в одном лице.

При входе Броуди Питер Перри, упираясь руками в прилавок, растопырив пальцы, согнув локти, наклонился всем телом вперед, так что видно было не столько лицо, сколько макушка, и в самозабвении подобострастия ожидал приветствия хозяина.

— Доброе утро, Перри!

— Доброе утро, мистер Броуди, сэр, — ответил Перри с нервной

поспешностью, показывая уже немного больше лицо и меньше — волосы. — Сегодня опять прекрасное утро, сэр! Просто удивительно в такое время года! Чудная погода! — Он сделал почтительную паузу и продолжал: — С утра приходил мистер Дрон, сказал, что ему необходимо видеть вас по делу, сэр.

— Дрон? Какого черта ему от меня нужно?

— Не могу знать, сэр. Он сказал, что придет еще раз, попозже.

— Гм! — буркнул Броуди, проходя в свою контору. Здесь он бросился в кресло и, не обращая внимания на несколько деловых писем, лежавших на письменном столе, закурил трубку. Потом сдвинул шляпу на затылок — он никогда ее не снимал в лавке, как бы подчеркивая этим свое привилегированное положение, — и раскрыл газету «Глазго Херолд», предупредительно положенную у него под рукой.

Медленно шевеля губами, читал он передовицу; иногда ему приходилось дважды перечитывать какую-нибудь трудную фразу, чтобы уловить ее смысл, но он упорно продолжал читать. Время от времени он опускал газету и неподвижно смотрел в стену перед собой, напрягая все силы неповоротливого ума, чтобы как следует понять смысл прочитанного. Он каждое утро ставил себе трудную задачу разобраться в политическом содержании передовой статьи «Глазго Херолд»: он считал это обязанностью всякого человека, занимающего солидное положение. Кроме того, читая газету, он запасался вескими аргументами для будущих серьезных разговоров, и этим объяснялось его усердие, несмотря на то что к следующему утру содержание прочитанного совершенно исчезало из его памяти.

Так он упорным трудом одолел уже полстолбца, когда ему помешал чей-то неуверенный стук по стеклу двери.

— Кто там? — крикнул Броуди.

Перри (ибо так стучать мог только Перри) ответил сквозь закрытую дверь:

— К вам мистер Дрон, сэр.

— Какого черта ему нужно? Не знает он, что ли, что я читаю передовицу «Геральд» и не люблю, когда мне мешают!

Дрон, личность унылая и незначительная, стоял тут же за плечом Перри и слышал каждое слово. Это было отлично известно Броуди, и это-то и побуждало его со злобным юмором подавать свои реплики в самой неприятной форме и как можно громче. Со слабой усмешкой он из-за газеты прислушался к происходившему за дверью совещанию вполголоса.

— Мистер Броуди, он говорит, что отнимет у вас не больше

минуты, — вкрадчиво уверял Перри.

— Минуту, вот как! Хорошо, если ему уделят и секунду! Я не имею ни малейшего желания его видеть, — все так же громко насмеялся Броуди. — Спроси, что ему нужно, и если ничего важного, так пускай этот недоносек побережет свое дыхание, оно ему пригодится для того, чтобы дуть на горячую похлебку.

За дверью снова переговоры шепотом. Перри с энергичной мимикой, которая выразительнее слов, доказывает Дрону, что он сделал в защиту его интересов все, что возможно, и не нарушает его собственной безопасности.

— Поговорите с ним сами в таком случае, — пробормотал он наконец для очистки совести, отказываясь от посредничества и ретируясь обратно за прилавок.

Дрон приоткрыл дверь на какой-нибудь дюйм и заглянул в контору.

— А, вы еще здесь? — заметил Броуди, не отводя глаз от газеты, которую он снова поднял, делая вид, что читает.

Дрон откашлялся и открыл дверь чуточку пошире.

— Мистер Броуди, можно мне потолковать с вами? Я задержу вас только на одну минуточку, не больше, — воззвал он, потихоньку продвигаясь в контору через щель осторожно приоткрытой двери.

— Ну чего вам? — прорычал Броуди, сердито посмотрев на него. — Никаких дел у нас с вами нет, насколько мне известно. Мы с вами — птицы разного полета.

— Я это хорошо знаю, мистер Броуди, — смиренно ответил посетитель. — И по этой самой причине я и пришел к вам. Я пришел, так сказать, за советом и для того, чтобы сделать вам одно маленькое предложение.

— Ну, в чем же дело? Да не вертитесь вы, как курица на горячей сковороде!

Дрон нервно мял в руках шапку.

— Видите ли, мистер Броуди, в последнее время моя торговля шла не особенно хорошо... И я пришел поговорить насчет моей лавки, которая находится рядом с вашей.

Броуди снова посмотрел на него:

— Это та полуразвалившаяся лавчонка, что пустует вот уже три месяца? Кто же ее не заметит — она торчит на нашей улице, как бельмо на глазу.

— Да, она давно пустует, — кротко согласился Дрон. — Но все-таки это в некотором роде имущество, и, по правде сказать, почти единственное, какое у меня еще осталось... и я уже совсем было отчаялся, да мне вдруг

пришла одна мысль, и я подумал, что она, может быть, вас заинтересует...

— Ну еще бы! — фыркнул Броуди. — Как тут не заинтересоваться! Такая умная голова всегда что-нибудь придумает интересное! Ну, в чем же состоит ваша великая мысль?

— Я подумал... — робко начал Дрон, — что у вас такая большая торговля, а лавка, пожалуй, для нее маловата, так не пожелаете ли вы расширить ее: снять мою лавку и сделать одно большое помещение, быть может, с одной зеркальной витриной или с двумя...

Броуди долго и саркастически смотрел на него.

— Скажите пожалуйста! Так это ради расширения моей торговли вы все придумали и приходили сюда дважды сегодня утром? — произнес он наконец.

— Разумеется, нет, мистер Броуди. Я ведь вам только что объяснил, что мне туго приходится в последнее время: то да другое, да жене опять скоро родить, так что я решил сдать внаем свою лавку.

— Нет, это уж слишком, право! — Броуди почти мурлыкал от удовольствия. — Вот такие жалкие пачкуны, как вы, всегда обзаводятся большой семьей. Надеюсь, вы не возлагаете на меня ответственность за это новое прибавление семейства? О, я знаю, вы любите своих многочисленных отпрысков. Говорят, у вас их столько, что вам самому не сосчитать... Но я-то, — продолжал он уже другим тоном, — тут ни при чем. Я своему делу хозяин и веду его так, как нахожу нужным. Скорее я стал бы, кажется, давать в придачу к проданным шляпам мешки с конфетами, чем завел бы крикливую зеркальную витрину. Черт возьми, разве вы не знаете, что самые видные люди в городе — мои постоянные покупатели и друзья? Ваша пустая лавчонка вот уже много месяцев торчит, словно прыщ, рядом с моим солидным предприятием. Сдайте вы ее, ради бога, сдайте обязательно! Можете сдать ее хоть самому дьяволу, но сдать ее *мне* вам никак не удастся! А теперь ступайте отсюда и никогда больше не надоедайте мне такими пустяками. Я человек занятой, и некогда мне выслушивать ваши дурацкие рассуждения.

— Слушаю, мистер Броуди, — отвечал тихо Дрон, теребя в руках шапку. — Извините, если я вас чем обидел. Я подумал, что спрос не беда... да с таким суровым человеком, как вы, трудно говорить.

Он с безутешным видом отвернулся, собираясь уйти, но в эту минуту в комнату влетел взволнованный Перри.

— Кабриолет сэра Джона у дверей, мистер Броуди, — пролепетал он. — Только что на моих глазах подъехал!

Приказчик обязан был обслуживать обыкновенных покупателей, так

сказать, массы, не беспокоя хозяина, но когда лавку посещала какая-нибудь важная персона, он, помня приказ, мчался за хозяином, как встревоженная борзая.

Броуди поднял брови и взглянул на Дрона, как бы говоря: «Вот видите!» Затем, крепко взяв последнего за локоть (ибо он не хотел, чтобы сэр Джон застал его в таком неподобающем обществе), вывел его из конторы, протащил через лавку и последним толчком выбросил за дверь. Окончательно пришибленный позором этого последнего, неожиданного и сильного пинка, Дрон споткнулся и, упав навзничь, во весь рост растянулся на земле в тот самый миг, когда сэр Джон Лэтта выходил из экипажа.

Лэтта с громким хохотом вошел в лавку и подошел к Броуди.

— Ну, Броуди, давно я не видывал ничего забавнее! Какое у него было лицо, у бедняги! — воскликнул он, ударяя себя по ляжке перчатками. — Счастье еще, что он не ушибся. Это, вероятно, докучливый кредитор, да? — добавил сэр Джон лукаво.

— Вовсе нет, сэр Джон! Просто болтун, который всегда всем надоедает.

— Вот этот маленький человечек? — Сэр Джон одобрительно поглядел на Броуди. — А вы, милейший, и сами не знаете, какая у вас сила! Вы страшно сильный варвар!

— Я только чуть задел его пальцем, — самодовольно отозвался Броуди, гордясь тем, что удостоился внимания такого видного человека, почтенного главы знаменитой фирмы Лэтта. Внимание это было сладким фимиамом для его самолюбия.

— Я мог бы одной рукой поднять на воздух дюжину таких, как он, — добавил он небрежно, — да не стоит руки марать. Это ниже моего достоинства.

Сэр Джон Лэтта смотрел на него с легкой иронией.

— А знаете, Броуди, вы — оригинальный субъект. Должно быть, оттого мы вас так и отличаем. В теле Геркулеса душа... гм... — Он усмехнулся. — Ну да с вами ведь можно говорить прямо. Слыхали, конечно, ходячую фразу «*Odi profanum vulgus et arceo*»?

— Совершенно правильно! Совершенно правильно! — благодушно подхватил Броуди. — Вы всегда умеете складно сказать, сэр Джон. Что-то в этом роде я читал сегодня утром в «Геральд». Вполне с вами согласен. — Он понятия не имел, что хотел сказать сэр Джон.

— Однако вы не слишком увлекайтесь, Броуди, — продолжал сэр Джон, предостерегающе качая головой. — Иной раз и пустяк имеет серьезные последствия. Вы этак, пожалуй, всех в городе перекалечите. Нет,

свои баронские замашки вы уж лучше оставьте. Надеюсь, вы меня понимаете? Однако, — добавил он, резко меняя тон на более сухой и официальный, — я не могу задерживаться, очень спешу на заседание. Мне нужна панама. Настоящая, конечно. Никогда еще с тех пор, как я уехал из Барбадоса, я не страдал от солнца так, как сейчас. Если нужно, выпишите из Глазго. Моя мерка у вас имеется.

— Вам сегодня же будут доставлены в Ливенфорд-хаус лучшие панамы на выбор, — с готовностью ответил Броуди. — Я не доверю вашего заказа моему персоналу, я сам им займусь.

— Отлично. Да, кстати, Броуди, — он остановился на пути к дверям, — чуть не забыл: мои представители в Калькутте пишут, что готовы принять вашего сына. Он может выехать на «Ирравади» четырнадцатого июня. Это почтовый пароход в тысячу девятьсот тонн. Красивое судно! Наши люди позаботятся о том, чтобы вашему сыну оставили койку.

— Это более чем любезно с вашей стороны, сэр Джон, — сладко промурлыкал Броуди. — Не знаю, как вас и благодарить. Я вам бесконечно обязан за то, что вы уделяете мне столько внимания.

— Пустяки, пустяки, — рассеянно возразил тот. — У нас там множество молодых людей, но они нужны нам в доках. Климата бояться нечего, но жизнь в Индии такова, что ему придется быть начеку. Молодежь там иногда сбивается с пути. Я поговорю с ним, если будет время. Надеюсь, он вас не осрамит. Кстати, как поживает ваша красавица-дочь?

— Очень хорошо.

— А вторая — та способная девчурка?

— Превосходно, сэр Джон.

— А миссис Броуди?

— Благодарю вас, недурно.

— Очень рад. Ну, я ухожу. Так не забудьте же относительно шляпы.

Красивый, сухощавый, с наружностью патриция, он сел в кабриолет, взял вожжи из рук грума и помчался по Хай-стрит. Гладкие, лоснящиеся бока лошади так и блестели, яркие огни зажигали искры в мелькающих спицах, сверкающем металле, в начищенной кокарде грума и на глянцевином лакированном кузове.

Броуди воротился с порога, потирая руки, и, расширенными от тайного радостного возбуждения глазами глядя на Перри, который все время маячил поникшей неясной тенью в глубине лавки, закричал с непривычной словоохотливостью:

— Слышал, какой мы вели разговор? Замечательно, а? Было для чего

тебе наострить твои длинные уши! Впрочем, я думаю, добрая половина сказанного выше твоего понимания. И латыни ты не знаешь... Но ты слышал, что сэр Джон сказал насчет службы для моего сына и как он расспрашивал меня обо всей семье? Отвечай же, ты, несчастный болван! — Броуди повысил голос. — Слышал, как сэр Джон Лэтта разговаривал с Джемсом Броуди?

— Слышал, сэр, — пробормотал, заикаясь, Перри.

— Видал, как он со мной обращался? — шепотом допрашивал Броуди.

— Как же, мистер Броуди, видел, — отвечал приказчик, осмелев, так как понял, что ему не ставят в вину подслушивание. — Я не хотел... я не думал подслушивать или следить за вами, но я смотрел на вас обоих, сэр, и совершенно с вами согласен. Сэр Джон хороший человек. Он был очень добр к моей матери, когда отец умер так внезапно. Да, конечно, мистер Броуди, у сэра Джона для всякого найдется и доброе слово, и помощь.

Броуди с презрением посмотрел на него.

— Тьфу! — бросил он пренебрежительно. — Что за бред ты несешь, безмозглый дурак! Ничего ты не понял, червяк несчастный!

Не обращая внимания на убитый вид Перри после этой реплики и сохраняя все ту же дерзко-высокомерную и повелительную мину, он поднялся обратно к себе в контору, сел в кресло и, собирая листы утренней газеты, смотрел на них невидящим взглядом и тихонько бурчал про себя, как человек, который шутливо и в то же время серьезно тешится тщательно скрытой заветной тайной.

«Не понимают они. Не понимают!»

Целую минуту он сидел так, тупо уставясь в пространство, и в глубине его глаз мерцал слабый огонек. Потом резко мотнул головой, как будто могучим усилием воли освобождаясь от настроения, которого опасался, встряхнулся всем телом, как громадный пес, и, снова овладев собой, принялся спокойно и сосредоточенно читать газету.

IV

— Мэри, поставь чайник на огонь. Мы вернемся как раз вовремя, чтобы напоить Мэта чаем до его ухода к Агнес, — сказала миссис Броуди, чопорно поджимая губы и натягивая свои черные лайковые перчатки. Затем прибавила: — Смотри, чтобы он закипел, мы скоро вернемся.

Миссис Броуди была одета для одного из своих редких выходов в город, и в черном широком пальто, в шлемоподобной шляпе с перьями казалась до странности не похожей на самое себя. Рядом с ней стоял Мэтью, неуклюже-застенчивый и чопорный в своем новом, с иголки, костюме, таком новом, что, когда Мэтью стоял неподвижно, складки брюк держались прямо и остро торчали, как лезвия параллельно поставленных мечей. Оба, и мать и сын, имели вид необычный для буднего дня, но случай был настолько из ряда вон выходящий, что оправдывал самые необычные явления: это был канун отъезда Мэтью в Калькутту. Два дня тому назад он в последний раз отложил перо и снял с вешалки шляпу в конторе на верфи и с тех пор находился в непрерывном движении и состоянии странной нереальности, когда жизнь похожа на смутный сон, а в минуты пробуждения находишь себя в положениях и непривычных, и смущающих. Наверху, в его комнате, стоял уложенный сундук, и вещи в нем были пересыпаны шариками камфары, столь многочисленными, что они попали даже внутрь мандолины, и столь благоухающими, что во всем доме пахло, как в новой ливенфордской больнице, и запах этот встречал Мэтью, когда он приходил домой, нестерпимо напоминая об отъезде. В сундуке имелось все, чего мог бы пожелать самый опытный турист, начиная со шлема для защиты от солнца, самого лучшего, какой можно было достать, — подарка отца, и Библии в сафьяновом переплете — подарка матери, и кончая патентованной фляжкой с автоматическим затвором, полученной от Мэри, да карманным компасом, купленным Несси на деньги, которые она скопила, получая каждую субботу пенни.

Отъезд был уже на носу, и в последние дни Мэтью испытывал сильное и неприятное томление в животе, где-то вблизи пупка. Если бы это зависело от него, он бы охотно, жертвуя своими интересами, отказался от таких сильных ощущений, но, как нервный новобранец перед сражением, он силой обстоятельств лишен был возможности отступить. Львы, какую-нибудь неделю назад занимавшие его воображение и не сходившие у него с языка, когда ему хотелось произвести впечатление на Мэри и маму, теперь

возвращались с рычанием и терзали его во сне. Его не утешали постоянные уверения людей, бывавших на верфи, что Калькутта уж во всяком случае побольше Ливенфорда, и он завел теперь привычку каждый вечер перед сном проверять, не забралась ли какая-нибудь коварная змея к нему под подушку.

На миссис Броуди ожидаемое событие действовало весьма возбуждающе: наконец-то она увидела себя в положении, достойном героини какого-нибудь из ее любимых романов. Уподобляясь римской матроне, со спартанским мужеством отдающей своего сына государству, или (что еще трогательнее) матери-христианке, отправляющей нового Ливингстона^[2] на славный подвиг, она изменила своей обычной кроткой приниженности и держалась с благородным достоинством. Она укладывала и снова распаковывала вещи сына, строила планы, ободряла, утешала, увещевала и пересыпала свои речи текстами из Библии и молитвенника.

Перемена в ней не укрылась от глаз Броуди, и он иронически наблюдал это временное превращение.

— Ты делаешь из себя посмешище, старая, — ворчал он на нее, — всеми этими фокусами, и кривлянием, и возней с твоим великовозрастным болваном, и чаепитиями да закусками каждые полчаса. Глядя на тебя, можно подумать, что ты королева Виктория. Ты генерала провожаешь на войну, что ли? Ходит надутая, как свиной пузырь! Я отлично знаю, чем все это кончится. Как только он уедет, ты свалишься, как пустой мешок, и будешь лишней обузой для меня. Тьфу! Сохрани же ты, ради бога, хоть немножко разума в твоей глупой башке!

Мама видела его холодность, равнодушие, даже черствость, но все же робко возражала:

— Полно тебе, отец, надо же проводить мальчика как следует. Ему предстоит большое будущее.

И после этого она, хотя уже потихоньку от мужа, но сознательно, из чувства оскорбленной справедливости, удваивала свои заботы о многообещающем молодом пионере.

Натянув перчатки так, что они в совершенстве обрисовывали узловатость ее рук, она спросила:

— Ты готов, Мэт, голубчик? — тоном такой искусственной веселости, что у Мэтью кровь застыла в жилах.

— Мэри, мы идем в аптеку, — продолжала она словоохотливо. — Преподобный мистер Скотт сказал недавно Агнес, что лучшее средство против малярии, просто чудодейственное средство, — это хинин, так что мы идем заказать несколько порошков.

Мэтью не говорил ничего, но в его воображении проносились жуткие картины: он уже видел себя измученным лихорадкой, лежащим в болоте, где кишмя кишат крокодилы, и, уныло подумав, что несколько жалких порошков — весьма сомнительная защита от таких зол, он мысленно с раздражением отверг совет преподобного джентльмена. «Откуда он знает? Он никогда там не был. Ему-то хорошо говорить!» — думал он с возмущением, в то время как миссис Броуди, взяв его под руку, уводила из комнаты, как упиравшуюся жертву.

Когда они ушли, Мэри налила воды в чайник и поставила его на огонь. Она казалась расстроенной — вероятно, от мысли о разлуке с братом. Всю последнюю неделю настроение у нее было крайне подавленное, что также естественно можно было бы объяснить сестринской привязанностью к Мэтью. Однако — странное совпадение! — ровно неделя прошла со времени ее свидания с Денисом на ярмарке, и с тех самых пор она не видела его, несмотря на то что очень тосковала. Это было невозможно, потому что Денис уехал на север по делам фирмы. Мэри знала это, так как он написал ей письмо из Перта — письмо, получение которого совершенно потрясло ее. Письма вообще бывали большим событием в ее жизни, и в тех редких случаях, когда она их получала, они непременно прочитывались всеми в доме, но на этот раз, к счастью, она первая сошла вниз утром, и никто не видел ни письма, ни внезапного выражения трепетной радости на ее лице, так что Мэри избегла расспросов и тайна ее не была открыта.

Какое это было счастье — получить весть от Дениса! С невольной внутренней дрожью она подумала о том, что этот листочек бумаги Денис держал в руках, тех самых руках, которые так ласково касались ее, что он, должно быть, заклеивая конверт, смочил его край губами, которые прижимались к ее губам. И, читая письмо за запертой на ключ дверью своей спальни, Мэри краснела даже здесь, наедине, от пылких, нежных слов, которые написал Денис. Ей стало ясно, что он хочет жениться на ней и что, не подумав о могущих встретиться препятствиях, он ничуть не сомневается в ее согласии.

Теперь, сидя одна в кухне, она вынула письмо из-за корсажа и принялась в сотый раз перечитывать его.

Денис горячо уверял, что изнемогает от тоски по ней, что не может жить без нее, что жизнь для него отныне лишь бесконечное ожидание того часа, когда он увидится с ней, будет близ нее, будет с нею всегда. Читая, Мэри вздыхала от страстной печали. И она тоже изнемогала от тоски по Денису. Десять дней прошло с той ночи у реки, и каждый день казался унылее, горестнее предыдущего!

В первый день она чувствовала себя больной и физически разбитой, воспоминания о ее отчаянной смелости, о неподчинении отцу, вызове, брошенном всем священным канонам ее воспитания, слились как бы в один удар, поразивший ее. Но время шло, второй день сменился третьим, а она все еще не виделась с Денисом, и чувство вины потонуло в новом чувстве: ей недоставало Дениса, она забыла о своем чудовищном проступке, охваченная властной потребностью видеть его. На четвертый день, после того как она в грустном смятении так долго пыталась проникнуть в неведомые и неосознанные глубины пережитого, что оно стало ей казаться странным и мучительным сном, пришло письмо Дениса и сразу вознесло ее на вершину экстаза и радостного облегчения. Значит, он все-таки любит ее! Радость от этой ошеломительной мысли заслонила в памяти все остальное. Но в последовавшие за этим дни Мэри постепенно спускалась с небес на землю, и сейчас она, сидя в кухне, думала о том, что никогда ей не разрешат встречаться с Денисом, и спрашивала себя, как ей жить без него и что будет с нею.

В ту минуту, когда она размышляла так, неосторожно держа письмо в руке, незаметно вошла старая бабушка.

— Что это ты читаешь? — внезапно спросила она, подозрительно глядя на Мэри.

— Ничего, бабушка, это так... пустяки, — вздрогнув, поспешно пробормотала Мэри и, смяв бумажку, сунула ее в карман.

— А мне показалось, что это письмо и ты что-то очень торопилась его спрятать! Вы, нынешние девушки, все мечтаете о какой-то ерунде да хандрите... Жаль, что при мне нет очков. Я бы живо докопалась, в чем тут дело.

Она замолчала, злорадно заноса на скрижали памяти результат своих наблюдений, и в заключение спросила:

— Скажи-ка, а где этот слюнтяй, твой братец?

— Пошел с мамой в аптеку за хинином.

— Ба! Не хинина ему не хватает, а смекалки. Ее понадобилось бы целое ведро, чтобы сделать из него человека. Ей-богу, хорошая порция очищенной касторки да капля водки будут ему полезнее хинина там, куда он едет... Очень уж много разговоров тут в последнее время, а мне недосуг ими заниматься. В доме все пошло вверх дном из-за таких пустяков. А что, Мэри, чай будет сегодня пораньше? — Она с надеждой щелкнула зубами, чуя, как хищник, близость пищи.

— Не знаю, бабушка, — ответила Мэри.

Беззастенчивая жадность старухи обычно ее не трогала, сегодня же ей,

расстроенной и озабоченной, вдруг стало противно. Не сказав больше ни слова, чувствуя, что ей необходимо побыть одной и в менее сгущенной атмосфере, она поднялась и вышла в садик за домом. Она бродила взад и вперед по зеленой лужайке, и ей казалось до странности жестоким то, что жизнь вокруг нее течет по-прежнему, глухая к ее горю и смятению, что бабушка Броуди все так же жадно ждет ужина, день отъезда Мэта неуклонно приближается. Никогда еще Мэри не испытывала такого безнадежного уныния, как теперь, когда она, беспокойно шагая по саду, казалось, начала смутно сознавать, что обстоятельства складываются для нее неблагоприятно, что жизнь поставила ей ловушку. Через окно она увидела, что Мэтью с матерью уже воротились, видела, как суежилась мать, накрывая на стол, потом Мэтью сел и принялся за еду. Какое им дело до того, что у нее, Мэри, лихорадочно бьются тревожные мысли под пылающим лбом, что она жаждет хоть единого слова сочувствия и совета, но не знает, где искать его? Убогое однообразие садика, нелепые очертания их дома бесили ее, она в горьком исступлении жалела, зачем не родилась в семье менее замкнутой, менее взыскательной, более человеческой, твердила себе, что еще лучше было бы ей вовсе не родиться... Отец вставал в ее мыслях как грозный колосс, правивший судьбами всех Броуди, тиранически распоряжавшийся ее жизнью, всегда следивший за ней недремлющим, безжалостным оком. По его приказу оставила она в двенадцать лет школу, которую так любила, чтобы помогать матери вести хозяйство; это он пресекал в самом начале ее дружбу с другими девушками, потому что одна, по его мнению, была ниже ее происхождением, другая жила в доме, пользовавшемся плохой репутацией, а с отцом третьей он поссорился; он запретил ей посещать доставлявшие ей такое наслаждение зимние концерты в клубе механиков, находя это неподобающим для своей дочери; а теперь он разобьет единственное счастье, которое жизнь дала ей.

Вихрь возмущения взметнулся в ее душе. Думая о несправедливости такого бесчеловечного угнетения, такого безусловного лишения свободы, Мэри с вызовом уставилась на хилые кусты смородины, которые вяло росли в плохой земле у стен сада. Увы, их легче было смутить, чем Броуди! И они тоже, словно подавленные царившим здесь гнетом, утратили мужество вытягивать вверх свои тонкие усики.

Прикосновение к ее плечу заставило Мэри вздрогнуть, несмотря на все ее воинственное настроение. Впрочем, это оказался только Мэтью, которому нужно было сказать ей два слова перед уходом к мисс Мойр.

— Я сегодня вернусь рано, Мэри, — сказал он, — так что ты не беспокойся насчет... ну, ты знаешь... не дожидайся меня. И я уверен, —

добавил он торопливо, — что, когда я уеду за границу, ты никогда ни единой душе не проговоришься... я бы ни за что не хотел, чтобы об этом кто-нибудь узнал... и спасибо тебе большое за то, что ты для меня делала.

Неожиданная благодарность брата, вызванная, впрочем, только преждевременным приступом ностальгии и инстинктом осторожности, желанием сохранить свою репутацию и во время отсутствия, все же тронула Мэри.

— Об этом не стоит и говорить, Мэт, — возразила она. — Я с таким удовольствием делала это для тебя. Ты забудешь обо всем там, за границей.

— Да, там у меня найдутся другие заботы, я полагаю.

Никогда еще Мэри не видела брата таким подавленным, утратившим всю свою самоуверенность, и горячая нежность к нему согрела ей сердце. Она сказала:

— Ты идешь к Агнес? Я провожу тебя до ворот.

Идя об руку с ним вдоль стены дома, она думала о том, как не похож этот робкий, неуверенный в себе юноша, шагавший рядом с ней, на того модного городского франта, каким он был еще две недели тому назад.

— Тебе следует подбодриться немного, Мэт, — сказала она ласково.

— Мне что-то не очень хочется ехать теперь, когда отъезд на носу, — заметил как бы вскользь Мэт, решившись на откровенность.

— Ты должен быть доволен, что выберешься отсюда, — возразила Мэри. — Я тоже рада бы уехать. Этот дом для меня словно западня. Я чувствую, что никогда отсюда не вырвусь... и захочу, да не смогу. — Она с минуту помолчала, потом прибавила: — Впрочем, я забыла, ты ведь расстаешься с Агнес. Вот в чем все дело! Вот чем ты так огорчен и расстроен!

— Разумеется, — согласился Мэтью. Собственно, до этой минуты дело не представлялось ему в таком свете, но, когда он обдумал слова Мэри, такое объяснение показалось ему утешительным для его неустойчивого самолюбия.

— А что думает отец насчет тебя и Агнес? — спросила неожиданно Мэри.

Брат удивленно воззрился на нее и ответил, негодуя:

— Не понимаю, что ты хочешь сказать, Мэри. Мисс Мойр — достойнейшая девица, никто не скажет о ней худого слова. И она замечательно красива! Что это тебе вздумалось задать такой вопрос?

— Да так просто, Мэт, — ответила она уклончиво, не желая высказывать ту мысль, которая пришла ей в голову. Агнес Мойр, эта во всех отношениях достойная девица, была только дочерью мелкого и ничем

не замечательного кондитера, а так как и сам Броуди, в силу обстоятельств, был лавочником, он не мог отвергнуть Агнес по таким мотивам. Но службу для Мэтью в Калькутте выхлопотал он, и он же настоял на его отъезде. А Мэтью пробудет в Индии пять лет! Молнией мелькнуло в памяти Мэри воспоминание об угрюмой, злорадной насмешке во взгляде отца, когда он в первый раз объявил трепетавшей от ужаса жене и пораженному сыну о своем решении отправить последнего за границу. И только сейчас начал неясно вырисовываться в сознании Мэри истинный характер отца. Она всегда боялась и почитала его, но теперь, под влиянием внезапного поворота в мыслях, уже начинала почти ненавидеть.

— Ну, я уйду, Мэри, — сказал между тем Мэтью. — Пока до свидания.

Мэри открыла уже было рот, готовая заговорить, но, в то время как душа ее боролась со смутными подозрениями, взгляд ее упал на испуганную физиономию слабохарактерного брата, тщетно пытавшегося избежать разочарования, и, не сказав ни слова, она дала ему уйти.

Расставшись с Мэри, Мэтью зашагал по улице, снова обретя поколебленную было самоуверенность, которую подогрела мысль, нечаянно поданная ему сестрой. Ну конечно, он просто опасается разлуки с Агнес! Он говорил себе, что теперь наконец знает причину своего подавленного настроения, что люди и с более сильным характером падали духом по менее серьезным причинам, что его печаль делает ему честь как человеку любящему, с благородным сердцем. Он уже снова склонен был чувствовать себя скорее Ливингстоном, чем робким новобранцем. Он принялся громко насвистывать несколько тактов из «Жуаниты», вспомнил о своей мандолине, подумал с некоторой непоследовательностью о дамах, которых встретит на «Ирравади», а возможно, и в Калькутте, и совсем повеселел.

Когда он дошел до жилища Мойров, к нему уже возвратилась слабая тень прежней бойкости, и он не вошел, а взлетел по ступеням к двери. (Мойры, к сожалению, вынуждены были жить над своей лавкой, и потому ступенек было много, и, что еще хуже, вход был рядом с уборной.)

Мэтью настолько воспрянул духом, что постучал молотком в дверь весьма решительно и принял вид человека, возмущенного неприглядностью окружающей обстановки, не подобающей для того, чье имя когда-нибудь будет сиять в анналах Британской империи. Так же свысока посмотрел он на девчонку, прислуживавшую в лавке, которая, в данную минуту преобразившись в горничную, отперла ему дверь и проводила в гостиную. Здесь, освобожденная от обязанности стоять за

прилавком (несмотря на то что рабочий день еще не кончился), уже сидела Агнес, ожидая своего Мэта: завтра ей нельзя будет покинуть пост в лавке, чтобы проводить Мэта до Глазго, но сегодняшний вечер принадлежал ей.

Гостиная, холодная и сырая, имела нежилой, чопорный вид: она была обставлена громоздкой мебелью красного дерева, затейливый рисунок которой терялся в сладострастной тайне изгибов, а лоснившиеся спинки и сиденья из конского волоса были прикрыты вышитыми салфеточками. Линолеум на полу блестел, как только что политая мостовая. Горные коровы зловещего вида, изображенные масляными красками, уныло глядели со стен на фортепиано (эту традиционную марку аристократизма), на узкой крышке которого, уставленной всякой всячиной, красовались под стекляннным колпаком три чучела птиц неизвестных пород среди целого леса фотографий: Агнес в младенческом возрасте, Агнес ребенком постарше, Агнес подростком, Агнес взрослой девицей, Агнес в группе, снятой во время ежегодной экскурсии служащих булочных и кондитерских, Агнес на собрании Общества трезвости, на прогулке членов Общества ревнителей церкви — все было здесь.

Здесь же присутствовала во плоти и сама Агнес — можно сказать, именно во плоти, так как при низком росте Агнес, как и мебель в ее гостиной, отличалась чрезмерной выпуклостью линий, особенно в области бедер и груди, пышных и обещавших принять еще более пышные размеры.

Агнес была брюнетка с глазами маленькими и черными, как две дикие сливы, под соболиными бровями, с оливково-смуглым лицом и красными, довольно толстыми губами; на верхней губе у нее темнел ровный коричневый пушок, пока еще слабый, скорее похожий на тень, но являвший серьезную угрозу в будущем.

Агнес горячо расцеловала Мэта. Она была на пять лет старше его и поэтому очень им дорожила. Взяв его за руку, она увлекла его за собой и, усадив, села с ним рядом на неудобный диван, который, как и вся гостиная, был предоставлен для свиданий влюбленной пары.

— И подумать только, что это наш самый последний вечер! — жалобно сказала Агнес.

— Не надо так говорить, Агнес, — запротестовал Мэтью. — Ведь мы можем постоянно думать друг о друге! Душою я буду с тобой, а ты со мной.

Несмотря на то что Агнес являлась рьяным членом Общества ревнителей церкви, она, судя по ее наружности, была создана для более тесной близости, чем та, которую сулил ей Мэт. Разумеется, она этого не подозревала и с возмущением отвергла бы такое предположение. Но вздох ее был глубок, когда она промолвила: «Я хотела бы, чтобы Индия была

поближе» и крепко прижалась к Мэту.

— Время быстро летит, Агнес, не успеешь оглянуться, как я вернусь с целой кучей рупий.

И, гордый своей осведомленностью насчет иностранной валюты, прибавил:

— Рупия — это около шиллинга и четырех пенсов.

— Полно тебе говорить о рупиях в такие минуты, Мэт. Скажи, что ты любишь меня.

— Ну конечно, я тебя люблю, оттого мне так грустно уезжать. Последние дни я сам не свой — видишь, как побледнел! — Сложив таким образом все бремя своих страданий к ее ногам, он находил в этом истинное благородство.

— И ты даже разговаривать не станешь ни с одной из этих заграничных дам, обещаешь, Мэт? Я бы на твоём месте не доверяла им, за красивым лицом может скрываться злое сердце. Ты будешь это всегда помнить, да, милый?

— Ну конечно, Агнес.

— Видишь ли, милый, там, в жарких странах, каждого красивого молодого человека ждет, должно быть, много искушений. Женщины, как только его приметят, пойдут на все, чтобы поймать его в свои сети, в особенности если он нравственный молодой человек — это их больше всего подстрекает. А твоей маленькой Агнес не будет там, чтобы уберечь тебя, Мэт. Обещай мне остерегаться их ради меня.

Мэту было удивительно приятно, что он так страстно любим, что Агнес заранее отчаянно ревнует его, и, мысленно уже созерцая свои будущие победы за границей, он торжественно произнес:

— Да, Агнес, я знаю, что ты права. Может быть, путь мой будет труден, но ради тебя я никому не дам себя совратить. Если нас и разлучит что-нибудь, то это будет не по моей вине.

— Ах, Мэт, родной мой, не смей и говорить об этом! Я не буду спать по ночам, думая обо всех этих бесстыдницах, которые станут вешаться тебе на шею. Разумеется, милый, я не так уж безрассудна: я буду довольна, если ты там познакомишься с серьезными и порядочными женщинами, ну, хотя бы с женами миссионеров или другими ревнительницами христианства. Тебе полезно было бы там иметь двух-трех знакомых пожилых дам, которые по-матерински заботились бы о тебе, может быть, даже штопали бы тебе носки. Если ты мне сообщишь о них, я могла бы с ними переписываться.

— Разумеется, Агнес, — поддакивал Мэт, ничуть не увлеченный такой

перспективой и твердо убежденный, что почтенные пожилые дамы, о которых она говорила, для него неподходящая компания. — Но я сейчас не могу еще знать, встречу ли кого-либо подобного. Посмотрим сначала, как все у меня сложится.

— Ты быстро станешь там на ноги, — нежно уверяла она. — Ты ведь и сам не знаешь, как привлекаешь к себе всех. Потом, твоя игра очень поможет тебе выдвинуться в обществе. Ты не забыл уложить ноты?

Мэтью самодовольно кивнул головой:

— Все взял. И мандолину. Я вчера переменял на ней бант.

Агнес сдвинула черные брови при мысли о тех, кто будет любоваться этим украшением, завязанным на поэтическом инструменте. Но, не желая слишком наседавать на Мэтью, она с некоторым усилием подавила свои опасения и с деланой улыбкой направила беседу в более возвышенное русло:

— В церковном хоре тоже будет сильно не хватать тебя, Мэт. Без тебя и в кружке все будет казаться иным.

Он скромно запротестовал, но Агнес не хотела слушать возражений.

— Нет, — воскликнула она, — не спорь со мной! В церкви будет очень не хватать твоего голоса. Помнишь, милый, тот вечер после спевки, когда ты в первый раз провожал меня домой? Никогда не забуду, как ты заговорил со мной. Помнишь, что ты сказал?

— Не припомню сейчас, Агги, — ответил он рассеянно. — И разве не ты первая со мной заговорила?

— О, Мэт! — ахнула она, укоризненно подняв брови. — И как тебе только не совестно! Ты отлично знаешь, что это ты улыбался мне из-за нот весь тот вечер и что ты первый заговорил со мной. Я только спросила, не по пути ли нам.

Мэтью кивнул головой с покаянным видом:

— Вспомнил, вспомнил теперь, Агнес. И мы с тобой съели большой кулек лакричных леденцов разного сорта, которые ты принесла с собой. Они были превкусные!

— Я буду посылать тебе каждый месяц большую жестянку конфет, — поторопилась обещать Агнес. — Я не хотела вперед рассказывать тебе, милый, но раз ты заговорил об этом сам, отчего же не сказать. Я знаю, что ты любишь конфеты, а в тех краях ни за что не достанешь хороших. Если послать их в жестянке, они дойдут в прекрасном виде.

Он поблагодарил ее довольной улыбкой, но, раньше чем он успел что-нибудь сказать, Агнес продолжала, торопясь использовать его благодарность, пока она не остыла.

— Твоя Агнес на все для тебя готова, Мэт, только бы ты не забывал ее, — говорила она страстно. — Ты никогда, ни на одну минуту не должен забывать обо мне. Ты ведь возьмешь с собой все мои фотографии? Сразу же вынь и поставь одну из них в каюте, хорошо, милый? — Она еще крепче прижалась головой к плечу Мэта и смотрела на него, словно гипнотизируя. — Поцелуй меня, Мэт. Вот так, хорошо! Как чудесно, что мы обручены! Это почти то же, что брак. Всякая честная девушка может чувствовать то, что чувствую я, только в том случае, если она обручена с кем-нибудь.

Диван, видимо, был не пружинный, и Мэт начинал испытывать неудобство под навалившимся на него солидным грузом. Его ребяческая любовь к мисс Мойр, питаемая коварной лестью и знаками внимания с ее стороны, была недостаточно сильна, чтобы выдержать тяжесть этих мощных любовных объятий.

— Ты мне позволишь покурить? — спросил он тактично.

Агнес подняла глаза, налитые прозрачными слезами, из-под черной, как смоль, путаницы волос.

— В последний вечер? — сказала она с упреком.

— Видишь ли, я думаю, это поможет мне встряхнуться, — пробормотал он. — Последние дни были очень тяжелы, все эти сборы так утомляют человека.

Она вздохнула и неохотно поднялась, говоря:

— Ну хорошо, милый. Я ни в чем не могу тебе отказать. Покури, если чувствуешь, что это тебе будет полезно. Но смотри, не кури слишком много в Индии, Мэт. Не забывай, что у тебя слабые легкие. — Она милостиво прибавила: — Ну, давай ради последнего раза я сама зажгу тебе сигару.

Она боязливо зажгла немного смятую сигару, которую Мэтью вынул из жилетного кармана, и опасливо наблюдала, как он с подобающей мужчине безмолвной важностью пускал густые клубы дыма. Теперь она могла обожать его и любоваться им лишь на некотором расстоянии, но, вытянув руку, она ухитрялась все же гладить его часовую цепочку.

— Ты будешь скучать по своей бедной Агги, не правда ли, Мэт? — спрашивала она прочувствованно, слегка покашливая, когда раздражающий дым сигары попадал ей в горло.

— Отчаянно, — уверил ее Мэт. Он от всей души наслаждался эффектностью своей позы: он сидит как герой, она — у ног его, взирает на него с нежным восторгом. — Тоска будет без тебя... невыносимая. — Ему хотелось сказать «чертовская», это было бы шикарнее, но из уважения к Агнес он употребил менее мужественное выражение и при этом покачал

головой, словно сомневаясь в своей способности выдержать все испытания.

— Мы должны страдать во имя нашей любви, — промолвила со вздохом Агнес. — Я уверена, что она воодушевит тебя на великие и прекрасные дела там, в Индии. Ты пиши мне обо всем.

— Я буду с каждой почтой писать тебе и маме, — обещал Мэтью.

— А я, разумеется, буду часто видаться с мамой, — отозвалась Агнес таким тоном, словно она была уже членом семьи.

Мэтью думал о предстоящих ему тяжелых трудах в далекой стране и о том, что две преданные, обожающие его женщины будут вместе воссылать к небу молитвы за него. Однако, несмотря на все его усилия продолжать курение, он не мог этого сделать, так как сигара жгла ему губы, и в конце концов пришлось с сожалением бросить ее.

Тотчас же Агнес прильнула к его груди:

— Поцелуй меня еще, милый!

Потом, после паузы, она пролепетала манящим (как ей казалось) шепотом:

— Ты вернешься ко мне большим, сильным, страстным мужчиной, да, Мэт? Я хочу, чтобы ты обнимал меня крепко, так крепко, как только тебе захочется.

Мэтью вялой рукой обнял ее плечи со смутным неудовольствием: слишком уж много Агнес требует от человека, которому наутро предстоят опасности трудного плавания, таящего в себе много неизвестного.

— Мне, право, стыдно, что я не умею скрыть своих чувств, — продолжала застенчиво Агнес. — Но ведь в этом нет ничего дурного, правда, Мэт? Ведь мы поженимся, как только ты вернешься домой. У меня сердце разрывается на части оттого, что нам не удалось обвенчаться до твоего отъезда. Я бы так охотно поехала с тобой!

— Что ты, Агнес, — возразил Мэтью, — там совсем не место для белой женщины.

— Но туда уезжает так много их, Мэт! Жены разных чиновников и мало ли кто! Если тебе придется ехать туда вторично после того, как ты отслужишь срок, я непременно поеду с тобой, — решительно сказала Агнес. — Нам теперь мешает только то, что ты должен сначала сделать карьеру, милый.

Он промолчал, испуганный решительностью ее тона. Никогда до сих пор ему не приходило в голову, что он так близок к алтарю, он вовсе не подозревал истинных размеров власти Агнес над ним. Ее поцелуй показался ему бесконечно долгим. Наконец он объявил:

— Пожалуй, мне пора идти, Агги.

— Да ведь еще так рано, Мэт, — обиженно возразила она. — Ты никогда не уходил раньше десяти.

— Я знаю, Агнес, но мне завтра предстоит трудный день, — сказал он с важностью. — К двенадцати уже надо быть на пароходе.

— Это прощание меня убьет! — воскликнула трагически Агнес, неохотно выпуская Мэта из объятий.

Он встал и, поправляя галстук, одергивая книзу брюки, осматривая на них пострадавшие складки, чувствовал, что ни о чем не жалеет: приятно было сознавать, что женщины готовы умереть из-за него.

— Итак, прощай, Агнес! — мужественно воскликнул он, широко расставив ноги и протягивая ей обе руки. — Придет время, и мы с тобой увидимся снова.

Она бросилась в раскрытые ей объятия, снова спрятала голову у него на груди и так зарыдала, что оба они покачнулись.

— Я чувствую, что мне не следовало бы тебя отпускать, — прерывающимся голосом воскликнула Агнес, когда Мэтью высвободился, — не следовало мне так легко тебя уступать. Ты уезжаешь далеко. Но я буду молиться за тебя, Мэт. Да сохранит тебя Бог для меня! — И она заплакала, видя, что он уже сходит с лестницы.

Мэт вышел на улицу утешенный, ободренный и воодушевленный горем своей невесты, как будто опустошение, которое он произвел в ее девственном сердце, придавало ему достоинства, увеличивало на несколько дюймов его рост. Но в этот вечер, лежа в постели (он лег пораньше, чтобы набраться сил для предстоящих на следующий день хлопот), он размышлял уже как более зрелый и светски опытный человек на тему о том, что мисс Мойр, пожалуй, в последнее время была немного чересчур настойчива в выражении своих чувств. А засыпая, пришел к заключению, что мужчине следует дважды подумать, прежде чем связать себя узами брака, в особенности если этот мужчина — такой прожженный парень, как он, Мэтью Броуди.

На другое утро он проснулся рано, но мама не позволила ему встать раньше девяти.

— Не торопись! Не надо волноваться. Прибереги силы, мой мальчик, — сказала она, подавая ему в постель завтрак. — У нас еще уйма времени, а тебе предстоит долгое путешествие.

Она уже, должно быть, рисовала в своем воображении это путешествие без передышки до самой Калькутты. И оттого, что она не дала Мэту встать рано, он был еще полуодет, когда отец позвал его, стоя внизу у лестницы.

Джемс Броуди не пожелал ни на дюйм отступить от своей обычной программы; он, без сомнения, счел бы слабостью со своей стороны какое-либо участие в проводах сына — и в половине десятого, как всегда, собрался в лавку. Когда Мэтью впопыхах сбежал с лестницы, в подтяжках, с полотенцем в руках, с падавшими на бледный лоб мокрыми волосами, и подошел к отцу, стоявшему в передней, Броуди устремил на него взгляд, в котором была, казалось, магнетическая сила, и на одно мгновение перехватил неуверенный взгляд сына.

— Итак, Мэтью Броуди, — сказал он, глядя на него сверху вниз, — ты сегодня отправляешься и, значит, скажешь «прости» родному дому на пять лет. Надеюсь, ты за это время сумеешь чего-нибудь добиться. Ты слюняй и ломака, и твоя мамаша немного тебя избаловала, но в тебе должны быть и хорошие задатки. *Должны быть*, — крикнул он, — потому что ты мой сын! Я хочу, чтоб ты это доказал! Смотри людям прямо в глаза и не вешай голову, как трусливая собака. Я предоставил тебе все, что нужно, — продолжал он. — Должность у тебя ответственная и открывает большие возможности. Я снабдил тебя всем лучшим, что только можно достать за деньги. Я посылаю тебя за границу, чтобы сделать из тебя человека, не забывая же, что ты сын и наследник Джемса Броуди. Самое лучшее, что я дал тебе, — это мое имя! Так будь же человеком, а главное — будь Броуди! Веди себя как настоящий Броуди, повсюду, где бы ты ни был, иначе... иначе да помилует тебя Бог!

Он крепко пожал руку сыну, повернулся и вышел.

Мэтью в волнении закончил свой туалет с помощью матери, которая все время то вбегала, то выбегала из комнаты, съел завтрак, не замечая его вкуса, и, раньше чем успел опомниться, в ужасе увидел у ворот кеб. Прощальные приветствия дождем посыпались на него. Старая бабка, сердитая на то, что ее так рано разбудили, крикнула с верхней площадки лестницы, запахивая длинную ночную сорочку вокруг костлявых голых ног:

— Ну, прощай! Да смотри не утони по дороге!

Несси, которая уже заблаговременно лила слезы, взволнованная торжественностью ожидаемого события, могла только невнятно прорыдать:

— Я тебе буду писать, Мэт! Надеюсь, компас тебе пригодится.

Мэри тоже была глубоко взволнована. Она обвила руками шею Мэта и нежно поцеловала его.

— Бодришь, Мэт, дорогой. Будь молодцом, и ничего дурного с тобой не случится. Не забывай, что у тебя есть сестра, которая тебя очень любит.

Всю дорогу до станции Мэт сидел в кебе, рядом с мамой, апатично

сгорбившись, не замечая немилосердной тряски, в то время как миссис Броуди гордо поглядывала в окошко. Она представляла себе, как люди подталкивают друг друга, видя, что она катит в нарядном экипаже, и говорят: «Это миссис Броуди провожает своего сына в Калькутту. Она всегда была ему доброй матерью, да и парень, надо сказать, хоть куда!»

«Разумеется, не каждый день случается в Ливенфорде, что мать провожает сына на пароход, идущий в Индию», — удовлетворенно размышляла она, стараясь поприличнее задрапировать на себе пальто и величаво сидя в дряхлом кебе, словно в собственной карете.

У вокзала она с важным видом расплатилась с кучером, поглядывая украдкой из-под шляпы на нескольких зевак под аркой, и затем не удержалась, чтобы не заметить как бы вскользь носильщику, взявшему багаж: «Этот молодой джентльмен едет в Индию». Носильщик, спотыкаясь под тяжестью сундука и одурев от запаха камфары, исходившего оттуда, повернул багровую шею и тупо посмотрел на нее, слишком ошарашенный, чтобы поддержать разговор.

Они пришли на платформу, но роковой поезд опоздал, расписание на железнодорожном участке между Ливенфордом и Дэрроком никогда не вызывало одобрения публики и сегодня также, оправдывая свою репутацию, соблюдалось далеко не точно. Мама беспокойно постукивала ногой, нетерпеливо поджимала губы, поглядывала беспрестанно на серебряные часики, которые носила на шее, на волосяной цепочке. Мэтью, полный страстной надежды на то, что на линии произошло крушение, посматривал рассеянno и безутешно на носильщика, который, в свою очередь, разинув рот, глядел на миссис Броуди. Он никогда не видывал ее раньше и, пожирая ее бессмысленным взором, по величавой небрежности и вместе живости ее манер, выходившей за пределы всего виденного им до сих пор, принял ее за какой-то феномен — за путешественницу по меньшей мере европейского масштаба.

Наконец вдали послышалось лязганье, как похоронный звон, отнявший у Мэтью последнюю надежду. Поезд, выпуская пар, подошел к станции и через несколько минут снова запыхтел, увозя миссис Броуди и ее сына, сидевших друг против друга на жестких деревянных скамейках, и оставив на платформе носильщика, недоверчиво рассматривавшего монету в один пенс, которую незнакомая леди величественно сунула ему в руку. Он почесал затылок, плюнул с презрением и выбросил из головы весь эпизод, как тайну, которая выше его понимания.

В поезде миссис Броуди пользовалась каждым мгновением, когда стихал шум колес и голос ее мог быть услышан, чтобы обратиться с каким-

либо оживленным замечанием к Мэтью, а в промежутках весело смотрела на него. Мэтью ерзал на месте: он знал, что его стараются «подбодрить», и его это злило. «Ей-то хорошо, — думал он уныло, — ей ведь уезжать не надо».

Наконец они приехали в Глазго (Мэту путешествие показалось непозволительно коротким). С вокзала направились по Джемайка-стрит и по Бруми-Ло в порт, туда, где стоял уже под парами «Ирравади», а по бокам его два буксирных судна. Пароход показался им огромным, лопасти у него были широкие, как летучая мышь с распростертыми крыльями, а по сравнению с его трубой мачты всех остальных судов казались низкими.

Мама сказала с восхищением:

— Честное слово, вот это пароход, Мэт! Теперь я буду меньше тревожиться, раз ты едешь на таком большом пароходе. Эта громада не ниже нашей городской башни. Смотри, сколько народу на палубе! Я думаю, нам можно уже идти туда.

Они вместе подошли к сходням и поднялись на палубу, где уже началась обычная при посадке толчея, преувеличенная суeta и беспорядок. Матросы носились по палубе, творя чудеса с канатами; офицеры в золотых галунах строго покрикивали и громко свистали. Пароходная прислуга гонялась за пассажирами, а пассажиры — за прислужгой. Англоиндусы, возвращавшиеся в облюбованную ими страну, яростно смотрели на всякого, кто оказывался у них на дороге, родственники в эти минуты тяжкого расставания калечили пальцы ног о железные стойки и груды багажа.

Среди толкотни и шума мужество миссис Броуди дрогнуло. Важная мина контролера, направившего их вниз, внушила ей робость, и хотя она первоначально намеревалась подойти к капитану парохода и в подобающих выражениях поручить Мэта его особому попечению, она теперь не решалась сделать это. Сидя в душной берлоге, которая должна была служить Мэту каютой в течение ближайших двух месяцев, и ощущая легкое покачивание судна вверх и вниз, она поняла, что чем скорее она вернется на берег, тем будет лучше.

Теперь, когда подошел миг действительного прощания, исчезла ложная экзальтация, созданная ее романтическим воображением, лопнула, подобно проколотому пузырю, как предсказывал, насмехаясь, ее супруг. Миссис Броуди снова стала тем, чем была на самом деле, — слабой женщиной, которая дала жизнь этому ребенку, кормила его своей грудью, у которой он вырос на глазах и теперь покидал ее. Слеза медленно поползла по ее щеке.

— Ах, Мэт, — вскрикнула она, — я старалась бодриться ради тебя, сынок, но сейчас мне очень тяжело. Боюсь, что эти чужие страны — не место для тебя. Лучше бы ты оставался дома.

— Мне тоже не хочется уезжать, мама, — горячо взмолился Мэтью, как будто она могла в последнюю минуту протянуть руку и вырвать его из когтей ужасной опасности, грозившей ему.

— Придется тебе все-таки ехать, сыночек. Теперь уж дело зашло слишком далеко, ничего нельзя изменить, — возразила она, печально качая головой. — Твой отец все время этого хотел. А раз он велит, надо слушаться. Другого выхода нет. Но ты постарайся вести себя как следует, не правда ли, Мэт?

— Да, мама.

— И будешь посылать домой часть своего жалованья, чтобы я могла вносить деньги в строительную компанию для тебя?

— Да, мама.

— И каждый день будешь прочитывать по главе из Библии, которую я тебе дала, Мэт?

— Да, мама.

— И не забывай меня, Мэт.

Мэтью вдруг начал прерывисто и странно всхлипывать.

— Не хочу ехать, — ревел он, цепляясь за платье матери. — Вы меня отправляете бог знает куда, и я никогда оттуда не вернусь... На смерть меня посылаете! Не отпускай меня, мама!

— Ты должен ехать, Мэт, — прошептала миссис Броуди. — Он убил бы нас, если бы ты вернулся со мной обратно.

— У меня будет морская болезнь, — хныкал Мэт. — Я чувствую, она уже начинается. И я схвачу лихорадку в Индии. Ты знаешь, какой у меня слабый организм. Говорю тебе, мама, — эта поездка меня доконает.

— Перестань, сынок, — бормотала мать, — успокойся! Я буду молиться, чтобы Бог хранил тебя.

— Ну хорошо, мама, раз я должен ехать, так уходи, оставь меня, — причитал Мэт, — я не в силах больше терпеть! Незачем тебе сидеть тут и дразнить меня. Уходи, и пусть все будет кончено!

Мать встала и обняла его. Наконец в ней заговорили чувства простой женщины.

— Прощай, сынок, благослови тебя Господь, — сказала она тихо.

Когда она вышла из каюты в слезах, с трясущейся головой, Мэтью бессильно опустился на свою койку.

Миссис Броуди сошла по сходням и направилась к вокзалу на улице

Королевы. Едва волоча ноги, брела она теперь мимо доков, по той же дороге, по которой недавно шла к пароходу так легко и весело; ее тело все больше и больше клонилось вперед, платье небрежно волочилось сзади, голова трогательно поникла на грудь. Душа ее была исполнена смиренной покорности. Она окончательно очнулась от своих грез и снова превратилась в беспомощную и несчастную жену Джемса Броуди.

В поезде по дороге домой она почувствовала, что устала, обессилена быстрой сменой переживаний, через которые прошла; ее одолела дремота, и она уснула. Тотчас же откуда-то из закоулков сонного мозга притаившиеся там видения вырвались на свободу и мучили ее. Кто-то швырял ее наземь, побивал камнями; со всех сторон надвигались серые квадратные каменные стены, все больше сдавливая ее. Рядом на земле лежали ее дети, их тела, страшные в своей изможденности и бессилии, казались трупами. И когда стены медленно стали надвигаться на них, она проснулась с громким криком, потонувшим в свистке паровоза. Поезд входил в предместье Ливенфорда. Она была дома.

На другое утро, часов в десять, миссис Броуди и Мэри были одни на кухне. Обычно в этот час они обсуждали хозяйственную программу на предстоящий день, после того как глава семьи, позавтракав, уходил из дому. Но в это утро они не строили планов уборки или починки, не совещались насчет того, что лучше приготовить на обед — тушеное мясо или котлеты, не обсуждали вопроса, требует ли утюжки серый костюм отца. Они сидели молча, чем-то удрученные; миссис Броуди уныло прихлебывала из чашки крепкий чай, Мэри безучастно глядела в окно.

— Я сегодня никуда не похожу, — промолвила наконец мать.

— И неудивительно, мама, после вчерашнего, — вздохнула Мэри. — Как-то он теперь себя чувствует? Надеюсь, не тоскует еще по дому.

Миссис Броуди покачала головой:

— Самое худшее будет, если начнется качка. Мэт всегда плохо себя чувствовал на воде, бедняжка! Я очень хорошо помню, когда ему было лет двенадцать, не больше, мы ехали на пароходе в Порт-Доран, и он очень страдал, а между тем море было совсем тихое. Он стал есть сливы после обеда, мне не хотелось запрещать ему и портить мальчику удовольствие в такой день, но его стошнило — пропали даром и сливы, и хороший обед, за который отец заплатил целых полкроны. Ох и сердился же на него отец и на меня тоже, как будто я была виновата в том, что мальчика от качки стошнило.

Она помолчала, занятая воспоминаниями, потом прибавила:

— Теперь, когда Мэт уехал от нас так далеко, я рада, что от меня он никогда за всю жизнь не слышал дурного слова. Да, ни разу я не только руки на него не подняла, но и сердитого слова ему не сказала.

— Мэт всегда был твоим любимцем, — кротко согласилась Мэри. — Ты, наверное, очень будешь скучать без него, мама?

— Скучать? Еще бы! Я чувствую себя так, как будто... как будто что-то внутри у меня оторвалось, увезено на этом пароходе и никогда не вернется. И я надеюсь, что и Мэт будет тосковать по мне. — Она заморгала глазами и продолжала: — Да, хоть он и взрослый мужчина, а в каюте расплакался как ребенок, когда прощался со своей матерью. Это меня утешает, Мэри, и будет поддерживать, пока я не найду настоящего утешения в его дорогих письмах. Ох, как я их жду! Единственный раз он мне написал письмо, когда ему было девять лет и он после болезни гостил

на ферме у кузена Джима. Занятно он писал — про лошадь, на которую его посадили, да про маленькую форель, которую сам поймал в реке. Это письмо до сих пор хранится у меня в комодке. Я люблю его перечитывать. Знаешь что, — заключила она с меланхолическим удовольствием, — я разберусь во всех ящиках и отберу вещи Мэта, какие у меня найдутся, этим я хоть капельку утешусь, пока не придут вести от него.

— Мы сегодня приберем его комнату, мама? — спросила Мэри.

— Нет, Мэри, там ничего не надо трогать. Это комната Мэта, и мы сохраним ее такой, как она есть, до тех пор, пока она ему снова понадобится... если это когда-нибудь будет.

Мама с наслаждением отхлебнула глоток из чашки.

— Вот спасибо, что ты согрела мне чай, Мэри, он меня подкрепит. Кстати, там Мэт, должно быть, будет пить хороший чай, Индия славится чаем и пряностями. Холодный чай будет его освежать в жару.

Затем, помолчав, она прибавила:

— А отчего ты не налила чашечку и себе?

— Не хочу. Мне что-то нездоровится сегодня, мама.

— Ты и в самом деле плохо выглядишь последние дни. Бела как бумага.

Из своих детей миссис Броуди меньше всех любила Мэри. Но, лишившись своего любимца Мэтью, она почувствовала, что Мэри стала ей как-то ближе.

— Сегодня мы уборку делать не будем, ни ты, ни я. Мы обе заслужили отдых после той гонки, что была у нас последнее время. Я попробую, пожалуй, развлечься чтением, а ты сегодня сходи за покупками, подыши свежим воздухом. В такой сухой и солнечный день полезно пройтись. Давай запишем, что надо купить.

Они выяснили, каких продуктов недостаточно в кладовой, и Мэри записала все на бумажку, не надеясь на свою предательскую память. Закупки в различных лавках были делом сложным, так как деньги на хозяйство выдавались не щедро и они старались все закупать как можно дешевле.

— Можно будет перестать брать маленькие булочки в пекарне, раз Мэта нет. Отец до них не дотрагивается. Скажешь там, чтобы их больше не присылали, — наказывала мама. — Господи, как вспомню, что мальчика нет, дом кажется таким пустым! Мне доставляло столько удовольствия угощать его каким-нибудь вкусным блюдом.

— И масла нам тоже теперь понадобится меньше, мама. Он его очень любил, — заметила Мэри, задумчиво постукивая карандашом по своим

белым зубам.

— Во всяком случае, сегодня масла не нужно, — отвечала мать с некоторой холодностью. — Да, вот еще что: купи по дороге журнал «Добрые мысли» за последнюю неделю. Это именно то, что нужно Мэту, и я буду посылать его ему каждую неделю. Мэту приятно будет получать регулярно журнал, и это очень полезное чтение.

Когда они все взвесили, выяснили, что нужно купить, и тщательно подсчитали, сколько все это будет стоить, Мэри взяла деньги, отсчитанные матерью из ее тощего кошелька, надела шляпку, повесила на руку красивую плетеную сумку и отправилась за покупками. Она была рада возможности выйти, вне дома она чувствовала себя свободнее и душой и телом, менее связанной крепко укоренившимися незыблемыми формами окружающей ее жизни. Вдобавок каждая вылазка в город теперь таила в себе для Мэри элемент рискованного и волнующего приключения, и на каждом углу и повороте она в ожидании тяжело переводила дух, едва решалась поднять глаза от земли, и надеясь и боясь увидеть Дениса. Хотя писем от него она больше не получала (и к счастью, может быть, так как иначе она неизбежно была бы изобличена), но внутреннее чутье говорило ей, что Денис уже вернулся домой из своей деловой поездки по району. Если он и вправду ее любит, он непременно приедет в Ливенфорд, чтобы искать встречи с нею.

Подгоняемая каким-то бессознательным томлением, она ускорила шаги, сердце ее билось сильнее. Она в смятении прошла мимо городского выгона, и один быстрый и боязливый взгляд сказал ей, что от веселой ярмарки, бывшей здесь неделю назад, остались только дорожки, протоптанные множеством ног, белевшие на земле четырехугольники и круги — следы стоявших тут палаток и ларей, кучи обломков и дымящейся золы на примятой, выжженной траве. Но этот беспорядок и опустошение не вызвали в ее душе острой боли, она не пожалела об отсутствии нарядной и веселой толпы. В сердце ее жило воспоминание, ничем не омраченное, не затоптанное, не выжженное, с каждым днем ярче пламеневшее.

Желание увидеть Дениса становилось все настойчивее. Оно сообщало какую-то удивительную воздушность и стремительность ее стройной фигуре, туманило глаза, вызывало на ее щеках румянец, свежий, как только что распутившаяся дикая роза. Тоска по Денису подкатывалась к горлу, душила, как душит жестокое горе.

Добравшись до центра города, она начала ходить по лавкам, мешкая, останавливаясь на минуту у каждой витрины, в надежде, что вот-вот ощутит легкое прикосновение к своему плечу. Выбирала самый длинный

путь, проходила по всем улицам, куда только у нее хватало смелости сворачивать, все в той же надежде встретить Дениса. Но его нигде не было видно, и Мэри, уже не скрываясь, стала жадно смотреть по сторонам, словно умоляя его появиться и вывести ее из состояния мучительной неизвестности. Постепенно список поручений, данных матерью, становился все короче, и к тому времени, когда она сделала последнюю покупку, на ее гладкий лоб набежала морщинка тревоги, а углы рта жалобно опустились. Теперь она была во власти скрывавшегося до сих пор под ее нетерпением противоположного чувства. Денис ее не любит и потому не придет! Безумие с ее стороны — верить, что он все еще думает о ней. Пара ли она ему, этому обаятельному красавцу? И с горькой уверенностью отчаяния Мэри решила, что никогда она не увидит его больше. Она казалась себе брошенной, одинокой, подбитой птицей, которая еще слабо трепещет крыльями.

Больше нельзя было оттягивать возвращения домой. С внезапно проснувшимся чувством собственного достоинства она решила, что стыдно на глазах у людей шататься без дела по улицам — словно поиски человека, пренебрегшего ею, унижали ее в общественном мнении. И, торопливо повернув обратно, она направилась домой, чувствуя, что сумка с покупками оттягивает ей руку, как тяжелый груз. Она выбирала теперь тихие улицы, чтобы легче избежать возможной встречи, с грустью говоря себе, что, раз она Денису не нужна, она не станет ему навязываться: в припадке горького самоуничижения она шла с поникшей головой, переходя улицу, старалась занимать как можно меньше места на мостовой.

Она настолько уже отказалась от мысли увидеть Дениса, что, когда он внезапно появился перед ней, вынырнув из переулка, ведущего к новому вокзалу, это было похоже на возникновение призрака из воздуха. Мэри подняла глаза, испуганные, неверящие, словно отказывавшиеся передать сознанию то, что они увидели, и затопить сердце радостью, которая может оказаться обманчивым миражем. Но призрак не мог бы так стремительно броситься вперед, так пленительно улыбаться, сжимать ее руку так нежно, так крепко, что она ощущала биение горячей крови в его живой и сильной руке. Да, это был Денис. Но какое право имел он быть таким веселым, таким ликующим, беззаботным и ослепительно-изящным, словно восторга его не омрачала и тень воспоминания об их разлуке? Неужели он не чувствовал, что она провела в вынужденном ожидании столько томительных, печальных дней и только минуту назад совсем пала духом, до того даже, что считала себя покинутой?

— Мэри, мне кажется, что я попал на небеса, а вы ангел, который

встречает меня там! Я вернулся вчера, поздно вечером, и, как только удалось вырваться из дому, в ту же минуту помчался сюда. Какая удача, что я вас встретил! — восклицал он, жадно глядя ей в глаза.

Мэри тотчас же простила ему все. Ее отчаяние растаяло на огне его бурной радости; грусть умерла, заразившись веселостью его улыбки, а вместо нее пришло вдруг смущающее воспоминание о сладостной интимности их последнего свидания, и ей стало ужасно стыдно.

Она покраснела, увидев среди бела дня этого молодого щеголя, который под покровом благодетельного мрака сжимал ее так крепко в объятиях, который был первым мужчиной, целовавшим ее, ласкавшим ее девственное тело. Догадывался ли он обо всем, что она передумала с тех пор? Знал ли, какие волнующие воспоминания о прошлом и безумные, беспокойные видения будущего осаждали ее? Она не решалась посмотреть на Дениса.

— Как я счастлив, что вижу вас снова, Мэри! Я готов запрыгать от радости. А вы рады? — говорил он между тем.

— Да, — ответила она тихо и смущенно.

— Мне столько нужно вам сказать такого, чего я не мог написать в письме! Я не хотел быть слишком откровенным, опасаясь, что письмо перехватят. Получили вы его?

— Получила, но вам не следует больше писать мне, — прошептала Мэри. — Я боюсь за вас.

Уже и то, что он написал, было достаточно нескромно, так что при одной мысли о том, чего он не решился написать, щеки Мэри вспыхнули еще ярче.

— Да мне теперь долго не понадобится писать. — Он многозначительно улыбнулся. — Мы, конечно, будем часто встречаться. До осеннего объезда района я буду работать здесь в конторе еще месяца два. Кстати, Мэри, дорогая, вы и тут, как волшебница, принесли мне счастье: на этот раз я собрал вдвое больше заказов. Если вы постоянно будете так меня вдохновлять, я благодаря вам очень скоро разбогатею. Клянусь Богом, вам придется выйти за меня замуж хотя бы только для того, чтобы делить доходы!

Мэри с беспокойством оглянулась, ей уже чудилось на безлюдной улице множество предательских глаз, следящих за ними. Веселая уверенность Дениса показывала, насколько он не понимал ее положения.

— Денис, мне нельзя больше здесь стоять. Нас могут увидеть.

— А разве преступление — разговаривать с молодым человеком, к тому же... утром? — возразил он тихо, подчеркнув последнее слово. —

Право, в этом нет ничего зазорного. А если не хотите стоять здесь, я готов пойти с вами куда угодно, хоть на край света. Разрешите взять ваши пакеты, сударыня!

Мэри покачала головой.

— Тогда на нас еще скорее обратят внимание, — сказала она робко, чувствуя уже на себе взгляды всего города во время такой безрассудно смелой прогулки.

Денис посмотрел на нее с покровительственной нежностью, затем окинул улицу беглым взглядом, который влюбленная Мэри сравнила про себя со смелым взором завоевателя во вражеской стране.

— Мэри, голубушка, — сказал он шутливым тоном, — вы не знаете еще, с кем имеете дело. Фойль никогда не сдается — вот мой девиз. Идем! — Он, крепко держа ее руку, прошел с ней мимо нескольких домов. Потом, раньше чем она успела опомниться и подумать о сопротивлении, увлек ее за светло-желтую дверь кафе Берторелли. Мэри даже побледнела от страшной мысли, что она перешла теперь все границы приличия, дошла до окончательного падения. Укоризненно глядя в улыбающееся лицо Дениса, она ахнула с шокированным видом:

— О Денис, что вы сделали!

Но когда она оглядела чистенькую пустую кофейню с рядами мраморных столиков, со сверкающими зеркалами, светлыми обоями, когда она дала усадить себя на одно из обитых плюшем кресел, совсем такое, как ее скамейка в церкви, ее охватило сильное удивление, как будто она ожидала увидеть здесь грязный притон, подходящий для развратных оргий, которые, если верить молве, всегда происходят в таких именно местах.

В еще большее замешательство ее привело появление добродушного на вид толстяка с несколькими подбородками. Толстяк подошел к ним с улыбкой, быстро согнул в поклоне то место, где у него некогда была талия, и сказал:

— Добро пожаловать, мистер Фойль! Рад видеть вас снова.

— Доброе утро, Луи.

(Значит, это и есть то самое чудовище, хозяин кафе!)

— Удачно съездили, мистер Фойль? Много заработали, надеюсь?

— Еще бы! Эх вы, старый кусок сала! Разве вы до сих пор еще не убедились, что я все умею сбыть? Я сумел бы распродать тонну макарон на улицах Абердина.

Берторелли засмеялся и выразительным жестом развел руками, а от смеха вокруг его полного сияющего лица образовалось еще больше подбородков.

— Это-то дело нетрудное, мистер Фойль! Макароны — хорошая штука, не менее полезная, чем овсянка. От них человек становится такой толстый, как я.

— Это верно, Луи. Вы — живое доказательство, что не следует есть макароны. Ну, не будем говорить о вашей фигуре. Как поживает семейство?

— О, великолепно! Бамбино скоро будет с меня величиной! У него уже два подбородка!

Когда он громко захохотал, Мэри снова с ужасом уставилась на этого злодея, скрывающего свою низость под маской притворного веселья и мнимой добросердечности.

Но тут Денис прервал ход ее противоречивых мыслей, дипломатично спросив:

— Что вы хотите заказать, Мэри? Может быть, макаллум?

У Мэри хватило смелости кивнуть. Она не знала, какая разница между макаронами и макаллумом, но сознаться в своем невежестве при этом архангеле порока было выше ее сил.

— Отлично, отлично, — согласился Берторелли и убежал.

— Славный малый! — заметил Денис. — Честен, как золото. А уж добрее его не найти.

— Да как же... — дрожащим голосом возразила Мэри. — О нем говорят такие вещи...

— Ба! Вероятно, что он ест маленьких детей? Все это просто противное ханжество, Мэри, милая! Нам пора бы отрешиться от него, ведь мы живем не в Средние века. Оттого, что Луи итальянец, он не перестает быть таким же человеком, как мы. Он из какого-то местечка близ Пизы, где стоит знаменитая башня, — знаете, та, что клонится, но не падает. Когда-нибудь мы с вами поедем ее посмотреть. И в Париж поедем, и в Рим, — добавил он небрежно.

Мэри с благоговением посмотрела на этого человека, который называл иностранцев просто по имени и говорил о европейских столицах не с хвастовством, как бедняга Мэт, а со спокойной, хладнокровной уверенностью. Она подумала: какой богатой и яркой могла бы стать жизнь с таким человеком, любящим и сильным, мягким и в то же время смелым. Она чувствовала, что начинает его боготворить.

Она ела макаллум, восхитительную смесь мороженого с малиновым вареньем, блестяще придуманное сочетание легкой кислоты фруктового сока с холодной чудесной сладостью сливочного мороженого, которое таяло на языке, доставляя неожиданное, изысканное наслаждение. Денис, с живым удовлетворением наблюдая ее наивный восторг, под столом

тихонько прижимал свою ногу к ее ноге.

И отчего это, спрашивала себя Мэри, она всегда так чудесно проводит время в обществе Дениса? Отчего он своей добротой, щедростью и терпимостью так отличается от всех, кого она знает? Отчего загнутые кверху уголки его рта, светлые блики в его волосах, посадка его головы будят в ней такую радость, что сердце готово перевернуться в груди?

— Нравится вам тут? — спросил он.

— Да, тут и в самом деле очень мило, — согласилась она.

— Оттого я и привел вас сюда. Впрочем, когда мы вместе, нам всюду хорошо. Вот в чем весь секрет, Мэри.

Глаза ее сверкнули в ответ, всем существом вбирала она исходивший от него ток смелой жизнерадостности, и, в первый раз с тех пор, как они встретились, она рассмеялась весело, громко, от души.

— Вот так-то лучше, — поощрил ее Денис. — А то я уже начинал беспокоиться. — Он порывистым движением наклонился через стол и крепко сжал ее тонкие пальчики.

— Если бы ты знала, Мэри, милая, как я хочу видеть тебя счастливой! С первой встречи я влюбился в твою красоту, но то была печальная красота. Казалось, ты боишься, не смеешь улыбнуться, словно кто-то убил в тебе навсегда радость. С того чудного вечера, который мы провели вместе, я постоянно думал о тебе, дорогая. Я тебя люблю и надеюсь, что ты любишь меня. Чувствую, что мы созданы друг для друга. Я не мог бы теперь жить без тебя и хочу быть с тобой, хочу видеть, как ты освобождаешься от своей печали и смеешься каждой моей пустой, глупой шутке. Позволь же мне открыто любить тебя!

Мэри молчала, безмерно тронутая его словами. Наконец она заговорила.

— Как бы мне хотелось быть всегда с вами! — сказала она с грустью. — Я... мне так вас доставало, Денис. Но вы не знаете моего отца. Он страшный человек. Что-то в нем есть, чего никак не поймешь. Я его боюсь, а он... он запретил мне и говорить с вами.

Денис прищурился:

— Так я для него недостаточно хорош?

Мэри невольно, словно под влиянием острой боли, крепко сжала его пальцы.

— Не говори этого, Денис, голубчик. Ты — чудный, и я люблю тебя, я за тебя умереть готова. Но ты не можешь себе представить, какой властный человек мой отец... ах, это самый гордый человек на свете!

— Да почему же?.. Что он может иметь против меня? Мне стыдиться

нечего, Мэри. Почему это ты упомянула о его гордости?

Мэри некоторое время не отвечала. Потом сказала медленно:

— Не знаю... В детстве я никогда над этим не задумывалась, отец был для меня богом — такой большой, сильный, — и каждое его слово было законом. Когда я стала старше, мне начало казаться, что тут есть какая-то тайна, оттого он не такой, как другие люди, оттого он хочет по-своему нас воспитать. И теперь я почти боюсь, что он думает...

Мэри остановилась и взволнованно посмотрела на Дениса.

— Ну, что же он думает? — настойчиво подхватил тот.

— Я в этом не уверена... Я даже не решаюсь сказать... — Она покраснела и неохотно договорила: — Кажется, он думает, что мы каким-то образом приходимся родственниками Уинтонам.

— Уинтонам! — воскликнул недоверчиво Денис. — Самому герцогу! Господи, откуда он это взял?

Мэри уныло покачала головой:

— Не знаю. Он никогда об этом не говорит, но я чувствую, что в глубине души он постоянно носит с этой мыслью. Видишь ли, фамилия Уинтонских герцогов — Броуди, ну, он и... О, как все это глупо, смешно!..

— Смешно! — повторил Денис. — Нет, совсем не смешно! Какую же пользу он рассчитывает извлечь из этого родства?

— Да никакой, — отвечала она с горечью. — Только гордость свою тешит. Иногда он просто отравляет нам жизнь, заставляет нас жить не так, как люди живут. В этом доме, который он себе выстроил, мы в стороне от всех и от всего, и дом этот нас так же гнетет, как он сам.

Увлечшись рассказом о своих тревогах, она в заключение воскликнула:

— Ах, Денис, я знаю, что нехорошо говорить так о родном отце. Но я его боюсь. Никогда, никогда он не позволит нам обручиться.

Денис стиснул зубы.

— Я сам с ним поговорю. Каков бы он ни был, а я сумею его убедить, чтобы он разрешил нам встречаться. Не страшен он мне. Я не боюсь никого на свете.

Она вскочила в сильном испуге.

— Нет, нет, Денис! Не делай этого! Он нас обоих накажет самым ужасным образом.

Она уже видела, как отец, страшный, грубый, сильный, калечит этого юного красавца.

— Обещай, что ты не пойдешь к нему! — закричала она.

— Но нам же необходимо видаться, Мэри, не могу я от тебя отказаться.

— Мы могли бы иногда встречаться потихоньку, — предложила Мэри.

— Ни к чему это не приведет, дорогая. Нам надо решиться на что-нибудь окончательно. Ты знаешь ведь, что я должен жениться на тебе.

Он пристально взглянул на девушку. Зная теперь, как велико ее неведение, он не решился сказать больше. Он только взял ее руку, осторожно поцеловал в ладонь и прижался к ней щекой.

— Скоро мы встретимся опять? — спросил он непоследовательно. — Мне хотелось бы снова гулять с тобой при лунном свете и видеть, как он блестит в твоих глазах, как лучи играют в твоих волосах... — Он поднял голову и с любовью поглядел на руку Мэри, которую все еще держал в своей. — Руки у тебя — как подснежники, такие нежные, и белые, и слабые. Они кажутся прохладными, как снег, когда я прижимаюсь к ним лицом. Я люблю твои руки, Мэри, и люблю тебя.

Им овладело страстное желание иметь ее всегда подле себя. Он мысленно решил, что, если понадобится, вступит в борьбу. Любовь его одолеет все преграды, разделяющие их, будет сильнее самой судьбы. И он сказал твердо, уже другим тоном:

— Но ты ведь все равно выйдешь за меня, даже если придется ждать? Да, Мэри?

В эти мгновения, пока он в ожидании ее ответа сидел молча, слегка поглаживая ее руку, четко выделяясь на кричащем фоне пустого кафе, Мэри увидела в его глазах, как тянется к ней эта близкая душа, услышала в его вопросе лишь просьбу быть счастливой с ним навсегда, и, сразу позабыв обо всех препятствиях, опасностях, совершенной недостижимости этого счастья, ничего не желая знать о браке, только любя Дениса, утопив свой страх в его смелости, сама растворяясь в нем целиком, глубоко глядя ему в глаза, она ответила:

— Да.

Денис не шевельнулся, не упал на колени, не стал в пылких словах выражать свою благодарность. Но в тишине от него к Мэри через их соприкасавшиеся руки словно устремился ток невыразимой страстной любви, а в глазах была такая беззаветная нежность, что, когда они встречались с глазами Мэри, казалось — эта нежность разливалась вокруг обоих сверкающей радугой.

— Ты не пожалеешь об этом, любимая, — шепнул он и, нагнувшись через стол, тихонько поцеловал ее в губы. — Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была счастлива, Мэри. Я был эгоистом, но теперь я буду думать прежде всего о тебе. Я буду работать для тебя изо всех сил. Я быстро пробивал себе дорогу, а теперь буду делать это еще быстрее. У меня

уже отложено кое-что в банке, и если ты согласна подождать, Мэри, то мы скоро попросту уедем отсюда и обвенчаемся.

Потрясающая простота этого решения ошеломила ее, и, подумав о том, как легко будет убежать вместе, неожиданно, тайком от отца и навсегда от него освободиться, она всплеснула руками и прошептала:

— О Денис, неужели это возможно? Мне это не приходило в голову!

— Конечно возможно. И *будет*, дорогая. Я примусь работать так усердно, что мы скоро сможем пожениться... Запомни мой девиз! Мы сделаем его девизом нашего рода. Что нам за дело до Уинтонов! А теперь — ни слова больше, и пускай в этой головке не останется ни единой заботы. Предоставь все мне и помни одно — что я о тебе думаю всегда и всегда стремлюсь к тебе. Нам, может быть, придется соблюдать осторожность, но, разумеется, мне изредка можно будет видеть тебя, хотя бы только любоваться тобой издали.

— Да и мне непременно надо иногда видиться с тобой. Без этого было бы слишком тяжело жить, — прошептала Мэри. И вдруг придумала выход: — По вторникам я хожу в библиотеку менять книги для мамы, а иногда и для себя.

— Да ведь я это давно сам узнал, глупышка! — засмеялся Денис. — До тех пор, пока это дело кончится, я, верно, успею познакомиться с литературными вкусами твоей матери. Как будто я не знаю, что ты ходишь в библиотеку! Я там буду тебя подстерегать, не беспокойся! Но знаешь что: мне хотелось бы иметь портрет моей дорогой девочки, чтобы не умереть с тоски в промежутках между встречами.

Мэри, немного сконфуженная тем, что приходится сознаться в пробелах и странности своего воспитания, возразила:

— У меня нет ни единой фотографии. Отец нам не позволял сниматься.

— Что?! Твои родители отстали от века, моя милая. Придется их подтянуть. Подумать только, что ты ни разу в жизни не снималась! Срам, да и только. Ну да ничего, как только мы станем мужем и женою, я в ту же минуту сфотографирую твое милое личико. Как тебе нравится вот это? — спросил он, показывая ей довольно туманный снимок щеголеватого молодого человека, стоявшего с бодрым и неуместно веселым и развязным видом среди каких-то камней, напоминающих миниатюрные надгробные памятники.

— Денис Фойль на Дороге гигантов в прошлом году, — пояснил он. — Вот старуха, которая там продает раковины, знаешь, те большие, что поют, если их поднести к уху. Она в тот день мне гадала. Сказала, что я

счастливчик, что меня ждет удача, — видно, она знала, что я встречу тебя.

— Можно мне взять себе эту фотографию, Денис? — попросила Мэри застенчиво. — Она мне очень нравится.

— Она — твоя, никому другому она не достанется, если ты обещаешь носить ее поближе к сердцу.

— Мне придется носить ее там, где ее никто не увидит, — отвечала она наивно.

— Это меня удовлетворяет. — И Денис лукаво улыбнулся, когда от его тона краска вдруг залила чистый лоб девушки. Но он тотчас же честно извинился: — Не сердись на меня, Мэри. Знаешь пословицу «Язык мой — враг мой»...

Оба засмеялись. Мэри, от души веселясь, чувствуя, что готова вечно слушать его шутки, понимала вместе с тем, что он таким образом пытается подбодрить ее перед разлукой, и любила его за это еще больше. Его отвага передавалась и ей, его открытый и смелый подход к жизни бодрил ее, как холодный и чистый воздух бодрит узника после долгого заточения в духоте. Все эти мысли нахлынули на нее, и она сказала невольно:

— Ты делаешь меня счастливой и свободной, Денис. С тобой мне так легко дышится. Я не понимала, что такое любовь, пока не встретила с тобой. Я никогда о ней не думала, а теперь знаю, что для меня любить — значит всегда быть с тобой, дышать с тобой одним воздухом...

Она вдруг замолчала, охваченная смущением, стыдясь своей смелости. Бледное воспоминание о той ее жизни, которая проходила без Дениса, забрезжило в памяти, и, когда взгляд ее упал на грудь свертков, она вспомнила о матери, которая, верно, недоумевает, куда девалась Мэри. Она подумала о том, как непозволительно долго задержалась в городе, как необходимо быть очень осторожной теперь, и, порывисто вскочив, сказала с коротким вздохом:

— Мне нужно сейчас же идти домой, Денис.

Эти слова тяжестью легли на сердце Дениса. Но он не стал просить Мэри остаться, а со стойкостью, подобающей мужчине, тотчас ответил:

— Мне не хочется тебя отпускать, дорогая, и я знаю, что тебе не хочется уходить, но теперь нам будущее уже не страшно. Нужно только любить друг друга и ждать.

Они все время были одни. Берторелли скрылся бесследно, доказав этим, что если он и чудовище, то, во всяком случае, не лишен человечности и такта, которые способны хотя бы немного уравновесить тяжесть приписываемых ему злодеяний.

Они торопливо поцеловались, и губы Мэри на мгновение затрепетали

на губах Дениса, как крылья бабочки. У дверей они обменялись последним взглядом, как священным талисманом, немым залогом взаимного понимания, доверия и любви. Затем Мэри отвернулась и вышла.

Ее сумка теперь казалась легкой, как перышко, ноги двигались быстро, в такт пляшущему в груди сердцу, и с высоко поднятой головой, с растрепанными и развевающимися на ветру локонами она дошла домой раньше, чем улеглось восторженное состояние ее духа. Когда она влетела в кухню, миссис Броуди вопросительно посмотрела на нее, скосив глаза:

— Где это ты так задержалась, девочка? Долго же ты закупала эту горсточку провизии! Встретила кого-нибудь из знакомых? Расспрашивали тебя про Мэта?

Мэри чуть не засмеялась прямо в лицо матери. На одно мгновение она представила себе, какой эффект получился бы, если бы она рассказала, что только что ела мороженое, дивное, как небесная амброзия, поданное ей тем самым гнусным злодеем, который травит бамбино макаронами, в запретном месте — грязном притоне и в обществе молодого человека, который обещал провести с ней медовый месяц в Париже. И хорошо, что воздержалась от откровенности: если бы она сделала такую глупость, то миссис Броуди или решила бы, что дочь сошла с ума, или тотчас же упала бы в обморок.

— Свежий воздух, видно, принес тебе пользу, — продолжала мама несколько подозрительно. — Вот ты как раздумянилась!

Несмотря на всю ее доверчивость, материнский инстинкт нашептывал ей сомнения в таком быстром действии ливенфордского воздуха, который до сих пор всегда оказывался бессильным.

— Да, я чувствую себя сейчас гораздо лучше, — подтвердила Мэри невинно, а губы ее дергались, в глазах сверкали искры смеха.

— Когда ты ушла, бабушка тут говорила что-то насчет письма, которое ты при ней читала, — не унималась миссис Броуди, встревоженная неясной догадкой. — Надеюсь, ты не позволишь себе ничего такого, что не понравилось бы отцу! Не вздумай идти против него, Мэри! Те, кто пытался так делать, потом жалели об этом. Результат всегда один и тот же... — Она вздохнула, вспоминая что-то, потом добавила: — Он рано или поздно узнает и положит всему конец. Ох, и конец будет скверный, очень скверный!

Мэри движением плеч сбросила жакетку. За последний час ее стройная фигура снова обрела юную живость, бодрую жизненную силу. Она стояла выпрямившись, полная неукротимой, доверчивой радости.

— Мама, — сказала она весело, — не беспокойся обо мне. Мой девиз

отныне: «Мэри никогда не сдастся».

Миссис Броуди грустно покачала головой и, мучимая каким-то смутным, невнятным предчувствием, собрала покупки. Еще меланхоличнее склонив голову набок, зловещая, как воплощенное предзнаменование горя, она медленно вышла из кухни.

VI

— Несси! Мэри! — визгливо кричала миссис Броуди, в неистовом усердии суется вокруг мужа, которому она помогала одеваться. — Идите сюда и застегните отцу гетры!

Это было в субботу утром, двадцать первого августа, — один из дней, отмеченных красным в календаре Джемса Броуди. Одетый в куртку и короткие штаны из клетчатой материи в крупную черную и белую клетку, он сидел багровый, как солнце на закате, пытаясь застегнуть гетры, которые надевал в последний раз ровно год тому назад, в этот же день, причем с такими же точно затруднениями, хотя сейчас предпочитал делать вид, что не помнит этого факта.

— И что за идиотская манера прятать гетры сырыми! — шипел он на жену. — Теперь они, конечно, на мне не сойдутся. Черт побери, неужели в этом доме не могут ни одну вещь сохранить в приличном виде? Вот теперь гетры ссохлись и не годятся.

Что бы ни случилось в доме, все бремя вины неизменно возлагалось на слабые плечи жены.

— Стоит только человеку не присмотреть самому за какой-нибудь вещью в доме, непременно ее испортит какое-нибудь безмозглое существо! Как я теперь пойду на выставку без гетр? Ты скоро предложишь мне ходить без воротничка и галстука!

— Знаешь что, отец, — кротко возразила миссис Броуди, — должно быть, в этом году ты носишь башмаки чуточку пошире. Эта новая пара, которую я сама тебе заказывала, пошире других.

— Вздор! — проворчал Броуди. — Ты бы еще сказала, что ноги у меня стали больше!

Тут в комнату, как молодой жеребенок, вбежала Несси, а за нею медленно следовала Мэри.

— Скорее, девочки! — торопила мать. — Застегните отцу гетры. Смотрите же, не возитесь долго, он и так уже опоздал.

Молодые прислужницы опустили на колени и принялись проворными пальцами ловко и энергично выполнять порученное им дело, а Броуди развалился в кресле и, кипя гневом, метал сердитые взгляды на жену, с виноватым видом стоявшую перед ним. Катастрофа с гетрами была тем более неприятна для миссис Броуди, что в этот день имелись все основания рассчитывать на хорошее настроение Джемса, и мысль, что она

сама испортила себе редкое счастье — день без бурь, сама вызвала извержение недействовавшего вулкана, угнетала ее больше, чем брань, которой ее в данный момент осыпал муж.

То был день открытия ливенфордской выставки племенного скота, выдающегося события в сельскохозяйственных кругах, день, когда центром всеобщего внимания являлась генеалогия как скота, так и представителей человеческой породы, населявших графство. Броуди любил эти выставки, и посещение их превратилось у него в неизменный ежегодный обычай. Ему доставляло удовольствие любоваться на красивых коров с гладкой блестящей шкурой и набухшим выменем, на мускулистых клайдесдальских жеребцов, гордую поступь верховых лошадей на беговом круге, откормленных свиней, овец с густой курчавой шерстью, и он гордился тем, что хорошо разбирается в достоинствах всех этих животных.

«Я больше всех вас понимаю в этом деле, — казалось, говорил он всем своим видом, стоя вплотную рядом с членами жюри и в одной руке держа свою знаменитую ясеневую трость, а другую засунув глубоко в карман. — И я — торговец шляпами! Смех, да и только!»

Здесь он был в своей стихии, на переднем плане, занимая видное место среди лучших экспертов. Постояв, он отправлялся бродить между палаток, сдвинув шляпу на затылок; отрезал своим перочинным ножом то здесь, то там ломтик сыра и с критическим видом пробовал его; пробовал и выставленные различные сорта масла, сливки, пахтанье; грубо заигрывал с самыми аппетитными и смазливymi молочницами, стоявшими подле своих экспонатов.

В такие дни расцветала та часть его души, которая еще не оторвалась от деревни, от земли. От предков со стороны матери, Лумсденов, которые в течение нескольких поколений были фермерами в поместьях уинтонских баронов, он получил в наследство глубоко вкоренившуюся любовь к земле, к тому, что она рождает, к животным. Тело его тосковало по тяжелому деревенскому труду, потому что в юности он ходил за своей упряжкой по глинистым полям Уинтона и переживал восторг прикосновения к щеке ружейного приклада. От отца же своего, Джемса Броуди, угрюмого, жестокого, неукротимого человека, он, единственный сын, унаследовал гордость, вскормленную стремлением владеть землей. И только перемена обстоятельств после смерти обедневшего отца, который разбился, упав с лошади, вынудила Джемса уже в ранней молодости заняться внушавшей ему отвращение торговлей.

Однако и другие, более веские причины побуждали его ходить на выставку: страстное желание встречаться, как равный с равными, с

мелкими дворянами, съезжавшимися со всего графства. Он держал себя с ними без всякого раболепства, скорее даже с оттенком дерзкого высокомерия, тем не менее любезный кивок, беглое приветствие или несколько минут разговора с каким-нибудь видным представителем знати доставляли ему глубокое внутреннее удовлетворение, опьяняли суетным восторгом.

— Вот и готово, папа! Я первая кончила! — закричала с торжеством Несси. Своими проворными детскими пальцами она наконец застегнула доверху одну из непокорных гетр.

— Ну, Мэри, поторопись и ты! — взмолилась миссис Броуди. — Какая ты копунья! Не ждать же отцу целый день, пока ты кончишь!

— Не мешай ей, — сказал Броуди ироническим тоном. — Что за беда, если я и опоздаю: вам, должно быть, хочется держать меня здесь целый день.

— Она никогда ничего не делает так проворно, как Несси, — вздохнула мама.

— Готово, — объявила наконец и Мэри, вставая и шевеля онемевшими пальцами.

Отец осмотрел ее критическим взглядом:

— Знаешь, ты обленилась, дочь моя, вот в чем вся беда. Я замечаю, что ты растолстела, как бочка! Тебе бы следовало есть поменьше да работать побольше.

Он поднялся и подошел к зеркалу, в то время как миссис Броуди, а за нею и дочери вышли из комнаты. Пока он со все возрастающим самодовольством разглядывал себя в зеркале, к нему окончательно вернулось хорошее настроение. Толстые мускулистые ноги превосходно обтянуты короткими панталонами, а под мохнатыми шерстяными чулками домашней вязки красиво круглятся икры; плечи широкие и прямые, как у борца; ни одна лишняя унция жира не портит фигуры; кожа чистая, без пятнышка, как у ребенка. Он представлял собой совершенный тип провинциального дворянина, и когда это обстоятельство, уже ранее ему известное, с живой убедительностью подтвердило отражение в зеркале, он закрутил усы и погладил подбородок с чувством удовлетворенного тщеславия.

В эту минуту дверь тихонько отворилась, и бабушка Броуди осторожно заглянула в комнату, желая разведать, в каком настроении сын, раньше чем заговорить с ним.

— Можно мне поглядеть на тебя, Джемс, пока ты еще здесь? — спросила она заискивающе после осторожной паузы. День выставки

вызывал в ее отупевшей душе чувство, близкое к радостному возбуждению, рожденное полузабытыми воспоминаниями молодости, которые беспорядочно нахлынули на нее.

— Ты прямо-таки красавец! У тебя как раз такая фигура, какая должна быть у настоящего мужчины, — сказала она сыну. — Эх, жаль, что мне нельзя пойти туда с тобой!

— Ты слишком стара, чтобы тебя выставять, мать, хотя за прочность могла бы, пожалуй, получить медаль, — съязвил Броуди.

Глухота помешала ей расслышать как следует, что сказал сын, и она была слишком занята своими мыслями, чтобы понять его замечание.

— Да, я уже немножечко старовата, чтобы выходить, — пожаловалась она, — а бывало, я повсюду на первом месте — и среди доильщиц, и на выставке, и после выставки, когда плясали джигу и когда баловались во время долгого пути домой по ночной прохладе. Все, все теперь вспоминается...

Ее тусклые глаза заблестели.

— А какие ячменные и пшеничные лепешки мы пекли!.. Хотя в ту пору я на них и внимания не обращала.

Она вздохнула, сожалея о потерянных возможностях.

— Эх, мать, неужели ты не можешь хоть когда-нибудь забыть о еде? Можно подумать, что ты у меня голодаешь, — пристыдил ее Броуди.

— Нет, нет, Джемс! Я очень благодарна за все, что мне дают, и дают мне много. Но, может быть, сегодня ты, если увидишь хороший кусочек чедерского сыра, не слишком дорогого... в конце дня всегда можно купить задешево... Может быть, ты захватишь его для меня? — Она умильно посмотрела на сына.

Броуди громко расхохотался:

— Ох, уморишь ты меня, мать! У тебя один только бог — твой желудок. Я сегодня рассчитываю повидать сэра Джона. Что же, ты хочешь, чтобы я встретил его, нагруженный мешками и пакетами? — прикрикнул он на нее и с шумом вышел из комнаты.

Его мать поспешила к окну своей спальни, чтобы увидеть, как он выйдет из дому. Здесь она просиживала в этот день чуть не до вечера и, напрягая зрение, глядела на скот, который вели с выставки, и любовалась разноцветными картонными ярлыками (красные означали первую премию, синие — вторую, зеленые — третью, а желтые — только похвальный лист), с упоением наблюдала толчею и суету в толпе крестьян, пытаюсь (но всегда безуспешно) найти знакомое лицо в этой валившей мимо толпе. Кроме того, ее не покидала приятная надежда, что сын, быть может, принесет ей с

выставки маленький подарок, и самая невероятность этого дразнила ее воображение. Что ж, во всяком случае, она его попросила, больше она ничего не может сделать, и остается только ждать.

Так она благодушно размышляла, торопливо усаживаясь в кресло на своем наблюдательном посту.

Внизу Броуди, уходя, обратился к Мэри:

— Ты бы сходила на предприятие и напомнила этому ослу Перри, что сегодня меня не будет весь день. — (Лавка в разговорах семьи Броуди фигурировала не иначе как под названием «предприятие»; в слове «лавка» усматривалось нечто унижительное.) — Он может забыть, что сегодня он не свободен. Этот субъект способен забыть о своей собственной голове. Беги во всю прыть, дочка, — кстати, тебе это полезно: спустишь немного жира.

Маме же он бросил, уходя:

— Буду дома тогда, когда приду.

Таково было обычно его прощальное приветствие в тех редких случаях, когда он считал нужным с ней прощаться. Оно расценивалось как величайшая милость, и мама приняла его с подобающей признательностью.

— Желаю тебе веселиться, Джемс, — ответила она робко, ободренная его хорошим настроением и торжественностью дня. Только в таких редких и исключительных случаях осмеливалась она называть мужа по имени. Лишнее доказательство того, какое незначительное место занимала она в его жизни.

Она и подумать не смела, что ей также доставило бы удовольствие побывать на выставке; с нее достаточно было уж и того, что предоставлялась возможность полюбоваться статной фигурой мужа, когда он отправлялся куда-нибудь один развлекаться, и нелепая идея, что она могла бы сопровождать его, никогда не приходила ей в голову. Ей нечего надеть, она нужна дома, да и не такое у нее здоровье, чтобы выдержать пребывание в течение целого дня на свежем воздухе. Любого из этих или из десятка других доводов достаточно было, чтобы убедить эту робкую женщину в невозможности бывать где-либо вместе с мужем. «Надеюсь, погода не испортится и он хорошо погуляет», — бормотала она про себя, возвращаясь в дом, чтобы приняться за мытье посуды после завтрака, в то время как Несси из окна гостиной махала рукой вслед удалявшейся спине отца.

Когда дверь захлопнулась за хозяином дома, Мэри медленно побрела наверх, в свою комнату, села на край кровати и стала смотреть в окно. Но она не видела, как в ясном блеске утра сверкали гладкие стволы трех стройных берез, которые высились, подобно серебряным мачтам, напротив

ее окна. Она не слышала, как шептались листья, на которых сменялись свет и тень, когда слабый ветерок шевелил ими. Уйдя в себя, сидела она и думала о том замечании, которое давеча бросил отец, с беспокойством и тоской переворачивая его в уме на все лады. «Мэри, ты становишься толстой, как бочка», — фыркнул он. Он просто хотел сказать, должно быть, что она физически развивается, быстро растет и полнеет, как полагается в ее возрасте. Так уверяла себя Мэри, но почему-то это замечание, как внезапный луч света, ворвалось во мрак ее неведения и вдруг вызвало в душе острую тревогу.

Ее мать, как страус, нервно прятала голову при малейшем намеке на некоторые вопросы, если они всплывали на их домашнем горизонте, и не сочла возможным просветить дочь даже насчет самых элементарных физиологических явлений. На всякий простодушный вопрос дочери она отвечала в ужасе: «Тсс, Мэри, замолчи сейчас же! Нехорошо говорить о таких вещах! Порядочные девушки о них не думают! Просто стыдно задавать такие вопросы!» С другими девушками Мэри так мало встречалась, что она лишена была возможности узнать что-либо хотя бы из тех осторожных хихиканий и намеков, которые иногда позволяли себе даже самые примерные и жеманные городские барышни. Отдельные обрывки разговоров, которые ей случалось иногда подслушать, отскакивали от ее непонимающих ушей или отвергались природной тонкостью чувств, и Мэри жила в наивном неведении, не веря, быть может (если она вообще об этом когда-нибудь размышляла), в басню о том, что детей приносит аист, но не имея самого элементарного представления о тайне зачатия.

Даже то, что вот уже три месяца, как прекратились некоторые нормальные отправления ее тела, не вызывало волнения в прозрачном озере ее девственной души, и только сегодня утром грубая фраза отца, которая где-то в тайных извилинах ее мозга вдруг приняла иной смысл, получила другое, искаженное толкование, ударила в нее с убийственной силой.

Разве она изменилась? Мэри взволнованно провела руками по всему своему телу. Нет, оно все то же, ее тело, ее собственное, принадлежащее целиком ей одной. Как может оно измениться? Она вскочила в паническом испуге, заперла на ключ дверь спальни, сорвала с себя кашемировую кофточку, юбку, потом нижнюю юбку, тесный лифчик, сняла все и стояла смущенная, в целомудренной наготе, трогая себя неловкими руками. До сих пор ее тело, когда она его рассматривала, не вызывало в ней ничего, кроме мимолетного интереса. Она тупо смотрела на желтовато-белую кожу, подняла руки над головой, потянулась вся, гибкая, упругая, безупречно

красивая. Небольшое зеркало, стоявшее на ее туалетном столике, не отразило в своей глубине ни единого недостатка, ни единой несовершенной черты, которые могли бы подтвердить или рассеять ее неясные опасения, и, как ни вертела она головой во все стороны, ее испуганный взгляд не сумел обнаружить никакого внешнего позорного нарушения пропорций, которое громко вопило бы об уродстве внутреннем. Она не могла решить, изменилось ли в ней что-либо. Стала ли ее грудь полнее? Или менее нежны ее розовые, как перламутр, соски? Или круче мягкий изгиб бедер?

Мучительное недоумение овладело ею. Три месяца тому назад, когда она лежала в объятиях Дениса в состоянии какой-то бессознательной отрешенности от всего, она слепо подчинилась инстинкту и с закрытыми глазами отдалась мощному влечению, пронизавшему ее тело. Ни рассудок, если бы она и хотела его слушаться, ни понимание того, что с нею происходит, если бы она это понимала, — ничто не могло бы ее остановить. Потрясающие ощущения нестерпимо-сладостной боли, невыразимо упоительного блаженства захлестнули сознание, и она ничего не узнала о том, что с ней произошло. Тогда она не в состоянии была ни о чем думать, теперь же она смутно недоумевала, что за таинственный процесс вызван в ее теле силой их объятий, возможно ли, чтобы слияние их губ каким-то непонятным образом изменило ее, изменило глубоко и бесповоротно.

Она чувствовала себя беспомощной, была в полной растерянности и нерешимости, сознавала, что надо что-то сделать, чтобы тотчас же рассеять эту внезапную душевную тревогу. Но что? Поспешно надевая снова одежду, брошенную на пол, она сразу же отвергла мысль посоветоваться с матерью, отлично зная, что робкая душа мамы в ужасе отпрянет при первых ее словах об этом. Мысли ее невольно обратились к Денису, постоянному утешению, но в тот же миг, к еще большему своему ужасу, она вспомнила, что не увидит его по меньшей мере неделю, да и увидит-то, может быть, только на одну минуту.

Со времени той чудесной беседы с ним у Берторелли их встречи бывали коротки (хотя всякий раз так же радостны), и по взаимному уговору они соблюдали при этом тщательную осторожность. Эти беглые встречи с Денисом составляли ее единственное счастье, но она чувствовала, что во время торопливого обмена словами любви и ободрения никогда у нее не хватит смелости хотя бы как-нибудь косвенно спросить у Дениса совета, в котором она нуждалась. При одной мысли об этом она залилась стыдливым румянцем.

Одевшись и отперев дверь, она сошла вниз, где мать, окончив то, что

она называла «приводить все в приличный вид», удобно расположилась в кресле с книгой, надеясь без помехи провести часок за чтением. Мэри с грустью подумала, что в этих книгах никогда не описываются положения, подобные тому, в котором очутилась она; что в этих романах с клятвами, целованием кончиков пальцев, нежными речами и благополучным концом нет никаких указаний, которые разрешили бы ее недоумение.

— Я пойду в лавку, мама. Отец велел мне сходить туда до обеда, — сказала она после минутного колебания, обращаясь к согнувшейся над книгой, поглощенной чтением матери.

Миссис Броуди, которая в этот момент восседала в гостиной одного суссекского поместья, окруженная избранным обществом, и вела глубокомысленную беседу с викарием местного прихода, не ответила, не слышала даже слов дочери. Когда она зачитывалась какой-нибудь книгой, она, по выражению мужа, «превращалась в одержимую».

— Ты совсем очумела от этого вздора, — заворчал он на нее однажды, когда она не сразу ответила на его вопрос. — Присосалась к книге, как пьяница к бутылке! Кажется, если бы дом загорелся у тебя над головой, ты бы все так же сидела и читала!

Поэтому Мэри, хмуро поглядев на мать, решила, что бесполезно обращаться к ней, что в настоящий момент от нее не дожидаться толкового, а тем более утешительного слова, и, незамеченная, молча вышла.

Погруженная в грустные мысли, она шла медленно, с поникшей головой, но, несмотря на то что шла так медленно, добралась до лавки раньше, чем у нее мелькнул хотя бы проблеск какого-нибудь решения мучившей ее загадки.

В лавке был один только Питер Перри. Оживленный, исполненный чувства собственного достоинства, упивавшийся сознанием своей полной и единоличной ответственности, он приветствовал Мэри потоком любезных слов. Лицо его сияло от восторга, бледные щеки еще больше побледнели от радостного волнения, вызванного ее приходом.

— Вот уж действительно приятный сюрприз, мисс Мэри! Не часто мы имеем счастье видеть вас в нашем предприятии! Очень, очень приятно! — твердил он, суетливо потирая свои тонкие, прозрачные, суженные к концам пальцы. Потом замолчал в полнейшей растерянности. Он был просто потрясен неожиданным стечением обстоятельств, которое привело Мэри в лавку как раз в тот день, когда отец ее отсутствовал и он, Перри, мог поговорить с нею. Но от смущения у него сразу вылетели из памяти те сверкающие остроумием беседы, которые он так часто мысленно вел в кругу царственно прекрасных молодых дам высшего общества, так сказать

репетируя в ожидании такого случая, какой представился ему сейчас. И он безмолвствовал, он, мечтавший об этой счастливой минуте, не раз говоривший себе: «Если бы мне повезло, то-то я блеснул бы перед мисс Мэри!» Он, который так красноречиво, с такой снисходительной развязностью беседовал с гладильной доской сквозь пар, наполнявший чуланчик за лавкой, теперь стоял молча, словно язык проглотил. Он, который в поэтические часы досуга, лежа в постели по воскресным утркам и устремив глаза на медную шишечку кровати, словно на диадему, чаровал герцогинь изысканностью своего разговора, был нем, как паралитик. Он ощущал какую-то расслабленность во всем теле, кожа у него зудела, из всех пор струился липкий пот; он окончательно потерял голову и, закусив удила, пробормотал привычной скороговоркой профессионала-приказчика:

— Пожалуйста, присядьте, сударыня, чем могу служить?

Но тотчас же ужаснулся, вся кровь бросилась ему в голову, и фигура Мэри расплылась, как в тумане, перед его глазами. Он не покраснел — этого с ним никогда не бывало, но от смущения все закружилось у него в голове. Однако, к его недоумению и облегчению, Мэри не выказала ни изумления, ни гнева. По правде говоря, мысли ее были все еще далеко, она не вполне очнулась от мрачной задумчивости, не слушала Перри и без всякого удивления, с одной лишь благодарностью приняв стул, который он машинально предложил ей, со вздохом усталости села.

Через некоторое время она подняла глаза, словно только что увидев молодого приказчика.

— Ах, мистер Перри, — воскликнула она, — я... я, должно быть, задумалась: я и не заметила, что вы тут.

Перри немного огорчился. Глядя на его лицо и развинченную фигуру, никак нельзя было поверить, что он питает освященную традицией тайную страсть к дочери хозяина. Между тем дело обстояло именно так, и в самых заветных, честолубивых и необузданных мечтах Перри даже рисовал себе, как он, молодой человек исключительных достоинств, станет компаньоном в деле после того, как с домом Броуди его свяжут узы более тесные, чем низменные узы торговли.

Мэри, ничего не подозревая об этих радужных мечтах и в душе испытывая смутную жалость к робкому юноше, так явно запуганному ее отцом, ласково посмотрела на него.

— У меня к вам поручение, мистер Перри, — сказала она. — Мистер Броуди сегодня не придет и просил, чтобы вы в его отсутствие присмотрели за всем.

— О, непременно, мисс Броуди! Я так и полагал, что ваш отец сегодня

пойдет на выставку. Я уже сделал все нужные приготовления для того, чтобы пробить здесь весь день. Здесь и позавтракаю. Я ведь отлично знаю, как мой шеф любит такие зрелища.

Если бы Броуди услышал, в каком тоне о нем говорят, он бы уничтожил своего приказчика единым взглядом. Но Перри уже оправился от смущения, готовился показать себя во всем блеске и мысленно похвалил себя за последнюю цветистую фразу.

— Но и в отсутствие шефа работа будет идти своим чередом, мисс Броуди, и, я надеюсь, идти хорошо, — добавил он звучно. — Смею вас уверить, я сделаю для этого все, все, что в моих силах. — Тон его был так серьезен, влажные глаза сияли так красноречиво, что при всей своей апатии Мэри неожиданно стала благодарить его, сама не зная за что.

Как раз в эту минуту вошел покупатель, корабельный плотник, которому нужна была новая шапка, но Мэри, которой представился удобный случай уйти, продолжала сидеть, прикованная усталостью к удобному стулу и словно расслабленная душевным оцепенением. Ей не хотелось идти домой, и Перри, пользуясь счастливой возможностью развернуть свои таланты перед ее глазами (хотя и следившими за ним довольно равнодушно), торжественно обслуживал покупателя, проделывая чудеса ловкости и проворства с картонками и лесенкой и даже с бумагой и бечевкой. Проводив покупателя, он воротился за прилавок и, наклонившись вперед, сказал самодовольным и конфиденциальным тоном:

— Замечательное предприятие у вашего отца, мисс Броуди, настоящая монополия. — Перри остался весьма доволен и этой своей фразой. Хотя термин был им позаимствован из книги по экономическим вопросам, которую он одолевал по ночам, он произнес его таким тоном, как будто это было его собственное умозаключение, глубокое и оригинальное.

— Правда, если мне позволено высказать мое мнение, можно было бы еще улучшить торговлю, введя какие-нибудь новшества, даже и помещение расширить не мешало бы, — заключил он внушительно.

Мэри не отвечала, и его угнетала мысль, что он не сумел заинтересовать ее. Беседа выходила несколько односторонняя.

— Надеюсь, вы здоровы? — осведомился он после продолжительной паузы.

— Вполне, — отозвалась она машинально.

— А мне показалось, что вы, осмелюсь сказать, лицом как будто похудели.

Мэри посмотрела на него:

— Похудела, вы находите?

— Несомненно.

Он ухватился за повод взглянуть в ее безучастное хмурое лицо. Он смотрел на это лицо с выражением почтительной заботливости, потом, наклонясь к прилавку и оперев подбородок на скрещенные пальцы, изобразил усиленное восхищение.

— Осмелюсь сказать, — продолжал он отважно, — вы хотя и прекрасны, как прежде, но кажетесь немного нездоровой. Боюсь, что вас измучила жара. Не угодно ли стакан воды?

Раньше чем Мэри успела отказаться, он вскочил со стремительной услужливостью, вылетел, как пуля, за дверь, тотчас же вернулся со стаканом, налитым до краев сверкающей влагой, и сунул холодный, запотевший стакан в вялую руку Мэри.

— Выпейте, мисс Мэри, — упрасивал он, — это вас освежит.

Когда она, чтобы не обидеть его, сделала несколько глотков, внезапная мысль наполнила его тревогой.

— Надеюсь, вы не болели? Какая вы бледная! Вы не обращались к доктору? — спрашивал он с усиленной заботливостью.

При этих словах Мэри так и застыла на месте, не донеся стакана до губ. словно молния сверкнула перед ней, указав ей дорогу. Она поглядела на Перри с пристальным вниманием, затем устремила глаза через открытую дверь вдаль, и в душе ее созрело внезапное решение, отчего линия рта сразу стала твердой и прямой.

С минуту она сидела неподвижно, затем, как под влиянием резкого толчка, встала, пробормотала: «Мне пора идти, мистер Перри. Благодарю за вашу любезность». И, раньше чем он успел опомниться, спокойно вышла из лавки, оставив Перри тупо глазающим на стакан, на пустой стул, в пустое пространство. «Что за странная девушка! — думал он. — Вдруг встала и ушла, хотя я был так любезен с ней! Впрочем, женщины — странные создания!.. И в конце концов, я успел показать себя в самом лучшем свете».

И, успокоившись, мистер Перри принялся насвистывать.

Выйдя на улицу, Мэри повернула не направо, к дому, а налево, по дороге, которая вела на дальнюю окраину города, в Ноксхилл. Случайное замечание Питера Перри подсказало ей выход, которого она до сих пор слепо искала, и оно-то побудило ее теперь идти в Ноксхилл. Она решила обратиться к какому-нибудь доктору. Доктора все знают, им можно довериться, они добры: они исцеляют, дают советы, успокаивают, они хранят доверенную им тайну. Она первым делом подумала о единственном знакомом враче, докторе Лори, который официально считался их домашним

врачом, хотя бывал в их доме раз в десять лет. Ей живо вспомнилось, как он в свой последний визит положил ей руку на голову и сказал с показным добродушием: «Даю пенни за один локон, мисс! Идет? У вас их и так достаточно!» Ей тогда было десять лет, и пенни она получила, несмотря на то что доктор не срезал у нее локона. С тех пор он ни разу не был у них в доме, но Мэри часто встречала его на улице, в его двуколке, в которой он целый день разъезжал по больным. В ее глазах он остался таким, каким запечатлелся в детской памяти, — ученым, великим человеком, занимавшим особое место среди других. Лори жил в Ноксхилле на склоне холма, в большом особняке, старом, обросшем мхом, но производившем еще внушительное впечатление. Решительно направляясь к этому дому, Мэри вспомнила, что прием у доктора начинается с двенадцати часов.

До Ноксхилла было далеко, и Мэри, шедшей вначале с лихорадочной торопливостью, скоро пришлось замедлить шаг. А ведь несколько месяцев тому назад она могла бы пробежать все это расстояние, ничуть не запыхавшись! Быстро утомившись, она почувствовала, что и решимость ее слабеет, и стала раздумывать, что она скажет доктору. Мысль обратиться к нему за советом показалась ей сперва такой удачной, что она не подумала о том, как трудно ей будет осуществить ее. Но сейчас эти трудности представлялись ей настойчиво, с мучительной ясностью и с каждым шагом казались все более непреодолимыми. Начать ли ей с разговора о своем здоровье? Доктор, конечно, первым делом удивится, что она пришла одна, без матери. Это была неслыханная вещь, и Мэри подумала, что он, может быть, даже откажется ее принять одну; если же он и согласится ее принять и она по неопытности приведет недостаточно вескую причину своего прихода, то он, конечно, несколькими пытливыми вопросами разобьет непрочную ткань лжи, сплетенную ею, и пристыдит ее. Она уныло подумала, что единственный выход — сказать доктору всю правду, довериться ему. Но что, если он расскажет родителям? Оправдывает ли цель ее визита к нему такой ужасный риск? Мысли ее путались в лабиринте нерассуждающей тревоги, когда она начала взбираться по Ноксхиллскому холму.

Наконец она дошла до ворот дома Лори, на которых, подобно оку оракула, притягивающему всех больных и страждущих, сверкала большая медная доска, некогда, в первые тревожные дни своего существования, искалеченная камнями озорных уличных мальчишек, а ныне отполированная и начищенная до такого блеска, что на ней ничего нельзя было разобрать.

Пока Мэри стояла у ворот, пытаясь подавить дурные предчувствия и

собирая свое мужество, она увидела приближавшегося пожилого мужчину, в котором узнала старого знакомого. Сообразив с внезапным испугом, что рискованно войти к доктору, пока этот человек не скроется из виду, она повернулась спиной к нему и медленно прошла мимо дома. Краем глаза рассматривала она этот большой, массивный дом со строгим портиком в стиле Георгиевской эпохи, с окнами, таинственно завешенными портьерами шафранного цвета; беспокойство ее росло, дом, маячивший перед глазами, казалось, нависал над ней все большей громадой, сомнения нахлынули с новой, еще большей силой. Она подумала, что неразумно идти к врачу, который так хорошо ее знает. Денису может не понравиться, что она сделала такой шаг, не посоветовавшись сначала с ним. Может быть, лучше выбрать более удобное время для посещения доктора? Она ведь не больна, она здорова, как всегда, у нее все нормально, она просто жертва собственного воображения, и то, что она делает, ненужно и опасно.

Теперь на улице не было ни души, и надо было либо войти сразу в дом, либо не входить вовсе. Говоря себе, что она сначала войдет, а потом подумает обо всех своих затруднениях, она уже положила было руку на щеколду калитки, но вдруг вспомнила, что у нее нет с собой денег, чтобы уплатить доктору, а уплатить следовало, хотя бы он этого и не потребовал, теперь же, чтобы избежать осложнений, могущих повести к раскрытию ее тайны. Она отдернула руку и снова начала в нерешительности ходить по тротуару, как вдруг увидела горничную, выглядывавшую из-за портьеры одного из окон. Горничная ее не замечала, но взволнованной Мэри почудилось, что та подозрительно ее рассматривает, и это мнимое наблюдение за ней отняло у нее последнюю каплю решимости. Она почувствовала, что больше не в состоянии выносить мучительные колебания, с виноватым видом торопливо пошла прочь от дома, словно уличенная в каком-нибудь ужасном проступке.

Она снова проделала тот же утомительный путь, которым пришла, и все время ее угнетало, почти мучило то, что она не выполнила своего намерения. Она называла себя мысленно взбалмошной дурой и трусихой; лицо ее горело от стыда и смущения; она испытывала потребность во что бы то ни стало скрыться от людских взоров. Чтобы не встретить никого из знакомых и воротиться домой как можно скорее, она пошла не по Хай-стрит, а по узкой запущенной улице, официально носившей название Колледж-стрит, но именуемой всеми просто «Канавой». Она ответвлялась от большой проезжей дороги в том месте, где та делала изгиб в сторону, и проходила под железной дорогой прямо к городскому парку. С поникшей головой Мэри нырнула во мрак «Канавы», словно желая в нем укрыться, и

торопливо зашагала по этой неприятной и пользующейся дурной славой улице, с неровной мостовой, с канавами, где валялись битые бутылки, пустые жестянки из-под консервов и всякие отвратительные отбросы нищего квартала. Только стремление избежать встреч со знакомыми могло привести Мэри на эту улицу, куда, в силу молчаливого запрета, никогда не ступала ее нога. И даже сейчас, во время этого поспешного бегства, жуткая нищета улицы, казалось, успела коснуться ее своей грязной рукой.

Женщины глазели на нее из открытых дворов, где они праздно болтали, собираясь кучками, неряшливые, с обнаженными до плеч руками. Какая-то дворняжка бросилась ей вслед с лаем, хватая ее за пятки; грязный уродливый калека, разлегшийся на мостовой, громко просил милостыню, и его хнычущий, назойливый голос оскорбительно преследовал ее.

Мэри пошла еще быстрее, спасаясь от гнетущих картин вокруг, и уже прошла почти всю улицу, когда заметила впереди толпу, быстро двигавшуюся ей навстречу. На один трагический миг она застыла на месте, вообразив, что на нее хотят напасть. Но тотчас же до ее ушей долетели звуки оркестра, и она увидела, что эта толпа, сопровождаемая свитой оборванных детей и паршивых собак и двигавшаяся на нее, подобно полку, идущему в бой, была просто местным отрядом Армии спасения, недавно организованным в Ливенфорде. Ее верные сторонники в наплыве юношеского энтузиазма воспользовались праздничным днем, чтобы уже с раннего утра устроить шествие по самым подозрительным кварталам города для пресечения всякой распущенности и порока, которым люди могут дать волю по случаю открытия выставки.

Они подходили все ближе. Бились на ветру знамена, лаяли собаки, гремели литавры, оркестр ревел гимн «Сойдем со стези порока», а солдаты Армии спасения (обоего пола) с дружным рвением сливали свои голоса в громкий хор. Они подошли совсем близко, и Мэри прижалась к стене, готовая пожелать, чтобы мостовая разверзлась под ее ногами и поглотила ее. Когда толпа хлынула мимо, она вся съежилась, ощущая, как волны чужих тел грубо бьются о ее собственное. Внезапно одна из женщин — солдат этой армии, полная благочестивого пыла и радости, которую доставляла ей новая форма, увидела испуганную Мэри, на минуту перестала петь пронзительным сопрано и, приблизив свое лицо к лицу Мэри, сказала проникновенным шепотом:

— Сестра, ты грешница? Тогда иди к нам и спасешься. Приди и омойся в крови Агнца!

И сразу же, перейдя от шепота к громкому пению, она подхватила припев гимна «Кто гибнет сегодня» и, победно шествуя по мостовой,

скрылась из виду.

Чувство невыразимого унижения охватило Мэри, все еще прижимавшуюся к стене. Ее впечатлительной натуре эта новая неприятность представлялась последним знамением Божьего гнева.

За последние часы внезапный, неожиданный переход ее мыслей в темное и новое для них русло изменил и весь строй ее внутренней жизни. Она не могла бы назвать чувство, которое ею владело, она не могла бы выразить в словах и даже понять тот ужас, который наполнял ее сердце, но когда она, спотыкаясь, брела домой, то в тоске самобичевания твердила себе, что недостойна жить.

VII

В понедельник после выставки в доме Броуди царило сильное волнение. В это утро стук почтальона прозвучал громче обычного, а мина его была преисполнена важности, когда он вручил миссис Броуди письмо, пестревшее рядом иностранных марок, тонкий, продолговатый конверт, таинственно хрустевший в ее дрожащих от волнения пальцах. Мама с бьющимся сердцем смотрела на это письмо, которое ожидала столько дней. Ей не пришлось гадать, от кого оно, так как она тотчас узнала один из тех тонких «заграничных» конвертов, которые она сама заботливо выбрала и уложила среди вещей Мэта. В это утро она была одна дома и в приливе благодарности и нетерпения прижала конверт к губам, потом крепко к груди, подержала его так некоторое время, словно давая сердцу впитать в себя содержание письма, и, снова отняв конверт, вертела его в красных, шершавых от работы руках. Хотя она знала, что письмо предназначалось исключительно для нее, но оно было адресовано «мистеру и миссис Броуди», и она не смела его распечатать, она не смела побежать наверх и радостно крикнуть мужу: «Письмо от Мэта!» Она взяла это первое драгоценное послание из-за границы и осторожно положила его на тарелку мужа. Она ожидала. Ожидала покорно, но с жадным, мучительным нетерпением, время от времени заходя из посудной на кухню, чтоб убедиться, что письмо тут, что это замечательное послание, которое чудесным образом прошло три тысячи миль по чужим морям и экзотическим странам, раньше чем благополучно дошло до нее, теперь не исчезло вдруг в пустом пространстве.

Наконец через некоторое время, показавшееся ей вечностью, Броуди сошел вниз, все еще (как она с благодарностью заметила про себя) сохраняя хорошее настроение, след весело проведенного накануне дня. Миссис Броуди немедленно принесла кашу и, осторожно поставив ее перед ним, в ожидании остановилась поодаль. Броуди взял с тарелки письмо, молча взвесил его на широкой ладони, безучастно осмотрел, снова демонстративно взвесил на руке, затем положил перед собой, не распечатав, и принялся за еду. Он ел одну ложку за другой, согнувшись над тарелкой, поставив локти обеих рук на стол, и не отрывал глаз от конверта, умышленно делая вид, что не замечает жены.

Покоряясь этому утонченному издевательству, миссис Броуди все стояла в глубине кухни, крепко сжимая руки, напрягшись вся в

лихорадочном ожидании, пока наконец не выдержала.

— Распечатай же, отец, — шепнула она.

Он изобразил преувеличенно сильный испуг.

— Клянусь Богом, жена, ты меня до смерти испугала! И чего это ты тут торчишь у меня над душой? Ага, понимаю, понимаю! Тебя притягивает этот клочок бумаги.

Он указал ложкой на письмо и небрежно откинулся на спинку стула, наблюдая за женой. Он был в самом благодушном настроении и решил позабавиться.

— Точь-в-точь оса над банкой варенья! — протянул он насмешливо. — С такой же тошнотворной жадностью ты смотришь на это письмо. А оно довольно-таки тонкое, как я погляжу. Чепуха одна, а не письмо.

— Это бумага такая тонкая, я нарочно такую купила для него, чтобы меньше стоила пересылка, — уверяла мама. — Можно вложить целую дюжину таких листков в один конверт.

— Тут нет дюжины. Два, самое большее — три листика. Надеюсь, это не значит, что письмо содержит дурные вести, — сказал он с притворным сокрушением, злорадно покосившись на жену.

— Ох, открой ты, ради бога, и успокой мое сердце, отец! — умоляла она. — Ты же видишь, что я умираю от нетерпения.

Он предостерегающе поднял голову.

— Успеется, успеется, — процедил он. — Ждала десять недель, так не лопнешь, если подождешь еще десять минут. Ступай, принеси мне следующее блюдо.

Мучимая неизвестностью, мама вынуждена была со вздохом оторваться от созерцания письма и пойти в посудную, где она, выкладывая на тарелку яичницу с ветчиной, все время дрожала от страха, что муж в ее отсутствие прочтет послание Мэта и уничтожит его.

— Ого, какая прыть! — закричал Броуди, когда она торопливо воротилась в кухню. — Я не видал, чтобы ты так быстро бегала, с того дня, когда ты наелась незрелого крыжовника. Теперь я знаю, как заставить тебя двигаться проворнее. Ты, кажется, запляшешь через минуту!

Она ничего не отвечала. Он довел ее своим издевательством до немого отчаяния. Окончив завтрак, он снова взял со стола письмо.

— Ну, поглядим, пожалуй, что там внутри, — протянул он небрежно, как можно медленнее вскрывая конверт и вынимая оттуда листики, исписанные размашистым почерком. Пока он (нестерпимо долго) читал про себя письмо, мама хранила молчание, но глаза ее, полные беспокойства, не отрывались от его лица, пытаясь в выражении этого лица уловить хоть что-

нибудь, что подтвердило бы ее надежды и рассеяло опасения. Наконец Джемс бросил письмо на стол и объявил: — Ничего интересного. Сплошная чепуха!

В тот же миг миссис Броуди набросилась на листки и, стремительно схватив их, поднесла к близоруким глазам и принялась жадно читать. Она тотчас по надписи сверху увидела, что письмо написано на пароходе и отправлено почти сразу по его прибытии на место.

«Дорогие родители, — читала она, — берусь за перо, чтобы написать вам после страшнейшего и бесконечного приступа *mal de mer*, или, проще говоря, морской болезни. Эта ужасная неприятность произошла со мной в первый раз в Ирландском море, а в Бискайском заливе мне было так худо, что я призывал смерть и готов был молить, чтобы меня бросили на съедение рыбам, если бы не мысль о вас. Каюта у меня оказалась душная и неудобная, а сосед — грубый малый с сильной склонностью к вину, так что я сперва попробовал сидеть на палубе, но волны были такие гигантские, а матросы такие безжалостные, что пришлось снова сойти вниз, в мое жаркое и неприятное убежище. В этом проклятом месте я лежал на койке, и меня швыряло самым ужасным образом, то вверх к потолку, то опять вниз. Когда я падал снова на койку, мне казалось, что желудок мой остался наверху; я ощущал внутри такую пустоту и слабость, словно лишился всех внутренностей. К тому же я ничего не мог есть, и меня все время тошнило — днем и ночью. Мой сосед, занимавший нижнюю койку, ужасно ругался в первую ночь, когда я заболел, и заставил меня встать в одной ночной сорочке в холодной, ходившей ходуном каюте и перемениться с ним местами. Единственное, что поддержало меня и не дало моей бедной душе расстаться с телом, было укрепляющее питье, которое один из лакеев любезно принес мне. Он назвал его „стинго“, ^[3] и, должен сознаться, оно мне понравилось, оно оказалось верным средством, которое сохранило мне жизнь. Но в общем все было ужасно, можете мне поверить.

Однако буду продолжать рассказ. К тому времени, как мы прошли Гибралтар (который представляет собой просто голый однобокий утес, гораздо выше, чем ливенфордский, но зато не такой красивый) и зашли уже далеко в Средиземное море, я опять встал на ноги и избавился от морской болезни. Море там такое голубое, какого я в жизни не видал, — передайте Несси, что оно даже голубее, чем ее глаза, — и я мог любоваться им и чудными красками закатов, так как, на мое счастье, совсем не было качки! Правда, мне все еще кусок не шел в горло, но в Порт-Саиде мы сделали запасы фруктов, и я получил возможность есть свежие финики и

замечательные апельсины: они очень сладкие, и кожура снимается так же легко, как у мандаринов, но они гораздо больше. Ел я и плод, который называется „папайя“, сочный, как дыня, но с зеленой кожурой и красноватой мякотью. У него очень освежающий вкус. Я полагаю, что эти фрукты мне помогли, даже уверен, что они мне были очень полезны.

Я не сходил на берег, так как меня предупредили, что Порт-Саид — место очень развратное и, кроме того, опасное для европейцев, если при них нет оружия. Один господин на нашем пароходе рассказал мне длинную историю о своих приключениях в языческом храме и других местах Порт-Саида, но я не буду вам повторять его рассказ, потому что он неприличен, и, кроме того, я не уверен, что это правда. Но, по-видимому, здесь происходят поразительные вещи. Кстати, передайте Агнес, что я ей верен. Да, забыл сказать, что в Порт-Саиде к пароходу подъезжают туземцы на лодках и продают очень хороший рахат-лукум; это — превкусное лакомство, несмотря на его странное название.

Мы очень медленно проходили Суэцкий канал; это — узкая канава, с обеих сторон которой на много миль тянется песчаная пустыня, а вдали видны пурпуровые горы. Канал этот ничего особенного собой не представляет и пересекает водные пространства, которые называются Горькие озера, они очень скучные на вид, но говорят, что они имеют важное значение. Иногда мы видели на берегу мужчин в белых плащах, верхом не на верблюдах, как вы там, может быть, воображаете, а на быстрых лошадях, на которых они галопом скакали прочь, как только замечали пароход. Да, должен вам сказать, что в первый раз в жизни я видел, как растут пальмы — совсем такие, как та, что стоит у нас в церковном зале, но гораздо выше и толще. В Красном море было очень жарко, а после того, как мы благополучно миновали Аден и какие-то любопытные острова, которые называются Двенадцать Апостолов, как раз тогда, когда я рассчитывал повеселиться в обществе дам на палубе, принять участие в играх, беседах и занятиях музыкой, вдруг снова наступила ужаснейшая жара. Мама, тиковые костюмы, что ты мне купила, никуда не годятся, они слишком плотные и тяжелые. Правильнее было бы заказать в Индии туземному портному. Говорят, туземцы шьют их очень хорошо и из подходящего материала — индийского шелка, а не тика. Кстати, раз уж об этом зашла речь, передайте, пожалуйста, Мэри, что стеклянная часть фляжки, которую она мне подарила, разбилась во время первого же шторма, а показания компаса Несси расходятся с показаниями судового компаса.

Я порядком страдал от жары и хотя стал лучше есть (я очень любил

сою), но потерял в весе. То, что я очень похудел, меня смущало и так же, как недостаток энергии, мешало принять участие в общих развлечениях, так что я сидел один, думая о моей лежавшей без употребления мандолине и с огорчением глядя на дам, а также на акул, которые целыми стаями плыли за пароходом.

После жары начались дожди — это здесь называется муссон, „нота (малый) муссон“, но с меня было достаточно и этого „малого“ муссона — он напоминает наши вечные промозглые шотландские туманы. Мы шли в тумане, пока не добрались до Цейлона и не бросили якорь в Коломбо. Это замечательный порт! На много миль вокруг вода неподвижна. Очень успокаивающее зрелище! Зато очень большая качка была в Индийском океане. Некоторые пассажиры отправились на берег покупать драгоценные камни — лунные камни, опалы, бирюзу, — а я не поехал, потому что слышал, что цены просто грабительские и что лунные камни имеют здесь много изъянов, то есть трещинок. Зато мой приятель-лакей принес мне прекрасный местный ананас. Несмотря на то что он был очень крупный, я, к своему удивлению, убедился, что могу съесть его весь. Удивительно вкусно! На следующий день меня немного слабило, и я думал, что у меня дизентерия, но, к счастью, меня пока миновала и дизентерия, и малярия. А нездоров я был, должно быть, из-за ананаса.

Но самое неприятное было еще впереди. В Индийском океане мы перенесли тайфун, наихудший вид страшного шторма, какой вы только можете себе вообразить. Началось все с того, что небо стало пурпурового цвета, потом темно-желтое, как медь. Я сначала было залюбовался им, но вдруг всем пассажирам приказано было сойти вниз, и я счел это дурным знаком, потому что ветер так сразу и обрушился на судно, как удар. Одному человеку, стоявшему у своей каюты, прищемило руку внезапно захлопнувшейся дверью и начисто оторвало большой палец. А один из матросов сломал ногу. Ужас что было!

Меня не укачало, но должен признаться, что я чуть не испугался. Море вздымалось не так, как волны в Бискайском заливе, а очень высоко, целыми водяными горами. Мне скоро пришлось перестать смотреть в иллюминатор. Судно так кряхтело, а мачты скрипели, что я думал — оно непременно разлетится в щепки. Качало ужасно; и два раза судно ложилось на бок и лежало так долго, что я уже не надеялся остаться в живых. Но Провидение сжалилось над нами, и мы в конце концов достигли дельты Ганга; там большие песчаные отмели и очень грязная вода. Нам дали лоцмана, чтобы провести судно вверх от устья Хугли, и мы плыли по этой реке так медленно, что это заняло несколько дней. На берегах Ганга мы

видели много полей, орошаемых каналами. Я видел кокосовые пальмы и бананы, которые растут на деревьях. Туземцы здесь, конечно, чернокожие, и, по-видимому, у них принято работать голыми, в одних только повязках вокруг бедер, а у некоторых на голове чалма. Они работают на своих полях, сидя на корточках, а некоторые ловят рыбу сетями в желтой воде реки, и, говорят, рыба здесь хорошая. Белые носят шлемы от солнца. Твой подарок, папа, очень кстати.

Теперь мне пора кончать. Я это письмо писал урывками, а сейчас мы вошли в гавань. Сильное впечатление производят этот большой порт и доки. А небо все утыкано минаретами и верхушками домов.

Я ежедневно читаю отрывок из Библии. Чувствую себя недурно. Думаю, что здесь мне будет хорошо.

Целую всех и остаюсь ваш почтительный сын
Мэт».

Мама восторженно всхлипнула, отирая слезы, казалось лившиеся прямо из переполненного до краев сердца. Все ее хрупкое существо захлестнула волна радости и благодарности. Все в ней пело: «Что за письмо! Что за сын!» Новость казалась ей слишком потрясающей, чтобы хранить ее про себя, и ее охватило бурное желание помчаться на улицу, обежать весь город, размахивая этим письмом, выкрикивая для общего сведения славную хронику этого великого путешествия.

Броуди читал ее мысли своим пытливым и насмешливым взглядом.

— Найми глашатая и пошли его объявить новость по всему городу, — бросил он колко. — Выболтай все каждому! Эх ты! Подождала бы, пока получишь не первое, а двадцать первое письмо! Он пока еще ничего не сделал, только ел фрукты да слюни распускал.

Грудь миссис Броуди заходила от негодования.

— Бедный мальчик столько выстрадал! — воскликнула она с дрожью в голосе. — Такая болезнь! Нечего корить его за фрукты, он их всегда любил.

Только обида, нанесенная сыну, могла заставить ее возразить мужу.

Броуди иронически посмотрел на нее:

— А ты, оказывается, надавала ему с собой всякой ерунды! Мой шлем — единственная полезная вещь, которую Мэт получил! — прибавил он, вставая из-за стола.

— Я сегодня же поговорю с этим приказчиком у Линни! — воскликнула мама прерывающимся голосом. — Он меня уверил, что там все носят тик. Так обмануть! Мой сын из-за него мог умереть от солнечного удара!

— Ты всегда и во всем непременно напутаешь, старуха, — благодушно кольнул ее муж напоследок. Но теперь его стрелы не ранили; они и не попали в нее, потому что она находилась сейчас в той далекой стране, где высокие пальмы кивали величавыми вершинами в опаловом небе и мягкий звон вылетал из храмов в благоуханный мрак улиц.

Наконец она очнулась от своих грез.

— Мэри! — крикнула она в комнату рядом. — Возьми письмо Мэта! Прочти и, когда кончишь, снеси его бабушке. — И рассеянно добавила: — Потом отдашь его обратно мне.

Она тотчас же вернулась к своим приятным размышлениям, решив, что днем отошлет драгоценное послание Агнес Мойр. Мэри отнесет его вместе с банкой домашнего варенья и пирогом. Может быть, и Агнес получила письмо? Нет, вряд ли, — подумала самодовольно миссис Броди. Во всяком случае, Агнес будет страшно рада получить сведения о героическом путешествии Мэта и счастливую весть о прибытии его на место. Мама прекрасно понимала, что приличие требует сразу же послать Агнес письмо Мэта, а дары — пирог и варенье — еще подсластят ей этот лакомый кусочек. Агнес — славная, достойная девушка, она ей всегда нравилась.

Когда Мэри воротилась, мать спросила:

— Ну, что же бабушка сказала о его письме?

— Да что-то вроде того, что ей бы очень хотелось попробовать такой ананас, — равнодушно уронила Мэри.

Мама бережно отобрала у дочери священное письмо.

— Скажите пожалуйста! — возмутилась она. — И это в то время, когда бедный мальчик чуть не утонул и мог быть съеден акулами! И ты тоже могла бы проявить немного больше интереса к судьбе брата, когда он в такой опасности! Все утро бродишь, как неживая... Да ты слышишь ли и сейчас, что я тебе говорю? Я хочу, чтобы ты сегодня днем сбегала к Агнес и отнесла ей это письмо. И еще я дам тебе сверток для нее.

— Хорошо, — сказала Мэри. — А к какому времени мне вернуться?

— Можешь побыть у Агнес и поболтать с ней, если хочешь. Если она тебя пригласит выпить чаю, я разрешаю тебе остаться. Общество такой хорошей христианки тебе вреда не принесет.

Мэри не сказала ничего, но в ее безучастном лице и движениях появилась некоторая живость. Безумно смелый план, неопределенно возникший в ее голове предыдущей бессонной ночью, при этом неожиданно представившемся ей удобном случае начал принимать конкретную форму.

Она задумала ехать в Дэррок. Это было трудное и рискованное предприятие, грозившее серьезными последствиями — открытием ее тайны и страшной катастрофой. Но если уж решиться на такой неслыханный поступок, то вовремя подоспевшее поручение матери было ей, несомненно, на руку. Мэри знала, что в два часа из Ливенфорда отправляется в Дэррок поезд, который проходит расстояние между этими двумя городами — четыре мили — в пятнадцать минут и идет обратно из Дэррока в Ливенфорд в четыре часа дня. Если она рискнет отправиться в эту экспедицию, то в Дэрроке у нее будет в распоряжении полтора часа, чтобы сделать то, что она задумала, а этого, по ее мнению, было достаточно. Ее заботил только вопрос, успеет ли она до двух часов выполнить поручение матери, а главное — удастся ли ей вовремя избавиться от тягостного и навязчивого гостеприимства Агнес и поспеть на поезд.

Помня, что ей надо уйти пораньше, чтоб выиграть время, Мэри все утро работала так усердно, что покончила со своими хозяйственными обязанностями еще до часу, и, наскоро поев, побежала наверх одеваться. Но когда она поднялась по лестнице к себе в комнату, странное ощущение овладело ею: ей вдруг показалось, что тело ее стало необычайно легким — легким, как воздух, голова закружилась; пол спальни тихонько качался вверх и вниз перед ее помутившимися от испуга глазами, медленно и непрерывно, как маятник, стены тоже шатались, падали на нее, как стены рассыпающегося карточного домика; перед глазами плясали огненные параболы, мгновенно сменяясь мраком. Ноги под ней подломились, и она без единого звука упала в обмороке на пол. Долго лежала она так ничком, без сознания. Потом постепенно это положение тела вызвало снова слабое кровообращение; под мертвенно-бледной кожей, казалось, заструились едва-едва ощутимые потоки крови, и Мэри со вздохом открыла глаза.

Взгляд ее прежде всего упал на стрелки часов, показывавшие половину второго. Встревоженная, она поднялась на локте, и после нескольких тщетных попыток ей в конце концов все же удалось встать. Она ощущала слабость, с трудом держалась на ногах, но голова была ясна, и вялыми, неловкими руками, которые совсем ее не слушались, она через силу торопливо оделась. Потом поспешно спустилась вниз.

У матери уже было наготове и письмо, и сверток, и куча поручений, приветствий и инструкций для передачи Агнес. Она настолько была поглощена собственной великодушной щедростью, что не заметила состояния дочери.

— И не забудь ей сказать, что это варенье свежей варки, — крикнула

она вдогонку Мэри, вышедшей уже за ворота, — и что в пироге два яйца! А письма не оставляй. Скажи, что я велела принести его обратно! — добавила она в заключение.

У Мэри оставалось двадцать минут на то, чтобы дойти до станции, — этого времени было едва-едва достаточно.

Тяжелый сверток, в котором было два фунта варенья, оттягивал ей плечо. Представление о жирном пироге вызывало тошноту, а сладкое варенье навязчиво липло к ее воображению. У нее не оставалось времени отнести сверток Агнес, а таскать его весь день с собой было явно невозможно. Она уже решила сегодня на один отчаянный поступок, и теперь что-то толкало ее на дальнейшие безрассудства. Какой-то голос нашептывал ей, что можно избавиться от щедрого дара матери, уронив его потихоньку в канаву или швырнув в какой-нибудь сад по дороге. Тяжелый сверток мучил ее, а отвращение, вызываемое мыслью о его содержимом, вдруг придало ей смелости. На тротуаре стоял мальчуган, босой, грязный и оборванный, с безутешным видом рисовавший что-то мелом на кирпичной стене. Проходя мимо, Мэри, повинувшись внезапному побуждению, бросила узел в руки остолебеневшему от изумления мальчишке. Она чувствовала, что губы ее шевелятся, услышала свой голос, произнесший:

— На, возьми! Живее! Тут съестное!

Мальчуган вскинул на нее удивленные, недоверчивые глаза, лучше всяких слов говорившие, что ему глубоко подозрительны чужие люди, которые под видом филантропии хотят всучить ему какие-то тяжелые пакеты. Одним глазом все так же недоверчиво косясь на Мэри, он надорвал бумагу сверху, чтобы удостовериться, что его не обманывают, и когда его пораженному взору предстало богатейшее содержимое свертка, он зажал его под мышкой и, развив бешеную скорость из боязни, что странная леди опомнится от своего безумия, бросился бежать и исчез вдаль, как дым.

Мэри вдруг смутило собственное безрассудство. Ее пронизал внезапный страх, что ей не скрыть от матери своей непростительной выходки, а когда все откроется, как же она объяснит то, что бросила на ветер плоды честного труда матери? Напрасно она утешала себя, что доставит Агнес письмо, когда вернется, после четырех: на лице ее читалось смятение все время, пока она поспешно шла на станцию. В поезде она, сделав над собой громадное усилие, сосредоточила утомленное внимание на плане, который ей предстояло осуществить, мысленно намечая все, что необходимо сделать. Она твердо решила не проявлять больше такой слабости и нерешительности, как накануне. Дэррок был ей достаточно знаком, она несколько раз бывала там до того, как это место приобрело в ее

глазах волшебный, романтический ореол, потому что там жил Денис. Теперь этот скучный городок, где сосредоточены были главным образом заводы химических и красящих веществ, загрязнившие своими отбросами чистые воды Ливена, магически преобразился в воображении Мэри. Плохо мощенные узкие улицы казались шире оттого, что по ним ходил Денис, а закоптелые здания — красивыми оттого, что где-то здесь, среди них, протекала его жизнь.

Когда поезд стал медленно приближаться к этому волшебному городу, Мэри, несмотря на гнетущую тревогу, почувствовала, что задыхается от радостного нетерпения. Она ехала не затем, чтобы увидеть Дениса, но она не могла подавить невольного трепета при мысли, что будет близко от него, в его родном городе.

Когда поезд, выпуская клубы пара, подкатил к дэррокскому вокзалу, она быстро вышла из вагона, сдала свой билет и первая из горсточки приехавших пассажиров ушла с перрона. Не останавливаясь, так быстро, как только позволяли ей силы, прошла она главную улицу, круто сворачивавшую налево, и очутилась в более тихом, жилом квартале. Никто из людей, которые попадались ей навстречу, не знал ее; ее внешний вид не привлекал ничьего внимания, не возбуждал любопытства. Дэррок, хотя здесь и отсутствовала атмосфера центральных городов графства, занимал не меньшую территорию, чем Ливенфорд, был единственным, кроме Ливенфорда, большим городом на двенадцать миль в окружности, и Мэри нетрудно было проскользнуть незамеченной по оживленным улицам, затеряться среди наводнявшей их толпы. Потому-то она и выбрала Дэррок для осуществления своего плана.

Пройдя наполовину и вторую улицу, она, к своему облегчению, убедилась, что память ей не изменила, и, очутившись перед полукругом домов с террасами, решительно подошла к крайнему из них и сильно дернула звонок. Дверь отперла миниатюрная служанка в синем бумажном халате.

— Доктор дома? — спросила Мэри.

— Да, пожалуйста, войдите, — отвечала маленькая служанка с безучастным видом человека, который устал повторять вечно одно и то же.

Она ввела Мэри в приемную. Это была бедно обставленная комната со скучными обоями и вытертым реденьким ковром на полу, с расставленными в строгом порядке стульями различной степени дряхлости и большим дубовым столом, на котором лежало несколько старых истрепанных журналов с загнутыми углами и стоял красный фаянсовый горшок, в котором томился папоротник.

— Ваша фамилия? — апатично осведомилась несчастная рабыня двери.

— Мисс Винифред Браун, — без запинки отвечала Мэри.

Да, теперь она убедилась, что она настоящая лгунья! Ей следовало сейчас быть в Ливенфорде, сидеть в приятной беседе с невестой брата, а она, выбросив доверенный матерью сверток, очутилась за четыре мили от Ливенфорда, назвалась чужим именем и ожидает в доме незнакомого врача, чье имя и адрес она, по счастливой случайности, запомнила. Слабая краска, выступившая на ее щеках, когда она назвала ложное имя, теперь запылала ярче от этих мыслей, и ей стоило больших усилий отделаться от чувства вины, когда ее ввели в кабинет доктора.

Доктор, человек средних лет, лысый, неряшливо одетый, имел разочарованный вид врача с посредственной и дешевой практикой. То не был обычный час приема, но материальное положение вынуждало доктора принимать пациентов в любое время. Он был холост. Его экономка только что накормила его обедом из жирной вареной говядины с пудингом из почек. Он съел его второпях, и хронический катар желудка, которым он страдал из-за дурно приготовленной пищи, несоблюдения режима, испорченных зубов, уже давал себя знать грызущей болью внутри. Он с недоумением посмотрел на Мэри.

— Вы — на прием? — спросил он.

— Я пришла с вами посоветоваться, — отвечала она голосом, казалось шедшим издалека, который сама не узнала.

— В таком случае присядьте, — сказал отрывисто доктор. Он сразу почуял тут что-то необычное, и его раздражение усилилось. Он давно утратил интерес к клинической стороне своей практики, и всякое отклонение от надоедливой, но привычной рутины — быстрого выдавания пациентам склянок с разбавленным раствором дешевых лекарств и разных окрашивающих примесей — всегда приводило его в замешательство. К тому же сейчас ему не терпелось поскорее вернуться к своей кушетке и лечь: судорожная боль терзала его внутренности, и он вспомнил, что сегодня ему предстоит еще утомительный вечерний прием.

— В чем дело? — спросил он отрывисто.

Запинаясь, Мэри стала объяснять, краснела, нерешительно умолкала, снова начинала, говорила как во сне. Она не помнила, в каких выражениях рассказала все, но, видимо, доктор утвердился в своих подозрениях.

— Я должен вас осмотреть, — объявил он сухо. — Хотите сейчас или вы придете с... с матерью?

Не совсем понимая его слова, Мэри не знала, что ответить.

Официальный тон доктора смутил ее, от его равнодушного лица веяло холодом, и весь его неопрятный вид, растрепанные усы, грязные ногти, жирные пятна на жилете внушали ей сильнейшее отвращение. Но она твердила себе, что надо пройти через это испытание. Она сказала тихо:

— Я не могу прийти еще раз, доктор.

— Тогда разденьтесь и приготовьтесь, — бросил он грубовато, указывая на кушетку, и вышел из комнаты.

Неловкая от робости, она едва успела расстегнуть все на себе и лечь на рваную, обтрепанную кушетку, как доктор вернулся. Закрыв глаза и стиснув зубы, она вытерпела неумелый и мучительный осмотр. Это было для нее физической и душевной пыткой. Его грубые прикосновения заставляли содрогаться целомудренное тело, его неловкие пальцы причиняли боль. Наконец это кончилось, и, сказав несколько отрывистых слов, доктор вышел.

Через пять минут Мэри снова сидела одетая на том же стуле, безмолвно глядя на доктора, который, тяжело ступая, подошел к своему столу.

Доктор был в некотором затруднении. Ему часто приходилось сталкиваться с такого рода драмами, но то были женщины другого сорта, здесь же он, при все своей закаленности и душевном отупении, почувствовал, что перед ним просто запуганный ребенок, невинный, ничего не ведающий! Он догадывался, что ее беременность — результат невольного и бессознательного падения. Он понял, почему она назвалась другим именем, и в его опустошенном, очерстевшем сердце шевельнулась смутная жалость. С подозрительностью незадачливого врача, ревниво оберегающего свою репутацию, он сначала предположил, что эта девочка ждет от него применения некоторых средств, которые прекратят ее беременность. Но сейчас ему стало ясно, насколько велико ее неведение. Он беспокойно задвигался в кресле, не зная, с чего начать.

— Вы не замужем? — спросил он наконец, понизив голос.

Она отрицательно покачала головой. Глаза у нее были испуганные, в них стояли слезы.

— Тогда советую вам выйти замуж. У вас скоро будет ребенок.

В первую минуту Мэри как будто не поняла. Потом губы ее судорожно покривились и задрожали, из глаз беззвучно закапали слезы. Она была ошеломлена, слова доктора ударили ее как обухом по голове. Он что-то говорил еще, старался объяснить, что ей следует делать, что ее ожидает, но она вряд ли его слышала. Доктор отодвинулся куда-то назад, все вдруг исчезло из ее глаз; она погрузилась в серую мглу огромного, невыразимого

отчаяния, осталась одна, лицом к лицу с безумным страхом перед неизбежной катастрофой. Временами до ее сознания доходили отдельные обрывки фраз доктора, подобно тому, как скудные отблески дневного света вдруг пробиваются сквозь клубящиеся облака тумана.

— Старайтесь не волноваться, — говорил доктор.

Потом снова, сквозь окутывавший ее туман, долетели слова: «Вы молоды, перед вами вся жизнь!»

Что он знает о ней, да и что ему за дело до нее? Все доброжелательные избитые фразы, которые он говорил, ничуть ее не трогали, не доходили до сердца. Она инстинктивно чувствовала, что для этого доктора она — только случайный и нежелательный инцидент в его однообразном существовании, и когда она поднялась и спросила, сколько следует уплатить, она тотчас же прочла в его взгляде почти нескрываемое облегчение. Чутье не обмануло Мэри: получив свой гонорар и выпроводив ее за дверь, доктор тотчас же схватился за бутылку с висмутом, проглотил большую дозу, со вздохом облегчения лег и сразу же совершенно забыл о ней.

Было ровно три часа, когда она вышла от доктора. Если ехать домой — оставался час до отхода поезда; терзаемая душевной пыткой, она шла по улице и шептала про себя: «Боже, Боже, за что Ты так меня наказал! Я ничем Тебя не прогневала. Сделай же, чтобы *этого* не случилось. Сделай!» Она по-прежнему совершенно не понимала, почему и каким образом ее тело было избрано Всевышним для такого непристойного эксперимента. Ее это поражало как в высшей степени несправедливое проявление всемогущества Господня. Как это ни странно, Дениса она ни в чем не винила. Она просто считала себя жертвой какого-то ужасного, непостижимого обмана.

Нет, она не сердилась на Дениса; напротив, она чувствовала, что он — ее единственное прибежище. Тревога и жажда утешения были так остры, что она отбросила всякую осторожность. И, в порыве душевного напряжения, выразившегося на ее лице, пошла по главной улице, на дальнем конце которой находился погребок под вывеской «Вино и водка. Оуэн Фойль». За углом широкие двойные ворота вели во двор, а со двора, по винтовой лестнице без перил, был вход в жилище Фойля.

Мэри взобралась по этой лестнице и тихонько постучала в дверь. Из квартиры слышались жидкие звуки фортепиано. Бренчанье продолжалось, никто не шел отпирать. Затем чей-то голос крикнул:

— Розы, милочка, стучат как будто. Погляди, нет ли там кого!

Второй голос, с детскими нотками, отозвался:

— Я играю гаммы. Посмотри сама, мама, или подожди, пока постучат

еще.

И игра на пианино возобновилась с удвоенной энергией, играли громко, как будто стремясь показать свои старания.

После минутной нерешительности Мэри хотела было уже постучать сильнее, но вдруг, когда она подняла руку, со двора раздался пронзительный свист, который постепенно приближался.

Она обернулась, и в то же мгновение внизу, у лестницы, появился Денис, который, увидев ее, вопросительно откинул голову и от изумления широко раскрыл глаза. Сразу заметив, что Мэри сильно чем-то расстроена, он взбежал наверх.

— Мэри! — воскликнул он торопливо. — Что случилось?

Она не в силах была ответить, она могла только прошептать его имя.

— Кто тебя обидел, Мэри, родная? — бормотал Денис, подходя к ней совсем близко, взяв ее холодную руку в свои и нежно поглаживая. — Отец?

Она покачала головой, не глядя на него, зная, что если взглянет, то позорно расплачется.

— Уйдем отсюда, — шепнула она. — Уйдем, пока никто не вышел.

Удрученный Денис медленно последовал за нею вниз.

На улице он спросил свирепо:

— Тебя обидели дома? Скажи же скорее, в чем дело, дорогая. Если кто посмел тебя тронуть, я убью его.

Наступило молчание, потом Мэри сказала медленно, невнятно, с мучительным усилием, и каждое слово падало с ее губ, как свинцовый груз:

— У меня будет ребенок!

Лицо Дениса побелело, как у человека, которому нанесли страшную рану, и бледнело все сильнее и сильнее, словно жизненные силы уходили из его тела. Он выпустил руку Мэри и смотрел на нее широко раскрытыми, испуганными глазами.

— Ты уверена? — спросил он наконец отрывисто.

— Уверена.

— Откуда ты знаешь?

— Со мной стало делаться что-то неладное. Я пошла к доктору, и он мне сказал...

— До... доктор?! Значит... наверное?

— Наверное, — повторила она глухо.

Итак, это было неотвратимо. Одной фразой она взвалила ему на плечи бремя несчастья и ответственности, которое превратило этого только что весело свиставшего мальчишку в зрелого, мучимого заботой мужчину. Их

любовь оказалась западней, шаловливо-нежные ласки и тайные встречи — попросту силками, которые его заманили и запутали в эту печальную историю. Радужные надежды на брак с Мэри, все те увлекательные приготовления, что он рисовал себе, теперь показались ему цепями, которыми судьба сковала его и влечет насильно к выполнению долга. Тяжкий вздох вырвался у него. В той мужской компании, в которой он вращался, считалось, что нет ничего унижительнее для мужчины и ничего смешнее, чем такой брак по необходимости. Он утратит свой престиж, его будут высмеивать на всех углах, его имя станет мишенью злословия. Положение казалось ему до того нестерпимым, что в нем заговорило желание сбежать, мелькнула мысль о Канаде, Австралии, Америке. Он часто подумывал о том, чтобы уехать в чужие страны, и никогда еще так не соблазняли его возможности, ожидающие человека молодого и свободного в этих новых местах. Вдруг у него мелькнула одна мысль.

— А сказал тебе доктор, когда ты должна... — Он запнулся, не решаясь договорить.

Но теперь Мэри уже понимала, о чем он спрашивает.

— Он сказал, что в феврале, — ответила она, отвернувшись.

Итак, через пять месяцев он будет отцом ее ребенка! В ту дивную ночь, что они провели вместе у реки, был зачат ребенок — ребенок, у которого не будет имени, если он, Денис, не женится немедленно на Мэри. Снова с неприятной назойливостью встала перед ним необходимость жениться. Он не знал, сколько времени еще беременность Мэри может оставаться незамеченной. Ему, правда, приходилось слышать в кругу своих приятелей рассказы о том, что крестьянские девушки, работавшие в поле, скрывали свою беременность до самых родов, но он сомневался, чтобы у Мэри надолго хватило нужных для этого стойкости и сил. А между тем скрывать пока необходимо. Он еще не имеет возможности дать ей приют. Ей придется подождать. Пока еще ничего не заметно. Он внимательно посмотрел на нее, поникшую под бременем отчаяния, неизмеримо более тяжелого, чем то, которое переживал он, и в первый раз подумал о ней, а не о себе.

Сказав все, Мэри беспомощно и покорно ожидала, чтобы Денис посоветовал ей, что делать, и всей своей позой безмолвно взывала к нему. Денис сделал громадное усилие снова овладеть собой, но, когда он заговорил, его слова звучали жестко и неубедительно для него самого.

— Да, попали мы с тобой в небольшую переделку, Мэри, но это уладится. Нужно будет все обсудить.

— Что же, мне ехать обратно домой, в Ливенфорд? — спросила она

тихо.

Он подумал с минуту, прежде чем ответить.

— Да, пожалуй, это будет самое лучшее. Ты приехала по железной дороге?

— Да, если ехать обратно, так мне надо быть на вокзале в четыре.

Денис вынул часы: было половина четвертого. Он и Мэри успели обменяться лишь несколькими словами, а между тем они стояли тут, на улице, вот уже полчаса.

— Да, ждать следующего тебе нельзя, это выйдет слишком поздно, — согласился он.

Вдруг его осенила мысль, что в это время зал ожидания на вокзале бывает обычно пуст. Можно побыть там до отхода поезда. Он взял руку Мэри и продел ее в свою. При этом проявлении нежности с его стороны, первом с той минуты, как она сообщила ему ужасную весть, Мэри жалобно взглянула на него, и ее осунувшееся лицо осветила слабая улыбка.

— У меня никого нет, кроме тебя, Денис, — сказала она шепотом, когда они вдвоем двинулись в путь.

К несчастью, комната ожидания оказалась полна публики; какая-то старуха, несколько работников с фермы и два красильщика с ситценабивной фабрики сидели и глазели то друг на друга, то на стены. Здесь невозможно было разговаривать, и Денис повел Мэри в самый конец платформы. За то короткое время, пока они шли на станцию, к нему вернулось самообладание, а близость мягкой руки девушки напоминала о ее красоте, об упоительной прелести ее юного тела. И Денис заставил себя улыбнуться.

— Беда, в конце концов, не так уж велика, Мэри, пока мы верны друг другу.

— Если бы ты теперь меня бросил, Денис, я бы утопилась в Ливене. Или как-нибудь иначе покончила с собой.

Глаза их встретились, и Денис увидел, что каждое из этих жутких слов, только что ею произнесенных, глубоко искренне; он снова нежно прижал к себе ее руку. Он спрашивал себя, как он мог хотя бы на один миг подумать о том, чтобы бросить эту милую беззащитную девочку, которая, если бы не он, была бы и сейчас нетронутой, а благодаря ему скоро будет матерью. И как горячо она его любит! Ему доставляла острую радость ее полная зависимость от него, ее покорность его воле. Он уже начинал оправляться от первого жестокого потрясения и рассуждать логично, как всегда.

— Ты все предоставишь мне, — объявил он.

— Все, — как эхо, откликнулась Мэри.

— Затем ты должна вернуться домой, родная, и постарайся вести себя так, как будто ничего не случилось. Я знаю, как это трудно, но ты должна мне дать как можно больше времени на то, чтобы все устроить.

— Когда нам можно будет обвенчаться?

Ей стоило невероятных усилий выговорить эти слова, но то, что она сегодня узнала, вызвало в ней такое ощущение, словно тело ее останется нечистым до тех пор, пока не будет назначен день ее свадьбы с Денисом.

Денис задумался.

— Мне предстоит важная деловая поездка в конце года, от нее очень многое зависит. Можешь ты подождать, пока я вернусь? — спросил он нерешительно. — К тому времени я мог бы все наладить, и мы бы поженились и сразу переехали в какой-нибудь маленький домик, конечно, не в Ливенфорде и не в Дэрроке, а хотя бы в Гаршейке.

Его план поселиться в маленьком домике в Гаршейке привел их обоих в хорошее настроение. И Денис и Мэри тотчас представили себе это тихое старое селение, так уютно раскинувшееся на берегу одного из рукавов лимана.

— Я могу подождать, — отвечала рассеянно Мэри, видя уже в своем воображении один из маленьких коттеджей с выбеленными стенами, каких много было в Гаршейке. Коттедж, весь увитый красными выющимися розами, крылечко в гирляндах настурций, — это жилище, где она впервые возьмет на руки своего ребенка. Она посмотрела на Дениса и чуть не засмеялась от счастья.

— Я тебя не покину, дорогая, — говорил между тем Денис. — Но ты должна быть храброй и держаться как можно дольше.

Поезд был уже подан, и старуха, работники с фермы и оба красильщика бросились занимать места. Мэри успела только наскоро проститься с Денисом, пока он усаживал ее в вагон, но, когда поезд тронулся, Денис бежал рядом, держа ее руку до последней минуты, а когда ему пришлось наконец выпустить руку и отстать, Мэри крикнула, чтобы его ободрить:

— Я всегда помню твой девиз, Денис!

Он улыбнулся и в ответ долго махал шляпой, до тех пор, пока поезд не сделал поворот и они не потеряли друг друга из виду.

Мэри была мужественная девушка, и теперь, когда она узнала самое худшее, она готовилась всеми силами защищать свою единственную надежду на счастье. Свидание с Денисом ободрило ее. Она твердила себе, что он должен ее спасти, и спасет! И, утешенная тем, что ее тайна теперь

стала их общей тайной, она чувствовала в себе силы терпеть что угодно до тех пор, пока он возьмет ее к себе навсегда. Она вся содрогнулась при воспоминании о своем визите к доктору, но тотчас решительно вычеркнула из памяти отвратительные подробности последних двух часов. Она будет храброй ради Дениса!

Приехав в Ливенфорд, она поспешила отнести письмо Агнес Мойр, и, к ее облегчению, оказалось, что Агнес ушла наверх ужинать. Она оставила для нее письмо в кондитерской, попросила также передать ей все выражения дружбы и привет миссис Броуди и ушла, радуясь, что ее ни о чем не расспрашивали.

По дороге домой она подумала, что мать, конечно, рано или поздно обнаружит ее поступок со свертком, но, занятая более серьезными заботами, она как-то совсем об этом не беспокоилась. Пускай мама бранится, плачет, причитает сколько ей угодно — через несколько месяцев она, Мэри, уйдет из дома, который стал ей ненавистен. Все ее мысли и чувства были направлены на проект Дениса, и этот проект в ее воображении был уже действительностью; отбросив мысль о своем положении, она сосредоточила все свои пылкие надежды на коттедже в Гаршейке, в котором будет жить с Денисом.

VIII

Джемс Броуди сидел у себя в конторе за лавкой, читая «Ливенфордский листок». Дверь была слегка приоткрыта, так, чтобы он мог изредка следить бдительным оком за тем, что делается в лавке, не переставая в то же время просматривать газету. Перри был болен: как сегодня утром сообщила Броуди взволнованная мамаша, его приковал к кровати жестокий чирей, который отчасти мешал ему ходить и совершенно лишил его возможности сидеть. Броуди ворчливо заметил, что приказчик нужен ему для того, чтобы стоять за прилавком, а вовсе не для того, чтобы сидеть, но после того, как его заверили, что страдальцу, несомненно, принесут облегчение непрерывные припарки и он завтра утром будет в состоянии выйти на работу, он неохотно позволил ему пропустить день. Восседая, как на троне, на стуле, который он поставил у верхней ступеньки лесенки, ведущей в его святилище, Броуди с глубоким, исключительным вниманием читал отчет о сельскохозяйственной выставке. Он был доволен, что сегодня торговля идет тихо и ему не нужно унижаться до лакейской работы продавца, которую он терпеть не мог и всецело взваливал на Перри. Несколько минут тому назад ему пришлось встать с места, чтобы принять какого-то рабочего, который неуклюже вкатился в лавку, и Броуди, негодуя, почти вытолкнул этого человека, всучив ему первую попавшуюся шапку. «Какое мне дело, — рассуждал он про себя, — впору ему эта шапка или нет?» Он не желал, чтобы его беспокоили из-за такой дьявольской ерунды. Это — дело Перри. Он желал читать газету спокойно, как всякий джентльмен.

С возмущенным видом он вернулся на свое место и начал снова с первых строк отчета.

«Ежегодная городская и районная выставка скота открылась в Ливенфорде в субботу 21-го с/м и привлекла большое и блестящее общество».

Он читал весь отчет медленно, старательно, прилежно, пока в конце концов не дошел до раздела, начинающегося словами «В числе присутствующих...». Тут в глазах у него появился беспокойный блеск, потом они засверкали торжеством, когда он увидел напечатанным и свое имя. Среди громких фамилий города и графства — правда, в конце списка, но не в самом конце — стояло имя «Джемс Броуди»! Он с гордостью стукнул кулаком по столу. Черт возьми, теперь все убедятся, что он за

человек! «Ливенфордский листок», который выходит раз в неделю по пятницам, читают все, и все увидят его имя, которое красуется здесь рядом с именем такой видной особы, как главный судья графства. Броуди распирала тщеславная радость. Ему нравилось собственное имя напечатанным. Заглавная буква имени имела своеобразную, бросающуюся в глаза завитушку, а что касается фамилии, он гордился этой фамилией больше, чем всеми своими другими преимуществами, вместе взятыми. Не отводя глаз от этой замечательной фамилии, напечатанной в газете, он сдвинул набекрень шапку. Собственно, он прочел весь отчет, испытывая танталовы муки вследствие его многословия, только для того, чтобы убедиться, что он, Броуди, стал предметом общественного внимания благодаря этим двум напечатанным словам. Он пожирал их глазами.

«Джемс Броуди»! Его губы бессознательно складывались, чтобы воспроизвести эти слова, которые были у него на языке. «Ты — гордый человек, Броуди, — шептал он про себя. — Да, ты горд, но, клянусь Богом, тебе есть чем гордиться». У него даже в глазах помутилось от волнения, и весь перечень сиятельных особ с их титулами, чинами и отличиями исчез из поля его зрения, осталось одно-единственное имя, которое как будто неизгладимо запечатлелось на его сетчатке. Джемс Броуди! Ничего не могло быть внушительнее этих слов, простых, но полных тайного смысла.

Тут мысли его слегка отклонились в сторону, и, вспомнив, как ему сегодня пришлось унизиться в собственных глазах, обслуживая в лавке простого рабочего, он даже ноздри раздул от возмущения. Это еще было допустимо двадцать лет тому назад, когда он боролся за существование, когда обстоятельства, над которыми человек не властен, вынудили его заняться торговлей. Но сейчас у него есть приказчик, который обязан на него работать. Такие случаи, как сегодня, по его мнению, умаляли блеск его имени, и гневное раздражение против злосчастного Перри бушевало в нем.

— Да я его в порошок сотру, этого прыщавого идиотика!

Броуди отлично понимал, что у него нет никаких задатков коммерсанта, но, раз уже пришлось заняться этим делом, он старался придать своему занятию характер, подобающий его имени и положению. Он никогда не смотрел на себя как на торговца, а с самого начала вошел в роль обедневшего дворянина, вынужденного добывать средства к жизни неподобающим для него занятием. Впрочем, ему казалось, что его личные особенности как-то облагораживают это занятие, превращают его в нечто достойное. Оно перестало быть презренным, стало чем-то не похожим на всякую другую торговлю, чем-то единственным в своем роде. Он, Броуди, с самого начала никогда не заискивал перед людьми, наоборот — им

приходилось плясать под его дудку и считаться со всеми его слабостями и причудами.

В молодости он раз вышвырнул человека из своей лавки за невежливое слово; терроризируя весь город, он заставил людей считаться с ним; он не искал ничьей благосклонности, щеголял грубостью, словно говоря: «Примите меня таким, как есть, или оставьте в покое!» Эта необычная тактика имела поразительный успех. Он приобрел репутацию человека грубого, но честного и прямолинейного. Наиболее дерзкие его сентенции повторялись всеми в городе, как эпиграммы. Среди городской знати он слыл оригиналом, и своеобразие его завоевало ему покровительство этих людей. Но чем больше ему давали развернуться во всю ширь его натуры, тем больше презирал он тех, кто позволял ему над собой куражиться.

Теперь он считал себя выше требований, которые предъявляет торговля. Он испытывал огромное удовлетворение от того, что достиг видного положения, несмотря на низменность своей профессии. Так велико было его тщеславие, что он уже не видел разницы между известностью, которой достиг, и тем настоящим почетом, к которому стремился. Успех прищипоривал его.

Он хотел, чтобы имя его гремело. «Я им покажу, — бормотал он заносчиво. — Покажу им, на что я способен!»

Кто-то вошел в лавку, Броуди сердито поднял глаза от газеты. Его высокомерный взгляд, казалось, ожидал от дерзкого, посмеявшегося вторгнуться сюда, покорной просьбы о внимании со стороны такой особы, как он, Джемс Броуди, ровня всем знатым людям графства. Но, к его удивлению, он не услышал просьбы сойти в лавку. Какой-то молодой человек легко перепрыгнул через прилавок, взбежал по ступенькам и вошел в контору, закрыв за собой дверь. Это был Денис Фойль.

Когда Денис три дня тому назад смотрел вслед поезду, увозившему Мэри, угрызения совести вдруг обрушились на него лавиной, захватившей и поглотившей его. Он понял, что вел себя по отношению к Мэри как холодный и трусливый эгоист. Неожиданный удар по его себялюбию настолько застиг его врасплох, что он в первый момент забыл, как дорога ему Мэри. А между тем он любил ее; и теперь, когда ее не было с ним, он глубже ощущал, как она ему нужна. Тяжелое положение, в котором она очутилась, придавало ей сейчас в его глазах трогательность, вызывало волнение, с которым он раньше боролся. Если его положение было только неприятно, то положение Мэри — невыносимо, а он не нашел для облегчения его ничего лучше нескольких жалких приторных слов

соболезнования! Он весь корчился внутренне, беспокоясь, что подумает Мэри о его противной трусости и ненаходчивости, а сознание, что он не может увидаться с ней и рассказать все то, что переживает сейчас, не может со всей горячностью излить перед ней свое раскаяние и любовь, приводило его в отчаяние.

Два дня Денис все сильнее и сильнее терзался этими мыслями, а на третий ему пришел в голову четкий и необычайный план действий. Этот план казался ему смелым; он видел в нем доказательство своей энергии и отваги. В действительности же это был результат атаки совести на туго натянутые нервы; в этом плане, попросту опрометчивом, безрассудном и самонадеянном, он искал выхода подавленным чувствам, видел способ оправдать себя в собственных глазах и в глазах Мэри.

Эта-то потребность самооправдания, в сущности, и руководила им, когда он предстал перед Броуди, говоря:

— Я пришел сюда, мистер Броуди, так как боялся, что вы, пожалуй, не захотите принять меня в другом месте... Я — Денис Фойль из Дэррока.

Броуди был ошеломлен неожиданностью его появления и его дерзостью, но ничем себя не выдал. Он глубже уселся в кресло; его голова высилась на широких плечах так же прямо, как утес на вершине холма.

— Сын трактирщика? — Он пренебрежительно усмехнулся.

— Совершенно верно, — вежливо подтвердил Денис.

— Ну-с, мистер Денис Фойль, — он иронически подчеркнул слово «мистер», — что вам здесь нужно?

Броуди хотел разозлить Фойля до того, чтобы тот кинулся на него, и уже заранее предвкушал удовольствие задать ему тогда хорошую трепку.

Денис посмотрел Броуди прямо в лицо и, не обращая внимания на его тон, продолжал говорить так, как наметил себе заранее:

— Вас, может быть, удивляет мой приход, но я считаю, что должен к вам обратиться, мистер Броуди. Вот уже три месяца я не видел вашей дочери, мисс Мэри. Она теперь постоянно меня избегает. Я должен сказать вам откровенно, что люблю вашу дочь и пришел просить у вас разрешения видаться с нею.

Броуди смотрел на молодого человека, и, хотя в его неподвижном, как маска, лице нельзя было ничего прочесть, в нем нарастал прилив изумления и гнева. Пристально и хмуро глядя на Фойля, он через некоторое время медленно произнес:

— Рад слышать из ваших собственных уст, что мое приказание исполняется! Дочь моя отказалась встречаться с вами, так как я ей запретил даже глядеть в вашу сторону. Слышите? Запретил, запрещу и теперь, после

того, как увидел, что вы собой представляете.

— Могу я узнать почему, мистер Броуди?

— Разве я обязан объяснять вам свои поступки? Для моей дочери достаточно, что я этого требую. Я ей объяснений не даю, я приказываю, вот и все.

— Мистер Броуди, я хотел бы знать, что вы имеете против меня. Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы вам угодить, — сказал Фойль, пытаясь его умиловить. — Скажите только, чего вы от меня хотите, и я это сделаю.

Броуди ответил, издеваясь:

— Я хочу, чтобы вы убрали из моей конторы свою выложенную физиономию и никогда больше не показывали ее в Ливенфорде. И чем скорее вы это сделаете, тем больше вы мне угодите.

Фойль возразил с примирительной улыбкой:

— Так вам только моя физиономия не нравится, мистер Броуди? — Он решил во что бы то ни стало расположить к себе отца Мэри.

Броуди уже рассвирепел; его злило, что он не может заставить этого мальчишку опустить перед ним глаза, что его не удастся вывести из себя. С трудом сдерживаясь, он сказал презрительно:

— Я не имею обыкновения рассуждать с такими, как вы, но, так как сейчас у меня выдалась свободная минута, я, так и быть, скажу вам, что мне не нравится. Мэри Броуди — леди, в ее жилах течет кровь, которой могла бы гордиться и герцогиня, она — моя дочь. А вы — из ирландских подонков, ничтожество из ничтожеств. Ваш отец торгует дешевыми напитками, а ваши предки, я в этом не сомневаюсь, питались картофельной шелухой и ели прямо из горшка.

Денис по-прежнему, не смигнув, смотрел ему прямо в глаза, несмотря на то что от оскорблений у него все внутри кипело. Он делал отчаянные усилия казаться спокойным.

— В том, что я ирландец, нет никакого преступления, — возразил он ровным голосом. — Я не пью, капли в рот не беру. Я работаю в совершенно иной области, чем отец, и уверен, что мое занятие скоро будет давать мне хороший заработок.

— Слыхал, слыхал уже о вашем занятии, милейший. Разъезжаете по селам, потом бездельничаете целыми неделями. Знаю я вашего брата, коммивояжеров. Если вы рассчитываете разбогатеть мелочной продажей чая по всей Шотландии, так вы просто глупы, а если думаете своей дурацкой службой замазать глаза и заставить людей забыть о вашей дрянной семейке, так вы сумасшедший!

— Позвольте мне объяснить вам, мистер Броуди...

Броуди злобно взглянул на него.

— Объяснить мне! Это вы *мне* говорите, вы, ничтожный коммивояжер! Да вы знаете, с кем имеете дело? Смотрите! — заорал он, размахивая газетой и суя ее в лицо Денису. — Смотрите, если умеете читать. Вот среди каких людей я вращаюсь!.. — Он выпятил грудь и прокричал в заключение: — Допустить брак моей дочери с вами для меня так же немыслимо, как допустить, чтобы она валялась вместе со свиньями.

Фойль с большим трудом сдерживал ярость.

— Мистер Броуди, — взмолился он. — Прошу вас, выслушайте меня. Вы не можете не признать, что человек сам кует свою судьбу, независимо от того, кто его родители. Я не стыжусь своего происхождения, но если тут все дело в нем, так, конечно, осуждать меня за него не приходится.

Броуди хмуро посмотрел на него.

— Как вы смеете разводить тут передо мной ваш проклятый новоизобретенный социализм! — заревел он. — Все люди равны, не так ли? До чего еще мы дойдем! Болван! Убирайтесь с глаз моих! Живо!

Денис не двинулся с места. Он теперь ясно видел, что никакими доводами этого человека не проймешь, что с таким же успехом он мог бы пытаться пробить головой каменную стену. Он понимал, что такой отец может превратить жизнь Мэри в цепь ужасных несчастий. Но ради нее он решил до конца держать себя в руках и сказал очень спокойно:

— Мне жаль вас, мистер Броуди. Вы принадлежите к отживающему поколению. Вы не идете в ногу с прогрессом. И вы не умеете наживать друзей: должно быть, у вас одни враги. Нет, не я сумасшедший!..

Броуди встал, разъяренный, как бешеный бык.

— Уйдешь ты отсюда наконец, поросенок? — прохрипел он. — Или хочешь, чтобы я тебя пришиб на месте?

Он медленно двинулся к Денису. Тот мог бы в одну секунду выскочить из конторы, но вызванное оскорблениями скрытое озлобление против Броуди мешало ему уйти, хотя он сознавал, что уйти нужно ради Мэри. Уверенный, что сумеет постоять за себя, он не боялся силы этого надвигавшегося на него великана. Кроме того, он понимал, что, если уйдет сейчас, Броуди будет хвастать, что выгнал его вон, как побитую собаку. И он крикнул голосом, полным возмущения:

— Не прикасайтесь ко мне! Я стерпел все ваши грубости, но не заходите слишком далеко!

При этих словах Броуди чуть не задохся от ярости.

— Вот как, не прикасаться? — закричал он, и дыхание шумными

порывами вылетало у него из груди. — Я поймал тебя, как крысу в западню, и раздавлю тебя, как крысу!

Медленно, словно крадучись, подходил он к Денису, старательно лавируя всем своим громадным телом. Затем, когда он был на расстоянии ярда от Дениса, так близко, что тому невозможно уже было увернуться, он оскалил зубы, вдруг поднял свой громадный кулак и с сокрушительной силой, со всего размаха направил удар в голову Фойля. Резкий, громкий хруст и треск раскололи воздух. В голову кулак не угодил: быстрее молнии Денис метнулся в сторону, и кулак Броуди с силой кузнечного молота ударился о каменную стену. Правая рука сразу повисла: она была сломана в запястье. Денис, глядя на Броуди и берясь за ручку двери, сказал тихо:

— Извините, мистер Броуди. Вы видите в конце концов, что все же есть вещи, в которых вы ничего не понимаете. Я вас предупреждал, чтобы вы меня не трогали.

Он вышел — и как раз вовремя. Тяжелый вертящийся табурет красного дерева, брошенный левой рукой Броуди, как выстрел из катапульты, ударил в легкую дверь, и вдребезги разлетелись и стекло и рама.

Броуди стоял с повисшей, как плеть, рукой и, раздувая ноздри, тупо смотрел на обломки. Он не ощущал боли в сломанной руке, только не мог ею двигать. Но грудь его, казалось, готова была разорваться от бессильного бешенства. То, что этот щенок, первый из всех людей, не только не испугался его, но еще оставил его в дураках, вызывало корчи уязвленного самолюбия. На физическую боль он не обращал внимания, но гордость его была смертельно задета.

Пальцы его левой руки конвульсивно сжимались. Ведь в одну минуту он мог бы загнать этого наглеца в угол и избить его до смерти. И оказаться побежденным, не успев нанести ему ни единого удара! Только последний остаток самообладания и проблеск рассудка помешали ему очертя голову броситься на улицу вслед за Фойлем, чтобы настигнуть и сокрушить его. В первый раз за всю его жизнь нашелся человек, дерзнувший дать ему отпор, и он скрипел зубами при мысли, что какой-то выскочка самого низкого происхождения посмел говорить ему дерзости в лицо и ушел безнаказанно, посрашив его, Броуди!

— Клянусь Богом, — выкрикивал он, обращаясь к пустой комнате, — он у меня за это поплатится!

Он осмотрел свою беспомощную теперь руку, которая уже посинела, распухла и имела отечный вид. Надо было что-нибудь сделать, а также придумать какое-нибудь объяснение, какую-нибудь галиматью вроде того,

что он поскользнулся на лестнице. Угрюмый, вышел он из лавки, с треском захлопнул и запер входную дверь и отправился домой.

Денису между тем пришло в голову, что своим опрометчивым поступком он сильно повредил и Мэри и себе. До разговора с ее отцом он воображал, что умиловит его и получит позволение навещать Мэри. Тогда им будет легче подготовить все для побега. Он доверчиво рассчитывал на то, что Броуди постепенно сменит гнев на милость, может быть, даже начнет питать к нему некоторое расположение. Такой успех, несомненно, облегчил бы им дальнейшие шаги и смягчил бы удар при неизбежном раскрытии тайны.

Денис рассуждал так, не зная Броуди. Он часто вспоминал то, что говорила о нем Мэри, но полагал, что ее слова, может быть, окрашены детским страхом перед отцом или она, благодаря своей впечатлительности, преувеличивает отрицательные свойства его характера. Теперь же он вполне понимал, почему Мэри так боится отца, находил, что характеристика, данная ею, наоборот, еще слишком снисходительна. Всего несколько минут тому назад он видел Броуди в состоянии такой необузданной злости, что начинал бояться за судьбу Мэри. Он не переставал клясть себя за свое неосторожное вмешательство.

Он был в полной растерянности, не зная, что ему теперь делать; проходя мимо писчебумажного магазина на Хай-стрит, подумал, что надо написать Мэри и назначить ей свидание на следующий день. Он вошел в лавку и купил листок почтовой бумаги и конверт. Несмотря на мучившую его тревогу, он сохранил свое умение пленять людей и до тех пор любезничал со старой дамой, стоявшей за прилавком, пока она не продала ему и марку и не дала перо и чернильницу. Она сделала это охотно, матерински улыбаясь ему, и, пока он писал короткую записку Мэри, она уголком глаза внимательно наблюдала за ним. Окончив, Денис любезно поблагодарил ее и, выйдя на улицу, хотел уже было опустить письмо в почтовый ящик, но его вдруг остановила одна мысль, и он, как ужаленный, отдернул руку с письмом. Медленно отвернувшись от ящика, он постоял минутку на тротуаре и, видимо обдумав что-то, разорвал письмо на мелкие клочки и бросил в сточную канаву. Он вдруг сообразил, что если это письмо случайно будет перехвачено отцом Мэри, то Броуди сразу же поймет, что обманут, что они с Мэри все время тайно встречались. Денис говорил себе, что он сегодня уже совершил одну большую ошибку и надо быть осмотрительным, не допустить второй.

Застегнув доверху пиджак, засунув руки в карманы, вызывающе вздернув подбородок, он торопливо зашагал дальше. Он решил обследовать

местность вокруг дома Броуди.

Незнакомый с этой частью города, он немного заплутался в предместье, но, благодаря своему умению ориентироваться, все же в конце концов, покружив, добрался до дома, где жила Мэри. Он никогда раньше не видел этого дома и теперь, увидев, был поражен. Этот дом казался ему более подходящим для тюрьмы, чем для жилья, и столь же неподходящим жилищем для кроткой и милой Мэри, как темный глухой склеп — для голубки. Приземистые серые стены, казалось, сжимали ее неразрывным объятием, крутые валы напоминали о ее порабощении, глубокие амбразуры окон кричали о том, что она насильственно заточена здесь.

Осматривая издали дом, Денис бормотал про себя: «Я буду счастлив увезти ее отсюда, а она — рада вырваться. Этот человек ненормальный: у него голова не в порядке. И дом чем-то похож на него!»

С душой, омраченной тяжким беспокойством, он укрылся в проломе изгороди, оказавшейся за его спиной, присел на перекладину, закурил и принялся обдумывать положение. Настоятельная необходимость увидеться с Мэри заставила его перебрать в уме ряд неосуществимых проектов и неосторожных планов. Он боялся сделать новый промах, но снестись с Мэри нужно было сейчас же, иначе случай будет навсегда упущен. Папироса была уже почти докурена, когда вдруг лицо его утратило мрачное выражение, и он задорно усмехнулся, восхищаясь простотой замечательной идеи, осенившей его. Что мешает ему сейчас, среди бела дня, смело подойти и постучать в дверь? Почти несомненно, что откроет ему сама Мэри, и он в ту же секунду сделает ей знак молчать, сунет в руку записку и уйдет так же открыто и с достоинством, как и пришел. Ему достаточно известны были порядки в доме, чтобы сообразить, что раз сам Броуди в лавке, а маленькая Несси в школе, то, кроме Мэри, открыть дверь могла бы еще только миссис Броуди. А если это и произойдет, так ведь она его не знает, муж еще не успел предостеречь ее против него, и можно будет просто спросить, не здесь ли живет такой-то, назвав первую попавшуюся фамилию, а затем, извинившись, поскорее ретироваться.

Он торопливо вырвал листок из записной книжки, нацарапал карандашом короткую записку, в которой просил Мэри прийти завтра вечером к публичной библиотеке. Он предпочел бы выбрать для свидания более укромное место, но подумал, что уйти из дому Мэри сможет только под предлогом обмена книг в библиотеке. Написав записку, он сложил ее аккуратным квадратиком, крепко зажал в руке и, стряхнув с себя пыль, соскочил с перекладины. Проворно повернувшись к дому, он старался принять невинный вид обыкновенного посетителя, как вдруг лицо у него

вытянулось, потемнело, и он метнулся назад в свое убежище. Шагая по мостовой, с нижнего конца улицы приближался не кто иной, как сам Броуди с забинтованной и висевшей на перевязи рукой.

Денис прикусил губу. Нет, видно, ему не везет во всем! Теперь невозможно было подойти к дому, — и он с горечью подумал, что Броуди в своем озлоблении, конечно, всех в доме предупредит и лишит его возможности выполнить свой план в другой раз. С тяжелым сердцем думал он также о том, что гнев Броуди обрушится на Мэри, хотя он, Денис, так старательно выгородил ее во время злосчастного разговора в лавке. Он следил за Броуди, подходившим все ближе, с беспокойством заметил, что ушибленная рука положена в гипс, заметил и грозовую мрачность его лица, видел, как он рванул калитку и вошел в дом.

Дениса мучили дурные предчувствия. Пока Мэри живет рядом с этим чудовищем в этом чудовищном доме, нельзя ни на минуту быть спокойным. Напряженно прислушиваясь, не услышит ли он какой-либо звук, крик, зов на помощь, он бесконечно долго ожидал у дома. Но стояла тишина, все было тихо за холодными серыми стенами этого странного жилища. И Денис наконец уныло побрел прочь.

IX

Мэри Броуди вязала чулки отцу. Она сидела, наклонясь немного вперед, лицо ее было бледно, а глаза, окруженные тенью, устремлены на длинные стальные спицы, автоматически мелькавшие в ее пальцах. Клик-клик! — щелкали спицы. Мэри казалось, что она давно уже слышит только один этот звук, потому что все свободное от работы время она вязала. Мама сентенциозно объявила, что так как для праздных рук дьявол легче находит работу, то руки Мэри всегда должны быть заняты, даже в часы досуга, и Мэри было дано задание вязать по паре чулок каждую неделю. Сегодня она кончала шестую пару!

Старая бабка сидела тут же, наблюдая за ней, сжав губы так, что они казались сшитыми вместе. Она сидела, скрестив высохшие ноги и покачивая свисавшей ногой в такт музыке спиц, ничего не говоря, но не спуская глаз с Мэри, с таким непроницаемым видом, как будто размышляла о вещах, не известных никому, а меньше всего — Мэри.

Мэри порой казалось, что эти мутные, слезящиеся глаза пронизывают ее подозрительным, злорадным взглядом, словно бабка что-то знала, и, когда глаза их встречались, из каменных зрачков сверкала искра враждебности. В последнее время Мэри чудилось, будто глаза старой сивиллы околдовали ее, и она должна против воли вечно шевелить усталыми пальцами, сясь довязать моток шерсти, которому нет конца.

Для старухи было приятным развлечением следить за девушкой, но, кроме того, полтора месяца тому назад это было ей вменено в обязанность. Она слегка покачивала головой, вспоминая тот невероятный день, когда ее сын явился домой с забинтованной рукой, с лицом мрачнее ночи и за закрытыми дверями гостиной произошло таинственное семейное совещание между ним и женой. Не слышно было обычного шума, бешеных криков на весь дом. Жестокое, гнетущее молчание! Бабушка Броуди не могла допытаться, что же именно произошло, но чуяла в воздухе страшную грозу. Много дней ее невестка ходила с вытянутым, испуганным лицом, и губы у нее дрожали, когда она, поручая бабушке караулить Мэри, сказала: «Мэри не разрешено выходить из дому. Ни шагу за ворота. Таков приказ отца». Мэри была теперь узницей, вот и все, а она — ее тюремщицей. За бесстрастной маской старухина лица скрывалось злорадство, ее тешили опала и унижение Мэри. Она никогда не любила девушку, и видеть ее теперь постоянно за вязанием доставляло старухе глубочайшее

наслаждение.

Размышления ее были прерваны приходом миссис Броуди. Глаза мамы пытливо остановились на Мэри.

— Ты уже закончила пятку? — осведомилась она с деланным интересом.

— Да, почти, — отвечала Мэри. Ее бледное лицо сохраняло то же неподвижное выражение равнодушной апатии.

— У тебя отлично идет дело! Ты обеспечишь отца запасом чулок на всю зиму.

— Можно мне на минуточку выйти в сад?

Мать сделала вид, что смотрит в окно.

— Дождик накрапывает, Мэри. Я думаю, лучше тебе сейчас не выходить. К тому времени, когда вернется Несси, дождь, может быть, пройдет, и вы с ней погуляете за домом.

Жалкая мамина дипломатия! Воля отца, которую подносили либо в виде таких отказов под разными благовидными предложениями, либо в виде возвышающих душу цитат из Священного Писания, сетью опутывала Мэри вот уже шесть недель — шесть недель, из которых каждая казалась годом долгих, долгих дней. Мэри была так забита, сопротивление в ней настолько ослабело, что она теперь шагу не решалась сделать, не спросив разрешения.

— А к себе в комнату мне можно сходить ненадолго? — спросила она глухо.

— Ну конечно, Мэри, а если тебе хочется почитать, возьми вот это. — И миссис Броуди насильно сунула в руки дочери, медленно выходившей из комнаты, переплетенный экземпляр проповедей Сперджена, лежавший наготове на буфете.

Как только Мэри вышла, обе женщины обменялись взглядом, и мама сделала едва заметный знак головой. Старуха тотчас же поднялась, без сожаления расставшись с теплым местечком у камина, и заковыляла в гостиную, где уселась у окна, представлявшего удобный наблюдательный пункт, так как из него видно было всех, кто выходил из дому. Так исполнялся приказ Броуди о постоянном надзоре за Мэри. Однако не успела миссис Броуди и минуты побыть на кухне, как ей пришла в голову новая мысль. Она подумала, кивнула сама себе головой, решив, что сейчас представляется случай выполнить распоряжение мужа, и, подобрав юбки, поднялась по лестнице наверх, в комнату Мэри, чтобы наставить ее на путь истинный.

— А я пришла поболтать с тобой, — сказала она весело. — Последние

два-три дня нам с тобой совсем не пришлось разговаривать.

— Да, мама.

Миссис Броуди испытующе посмотрела на дочь.

— Прозрела ли ты уже, Мэри? — спросила она с расстановкой.

Мэри знала, что за этим последует одна из тех благочестивых бесед, которые ее мать недавно ввела в обиход. Эти наставления на путь истинный вначале доводили Мэри до слез или до гневного возмущения. Никогда они не улучшали ее душевного состояния, а сейчас уже отскакивали, как нечто бессмысленное, от ее стоических ушей. Эти «возвышающие душу» беседы нестерпимо надоели Мэри за время ее заключения, но их, как и все другие виды высокопарных увещаний, ей навязывали насильно, они сыпались на ее голову, как попреки, при всяком удобном случае.

Объяснялось все это очень просто. В заключение того злосчастного семейного совета в гостиной Броуди зарычал на жену: «Она — твоя дочь. И это твоя обязанность внушить ей, что она должна быть послушной. Если ты этого не сделаешь, то, клянусь Богом, я ее опять начну учить ремнем — и тебя тоже заодно!»

— Утвердилась ли ты уже на скале добродетели, Мэри? — серьезно спрашивала мать.

— Не знаю, — ответила Мэри подавленно.

— Ох, вижу, что ты еще не достигла ее, — тихо вздохнула миссис Броуди. — А каким утешением было бы для отца и для меня, если бы мы увидели тебя полной веры, и кротости, и покорности родителям.

Она взяла вялую руку Мэри в свои.

— Ты знаешь, дитя мое, что жизнь коротка. А что, если нам внезапно придется предстать перед троном Всевышнего такими недостойными, как сейчас? Что тогда? Вечные муки! И тогда уже поздно будет каяться. О, как бы я хотела, чтобы ты увидела свои заблуждения! Чтобы ты поняла, как тяжело мне, твоей родной матери, которая все для тебя сделала. Твой отец винит меня за то, что ты все еще ходишь с таким упрямым и холодным видом, как замороженная. Боже мой, но я ведь готова сделать для тебя что угодно. Я даже готова пригласить как-нибудь днем, когда отца нет дома, его преподобие мистера Скотта, чтобы он сам поговорил с тобой! Недавно я прочитала такой утешительный рассказ об одной своенравной женщине, которую служитель Господа наставил на путь истинный.

Мама с похоронным видом вздохнула и, сделав долгую выразительную паузу, спросила:

— Скажи мне, Мэри, что у тебя на сердце?

— Я бы хотела, чтобы ты дала мне побыть одной, мама, — сказала Мэри тихо. — Мне нездоровится.

— Так, значит, ты не нуждаешься ни в матери, ни даже в самом Всевышнем, — сказала, засопев носом, миссис Броуди.

Мэри с отчаянием смотрела на нее. Она ясно видела слабость матери, ее глупость и беспомощность. Все это время она тосковала по такой матери, которой могла бы открыть душу, к которой могла бы прильнуть и крикнуть ей: «Мама, ты — прибежище для моего истерзанного, наболевшего сердца! Утешь же меня, возьми от меня мою муку. Укрой меня, как плащом, своей любовью, заслони меня от стрел горя!»

Но мама, увы, была не такой матерью. Неглубокая, зыбкая, как вода, она только отражала вездесущую тень того, кто был сильнее ее. На нее бросала мрачную тень гора, зловещее присутствие которой нависло постоянной грозной тучей над ее прозрачной душой. Самый тон этих благочестивых бесед был лишь эхом бесповоротного приказа мужа. Ей ли было говорить о страхе перед вечностью, когда этот страх был ничто в сравнении с ее страхом перед Броуди! Для нее существовала лишь одна «скала» — несокрушимая железная воля ее бешеного мужа. Горе, горе ей, если она не будет покорна этой воле! Она была, конечно, ревностной христианкой со всеми вытекающими отсюда верованиями и почтенными убеждениями: как полагалось, аккуратно ходила по воскресеньям в церковь и даже иногда, если удавалось улизнуть от домашних обязанностей, посещала еженедельные вечерние собрания верующих, она осуждала тех, кто употреблял грубые выражения или чертыхался, — и этим полностью исчерпывались ее притязания на благочестие. А когда она отводила душу за чтением, она всегда выбирала только такие добродетельные романы, которые в последней главе доставляли безгрешной героине очаровательного и благочестивого мужа, а читателю — чувство высокого нравственного удовлетворения. Но она столько же была способна поддержать дочь в этот критический период ее жизни, сколько дать отпор Броуди в минуты его гнева.

Все это Мэри отлично понимала.

— Так ты не скажешь мне, Мэри? — продолжала приставать миссис Броуди. — Хотела бы я знать, что творится в твоей упрямой голове!

Она была в постоянном страхе, не замышляет ли дочь втайне какой-нибудь рискованный шаг, который снова вызовет гнев отца. И в этом трепетном страхе она уже предвкушала не только бичевание словами, но и то телесное наказание, которым он ей угрожал.

— Мне нечего рассказывать, мама, — возразила Мэри уныло.

Она знала, что, если только попытается облегчить душу, мать тотчас остановит ее отчаянным воплем протеста и, заткнув уши, убежит из комнаты. Мэри, казалось, уже слышала, как она, убегая, кричит: «Нет! Нет! Замолчи! Ни слова более! Я не хочу этого слушать! Это неприлично!»

И она с горечью повторила:

— Да нет же! Мне нечего тебе сказать.

— Но ты ведь о чем-то думаешь все время. Я по твоему лицу вижу, что думаешь, — настаивала миссис Броуди.

Мэри вдруг посмотрела матери прямо в глаза.

— Иногда я думаю о том, что была бы счастлива, если бы могла уйти из этого дома навсегда, — сказала она резко.

Миссис Броуди в ужасе подняла руки к небу.

— Мэри! Что за речи! Ты должна Бога благодарить за то, что у тебя такой дом. Хорошо, что отец не слышит, — он бы никогда не простил такой черной неблагодарности!

— И как ты только можешь это говорить! — закричала в исступлении Мэри. — Ведь ты должна чувствовать то же, что и я. Нам с тобой никогда не было хорошо в этом доме. Неужели ты не чувствуешь, как он давит нас? Он словно часть отцовской жестокой воли. Вспомни, вот уж полтора месяца я не выходила на улицу и чувствую, что я... я совсем больна, — заплакала она.

Миссис Броуди с удовлетворением встретила эти слезы как знак покорности.

— Не плачь, Мэри, — уговаривала она девушку. — Конечно, ты уже жалеешь о том, что говорила такие непристойные глупости о великолепном доме, в котором ты имеешь счастье жить. Когда отец его выстроил, во всем Ливенфорде только и речи было, что об этом доме.

— Да, — всхлипывала Мэри, — и о нас тоже все говорят. Это отец виноват, что мы не похожи на других людей и к нам относятся не так, как к другим.

— Еще бы! — с важностью подхватила миссис Броуди. — Потому что мы выше других.

— Ах, мама, никак ты не хочешь понять меня. Отец нас запугал, чтобы мы жили по его указке. Я чувствую, он нас доведет до какой-нибудь беды! Он хочет, чтобы мы держались в стороне от всех. У нас нет друзей. Я никогда не имела возможности повеселиться, как другие девушки: я была всегда взаперти.

— Так и надо, — перебила ее мать, — так именно и должна воспитываться девушка из порядочного дома. По твоему поведению видно,

что тебя еще мало запирали!

Мэри, словно не слыша, смотрела, как слепая, в пространство, додумывая свою мысль до горького конца.

— Я была в тюрьме, во тьме, — шептала она про себя, — а когда вышла из нее, я была так ослеплена, что сбилась с пути.

Выражение полной безнадежности медленно разливалось по ее лицу.

— Нечего бормотать что-то непонятное, — резко прикрикнула на нее мать. — Если не можешь честно и откровенно поговорить с матерью, так не говори вовсе. Подумать только!.. Ты бы Бога благодарила за то, что есть люди, которые о тебе заботятся и держат тебя дома, чтобы уберечь от греха.

— Греха! Не много я нагрешила за эти месяцы, — глухо отозвалась Мэри.

— Мэри, Мэри! — укоризненно воскликнула мать. — Не отвечай так угрюмо. Будь весела и трудолюбива да оказывай больше почтения и покорности родителям. Ты должна бы краснеть от одной мысли, что за тобой бегают молодые люди бог знает какого происхождения. Ты должна бы охотно сидеть дома, чтобы от них избавиться, а не то что постоянно ходить с таким угрюмым видом. Боже, как подумаю, что тебе грозило!..

Мама замолчала из скромности и добродетельно содрогнулась, придвигая поближе к Мэри проповеди Сперджена. Закончив свою речь на самой высокой и патетической ноте, она встала и, отступая к дверям, сказала с ударением:

— Почитай вот это, дочь моя. Это принесет тебе больше пользы, чем всякие пустые разговоры, которые ты могла бы услышать вне дома.

Затем она вышла, прикрыв за собой дверь, очень тихо, в унисон набожным мыслям, занимавшим ее ум. Однако Мэри не прикоснулась к так настойчиво предложенной ей книге. Она безнадежно глядела в окно. Тяжелые тучи закрывали небо, быстрее приближая к вечеру короткий октябрьский день. Мелкий, но упорный дождик туманил окна. Ни малейшего ветерка. Три серебряные березы, уже облетевшие, стояли тихо, в унылой задумчивости. Мэри в последнее время так часто на них смотрела, что уже изучила их во всяком настроении и думала о них, как о ком-то своем, родном. Она наблюдала, как они теряли листья. Каждый лист падал тихо, медленно, трепеща, как последняя утраченная надежда, и с каждым листом Мэри теряла частицу веры. Эти три дерева превратились для нее в какой-то символ, и пока они были одеты живыми листьями, она не отчаивалась. Но вот слетел последний лист — и в этот вечер березы, как ее душа, были обнажены, окутаны лишь холодным туманом, погружены в глубокую безнадежную печаль.

Ребенок жил в ней, она ощущала, как он шевелится, с каждым днем все энергичнее. Ребенок жил, двигался, но знали о нем лишь она да Денис. Беременность ее оставалась незамеченной. Вначале Мэри очень заботилась о сохранении тайны, и это была нелегкая задача, но сейчас она о ней как-то не думала: голова ее была занята более серьезными и жуткими мыслями.

Однако, сидя в этот вечер у окна, она вспомнила, как первое движение ребенка внутри разбудило в ней щемящее чувство — не страха, а жадного томления. Точно молния, осветило оно темные пространства ее души, и ее охватила страстная любовь к будущему ребенку. Эта любовь поддерживала ее часто в тяжелые часы, помогала храбро переносить горе. У нее было такое чувство, что страдает она теперь ради ребенка и чем больше она будет страдать, тем больше будет вознаграждена потом его любовью.

Но все это было, как ей казалось, очень давно, когда надежда еще не окончательно ее покинула. Тогда она еще верила в Дениса.

Она не видела его с того дня, когда ездила в Дэррок. Сидя под домашним арестом по воле отца, она прожила шесть нестерпимых недель, не видя Дениса. Иногда ей казалось, что его фигура мелькает перед домом; часто по ночам она чувствовала, что он где-то здесь, близко; раз она проснулась с криком от легкого стука в окошко. Но теперь она считала, что все это — только плод ее расстроенного воображения, и была твердо убеждена, что Денис ее бросил. Да, он покинул ее, и она никогда больше его не увидит.

Она жаждала, чтоб поскорее наступила ночь и принесла ей сон. В первое время она не могла спать, потом, к своему удивлению, стала засыпать крепко, и ей часто снились дивные сны — сны, исполненные блаженства. Во сне она всегда бывала с Денисом в каком-то волшебном царстве, они открывали вдвоем залитую солнцем страну с веселыми старинными городами, жили среди смеющихся людей, которые питались странной экзотической пищей. Эти радостные видения, как предзнаменование счастливого будущего, одно время тешили и ободряли ее. Но все это уже отошло в прошлое. Она не хотела больше несбыточных грез. В том сне, которого она жаждала, ее не посетят видения: она решила убить себя.

Ей живо вспомнились слова, сказанные ею Денису на дэррокском вокзале. С бессознательным жутким предчувствием она сказала ему, что сделает это, если он покинет ее. У нее осталось одно прибежище — в смерти. Никто не знал, что она прятала у себя в спальне пакет лимонной соли, стащенной с верхней полки над лоханями в чулане за кухней. Сегодня она ляжет спать, как всегда, а утром ее найдут в постели мертвой. Ее

ребенок, живой, но еще не живший, тоже умрет, и это самое лучшее для него. Они похоронят ее вместе с ее нерожденным ребенком в сырой земле, и все будет кончено, и для нее настанет покой.

Она встала, отперла ящик. Да, пакетик цел. Недрогнувшими пальцами она немного отогнула бумагу в одном конце белого пакетика и смотрела на его содержимое, такое невинное на вид. Она машинально подумала: как странно, что эти невинные на вид кристаллики таят в себе такую грозную смертоносную силу. Но ей они не грозили, ей они сулили милосердную помощь. Одно быстрое движение — и они дадут ей возможность освободиться от беспросветного рабского существования; глотая их, она судорожным глотком как бы хлебнет последний горький осадок жизни. Она хладнокровно подумала, что надо будет, уходя наверх спать, захватить с собой в чашке воды, чтобы растворить кристаллы.

Мэри положила на место пакет, закрыла ящик, потом, воротясь к окну, села и снова принялась вязать. Надо кончить сегодня чулок отцу. Подумав об этом, она не ощутила никакой живой ненависти к нему — в ней как будто умерли все чувства. Отец с того дня ни разу с ней не разговаривал. Рука его зажила. Его жизнь шла без перемен и после ее смерти будет идти так же, с той же неукоснительной размеренностью, в том же надменном равнодушии, и так же мать будет ублажать его и рабски служить ему.

Мэри на мгновение перестала вязать и выглянула в окно. Несси возвращалась из школы. В душе Мэри проснулось сострадание к впечатлительной сестренке, которая в последнее время словно заразилась от нее печалью. Ей было жаль оставлять Несси. Бедная девочка! Она будет совсем одинока.

Но странно: маленькая фигурка не вошла в калитку, а остановилась, и в сгущавшихся сумерках видно было, как она делала какие-то непонятные настойчивые знаки. Это была не Несси, а какая-то другая девочка, которая упорно стояла под дождем и махала кому-то наверх рукой, выразительно и вместе с тем таинственно. Мэри внимательно вглядывалась в нее, но, как только девочка это заметила, она перестала делать знаки и убежала. Показались двое прохожих и скоро скрылись из виду. Улица снова была пустынна и темна. У Мэри вырвался вздох — рассеялась смутная, неосознанная надежда. Она машинально протерла глаза и безмолвно закрыла их руками.

Но вот она отняла руки и тотчас же снова увидела девочку, еще усерднее, еще настойчивее делавшую ей знаки. Мэри глядела, ничего не понимая, потом, решив, что она жертва какой-то галлюцинации, игры расстроенного воображения, и ожидая, что видение исчезнет так же

мгновенно и магически, как появилось, она медленно, недоверчиво открыла окно и высунулась наружу. Тотчас же из неясного мрака полетел какой-то круглый предмет, брошенный безошибочно меткой рукой, ударился о плечо Мэри и с глухим стуком упал на пол, а улица в ту же минуту опустела. Мэри машинально закрыла окно и села. Она сочла бы все происшествие обманом чувств, если бы на полу у ее ног не лежал снаряд, пущенный в нее из надвигавшегося вечернего мрака, словно миниатюрный безвредный метеор, упавший с невидимого неба. Она пристальнее взгляделась в круглый предмет. Это было яблоко.

Мэри нагнулась и взяла его в руки. Оно было гладкое, точно отполированное, и теплое, как если бы его долго сжимали горячие человеческие руки, и, держа его на маленькой ладони, Мэри не понимала, зачем, собственно, она отложила вязание и рассматривает такой пустячный предмет. Это было яблоко сорта ранет, королевский ранет. И вдруг молнией мелькнуло в памяти Мэри замечание, сделанное как-то раз Денисом. «У нас дома все любят яблоки, — сказал он, — и в кладовой у нас всегда стоит бочонок королевского ранета». Под влиянием этого внезапного воспоминания Мэри, до сих пор в недоумении смотревшая на яблоко, начала внимательно его разглядывать и с удивлением, с растущим волнением заметила слабый надрез, сделанный, очевидно, тонким лезвием и шедший вокруг всего яблока. В ее серовато-бледные щеки хлынул жаркий, тревожный румянец, когда она дернула сухой черешок, сохранившийся у яблока, но она мгновенно снова побледнела, вся кровь отлила от ее лица, когда круглая, белая, аккуратно обрезанная сердцевина крепкого плода легко вынулась вместе с черешком и осталась в ее пальцах, а в пустой середине яблока оказалась туго забитая туда, свернутая в трубочку тонкая бумага. С сумасшедшей быстротой нервные пальцы Мэри ощупью извлекли и развернули трубочку — и вдруг ее бешено колотившееся сердце чуть не остановилось. Письмо от Дениса! Он пишет ей! Он ее не покинул! Неверящими, безумными глазами Мэри жадно смотрела на это письмо, дошедшее до нее так же вовремя, как помилование — к осужденному на смерть. Она лихорадочно принялась читать, увидела, что письмо писано почти две недели назад, что оно полно горячей нежности. Великая радость, как внезапный яркий свет, ослепила ее неожиданностью, согрела своими лучами. Слова письма сияли перед ее глазами, их смысл проникал ей в сердце, как жаркое тепло проникает в ледяное застывшее тело. Каким безумием было не доверять Денису! Он все тот же, ее Денис, и он любит ее!

Он любит ее, старался изо всех сил увидеть ее и даже пытался раз

ночью просунуть ей свое письмо в окно. Значит, не даром она чувствовала, что он близко, — ее глупый крик со сна спугнул его. Но все это не имеет значения теперь, когда пришла радостная весть. С бьющимся сердцем прочла Мэри в письме, что он уже снял домик в Гаршейке. Можно будет переселиться туда к первому января. Коттедж называется «Остров роз», летом он похож на беседку, увитую розами, зимой — это теплое, надежное убежище, которое приютит их обоих. Денис делает все, что в его силах, и ничего не боится! Мэри была безмерно тронута. Как он старается ради нее! Он писал, что явился бы за ней открыто, но не все еще готово. Прежде, чем предпринять смелый шаг, им нужно иметь кров над головой, дом, в котором они смогут укрыться. А до тех пор он ради Мэри будет осторожен. Да, ей придется потерпеть еще немного. Подождать, пока он закончит последний осенний объезд района и будет иметь возможность всецело посвятить себя ей. Тогда он возьмет ее к себе навсегда, будет о ней заботиться, создаст ей радостную и безопасную жизнь. Глаза Мэри затуманились счастливыми слезами, когда она читала все эти обещания. Может ли она подождать? Она *должна* ждать. Она все терпит, раз она теперь уверена, что в конце концов Денис возьмет ее к себе.

Дочитав письмо, она с минуту сидела неподвижно, словно неожиданное радостное потрясение превратило ее в камень, в мраморную статую. Но постепенно кровь быстрее потекла по ее жилам; таинственные токи, рожденные волнующими словами письма, пронизывали все ее существо; после длившегося целую вечность, подобного смерти бесчувствия она снова ожила, и, как у оживавшей Галатеи, кожа ее приобретала живой оттенок, розовело лицо, тело, руки. Глаза засверкали ярко, жизнерадостно, сжатые губы жадно полуоткрылись, и застывшая на лице печаль преобразилась в стремительную, бурную радость. Как человек, забытый на необитаемом острове, измученный бесконечным тщетным высматриванием судна на горизонте, давно оставивший надежду и вдруг увидевший возможность спасения, она испытывала невероятный восторг, она почти отказывалась верить. Громкое биение воскресшего сердца ликующей песней отдавалось у нее в ушах, в бескровные руки, державшие письмо, точно вливались жизнь и энергия; пальцы жадно схватились за лежавший рядом карандаш и торопливо забежали по оборотной стороне письма.

Она написала короткую записку, сообщая, что здорова и что теперь, когда получила от него вести, счастлива. Она ничего не написала о перенесенных душевных терзаниях, о пропасти, чуть было не поглотившей ее. Она писала, что с радостью переберется в их домик, если он приедет за

ней в декабре, и много раз благодарила за письмо. У нее не было времени написать еще что-нибудь, так как внизу, на улице, она в быстро гаснущем свете сумерек увидела снова девочку, терпеливо и выжидательно смотревшую в окно. Это Роза, наверное, Роза, та преданная ему сестренка, о которой он как-то говорил. Мэри готова была благословлять девочку.

Вложив письмо обратно в яблоко, она подняла окно и, изо всей силы швырнув яблоко, следила, как оно летело в воздухе и потом, дважды подскочив, упало на землю. Она смутно разглядела Розу, подбежавшую, чтобы взять его, видела, как она вынула письмо и спрятала его в карман жакетки, потом с триумфом помахала ей рукой и побежала прочь, весело жуя раздавленный ранет. С трепетом благодарного восхищения следила Мэри за детской фигуркой, которая уходила все дальше, шагая с таким же непобедимым и задорным видом, так же весело и смело, как Денис. Мэри слегка улыбнулась, вспомнив бесшабашную игру Розы на рояле, но тотчас рассердилась на себя: не глупо ли по каким-то гаммам судить об этой бесстрашной посланнице Дениса!

Она наконец встала и блаженно потянулась всем телом. Она подняла руки над головой, словно в бессознательном стремлении к кому-то, фигура ее точно выросла, голова откинулась назад, шея напряглась. Подняв глаза вверх, она, казалось, хотела благодарить небо, и этот порыв благодарности незаметно перешел в призыв к будущему. Она снова жива, полна сил, новых надежд, нового мужества. Опустив руки, она неожиданно почувствовала, что голодна: вот уже несколько недель она почти ничего не ела, заставляя себя только за столом, под взглядом отца, с трудом проглатывать немного пищи, которая казалась ей безвкусной, а сейчас, вместе с чудесным возвращением любви к жизни, к ней вернулся и аппетит.

Ребенок в ее теле двигался, бился, словно радуясь избавлению от смерти.

И когда Мэри ощутила внутри себя это слабое, беспомощное выражение благодарности, сердце ее внезапно дрогнуло жалостью. В страстном порыве раскаяния она бросилась к комоду, где спрятала лимонную соль, и, с отвращением взяв пакетик, сжала его в руке и помчалась вниз. Пробегая мимо полуоткрытой двери гостиной, она увидела сонно клевавшую носом бабуку и с радостью убедилась, что часовой спит на посту и, значит, Роза осталась незамеченной. Поспешно пройдя через кухню, она вошла в посудную и, вместо того чтобы бросить пакет обратно на полку, с отвращением высыпала его содержимое в раковину, откуда сильная струя воды из крана смыла его бесследно.

Потом, с новым ощущением свободы, Мэри подошла к буфету, налила

себе стакан молока и отрезала толстый ломоть холодного пудинга, оставшегося от обеда. Пудинг был такой вкусный и весь в сочных сладких изюминах. Мэри с наслаждением вонзила в него зубы. Молоко показалось ей глотком волшебного нектара, холодным, как тающие снежные хлопья. Она старалась продлить удовольствие, медленно прихлебывая его и подбирая последние крошки пудинга, когда в комнату вошла мать. Миссис Броуди с любопытством уставилась на Мэри.

— Ты проголодалась? — сказала она. — Хотела бы и я есть с таким удовольствием! Проповеди Сперджена вернули тебе аппетит!

— Отрезать и тебе кусок, мама?

— Нет, его надо будет подогреть завтра. Я обойдусь без пудинга.

По обыкновению, миссис Броуди всем своим видом давала понять, что Мэри поступает эгоистично, поедая пудинг, что ей бы самой хотелось его, но она добровольно жертвует собой для общего блага. Мэри почувствовала себя виноватой. При первом же глотке, который впервые за много недель доставил ей удовольствие, ей внушали, что она — жадная.

— Во всяком случае, я рада видеть тебя в лучшем настроении, — сказала мама, заметив ее смущенный вид. — Сохрани его до прихода отца. Я хочу, чтобы он видел, что я с тобой говорила.

В передней прозвучали чьи-то легкие шаги. На этот раз действительно воротилась из школы Несси. Она вошла веселая, вся мокрая и блестящая от дождя, как молодой тюлень.

— Дождь так и льет! — воскликнула она. — А я тоже хочу кусок пудинга! И еще хлеба с вареньем.

Мать ласково посмотрела на нее:

— Как ты славно разругалась, дорогая! Вот такими я люблю видеть моих детей, а не бледными и скучными.

Это был намек на Мэри, и, чтобы еще больше наказать старшую дочь, мать принесла Несси не хлеб, а ломоть булки с маслом, посыпанным сверху тмином.

— Тмин! Как вкусно! — воскликнула Несси. — И я сегодня заслужила это!.. Мэри, а у тебя вид получше. Как я рада! Ты скоро будешь такая же веселая, как я, — добавила она, посмеиваясь и прыгая вокруг.

— Чем ты заслужила угощение, деточка? — осведомилась мать.

— А вот чем, — важно принялась объяснять Несси. — Сегодня к нам приходил школьный инспектор и во всех младших классах устроил устные испытания — так он назвал это, — и как ты думаешь, кто оказался первым?

— Ну, кто же? — спросила мама, затаив дыхание.

— Я! — взвизгнула Несси, размахивая булкой с тмином.

— Молодчина, честное слово! — сказала мать. — Отец будет доволен. — Она посмотрела на Мэри, словно хотела сказать: «Вот такая дочь — утешение для родителей!» В сущности же, ее ничуть не приводили в экстаз успехи Несси в науках. Они ее радовали лишь как верное средство привести в милостивое настроение господина и повелителя.

Мэри с нежностью глядела на сестру, вспоминая, как близка она была только что к вечной разлуке с нею.

— Вот это замечательно! — похвалила она ее и любовно прижалась щекой к холодному и мокрому лицу Несси.

Тишина царила в Ливенфорде. В воскресные послеобеденные часы в городе всегда наступала тишина: утренние колокола, отзвонив, умолкали, затихала суeta в магазинах и шум на верфях, ничьи шаги не раздавались на пустых улицах, обыватели, разморенные тяжелым, сытным обедом после долгой проповеди в церкви, сидели дома и, борясь с дремотой, пытались читать или засыпали в кресле в неудобных позах.

Но в это воскресенье тишина стояла какая-то особенная, необычная. Тускло-желтое небо придавило город, заключило его, как в склеп, в глухое безмолвие. Под сводами этого склепа воздух застоялся, и тяжело было дышать. Улицы точно стали уже, дома теснее жались друг к другу, а Винтонский и Доранский холмы, всегда такие величавые и далекие, вдруг стали ниже и совсем придвинулись к Ливенфорду, как будто они, присев от страха перед надвигавшимся на них небом, ползли к городу, ища защиты. Деревья стояли, словно оцепенев от духоты, их голые ветви повисли, как сталактиты в пещере. Не видно было ни единой птицы. Пустынные, точно всеми покинутые поля были погружены в гнетущее молчание, какое бывает перед битвой; безлюдный город, где замерли жизнь и движение, стоял, как осажденная крепость в жутком ожидании вражеского нападения.

Мэри сидела у окна своей спальни. Она теперь постоянно искала случая ускользнуть к себе наверх, только здесь находя одиночество и покой. Ей сильно нездоровилось. Еще утром в церкви она почувствовала нестерпимую тошноту, но вынуждена была оставаться до конца богослужения, потом спокойно и ни на что не жалуясь высидеть дома весь обед, хотя и голова и тело болели не переставая. Сидя теперь в своей комнате, опершись подбородком на руки, она глядела в окно на странно замершие поля и спрашивала себя, хватит ли у нее сил выдержать хотя бы еще два дня.

С легким содроганием она перебирала в памяти испытания последних двух месяцев. В первой записке Денис просил ее подождать только до середины декабря, и вот уже сегодня двадцать восьмое декабря. Ей придется выносить пытку пребывания в этом доме еще только два дня. Она понимала, что Денис не виноват. Он вынужден был расширить на этот раз сферу своей деятельности на севере и был послан фирмой в Эдинбург и Данди. Им были довольны, эта отсрочка возвращения ему выгодна. Но Мэри трудно было с этим примириться.

Только два дня еще! Затем вдвоем с Денисом, в уютном домике на гаршейкском берегу, как в крепости, ей ничего не будет страшно. Она так часто мечтала об этом домике, что он всегда стоял у нее перед глазами, белый, крепкий и надежный, как маяк, как сверкающая эмблема безопасности. Но она начинала уже бояться, что не сможет дольше бороться с все растущей физической слабостью и постоянным страхом выдать себя.

Шел уже восьмой месяц ее беременности, но ее хорошо сложенное и крепкое тело все еще почти сохраняло прежние формы. Она казалась более зрелой, была бледнее прежнего, но никаких грубых изменений в ее фигуре не было заметно, а перемену в лице все приписывали суровому режиму, введенному для нее отцом. Но в последнее время ей приходилось уже туго затягиваться и делать непрерывные усилия держаться прямо, чтобы, как это ни трудно, сохранить подобие прежней фигуры.

Корсет сдавливал ее так, что она задыхалась, но надо было постоянно терпеть эту муку и сидеть неподвижно, под холодным взглядом отца, ощущая, как ворочается в ней ребенок, словно протестуя против неестественного стеснения. Надо было носить перед всеми маску безмятежного спокойствия.

К тому же Мэри недавно стало казаться, что, несмотря на все принятые ею предосторожности, в душе ее матери зародилась смутная тревога. Часто, поднимая глаза, она перехватывала направленный на нее в упор вопросительный, недоверчивый взгляд миссис Броуди. Смутные, неопределенные подозрения, видимо, бродили, как тени, в ее уме, и только их ложное направление до сих пор мешало им принять более четкую форму.

Последние три месяца тянулись для Мэри медленнее и мучительнее, чем все предыдущие годы ее жизни, и сейчас, когда неизбежный конец и избавление были так близки, силы, казалось, изменили ей! Сегодня к ее беспокойству прибавились еще тупая боль в пояснице и слабые недолгие схватки. Все, что она вынесла, с такой остротой представилось ей, что слеза покатилась по щеке.

Это незначительное явление — слеза, капнувшая на щеку, — нарушило ее печальную неподвижность статуи и словно нашло себе отклик в природе. Глядя в окно, Мэри увидела, что калитка, весь день полуоткрытая и неподвижно висевшая на петлях, стала медленно качаться и закрылась с громким треском, словно с силой захлопнутая чьей-то небрежной рукой. Минуту спустя куча увядших листьев, лежавшая в дальнем углу двора, зашевелилась, и несколько верхних взвихрились,

закружились в воздухе с шелестом, похожим на вздохи, затем стали опускаться и снова легли на землю.

Мэри наблюдала и то и другое с некоторым беспокойством. Быть может, это беспокойство объяснялось ее состоянием, так как явления были сами по себе незначительны, но контраст между этим внезапным, необъяснимым движением и душной, невозмутимой тишиной казался разительным. Безмолвие вокруг стало еще глубже, медное небо — еще мрачнее и надвинулось еще ниже на землю.

В то время как Мэри сидела неподвижно в предчувствии нового приступа боли, калитка снова тихонько открылась, покачалась и захлопнулась с еще большей силой и грохотом, чем в первый раз; долгий, протяжный шумный скрип открывшейся калитки звучал как вопрос, а быстро последовавший за ним лязг — как отрывистый, насмешливый ответ. Легкая зыбь пробежала по лугу, тянувшемуся по ту сторону дороги, и высокие травы заколебались, как дым; перед широко открытыми глазами Мэри лежавший на дороге пук соломы был внезапно подброшен высоко в воздух и с невиданной, необъяснимой силой унесен куда-то далеко. Тишина наполнилась вдруг частым и тихим топотом, и какой-то бродячий пес промчался по улице, бока его раздувались, уши были откинuty назад и прижаты к голове, глаза вылезали из орбит. С вспыхнувшим вдруг любопытством Мэри заметила испуганный вид собаки и спросила себя, чем объясняется этот стремительный бег и ужас.

Как бы в ответ на ее безмолвный вопрос откуда-то издалека донесся вздох, густое, низкое жужжание со стороны Винтонского холма, которому вторило эхо вокруг дома. Оно облетело серые стены, извилистой молнией устремилось через амбразуры парапета, закружилось меж дымовых труб, завихрилось вокруг торжественных гранитных шаров, помедлило одно мгновение у окошка Мэри и отступило, постепенно замирая, как рев волн, разбившихся о покрытый галькой берег. Наступило длительное безмолвие, затем тот же шум возвратился, нарастая со стороны дальних гор; он звучал дольше, чем прежде, и замирал медленнее, как бы отступая на менее далекие позиции.

Как раз когда замирал последний дрожащий гул, дверь спальни открылась, и влетела Несси.

— Мэри, мне страшно! — закричала она. — Что это за шум? Похоже, как будто жужжит большущий волчок.

— Это просто ветер, Несси.

— Но никакого ветра нет! Тихо, как на кладбище, а небо-то посмотри какое! Ох, Мэри, я боюсь!..

— Наверное, будет гроза. Но бояться не надо, Несси, ничего с тобой не случится.

— О боже, — дрожа, причитала Несси, — хотя бы молнии не было! Я так ее боюсь! Говорят, в кого она ударит, тот сгорит совсем, а если сидеть близко от железа, то молнию скорее притянет.

— Ну а здесь в комнате нет ни одной железной вещи, — успокоила ее Мэри.

Несси подошла ближе.

— Позволь мне немножко побыть с тобой, — взмолилась она. — Ты в последнее время совсем не обращаешь на меня внимания. Если я посижу здесь с тобой, я не буду так бояться этого шума.

Она села рядом, обняв старшую сестру своей худенькой рукой. Но Мэри инстинктивно отодвинулась.

— Ну вот опять! Ты и дотронуться до себя не позволяешь! Ты уже не любишь меня, как прежде, — огорчилась Несси, и одну минуту казалось, что она сейчас встанет и уйдет в детской обиде на сестру.

Мэри молчала: не могла же она объяснить Несси, в чем дело. Она только взяла ее руку и тихонько сжала. Отчасти умиротворенная этим, Несси с уже менее огорченным видом стиснула в ответ руку Мэри. И, сидя так, плечом к плечу, обе сестры молча стали смотреть на задыхавшуюся землю.

Воздух стал суше и реже и был насыщен чем-то едким и соленым, как рассол, щекотавшим ноздри. Бурое небо потемнело, стало лилово-черным, как дымом застилая горизонт, далекие предметы совсем исчезли из виду, а близкие приобрели странную рельефность. Все растущее ощущение какой-то отрезанности от внешнего мира пугало Несси. Она крепче уцепилась за руку Мэри и захныкала:

— Эти тучи несутся прямо на нас! Как высокая черная стена... Ой, страшно как!.. Не упадет она на нас?

— Да нет же, родная, — шепотом отозвалась Мэри. — Ничего она нам не сделает.

Но темная стена надвигалась все ближе, на вершине ее теперь светлели полосы шафранно-желтого цвета, как пена на гребне высокой волны. На ее фоне три березы утратили мягкую подвижность своих серебряных очертаний; застывшие, багровые, они упорнее цеплялись за землю крепкими корнями, их стволы высились прямо, с тесно прижатыми сучьями, как мачты в тревожном предчувствии урагана.

Со стороны невидимых теперь холмов доносился таинственный рокот, похожий на заглушенный бой барабанов. Казалось, что он прокатился по

вершинам всего хребта, запрыгал по ущельям, оврагам, потокам, и звуки неслись, догоняя друг друга, в безумном разгуле.

— Это гром, — дрожала Несси. — Слышишь, точно пушки палят.

— Он далеко, — утешала ее Мэри. — Гроза, может быть, пройдет стороной, не задев нас.

— Нет, я чувствую, что будет страшная буря. Пойдем к маме, а, Мэри?

— Ты иди, если хочешь, — отвечала Мэри. — Но и здесь так же безопасно, дорогая.

Гром приближался. Он перестал грохотать непрерывно, теперь слышались уже отдельные раскаты. Но зато каждый раскат был похож на взрыв и каждый следующий сильнее предыдущего. Эти зловещие предвестники грозы производили на Несси такое впечатление, точно она была мишенью слепой ярости неба, которая непременно обрушится на ее голову и совершенно ее уничтожит.

— Я уверена, что нас убьет, — шептала она, задыхаясь. — Ой, молния!

Раздирающий уши грохот сопровождал первый блеск молнии, тонкий синий луч, прорезавший мертвое небо. Будто от взрыва разверзся небесный свод, и на один дрожащий миг из трещины сверкнул ослепительный неземной свет.

— Ты видела? Молния — раздвоенная, как вилка! — закричала Несси. — Это самая опасная! Отойдем скорее от окна! — Она потянула Мэри за рукав.

— Тебе здесь бояться нечего, — повторила Мэри.

— Нет, это ты так только говоришь. В твоей комнате страшнее всего! Я пойду к маме. Спрячу голову под ее одеяло, пока не перестанет сверкать эта ужасная молния. Уйдем же, иначе тебя убьет!

И она в паническом страхе выбежала из комнаты.

Мэри не пошла за ней и продолжала одна наблюдать грозу, бушевавшую все сильнее. Она казалась сама себе одиноким дозорным в башне, которому грозит смертельная опасность и для развлечения которого силы природы затеяли грандиозный турнир. Бушевавший за окном хаос был как бы сильнодействующим лекарством, отвлекавшим ее от боли внутри, приступы которой, казалось ей, все учащались. Она была рада, что снова одна, что Несси ушла. Ей легче было страдать в одиночестве. Гром яростно грохотал, молния каскадами разливалась по небу с ослепляющей силой. Часто приступ боли совпадал с вспышкой молнии, и тогда Мэри казалось, что она, крохотная частичка вселенной, как-то связана этой сверкающей цепью с титанической бурей в небесах.

Когда же эти впечатления ослабевали, они переставали отвлекать боль.

Мэри невольно начала отождествлять их со своими физическими страданиями, словно участвуя в разыгравшейся вокруг нее буре. Раскаты грома вздымали ее мощным размахом, качали ее на волнах своих отголосков, пока вдруг фиолетовая стрела молнии не пронизывала ее болью и не бросала вновь на землю. Когда гром затихал, быстро усиливавшийся ветер особенно пугал Мэри, начинал внушать ей настоящий ужас. Первое его завывание, когда он налетел и умчался, закружил листья и затем оставил их недвижимыми на земле, было только прелюдией к ряду более мощных штурмов. Теперь он уже не утихал, а с сокрушающей силой хлестал землю. Мэри чувствовала, как массивный, крепкий дом сотрясается до самого основания, как будто бесконечное множество пальцев трудилось, выдирая каждый камень из его известкового ложа. Она видела, что ее любимые березы гнулись, как натянутый лук сгибается пополам, уступая огромной силе; при каждом порыве ветра они клонились, затем, освобожденные, опять со скрипом выпрямлялись. Стрелы, вылетающие из этих луков, были невидимы, но они попадали в комнату Мэри и пронизывали ее тело болью. Длинные травы на лугу уже не колыхались слегка, как раньше: они ложились, словно скошенные гигантской косой. Каждый яростный порыв урагана ударял в окна, заставляя дребезжать стекла в рамах, он с воем носился вокруг дома, и казалось, что все жуткие демоны шума вырвались на волю и беснуются на его крыльях.

Затем начался дождь. Сперва он падал тяжелыми, отдельными каплями, которые ложились на выметенную ветром мостовую пятнами величиной с крону. Все быстрее, все чаще падали капли, и наконец сплошная водяная пелена затопила землю. Вода хлестала открытые дороги, шипела, стекая с крыш и из желобов на крышах, плескалась о деревья, гнула кусты под своей тяжестью до самой земли. Вода затопляла все. Канавы сразу переполнились и превратились в шумные потоки, дороги — в русла рек, и эти реки, по которым неслись разные обломки, залили все главные улицы Ливенфорда.

Когда начался дождь, вспышки молнии мало-помалу прекратились, гром утих и воздух заметно освежился. Но гроза не проходила, а с каждой минутой бушевала сильнее. Ветер стал еще резче. Мэри слышала, как он гнал дождь волнами, бившимися, как прибой, о крышу дома, затем до нее донесся треск — и флагшток, сорвавшись с башенки, со стуком ударился о землю.

Мэри поднялась и стала ходить из угла в угол, не в силах больше выносить мучительную боль, которая как будто стала уже чем-то неотделимым от ее тела. Никогда еще она не испытывала ничего

подобного, никогда в жизни. Она нерешительно подумала, не попросить ли ей помощи у матери: может быть, боль утихнет от грелки? Но тотчас отказалась от столь опасного намерения. Она не знала, что это средство ей уже не поможет, ее состояние не пугало ее, а между тем у нее начинались преждевременные роды. Подобно тому как рано наступившая темнота начинала спускаться на истерзанную землю, эти преждевременные родовые муки уже начинали окутывать плащом страдания тело Мэри. Пережитые ею душевные испытания вдруг потребовали неизбежной расплаты, и Мэри, при всей ее неподготовленности, инстинктивно начинала догадываться о том, как именно произойдет рождение ее ребенка.

Она чувствовала, что не в силах идти вниз ужинать, и в отчаянии, расстегнув корсет, снова стала ходить взад и вперед по тесной спальне. По временам останавливалась, поддерживая живот раскрытыми ладонями обеих рук. Она заметила, что схватки легче переносить стоя, и каждый раз, сгибаясь от боли, опиралась о спинку кровати, припадая лбом к холодным металлическим столбикам.

Во время одной из схваток, когда Мэри, не соблюдая никакой осторожности, стояла в такой позе, внезапно отворилась дверь, и в комнату вошла мать. Миссис Броуди пришла посмотреть, не испугала ли Мэри гроза, а кстати и побранить ее за неосторожность, так как Несси прибежала к ней, крича, что молния вот-вот ударит в комнату Мэри. Мама и сама была напугана грозой, ее туго натянутые нервы трепетали, и она готова была дать волю раздражению. Но когда она, незамеченная, вошла и увидела дочь, слова замерли у нее на языке. Нижняя челюсть медленно отвисала, она тяжело переводила дух, ей показалось, что комната, сотрясаемая бешеным ветром, качается у нее перед глазами. Поза Мэри, ее растерянность, профиль ее незатянутой фигуры — все это задело какие-то тайные струны в памяти матери, разбудило вдруг незабываемое воспоминание о собственных родах. Внезапная мысль страшнее всякого удара молнии ярко вспыхнула в ее мозгу. Все смутно дремавшие в ней подозрения и предчувствия, в которых она не отдавала себе отчета, о которых ей страшно было и подумать, перешли в одну убийственную догадку. Зрачки ее глаз расширились, разлились в озера ужаса, и, прижимая левую руку к впалой груди, она, как пьяная, подняла правую и ткнула пальцем в Мэри.

— Посмотри... посмотри мне в глаза! — пробормотала она, заикаясь.

Мэри вздрогнула, обернулась и тупо посмотрела на мать. Лоб ее был покрыт каплями пота. Тотчас в матери проснулась уверенность, непоколебимая уверенность, и Мэри увидела по ее лицу, что выдала себя.

Пронзительный крик вырвался у миссис Броуди, крик раненого животного. Резче и пронзительнее, чем вой ветра за окном, он прозвучал в спальне и зловеще, как крик совы, разнесся по всему дому. Она все кричала, кричала, точно в истерическом припадке. Мэри, как слепая, ухватилась за юбку матери.

— Мама, я не знала... — всхлипнула она. — Прости меня. Я не знала, что делаю.

Коротким и злобным ударом миссис Броуди отшвырнула от себя Мэри. Она не могла ни слова вымолвить; дыхание хрипло, прерывисто, как в приступе удушья, вырывалось из ее груди.

— Мама, мамочка, я ничего не понимала! Я не знала, что случилось худое. А теперь мне больно! Помоги же!

Мать с трудом обрела дар речи.

— Какой позор! Что отец... Нет, это кошмар, я, должно быть, сплю!.. — простонала она.

Она снова взвизгнула как безумная. Мэри пришла в ужас. Эти вопли замыкали ее в тесную темницу греха. Каждый из них был как вопль о ее позоре.

— Ох, мама, прошу тебя, не кричи так! — умоляла Мэри, низко опустив голову. — Только замолчи, и я тебе все расскажу.

— Нет! Нет! — вопила мать. — Я не стану слушать! Тебе придется говорить с отцом! Меня ты в это не впутывай! Я ничего не хочу брать на себя: ты одна виновата.

Мэри дрожала всем телом.

— Мамочка, разве меня нельзя простить? — прошептала она. — Ведь я ничего, ничего не понимала!

— Отец тебя убьет! — крикнула миссис Броуди. — Ты одна во всем виновата.

— Мама, умоляю тебя, не говори отцу! Подожди два дня, только два дня, — отчаянно рыдала Мэри, пытаясь спрятать лицо на груди матери. — Мама, милая, дорогая... Не говори никому только два дня. Ну, прошу тебя. Ради бога!..

Но мать, потеряв голову от страха, снова оттолкнула ее и дико закричала:

— Ты должна сейчас же сознаться ему! Я не хочу за тебя отвечать! О ты, развратная девчонка, в какую беду ты нас ввела! Ах, бесстыдница, бесстыдница!

Мэри с горечью убедилась, что бесполезно умолять мать. Ее охватил сильный страх и стремительное желание бежать. Она подумала, что в ее

отсутствие мать успокоится, и, торопясь уйти из комнаты, протиснулась мимо матери и поспешно начала спускаться вниз. Но, пройдя половину пути, она вдруг подняла голову и увидела под лестницей, в передней, массивную фигуру отца.

Броуди имел привычку в воскресенье всегда отдыхать после обеда. С регулярностью часового механизма он уходил в гостиную, запирает дверь, опускал шторы, снимал с себя пиджак и, развалясь на диване, крепко спал два-три часа. Но сегодня ему мешала гроза, он дремал беспокойно, урывками, а это было хуже, чем совсем не спать. Не выспавшись, он был зол, в кислом настроении, к тому же чувство порядка было в нем сильно оскорблено тем, что освященный традицией ритуал нарушен столь непозволительным образом. Раздражение его достигло последней степени, когда, задремав снова, он был разбужен падением флажштока. Ярость в нем так и кипела, и, когда он стоял без пиджака внизу, глядя на Мэри, его поднятое к ней лицо выражало злобное возмущение.

— Мало мне шума снаружи, так вы еще подняли этот адский галдеж наверху! — заорал он. — Разве может человек уснуть при таком дьявольском шуме! Это кто шумел? Ты? — напустился он на Мэри.

Миссис Броуди вышла следом за Мэри и теперь, едва держась на ногах, стояла на верхней площадке, прижимая руки к груди и качаясь взад и вперед. Воспаленные глаза Броуди обратились на нее.

— Хорош отдых в этом доме! — кипятился он. — Что же, я, по-твоему, недостаточно тяжело работаю всю неделю? Для чего нам дано воскресенье, я тебя спрашиваю? Что проку в твоём набожном хныканье, если ты поднимаешь в воскресенье такой вой, от которого в ушах звенит? Стоит мне прилечь на минутку, как этот проклятый ветер начинает выть за окном, а ты тоже воешь, как гиена!

Миссис Броуди ничего не отвечала и продолжала истерически качаться, стоя на площадке.

— Что такое? С ума ты спятила, что ли? — заревел ее муж. — Или гром повредил тебе мозги, что ты стоишь, как пьяная рыбная торговка?

Но она все молчала, и тут у Броуди мелькнула догадка, что случилось какое-то несчастье.

— В чем дело? — закричал он дико. — Случилось что-нибудь с Несси? В нее ударила молния? С ней худо?

Мама в знак усиленного отрицания даже затрясла всем телом — нет, случилась еще худшая катастрофа.

— Нет, нет, — выдохнула она из себя. — Это с ней... с ней!..

Она обвиняющим жестом указала рукой на Мэри. Ни тени

инстинктивного стремления защитить дочь не было в ее душе. Ее страх перед мужем в эти жуткие минуты был так безмерен, что она жаждала только одного — отвести от себя всякую ответственность, всякое подозрение, будто она знала о грехе Мэри. Она хотела во что бы то ни стало выгородить себя.

— В последний раз спрашиваю: в чем дело? — загремел Броуди. — Говорите, или я, ей-богу, сейчас поднимусь к вам обеим!

— Это не моя вина, — распиналась миссис Броуди, спеша оправдаться в еще не предъявленном ей обвинении. — Я ее воспитывала по-христиански. Это виновата ее порочная натура. — И, понимая, что, если она не скажет наконец, в чем дело, ее сейчас изобьют, она вся вытянулась, откинула голову и с таким видом, словно ей стоило невероятных усилий произнести каждое слово, прорыдала: — Ну вот, если ты непременно хочешь знать... Она... она беременна.

Мэри оцепенела, вся кровь отлила от ее лица. Мать предала ее, как Иуда! Теперь она погибла... поймана... Внизу — отец, наверху — мать!

Большое тело Броуди как-то незаметно осело; в его воинственном взгляде появилось что-то одурелое, и он мутно посмотрел на Мэри.

— Что та... — начал он невнятно и, точно не понимая, перевел глаза на жену, увидел, в каком она исступлении, и снова опустил глаза ниже, туда, где стояла Мэри. Он молчал, пока мозг его справлялся с невероятной, непостижимой новостью. Но вдруг крикнул: — Ступай сюда!

Мэри повиновалась. Она сходила с лестницы с таким чувством, словно там, внизу, ее ждала могила и каждый шаг приближал к ней.

Броуди грубо схватил ее за руку у плеча и окинул взглядом всю ее фигуру. Им овладело чувство, похожее на отвращение.

— Боже мой! — твердил он про себя тихим голосом. — Боже мой, это, кажется, правда! Правда это? — хрипло крикнул он дочери.

Но от стыда у нее точно язык отнялся. Все еще держа ее за плечо, он безжалостно тряхнул ее, затем внезапно отпустил, так что она, не устояв на ногах, тяжело опустилась на пол.

— Ты беременна? Отвечай сейчас же, или я тебе голову размозжу!

Ответив утвердительно, она была уверена, что он сейчас убьет ее. Он стоял и смотрел на нее, как смотрел бы на гадюку, ужалившую его. Он поднял руку, собираясь ее ударить, размозжить ей череп одним ударом своего железного кулака, уничтожить этим ударом и беспутную дочь, и свой позор. Ему хотелось бить ее, топтать ногами, каблуками сапог, искрошить ее в сплошное кровавое месиво. Звериная ярость кипела в нем. Дочь втоптала его имя в грязь. Имя Броуди, полученное от него, она

уронила в болото дурной славы. Она замарала всю семью. Теперь, проходя по улице, он будет замечать ехидные улыбочки, смешки, многозначительные кивки в его сторону! Если он вздумает остановиться с кем-нибудь на углу, он услышит брошенную за спиной злорадную шутку, заглушенный смех. Теперь репутация, которую он создал себе, погибла. Ниша, которую он высек и продолжал готовить для своей статуи, будет разрушена и сам он позорно сброшен с пьедестала из-за этой вот дряни, что лежит, рыдая, у его ног.

Но он не ударил ее. Чувство это было настолько сильно, разгорелось в нем сразу таким огнем, что грубая ярость направилась по другому, более утонченному, более опасному пути. Нет, он иначе ее накажет! Есть другой способ поддержать свою честь. Да, видит Бог, он покажет всем в городе, как поступает в таких случаях Джемс Броуди. Она ему больше не дочь. Он вышвырнет ее вон, как нечисть.

Потом вдруг новое тягостное подозрение пришло ему в голову, догадка, которая наполнила его омерзением, и чем больше он думал, тем больше она переходила в уверенность. Ударом своего громадного сапога он заставил Мэри подняться.

— Кто этот человек? — зашипел он на нее. — Это Фойль?

По ее лицу он увидел, что догадка его верна. Второй раз этот мерзкий выскочка наносил ему сокрушающий удар, на этот раз еще более болезненный. Броуди предпочел бы, чтобы это был кто угодно, самый гнусный и нищий шалопай в городе, только бы не Фойль! Но именно он, этот смазливый и сладкоречивый бездельник, обладал телом Мэри Броуди; и она, его дочь, допустила это! В его воображении стояла яркая картина, отвратительная своими циничными подробностями, стояла и мучила его. Лицо его менялось от волнения, кожа вокруг ноздрей судорожно дергалась, на виске вздулась толстая, как веревка, пульсирующая жила. Гневный багровый румянец уступил место бледности, черты его казались высеченными из гранита. Челюсти сжаты с неумолимостью железных тисков, узкий лоб нависал над глазами с выражением бесчеловечной свирепости. Холодная жестокость, страшнее, чем его обычная необузданная ругань, оттачивала его ярость, как лезвие топора. Он злобно пнул Мэри ногой. Твердый носок сапога вонзился в ее мягкий бок.

— Вставай, сука! — прошипел он и снова грубо лягнул ее сапогом. — Слышишь? Вставай!

С лестницы упавший голос матери бессмысленно твердил: «Я не виновата. Не виновата». Снова и снова слышалось это «не виновата». Жалкая, приниженная, заискивающая, она не переставала бормотать о

своей невинности, а за ней неясно виднелись окаменевшие от испуга фигуры Несси и старой бабушки. Броуди не обращал внимания на лепет жены. Он его не слышал.

— Вставай, — повторил он, — или я сам тебя подниму! — И, когда Мэри зашевелилась, он новым пинком поднял ее на ноги.

Мэри пошатнулась. «Зачем он не убил меня? Тогда кончилось бы это», — подумала она. В боку, куда он ударил ее, она ощущала острую раздирающую боль. Она была так напугана, что боялась взглянуть на отца. Она была уверена, что пытка эта окончится смертью, что отец намерен ее убить.

— Теперь... — процедил он медленно сквозь стиснутые зубы, и каждое слово въедалось, как серная кислота, — теперь слушай!

Он слегка повернул голову и приблизил свое жесткое, неумолимое лицо к лицу поникшей, сгорбившейся Мэри. Глаза его сверкали у самого лица девушки нестерпимым ледяным блеском, и холод этот жег ее.

— Слушай! В последний раз я говорю с тобой. Ты мне больше не дочь. Я выгоню тебя, как прокаженную. Да, как прокаженную, — понимаешь, ты, грязная шлюха? Да, вот что я сделаю с тобой и с твоим нерожденным ублюдком. С любовником твоим я расправлюсь в другое время, а ты... ты уберешься отсюда сегодня же!

Последние слова он повторил с расстановкой, сверля Мэри холодными глазами. Потом медленно, как будто неохотно отрываясь от зрелища ее унижения, повернулся, тяжело ступая, подошел к двери на улицу и распахнул ее настежь. Тотчас же в переднюю ворвался страшный порыв ветра, смешанного с дождем, застучал картинами на стенах, закачал висевшими на вешалке пальто и, устремившись вверх, ударил, как таран, в сбившуюся вместе группу женщин на лестнице.

— Прекрасный вечер для прогулки, — проворчал Броуди сквозь сжатые зубы. — Достаточно темно, чтобы укрыть твой стыд. Сегодня ты можешь шляться по улицам сколько твоей душе угодно, распутная девка!

Неожиданным движением он схватил Мэри за горло и стиснул своими длинными цепкими пальцами. В передней не слышно было ни единого звука, кроме завывания ветра. Из трех уstraшенных зрительниц этой сцены — ничего не понимавшей девочки, матери и наполовину испуганной, наполовину злорадствующей старухи — ни одна не сказала ни слова. Они стояли, словно окаменев. Ощущение мягкого, но неподатливого горла под его пальцами опьяняло Броуди. Хотелось сдавить это горло, как стебель, пока оно не хрустнет, и одно мгновение он боролся с этим желанием, но затем с силой встряхнулся и потащил девушку к дверям.

— Уходи вон и не смей возвращаться, пока ты не приползешь на коленях и не будешь лизать эти сапоги, которыми я бил тебя.

Тут в душе Мэри что-то встрепенулось.

— Никогда этого не будет, — прошептала она побелевшими губами.

— Не будет! — заревел Броуди. — Так не смей же никогда возвращаться, негодная тварь!

Сильным последним пинком он отшвырнул ее от себя за дверь. Она исчезла в бушующем мраке. Исчезла из виду без единого звука, сразу, словно ее поглотила пропасть. А Броуди все стоял в каком-то восторге бешенства, сжимая кулаки, вдыхая всей грудью влажный соленый воздух, крича во весь голос:

— Чтобы твоей ноги больше не было здесь, потаскуха! Потаскуха!

Он выкрикивал последнее слово снова и снова, как будто повторять это грубое, позорящее слово доставляло ему удовлетворение, облегчало душу. Наконец он круто повернулся и захлопнул дверь, оставив Мэри одну где-то в ночном мраке.

Мэри осталась лежать там, где упала. Она была оглушена, так как от последнего жестокого пинка Броуди полетела плашмя на землю, лицом в гравий, которым был усыпан двор. Дождь, падавший прямыми, параллельными копьями, больно хлестал ее легко одетое тело и шлепал по луже, в которой она лежала. На ней уже все промокло до нитки, но пока промокая одежда только приятно освежала тело, ослабляя сжигавшую его лихорадку. Стоя давеча под страшным взглядом отца, она была уверена, что он убьет ее, и теперь, несмотря на то что избитое и больное тело все еще горело, ощущение свободы, избавления переполняло всю ее, преображая ужас в радостное облегчение. Ее выгнали с позором, но она жива, она навсегда оставила дом, который стал для нее с некоторых пор ненавистной тюрьмой, — и она собирала последние силы и мужественно обращала все свои мысли к будущему.

В том страшном смятии чувств, в котором она находилась, она помнила, что Денис далеко, шестьдесят миль отделяет его от нее; вокруг бушевала гроза неслыханной силы; на Мэри не было ни пальто, ни шляпы, она была едва одета и без денег. Но теперь к ней вернулось мужество. Она решительно сжала губы, усердно стараясь обдумать со всех сторон свое положение. У нее два выхода: один выход — попробовать добраться до коттеджа в Гаршейке, другой — отправиться в Дэррок к матери Дениса.

До Гаршейка было двенадцать миль, и она знала только, что коттедж носит название «Остров роз», но представления не имела, где он находится. Кроме того, если бы ей удалось даже попасть внутрь, она будет там одна, без единого гроша, без пищи. А она чувствовала, что ей сейчас нужна чья-нибудь помощь и забота. Поэтому она отбросила мысль об «Острове роз» и подумала о втором выходе. Нужно идти к матери Дениса. По крайней мере, она приютит ее до возвращения Дениса. Его мать ей в этом не откажет. Мэри ободрилась, вспомнив, как Денис однажды сказал ей: «В худшем случае ты можешь уйти к моей матери». Она так и сделает! Она *вынуждена* это сделать.

В Дэррок придется идти пешком. Насколько ей помнилось, по воскресеньям из Ливенфорда в Дэррок поезд не ходит. А если и ходит, она не знала, в котором часу, и у нее не было денег на билет. Итак, она решила идти пешком. Ей представлялись на выбор две дороги. Первая служила главным путем сообщения между обоими городами — это был широкий

тракт почти в пять миль длиной. Другая же, узкая, пустынная, шла прямо через открытое поле, суживаясь местами в проселок, местами — просто в тропинку, но обходя извилистые петли предместий обоих городов, так что она была короче большой проезжей дороги почти на две мили. Мэри была теперь так слаба и так страдала от болей, что она решила идти второй дорогой, более короткой. Она рассчитывала, что сможет пройти три мили.

Распростертая на земле и защищенная высокой стеной, окружавшей двор, она не представляла себе всей силы грозы. А между тем это была самая страшная из гроз, бушевавших в Нижней Шотландии за последние сто лет. Ветер, налетевший с юго-запада, достиг небывалой силы — шестидесяти миль в час. В городе люди решались выйти из дому только в случае крайней необходимости, да и самые храбрые оставались на улице не больше чем несколько минут. Сорванные с крыш черепицы летели вниз с резкой стремительностью падающего ножа гильотины. Гроза разворотила все дымовые трубы, и они, мелькнув в воздухе, разбивались о булыжники мостовой. Большие, толстые зеркальные окна конторы Строительного общества разлетелись в куски, как истлевший пергамент, только от ударов ветра. Среди рева урагана непрерывно, как бомбардировка, раздавался грохот падающих на мостовую предметов. В предместье Нью-Таун фронтон недавно выстроенного дома обвалился, и ветер, клином войдя в отверстие, поднял крышу и сорвал ее. Вся крыша, распластав скаты, как крылья парящей в воздухе птицы, носилась по воздуху, пока ветер не перестал ее поддерживать, и затем нырнула, как гиря, в черную воду лимана на расстоянии целых трехсот ярдов от Нью-Тауна. В низко расположенные участки города ливень нагнал столько воды, что целые кварталы были покрыты ею. Дома высились одиноко, словно поднимаясь из какой-то странной лагуны, и потоп, шумя вокруг них, просачивался сквозь стены, входил в двери и окна, совершенно заливал нижние этажи.

Молния, всю разгулявшаяся в полях за городом, причинила бедствия не столь обширных размеров, но еще более страшные. На Доранских холмах пастух, пасший стадо, был убит ею на месте; убиты были и два работника с фермы, укрывшиеся под деревом, и их обугленные трупы разможены упавшим, вырванным с корнем деревом; пострадал тяжело скот: бесчисленное количество овец и коров погибло в открытом поле или под деревьями, где они нашли ненадежное убежище, а десятка два подползли под проволочную ограду и были убиты током.

Молния попала в барку, стоявшую на якорю в Доранской бухте, и сразу же потопила ее. Другие суда, стоявшие в устье Ливена и в морском заливе, волочили за собой якоря, рвали канаты, и волнами их прибивало к

доранскому берегу.

Ничего обо всем этом не ведая, Мэри с трудом поднялась с земли. Ветер чуть не повалил ее обратно, но она, борясь с ним, нагнувшись вперед всем телом, чтобы противостоять его натискам, двинулась вперед в непроглядной тьме. Намокшее платье хлопало на ветру, как мокрый парус, и стесняло ее движения, прилипая к ногам при каждом шаге. Когда она проходила мимо фасада дома, свинцовая водосточная труба, сорванная с отливины порывом ветра, со свистом предательски полетела на нее, словно последний злобный жест со стороны дома. Но, пролетев у самой ее головы, труба глубоко зарылась в мокрую землю.

Не пройдя и сотни метров, Мэри вынуждена была остановиться, чтобы передохнуть. Это было место, где стоял последний фонарный столб на их улице, а между тем и здесь царил непроглядный мрак. Сначала Мэри подумала, что ветром задуло огонь, но, пройдя немного дальше, она споткнулась о валявшийся на земле разбитый фонарь. Нагнув голову, она брела, спотыкаясь, нащупывая дорогу, как слепая, и не сбиваясь с нее только благодаря своей способности ориентироваться и знакомству с местностью. Шум вокруг стоял ужасающий, он так оглушал, что, закричи она громко, она бы не услышала собственного голоса. Ветер, подобно громадному оркестру, разыгрывал бурную гамму всевозможных звуков. Низкий диапазон органа смешивался с дребезжащим дискантом кларнетов; пронзительный звук горнов ударялся о бас гобоев; рыдание скрипок, стук литавр, бой барабанов — все вместе сливалось в адскую какофонию.

То тут, то там Мэри натыкалась на невидные в темноте предметы. Носившиеся в воздухе сучья кололи ей лицо, сорванные с деревьев ветки и вырванные с корнем кусты налетали на нее. Раз мягкие щупальцы оплели ей шею и плечи. Она вскрикнула от ужаса, напрягая свой неслышный в урагане голос. Ей показалось, что чьи-то живые руки обвились вокруг нее, но когда она в паническом страхе ощупала тело, то убедилась, что это только сено из какого-то разметанного ветром забытого стога.

Так, с невероятным трудом, Мэри прошла около мили, меньше половины пути. Начиналась самая опасная его часть. Здесь дорога переходила почти в тропинку, не окаймленную нигде ни изгородью, ни межей, которой бы можно было держаться, не отделенную ничем решительно от окружающей местности, теряющуюся впереди в густом еловом лесу. Лес этот, даже днем мрачный от темных деревьев, нашептывавших друг другу элегии, в эту жуткую ночь, которая и сама расстилалась вокруг, как густой лес, был совсем страшен, чернел впереди, как сгусток мрака, как самое сердце ночи. Мэри задрожала при мысли о

том, что ей надо войти в него. Когда-то в детстве она, отстав от других детей, заблудилась среди суровых, угрюмых деревьев и, бегая вокруг них, растерянно искала своих товарищей. И сейчас ей с мучительной ясностью вспомнился тот детский ужас, снова тот же ужас осенил ее темными крылами, когда она, собрав все мужество, все силы, нырнула в заросли.

Почти невозможно было найти тропу. Мэри брела ощупью, вытянув вперед обе руки и растопырив пальцы. При таком положении рук она испытывала раздирающую боль в том боку, куда отец пнул ее сапогом, но приходилось все же держать руки вытянутыми, чтобы защищать голову и лицо от деревьев, на которые она натыкалась, и чтобы лучше определять направление ее мучительного пути.

Ветер, который на открытом месте дул в одном направлении, здесь кружился вокруг стволов сотней вихрей и воронок, так что невозможно было двигаться прямо вперед. Мэри швыряло то в одну, то в другую сторону, как корабль, который держит путь в водовороте коварных течений, в полном опасностей черном мраке ночи, беззвездной и безлунной. Она стала сбиваться с пути, и вдруг шальной порыв ветра подхватил ее и швырнул с силой налево. Потеряв равновесие, она всей своей тяжестью упала на землю, и ладонь ее левой руки накололась на острый, как кинжал, сломанный сук, торчавший горизонтально из ствола ели. Один мучительный миг рука была пригвождена к дереву, потом Мэри оторвала ее и с трудом поднялась.

Она пошла дальше. Теперь она окончательно заблудилась. Хотела выбраться из лесу, но не могла. Она нащупывала дорогу, хватаясь за деревья, голова у нее кружилась, из проколотой руки текла кровь. Ее терзали страх, боль в боку, снова начались схватки. Она продрогла до костей, распутившиеся мокрые волосы хлестали ее по лицу, кожа словно насквозь пропиталась водой, а она все шла в темном лабиринте леса. Она падала и поднималась, ее отбрасывало назад, а она брела вперед под сумасшедшую музыку урагана, ревавшего между деревьями. Казалось, что этот ад крошечный звуков, бывший ей в уши, заставляет ее качаться во все стороны в такт своему ошеломляющему ритму. Как в бреду, кружилась Мэри среди валившихся с треском, вырванных с корнем деревьев, и ничего в ней уже не оставалось больше — одна лишь боль и жажда спастись от ужасов этого осаждавшего ее леса.

В голове у нее шумело, ей чудилось, что мрак кишит какими-то дикими живыми существами, которые носятся вокруг нее, касаются ее, цепляются за нее пальцами, наваливаются на нее или мчатся мимо в паническом бегстве. Она ясно ощущала холодное, тяжелое и прерывистое

дыхание этих мокрых, скользких тварей, пробивавшихся через лес. Они шептали ей в уши странные, грустные вести о Денисе и их ребенке; они громко ревели голосом ее отца и жалобно причитали, как мать. В каждом звуке, раздававшемся в лесу, она слышала странные, невнятные речи этих призрачных существ. Минутами она, очнувшись, понимала, что сходит с ума, что никакие существа ее не окружают, что она одна в лесу, всеми брошенная, позабытая. Она брела дальше, но снова сознание ее туманилось бредовыми видениями.

Вдруг, когда казалось, она уже совсем теряла рассудок, Мэри остановилась в немом удивлении. Она подняла глаза к небу и увидела луну, тонкий рог молодого месяца, бледный, тусклый, лежавший плашмя среди окружавших его валом туч, как будто его опрокинул ветер. Он был виден одну лишь минуту, затем его снова заволокли мчавшиеся по небу тучи, но Мэри заметила, что теперь ветер дует в одном, прямом направлении и что она больше не натывается на твердые стволы елей. Лес кончился!

Она заплакала от радости и бросилась бежать стремглав, чтобы поскорее уйти от него, от бормочущих тварей, которые чудились ей в нем. Она сбилась с дороги, забыла обо всем пережитом, и одно только инстинктивное стремление убежать от леса гнало ее, согнувшуюся, едва волочившую ноги, вперед, куда глаза глядят. Ветер теперь помогал ей идти, почти поднимая над землей, удлиняя ее спотыкающиеся шаги. Она очутилась в каком-то поле, и длинные росистые травы стегали ее по ногам, когда она скользила вперед по мягкому дерну. Это, видимо, была неводеланная земля, так как Мэри проходила мимо зарослей папоротника, спотыкалась о полускрытые в земле, поросшие мхом большие камни, продиралась сквозь кусты ежевики. Но Мэри теперь не способна была рассуждать и не пыталась по характеру местности определить, где она находится.

Затем среди беснования бури внезапно возник какой-то низкий, звучный и мерный шум, и чем дальше шла Мэри, тем он становился все громче, перешел наконец в рев стремительно несущейся воды. То был шум большой реки, вздувшейся до того, что она грозила выйти из берегов, и мутные воды, переполнявшие ее, бурлили так сильно, что шум этот отдавался в ушах, как рев водопада. С каждым ее шагом звуки становились все громче, и Мэри наконец стало казаться, что река, запруженная обломками с разоренного ею нагорья, грозно несется на нее и мчит невидные среди кипящих вод колья, изгороди, обломки десятка мостов, целые деревья и трупы овец и коров.

Только очутившись уже на самом обрыве над рекой, она догадалась,

что это — Ливен. Тот самый Ливен, что так ласково напевал ей журчащую песенку, тот Ливен, что своей серенадой когда-то бросил ее и Дениса в объятия друг другу, разбудив в них любовь.

А теперь и Ливен, как она, изменился до неузнаваемости. Луна все еще была за тучами, и Мэри не видела ничего. Она стояла, испуганно вслушиваясь, на высоком обрыве, и на миг у нее явилось искушение скользнуть в невидимую, глухо ревевшую внизу воду. Все забыть и быть забытой! Дрожь пробежала по ее измученному телу, и она с отвращением отвернулась от этого искушения. Как приказ жить, возникла мысль: что бы ни случилось, у нее есть Денис. Она должна жить ради Дениса. Ей казалось, что он манит ее. Она порывисто отвернулась от шума реки, словно боясь звучащего в нем призыва, но при этом неосторожном быстром движении мокрая подошва ее башмака скользнула по размытой земле, она упала и, ногами вперед, покатилась вниз по крутому склону. Руки ее отчаянно цеплялись за низкую траву и камыш, но они тотчас обрывались или легко вырывались с корнем из мокрой земли. В тщетных усилиях спастись, Мэри с такой силой зарывалась ногами в землю, что в податливой глине ее ноги оставляли две глубокие борозды. Она прижималась плечами к мокрому склону, но ничем не могла замедлить свое падение.

Гладкая поверхность косогора была крута и коварна, как поверхность глетчера, и отчаянные движения Мэри, вместо того чтобы остановить падение, еще ускоряли его. С непреодолимой быстротой Мэри падала в невидимую реку внизу. С тихим всплеском погрузилась она в воду и сразу пошла ко дну среди длинных речных водорослей, и вода хлынула в ее легкие, когда она, охнув от неожиданности и ужаса, открыла рот... Течение быстро несло ее тело между цепких трав и отнесло его на тридцать метров, раньше чем Мэри наконец всплыла на поверхность.

Она не умела плавать, но, побуждаемая инстинктом самосохранения, отчаянно барахталась, стараясь все время держать голову над водой. Это ей не удавалось. Сильный разлив поднял высокие волны, которые непрерывно перекачивались через нее, и в конце концов бурлившая под водой воронка засосала ее ноги и потянула вниз. На этот раз Мэри оставалась под водой так долго, что почти потеряла сознание. В ушах гудели колокола, глаза вылезли из орбит, красные ранящие огни плясали перед нею. Она задыхалась. Но ей снова удалось всплыть, и, когда она в полубесчувственном состоянии поднялась на поверхность, волной пригнало ей под правую руку конец плывшего по реке бревна. Она бессознательно уцепилась за него, слабо притянула к себе. И поплыла.

Тело ее было под водой, волосы плыли за ней, но лицо было на поверхности, и она большими, шумными, жадными глотками хватала воздух. В ней замерли все чувства, все ощущения, кроме потребности дышать, и она плыла, держась за бревно, среди разных обломков, иногда налетающих на нее, но быстро уносимых течением. Мэри тоже несло очень быстро, и, когда сознание возвратилось к ней, она поняла, что, если ее не прибьет к берегу, она, несомненно, очутится среди острых подводных скал, усеивавших пороги реки, которые находились сразу за Ливенфордом. Не выпуская бревна, она из последних сил стала работать ногами. Вода в реке была неизмеримо холоднее дождя: режущий холод приносили в нее покрытая ледяной корой горная речка, сбегавшая со снежной вершины, да притоки с холмов, питаемые тающим снегом. Этот холод пронизывал Мэри до мозга костей; ее члены совсем онемели, и хотя она усилием воли заставляла ноги слабо двигаться, она не ощущала их движения. В воздухе тоже настолько похолодало, что дождь перешел в град. Крупные шарики, твердые, как камень, острые, как льдинки, вспенивали воду, как будто в нее стреляли дробью, и отскакивали от бревна, как пули. Они безжалостно сыпались на лицо и голову Мэри, царапали веки, хлестали щеки, ранили ей верхнюю губу. Так как ей нужно было крепко держаться обеими руками за бревно, она не могла заслоняться и должна была терпеть этот ливень, немилосердно стегавший ее. Зубы ее стучали, раненая рука застыла, как омертвелая; ужасная судорожная боль терзала ей внутренности. Она чувствовала, что погибает от холода, что это пребывание в ледяной воде ее убьет. Все время, пока она старалась доплыть до берега, она была во власти одной-единственной мысли — не о себе, не о Денисе, а о ребенке, которого она носила внутри. В ней вдруг громко и властно заговорил инстинкт, словно каким-то таинственным путем, связывавшим ее и ребенка, ребенок подавал ей весть, что умрет, если она не выберется сейчас же из воды.

Никогда еще она не думала о нем с такой любовью. Раньше она по временам ненавидела его как часть своего презренного тела, но теперь ее охватило всепоглощающее желание увидеть его живым. Если она умрет, то умрет и он. Она не переставала думать о живом младенце, заключенном в ней, который все слабее и слабее шевелился в темнице ее погруженного в воду бесчувственного тела, и без слов молила Бога сохранить ей жизнь, чтобы она могла дать жизнь своему ребенку.

Она достигла места, где река вышла из берегов и затопила соседние поля. Мэри уже чувствовала, что слева от нее течение слабее, и, напрягая все свои почти иссякшие силы, старалась направиться туда. Все снова и снова пыталась она выбраться из главного течения, но ее засасывало

обратно. Она уже почти оставила надежду на спасение, как вдруг там, где река делала резкий поворот, мощное встречное течение отклонило бревно, и оно поплыло туда, где уже не было ни бурлящих волн, ни водоворотов. Мэри предоставила бревну нестись по течению, пока оно не остановилось. Тогда она с трепетом решилась опустить ноги. Они коснулись дна, и Мэри встала по бедра в воде. Тяжесть воды и ее окоченевшее тело почти отняли у нее способность двигаться, но все же она медленно, дюйм за дюймом, отходила от шумной реки. Наконец она ступила на твердую землю.

Огляделась. К ее великой радости, в непроглядной тьме перед ней мелькнул огонек. Этот огонек небесным бальзамом пролился на все ее раны. Ей казалось, что целые годы шла она в мире мрачных призраков, где каждый шаг грозил жуткой неизвестностью и невидимыми опасностями, которые могли погубить ее. Но слабый, немеркнущий огонек мелькал впереди, сулил утешение. Она вспомнила, что где-то здесь поблизости находится маленькая уединенная ферма, и кто бы там ни жил, он не откажет в приюте ей в ее состоянии и в такую ужасную ночь.

Съежившись от холода, она направилась туда, где светился огонь.

Она едва шла. В самом низу живота она ощущала громадную тяжесть, тянувшую ее к земле, и при каждом движении ее раздирала острая боль. Согнувшись чуть не пополам, она упрямо шла вперед. Огонек был так близко, но чем дальше она шла, тем он, казалось, дальше отодвигался. Ноги ее увязали глубоко в размытой наводнением почве, так что ей стоило усилий вытаскивать их, и с каждым шагом она как будто уходила глубже в болото, которое ей пришлось переходить. Тем не менее она шла вперед, все глубже и глубже увязая, и скоро густая смесь грязи и воды доходила ей уже до колен. Один башмак завяз в трясине, и она не могла его вытащить. Кожа, побелевшая от долгого пребывания в воде, теперь была вымазана и забрызгана грязью, остатки платья грязными лохмотьями волочились за ней.

Наконец ей показалось, что она начинает выбираться на сухое место и приближается к огню на ферме, как вдруг, сделав шаг вперед, она не нащупала больше ногой земли и почувствовала, что погружается в трясину. Она закричала. Теплая зыбкая грязь с мягкой настойчивостью засасывала ее ноги, тянула ее вниз, к себе. Мэри не могла уже вытащить ни одной ноги, а когда она стала барахтаться, из болота начали подниматься пузырьки газа, одуряя ее. Она уходила все глубже. Она подумала, что судьба спасла ее от смерти в чистой холодной воде реки только для того, чтобы она погибла здесь смертью, более ее достойной. Эта густая грязь — более подходящий саван для нее, чем чистая вода горных потоков. Пройти

через такие опасности, каким она подвергалась этой ночью, и не спастись, когда помощь уже так близко! Эта мысль приводила ее в ярость. Она страстно боролась за свою жизнь, делая попытки выбраться; с криком кинулась она вперед, бешено цепляясь за мокрый мох, которым заросла поверхность болота. Липкий мох был ненадежной опорой, но она так отчаянно хваталась за него пальцами, что последним сверхчеловеческим усилием ей удалось на одних только руках подняться из грязи. Тяжело дыша, она доволокла свое тело до более твердого участка и там свалилась в полнейшем изнеможении. Идти она была больше не в состоянии и, передохнув несколько минут, медленно поползла, как раненое животное. Но на то, чтобы выбраться из трясины, ушли последние остатки ее сил; и теперь, находясь на твердой земле и в каких-нибудь пятидесяти метрах от человеческого жилья, она чувствовала, что никогда до него не доберется. Она утратила всякую надежду на спасение и, тихо плача, лежала на земле, беспомощная, совсем ослабевшая, а снова хлынувший дождь поливал ее. Но в то время, как она лежала так, до нее донеслось сквозь бурю тихое мычание коровы. Через минуту снова тот же звук, и, повернув голову направо, Мэри различила в темноте смутные очертания какого-то низкого строения. Сквозь заволакивавший сознание туман пробилась мысль, что близко от нее есть какое-то убежище. Приподнявшись, она с лихорадочным усилием встала на ноги, доплелась до хлева и, войдя, упала в беспамятстве на пол.

Убежище, найденное ею, представляло собой надворное строение, убогий хлев маленькой фермы. Он был сложен из толстого кирпича, и щели плотно заткнуты мхом, так что внутри было тепло, а холодный ветер проносился над низеньким строением, не задевая его, поэтому оно избегло ярости урагана. В хлеву стоял смешанный запах соломы, навоза и приятный запах самих животных. Три молочные коровы тихо шевелились в своих стойлах; их едва можно было различить, только светлое вымя слабо белело в полумраке. Большие грустные глаза коров, привыкшие к темноте, смотрели разумно и боязливо на странное человеческое существо, которое, едва дыша, лежало на полу хлева. Затем, видя, что оно недвижимо и безвредно, они равнодушно отвернули головы и снова принялись сонно жевать, беззвучно двигая челюстями.

Только несколько минут оставалась Мэри в блаженном забытии. Ее привел в сознание сильный приступ боли. Боль захлестывала ее как волны. Она началась в пояснице, распространилась вокруг тела, потом вниз по бедрам, медленно, но цепко хватая и постепенно переходя в нестерпимую муку. Затем боль внезапно отпустила ее, и Мэри лежала вялая, совсем

обессиленная.

Эти судорожные схватки она испытывала в течение всего ее трагического странствия, но сейчас они стали совсем невыносимы, и, лежа среди навоза в хлеву, она мучилась, не открывая глаз, раскинув безжизненные руки и ноги. Ее тело, которое Денис называл своим священным алтарем, зарывалось в теплый навоз, от которого шел пар, было все покрыто подсыхающей грязью. Болезненные стоны вырывались из-за стиснутых зубов; капли пота усеяли лоб и медленно стекали на закрытые веки; черты, обезображенные грязью, искаженные невыносимой мукой, сурово застыли, но казалось, что ее страдания излучают бледное прозрачное сияние, нимбом окружавшее голову умирающей.

Промежутки между приступами более делались все короче, а самые приступы — дольше. Да и тогда, когда боль утихала, пассивное ожидание следующей схватки было пыткой. Затем она приходила, рвала, точно когтями, все тело, пронизывала смертной мукой, терзала каждый нерв. Крики Мэри сливались с воем неутихавшего ветра. Все, что она перетерпела, было пустяками по сравнению с теперешними муками. Тело ее слабо корчилось на каменном полу, кровь мешалась с потом и грязью. Она молила Бога о смерти. Как безумная, звала Дениса, мать. Но только ветер отзывался на ее стоны. Пролетая над сараем, он выл и свистел, словно издеваясь над нею. Так она лежала, всеми покинутая, но наконец, когда она почувствовала, что ей не пережить больше ни единого приступа, и когда бешенство бури за стеной достигло своего апогея, родился ее сын.

Она была в сознании до той минуты, когда утихла боль. А когда все было кончено, погрузилась в глубокий и темный колодец забвения.

Ребенок был недоношен, жалкий, крошечный. Все еще соединенный пуповиной с лежавшей в обмороке матерью, он то слабо цеплялся за нее, то хватал воздух крохотными пальчиками. Голова его болталась на хрупкой шейке. Едва дыша, лежал он подле матери, медленно истекавшей кровью и все более бледневшей. Но вот он заплакал слабым, судорожным плачем.

И как бы в ответ на этот призыв, дверь сарая тихонько отворилась, и тусклый луч ручного фонаря прорезал темноту. В хлев вошла старая женщина. Голова ее и плечи были укутаны толстым платком, тяжелые деревянные башмаки стучали при ходьбе. Она пришла посмотреть, все ли благополучно, в безопасности ли ее коровы, и, подойдя прямо к ним, гладила их по шее, похлопывала по бокам, ободряла ласковыми восклицаниями.

— Эй, Пенси, матушка, — бормотала она. — А ты, Дэзи, ну-ка покажись! Отодвинься, Красотка! Вставай, Леди! Эй, Леди, Леди!.. Что за

ночь! Какая буря! Но вы не беспокойтесь, мои милочки, стойте себе, тут вам хорошо! У вас крепкая крыша над головой, и бояться нечего! И я близко. Я вас не... — Она вдруг замолчала и подняла голову, прислушиваясь. Ей показалось, что она услышала в глубине хлева слабый жалобный писк. Но женщина была стара и глуха, в ушах у нее отдавался шум ветра, и, не доверяя самой себе, она уже хотела было отвернуться и заняться своим делом, когда опять, и на этот раз ясно, услышала тот же слабый жалобный призыв.

— Господи помилуй! Что это? — пробормотала она. — Я готова поклясться, что ясно слышала... точно ребенок плачет!

И дрожащей рукой опустила фонарь, вглядываясь в темноту. Внезапно лицо ее выразило ужас, она как будто не верила собственным глазам. «Господи, спаси и помилуй нас! — вскрикнула она. — Да это новорожденный и... мать тут же! Пресвятая Богородица, она умерла! Ох, что за ночь! Что довелось увидеть моим старым глазам!»

Она мигом поставила фонарь на каменный пол и опустилась на колени подле Мэри. Без всякой брезгливости принялась она действовать своими загрубевшими руками с ловкостью и опытностью крестьянки, для которой природа — открытая книга. Быстро, но спокойно, без всякой суеты, она оборвала пуповину и обернула ребенка концом своего платка. Потом занялась матерью, умелым нажатием разом вынула послед, остановила кровотечение. И делая все это, она не переставала говорить сама с собой:

— Видано ли что-нибудь подобное! Она чуть не отправилась на тот свет, бедняжка! И молоденькая какая да хорошенькая! Помогу уж ей как умею! Ну вот, так-то лучше! И отчего она не пришла в дом? Я бы ее пустила. Это просто перст Божий, что я вышла посмотреть на коров!

Она шлепала Мэри по рукам, терла ей лицо, наконец прикрыла ее той же теплой шалью, в уголок которой был завернут ребенок, и поспешила вон.

Воротясь к себе в уютную кухню, она закричала сыну, сидевшему перед большим очагом, в котором трещали поленья:

— Живей, сын! Беги что есть духу в Ливенфорд за доктором. Приведи какого-нибудь, сколько бы это ни стоило. У нас больная женщина в хлеву. Беги же скорее, ради бога, и ни слова! Тут дело идет о жизни человека!

Он ошеломленно смотрел на нее.

— Что? — воскликнул он в тупом удивлении. — В нашем хлеву?!

— Ну да! Ее туда загнала гроза. Если ты не поторопишься, она умрет. Скорее же! Беги за помощью, говорят тебе!

Он встал и начал одеваться, все еще не очнувшись от удивления.

— Ну и дела! — бормотал он. — В нашем хлеву!.. А что с ней приключилось, мать, а?

— Не твое дело! — вскипела она. — Отправляйся сию же минуту! Лошадь не стоит запрягать, беги что есть духу!

Она почти вытолкала сына за дверь и, убедившись, что он ушел, взяла кастрюльку, налила в нее молока из кувшина, стоявшего на кухонном шкафу, и торопливо подогрела его на очаге. Затем сняла одеяло со своей кровати, стоявшей на кухне, и побежала в коровник с одеялом на одной руке и кастрюлькой в другой. Она плотно укутала Мэри одеялом и, бережно подняв ей голову, с трудом влила несколько капель горячего молока между посиневших губ. Она с сомнением качала головой.

— Боюсь и шевельнуть-то ее, — шепнула она про себя, — совсем она плоха!

Взяв под мышку ребенка, она отнесла его в теплую кухню и воротилась в сарай с чистой сырой тряпкой и вторым одеялом для Мэри.

— Ну вот, бедняжка ты моя, это тебя согреет, — бормотала она, укрывая безвольное тело вторым одеялом. Затем заботливо стерла тряпкой засохшую грязь с белого холодного лица. Она сделала что могла и теперь терпеливо ожидала, присев на корточки подле Мэри и не сводя с нее глаз. Время от времени она принималась растирать безжизненные руки или гладила холодный лоб. В такой позе она просидела около часа.

Наконец дверь распахнулась, и в хлев вошел мужчина, а с ним ворвался ветер и дождь.

— Слава богу, вы пришли, доктор! — воскликнула старуха. — А я боялась, что не захотите.

— Что у вас тут случилось? — спросил он отрывисто, подходя к ней.

Она в нескольких словах рассказала ему все. Доктор только покачал головой и наклонил свое длинное худое тело над лежавшей на полу женщиной. Несмотря на свою молодость, доктор Ренвик был хороший врач. В Ливенфорде он был новый человек и стремился создать себе практику. Этим-то и объяснялось, что он пришел пешком в такой вечер, тогда как оба других врача, к которым фермер обратился прежде, чем к нему, отказались идти. Он посмотрел на лицо Мэри, бледное, с запавшими щеками, пощупал ее слабый неровный пульс. Пока он с невозмутимым спокойствием следил за секундной стрелкой своих часов, старая женщина тревожно смотрела ему в лицо.

— Как вы думаете, доктор, она умрет?

— Кто она? — спросил он, не отвечая.

Старуха отрицательно затрясла головой.

— Не знаю, ничего я не знаю. Но такая красивая и молоденькая — и так намучилась, доктор! — сказала она, этими словами как бы умоляя его сделать все, что в его силах.

— А ребенок где?

— На кухне. Жив еще, но такой несчастный, слабенький мальчонка.

Врач смотрел хладнокровно и пытливо на неподвижно распростертую перед ним женщину, но он был тронут. Казалось, он опытным глазом читает всю историю страданий Мэри, словно эта история была неизгладимо вписана в ее черты. Он видел изящно вырезанные ноздри тонкого прямого носа, впадины под темными глазами, жалобно опущенные углы мягких бескровных губ. В нем проснулось сострадание, окрашенное приливом странной нежности.

Он снова поднял хрупкую безвольную руку и задержал ее в своей, словно желая перелить в нее жизненную силу из своего здорового тела; потом, повернув эту руку ладонью вверх, увидел сквозную рану и невольно воскликнул:

— Бедное дитя! Так молода и так беспомощна! — Но тут же, стыдясь своей слабости, продолжал резко: — Она в тяжелом состоянии. Кровотечение, скверное кровотечение, и, кроме того, сильное нервное потрясение — один Бог знает отчего. Ее надо отвезти в больницу.

При этих словах молодой хозяин, молча стоявший позади доктора, сказал от двери:

— Если надо, господин доктор, я вмиг запрягу лошадь в телегу.

Ренвик взглянул на старуху, как бы ожидая подтверждения. Она торопливо закивала головой, делая руками умоляющие жесты.

— Отлично, запрягайте! — Доктор расправил плечи. На гонорар он не рассчитывал, визит этот не мог принести ему ничего, кроме затруднений и риска для его еще не установившейся репутации в городе. Но что-то побуждало его идти на этот риск. Его черные глаза светились горячим желанием спасти эту женщину. — Тут не одно только нервное потрясение, — сказал он вслух. — Мне ее дыхание не нравится. У нее, может быть, начинается воспаление легких, а если это так, то... — Он выразительно потрянул головой, отвернулся и, нагнувшись над своей сумкой, достал из нее кое-какие временно укрепляющие средства, которые и пустил в ход, насколько это позволяла обстановка. Когда он кончил, у дверей уже стояла наготове обыкновенная деревенская телега, глубокая и громоздкая, как фургон. Новорожденного завернули в одеяло и осторожно положили в один угол, затем подняли Мэри и уложили ее рядом с ребенком. Последним влез в телегу Ренвик и сел, поддерживая Мэри, а фермер

вскочил на свое место и стегнул лошадь. Так двинулась в ночном мраке по направлению к больнице эта своеобразная карета «скорой помощи», подсакивая и громыхая, а доктор, сидя в ней, держал на руках неподвижное тело Мэри, стараясь оберегать его от толчков на ухабах скверной дороги.

Старая фермерша смотрела им вслед; когда телега исчезла из виду, она со вздохом повернулась, заперла хлев и, сгорбившись, медленно пошла в дом. Когда она вошла в кухню, стоявшие в углу старинные часы с гирями медленно и торжественно пробили восемь раз. Старуха подошла к комоду, достала Библию, не спеша водрузила на нос очки в железной оправе, открыла книгу наугад и спокойно углубилась в чтение.

XII

Тот самый ветер, что дул яростно в западном районе, еще яростнее бушевал в восточном. В воскресенье днем, когда в Ливенфорде и его окрестностях начался ураган, в графствах на восточном берегу моря катастрофа приняла еще более ужасающие размеры.

В Эдинбурге, когда Денис пробирался по улице Принцев, ветер, бесновавшийся среди серых домов, выветрившихся от непогод, вздувал ему пальто, забрасывая его на голову, и валил Дениса с ног. Но Денис любил ветер: бороться с ним было приятно, это будило ощущение собственной силы. Со шляпой в руке, растрепанный, с открытым ртом, он точно прорубал себе дорогу сквозь ветер. А ветер пел ему в уши и рот, жужжал, как гигантский волчок, и сам Денис пел тоже, вернее — издавал нечленораздельные звуки, изливая в них бурливший в нем избыток жизненных сил. Редкие прохожие почти все невольно оглядывались на него и завистливо бормотали сквозь синие дрожащие губы: «Закаленный парень, черт его возьми!»

Было без четверти четыре. Денис успел уже напиться чаю у Маккинли в «Семейном и коммерческом отеле без спиртных напитков». Хорошая гостиница, нет показной роскоши, но стол там вкусный и обильный. Денис сделал основательную брешь в большом блюде сосисок и белого пудинга, очистил тарелку овсяных лепешек и выпил целый чайник чаю в собственной семейной гостиной Маккинли. Старая тетушка Маккинли готова была что угодно сделать для Дениса — Денис очаровал и ее, как очаровывал большинство людей, — и он всегда, приезжая в Эдинбург, останавливался у нее.

На прощанье она дала ему с собой большой пакет с бутербродами для подкрепления его физических сил на пути в Данди, куда он приедет только поздно вечером, и подарила смачный поцелуй, чтобы поддержать в нем дух до новой встречи. «Как хорошо иметь таких друзей», — тепло подумал Денис, нащупывая в боковом кармане мягкий пакет и шагая по дороге в Грентон, где ему нужно было сесть на паром, перевозивший через морской залив в Бернтисленд. Он был недоволен погодой только потому, что она могла помешать перевозу. Но он шутливо говорил себе, что, если парома не будет, он чувствует в себе достаточно сил, чтобы переплыть залив.

Ветер был силен, но дождь еще не начинался, а до Грентона было не более трех миль, поэтому Денис решил идти до перевоза пешком. Как

хорошо жить! Ветер пьянил его; когда он касался его лица, Денису хотелось жить вечно. Крепко ставя ноги на мостовую, он был уверен, что шутя пройдет три мили до Грентона за тот час, что имелся в его распоряжении.

Шагая, он предавался отрадным размышлениям. В эту поездку дело развернулось на славу, лучше, чем он мог ожидать, и завтра в Данди он рассчитывал окончательно упрочить свое положение сделкой с фирмой «Блэйн и К^о». Молодой мистер Блэйн пользовался большим влиянием, а к Денису он был чрезвычайно расположен, и Денис понимал, что стоит только убедить мистера Блэйна закупать впредь товар фирмы Файндли, и тогда дело его в шляпе. Он уже обдумывал коротенькую остроумную речь, которой завтра начнет беседу с мистером Блэйном. Он напыщенно декламировал ее, обращаясь к ветру и пустым улицам, безмерно наслаждаясь, подчеркивая тезисы своей речи выразительной жестикуляцией, и покуда дошел до Грентона, успел закидать молодого мистера Блэйна эпиграммами, бомбардировал его техническими подробностями и обезоружил солидными аргументами. Придя к перевозу, он, к своему облегчению, увидел, что паром качался у маленькой пристани, по всем признакам собираясь отплыть. Денис ускорил шаги и поднялся на борт. С низкой палубы пароходика залив казался темнее и грознее, чем с мола, и белая пена кипела на гребнях аспидно-серых волн. Суденышко сильно качало, и толстые канаты, которыми оно было привязано к мертвым якорям на пристани, визжали и скрипели под двойной атакой ветра и прибоя. Но Денис всегда очень хорошо переносил качку и без малейшей тревоги присоединился к остальным пассажирам, которые собрались на носу парома и уныло смотрели на залив, теснее сплоченные страхом перед опасной переправой.

— Ох, не нравится мне сегодня залив, — сказал один.

— Да, волнение сильное, как бы не случилось беды, — подхватил другой.

— Я начинаю жалеть, что не послушался жены и не остался дома, — заметил третий со слабым притязанием на шутливость.

Денис принялся их высмеивать.

— Что же вы думаете, капитан пустил бы пароход, если бы он не был уверен, что переправа возможна? — воскликнул он с искренним убеждением. — И плыть-то всего пять миль — совершенный пустяк. Пройдет каких-нибудь двадцать лет, и мы будем перескакивать через такую канаву или переходить ее на ходулях.

Пассажиры посматривали на него с сомнением, но Денис смеялся,

шутил, подтрунивал над ними до тех пор, пока они не сдались, и через пять минут он всех привлек на свою сторону. Его молчаливо признали вожаком, тревожные предчувствия пассажиров рассеялись, и один из них даже достал из кармана небольшую плоскую фляжку.

— Хлебнем по глоточку на дорогу? — предложил он, подмигивая. Тогда веселое настроение победило страх. Первым хлебнул хозяин фляжки, за ним двое остальных — с умеренностью, приличной тем, кого угощают. Денис же отказался.

— Я сейчас только наелся сосисок и боюсь рискнуть ими, — пояснил он с выразительной пантомимой в сторону буйных волн, которая должна была убедить зрителей, что единственное его желание в жизни — удержать в себе вкусную пищу, за которую он только что заплатил. Все восторженно захохотали; предположение, что этот беззаботный и бесстрашный юноша может испытать такой неприятный приступ морской болезни, снова подняло их в собственном мнении, а Денис продолжал их подбадривать, умело приспособляясь к ним, рассказывая анекдоты с таким воодушевлением, что они почти не заметили, как отчалил пароход и как его качало в заливе. Один пассажир, правда, позеленел, другой делал движения горлом, как перед рвотой, но они скорее готовы были умереть, чем осрамиться в глазах этого юного Гектора, рассказывавшего уже пятый анекдот — о блестящем остроумии одного ирландца, перехитрившего англичанина и шотландца при крайне забавных и щекотливых обстоятельствах.

Остальные несколько пассажиров не совсем успокоились и продолжали жаться друг к другу, когда паром, как скорлупку, швыряли бурные волны. Они цеплялись за стойки, ложились на палубу или, уже не стесняясь, блевали, а насыщенный водяной пылью ветер завывал вокруг снастей, и яростно шумящие волны перекачивались через низкие поручни, заливая палубу водяной пеленой, которая перемещалась из стороны в сторону, следуя за каждым наклоном судна.

Но наконец паром подошел уже близко к Бернтисленду, вышел из полосы волнения и после долгого лавирования ускорил ход. Шкипер сошел с мостика, с его клеенчатой куртки текла вода. Денис слышал, как он сказал:

— Ничуть не жалею, что мы уже приехали. Слабое удовольствие! Такой скверной переправы, как сегодня, никогда еще не бывало.

Пассажиры поспешно высаживались, даже те, кто так пострадал от морской болезни, что их пришлось снести с парома на пристань, и уже на пристани эта маленькая компания героев стала прощаться с Денисом.

— Как, разве вы дальше не поедете? — спросил Денис.

— Ба! — возразил один из них, как бы говоря за всех, и посмотрел на тучи. — Все мы, слава богу, здешние, бернтислендские, и теперь нас не скоро заманишь на такую прогулочку в Эдинбург! Дома покажется совсем неплохо после этого адского шума на море!

Они все по очереди торжественно пожали руку Денису, чувствуя, что никогда не забудут о нем. «Ну и молодец же был этот малый, что переезжал с нами залив в бурю, — говаривали они порой друг другу много времени спустя. — Все страху натерпелись, а ему хоть бы что!»

Когда они ушли, Денис отправился на станцию. Поезд на Данди, расписание которого было согласовано с расписанием парохода из Грентона, должен был отойти в пять часов двадцать семь минут пополудни и был уже подан. Но так как было еще только двадцать минут шестого, Денис прошелся по перрону вдоль поезда, заглядывая в окна вагонов, ища незанятое купе третьего класса. Пассажиров оказалось больше, чем можно было ожидать в такую погоду, и Денис прошел до самого паровоза, не найдя свободного места. У паровоза стоял кондуктор, разговаривая с машинистом, и Денис, узнав в нем знакомого, с которым он, со свойственной ему общительностью, свел дружбу во время предыдущей поездки, подошел поздороваться.

— А, Дэви Макбит, как поживаете? — воскликнул он.

Кондуктор поднял голову, и после минутного недоумения глаза его просветлели.

— А, это вы, мистер Фойль! — сказал он сердечно. — Я было не признал вас в первую минуту.

— «Нет мне подобного в Дониголе», — с улыбкой процитировал Денис.

— Неужто вы едете в такую погоду? — спросил Макбит. — А мы с Митчелом, — он указал на машиниста, — как раз толковали насчет этого. Нас беспокоит ветер. Он дует в опасном направлении.

— Вы боитесь, что он погонит назад вашу старую пыхтящую посудину? — сказал Денис, смеясь.

Митчел неодобрительно покачал головой.

— Нет, не совсем так, — ответил он, и взгляд его был выразительнее слов. Потом, повернувшись к своей будке на паровозе, крикнул: — Как манометр, Джон?

Черная физиономия кочегара выглянула наружу; на этом черном улыбающемся лице резко белели зубы.

— Пару хватит хоть до самого Эбердина, — сказал он. — А пожалуй,

что и дальше.

— Нет уж, дай бог нам с тобой до Данди добраться, Джонни, и то будет ладно, — сухо возразил машинист.

— Как ты думаешь, он выдержит? — спросил Макбит серьезно, забыв в эту минуту о Денисе.

— Не могу тебе сказать, — сдержанно ответил Митчел, — но мы скоро это узнаем.

— Что у вас здесь за секреты? — спросил Денис, глядя то на одного, то на другого.

Ухмылявшаяся физиономия кочегара глядела из открытой двери топки, и отблески пламени играли на этом грязном лоснившемся лице.

— Они немножко опасаются насчет моста, — засмеялся он, работая лопатой, — не понимают, что такое сталь и цемент!

— Нечего зубы скалить! — сердито проворчал Митчел. — Ехать нам по мосту две мили, а проклятый ветер дует прямо в ту сторону и сатанится, как десять тысяч дьяволов.

После этих слов все как-то притихли, но тотчас же Макбит, спохватившись, посмотрел на часы.

— Ну, — сказал он, — что бы мы там ни думали, а по расписанию полагается ехать — значит, и поедем. Идемте, мистер Фойль.

— А что вас, собственно, беспокоит? — спросил Денис, когда они с кондуктором шли по платформе.

Дэви Макбит покосился на него и ничего не ответил. Явно желая переменить разговор, он сказал:

— Какое замечательное у вас новое пальто!

— Нравится?

— Еще бы! Удобная штука в такую ночь, как сегодня, да и вид у него шикарный!

— Достаточно шикарный для жениха, Дэви? — спросил Денис, легонько подтолкнув собеседника локтем.

— Ну разумеется, — ответил тот рассеянно. Но потом вдруг с интересом взглянул на Дениса. — Вот оно что! Уж не подумываете ли вы о...

Денис утвердительно кивнул головой:

— Не только подумываю, но это уже решено. Во вторник женюсь и, наверное, в этом пальто и буду венчаться. Это часть моего приданого.

Макбит смешливо посмотрел на Дениса, суровое лицо его прояснилось, и оба весело захохотали.

— Вот так новость! Что же вы молчали до сих пор? Вы не теряете

времени, честное слово! Желаю вам счастья, и вам, и вашей подружке, кто бы она ни была. Ей хорошо будет, если я в вас не ошибся. Ну, раз так, пойдем со мной! Не можем же мы везти жениха вместе со всей публикой в третьем классе! — Он отпер пустое купе первого класса. — Жениха надо доставить в сохранности!

— Спасибо, Дэви, — довольным тоном поблагодарил его Денис. — Вы славный малый. Обязательно пошлю вам кусок свадебного пирога, чтобы вы положили его под подушку. — Потом прибавил уже более серьезным тоном: — Ну, до свиданья, увидимся в Данди.

Кондуктор с улыбкой кивнул и ушел. Минуту спустя раздался свисток, и поезд отошел от станции.

Один в комфортабельном купе первого класса, Денис с удовольствием осмотрелся, развалясь на мягком диване, положил ноги на сиденье напротив и уперся взглядом в потолок. Мало-помалу глаза его приняли мечтательное выражение, — казалось, они смотрели сквозь низкий потолок куда-то далеко. Он думал о Мэри...

Он спокойно размышлял о том, что женится во вторник. Не совсем так, как ему хотелось, не так, как он когда-то мечтал, но, во всяком случае, женится. Не важно, как отпраздновать свадьбу, — важно то, что кончится его холостая жизнь. Он уже заранее начинал чувствовать себя старше и благоразумнее. С воодушевлением подумал о том, как благородно было с его стороны с такой готовностью взять на себя ответственность за последствия своей любви. Он доказывал себе, что вовсе и не желал никогда увильнуть от этой ответственности.

— Нет, — сказал он вслух, — подлец бы я был, если бы бросил такую девушку, как Мэри.

Ему живо вспоминались ее доверчивость, красота, вера в него; он думал о ней сначала только с нежностью, потом к нежности примешалась легкая тревога. Вспомнил об урагане: ради Мэри он горячо желал, чтобы ураган прошел мимо Ливенфорда. И тут, несмотря на радужное настроение, он почему-то ощутил безотчетную тоску. Сдержанная радость, сменившая его шумную веселость в начале путешествия, сейчас незаметно перешла в непонятную ему самому грусть. Он пытался стряхнуть ее, заставлял себя думать только о розовом будущем, которое ждет его и Мэри в Гаршейке, о блестящей карьере, которую он себе создаст, о том, как он на праздниках будет уезжать с Мэри за границу и как чудесно они там будут проводить время... Но ему не удавалось рассеять тень, омрачившую его оптимистическую веселость. Он начинал сильно тревожиться о Мэри и сомневаться, благоразумно ли было с его стороны так долго откладывать ее

отъезд из дома.

Начался дождь, и окна вагона помутнели от оседавшей на них смеси дождя и талого снега. Ветер бомбардировал стены вагонов, швыряя в них большими горстями ледяную крупу, и казалось, что кто-то непрерывно шлепает снаружи по вагону мокрой тряпкой.

Дождь хлестал по крыше, как бурные струи воды из гигантской кишки. Тоска все сильнее душила Дениса, наполняла мрачными предчувствиями, и он с грустным сожалением вспомнил чудесную целомудренную красоту тела Мэри, вспомнил ту ночь, когда он оборвал весь цвет этой красоты. Под его насильственным прикосновением ребенок превратился в женщину, которой приходится теперь жестоко страдать по его вине. Сколько она, должно быть, натерпелась страха и муки, стараясь скрыть от всех беременность. Вспоминая ее изящную девичью фигуру, он уже воображал, что никогда Мэри не станет прежней. Вздох вырвался у него.

Поезд замедлил ход и остановился на какой-то придорожной станции. Это не был скорый поезд, а потому он уже останавливался несколько раз на промежуточных станциях, но до сих пор Денис как-то не обращал на это внимания. Теперь, к его неудовольствию, дверь купе отворилась, и вошел старый крестьянин. Он смиренно уселся напротив, в углу дивана, от его одежды шел пар и ручьями стекала вода на подушки дивана и на пол. Смешиваясь с паром, от него исходил запах жидкости покрепче, чем дождевая вода. Денис уставился на него, затем сказал сухо:

— Это вагон первого класса.

Старик достал из кармана большой носовой платок, красный в белых крапинках, и высморкался, громко трубя носом.

— Вот как? — сказал он важно, делая вид, что осматривает купе. — Очень приятно слышать. Люблю ездить по-барски. Вы говорите — это первый класс, а мне наплевать, первый или нет, потому что я никакого билета не имею. — И он оглушительно захохотал. Видно было, что он сильно навеселе.

Денису настолько изменил его обычный юмор, что он ничуть не развеселился. В другое время его бы изрядно позабавил этот неожиданный попутчик, а сейчас он только хмуро поглядел на него.

— Далеко едете? — спросил он наконец.

— В Данди, славный город Данди. Город вам знаком, конечно, а люди — нет. Нет, нет, когда я говорю «славный», я имею в виду не его жителей, а славный город Данди, — ответил старик и после этого серьезного и точного пояснения добавил многозначительно: — Да вот не

успел взять билет.

Денис поднялся и сел. Он видел, что ему придется выносить общество старика до конца путешествия, и покорился обстоятельствам.

— Как погода? — спросил он. — Вы весь мокрый.

— Мокрый? Да, меня и снаружи промочило изрядно, но и нутро я успел промочить. Одно другому помогает, знаете ли. И для такого бывалого пастуха, как я, мокрое платье ничего не значит: высохнет на мне — только и всего. Однако должен вам сказать, в такую ужасную ночь, как сегодня, даже и я не хотел бы очутиться в горах.

Он несколько раз покачал головой, достал из кармана какой-то грязный обломок глиняной трубки, разжег ее, вставил в металлический мундштук и, сунув в угол рта, шумно затянулся. Когда купе наполнилось дымом, он, не вынимая изо рта трубки, сочно сплюнул на пол.

Денис поглядывал на крестьянина с сострадательным презрением, пытаясь представить себе этого грубого и пьяного деревенского мужлана молодым; он уныло спрашивал себя, возможно ли, что и сам он когда-нибудь превратится в такого вот старого пьяницу, и его одолевала все более глубокая меланхолия. Не подозревая о произведенном им впечатлении, старый пастух продолжал:

— Да, пришло мне навсегда сказать «прости» горам. Хорошо звучит, не правда ли? «Прощание с горами». Честное слово, похоже на название какой-нибудь песни! «Прощание с горами». — Он хлопнул себя по ляжкам и захохотал. — Да, возвращаюсь я теперь в свой родной город, и как вы думаете для чего? Ни за что не угадаете!

— Может быть, вам достались в наследство кое-какие деньжонки? — предположил Денис.

— Нет, не угадали. Те гроши, что у меня есть, я сколотил тяжелым и честным трудом. Ну, попробуйте еще раз.

Но так как Денис молчал, старик словоохотливо продолжал:

— Нет, вам это и в голову не придет, а между тем это истинная правда: я еду, чтобы... — Он сделал паузу, как-то необыкновенно подмигнул Денису и выпалил: — Еду в Данди жениться!

И, явно наслаждаясь впечатлением, которое произвели его слова, пустился в объяснения:

— Я еще парень крепкий, хотя уж не такой молодец, как был, и в Данди меня ожидает славная, красивая женщина. Она была большая приятельница моей первой жены. И завтра рано утром мы обвенчаемся. Вот оттого-то я и еду этим поездом, несмотря на воскресенье. Мне, знаете ли, надо поспеть вовремя.

Пока старик говорил, Денис смотрел на него с неприятным чувством, которое главным образом объяснялось этим странным совпадением обстоятельств. Итак, здесь, в тесном купе, ехал еще один жених, связанный с ним одинаковостью положения! Видеть ли ему в этом смешном ветеране карикатуру на себя или печальное предзнаменование будущего?

В унынии Денис говорил себе, что, быть может, людям он кажется таким же жалким и смешным, как этот седобородый жених — ему. В приливе самоуничижения он начал осуждать свой образ жизни до сих пор. Не свойственные ему сомнения ужаснули его стремительностью и силой, с какой нахлынули на него, и в таком отчаянии, молчаливый, подавленный, он сидел, пока поезд с грохотом не подкатил к станции Сент-Форт. Здесь спутник Дениса встал и вышел из купе, заметив при этом:

— Нам предстоит еще немалый путь. Схожу да посмотрю, нельзя ли тут раздобыть чего-нибудь согревающего. Мне бы одну капельку только хлебнуть, чтобы прогреть желудок.

Но через минуту он вернулся и сказал успокоительно:

— Я приду обратно, не думайте, что я вас оставлю одного. Вернусь и составлю вам компанию до самого Данди. — И, сказав это, вышел из вагона.

Денис посмотрел на часы: было пять минут восьмого. Поезд шел без опоздания. Но, высунув голову в окно, он убедился, что ветер бушевал до невозможности. Пассажиры, вышедшие из вагонов, катились по платформе, как шары, а тяжелый поезд, казалось, качался на колесах. Вокруг Макбита стояла группа борющихся с ветром пассажиров. До Дениса доносились их выкрики:

— А что, кондуктор, не опасно ехать дальше?

— Какой ветер! Выдержит ли поезд?

— Как бы он не сошел с рельсов!

— Господи помилуй, что за ночь!

— И как в такую погоду проезжать мост! Ах, хотела бы я сейчас быть дома!

Денису показалось, что его приятель Макбит встревожен и сердит. Но хотя кондуктор действительно был озабочен своей ответственностью за доверившихся ему сто человек, в его ответах звучали невозмутимая уверенность и спокойствие официального лица:

— Надежен, как Шотландский государственный банк. Будьте покойны, мэм!

— Подумаешь, буря! Да это просто легкий ветерок. Постыдился бы ты праздновать труса, старина!

— Не сойдет с рельсов, не беспокойтесь, голубушка, и через час вы и ваша дочка будете дома.

Денис слышал, как он говорил все это, ровно, спокойно, с непроницаемым видом. Его спокойствие, видимо, передалось пассажирам, группа рассеялась, все вернулись в вагоны.

Наконец все формальности были окончены, и поезд тронулся. В эту минуту Денис увидел своего соседа по купе, который, борясь с ветром, пытался вскочить в последний вагон. Но в своем волнении и спешке старый пастух поскользнулся и растянулся на платформе. Поезд уходил все дальше, старик остался позади, и, когда они проезжали станцию, перед Денисом в мерцающем свете станционного фонаря мелькнуло в последний раз расстроенное, ошеломленное лицо, выражавшее почти забавное отчаяние. Сидя в своем углу, в то время как поезд приближался к южному концу Тэйского моста, Денис с мрачным юмором подумал, что один жених уже, несомненно, опоздает на свадьбу. Может быть, это урок ему, второму жениху. Да, странное, неприятное совпадение послужит ему уроком. О, он не опоздает на свадьбу с Мэри во вторник!

Поезд неся вперед и в тридцать минут восьмого достиг начала моста. Здесь, раньше чем взойти на рельсы однокорейки, проложенной по мосту, он затормозил у сигнальной будки, ожидая, пока стрелочник передаст жезл машинисту. Без этой процедуры не разрешалось пускать поезд по мосту. Все еще мучимый дурным предчувствием, Денис снова опустил окно и выглянул, чтобы посмотреть, все ли благополучно. Ему чуть не оторвало голову ветром, и в красном свете, падавшем от паровоза, он различил впереди туманные очертания массивных ферм моста, похожих на гигантский скелет какого-то стального пресмыкающегося, мощный и несокрушимый. Затем он вдруг увидел сигнальщика, который сходил по ступенькам из своей будки с большой осторожностью, крепко держась одной рукой за перила. Он передал жезл машинисту и, сделав это, с величайшим трудом поднялся назад в свою будку, борясь с ветром. Последние несколько шагов он сделал, ухватившись за чью-то руку, протянутую ему из будки.

И вот поезд снова двинулся и въехал на мост. Денис закрыл окно и спокойно сел на место, но, когда проезжали мимо сигнальной будки, перед его глазами промелькнули два смотревших из нее бледных, полных ужаса лица, как призраки, скользнувшие во мраке.

Ураган достиг теперь неслыханной силы. Ветер швырял дождем в стены вагонов, производя шум тысячи наковален, и снова в стекла зашлепал мокрый снег, так что за окном ничего нельзя было разглядеть.

Поезд качался на рельсах как пьяный, но, несмотря на то что шел медленно и осторожно, из-за шума бури казалось, что он несется стремглав. Черный мрак, скрежет колес, яростный натиск ветра, грохот волн, разбивавшихся внизу о быки моста, — все вместе создавало впечатление безудержного, безумно стремительного движения.

Денису, одиноко сидевшему в безмолвной и тесной коробке купе, которую бросало из стороны в сторону, вдруг почудилось, что колеса поезда говорят ему что-то. Они мчались по рельсам и визжали (он ясно слышал это) монотонной, полной отчаяния скороговоркой: «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас!»

В реве бури эта печальная панихида настойчиво врывается в мозг Дениса. Острое предчувствие страшной опасности начало давить его. Но боялся он почему-то не за себя, а за Мэри. Жуткие картины проносились в темном поле его воображения. Он видел Мэри в белом саване, смотревшую на него с грустной мольбой во взоре, Мэри с распущенными мокрыми волосами, с окровавленными ногами и руками. Какие-то фантастические чудовища преследовали ее, она отступила под их натиском, и мрак поглотил ее. Потом она появилась снова, гримасничая, хихикая, похожая на карикатурное изображение Мадонны, с истощенным ребенком, которого она держала за руку. Денис закричал от ужаса. В безумном смятении вскочил с места. Он хотел броситься к Мэри. Хотел распахнуть дверь, выскочить из этой коробки, в которую его заключили, которая окружала его, как склеп. Он все отдал бы в это мгновение, чтобы выбраться из поезда. Но не мог.

Он был пленником в этом поезде, который неумолимо мчался вперед, освещая себе путь собственным светом, похожий на темную, красноглазую змею, которая, извиваясь, быстро ползет вперед. Он прошел уже одну милю по мосту и достиг среднего пролета, где сеть стальных брусьев образовала как бы полу трубу, сквозь которую надо было пройти. Поезд вошел в этот туннель. Он вползал в него медленно, с опаской, нехотя, дрожа каждым болтом, каждой заклепкой своего корпуса, атакуемого ураганом, который, казалось, стремился его уничтожить. Колеса стучали непрерывно, навязчиво, как погребальный звон, бесконечно повторяя: «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас!»

И внезапно, в тот момент, когда поезд весь окружен был этой железной рубашкой среднего звена моста, ветер с торжествующим ревом дошел до полного исступления в своей силе и ярости.

Мост сломался. Стальные брусья надломились с треском, как сучья, цемент искрошился в песок, железные столбы согнулись, как ивовые

прутья. Средний пролет растаял, как воск. Обломки его засыпали истерзанный поезд, который одно мгновение бешено крутился в пустом пространстве. Страшный поток битого стекла и деревянных обломков обрушился на Дениса, ранив и калеча его. Он видел, как ломается и скручивается металл, слышал треск падающих кирпичей. Невыразимое отчаяние сотни человеческих голосов, слитых в один резкий, короткий, мучительный крик, в котором смешались ужас и боль, ударило Дениса по ушам, как роковая безнадежность погребального пения; стены вагона саваном завихрились вокруг него и над ним, пол летел через его голову. Падая, завертевшись волчком, он вскрикнул громко то же, что выстукивали раньше колеса: «Господи, помилуй нас!» — и затем тихо одно только имя: «Мэри!»

А поезд с невообразимой быстротой, как ракета, описав в воздухе дугу, прорезал мрак сверкающей параболой света и беззвучно нырнул в черную преисподнюю воды, где потух так же мгновенно, как ракета, навеки исчезнув, точно его и не было.

В ту бесконечность секунды, пока поезд кружился в воздухе, Денис понял, что случилось. Он осознал все, затем мгновенно перестал сознавать. В тот самый миг, когда первый слабый крик его сына прозвучал в хлеву ливенфордской фермы, его изувеченное тело камнем полетело в темную бурлящую воду и легло мертвым глубоко-глубоко на дне залива.

Часть вторая

На улицах Ливенфорда стоял резкий холод мартовского утра. Крупные хлопья сухого снега порхали в воздухе легко и беззвучно, как мотыльки, и ложились толстым покровом на промерзлую землю. Жестокая и затянувшаяся в этом году зима началась поздно и теперь медлила уходить.

Об этом и думал Броуди, стоя на пороге своей лавки и глядя на тихую пустую улицу. Тишина на улице радовала его, на безлюдье дышалось свободнее. Последние три месяца ему тяжело было встречаться со своими согражданами, и отсутствие людей на улице давало передышку мукам уязвленной, по несломленной гордости. Можно было на несколько минут смягчить выражение непреклонности, которое он постоянно носил на лице, как маску, и мысленно полюбоваться своей неукротимой волей. Да, трудную задачу взял он на себя за последние три месяца, но он ее выполнил, черт возьми! В него пускали множество стрел, и вонзались эти стрелы глубоко, но он ни разу ни словом, ни жестом не обнаружил перед людьми мук раненой и оскорбленной гордости. Он победил.

Думая об этом, Броуди сдвинул назад шляпу, сунул большие пальцы под мышки и, раздувая ноздри прямого носа, жадно втягивал ими морозный воздух, с вызовом оглядывая пустынную улицу. Несмотря на резкий холод, на нем не было ни пальто, ни шарфа: он очень гордился своей закаленностью и презирал такие признаки слабости. «К чему пальто такому здоровому человеку, как я?» — говорила вся его поза. А ведь сегодня утром ему, чтобы, по обыкновению, облиться холодной водой, пришлось сначала разбить тонкую корку льда в кувшине. Зимняя погода была ему по душе. Он наслаждался жестоким холодом, жадно, всей грудью вдыхал морозный воздух, и при этом в рот ему попадали белые порхающие снежинки, таяли на языке, как облатки причастия, вливали в него свежесть и бодрую силу.

Вдруг он увидел приближавшегося человека. Только самолюбие не позволило Броуди скрыться в лавку, так как в подходившем он узнал одного из самых сладкоречивых, хитрых и лукавых сплетников в городе.

— Ах, будь проклят твой змеиный язык! — пробурчал он, слыша все ближе тяжелые, заглушенные снегом шаги и видя, что тот, к кому относилось это замечание, не спеша переходит улицу. — С удовольствием вырвал бы его у тебя. Э, да он идет сюда. Так я и знал!

Подошел Грирсон, закутанный до самых ушей, посиневший от холода.

Как и предвидел Броуди, он остановился.

— Доброе утро, мистер Броуди, — начал он тоном, который одинаково мог сойти и за почтительный, и за иронический.

— Здорово, — отрывисто буркнул Броуди. Тайный яд, источаемый языком Грирсона, уже заставил его не раз жестоко страдать, и он относился к этому человеку с глубокой подозрительностью.

— А мороз все держится! — продолжал Грирсон. — Ну и злая же выдалась зима!.. Но вас, я вижу, ничто не берет, дружище. Можно подумать, что вы железный, право, так легко вы все переносите.

— Погода мне нравится, — резко ответил Броуди, с презрением уставившись на посиневший нос собеседника.

— Дело только в том, — плавно продолжал Грирсон, — что эти упорные морозы когда-нибудь должны кончиться. Рано или поздно лед должен тронуться. Чем крепче мороз, тем сильнее оттепель. В один прекрасный день здесь наступят большие перемены! — Он с притворно-простодушным видом посмотрел на Броуди.

Тот прекрасно понял двоякий смысл этой тирады, но не был достаточно находчив, чтобы ответить в тон.

— Вот как? — заметил он только неуклюже и усмехнулся. — Вы мудрый человек, Грирсон.

— Вы мне льстите, мистер Броуди! Это просто тонкое чутье, то, что римляне называли «умение предсказать погоду».

— Да вы и ученый к тому же, я вижу.

— Мистер Броуди, — ничуть не смущаясь, продолжал Грирсон, — сегодня утром в мой дом залетел маленький реполов, он чуть не погиб от холода. — Грирсон покачал головой. — Такая погода, должно быть, ужасна для птичек... и для бездомных, которым негде укрыться. — Затем, не дав Броуди вставить ни слова, он прибавил: — Как поживает все ваше семейство?

Броуди заставил себя спокойно ответить:

— Очень хорошо, благодарю вас. Несси делает блестящие успехи в школе; вы, должно быть, слышали об этом. В нынешнем году она тоже возьмет все первые награды. — «Вот на-ка, выкуси! — подумал он про себя. — Небось, твоему взрослому остолопу всегда приходится уступать первое место моей умнице-дочке».

— Не слыхал. Что ж, это очень приятно. — Грирсон помолчал, потом сладеньким голоском спросил: — А от старшей дочери, от Мэри, давно получали известия?

Броуди заскрипел зубами, но овладел собой и сказал с расстановкой:

— Прошу вас не упоминать это имя в моем присутствии.

Грирсон изобразил величайшее смущение.

— Простите, ради бога, если я огорчил вас. Признаться, к этой вашей дочке я всегда питал слабость. Меня очень встревожила ее долгая болезнь. Но на днях кто-то говорил, будто она нашла себе место в Лондоне. Должно быть, ей помогла устроиться та семья из Дэррока — Фойли, я хочу сказать. Впрочем, вам, я думаю, известно не больше, чем мне. — Он прищурился и, посмотрев искоса на Броуди, добавил: — Я очень интересовался всей этой историей. Из простого человеколюбия, — вы, конечно, понимаете. Мне от души ее жалко было, когда бедный крошка умер в больнице.

Броуди смотрел ему в лицо как окаменелый, но попытка продолжалась.

— Говорили, что мальчик родился прехорошенький и доктору было ужасно неприятно, что он не сумел его спасти. Зато в матери он принял большое участие. И ничего удивительного — случай-то уж очень необыкновенный, а тут еще и воспаление легких, и другие осложнения. — Он печально потряс головой. — И какое несчастье, что отец ребенка погиб и не мог жениться и сделать ее честной женщиной!.. Ах, простите, мистер Броуди, я совсем забыл! Разболтался тут по глупости своей, а вам-то каково это слушать! — ехидно извинялся Грирсон. Он задел Броуди за живое, заставил его дрогнуть, и теперь у него хватило ума вовремя отступить.

Броуди видел его насквозь. Внутренне он корчился от злобы, но только сказал тихим, сдавленным голосом:

— Ваш ехидный язык может шуметь, как Велхолская речка, мне это решительно все равно.

Это был промах с его стороны, так как слова его давали повод возобновить травлю, и Грирсон не замедлил за него ухватиться. Он сказал с елейной усмешечкой:

— Вот это здорово, ей-богу! Вот уж подлинно несокрушимый дух! Можно только восхищаться, мистер Броуди, тем, как твердо вы переносите этот позор! Другой человек с таким видным положением в городе легко мог окончательно пасть духом после такого скандала, ведь целыми месяцами об этом трубили во всем городе!

— Шушуканье и уличные сплетни меня не трогают, — отпарировал Броуди с бурно вздымавшейся грудью. Он готов был убить Грирсона взглядом, но достоинство не позволяло ему употребить другое оружие, а гордость мешала уйти.

— Так, так, — раздумчиво протянул Грирсон, — я и говорю, другого совсем бы с ног свалило то, что он стал предметом негодования негодных святош и посмешищем всего города. Знаете, что я вам скажу, — добавил

он, понизив голос с таким видом, словно это только что ему пришло в голову, — обыкновенного человека все это довело бы до того, что он запил бы с горя.

Броуди метнул на него взгляд сверху вниз из-под кустистых бровей. Вот как, значит, про него распространяют уже и эту клевету?

— Ничто так не поддерживает человека, как капелька спиртного, особенно в такую погоду! — вкрадчиво тянул Грирсон. — Ну, мне пора, холодно стоять тут и болтать. Будьте здоровы, мистер Броуди.

И, раньше чем Броуди успел что-нибудь сказать, Грирсон поспешно ретировался.

Он весь дрожал, озябнув от долгого стояния на морозе, но его согревал упоительный жар внутреннего довольства. Он ликовал, вспоминая, как что-то дрогнуло в суровых глазах Броуди, когда его остро отточенные стрелы попали в цель, он тешился тем бурным тяжким вздохом, который в конце концов вырвался у Броуди под действием их яда. Он хихикал, предвкушая, как будет острить на этот счет сегодня вечером в клубе. Все там лопнут со смеху, когда он перескажет им весь разговор. А почему ему и не унижить лишний раз этого упрямого быка? Что он о себе воображает, расхаживая с таким наглым, высокомерным видом? И какой человек способен был бы выгнать из дому родное дитя, как собаку, в такую ночь? Оттого и новорожденный умер. И Мэри это чуть не убило, если верить тому, что говорят люди: и воспаление легких, и родильная горячка — бог знает чего только она не перенесла! Хотя она и оказалась беспутной, а все же это безобразие со стороны отца так поступить с дочерью!

Погруженный в такие размышления, Грирсон уходил все дальше, пока совсем не исчез из виду. А Броуди смотрел ему вслед, сжав губы в одну тонкую изогнутую линию. «Вот так они поступают, — думал он. — Они бы рады побить его камнями, лягать его, кромсать его на клочки теперь, когда его положение пошатнулось». Но при одной этой мысли он гордо выпрямился. Кто сказал, что его положение пошатнулось? Пусть те, кто так думает, подождут — и увидят. Всю эту неприятность пронесет как тучу, через месяц-другой ее будут помнить только очень смутно. Подлинные его друзья, дворяне, видные люди их окружи, отнесутся к нему только сочувственно, пожалеют его. При воспоминании обо всем, что он пережил, его стиснутые губы слегка дрогнули. Те несколько недель, когда Мэри лежала в больнице и была между жизнью и смертью, он оставался тверд и непоколебим, как скалистый утес, непреклонный в своем решении отречься от дочери. Он считал, что она сама своим поведением осудила себя на изгнание из общества, и открыто заявлял, что предоставит ей гнить вне

круга порядочных людей. Ни немая печаль жены, ни громкие пересуды и сильно поколебавшийся авторитет его в городе, ни жестоко уязвившая его беседа с глазу на глаз с доктором Ренвиком, ни позор публичных оскорблений и обвинений — ничто не поколебало его, не сломило его упорства. Он не желал больше видеть Мэри, и непреклонность его решения теперь утешала его, помогала успокоиться. Люди так и не узнают, сколько он выстрадал: удар, нанесенный его гордости, был почти смертелен. Со злобным удовольствием он подумал о том, чем утешался все эти горькие месяцы, — о катастрофе на Тэйском мосту! О смерти внебрачного ребенка Мэри он думал без всякого удовлетворения — он с самого начала отрекся от него, — но мысль о размозженном теле Фойля (печальные останки его были найдены и теперь гнили в дэррокской земле) редко покидала его. Она была бальзамом для его уязвленного тщеславия. Его воображение упивалось ужасными подробностями. Ему было все равно, что погибла сотня других людей. Все крушение было в его глазах лишь актом справедливого возмездия. Денис был единственный человек, обидевший его, посмеявшийся дать ему отпор, — и теперь он мертв. Сладкое утешение!

Он повернулся, чтобы войти в лавку, но его снова остановили. Из соседней двери с тревожной боязливостью кролика выскочил маленький человечек и поздоровался с ним. Это был Дрон. Хмурое лицо Броуди выразило презрение при виде того, как судорожно дергался этот человек. К нему вернулась самоуверенность, как всегда, когда он видел, что внушает другим страх, и он с презрительным равнодушием пытался угадать цель визита Дрона. «Хочет сообщить о появлении на свет нового отпрыска?» — предположил он, заметив, что у Дрона сегодня такой вид, точно он с трудом что-то скрывает.

Дрон и в самом деле держал себя необычайно странно: трепеща от сдерживаемого радостного возбуждения, он быстро потирал руки, его белесые ресницы непрерывно мигали, ноги дергались, как перед припадком, и он с трудом пытался заговорить.

— Да ну же, выкладывайте! — фыркнул Броуди. — Долго вы еще будете задерживать меня на моем собственном пороге? Какого рода животным Бог благословил вас на этот раз?

— Это не совсем то, — возразил Дрон торопливо, в новом приступе конвульсий, и продолжал медленно, как человек, который повторяет старательно затверженный урок: — Мне как раз подумалось: вполне ли вы уверены, что вам не понадобится мое помещение, то, которое я вам предлагал в конце прошлого года? — Он кивнул головой в сторону пустого магазина. — Вы, может быть, забыли, что в тот день вы вытолкали меня на

улицу, но я-то этого не забыл! Я не забыл, что вы швырнули меня на мостовую так, что я растянулся во всю длину! — Голос Дрона при последних словах перешел в визгливый крик.

— Вы просто упали, милейший, вот и все. Если вам нравится лежать на собственной заднице перед моей дверью — это уж ваше дело. А если это оказалось не так приятно, как вы полагали, расскажите об этом своей жене. Меня это не касается, — сказал хладнокровно Броуди. Но он не мог не заметить выражения лица Дрона, в котором боролись два противоположных чувства, этого взгляда полуиспуганного, полуликующего кролика, который видит, что его враг запутался в собственных силках.

— Я спрашивал, уверены ли вы... — захлебывался Дрон, не заметив, что его перебили, — вполне ли вы уверены, что вам не нужно мое помещение? Потому что, если бы вы теперь и захотели, вы его не получите. Я его не отдал внаймы, я его продал! Я его продал фирме Манджо «Шляпы и галантерея». — Он прокричал последние слова с триумфом, потом стремительно продолжал: — И продал с барышом, потому что у них средства неограниченные. Они здесь откроют большой, шикарный магазин, где будет все... и специальный отдел шляп, и отдельная витрина для них. Я знал, что вам будет интересно узнать эту новость, и мне не терпелось вам ее рассказать. В ту же минуту, как я подписал контракт, я прибежал сюда. — Он уже вопил, как в истерике. — Что, нравится? Кушайте на здоровье, пока вас не вырвет, вы, здоровенный бешеный бык! Это вас научит, как обижать людей, которые слабее вас.

И, прокричав это, Дрон, словно боясь, что Броуди накинется на него, завертелся волчком и юркнул в свою лавку.

Броуди стоял, точно застыв на месте. Трусливое злорадство Дрона ничуть его не тронуло, но новость, им сообщенная, означала катастрофу. Неужели его несчастьям не будет конца? Фирма Манджо, основанная в Глазго и вначале только там и торговавшая, с некоторого времени вытягивала уже щупальца в соседние районы. Манджо были пионерами, оценившими все преимущества системы филиалов, и, наводнив большинство городов Ленаркшира своими магазинами, теперь постепенно захватывали в свои руки города, расположенные вниз по реке Клайд. Броуди понимал, что это означало разорение многих местных торговцев, ибо фирма Манджо использовала такие средства пиротехнического характера, как дешевые распродажи и ослепляющие публику витрины, на которых товар был расценен не в обыкновенных, честных шиллингах, а в обманчивых цифрах, хитро оканчивающихся дробными долями пенса,

например $11\frac{3}{4}$ пенса, а все вещи снабжены нарядными мишурными этикетками, которые своим заманчивым видом искушали покупателя, и такими надписями, как, например, «Высший шик!». А кроме того, фирма Манджо побивала конкурентов тем, что немилосердно снижала цены. Она уже открыла свои отделения и в Дэрроке, и в Эрдфилене. Броуди это было известно, но, несмотря на то что они торговали не одними шляпами, он до сих пор льстил себя надеждой, что они оставят в покое Ливенфорд, где имеется его предприятие, так давно основанное и пустившее такие крепкие корни. Он пренебрежительно говорил, что в Ливенфорде им не удастся продать ни одной шляпы в год. Но оказывается, Манджо все-таки открывают здесь магазин! Он понимал, что предстоит борьба, и намерен был бороться яростно: пускай они попробуют свалить Джемса Броуди и затем несут все последствия! Вдруг он вспомнил, в каком близком соседстве от него будет новый магазин, и в приливе злобного возмущения погрозил кулаком пустой лавке, отвернулся и вошел к себе.

А войдя, накинулся на Перри, как всегда кроткого и суетливого:

— Чего ты тут подсматриваешь за мной, овечья твоя душа? Занялся бы чем-нибудь для разнообразия! Мне осточертела твоя скучающая физиономия.

— А чем прикажете мне заняться, сэр? Покупателей нет.

— Я вижу, что покупателей нет. Уж не хочешь ли ты намекнуть, что у меня торговля идет тихо, это у меня-то, в самом лучшем и солидном предприятии города! Просто из-за снега сегодня никто не приходит, осел ты этакий! Прибери немного в лавке или возьми кусок мыла да ступай вымой ноги, — прикрикнул на него Броуди и, хлопнув дверью, ушел к себе в контору.

Сел. Здесь он был один, и голова, которую он нес так высоко и гордо, слегка склонилась, произошедшая в нем едва ощутимая перемена выступила яснее в легкой впалости, едва тронувшей гладкую, твердую линию щек, в тонкой морщинке горечи, залегшей в углу рта. «Геральд» лежала на столе нераскрытой. Броуди вот уже с месяц не заглядывал в газеты — весьма многозначительный симптом! С равнодушным отвращением смахнул он газету на пол. И сразу же полез в карман, привычным машинальным жестом вытащил трубку и кисет с табаком, посмотрел на них вдруг, точно удивляясь, как они попали к нему в руки, потом с недовольной гримасой положил их перед собой на стол. Сегодняшнее утро принесло ему столько неприятностей, что и курить не хотелось.

В комнате жарко горели угли в камине, а он, несмотря на свою хваленую нечувствительность к холоду, внезапно почувствовал, что озяб. Когда его начало знобить, он вспомнил слова Грирсона: «Ничто так не поддерживает человека, как капелька спиртного, особенно в такую погоду». «Капелька»! Что за выражение для взрослого мужчины! Но такая уж у Грирсона привычка выражаться, и говорит он тихо, как мурлычет, а манеры смиренные и вкрадчивые. Из фразы, брошенной Грирсоном, можно заключить, что его, Броуди, ославили пьяницей, а ведь он уже много месяцев в рот не брал хмельного.

Он нетерпеливо вскочил со стула и стал глядеть в заиндевшее окно. Снег, снег повсюду: на земле, на замерзшей реке, на крышах домов, в воздухе, — все сыплет и сыплет с таким ожесточенным упорством, что кажется, никогда не перестанет идти. Кружившиеся в воздухе хлопья невыносимо угнетали тем, что их такое множество. Броуди смотрел, смотрел, и притаившаяся где-то в мозгу мысль начала вдруг расти, пухнуть. Его смутно мучила слепая несправедливость этого обвинения за глаза в том, будто он ищет утешения в вине. «Что же, — пробормотал он, — все равно осуждают, так хоть бы удовольствие получить, не обидно было бы». От тоскливой картины за окном снова повеяло на него холодом. Он вздрогнул, но продолжал рассуждать сам с собой. Эта склонность к беседе с самим собой была чем-то совершенно новым, но ему казалось, что, когда он вслух высказывает свои мысли, они делаются менее путанными, становятся яснее ему самому. «Говорят, что я выпиваю, вот как! Эти негодные свиньи всегда рады выдумать про человека такое, чего и в помине нет. Но видит Бог, на этот раз я их поймаю на слове. Это как раз мне и нужно сейчас, чтобы отшибить во рту вкус всего того, что наговорил мне тут кривоногий наглец! Ох уж эти мне „глоточки“, да „капельки“, да сладенькие „извините, пожалуйста“, и „с вашего позволения“, и все его расшаркивания и поклоны до самой земли! Когда-нибудь я как стукну его, так он у меня полетит кувырком. А сейчас, после такого утра, не грех бы и в самом деле прополоскать горло». И с мрачной гримасой он иронически заключил, обращаясь к пустой комнате:

— Во всяком случае, благодарю вас, мистер Грирсон, благодарю за превосходную мысль, которую вы мне подали!

Затем выражение его лица изменилось: им вдруг овладело дикое, необузданное желание напиться. Он ощутил такой прилив физических сил, что готов был подковы ломать, и такую жажду жизни, такую безмерную потребность наслаждений, что, казалось, способен был выпить целый громадный бассейн водки.

— Какой мне прок от того, что я живу, как какой-нибудь проклятый святоша-пастор? Все равно обо мне судачат. Пускай же, по крайней мере, у них будет о чем говорить, будь они все прокляты! — крикнул он, нахлобучив шапку на глаза, и вышел из лавки.

Неподалеку находился маленький тихий трактир «Герб Уинтонов», который содержала немолодая почтенная особа по имени Фими Дуглас; заведение это славилось своим виски, добродетелями хозяйки и уютной гостиной, известной под названием «задняя комнатка у Фими», любимым убежищем избранных представителей зажиточного круга. Но на этот раз Броуди, войдя в таверну, не пошел в этот своеобразный клуб, так как ему было не до разговоров: ему хотелось выпить; и чем дольше он ждал, тем сильнее хотелось. Он прошел в общий бар, пустой в эту минуту, и приказал буфетчице подать ему большую порцию тодди.^[4]

— Скорее несите, — скомандовал он голосом, охрипшим от сильного желания.

Раз он решил напиться, ничто не могло его остановить, ничто не могло унять все растущей жажды, от которой сохла глотка, беспокойно сжимались и разжимались руки, ноги неистово топали по усыпанному опилками полу бара, пока он дожидался, чтобы ему подали горячий виски. Когда девушка принесла его, он залпом проглотил обжигающий напиток.

— Еще порцию, — сказал он нетерпеливо.

Он выпил подряд четыре больших стакана виски, крепкого, горячего, как огонь, проглатывая его сразу, как только подавали, и виски бродило в нем, как какая-то жгучая закваска. Ему стало легче: мрачные тени последних трех месяцев рассеивались; они еще клубились как дым в его мозгу, но уже выходили вон. Саркастическая усмешка появилась на губах — признак того, что к нему возвращалось и чувство собственного превосходства, и сознание своей неуязвимости, но усмешка эта была единственным отражением бурливших в нем чувств. Он сидел спокойно, вел себя осторожно, сдержаннее обычного. Он целиком замкнулся в себе, и его ущемленную гордость тешили приятные мысли, быстро проносившиеся в голове. Буфетчица была молода, миловидна и весьма не прочь поболтать с этим странным, грузным мужчиной, но Броуди не обращал на нее никакого внимания, просто не замечал ее. Наслаждаясь чудесным освобождением от тягостного безнадежного уныния, поглощенный туманными, но радужными видениями будущих триумфов, он молчал, рассеянно глядя в пространство. В заключение он спросил бутылку виски, расплатился и вышел.

Воротясь в контору, он продолжал пить. С каждым стаканом мозг его

все более прояснялся, все более господствовал над телом, а тело быстрее и точнее подчинялось его велениям. Он с великим одобрением санкционировал все свои прежние поступки.

Пустая бутылка стояла перед ним на столе, на этикетке было написано «Горная роса», и это название представлялось его одурманенному мозгу замечательно подходящим: ибо он казался себе сейчас могучим, как гора, и сверкающим, как роса.

— Да, — бормотал он, обращаясь к бутылке, — запомни мои слова: им меня не одолеть. Я им не ровня, я сумею их подчинить себе. Я поступал во всем правильно. Я не взял бы обратно ни единого своего шага по той дороге, которую выбрал. Подожди, увидишь, как я теперь пойду напролом. Все будет забыто, и ничто мне не помешает. Я возьму верх над всеми.

Собственно, он не отдавал себе отчета, кто его враги, но в эту категорию, обширную и неопределенную, входили все, кто, как он воображал, были против него, относились к нему без должного уважения или не признавали в нем того, кем он был.

Он не думал о конкуренции, грозившей его предприятию, в своем тщеславии он считал конкурентов слишком мелкими, до смешного ничтожными. Нет, ему представлялся какой-то отвлеченный, сборный неумолимый противник, он мысленно боролся против возможности, что кто-либо посмеет поднять руку на его священный авторитет; он всегда был одержим этой манией, но до сих пор она скрывалась где-то под сознанием, теперь же окрепла и въелась в его мозг. И чем ближе маячила перед ним опасность, угрожавшая его положению, тем сильнее вырастала в нем вера в свою способность ее победить, вера настолько экзальтированная, что он чувствовал себя почти всемогущей личностью.

Наконец он очнулся, посмотрел на часы. Стрелки (казавшиеся ему длиннее и чернее, чем всегда) показывали без десяти минут час.

— Пора обедать, — сказал он сам себе благодушно. — Пора идти к моей славной, расторопной жене. Великое дело, когда у человека есть такая хорошая жена, что его тянет домой.

Он встал с важным видом, едва заметно пошатываясь, и степенно вышел в лавку, не обращая ровно никакого внимания на потрясенного ужасом Перри. Он гордо продефилировал через лавку на улицу, добрался до середины мостовой и пошел по ней важно, как какой-нибудь лорд, высоко неся голову, откинув назад плечи, ставя ноги с великолепным сознанием собственного достоинства.

Попадавшиеся ему навстречу редкие прохожие глазели на него с изумлением, а он уголком глаза замечал эти взгляды, и общее внимание

давало новую пищу тщеславию, пьяному самодовольству. «Смотрите хорошенько, — казалось, говорила его осанка. — Перед вами Броуди, Джеймс Броуди, и, видит Бог, это — настоящий человек!»

Всю дорогу домой он шествовал в снегу, словно возглавляя какую-то триумфальную процессию, держась посередине улицы и так решительно не желая уклониться от избранного направления, что встречавшиеся ему экипажи вынуждены были объезжать его, оставляя его неоспоримым властителем мостовой.

Перед своим домом он остановился. Снежный покров облекал дом каким-то обманчивым величием, смягчал резкие линии, скрадывал жесткие и угловатые очертания, закрывая все нелепые детали своей сплошной белизной, так что перед глазами пьяного Броуди его дом высился массивный, величественный, рисуясь на матово-сером фоне неба и точно уходя в бесконечность. Никогда еще его жилище не нравилось Броуди так, как сейчас, никогда еще оно не вызывало в нем такого восхищения. Воодушевленный сознанием, что он владеет таким домом, он шагнул к двери и вошел.

В передней он снял шляпу и чересчур размашистыми, неловкими движениями принялся стряхивать снег, толстым слоем облепивший ее, так что снег летел во все стороны. При этом он очень забавлялся, наблюдая, как мокрые комья шлепались о потолок, стены, картины, люстру. Затем он с силой затопал по полу тяжелыми сапогами, стряхивая с них твердые, слипшиеся куски обледеленого снега.

«Вот придется повозиться этой безрукой неряхе, чтобы все здесь убрать!» — подумал он, с победоносным видом входя в кухню.

Он сразу же сел за стол и стал копать ложкой в большой миске с дымящимся супом, распространявшим вкусный запах говядины и костей и густым от клейкой ячменной крупы. Миска уже стояла на столе, ожидая его, — доказательство преданности и заботливости его жены, которых он упорно не замечал. «Подходящая штука в такой холодный день», — подумал он, хлебая суп с жадностью прожорливого животного, быстро поднося ко рту полную ложку и непрерывно работая челюстями. Куски мяса и мелкие косточки, плававшие в супе, он перемалывал своими крепкими челюстями, наслаждаясь сознанием, что давно уже у него не было такого аппетита и давно еда не казалась ему такой вкусной.

— Отличный суп! — снизошел он до обращения к миссис Броуди и причмокнул губами. — Твое счастье, что он хорош. Если бы в такой день у тебя подгорел суп, я бы вылил его тебе на голову. — Затем, так как она не вставала, растерявшись от неожиданной похвалы, он прикрикнул на нее: —

Ну, чего сидишь, разинув рот? Неужели это весь мой обед?

Миссис Броуди тотчас вышла и торопливо вернулась, неся вареную говядину с картофелем и капустой; она боязливо недоумевала, что вывело ее супруга из постоянной угрюмой молчаливости. Он отрезал большой кусок жирного мяса и бросил его к себе на тарелку, затем наложил ее доверху гарниром и принялся за еду. Набивая рот, он критически поглядывал на жену.

— Ей-богу, моя милая, ты еще женщина хоть куда, — насмеялся он, чавкая и жуя. — Фигура у тебя почти такая же прямая, как твой прелестный нос. Нет, не убегай. — Он поднял нож угрожающим жестом, чтобы остановить миссис Броуди, и продолжал дожевывать кусок. А дожевав, сказал, искусно разыгрывая огорчение: — Должен тебе сказать, что ты за последнее время стала еще костлявее. Все эти неприятности на тебе отразились, ты еще больше стала походить на старую извозчичью клячу. Я вижу, ты все донашиваешь этот халат, напоминающий кухонную тряпку. — Он задумчиво поковырял в зубах вилкой. — Впрочем, он тебе к лицу.

Мама стояла перед ним как поникший тростник, не в силах выдержать его насмешливый взгляд, не отводя глаз от окна, словно так ей легче было переносить эти колкости. Лицо ее было серым и болезненно прозрачным, в глазах застыла тупая, сосредоточенная печаль, худые, обезображенные работой руки нервно перебирали какую-то болтавшуюся на поясе тесемку.

Внезапная мысль мелькнула у Броуди. Он посмотрел на часы и заорал:

— Где Несси?

— Я дала ей с собой в школу большой завтрак, чтобы ей не нужно было ходить домой в такую погоду.

Он недовольно хмыкнул. Потом спросил:

— А мать?

— Она не хотела сегодня вставать с постели из-за холода, — шепотом ответила жена.

Он затрясся от хохота.

— Вот это женщина, я понимаю, такой характер тебе следовало бы иметь, ты, безликое существо! Если бы у тебя была такая любовь к жизни, ты бы лучше сохранилась, не изнасилась бы так скоро. — Затем, помолчав: — Значит, мы сегодня с тобой вдвоем остались — только ты да я! Трогательно, не правда ли? Ну-с, у меня есть для тебя важные новости. Необычайный сюрприз!

Сразу же миссис Броуди отвела глаза от окна и уставилась на мужа в немом ожидании.

— Впрочем, ты не волнуйся, — издевался он, — дело идет не о твоей прекрасной беспутной дочери. Ты никогда не узнаешь, где она! На этот раз новость деловая. Я ведь всегда находил у своей жены во всем помощь и поддержку, так что должен поделиться с нею и этим тоже! — Он сделал многозначительную паузу. — Фирма Манджо открывает отделение рядом с лавкой твоего супруга — да, да, дверь в дверь с лавкой Броуди. — Он оглушительно захохотал. — Так что возможно, что ты скоро очутишься в богадельне! — Он выл от смеха, восхищенный собственным остроумием.

Миссис Броуди снова уставилась в пространство. Она почувствовала внезапную слабость и опустилась на стул. Тогда насмешливый взгляд ее мужа потемнел, лицо, уже и раньше покрасневшее от горячей пищи, мрачно вспыхнуло.

— Разве я разрешил тебе сесть, ты, ничтожество? Стой, покуда я не кончил говорить с тобой!

И она, как послушный ребенок, тотчас поднялась.

— Может быть, тебя мало трогает то, что эти проклятые свиньи имеют нахальство открывать свое отделение у самого моего порога? Тебе слишком легко достаются еда и питье, а я должен на тебя работать! Или твое слабоумие мешает тебе понять, что будет борьба до конца, до их поражения? — Он грохнул кулаком по столу. Его наигранная веселость испарялась, уступая место прежней мрачности. — Ну ладно, если ты не способна думать, так, по крайней мере, годишься на то, чтобы прислуживать. Ступай, принеси мой пудинг.

Она принесла дымящийся яблочный пудинг, и Броуди с волчьей жадностью накинулся на него, а она стояла навывтяжку, как потрепанный ливрейный лакей, по другую сторону стола. Сообщенные им новости мало ее встревожили. Под сенью владычества мужа она не боялась материальных затруднений; правда, он очень скупно выдавал ей деньги на хозяйство, но она всегда была убеждена, что у него их много, не раз видела, как он вынимал из кармана целую горсть блестящих золотых соверенов. Ее удрученную душу томила другая забота. Вот уже полтора месяца она не получала вестей от Мэтью, да и до этого его письма к ней становились все короче и короче и приходили так нерегулярно, что ее никогда не оставляли тревога и дурные предчувствия. О Мэри она больше не думала, считая ее безвозвратно потерянной для себя; ей даже не было известно, где находится дочь. Правда, ходили слухи, что Фойли нашли ей какую-то службу в Лондоне, но какого рода службу, она не знала. И все ее надежды, вся сила любви сосредоточились на сыне. Несси была признанной любимицей отца, и он завладел ею так безраздельно, что матери оставался теперь один

только Мэт. Да и помимо того, она всегда любила Мэта больше других детей. И теперь, когда он ленился даже писать ей, она воображала, что он болен или с ним случилась беда.

Она внезапно вздрогнула.

— Поддай мне сахар! И о чем ты только думаешь? — закричал на нее Броуди. — Пудинг кислый, как уксус. Ты такая же стряпуха, как моя нога. — По мере того как ослабевало действие виски, он все более приходил в злобное настроение. Он вырвал сахарницу из рук миссис Броуди, подсластил пудинг и съел его, проявляя все признаки неудовольствия.

Наконец встал из-за стола, делая усилия встряхнуться, побороть сонное оцепенение, которое начинало овладевать им. Направляясь в переднюю, он повернулся к жене и сказал язвительно:

— Ну а теперь ты, конечно, будешь сидеть сложа руки! Не сомневаюсь, что, как только я повернусь спиной, ты рассядешься у огня со своими дрянными книжонками, пока я буду работать на тебя. Не уверяй же меня, что ты не лентяйка. Не говори, что ты не неряха. Раз я это утверждаю, значит ты и то и другое — вот и все. Я-то тебя хорошо знаю, дармоедка!

С все возрастающим раздражением он сердито придумывал, как бы еще больше обидеть жену, и ему вдруг пришла в голову идея заключительного, необыкновенно ловкого удара, от которой у него злорадно засверкали глаза: сегодняшнее сообщение Дрона можно использовать для того, чтобы окончательно расстроить ее.

— Раз у нас уже имеется конкурент в торговле, — отчеканил он, задерживаясь у двери, — значит нам необходимо быть бережливее. В этом доме отныне должны поменьше тратить зря, не бросать деньги на ветер. Для начала я намерен уменьшить вдвое ту сумму, что я даю тебе на хозяйство. Ты будешь получать от меня на десять шиллингов в неделю меньше, но не забывай, что на моей еде я не позволю экономить. Тебе придется сократить только свои собственные ненужные расходы, а мне подавать все, как раньше, слышишь? На себя ты должна будешь тратить десятью шиллингами меньше! Обдумай это, когда будешь сидеть над своими романами! — И с этими словами он повернулся и вышел.

II

После ухода мужа миссис Броуди действительно сразу опустилась в кресло, чувствуя, что, если бы он сейчас не ушел и не дал отдохнуть ее усталому телу, она свалилась бы на пол к его ногам от утомления и грызущей боли в боку. Боль была какая-то особенная — непрерывное, мучительное колотье, к которому она настолько уже привыкла, что почти его не замечала. Но эта боль постоянно подтачивала ее силы, и, если миссис Броуди подолгу оставалась на ногах, она до странности быстро уставала. Однако сейчас, когда она сидела измученная, видно было по ее лицу, сильно постаревшему за последние три месяца, что мысли ее далеко и что их занимает не эгоистическая забота о собственных физических немогах, а более серьезное и глубокое горе.

Последняя угроза мужа пока еще не произвела на нее большого впечатления, она сейчас была слишком убита, чтобы осознать всю ее серьезность, и хотя ее смутно поразило необычное поведение мужа, она не догадалась о его причине. Не слишком расстроили ее и оскорбления. Она стала настолько нечувствительна к его ругани, что уже едва замечала разницу в характере оскорблений, и ей никогда не приходило в голову защищаться против его язвительных нападок. Она не смела привести в свое оправдание ни единый самый миролюбивый и логический довод. Она давным-давно с убийственной безнадежностью поняла, что прикована навсегда к человеку в высшей степени несправедливому, что единственный вид самозащиты для нее состоит в том, чтобы выработать в себе закостенелое равнодушие ко всем вздорным обвинениям, которыми он ее осыпал. Это ей не вполне удалось, и муж сломил ее, но, по крайней мере, она развила в себе способность исключать его из своих мыслей, как только он уходил из дому. И на этот раз не успел Броуди выйти за дверь, как мысли ее отвлеклись от него и механически возвратились к предмету ее постоянных тревог за последнее время — сыну.

Сначала письма от Мэта приходили довольно аккуратно и были нежны, и вместе с этими первыми письмами он ежемесячно посылал матери пять фунтов с просьбой вносить их на его имя в Ливенфордскую строительную компанию. Миссис Броуди радовал тон этих первых писем. Они казались ей захватывающе интересными, полными высоких чувств и строгой моральной чистоты. Потом мало-помалу наступила перемена: письма Мэта, хотя и приходили еще регулярно с каждой почтой, начали

уменьшаться в объеме, и основной тон их изменился, так что, хотя миссис Броуди с прежней жадностью пожирала пустую шелуху, составлявшую скудное и часто тревожившее ее содержание этих писем, ее тоскующее материнское сердце оставалось неудовлетворенным; вялые, стереотипные выражения сыновней любви, которыми письма неизменно заканчивались, не заглушали смутных предчувствий чего-то недоброго. Когда Мэтью стал до последних пределов сокращать свои послания, миссис Броуди начала в ответных письмах упрекать его, но, увы, безрезультатно. На первое ее письмо такого рода он просто не ответил и в первый раз со времени его отъезда пропустил очередную почту. Потом такие пропуски стали учащаться, все более тревожили миссис Броуди, и вот уже почти полтора месяца она не получала от него никаких вестей.

Агнес Мойр страдала по той же причине, к тому еще последние письма Мэта к ней были равнодушны до холодности, пересыпаны сначала завуалированными, потом и прямыми намеками на непригодность климата Индии для женщин, на то, что он, Мэт, недостоин (или не склонен) принять целомудренно предложенные ею брачные узы. Эти расхолаживающие и редкие излияния нанесли жестокую и болезненную трещину нежному влюбленному сердцу мисс Мойр. И, подумав об Агнес, мама, движимая нелогичной, но присущей всем нам склонностью искать утешения в чужом, столь же сильном горе, решила навестить будущую невестку, несмотря на усталость и холодную погоду. У нее было в распоряжении свободных два часа; на это время она могла уйти, не боясь, что ее дома хватится кто-либо (условие немаловажное, так как со дня изгнания Мэри Броуди требовал от жены отчета в каждой ее отлучке из дому).

Итак, она встала и, поднявшись наверх к себе в спальню, сбросила с плеч халат, скользнувший на пол; даже не взглянув на себя в зеркало, закончила туалет, торопливо намочив конец полотенца и обтерев им лицо.

Затем она достала из шкафа нечто, оказавшееся (после того, как были сняты сколотые булавками листы бумаги, в которые оно было завернуто) старой котиковой жакеткой. Жакетка, реликвия, сохранившаяся еще со времен ее девичества, вся вытерлась, обтрепалась, лоснилась и местами побурела.

Миссис Броуди, только изредка надевая, хранила ее больше двадцати лет, и эта ветхая, вышедшая из моды жакетка, некогда облекавшая ее юную девичью фигуру, была так же трагична, как сама Маргарет Броуди. Впрочем, ей она не представлялась в таком мрачном свете; для нее это была котиковая жакетка, может быть, не совсем модного покроя, но зато из настоящего котика, самое лучшее из всего, что у нее было, и она

чрезвычайно дорожила ею. Она забыла свое горе на ту минуту, когда, подняв жакет, вынула его из оберток, любуясь им, слегка встряхнула, погладила пальцами вылезший мех, потом со вздохом, как будто вытряхнув из этой заношенной вещи поблеклые воспоминания забытой юности, медленно надела ее; жакетка, во всяком случае, имела то достоинство, что закрывала порыжевшее платье и тепло укутывала ее больное, одряхлевшее тело. Затем миссис Броуди наскоро подобрала растрепавшиеся волосы и небрежно приколола черную шляпу, украшенную облезлым пером, которое с жуткой претензией на кокетливость свисало за левым ухом. Завершив таким образом все приготовления к выходу, она поспешила вниз и вышла из дому чуть не крадучись.

Выйдя на улицу, она не пошла, как ее супруг, по середине мостовой, а, наоборот, держалась ближе к стенам домов, шла мелкими шажками, волоча за собой ноги, опустив голову, с посиневшим от холода лицом, стараясь не привлекать ничьего внимания и всем своим видом говоря о безропотном мученичестве. Падающий снег превратил тусклый мех ее жакетки в блестящего горностая; он залеплял ей глаза и рот, вызывал кашель, промочил ее тонкие, не подходящие для такой погоды башмаки настолько, что задолго до того, как она добралась до кондитерской Мойров, они хлюпали при каждом шаге.

Несмотря на неожиданность ее визита, Агнес очень обрадовалась ей и тепло ее приветствовала. Обе женщины обменялись быстрым взглядом; каждая надеялась в глазах другой прочесть радостную для себя весть. Но обе тотчас увидели, что их надежда напрасна, и грустно опустили глаза. Все-таки каждая задала вслух вопрос, на который другая уже заранее ответила без слов:

— Получила что-нибудь на этой неделе, Агги?

— Нет, мама. — Агнес, горячо надеясь на будущие родственные отношения с миссис Броуди, нежно называла ее «мама». — А вы?

— Нет еще, дорогая, пока нет, но, может быть, почта опаздывает из-за непогоды, — сказала миссис Броуди уныло.

— Это возможно, — подтвердила Агнес не менее уныло.

Каждая пыталась обмануть другую, а между тем обе знали наизусть расписание почты из Индии, и пути почтовых пароходов были для них теперь открытой книгой. Однако сегодня гнет все растущей неизвестности становился уже настолько невыносим, что эти слабые попытки обмануть себя не помогали, и они с минуту растерянно смотрели друг на друга, словно исчерпав все темы для разговора. Первой оправилась Агнес, вспомнив об обязанностях хозяйки, и, собрав все свое мужество, сказала

любезно:

— Мы с вами выпьем по чашке чаю, мама. Вы совсем промокли от снега и озябли.

Миссис Броуди в безмолвном согласии прошла за ней в маленькую комнатку за лавкой, где среди множества пустых жестяных коробок из-под печенья, ящиков с шоколадом и бутылок с сиропом стояла маленькая железная печка, распространявшая скудное тепло.

— Садитесь сюда, мама, — сказала Агнес, открыв металлическую дверцу печки и ставя стул перед ее небольшим зевом, в котором пылал огонь. — Из-за непогоды сегодня очень мало покупателей, так что у меня есть время поболтать с вами.

Словно по молчаливому уговору, они не продолжали больше печальной беседы о письмах, и пока Агнес кипятила воду, мама протянула к огню свои мокрые башмаки, от которых шел пар, и сказала задумчиво:

— Да, снег так и валил все время, пока я шла. Как приятно в такой день погреться у печки.

Агнес подбросила лопатку кокса на последние раскаленные угли и спросила:

— Что вы будете пить, мама, чай или какао? На этой неделе нам прислали свежее какао Иппса.

— Я, пожалуй, предпочту какао. Оно питательнее, чем чай, больше подкрепляет в холодную погоду. Вы, Агнес, всегда уж угостите чем-нибудь вкусным.

— Для вас, мама, я, конечно, могу себе это позволить, — ответила мисс Мойр, значительно поджимая губы. — Было бы очень грустно, если бы я не могла немного поухаживать за вами. Не хотите ли снять пальто? — И она сделала движение, намереваясь помочь миссис Броуди снять ее котиковую жакетку.

— Нет, нет, спасибо, — поспешила сказать та, с испугом подумав об убожестве своего туалета. — Я ведь недолго у вас пробуду. — Глаза ее увлажнились от благодарности, когда она взяла из рук Агнес чашку горячего какао и принялась с наслаждением прихлебывать из нее; она даже согласилась взять сладкое печенье и грызла его, откусывая самые маленькие кусочки. Расчувствовавшись в такой уютной обстановке, она сказала со вздохом:

— Тяжелая выдалась для меня зима. Не знаю, как я и пережила ее.

— Я знаю, мама, вы очень страдали.

— Ох, как страдала! Никогда я не думала, Агнес, что придется пережить такой позор. Я его не заслужила. А между тем ее отец, я это

чувствую, считает меня виноватой в том, что я не уберегла Мэри.

Она едва решалась выговорить имя дочери, настолько запретным было теперь это имя у них в доме.

— В ее падении виновата она одна, мама. Ваше влияние могло привести ее только к добру, и если она грешила, значит у нее порочная натура. Забудьте о ней и позвольте мне занять ее место.

— Это очень мило с вашей стороны, Агнес. Но знаете, иногда ночью мысль о ней просто не выходит у меня из головы. Я никогда не думала, что мне будет так ее не хватать, — она ведь всегда была такая молчаливая, ко всему в доме равнодушная. И я даже не знаю, где она!

— Вы должны перестать думать о ней, — мягко настаивала Агнес.

— Отец не позволяет мне ничего о ней узнавать. Не позволял даже тогда, когда она лежала в больнице и была на краю смерти. И тогда, когда умер бедный малютка.

Агнес крепко сжала губы.

— Не знаю, следует ли мне рассказывать вам, мама, — начала она неохотно, — и неудобно мне говорить об этом, приличная девушка даже и отдаленно не должна соприкасаться с такими вещами... но я на днях слышала, что она в Лондоне.

Она произнесла последние слова с оттенком осуждения, выражая таким образом свое мнение о многообразных возможностях, скрытых в этом городе для развратных людей.

— И вам известно, что она там делает? — воскликнула миссис Броуди.

Агнес прикрыла глаза ресницами и покачала головой.

— Не знаю наверное, — отвечала она, понизив голос, — но я слышала (только это слухи, я за них не отвечаю, имейте в виду), что она поступила куда-то прислугой.

— Прислугой! — ахнула мама. — О господи! До чего я дожила! Ужас! Что бы сказал ее отец, если бы узнал об этом. Дочь Броуди — прислуга!

— А к чему же еще она пригодна? — потрянула головой Агнес. — Слава богу, что она занялась честным трудом, если только это правда.

Несмотря на ее близость к семье Броуди, Агнес испытывала приятное чувство собственного морального и социального превосходства, сообщая будущей свекрови эти новости, которые с жадностью выудила из городских пересудов.

— Прислуга в Лондоне! — повторила мама тихо. — Ужасно! Неужели эти люди из Дэррока не могли что-нибудь для нее сделать?

— Вот в том-то и дело, — подхватила Агнес. — Эти Фойли хотели в память сына взять ребенка и увезти его с собой в Ирландию. Вы, верно,

знаете, что они вернулись туда. Конечно, всякие ходят слухи, не всем им можно верить, но мне думается, что, когда ребенок умер, они постарались как можно скорее избавиться от Мэри.

Миссис Броуди отрицательно покачала головой.

— Это им было бы нетрудно, — возразила она, — Мэри всегда была очень независима. Она бы ни от кого не приняла подачки — нет, она прежде всего пошла бы работать, чтобы прокормиться.

— Ну как бы там ни было, а я сочла нужным вам сказать то, что знаю, мама. И во всяком случае, вы за нее больше не ответственны. Конечно, я ей зла не желаю, хотя она и замарала имя моего жениха. Будем надеяться, что она когда-нибудь раскается. Но сейчас вам есть о ком подумать, кроме нее.

— Ох, правда, Агнес! Суждено мне проглотить и эту горькую пилюлю. Должна вам сказать, никогда я не была высокого мнения о Мэри и оценила ее только тогда, когда ее лишилась. Но я постараюсь забыть ее, если смогу, и думать о тех, кто у меня остался. — Она тяжело вздохнула. — Что такое с нашим бедным Мэтом, ума не приложу! Меня просто убивает эта неизвестность. Может быть, он болен, как вы думаете?

Обе женщины перешли теперь к этой столь живо интересующей их теме, и после минутного раздумья мисс Мойр с сомнением покачала головой.

— Он ничего не писал о своем здоровье, — сказала она. — Я знаю, что он раз или два не был на службе, но вряд ли это из-за болезни.

— Может быть, он не хотел нас тревожить, — неуверенно предположила миссис Броуди. — Там и лихорадка свирепствует, и желтуха, и всякие-всякие ужасы в этих жарких странах. Он мог, наконец, получить даже солнечный удар, хотя нам-то здесь, когда кругом такая масса снега, трудно это себе представить. Мэт никогда не отличался крепким здоровьем. — И она непоследовательно прибавила: — У него слабая грудь, и зимою он всегда болел бронхитом, его приходилось очень тепло одевать...

— Ах, мама, — нетерпеливо перебила Агнес, — не будет же он болеть бронхитом в жарком климате! В Калькутте никогда не бывает снега.

— Знаю, Агнес, — твердо возразила миссис Броуди, — но такая болезнь могла затаиться у него внутри еще раньше, а в жаркой стране, когда все поры открыты, простудиться так же легко, как плюнуть.

Агнес, видимо не склонная согласиться с таким ходом мыслей, сразу пресекла его, промолчав в ответ на реплику мамы. Потом сказала с расстановкой:

— А я боюсь, не оказывают ли на Мэта дурное влияние какие-нибудь

чернокожие. Там есть какие-то раджи, богатые языческие князья, про которых я читала ужасные вещи, и они могли совратить Мэта. А Мэта легко соблазнить, очень легко, — добавила она серьезно, вспоминая, вероятно, действие ее собственных чар на впечатлительного юношу.

Миссис Броуди немедленно представила себе, как все владыки Индии, прельстив ее сына драгоценностями, совращают его с пути истинного, но с негодованием отвергла неожиданное и устрашающее предположение Агнес.

— Как вы можете говорить подобные вещи, Агнес! — воскликнула она. — Он в Ливенфорде вращался только в самом лучшем обществе. Вам ли не знать этого? Никогда он не водился с беспутными людьми и не любил дурной компании.

Но Агнес, которая для благочестивой христианки слишком много понимала в этих вопросах (такой прозорливостью она, конечно, была обязана чудесной интуиции любви), неумолимо продолжала:

— Ну уж если на то пошло, так я вам скажу, мама, хотя мне и выговорить такие слова стыдно: там есть порочные, страшно порочные соблазны... например, танцовщицы, которые умеют чаровать змей и танцуют без... без... — Мисс Мойр опустила глаза и многозначительно умолкла, краснея, а пушок на ее верхней губе стыдливо трепетал.

Миссис Броуди смотрела на нее такими испуганными глазами, как будто увидела целое гнездо тех змей, о которых говорила Агнес; потрясенная ужасающей неожиданностью мысли, которая никогда раньше ей не приходила в голову, она уже видела в своем воображении одну из этих бесстыдных гурий, бросившую чаровать пресмыкающихся только для того, чтобы, очаровав ее сына, лишить его нравственности.

— Мэт не такой! — сказала она, задыхаясь.

Мисс Мойр деликатно подобрала губы и подняла густые брови с миной женщины, которая могла бы открыть миссис Броуди такие тайны относительно страстной натуры Мэта, которые ей и во сне не снились. Цедя из чашки какао, она всем своим видом как бы говорила: «Вам пора бы лучше знать своих детей. Только благодаря моей стойкой добродетели и девичьей непорочности ваш сын сохранил чистоту».

— Но ведь у нас нет никаких доказательств, не так ли, Агнес? — причитала миссис Броуди, окончательно устрешенная непонятной миной Агнес.

— Разумеется, доказательств у меня нет, но ведь это ясно, как дважды два четыре, — сухо ответила мисс Мойр. — Если уметь читать между строк его последних писем, так видно, что он вечно торчит в каком-то клубе,

играет в бильярд, а по ночам ходит куда-то с другими мужчинами и курит напропалую, дымит, как паровоз. — Помолчав, она прибавила недовольным тоном: — Не следовало совсем позволять ему курить. Это был уже первый шаг по дурной дороге. Мне никогда не нравилось его пристрастие к сигарам. Это было чистейшее мотовство.

Миссис Броуди так и поникла под тяжестью этого прямого обвинения в том, что она поощряла первые шаги сына по гибельному пути.

— Но, Агги, — пролепетала она, — ведь вы тоже ему позволяли курить, и я не видела в этом ничего дурного. Он уверял, что вы это одобряете и находите в этом мужественность.

— Но вы ему мать! Я говорила это, только чтобы доставить мальчику удовольствие. Вы знаете, что я для него готова была на все! — возразила Агнес, не то сморкаясь, не то всхлипнув.

— Да, и я тоже для него на все была готова, — сказала миссис Броуди беспомощно, — но теперь не знаю, чем все это кончится.

— Я серьезно думаю, что вам следовало бы заставить мистера Броуди написать Мэту строгое письмо... напомнить ему о долге, об его обязанностях по отношению к тем, кого он оставил на родине, и все такое. Я нахожу, что давно пора что-нибудь сделать.

— Нет, ничего не выйдет, — поспешно возразила миссис Броуди. — Отец ни за что не согласится. Я никогда не посмею с ним и заговорить об этом. Где уж мне! Да и, кроме того, никогда отец Мэта не сделает такой вещи. — Она даже вся задрожала при мысли о таком шаге, резко противоречившем ее неизменной линии поведения относительно мужа, стараниям скрыть от него все, что могло бы вызвать гнев владыки. И, печально покачав головой, она прибавила: — Мы с вами, Агнес, сделаем сами что возможно, потому что отец его и пальцем не шевельнет, чтобы помочь ему. Это, быть может, неестественно, но что делать, такой уж человек. Он считает, что сделал для Мэта больше, чем обязан был сделать.

У Агнес был недовольный вид.

— Я знаю, Мэт всегда боялся... всегда так почитал отца, — настаивала она. — И уверена, что вы бы не хотели нового позора для семьи.

— Мне не хочется спорить с вами, Агнес, но, право же, вы ошибаетесь. Никогда я не поверю, чтоб мой мальчик был способен на что-нибудь дурное. Вы встревожены, как и я, и это натолкнуло вас на такие мысли. Потерпите немного — на будущей неделе мы непременно получим целый короб добрых вестей.

— Что же, давно пора, я нахожу, — отозвалась мисс Мойр ледяным тоном, который показывал ее досаду на миссис Броуди и все растущее

возмущение против всей семьи Броуди в целом — возмущение, рожденное недавним скандалом с Мэри. Грудь ее бурно колыхалась, и с уст уже готов был сорваться горький и колкий упрек, но неожиданно у входной двери задребезжал звонок, и ей пришлось с пылающими щеками бежать в кондитерскую и отпустить пришедшему малышу незначительное количество конфет. Этот крайне унижительный для ее достоинства промежуточный эпизод ничуть не восстановил душевного равновесия Агнес, наоборот, вызвал вспышку раздражения, и, когда звонкий голос покупателя, требовавшего на полпенни полосатых леденцов, отчетливо прорезал тишину, Агнес окончательно разозлилась.

Ничего не подозревая о строптивой злобе, бушевавшей в пышной груди мисс Мойр, миссис Броуди сидела, скорчившись, в кресле перед печкой, уткнув костлявый подбородок в мокрый и облезлый воротник котиковой жакетки. Вокруг нее клубился мокрый пар, а душу раздирали ужасные сомнения, не виновна ли она в каких-то неизвестных ей, неопределенных слабостях Мэта, так как неправильно его воспитывала. У нее мелькнули в памяти слова мужа, которые он часто повторял лет десять тому назад. С тоскливой тревогой вспомнила она презрительную мину, с какой Броуди, уличив ее в какой-нибудь очередной поблажке Мэту, ворчал на нее: «Ты только портишь своего слюнтяя! Хорошего же мужчину ты из него сделаешь!» Она действительно всегда старалась оправдывать Мэта перед отцом, оберегать его от суровости жизни, баловала его и предоставляла ему преимущества, которыми не пользовались остальные ее дети. У Мэта никогда не хватало смелости открыто пропустить занятия в школе, и если ему, как это часто бывало, хотелось прогулять день или он почему-либо боялся в этот день идти в школу, он приходил к ней, к матери, хромая и хныча: «Мама, меня тошнит. У меня живот болит». И всякий раз, когда он притворялся, что у него болит то или другое, он начинал прихрамывать, ковылять походкой хромой собаки, как будто боль из любой части тела тотчас же переходила в ногу, делая его неспособным к ходьбе. Мать, конечно, видела его насквозь, но, несмотря на то что не верила ему, она, в приливе нерассуждающей материнской любви, всегда сдавалась и отвечала: «Тогда ступай к себе в комнату, сынок, я принесу тебе туда чего-нибудь вкусного. Твоя мать тебе всегда друг, Мэт, ты это знай». Ее чувства, осмеянные и подавленные, искали выхода, и она щедро изливала их на сына, а атмосфера черствости, царившая в их доме, вызывала в ней настоящую потребность привязать Мэта к себе узами любви. Неужели же она испортила его своим потворством? Неужели ее снисходительная, всепрощающая любовь превратила сына в слабовольное существо? Но как

только мозг миссис Броуди сформулировал эту мысль, сердце с возмущением ее отвергло. Оно говорило ей, что Мэт встречал с ее стороны только ласку, кротость и терпение, что она желала ему только добра. Она служила ему как рабыня, стирала, штопала, вязала для него все, чистила ему обувь, стлала постель, стряпала для него самые вкусные блюда.

«Да, да, — бормотала она про себя, — я из кожи лезла для этого мальчика. Конечно, он не может меня забыть. Я для него вырывала у себя кусок из рта».

Она вспоминала весь труд, положенный ею на сына, начиная от стирки его первых пеленок и кончая укладкой его сундука перед поездкой в Индию, и нынешнее поведение Мэта ставило ее лицом к лицу с ошеломляющим сознанием бесплодности всего этого труда и всей ее любви к нему. Она растерянно спрашивала себя, неужели это только ее глупость виновата в том, что все ее постоянные самоотверженные усилия пропали даром и сын теперь равнодушен к ней и оставляет ее в такой мучительной неизвестности.

Неожиданный шум заставил ее вздрогнуть, и, рассеянно подняв глаза, она увидела, что Агнес воротилась и говорит ей что-то. В нервном тоне Агнес звучало плохо скрытое негодование.

— Мама, — воскликнула она, — я выхожу замуж за Мэта! Я намерена стать его женой и желаю знать, что для этого будет сделано. Вы должны немедленно принять какие-нибудь меры.

Миссис Броуди смиренно глядела на нее своими кроткими и влажными голубыми глазами из-под комичной обтрепанной шляпки.

— Не накидывайтесь на меня так, Агнес, милая, — сказала она мягко. — Мне без того достаточно пришлось вытерпеть, и я не заслужила ваших резкостей. Вы же видите сами, что я не могу вам ничего ответить. — И она прибавила тихо: — Я конченный человек.

— Все это очень хорошо, — крикнула Агнес в приливе раздражения, — но я не намерена таким образом терять Мэта. Он — мой, и я его никому не уступлю.

— Полно, Агги, — уговаривала ее мама разбитым голосом, — ведь ничего еще не известно. Мы не знаем, что там происходит. Мы можем только молиться. Да, только это нам и остается. Мне бы хотелось вместе с вами помолиться здесь, в этой самой комнате. Быть может, Всевышний, который смотрит сейчас сверху на Мэта в Индии, взглянет и на нас, двух несчастных женщин, и пошлет нам утешение.

Агнес, в которой затронули ее слабую струнку, смягчилась, чопорность ее исчезла, в глазах померк сердитый блеск, и она сказала:

— Пожалуй, вы правы, мама. Это даст нам утешение.

Затем, скорее из вежливости, чем из других соображений, она спросила:

— Хотите вы читать молитву или мне читать?

— Ты лучше меня умеешь, — сказала скромно миссис Броуди. — Помолись от нас обеих.

— Хорошо, мама.

Они опустились на колени в маленькой тесной комнатке, среди беспорядочно загромождавших пол бутылок, ящиков, жестянок, среди разбросанной тут же упаковочной соломы и опилок. Алтарем им служил ящик, образ заменяла реклама, висевшая в рамке на стене. Но это их не смущало.

Агнес, стоя на коленях, выпрямившись и напрягая все свое толстое короткое тело, по-мужски крепкое, начала молиться вслух громким, твердым голосом. Среди благочестивых членов тех религиозных обществ, в которых состояла Агнес, она славилась красноречивым жанром своих импровизированных молитв, и теперь слова лились с ее губ плавным потоком, как излияния какого-нибудь молодого и горячо верующего священника, молящегося о грехах рода человеческого. Но мисс Мойр не молила, а как будто требовала, ее темные глаза сверкали, полная грудь волновалась — так настойчиво она взывала к Богу. Весь пыл своей души вложила она в эту страстную молитву. Слова были стереотипные, надлежаше смиренные, но, в сущности, это была трепетная мольба к Всемогущему, чтобы он ее не надувал, не отнял у нее мужчину, которого она пленила и покорила теми скудными прелестями, какими была наделена. Ни один мужчина, кроме Мэта, никогда и не смотрел на нее. Она знала, как слабы ее чары, знала, что, если Мэт от нее ускользнет, она может никогда не найти мужа. Только радужные надежды на будущее сдерживали в известных границах бурлившие в ней подавленные желания, и она безмолвно молила Бога, чтобы он не лишил ее возможности удовлетворить эти желания в освященном церковью браке.

Мама, в противоположность Агнес, опустилась на пол какой-то бесформенной массой, похожая на кучу поношенного тряпья. Голова ее безвольно поникла в смиренной мольбе, трогательно-голубые, как незабудки, глаза были залиты слезами, нос раздулся. Громкие стремительные слова молитвы, ударяя ей в уши, вызвали в ее воображении образ сына, и сначала она прибегала к носовому платку украдкой, потом уже чаще и, наконец, заплакала, не скрываясь. Казалось, даже сердце ее все время непрерывно выстукивает: «О Боже, если я виновата перед Мэри, не

карай меня слишком строго. Не отнимай у меня Мэта. Оставь мне сына, чтобы было кому любить меня».

По окончании молитвы наступило долгое молчание, потом Агнес встала и, протянув руку миссис Броуди, помогла встать и ей. Стоя одна против другой в тесной и дружеской близости, обе женщины смотрели друг на друга с взаимным пониманием и сочувствием. Мама тихонько кивнула головой, словно говоря: «Это поможет, Агнес. Это было чудесно!» Казалось, молитва вдохнула в них новые силы. То, что они излили все свои надежды, опасения и чаяния неведомому существу на небесах, всемогущему и всеведущему, утешило, укрепило и ободрило их. Теперь они были уверены, что с Мэтом все будет благополучно, и, когда миссис Броуди наконец собралась уходить, отдохнувшая и повеселевшая, они с Агнес обменялись взглядом, говорившим о тайном и радостном сообщничестве, и нежно поцеловались на прощание.

III

В середине марта в пустовавшем помещении рядом с лавкой Броуди закипела работа. Раньше эта пустая лавка была для Броуди бельмом на глазу, и он поглядывал на нее с презрительным неудовольствием. Но сразу после сообщения Дрона о том, что она продана Манджо, он начал смотреть на нее уже по-иному, с какой-то своеобразной и еще более сильной, чем раньше, неприязнью.

Всякий раз, как он входил в свою лавку или выходил из нее, он бросал исподтишка ненавидящий взгляд на пустое и запущенное соседнее помещение так торопливо, как будто боялся, что кто-нибудь этот взгляд перехватит, и так злобно, как будто вымещал на этом неодушевленном предмете свое мрачное настроение. Два пустых окна уже не были для него только пустым местом, а чем-то, что он ненавидел, и каждое утро, когда он проходил мимо, и боясь и надеясь, что в них появятся признаки вселения нового соседа, но взгляд его встречал все ту же пустоту и ветхость, он испытывал непреодолимое желание изо всей силы швырнуть тяжелый камень и разбить вдребезги эти стекла, за которыми зияла пустота. Так день за днем прошла целая неделя, и ничего не произошло. Это злило Броуди, он напряженно ждал боя и уже начинал думать, что все это — просто гнусное измышление Дрона, что Дрон состряпал эту историю, чтобы его задеть. В течение целого дня он был убежден, что лавка вовсе не продана, и весь тот день громко насмеялся над всеми, выступал с победоносным видом. А на следующее утро его иллюзии рассеялись: в «Ливенфордском листке» появилось короткое извещение о том, что фирма Манджо открывает в начале апреля новое отделение на Хай-стрит, № 62, и в следующем номере будут даны самые подробные сведения.

Борьба, происходившая только в больном воображении Броуди, борьба между ним и пустой лавкой, возобновилась с еще большим ожесточением, чем прежде.

Вскоре после появления в «Листке» этого претенциозного объявления в лавку Броуди явился щегольски одетый, весьма учтивый посетитель и с любезной, несколько заискивающей улыбкой представился, предъявив Броуди свою визитную карточку.

— Мистер Броуди, как видите, я районный уполномоченный фирмы «Шляпы и галантерея Манджо». Я хочу, чтобы мы были друзьями, — сказал он приветливо, протягивая руку.

Броуди был ошарашен, но ничем этого не показал. Он сделал вид, что не замечает протянутой руки гостя, и сохранил свой обычный тон.

— Вы только за этим и пришли? — спросил он отрывисто.

— Я понимаю ваши чувства, они вполне естественны, — снова начал гость, — вы нас уже считаете своими врагами. Но, право, это не совсем так. В известном смысле мы с вами, конечно, конкуренты, но опыт показал, что часто двум предприятиям одного и того же характера — вот как ваше и наше — выгодно бывает объединиться.

— Вот как! — бросил иронически Броуди, когда его собеседник сделал внушительную паузу. Тот, не зная, какой человек перед ним, и не замечая симптомов нарастающего в нем гнева, с воодушевлением продолжал:

— Да, именно так, мистер Броуди. Мы находим, что такая комбинация даст возможность привлечь больше покупателей, а это, конечно, выгодно для обоих магазинов. Мы увеличим торговлю и будем делать барыши! Вот наша арифметика, — заключил он, как ему казалось, очень эффектно.

Броуди смотрел на него ледяным взглядом.

— Все, что вы тут наговорили, — гнусное вранье, — сказал он грубо. — Не думайте, что вам удастся мне заговорить зубы, и не ставьте мое предприятие наравне с вашим ярмарочным балаганом, торгующим побрякушками. Вы пришли сюда как браконьеры, чтобы поохотиться в чужих владениях, и я поступлю с вами, как поступают с браконьерами.

Посетитель усмехнулся:

— Вы шутите, конечно. Я представитель фирмы, пользующейся солидной репутацией, у нас повсюду имеются филиалы, мы не браконьеры. Открыть здесь новое отделение поручено мне, и я хочу с вами объединиться. А вы, — добавил он льстиво, — вы вовсе не похожи на человека, неспособного понять выгодность такого сотоварищества.

— Не говорите мне о вашем проклятом сотовариществе, — закричал Броуди. — Это вы, видно, называете так кражу клиентуры у других предприятий?

— Надеюсь, вы не собираетесь нас убеждать, что имеете какое-то монопольное право на торговлю шляпами в Ливенфорде? — возразил уже с некоторым негодованием представитель Манджо.

— Наплевать на право! В моих руках сила, и я вас уничтожу! — Он выразительным жестом согнул свои мощные бицепсы. — Я разорю вас в пух и прах.

— Право, мистер Броуди, это детские рассуждения. Объединяться всегда выгоднее, чем конкурировать. Впрочем, если вы предпочитаете войну, — он сделал жест извинения, — так у нас, знаете ли, большие

преимущества. Нам уже и раньше, при аналогичных обстоятельствах, приходилось снижать цены, и мы свободно можем сделать это и сейчас.

Броуди бросил пренебрежительный взгляд на визитную карточку, которую до тех пор мял в руке.

— Послушайте, мистер... э... мистер... ну, все равно, как вас там зовут... вы говорите, как говорят в грошовых романах. Я не намерен ни на один фартинг снизить цены, — протянул он с презрительным сожалением. — У меня здесь большие связи, вот и все, и такой человек, как я, сумеет их сохранить.

— Что ж, я вижу, вы во что бы то ни стало добиваетесь открытой вражды между нами, — отрывисто заметил посетитель.

— Клянусь Богом, — загремел Броуди, — вот первое верное слово, какое я от вас услышал за все время, и надеюсь, что оно будет и последним!

После этих достаточно недвусмысленных заключительных слов представитель Манджо повернулся и спокойно вышел из лавки, а на следующий день — пятнадцатого марта — в помещении рядом появилась небольшая бригада рабочих.

Они начали работать, выводя Броуди из себя шумом, который производили, каждым стуком молотков, который с раздражающей монотонностью отдавался у него в мозгу. Даже во время перерывов, когда было тихо, их присутствие не давало Броуди покоя, он ожидал, что вот-вот возобновится это стаккато молотков, и, когда оно начиналось, кровь в его висках стучала тем же самым опасным ритмом. Когда сквозь смежную стену доносился режущий визг пил, он вздрагивал, как будто эти пилы пилили ему кости, а холодный стальной звук зубил о камень заставлял его хмуриться, как будто это они высекали в его лбу, между глазами, глубокую вертикальную морщину ненависти.

Помещение приводилось в порядок. Рабочие трудились усердно и, стремясь возможно скорее закончить свое дело, работали сверхурочно: двойная плата, видно, ничего не составляла для фирмы Манджо! К концу недели были сняты ветхие оконные рамы, дверь, полки и прилавки, все обветшавшие остатки прошлого, и теперь оголенный фасад лавки зиял перед Броуди ухмыляющейся маской, в которой окна без рам напоминали слепые глазные впадины, а пустой прямоугольник дверей — разинутый беззубый рот. Потом пришли маляры и штукатуры и соединили свои усилия с усилиями столяров и каменщиков. Благодаря их трудам и искусству общий вид лавки заметно менялся с каждым днем. Броуди бесила каждая фаза этого процесса, и его растущая антипатия к преобразившемуся зданию распространялась и на рабочих, которые, не

жалая труда, так прекрасно его перестроили, сделали его самым красивым и самым современным магазином в городе. Когда один из этих людей как-то раз зашел к Броуди и, дотронувшись до шапки, вежливо попросил разрешения взять ведро воды, чтобы вскипятить чай себе и товарищам, так как у них временно закрыт водопровод, Броуди выгнал вон удивленного рабочего. «Воды! — прорычал он. — Вода вам понадобилась? И вы имеете нахальство приходить сюда за тем, что вам нужно! Ничего вы не получите. Если бы даже вся ваша банда жарилась в аду, я бы ни одной каплей не смочил ничьего языка. Убирайтесь вон!»

Но его недоброжелательство не мешало ходу работы, оно даже, как казалось самому Броуди, ускоряло ее, и он со злобой наблюдал, как вставили толстые зеркальные стекла, отливавшие зеленоватым блеском, как за ночь, словно грибы, вырастали ящики для образцов со стеклянными крышками. Появилась и нарядная вывеска — она так и сверкала! И наконец, в довершение всего, перед его глазами в ярком свете дня над входом водрузили модель громадного, щедро позолоченного цилиндра, который при малейшем ветерке весело покачивался.

Все это время Броуди перед людьми ничем не обнаруживал своих чувств. Он щеголял спокойным равнодушием, гордость не позволяла ему говорить о том, что его мучило. Перед знакомыми, шутившими насчет вторжения его конкурента, он делал мину глубочайшего пренебрежения к новой фирме и напоенные желчью остроты Грирсона в Философском клубе отражал притворной беспечностью и высокомерным безразличием.

Общее мнение было таково, что Броуди, несомненно, одержит победу над пришельцами.

— Я считаю, что они продержатся месяцев шесть, не больше, — сказал группе избранных мэр Гордон как-то вечером в клубе, в отсутствие Броуди. — А потом Броуди их выживет отсюда. Если его заденешь — это настоящий дьявол! Право, он вполне способен подложить заряд пороха под их красивую лавку.

— Это был бы рискованный номер при его склонности легко взрываться, — вставил Грирсон.

— Он их уничтожит, — повторил мэр. — Я просто поражаюсь Джемсу Броуди. Не знаю ни одного человека, который способен был бы, как он, перенести такую ужасную неприятность и срам из-за дочери, глазом не моргнув, не вешая голову ни на миг. Когда он чего-нибудь захочет, он превращается в настоящего сатану.

— А я вовсе не так в этом уверен, как вы, Гордон, нет, нет, — возразил кто-то. — Я не уверен, что он своей необузданностью сам не испортит все

дело. Ведь он упрямством перещегооляет любого мула. Потом, знаете, Гордон, он до того зазнается, что людям, даже тем, кому он сначала нравился, начинают уже немного надоедать его спесь и барские замашки. Это совсем как семга: съешь немножко — приятно, а если тебя будут ею кормить все время, так тебя от нее начнет мутить.

Видя себя предметом общего внимания и улавливая довольно благосклонный оттенок этого внимания, Броуди решил, что общество поощрительно относится к нему, как к защитнику старого почтенного уклада в городе от нашествия сторонников модной мишуры, и еще больше стал заботиться о своей наружности, заказал себе два новых костюма из самого лучшего и дорогого сукна, купил у ювелира на площади красивую опаловую булавку в галстук, которую и носил теперь вместо прежней простой золотой подковы. Эта булавка немедленно обратила на себя внимание его приятелей, она переходила из рук в руки, и все восторгались ею.

— Я хоть и не знаток, а вижу, что камень хороший, — сказал, посмеиваясь, Гирсон. — Надеюсь, его покупка вас не разорила.

— Нечего мерить на свой аршин. Я сам знаю, что мне по средствам, а что нет, — обрезал его Броуди.

— Ну, ну, не сердитесь, я и не думал сравнивать ваши достатки со своими. Вы так сорите деньгами, что у вас их, наверное, целая куча. Ручаюсь, что и на черный день немало отложено, — пришепетывая, сказал Гирсон, проникательно и насмешливо заглядывая Броуди в глаза.

— Говорят, опал приносит несчастье. У свояченицы моей было кольцо с опалом, и оно принесло ей уйму всяких бед. В том самом месяце, когда она купила его, она поскользнулась и сильно расшиблась, — сказал Пакстон.

— Со мной этого не случится, — хрипло возразил Броуди.

— И вы не боитесь носить его? — приставал Пакстон.

Броуди пристально взглянул на него.

— Пора бы вам знать, Пакстон, что я ничего на этом свете не боюсь, — сказал он медленно.

Любопытно, что Джемсу Броуди, который тщательно заботился о собственном туалете и наружности, ни на минуту не приходило в голову придать и своей унылой лавке более щеголеватый вид, подновить ее хотя бы снаружи. Он как будто гордился ее неизменным мрачным и грязноватым видом, который теперь особенно бросался в глаза. Когда Перри, все время завистливо любовавшийся слепящим великолепием соседнего магазина, указал ему на этот контраст и робко заметил, что хорошо бы немножко

подкрасить фасад их лавки, Броуди ответил внушительным тоном: «И пальцем не позволю коснуться! Пускай кто хочет покупает себе шляпы в размалеванном паноптикуме, а у меня предприятие для джентльменов, и я сохраню его таким, как есть». Такова была позиция Броуди в ожидании первого натиска противника.

Когда вся перестройка и реставрация были закончены, наступил наконец день открытия лавки конкурента. За последнюю неделю марта были проделаны просто чудеса, и «Листок» отвел целый столбец торжественному извещению о том, что 1 апреля произойдет открытие нового предприятия. Весь день накануне открытия за плотными зелеными занавесями и железной шторой, закрывавшей вход, чувствовалось что-то таинственное, сокровенное, и сквозь эту завесу видно было только, как районный уполномоченный фирмы, командированный сюда, в новое отделение, чтобы наладить дело в первые несколько месяцев, беспокойно летал с места на место, как тень, как символ тайны. Очевидно, тактика фирмы Манджо состояла в том, чтобы в день открытия сразу ослепить Ливенфорд выставкой товаров. Они собирались, открыв витрины, потрясти весь город тем, что он увидит в них.

Таковы, по крайней мере, были иронические предположения Броуди, когда он 1 апреля, как всегда, в половине десятого, не раньше и не позже, вышел из дому и направился обычной дорогой в лавку. Шагая в полном спокойствии по Хай-стрит, он выглядел самым беззаботным человеком в Ливенфорде, но это спокойствие было, пожалуй, чуточку слишком подчеркнутым. Он тешил свое тщеславие сатирическими размышлениями, которые еще больше укрепляли его веру в себя и заглушали глухое предчувствие, вот уже много дней мелькавшее где-то в глубине сознания. Теперь, когда пришел к концу томительный период ожидания и началась борьба, он снова был господином своей судьбы, и его осанка как бы говорила: «Только дайте дорваться до боя! Я ждал этого все время. И если вы готовы, то, клянусь Богом, я тоже готов!» Он любил борьбу.

Кроме того, на этот раз его задор еще прищипывала бессознательная надежда, что в пылу сражения душа его стряхнет с себя тяжкое и тайное уныние, рожденное недавним ударом по его семейной гордости. Он уже предвкушал радость борьбы и мысленно твердил, что он им покажет, из какого теста сделан Джемс Броуди, опять покажет всему городу, какой он человек, и полной победой над этими людишками Манджо восстановит свой престиж в городе, поднимет его даже выше прежнего. Держась прямо, выпятив грудь, закинув за плечо свою трость — этого он не делал уже много месяцев, — он беспечно шагал вперед.

Дошел до нового магазина и тотчас убедился, что наконец он открыт. Человек более мелкого масштаба осмотрел бы магазин уголком глаза, как будто невзначай, мимоходом, но такое осторожное подсматривание было не в характере Броуди. Он открыто, даже демонстративно, остановился посреди тротуара и, все еще держа трость на плече, расставив ноги, откинув назад голову, разглядывал с ироническим видом оба окна.

Нарочитая усмешка играла на его лице. Он даже затрясся от грубого хохота. Всем своим видом он выражал восторг по поводу того, что эта выставка оказалась еще более мишурной и нелепо модной, чем он смел надеяться, еще более смехотворной, чем он предвидел в самых своих невероятных ожиданиях. Одно окно было сверху донизу загромождено шляпами — шляпами всевозможных форм, сортов и фасонов, — которые высились в несколько ярусов среди фестонов из лент и букетов из цветных платочков, красиво перемежались, для украшения, гирляндами чулок и носков, осенялись целым строем перчаток, сгруппированных так, что они образовали нечто вроде листьев папоротника, с пустыми, изящно растопыренными пальцами. Тактичным, но вполне ясным указанием на то, что эта потрясающе художественная выставка носила не исключительно декоративный характер, служили прикрепленные ко всем товарам этикетки со штемпелем «М. Ш. Г.» и ценой, обозначенной внизу красными цифрами. Броуди осмотрел всю эту сложную картину, но его презрительно-насмешливый взгляд прикован был главным образом ко второму окну, где он увидел неожиданное новшество — две восковые фигуры. Восковые фигуры — нет, это что-то невероятное! Однако они стояли там; мужчина с идеальным цветом лица и безукоризненной осанкой смотрел неподвижно, с какой-то томной нежностью на вторую фигуру — мальчика, который, судя по его розовому лицу, большим голубым глазам и ласковой невинной улыбке, был, несомненно, примерным сыном примерного отца. Отец протягивал правую руку, а сын — левую одинаковым изящным жестом, словно говоря: «Вот и мы! Смотрите на нас! Мы стоим здесь для того, чтобы вы нами любовались».

Одеты оба были безупречно, и глаза Броуди переходили от складок на их брюках к ослепительным галстукам, скользили по блестящим, как полированные, воротничкам, торчавшим из карманов носовым платкам снежной белизны, по блестящим носкам, по шляпе фасона «Дерби» с загнутыми полями, украшавшей чело родителя, и хорошенькой шапочке коробком на голове юного отпрыска — пока наконец не остановились на изящной карточке с печатной надписью: «Одеты в магазине „Манджо и К°“. Следуйте их примеру».

— Манекены! — пробурчал Броуди. — Чертовы куклы! Это — не шляпный магазин, а какой-то музей восковых фигур! — Манекены казались ему чем-то очень смешным, их никогда не видывали в Ливенфорде, только в последнее время сюда доходили слухи об этих новшествах, введенных в больших магазинах Глазго, и Броуди полагал, что над ними будет потешаться весь город.

В то время как он стоял перед витриной, с дерзким высокомерием рассматривая ее, из лавки вдруг вышел человек с пакетом, завернутым в коричневую бумагу. Моментально насмешливое настроение Броуди парализовал смертельный испуг, острая тревога ножом вонзилась в сердце. Так они уже начали торговать? Этого человека он никогда не встречал и пробовал теперь успокоить себя, что это, по всей вероятности, кто-нибудь из рабочих задержался в магазине, чтобы окончить недоделанную работу, или приходил собрать забытые инструменты.

Но аккуратно завернутый пакет вызывал подозрения, глубоко волновал его. Он, уже с менее заносчивым видом, оторвал от земли свои точно вросшие в нее ноги и медленно вошел к себе в лавку.

Перри, разумеется, был на месте и, взбудораженный ходом последних событий, приветствовал хозяина с еще более раболепным почтением, чем всегда. Быть может, он лелеял в душе слабую надежду, что появление нового конкурента даст ему случай доказать хозяину, чего стоит такой человек, как он, Перри, и добиться хотя бы частичного осуществления своих загложивших уже было мечтаний.

— Доброе утро, мистер Броуди, сэр.

Специально для этого случая Перри придумал безобидную шутку, которую он считал и остроумной и забавной, и, собрав все свое мужество, рискнул преподнести ее Броуди.

— Сегодня первое апреля, сэр, — начал он нервно. — Заметили вы, какое совпадение? Ведь *они*... — Перри всегда упоминал о новых соседях таким неопределенным образом. — Они открыли свое предприятие как раз в День всех дураков.^[5]

— Ну и что же? — проворчал Броуди, глядя на него из-под насупленных бровей. — Объясни-ка, ты ведь у нас известный умник.

— Видите ли, мистер Броуди, весь город говорит, что вы их оставите в дураках, — выпалил Перри и, видя эффект своего замечания, сочувственно захихикал и завихлялся в приливе гордости, так как Броуди, довольный льстивым намеком Перри на его популярность в городе, удостоил шутку отрывистым смехом и медленно сжал свои длинные пальцы в кулак.

— Да, я их оставлю в дураках, это правда! Я с них посшибу спесь,

соскребу с них позолоту! Они не знают, с кем имеют дело, но я им это покажу, черт возьми!

Он, собственно, не совсем представлял себе, как это сделает, но, хотя у него не было выработано никакого плана, вера его в свою способность раздавить противника в эту минуту восторжествовала над всем.

— Видал чучела в окне? — спросил он рассеянно.

— Да, да, как же, мистер Броуди. Новая выдумка крупных фирм. Довольно оригинально, разумеется, и современно.

В первом опьянении успехом своего красноречия Перри почти возымел оптимистическую надежду, что хозяин тут же на месте закажет парочку этих заинтересовавших его моделей. Глаза его искрились воодушевлением, но он вынужден был их потупить под сверкающим взглядом Броуди, сообразив, что на этот раз он, кажется, ляпнул что-то неподходящее.

— Современно, говоришь? Какой-то дурацкий музей! Перед их окнами будет собираться толпа.

— Но, сэр, — осмелился сказать Перри, — разве это не желательно? Когда людей привлекает витрина, так они скорее и внутрь войдут. Это вроде рекламы.

Броуди одно мгновение тупо смотрел на него, потом сердито прорычал:

— Видно, тебя та же муха укусила, не терпится, чтобы и к нам повалило это стадо. Выведи поскорее заразу из своего организма, не то она будет стоять тебе службы.

Перри смиренно посмотрел на него и сказал кротко:

— Но ведь это было бы выгодно вам, сэр.

Затем, переведя разговор на более безопасную почву, поторопился заметить:

— У них, как видно, в продаже имеется полное обмундирование, сэр.

Броуди хмуро кивнул головой.

— А вы бы не хотели тоже расширить ассортимент, сэр, пустить в продажу хотя бы один-два новых предмета? Скажем, подтяжки или хорошую перчатку? Изящная перчатка — это так изысканно, сэр! — чуть не умолял Перри, распираемый бурлившими в нем идеями.

Но Броуди оставался глух к его вкрадчивым предложениям. Не обращая на приказчика никакого внимания, он стоял, охваченный непривычной для него, внезапно возникшей потребностью самоанализа, думая о своем непонятном отступлении сегодня от неизменного, раз навсегда им заведенного порядка. Почему, спрашивал он себя, он торчит

сейчас в лавке, вместо того чтобы с обычной надменной небрежностью пройти к себе в контору? Он собирается уничтожить конкурента в пух и прах, но не добьется же он этого, сидя спокойно за письменным столом и пытаясь читать «Глазго Херолд»? Он чувствовал, что должен что-то сделать, наметить какую-то определенную линию поведения. И он ходил по лавке и злился на свое бездействие, а его медлительный ум не подсказывал ему никаких конкретных способов борьбы, которой он так жаждал.

Если бы в этом случае могла помочь его страшная физическая сила, он работал бы до седьмого пота, так, что все суставы трещали бы от напряженных усилий. Он готов был бы охватить руками колонны, поддерживающие лавку соседа, и, выдернув их из земли, свалить все здание; но он смутно сознавал всю бесполезность здесь грубой силы, и это сознание причиняло ему острую боль.

В то время как он думал об этом, в лавку вошла женщина, ведя за руку ребенка лет шести. Она, видимо, принадлежала к бедному классу. Подойдя к Перри, который любезно ее приветствовал, она сказала конфиденциальным тоном:

— Мне нужно шапку для моего малыша. Он на будущей неделе поступает в школу!

Перри весь расплылся в сияющей улыбке:

— Пожалуйте, сударыня! Что прикажете предложить для малыша?

Неожиданно Броуди под влиянием какого-то непонятного импульса — вероятно, в приливе свирепой ненависти к конкуренту — выступил вперед, несмотря на то что покупательница явно принадлежала к низшему классу, к тому сорту людей, обслуживать которых он всегда предоставлял Перри.

— Я сам займусь этим, — сказал он жестким, ненатуральным тоном.

Женщина боязливо посмотрела на него, инстинктивный страх перед ним лишил ее последней, и без того слабой уверенности.

Из леди, которая желала выбрать, что ей понравится, которая пришла купить на свои собственные деньги шапку, чтобы приличным образом снарядить сына в школу, подготовить его к этому первому шагу по таинственному жизненному пути, она сразу превратилась просто в жалкую, бедно одетую жену рабочего.

— Прошлый раз мне отпускал вот этот молодой человек, — шепнула она нерешительно, указывая на Перри. — Я приходила сюда в прошлом году, и он мне очень угодил.

Мальчик сразу почувствовал смущение матери, почувствовал и гнет, казалось исходивший от громадной мрачной фигуры, возвышавшейся над ним, и, уткнувшись лицом в юбку матери, жалобно захныкал.

— Мама, я хочу домой, — всхлипнул он. — Не хочу быть здесь. Хочу домой.

— Перестань реветь! Сейчас же перестань, слышишь!

Бедная мать, крайне пристыженная, стояла в беспокойстве и нерешительности, а ребенок продолжал плакать, упорно зарываясь головой в надежное убежище — материнскую юбку. Мать трясла его за плечо, но чем яростнее она его трясла, тем громче он ревел. Она вся покраснела от стыда и досады, она и сама была близка к слезам. «И чего сунулся ко мне этот противный Броуди? Мне нужна шапка для ребенка, а не он», — подумала она сердито, беря на руки ревавшего малыша, а вслух сказала сконфуженно:

— Я лучше приду в другой раз. Это такой гадкий ребенок! Я приду опять, когда он будет хорошо вести себя!

Но в то время, как она приличия ради возводила эту клевету на собственного сына, возмущенный материнский инстинкт подсказывал ей решение никогда сюда не возвращаться. Она направилась к двери и скрылась бы бесповоротно, если бы Перри тихо, дипломатическим тоном не предложил вдруг из угла:

— А не хочешь ли конфетку?

Из потайного уголка ящика он ловко извлек большую мятную лепешку и вертел ее двумя пальцами на виду так заманчиво. Малыш сразу перестал плакать и, выставив из складок материнской юбки один большой, полный слез недоверчивый глаз, посмотрел нерешительно на конфету. При этом благоприятном симптоме мать остановилась, вопросительно глядя на сына.

— Хочешь? — спросила она.

Судорожно всхлипнув последний раз, мальчик доверчиво кивнул головой и протянул к Перри жадную лапку. Они воротились обратно. Конфета живо очутилась за мокрой, лоснящейся щечкой, оттопырив ее, мир был восстановлен, и Перри продолжал успокаивать ребенка, убаживать мать, ухаживать за обоими до тех пор, пока наконец не была благополучно совершена покупка, важность которой Перри сумел дать почувствовать покупательнице. Когда они уходили, он проводил их до двери все с той же суетливой любезностью и, скромно склонив голову, принял последний благодарный взгляд матери, в то время как Броуди, хмурый, надутый, отступив в глубину лавки, смотрел на них оттуда.

Перри воротился за прилавок, весело потирая руки. Этот чужак уважал себя за какие-то воображаемые таланты, не придавая значения тем неоспоримым достоинствам, которые у него имелись, — проворству и сообразительности. Одержав только что победу благодаря своему такту и

дипломатическим способностям, он лишь смиренно радовался, что удалось удержать покупателя на глазах у взыскательного хозяина. Он почтительно посмотрел на Броуди, когда тот заговорил.

— Я не знал, что у нас в придачу к шляпам покупатель получает конфеты. — Вот все, что сказал Броуди. И ушел к себе в контору.

День начался: он тянулся, тянулся, а Броуди все сидел запершись, поглощенный мыслями. По суровому лицу его порой пробегала тень, как облака скользят по темной горной вершине. Он страдал. Он, обладавший железной волей, не мог помешать своим чутким ушам ловить каждый звук, настораживаться в ожидании, не затихнут ли у его лавки приближавшиеся шаги; он не мог им помешать вслушиваться в малейший звук внутри лавки, словно они стремились в шуме суетливых шагов Перри различить шаги вошедшего покупателя. До сих пор он никогда не интересовался этим, а сегодня ему казалось, что звуков меньше обычного и в них нет ничего ободряющего. В окно лился яркий солнечный свет, вся слякоть оттепели исчезла, день был сухой, хрустящий и вместе с тем теплый — слабый намек на близость весны; Броуди понимал, что в такой день улицы полны людей, веселых, оживленных, наводняющих все лавки. А между тем тишину снаружи не нарушали ничьи голоса.

Глухая стена перед глазами Броуди, стена соседней лавки, казалось, таяла под его пронизывающим взглядом и открывала картину кипучей, успешной торговли. После прилива презрительной самоуверенности наступила реакция, и теперь он с мучительной ясностью представлял себе людей, которые толпятся в лавке Манджо, одолеваемые жаждой покупать. Он бешено закусил губу, взял брошенную было газету и сделал попытку читать; но через несколько минут, к своей досаде, поймал себя на том, что опять, как загипнотизированный, смотрит на стену перед собой.

Он с тоской вспомнил, как приятно было раньше сидеть, развалившись в кресле, — ведь только это он и делал у себя в лавке, — следя сквозь полуоткрытую дверь за Перри и теми, кто заглядывал сюда, в его владения. Все обязанности исполнялись Перри, который по его хозяйскому приказу доставал с полок, приносил, показывал товар, сам же он ни разу не встал на лесенку, не поднял руки к полкам, не завязал пакета. Большинство покупателей он просто игнорировал; к некоторым выходил, небрежно кивал им, иногда брал в руки шляпу, показанную Перри, проводил рукой по тулье или сгибал поля с высокомерным одобрением, всем своим видом как будто говоря: «Купите вы эту шляпу или не купите, но лучшей вы нигде не найдете».

И только очень немногих, только какую-нибудь горсточку покупателей

из лучших фамилий в графстве, он принимал и обслуживал самолично.

Как он раньше наслаждался уверенностью, что люди обязательно, когда им понадобятся шляпы, придут к нему! Ибо в своей слепоте самодержца он едва ли отдавал себе отчет в том, что многих приводит к нему только отсутствие других магазинов, что у них до сих пор не было выбора. Теперь же, сидя в одиночестве, он с отчаянием понял, что его монополия, по крайней мере на данный момент, кончилась. Тем не менее он твердо решил не менять своего поведения: как ему раньше не приходилось гоняться за покупателями, так и теперь его не заставят это делать! Никогда в жизни он еще ни перед кем не заискивал и теперь давал себе торжественную клятву, что никогда этого не будет и впредь.

Первое время его жизни в Ливенфорде, такое давнее прошлое, что он почти позабыл о нем, теперь неясно, как в тумане, вспоминалось ему. Но и сквозь этот туман он видел себя человеком, никогда не искавшим ничьих милостей, ни перед кем не лебезившим и не унижавшимся. Тогда у него не было Перри, он работал тяжело, но не искал ничьего покровительства, был честен, энергичен и прямолинеен. И он добился успеха в жизни. Он с гордостью вспоминал, как мало-помалу завоевывал себе имя и положение, как его отличал муниципальный совет, как провели его в члены Философского клуба, как постепенно созрела у него идея нового дома, как дом был выстроен, и с тех пор отношение к нему в городе незаметным образом изменилось, и он создал себе то видное и исключительное положение, какое занимал сейчас. Он говорил себе, что этим обязан знатной крови, которая течет в его жилах, что благодаря ей он достиг тех высот, для которых был рожден, несмотря на все невзгоды его юности, что кровь предков всегда сказывается в человеке, как и в породистом скакуне, что она не изменит ему и на этот раз.

Волна возмущения против тех, кто хотел лишить его достигнутого положения, поднялась в нем. Он вскочил на ноги.

— Пусть попробуют отнять его у меня! — воскликнул он вслух, взмахнув кулаком. — Пусть приходят все! Я сотру их с лица земли, как уничтожаю всех, кто меня задевает. На моем фамильном древе оказалась одна гнилая ветвь — и я отрубил ее. Я разнесу всякого, кто встанет у меня на дороге. Я — Джеймс Броуди, и к черту все и всех! Пускай попробуют украсть у меня торговлю, отнять у меня все, что я имею, пускай! Что бы ни случилось, я всегда останусь самим собой!

Он снова сел в кресло, не заметив даже, что вскочил, не сознавая, что кричит в пустой комнате, и только с жадным удовлетворением цеплялся за эту последнюю, заветную мысль. Он — это он, Джеймс Броуди, и никто не

понимает, никогда не поймет, какое утешение, какая упоительная гордость в этом сознании! Его мысли унеслись от испытаний настоящего в царство восторженной мечты, и, опустив голову на грудь, он весь ушел в блаженное созерцание того дня, когда он сможет беспрепятственно спустить с цепи все необузданные прихоти своей гордости, когда он до пресыщения утолит свою жажду славы и почестей.

Наконец он вздохнул, как человек, который просыпается от сонных грез, вызванных наркотиками, замигал глазами, встряхнулся. Он посмотрел на часы и удивился, увидев, что день кончается и кончается его добровольное затворничество. Поднялся не спеша, широко зевнул, потянулся и, согнав с лица всякий след недавних переживаний, снова надел маску сурового безучастия и сошел в лавку, чтобы, по обыкновению, сосчитать выручку. Это всегда было приятной обязанностью, и он вносил в ее выполнение великолепную важность, словно какой-нибудь знатный феодал, принимающий дань от своих вассалов. Перри всегда предъявлял кучу блестящего серебра, частенько — несколько сверкающих соверенов, а иногда и хрустящую кредитку, и все это перегружалось в глубокий боковой карман хозяина. Проделав это, Броуди бегло просматривал список проданного товара — невнимательно, так как он знал, что Перри никогда его не надувает («Жаль мне этого теленка, если он когда-нибудь вздумает плутовать!» — говаривал он). Потом Броуди, прилепнув оттопыренный карман, брал шляпу и, отдав последние лаконичные распоряжения, уходил, предоставляя Перри запереть лавку и опустить железные шторы.

Но сегодня у Перри был какой-то необычный вид, пришибленный и безутешный. Всегда он открывал кассу размашистым жестом, самодовольным и услужливым, словно говоря: «Я, может быть, и маленький человек, но вот что я добыл для вас сегодня, мистер Броуди». А в этот вечер он выдвинул ящик робко, с заискивающей судорожной гримасой.

— Очень тихий день сегодня, сэр, — сказал он кротко.

— Но погода была хорошая, — возразил с неудовольствием Броуди. — В чем же дело? Сегодня повсюду такое множество людей.

— О да, движение на улицах было большое, — согласился Перри. — Но очень многие... то есть я хотел сказать — некоторые, ушли к... — Он замялся. — Их завлекла витрина, — закончил он неуклюже.

Броуди заглянул в ящик. Там лежали только шесть жалких серебряных шиллингов.

IV

Члены Ливенфордского философского клуба были в сборе. Хотя в этот вечер собрание никак нельзя было назвать пленарным, но комната была уже полна табачного дыма, и налицо имелось шесть членов клуба, которые, расположившись в удобных креслах вокруг приветливого огня в камине, непринужденно философствовали в столь располагающей обстановке. Из шести присутствующих двое были заняты молчаливой игрой в шашки, а остальные, развалясь в креслах, курили, болтали и черпали вдохновение для возвышенных мыслей в гроге, который они часто и с удовольствием прихлебывали.

Разговор велся беспорядочно, и, несмотря на всю выразительность и богатство языка собеседников, паузы порой бывали содержательнее произносимых слов, залп дыма из трубки — более едок, чем какое-нибудь энергичное прилагательное, а взгляды беседующих — глубокомысленны, рассеянны, как будто мысли их витали где-то в высоких сферах. В скромном сознании превосходства своего высокообразованного интеллекта, они восседали в священных апартаментах клуба (месте, где собирались все те честные жители Ливенфорда, кто имел право считать себя людьми более выдающимися, чем их сограждане), находя в этом отличии по меньшей мере удовлетворение. Попасть в члены Философского клуба было уже само по себе достижением, которое сразу накладывало определенный отпечаток на таких счастливых и делало их предметом зависти менее удачливых смертных. Встретясь вечером с кем-нибудь из последних, член клуба непременно говорил как будто невзначай, равнодушно зевая: «Ну, я, пожалуй, схожу в клуб. Сегодня там небольшая дискуссия», и удалялся, провожаемый завистливым взглядом. Для тех, кто не принадлежал к числу избранных, общественный престиж клуба стоял высоко, они приписывали ему глубокое интеллектуальное значение, ибо звучное название «Философский» говорило о чем-то редком и утонченном, о царстве чистого разума. Правда, один классик с дипломом Оксфордского университета, прибывший в качестве учителя в Ливенфордскую школу, сказал своему коллеге: «Знаете, услышав название этого клуба, я очень стремился попасть в члены, но, к моему разочарованию, оказалось, что это просто компания курильщиков и любителей выпить». Но что он понимал, этот невежественный шут-англичанин? Разве ему ничего не было известно об обязательных шести лекциях, которые устраивались в клубе через

регулярные промежутки в течение зимы, причем после каждой лекции происходили длительные дебаты? Разве не видел он красиво напечатанного расписания, которое каждый член клуба неизменно хранил, как амулет, в верхнем правом кармане жилета и в котором указаны были темы докладов и дискуссий на текущий год? Он мог бы, если бы захотел, увидеть в этой программе своими собственными завистливыми глазами следующие глубоко философские темы:

«Наш бессмертный бард» — с чтением отрывков.

«Домашние голуби и их болезни».

«Рост кораблестроения на Клайде».

«Шотландское остроумие и юмор: местные анекдоты».

«Из клепальщиков в мэры» — биография покойного достопочтенного Мэтиаса Глога из Ливенфорда.

Вот какие серьезные доклады намечались в клубе, и если в те вечера, когда мозг собравшихся не отягощался такими глубокомысленными вопросами, когда им не приходилось решать проблемы расового и государственного значения, они и развлекались чуточку, — что же постыдного в том, если люди посудачат, покурят, сыграют партию в шашки или даже в вист? И раз приличное заведение Фими было так удачно расположено, у черного хода клуба, — что за беда, если к ней иной раз посылали за стаканчиком чего-нибудь или даже забежали время от времени в «заднюю комнату»?

Такие аргументы были, конечно, неопровержимы. Кроме того, этот неофициальный совет старейшин имел обыкновение и считал своим долгом подробно обсуждать и критиковать всех людей в городе и их дела. Эта вспомогательная отрасль их философии обнимала столь различные предметы, как, например, сварливый нрав жены Джибсона и необходимость сделать соответствующее внушение Блэру с большой фермы по поводу антисанитарного поведения его коров на проезжей дороге. И особенно отрадной чертой, крайне убедительно доказывающей беспристрастие ливенфордцев, было то, что и самих членов клуба никакие привилегии не избавляли от комментариев со стороны их товарищей.

Сегодня вечером предметом обсуждения был Джемс Броуди. Началось с того, что кто-то случайно бросил взгляд на пустое кресло в углу, некоторое время созерцал его, потом заметил:

— А Броуди сегодня запаздывает. Интересно, придет ли?

— Придет, будьте уверены, — отозвался мэр Гордон. — Никогда еще он не бывал здесь так аккуратно, как теперь. Ему, понимаете ли, нужно поддержать в себе чувство собственного достоинства. — Он оглядел всех,

ища одобрения так удачно выбранному и так благородно звучащему выражению. — То есть я хочу сказать, что ему теперь приходится делать вид, будто все в порядке, иначе все это его окончательно сломит.

Слушатели молчаливыми кивками поддержали мнение Гордона, продолжая пыхтеть трубками. Один из игравших в шашки двинул пешкой, подумал, глядя куда-то перед собой, и сказал:

— Время летит стрелой! Ведь, кажется, уже скоро год, как он выгнал свою дочь из дому в ту ночь, когда была такая страшная гроза?

Пакстон, который славился своей памятью, подхватил:

— Через две недели минет ровно год. Это памятный для всех день, несмотря на то что в Ливенфорде с тех пор никто не видел Мэри Броуди. Я утверждал и теперь утверждаю, что Джеймс Броуди поступил тогда безобразно жестоко.

— А где теперь девочка? — спросил кто-то.

— Да говорили, что Фойли из Дэррока нашли ей место, — отвечал Пакстон. — Но это неправда. Она уехала одна, потихоньку от всех. Доктор хотел ей помочь, а она взяла да и сбежала. Я слышал, что она нашла себе место в одном богатом доме в Лондоне — ни больше ни меньше как прислугой, бедняжка! Фойли уехали в Ирландию, ровно ничего не сделав для нее.

— Это правда, — подтвердил второй игрок в шашки. — Старик Фойль был совсем убит смертью сына... Ужасная история — это крушение на Тэйском мосту. Никогда не забуду той ночи. Я ходил на собрание в общину, и когда возвращался домой, в страшный ветер, то на какой-нибудь дюйм от моего уха пролетела черепица и чуть не снесла мне голову.

— Это было бы бóльшим несчастьем для нашего города, чем потеря моста, Джон, — захихикал Грирсон из своего угла. — Нам пришлось бы соорудить тебе хороший памятник на площади, не хуже, чем та новая красивая статуя Ливингстона в Джордж-сквере. Подумай, какую возможность ты упустил, старина! Угоди в тебя черепица — и ты стал бы одним из героев Шотландии.

— Ну уж теперь им придется новый мост делать покрепче старого, иначе нога моя на него не ступит никогда, — вмешался первый игрок в шашки, прикрывая отступление своего партнера. — Просто скандал, что столько хороших людей погибло напрасно! Я считаю, что те, кто в этом виноват, должны быть наказаны по заслугам.

— Господа Бога не накажешь, дружище, — протянул Грирсон. — На то была Его воля, а к Нему иска не предъявишь, — во всяком случае, этот иск не будет удовлетворен.

— Постыдились бы вы, Грирсон, — счел нужным по праву мэра остановить его Гордон. — Придержите язык, ведь то, что вы говорите, — чистейшее богохульство!

— Ну, ну, не волнуйтесь, мэр. Это так, просто юридический оборот. Ничем я не обидел ни Всемогущего, ни вас, ни всей компании, — ухмыляясь, возразил Грирсон.

Наступила неловкая пауза, и казалось, гармония мирной беседы нарушена, но мэр продолжал:

— Торговля у Броуди в последние дни идет из рук вон плохо: в лавке никогда ни души.

— Да, Манджо торгуют по таким ценам, что опустеет любая лавка, которая попробует с ними тягаться, — заметил Пакстон с некоторым сочувствием. — Они, видно, решили сперва его доконать, а потом уж гнаться за барышами. Похоже на то, что Броуди окончательно разорится.

— Это вы верное слово сказали, — отозвался Грирсон из своего угла с многозначительным видом человека, который мог бы, если бы захотел, дать на этот счет самую подробную и свежую информацию.

— Но он, должно быть, накопил немало, этот Броуди. Он так сорит деньгами — деньги текут у него сквозь пальцы, как вода. Покупает все, чего только душа пожелает, и все самое лучшее, да еще делает вид, что это для него недостаточно хорошо. Посмотрите, как он одевается, какая у него чудная новая булавка и перстень с печаткой, и, наконец, — говоривший осторожно осмотрелся кругом, раньше чем продолжать, — посмотрите, какой великолепный замок он выстроил себе за городом!

Легкий смешок пробежал среди всех слушателей, и они обменялись украдкой взглядами, усиленно подавляя веселье.

— Посмотрите лучше на обувь, которую носит его старая жена, на ее нарядные платья и шикарный вид, — возразил Грирсон. — Поинтересуйтесь его счетом в банке — его дочка Несси в эту четверть внесла плату за учение в школе с опозданием на целых две недели. Заметьте, какое выражение на его надменном лице, когда он думает, что за ним никто не наблюдает. Поверьте мне, этот великий человек — таким ведь он себя воображает — начинает уже немножечко беспокоиться насчет положения своих дел. — И, сильно напирая на каждое слово, Грирсон добавил: — Может быть, я и ошибаюсь, но, по моему скромному мнению, Джемс Броуди переживает сейчас самое худшее время своей жизни. И если он вовремя не спохватится, то очутится там, куда не раз уже сталкивал других людей, — в канаве!

— Да, такой человек, как он, очень легко наживает себе врагов. Кстати,

о канаве: вы мне напомнили один случай. — Пакстон несколько раз сосредоточенно затыкался. — В прошлую субботу я проходил вечером мимо лавки Броуди, и меня остановил какой-то шум. — Пакстон опять попытался трубой. — Гляжу: в лавке перед Броуди стоит здоровенный детина, метельщик улиц, пьяный как стелька, держит в руках пачку ассигнаций — должно быть, всю свою недельную получку — и собирается, как видно, выбросить всю ее на ветер. Стоит перед Броуди качаясь и требует парочку шляп, да парочку фуражек, да то, да другое — сам не знает, что еще. Он готов был закупить всю лавку, честное слово, и за все тут же уплатить. А Броуди (хотя он, наверное, здорово теперь нуждается в деньгах) так и сверкает на него злыми, налитыми кровью глазами... — Дойдя до кульминационного пункта рассказа, Пакстон бесконечно долго сосал свою трубку, но наконец вынул ее изо рта и, выразительно размахивая ею, продолжал: — Броуди посмотрел на него да как зарычит: «Если вы не можете сказать „пожалуйста, сэр“, когда обращаетесь ко мне, так вы ровно ничего здесь не получите. В других местах, может быть, и терпят такое невежество. Ступайте туда, если хотите, а раз вы пришли ко мне, так либо ведите себя прилично, либо убирайтесь вон». Я не слышал, что ему ответил рабочий, но, должно быть, ответ его страшно взбесил Броуди, потому что он выскочил из-за прилавка, схватил парня за горло, и не успел я ахнуть, как он вышвырнул его из лавки прямо в сточную канаву, — и пьяный лежал уже в грязи у моих ног, ошеломленный падением.

Когда Пакстон кончил, наступило многозначительное молчание.

— Да, — вздохнул наконец один из игроков, — нрав у него необузданный, и гордец он ужасный. Эта гордость — его худший враг. И в последние годы ей просто удержу нет. Он горд, как сам сатана.

— И кончит так же, как тот, я думаю, — вставил Грирсон. — Его прямо-таки распирает тщеславие. Оно у него превратилось в настоящую манию.

— А всему причиной — его претензии на родство с Уинтонами. Это просто смешно, — сказал Пакстон, из осторожности понизив голос. — Я готов поклясться, что он воображает себя чуть не герцогом. Странно и то, что он тешится этим про себя, а на людях никогда не хвастает.

— Они его ни за что не признали бы родственником. Пускай у него та же фамилия, пускай он похож на Уинтонов, да что толку в фамилии и сходстве? — сказал первый игрок. — У него нет ни малейших доказательств.

— Боюсь, что в доказательствах этих есть большая загвоздка, —

саркастически заметил Грирсон. — Потому что если он когда-то в давние времена и породнился с Уинтонами, так случилось это, конечно, незаконным порядком. Вот почему наш приятель и предпочитает не болтать об этом родстве.

— Не одним своим родством он так гордится, — сказал с расстановкой Гордон. — Нет, нет, болезнь зашла гораздо дальше. Не хотелось бы, собственно, говорить об этом, да я и сам не вполне уверен... Но я имен называть не буду, а вы обещайте никому не рассказывать. Я слышал это от человека, который разговаривал с Джемсом Броуди, когда тот был мертвецки пьян. Немного есть людей, которые видели его в таком состоянии. Броуди в этих делах очень скрытен. Но в тот вечер виски развязало ему язык, и он...

— Тсс, Гордон, в другой раз доскажешь, — шепнул вдруг Пакстон.

— Почему? Что такое?

— Тише...

— Когда говоришь о дьяволе, то он тут как тут.

— Насчет вашей новой двуколки, Гордон, я вам скажу, что...

В комнату вошел Броуди. Вошел, жмурясь при внезапном переходе из темноты в ярко освещенную комнату, угрюмый, мучимый горьким подозрением, что о нем здесь только что злословили. Его суровое лицо в этот вечер было бледно и пасмурно. Он окинул взглядом присутствующих, несколько молча кивнул, но эти кивки походили скорее на вызов, чем на приветствие.

— Входите, входите, — развязно приглашал Грирсон. — А мы как раз сейчас интересовались, идет ли уже дождь. Ведь он собирался весь день.

— Нет, дождя пока нет, — коротко и резко ответил Броуди. Голос его был глух, утратил свою прежнюю звучность, он, как и замкнутая маска лица, не выражал ничего, кроме стоического терпения. Он вытащил трубку и принялся ее набивать. Старик, исполнявший в клубе самые разнообразные обязанности и облаченный поэтому в зеленый байковый фартук, сунул голову в дверь, и в ответ на его безмолвный вопрос Броуди сказал коротко: — Обычную!

В группе у камина все молчали. Старик ушел, скоро вернулся, осторожно неся большой стакан виски для Броуди, и снова ушел. Только тогда мэр счел своим долгом прервать неловкое молчание и, глядя на Броуди, сказал приветливо, невольно тронутый мертвенной бледностью его лица:

— Ну, Броуди, дружище, как дела? Что новенького на белом свете?

— Дела хороши, Гордон, очень хороши, — ответил Броуди

медленно. — Не могу пожаловаться. — Упрямо-притворное безучастие его тона было почти трагично и никого не обманывало, но Гордон подхватил с нарочитой веселостью:

— Вот и отлично! Это все, что нужно человеку! Мы ждем со дня на день, что увидим в лавке Манджо опущенные шторы.

Броуди выслушал эту вежливую ложь и фальшивый ропот одобрения, последовавший со стороны остальной компании, не с тем удовлетворением, какое они вызвали бы в нем полгода тому назад, а с полным равнодушием, — и это не укрылось от его собеседников. Они могли за глаза, не стесняясь, судачить на его счет, критиковать его, осуждать, даже поносить, но в его присутствии чувства, которые они только что так смело высказывали, заметно поостыли, и они вынуждены были, часто против воли, подавать всякие льстивые реплики, говорить то, чего они не думали и не собирались сказать.

Они считали, что такого человека, как Броуди, благоразумнее ублажать, лучше расположить его в свою пользу, безопаснее поддакивать ему, чем злить. Но сегодня, видя его мрачное настроение, наблюдая исподтишка его застывшее лицо, они решили, что, видимо, железная воля уже начинает ему изменять.

Тихий и вкрадчивый голос из угла нарушил эти размышления, обратясь ко всему обществу в целом:

— Придется вам немножечко еще подождать, пока Манджо опустят шторы, да... Они не собираются закрывать свой магазин, — во всяком случае, они еще чуточку повременят... самую чуточку, — тянул Грирсон.

— А вы откуда знаете? — спросил кто-то.

— Так, имею некоторые частные сведения, — самодовольно ответил Грирсон, выпятив губы, соединив вместе кончики пальцев и сладко улыбаясь всем, а больше всего Броуди, с видом благосклонным и таинственным. Броуди быстро глянул на него из-под кустистых бровей. Он боялся не этого человека, а его хитрых, слащавых речей, которые, как он знал по опыту, прикрывали расчетливую и ядовитую злобу.

— Ну, в чем дело? — спросил Пакстон. — Выкладывай!

Но, умело возбудив всеобщее любопытство, Грирсон вовсе не спешил разглашать свои «частные сведения» и продолжал хитро ухмыляться, мучая всех неизвестностью, дразня их, как Тантала в аду, плодом, который не желал срываться с его губ, пока не станет сочным и спелым.

— Да так, пустое, вам это неинтересно, — мурлыкал он. — Это маленькая местная новостешка, которую мне случайно удалось пронюхать.

— А вы-то знаете, в чем дело, Броуди? — продолжал Пакстон, пытаясь

прекратить это раздражающее состояние неизвестности.

Броуди безмолвно покачал головой и с горечью подумал про себя, что Грирсон первый всегда вмешивается во всякое дело и последний от него отстраняется.

— Это только маленькая, незначительная новость, — повторял Грирсон со все возрастающим самодовольством.

— Так расскажи же ее, ты, хитрый дьявол!

— Ну ладно, если уж вам непременно хочется знать... Районный уполномоченный Манджо уезжает, так как он здесь все прочно наладил... Говорят, у них торговля идет необыкновенно бойко. — Он кротко улыбнулся Броуди и продолжал: — И они сделали к тому же ловкий ход, предложив вакантное место — очень выгодное и почетное — одному ливенфордцу. Да, они предложили, а он принял предложение.

— Кто же это? — закричало несколько голосов сразу.

— О, он действительно парень стоящий, этот новый заведующий местным отделением «Манджо и К^о».

— Да назовите же его наконец!

— Это помощник нашего друга Броуди, не кто иной, как молодой Питер Перри, — возвестил Грирсон и торжествующе помахал рукой Броуди.

Посыпались восклицания:

— Не может быть!

— Старая вдова, его мать, будет без ума от радости!

— Какое повышение для такого юнца!

— Он накинется на это место, как петух на курочку!

После первого взрыва изумления по поводу неожиданной новости у всех мелькнула мысль о значении этой новости для Броуди, и наступило молчание. Все глаза обратились на него. А он сидел совершенно неподвижно, ошеломленный этим известием, и каждый мускул его большого тела был напряжен, зубы сжимали ствол трубки все крепче и крепче, как медленно смыкающиеся тиски. Значит, Перри от него уходит, Перри, на которого он в последнее время всецело полагался, поняв наконец, что сам он уже разучился торговать, и считая к тому же, что он выше этого и, хоть бы и пожелал, не способен унизиться до таких лакейских обязанностей. Громкий треск разрезал настороженную тишину: это Броуди, в приливе внезапной острой горечи, стиснул зубы с такой злобной силой, что прокусил ствол трубки. Как загипнотизированный смотрел он долгую секунду на расколотую трубку в своей руке, потом выплюнул на пол отломанный конец, снова тупо поглядел на разбитую

пенковую трубку и пробормотал про себя, не сознавая, что все его слушают:

— Я любил эту трубку... очень любил. Это была моя самая любимая.

Тут он как будто только что увидел, что его окружает кольцо лиц, что он — точно на сцене и все взгляды устремлены на него. Надо было показать им всем, как он перенесет этот новый тяжкий удар. Нет, еще лучше — показать, что эта новость его вовсе не огорчает. Он потянулся за своим стаканом, поднес его ко рту рукой, твердой как скала, уверенно встретил взгляд Грирсона, немедленно увильнувший от его немигающего взгляда. Он отдал бы в эту минуту свою правую руку за то, чтобы суметь сказать что-нибудь едкое и уничтожающее, от чего Грирсон сразу бы съежился, но, несмотря на отчаянные усилия, его недостаточно гибкий ум, его неподатливый, медлительный мозг ничего не мог придумать, и он сказал только, пытаясь сохранить привычную презрительную мину:

— Это меня ничуть не трогает! Ничуть не трогает.

— Надеюсь, он не перетянет к Манджо никого из ваших покупателей, — озабоченно сказал Пакстон.

— Да ведь, если вдуматься, они выкинули с вами прескверную штуку, мистер Броуди, — вмешался заискивающим тоном один из игроков в шашки. — Перри-то знаком с половиной ваших постоянных покупателей!

— Уж будьте спокойны, эти представители Манджо действуют умело. Дьявольски ловкий народ, надо прямо сказать, — заметил еще кто-то.

— Что до меня, так я нахожу, что это просто трусость со стороны Перри, — задумчиво процедил Грирсон. — Это производит такое впечатление, будто человек спасается, как крыса с тонущего корабля.

Внезапно наступила тишина, всех ужаснула дерзость этих слов; никогда еще никто здесь, в стенах клуба, не наносил Броуди такой прямой обиды. Все думали, что он сейчас вскочит и кинется на Грирсона, растерзает его жалкое, хилое тело одним натиском своей звериной силы, а Броуди сидел безучастный, рассеянный, как будто не слышал или не понял замечания Грирсона. Он точно летел в какую-то темную пропасть. Он говорил себе, что этот новый удар — самый болезненный из всех, постигших его, хотя судьба и до сих пор била его нещадно.

Конкуренты не жалели денег на борьбу с ним. Десятками способов они осуществляли свои хитрые планы, но теперь, сманив Перри, они лишили его последней опоры. Он припомнил странное смущение приказчика сегодня вечером, полуиспуганное, полувосторженное выражение его лица, как у человека, который и радуется и жалеет, хочет заговорить — и не смеет. Странно: он не осуждал Перри. Он справедливо

рассудил, что Перри просто нашел себе место выгоднее, чем у него, и все его озлобление обратилось на фирму Манджо. Впрочем, в эту минуту он чувствовал не ненависть к противнику, а страшную жалость к себе, печаль при мысли, что такой благородный, такой достойный человек, как он, должен страдать от козней предателей, вынужден носить маску притворного равнодушия, тогда как раньше привычное дерзкое высокомерие без всяких усилий с его стороны защищало его лучше всякого панциря. Думая обо всем этом, он опять вдруг вспомнил о десятке наблюдавших за ним глаз, о настоятельной необходимости сказать что-нибудь и, едва ли сознавая, что говорит, подстегивая в себе гнев, начал:

— Я всегда действовал честно! Я всегда боролся чистыми руками. Я ни за что не унизился бы до подкупов и взяток, и если они подкупили этого прыщавого заморыша и переманили его к себе — пускай тешатся им на здоровье. Они только избавили меня от необходимости его уволить, и пусть держат его, пока сами еще держатся. Все это дело не стоит выеденного яйца.

Убежденный собственными словами, увлеченный выражением чувств, которых он на самом деле не испытывал, он заговорил громче, доверчивее, во взгляде его засветились вызов и самоуверенность.

— Да, мне решительно наплевать на это, — уже кричал он. — Обратно я его не возьму, нет! Пускай тянет с них деньги, пока может и если сумеет! Потому что когда их дело лопнет и они полетят к черту, а этот мальчишка прибежит ко мне скулить, чтобы я взял его обратно, тогда я и пальцем не шевельну, чтобы ему помочь, хотя бы он издыхал у меня на глазах. Он больно поторопился сбежать к ним, этот дурак, он, конечно, уверен, что сделал карьеру, но, когда он опять очутится в нищете, из которой я его вытащил, он пожалеет, что оставил службу у Джемса Броуди.

Броуди весь преобразился, воодушевленный собственной тирадой, всей душой поверив в эту декламацию, так резко противоречившую горькой истине, открывшейся ему минуту назад. Снова упиваясь сознанием своей силы, он отражал все взгляды расширенными, сверкающими зрачками. Он тешил себя мыслью, что по-прежнему способен властвовать над людьми, управлять ими, держать их в благоговейном страхе, и, когда его осенила одна замечательная идея, он выпрямился и воскликнул:

— Нет, сразить Джемса Броуди не так легко, как имеет смелость думать наш маленький приятель там в углу! Когда вы услышите от Броуди жалобу — значит дело кончено, нацепите креп. Но еще очень много пройдет времени, прежде чем вам понадобится надеть траур по нем. Честное слово, шутка хороша, и надо запить ее! — Его глаза заискрились

буйным весельем. — Джентльмены, — прокричал он громко, — давайте лучше отложим этот разговор и выпьем. Я угощаю.

Все разом захлопали в ладоши, довольные его щедростью, обрадованные перспективой угощения, чужавшие уже, что будет попойка.

— Ваше здоровье, Броуди!

— Да здравствует Шотландия! Настоящий человек всегда таким и останется, несмотря ни на что!

— И я с вами выпью одну капельку, только чтобы согреться!

— Эх, старая лошадь еще всех молодых обгонит!

Даже мэр похлопал его по плечу:

— Ого, Броуди, дружище! Таких людей, как вы, поискать! Сердце у вас львиное, сила — как у быка... гм... а гордость дьявольская. Вас не сломить никому. Я думаю, вы скорее умрете, чем сдадитесь.

Все встали, все, кроме Грирсона, толпились вокруг Броуди, а он стоял среди них, переводя свой суровый взгляд от одного к другому, поощряя и вместе упрекая, допуская их до себя и в то же время подчиняя себе, прощая и предостерегая на будущее время, — как император, окруженный свитой. Он чувствовал, что его кровь, благородная, как кровь императора, текла по жилам стремительнее, чем жидкая, водянистая кровь всех этих людей. Он воображал, что совершил нечто великое и благородное, что поведение его перед лицом катастрофы великолепно.

— Наливай, Макдуфф! — кричали все, взволнованные необычным разгулом и щедростью всегда столь неприступного Броуди, торопясь насладиться жгучей золотистой жидкостью, которой он сегодня их угощал. Когда же он увел их через черный ход клуба на улицу и все вереницей проследовали в «заднюю комнату у Фими», Броуди почувствовал, что опасность миновала, что он опять будет всеми верховодить.

Вскоре лучшее виски Макдональда потекло рекой, все шумно чокались с Броуди, восхваляя его щедрость, независимость, его силу. Когда он с величавой небрежностью бросил золотой соверен на круглый красный стол, слабый голос рассудка шепнул ему, что этого он теперь не может себе позволить. Но он гневно отогнал прочь эту мысль.

— Чудный напиток! — промурлыкал Грирсон, смачно облизывая губы и подняв стакан к свету. — Чудный напиток, нежный, как материнское молоко, и блестит, как... ну, как ворс красивых шляп, которые продает наш друг. Жаль только, что виски гораздо дороже, чем эти украшения. — Он насмешливо, многозначительно хихикнул, глядя на Броуди.

— Ну и пей, если нравится! — бросил громко Броуди. — Лакай, когда дают. Ведь не ты за него платишь. Ей-богу, если бы все были такие

скопидомы, как ты, житья бы не было на белом свете.

— Что, скушал, Грирсон? — хрипло засмеялся Пакстон.

— Кстати, о скупости: слышали последний анекдот о нашем маленьком приятеле? — воскликнул Гордон, кивнув в сторону Грирсона и подмигивая Броуди.

— Нет. А что? — закричали все хором. — Расскажи, Гордон.

— Ладно, — согласился Гордон с важным видом. — История короткая, но замечательная. На днях у зернового склада нашего друга играли ребятишки и возились около большого мешка бобов, стоявшего у дверей, как вдруг из дома выходит его сын. «Убирайтесь отсюда, ребята, — кричит Грирсон-младший, — и не смейте трогать бобов, потому что отец это узнает: они у него сосчитаны».

Вся компания взревела от восторга, а Грирсон сквозь крики и смех пробормотал, не смущаясь, щуря глаза от дыма:

— Что ж, Гордон, я не отрицаю, у меня все на счету, но это необходимо в наши дни, когда вокруг видишь такую нужду и лишения.

Но Броуди, чувствовавший себя как на троне, с расплывшейся от крепкого виски душой, не слышал или не обратил внимания на этот намек. Полный дикого воодушевления, он жаждал действий, чтобы дать выход энергии; его охватило желание сокрушить что-нибудь, и, подняв свой пустой стакан высоко над головой, он вдруг заорал ни с того ни с сего: «К черту их! К черту этих негодных свиней Манджо!» — и с силой швырнул тяжелый стакан о стену, так что он разлетелся на мелкие куски.

Остальные, готовые теперь во всем поддакивать ему, восторженно зашумели.

— Вот темперамент!

— Еще круговую, джентльмены!

— Чтобы не было недопитых стаканов!

— Спой нам, Вулли!

— Тост! Тост! — кричали вокруг.

В этот момент раздался деликатный стук в дверь, и бесшумное (благодаря войлочным туфлям), но грозное появление хозяйки остановило взрыв веселья.

— Вы сегодня очень веселитесь, джентльмены, — сказала она с тонкой усмешкой на плотно сжатых губах, говорившей, что их веселье не совсем прилично и не совсем ей нравится. — Надеюсь, вы не забудете о добром имени моего заведения.

Как ни дорожила Фими этими завсегдатаями, но она была женщина с правилами, слишком добродетельная, слишком неприступная, чтобы

потакать им.

— Мне не нравится, что здесь бьют стаканы, — добавила она ледяным тоном.

— Ну, ну, Фими, милочка, за все будет уплачено, — крикнул Броуди.

Она слегка кивнула головой, как бы говоря, что это само собой разумеется, и спросила уже немного мягче:

— По какому случаю сегодня?..

— Просто небольшой праздник, устроенный уважаемым членом клуба, который сидит во главе стола, — пояснил Грирсон. — Нам, собственно, неизвестно, что он празднует, но считайте это обычным благотворительным обедом.

— Не слушай ты его, Фими, и пришли нам еще смеси, — закричал кто-то.

— Не выпьете ли и вы стаканчик, Фими? — весело предложил мэр.

— Поди сюда, сядь ко мне на колени, Фими, — позвал один из любителей игры в шашки, в данную минуту, увы, не способный отличить дамку от простой пешки.

— Велите подать еще виски, Фими, — потребовал Броуди. — А я всех заставлю вести себя прилично, не беспокойтесь.

Она взглядом призвала к порядку каждого в отдельности и всех вместе, предостерегающе подняла палец и вышла, ступая на войлочных подошвах так же неслышно, как вошла, и бормоча на ходу:

— Не срамите заведения! Я пришлю вам виски, но вы ведите себя тихо, помните о репутации заведения.

После ее ухода мяч веселья был пущен снова, быстро набрал скорость и запрыгал еще неудержимее, чем прежде.

— Нечего обращать внимание, — прокричал чей-то голос, — она больше тявкает, чем кусает. Только мину любит делать постную.

— Можно подумать, что ее трактир — какая-то праведная обитель, так она с ним носится, — сказал другой. — Она хочет, чтобы люди на пирушке вели себя как в церкви!

— А между прочим, в этой «церкви» имеется в переднем приделе прехорошенькая девчонка, — вставил тот из любителей шашек, который выпил больше. — Говорят, что Нэнси, буфетчица, не только красива, но и сговорчива. — Он многозначительно подмигнул.

— Тсс, парень, тсс! — укоризненно воскликнул Гордон. — Зачем же разорять гнездо, в котором сидишь?

— Хотите, я вам прочту стихи Бернса, — вызвался Пакстон. — Я сейчас как раз в подходящем настроении, чтобы прочесть «Черт среди

портных».

— Наш председатель, кажется, обещал сказать речь? — вкрадчиво заметил Грирсон.

— Да, да! Давайте речь! Вы обещали! — закричал мэр.

— Речь! — поддержали его все. — Речь, председатель!

Окрыленная их пьяными криками, гордость Броуди воспарила уже за пределы досягаемости, и в разреженной атмосфере этих высот он, казалось, обрел дар красноречия, исчезла его неспособность связно выражать свои мысли.

— Ладно, — воскликнул он, — я скажу вам речь!

Он поднялся, выпятив грудь, глядя на всех широко раскрытыми глазами и слегка покачиваясь из стороны в сторону. Когда он уже оказался на ногах, он вдруг задумался: что же такое им сказать?

— Джентльмены, — начал он наконец медленно, и ему тотчас же с готовностью захлопали, — все вы знаете меня. Я — Броуди, Джеймс Броуди, а что значит эта фамилия, вы, может быть, догадываетесь сами. — Он остановился и посмотрел на всех по очереди. — Да, я — Джеймс Броуди, и в королевском городе Ливенфорде, и за его пределами это имя все почитают. Укажите мне человека, который хоть единым словом оскорбил это имя, и вы увидите, что сделают с ним вот эти руки. — Он порывисто вытянул вперед свои громадные лапы, точно хватая ими за горло кого-то в пустом пространстве, не замечая в своем увлечении ни всеобщего равнодушия, ни злорадного удовольствия в насмешливом взгляде Грирсона, воображая, что окружен одним лишь глубоким почтением. — Захоти я, то сказал бы вам одну вещь, которая проняла бы вас до самого нутра! — Блуждая вокруг мутными глазами, он понизил голос до хриплого, таинственного шепота и хитро покачал головой. — Но нет, я не намерен этого делать. Угадайте, если хотите, а я вам этого сейчас не скажу, и вы, может быть, никогда и не узнаете. Никогда! — Он выкрикнул громко последнее слово. — Но это факт. И пока я жив и дышу, я буду поддерживать честь своего имени. Я пережил недавно тяжелые неприятности, которые могли бы согнуть и сильного человека, а слабого раздавили бы совсем, но как они отразились на мне? Я все тот же Джеймс Броуди, еще сильнее, еще тверже прежнего. «Если рука тебе изменит, отруби ее», — сказано в Писании, — и мне пришлось поразить мою собственную плоть и кровь, но я не дрогнул, когда поднимал топор. Я перенес беды внутри и беды вне моего дома, я терпел шпионивших за мной подлецов и гнусных грабителей у самого моего порога, фальшивых друзей и низких врагов вокруг себя, да... и хитрых, скользких, как угорь, клеветников. — Он злобно, в упор поглядел на

Грирсона. — Но Джеймс Броуди, пройдя через все, потому что он выше всего этого, будет стоять твердо и гордо, как утес Касл-Рок, с высоко поднятой головой. — Он ударил себя в грудь кулаком и закончил громко, во весь голос: — Я еще покажу вам себя, вот увидите! Всем покажу!

Слова лились бессознательным потоком под натиском чувств, и, когда эти чувства достигли высшего напряжения, он тяжело опустился на место, сказав вполголоса обычным тоном:

— Ну а теперь выпьем опять круговую.

Конец речи вызвал всеобщее одобрение, был встречен громким «ура», стуком стаканов о стол, а сквозь шум прозвучал слащавый голос Грирсона:

— Боже, ни одна речь не доставляла еще мне такого удовольствия после речей пьяницы Тома, который громил полицейских через окно тюрьмы!

Все чокались с Броуди, пили за его речь, за его будущее; кто-то пел разбитым фальцетом; Пакстон кричал, что он тоже хочет сказать речь, но на него никто не обращал внимания; второй игрок в шашки пытался рассказать какой-то длинный и запутанный неприличный анекдот; было спето несколько песен, причем все хором подтягивали. Но вдруг Броуди, настроение которого переменялось, который теперь оставался холоден и высокомерно-безучастен среди общего веселья, резко отодвинул стул и встал, намереваясь уйти. Он всегда ценил эффект таких неожиданных уходов, гордился выдержкой и достоинством, с которыми уходил в тот именно момент, когда еще можно было ретироваться величественно, с честью, предоставив этим перепившимся свиньям орать песни и разглагольствовать сколько душе угодно.

— В чем дело, старина? Неужели вы уже домой? — закричал мэр. — Ведь еще даже двенадцати не било. Побудьте немного с нами, выпьем все еще по одной порции смеси.

— Женушка, небось, дожидается, да? — сладеньким голоском пробормотал Грирсон.

— Я ухожу, — грубо отрезал Броуди, топнув ногой; застегнул пиджак и, не слушая бурных протестов, важно посмотрел на всех: — Покойной ночи, джентльмены.

Их крики провожали его из комнаты в холодную ветреную ночь и вызывали в нем острое, радостное возбуждение, возраставшее по мере того, как они затихали. Крики эти были данью почтения, осанной, и они все еще чудились ему в упоительно-холодном воздухе ночи, словно фимиам, поднимающийся от покрытых инеем улиц. «Вот сегодняшним вечером я доволен!» — сказал себе Броуди, шагая между белыми силуэтами домов,

которые высились, как безмолвные храмы в покинутом городе. Он весь сиял самодовольством, он чувствовал, что сегодня реабилитировал себя и в своих собственных глазах, и в глазах других. Виски придало его походке упругость и юношескую легкость. Он готов был шагать через горы, такую живительную бодрость ощущал и в себе, и в чудесном воздухе. Тело его горело, в нем бродили чувственные желания, и, проходя мимо спящих домов, он представлял себе скрытую интимную жизнь темных спален и с саднящим чувством обиды твердил мысленно, что ему надо на будущее время дать выход этим подавленным желаниям. Короткий путь, который он прошел от трактира до дома, еще разжег в нем потребность подходящим образом закончить столь замечательный вечер, и он почти с нетерпением вошел в дом, открыв наружную дверь тяжелым ключом.

Он заметил, что в кухне еще светло — явление и необычайное, и тревожное, так как в те вечера, когда он возвращался поздно, все огни в доме бывали потушены и только в передней горела лампа, оставленная, чтобы освещать ему путь. Он посмотрел на часы — было половина двенадцатого, — потом снова на луч света, пробивавшийся в полутемную переднюю из-под закрытой двери. Хмурясь, положил часы обратно в карман, прошел через переднюю и, с силой рванув дверь, ввалился в кухню; здесь он остановился, выпрямившись, оглядывая комнату и фигуру жены, которая сидела скорчившись над золой давно потухшего камина. При входе мужа она, несмотря на то что нарочно поджидала его, вздрогнула, испуганная этим внезапным вторжением его угрюмого, невысказанного недовольства в ее унылое раздумье. Когда она в смятении обернулась и Броуди увидел ее красные, воспаленные глаза, он еще больше рассвирепел.

— Это что такое? — спросил он. — Что ты делаешь здесь в такой час, почему сидишь и таращишь на меня свои закисшие глаза?

— Отец, — шепнула она, — ты не рассердишься, нет?..

— Чего ты тут хнычешь, какого черта!

Разве такого приема заслуживает он, Джемс Броуди, да еще сегодня вечером?

— Не могла ты лечь спать раньше, чем я вернусь? — зашипел он на нее. — Чтобы я тебя больше не видел здесь, старая неряха! Да, приятно возвращаться домой к такой прекрасной супруге! Может быть, ты надеялась, что я погуляю с тобой в эту чудную лунную ночь и буду ухаживать за тобой, как влюбленный? В тебе столько же соблазна, сколько в старой сломанной трубке!

Глядя в его угрюмое лицо, на котором было написано нескрываемое омерзение, миссис Броуди все больше сжималась, казалось становясь

меньше, превращаясь в тень. Язык не слушался ее, и, дрожа, она смогла невнятно произнести только одно слово:

— Мэт!

— Мэт! Опять твой драгоценный сынок Мэт! Что с ним случилось? — издевался он. — Проглотил косточку от сливы?

— Письмо... — пролепетала, запинаясь, миссис Броуди. — Сегодня утром на мое имя пришло письмо. Сначала я не решалась показать его тебе... — И трясущейся рукой она протянула ему смятый листок бумаги, который весь день прятала на своей трепещущей от волнения груди.

Презрительно заворчав, он грубо вырвал письмо из ее пальцев и не спеша прочел его; а миссис Броуди, как обезумевшая, качалась взад и вперед и причитала (необходимость защитить сына развязала-таки ей язык):

— Я больше не могла ни одной минуты скрывать это от тебя. Я чувствовала, что должна дожидаться тебя. Не гневайся на него, отец! Я уверена, что он не хотел тебя огорчить. Ведь мы же не знаем, как все это было. Индия, должно быть, ужасная страна. Я так и знала, что с мальчиком что-то неладно, когда он перестал писать аккуратно. Дома ему будет лучше.

Броуди кончил разбирать небрежно нацарапанные строчки.

— Так что твой замечательный, дельный, славный сын возвращается домой! — насмешливо проворчал он. — Домой, к своей любящей мамаше, под ее заботливое крылышко!

— Может быть, это и к лучшему, — зашептала она. — Я рада, что он вернется, можно будет подкормить его, восстановить его силы, если он в этом нуждается.

— Я знаю, что ты рада, старая дура, но на это мне решительно наплевать. — Он снова с отвращением взглянул на измятое письмо, скомкал его и яростно швырнул в огонь.

— Почему он бросил такую хорошую службу?

— Я знаю не больше твоего, отец. Должно быть, он нездоров. Он всегда был такой хрупкий. Тропики не место для него.

— «Хрупкий»! — злобно передразнил он ее. — Это ты, пустая голова, сделала из него неженку своим дурацким баловством. «Ах, Мэт, дружок, поди сюда, к маме, она даст тебе пенни. Не обращай внимания на отца, ягненочек мой, поди сюда, и мама приласкает своего дорогого мальчика». Вот отчего он бежит обратно домой, под твой грязный фартук. Да если это так, я обкручу его шею тесемками этого самого фартука и задушю его! «Пожалуйста, скажи об этом отцу», — иронически процитировал он на память приписку из сожженного письма. — У него даже не хватило

храбрости самому написать мне, у этого жалкого, безмозглого щенка! Он поручает своей нежной, кроткой мамаше передать важную новость. Да, храбрый малый, нечего сказать!

— О Джемс, утешь меня немного! — взмолилась миссис Броуди. — У меня такая тяжесть на душе! Я не знаю, что случилось там, и эта неизвестность меня просто убивает. Я боюсь за свое дитя.

— Утешать тебя, старуха! — протянул он. — Недурно бы я выглядел, обнимая этакий скелет! — Затем уже другим, жестким тоном продолжал: — Ты отлично знаешь, что противна мне. Ты для меня все равно что пустая консервная жестянка! Ты и жена такая же негодная, как мать. Твой помет отличается: одна уже осрамила нас на весь город, а теперь и второй, видно, собирается сделать то же. Да, он на хорошей дороге, делает честь твоему воспитанию! — Глаза его вдруг потемнели. — Смотри не суйся только к моей Несси. Она моя. Ты пальцем ее касаться не смей! Не суйся к ней со своими дурацкими нежностями и потачками, или я тебе голову разобью.

— Но ты не лишишь его крова, отец? — стонала миссис Броуди. — Ты не выгонишь его?

Он только презрительно засмеялся в ответ.

— Я умру, если ты и его выгонишь, как... как... — Она в отчаянии умолкла.

— Насчет этого я еще подумаю, — отвечал он с гнусной усмешкой, наслаждаясь тем, что держит ее в мучительной неизвестности, вымещая на ней весь свой гнев на недостойное поведение сына и возлагая вину всецело на нее. Он презирал жену уже только за то, что она не способна удовлетворять его чувственные желания, а теперь к этому прибавилась еще необузданная ненависть к ней из-за ее недостойного сына, и он твердил себе, что заставит ее расплатиться за все. Она была для него брусом, на котором он оттачивал и без того острое лезвие своей ярости. В том, что Мэтью отказался от службы и возвращался теперь домой, виновата была только она, и никто другой; как всегда, он считал, что все недостатки детей — от нее, а все достоинства — от него.

— Ты слишком человечен, чтобы отказаться сначала выслушать, что он скажет в свое оправдание и чего ему надо, — льстивым тоном уговаривала его миссис Броуди. — Такой большой человек, как ты, не может поступить иначе. Ты только выслушай его, дай ему все объяснить, — должна же у него быть какая-нибудь причина.

— Причина ясна. Он хочет вернуться домой и сидеть на отцовской шее! Как будто не достаточно у меня забот и без того, как будто мне больше

нечего делать, как только набивать прожорливый рот этого губошлепа! Вот тебе и вся разгадка его торжественного возвращения! Он, конечно, воображает, что тут ему будет не житье, а масленица, что я буду на него работать, а ты слизывать грязь с его башмаков. О, проклятье, это уж слишком, никакого терпения не хватит у человека! — Неудержимый порыв бурной злобы и холодного омерзения охватил его. — Нет, это уж слишком! — снова заорал он на жену. — Будьте вы все прокляты, это уж слишком! — И подняв руку, словно угрожая, он держал ее так в течение одного напряженного мгновения, потом неожиданным движением протянул ее к газовому рожку, потушил свет и, тяжело ступая, вышел из кухни, оставив миссис Броуди в полной темноте.

Она сидела неподвижно, совсем пришибленная, и последние гаснущие в золе искры едва намечали в темноте неясный силуэт ее скорчившейся фигуры. Долго сидела она так и ждала в молчаливом раздумье: казалось, от нее струятся печальные мысли, как темные волны, заливают комнату, сгущая мрак, создавая гнетущую атмосферу. Она сидела до тех пор, пока совсем не остыла зола в камине, дожидаясь, чтобы муж успел раздеться, лечь — авось и уснуть. Наконец она с трудом подняла непослушное тело, выползла из кухни, как затравленное животное из своей норы, и через силу стала взбираться по лестнице. Ступени, скрипевшие и стонавшие под ногами Броуди, не издавали ни единого звука под весом ее хилого тела, но хотя она двигалась бесшумно, слабый вздох облегчения вырвался у нее, когда за дверью спальни она услышала сонное, мерное дыхание мужа. Он спал, и, ощупью находя дорогу, она вошла, сняла свою заношенную одежду, сложила ее кучкой на стуле и осторожно, крадучись, легла в постель, со страхом отодвигая подальше от мужа увядшее тело, как бедная, слабая овечка, которая укладывается подле спящего льва.

— Мама, — спрашивала Несси в следующую субботу, — почему Мэт возвращается домой?

По случаю дождя она сидела дома и надоедала матери капризным нытьем ребенка, для которого дождливое субботнее утро — величайшая неприятность, какая только может случиться за всю неделю.

— Ему климат Индии оказался вреден, — коротко ответила миссис Броуди.

Она свято соблюдала основной пункт принятой в доме Броуди системы, который заключался в том, что от детей следует скрывать всю внутреннюю подоплеку дел, взаимоотношений и семейных событий, в особенности если они носят неприятный характер. На все вопросы детей, затрагивавшие глубоко и отвлеченно явления жизни вообще, а в частности поведение главы семейства, у мамы был наготове один утешительный ответ: «Когда-нибудь узнаешь, дружок, все в свое время!» А когда отвертеться от ответа не удавалось, она не считала грехом прибегать к невинной и правдоподобной лжи, чтобы сохранить незапятнанными честь и достоинство семьи.

— Там свирепствует ужасная лихорадка, — продолжала она. И, движимая смутным стремлением пополнить познания Несси в области географии, прибавила: — И там имеются львы, тигры, слоны, жирафы и всякие диковинные звери и насекомые.

— Да как же, мама, — настойчиво возразила Несси, — а Дженни Пакстон говорит, будто нашего Мэта уволили за то, что он не ходил на службу.

— Это ложь и клевета. Твой брат оставил службу так, как подобает джентльмену.

— Когда он приедет, мама? Как ты думаешь, привезет он мне что-нибудь? Обезьянку или попугая? Мне бы больше хотелось попугая. Обезьянка может царапаться, а попугай — тот будет болтать со мной, они интереснее канареек, правда, мама?

Она помолчала, задумавшись, потом объявила:

— Нет, не хочу и попугая, мне тогда придется чистить клетку. Пожалуй, лучше всего — пару хороших сафьяновых туфель или... или красивую нитку кораллов. Ты напишешь ему, мама?

— Не приставай, девочка! Как я могу ему написать, раз он уже в

дороге? Да и Мэту есть о чем подумать, кроме твоих кораллов. Ты скоро его увидишь.

— Значит, он приедет скоро?

— Узнаешь все, когда придет время, Несси. — И, выражая вслух свои тайные надежды, она прибавила: — Он может здесь быть дней через десять, если выехал вскоре после отправления письма.

— Через десять дней! Ой, как хорошо! — протянула Несси и, оживившись, запрыгала вокруг матери. — Знаешь, даже если бы Мэт не привез бус, все равно мне будет веселее, когда он приедет. Ужасно мне скучно с тех пор, как... — Она вдруг круто остановилась, наткнувшись на глухую стену абсолютно запрещенной темы. Боязливо покосилась на мать, с минуту молчала в смущении, затем, так как нагоняя не последовало, она снова заговорила, спросив по ассоциации мыслей:

— Что это значит — «сидеть в луже», мама?

— О чем ты еще толкуешь, Несси, не понимаю! Сыплешь, как из мешка! Дай ты мне кончить работу, пожалуйста!

— Одна из девочек у нас в классе спросила меня, умеет ли мой папа плавать, потому что она слышала, как ее отец говорил, что Джемс Броуди сидит в глубокой луже.

— Перестанешь ты наконец надоедать мне своими глупостями, Несси! — закричала на нее мать. — Твой отец и сам, без твоей помощи, управится со своими делами. Это дерзость — говорить о нем таким образом!

Однако слова девочки разбудили в ее душе внезапное острое подозрение, и в то время как она, взяв пыльную тряпку, выходила из кухни, она спрашивала себя, нет ли серьезной причины, что в последнее время скупость Броуди усилилась. Он теперь так урезывал и сокращал сумму, которую выдавал ей на хозяйство, что она уже несколько месяцев никак не могла свести концы с концами.

— Да это же не я, мама, — оправдывалась Несси, благонаивно сложив губки бантиком и следуя за матерью в гостиную. — Это другие девочки в классе говорили. Они так со мной разговаривают, как будто у нас дома что-то не как у всех. Но я ведь лучше их, правда, мама? Мой папа сильнее всех их отцов.

— Таких людей, как твой отец, один на миллион! — Миссис Броуди стоило некоторого усилия произнести эти слова, но она мужественно произнесла их, не сознавая их двусмысленности, стремясь только поддержать лучшие традиции семьи. — Ты не должна слушать ни одного дурного слова о нем. Люди всегда говорят плохо о том, кому они завидуют.

— Они нахальные девчонки! Я учителю пожалуюсь, если они скажут о нас еще что-нибудь, — объявила Несси и, подойдя к окну, прижала нос к стеклу, так что издали его можно было принять за комочек оконной замазки. — А дождь все идет да идет! Так и льет, черт бы его побрал!

— Несси! Не смей никогда так говорить. Это нехорошо. Не следует употреблять гадкие выражения! — пожурила ее мать, перестав на минуту полировать медные подсвечники на ореховой доске фортепиано. («Несси нельзя ничего спускать! Каждую ошибку ей нужно тут же указывать!») — Смотри, чтобы этого больше не было, иначе я отцу скажу! — пригрозила она, снова отвернув разгоряченное лицо к фортепиано, открытому по случаю уборки и глупо ухмылявшемуся ей оскаленными клавишами, как длинным рядом фальшивых зубов.

— Мне хотелось выйти погулять, вот и все, — раздалась жалоба от окошка. — Но даже когда дождь перестанет, повсюду будут лужи. А я всю неделю так много занималась!.. Это просто безобразие, что и в субботу нельзя поиграть хоть немножко.

Несси безутешно продолжала смотреть на унылую картину дождливого декабрьского дня. Грязная дорога, размокшие под дождем поля, неподвижные березы напротив, роняющие капли с ветвей, печальное отсутствие всякого движения, кроме непрерывно льющих с неба потоков воды... Но непринужденная болтовня девочки замолкла ненадолго, и, несмотря на унылую картину за окном, она через минуту снова защебетала:

— А на нашей пушке сидит воробей... Ой, вот еще один!.. Два крошечных воробушка сидят себе под дождем на нашей медной пушке... А для чего у нас стоит эта пушка, мама? Ведь она не стреляет, и ее всегда приходится чистить... Я никогда раньше не замечала, какая она смешная. Мама! Для чего она? Ну скажи же!

— Для украшения, должно быть. Отец хотел, чтобы дом выглядел красивее, — отозвалась рассеянно мать из-за фортепиано.

— А было бы гораздо лучше, если бы тут была клумба анютиных глазок или маленькая араукария, такая, как у Дженни Пакстон перед домом, — возразила Несси. И медленно, словно думая вслух, продолжала: — А деревья в поле стоят, не шелохнутся. Как статуи... «Дождик, дождик, перестань! Уходи в Испанию и назад не приходи». Нет, эта песенка не помогает. Это такая же выдумка, как про рождественского деда... У него белая борода... А испанцы какие, мама? Чернокожие? Столица Испании называется Мадрид. Правильно, Несси Броуди! Ты — первая ученица в классе. Молодчина! Твой отец будет доволен... Боже, и надо же, чтобы в субботу, в праздник, была такая погода! А я повторяю

пока географию... На улице ни души. Нет, нет, кажется, есть один мужчина. Он идет по дороге. Нет, не мужчина, а мальчишка с телеграфа!

Это было необычайное и интересное открытие на скучной, пустынной дороге, и Несси с восторгом ухватила за него.

— Мама! Мама! Кому-то несут телеграмму! Я вижу рассыльного на улице. Он идет прямо сюда. Ох, смотри, смотри! — закричала она в радостном нетерпении и возбуждении. — Он идет к нам!

Миссис Броуди выронила из рук тряпку и, бросившись к окну, увидела мальчика, поднимавшегося на крыльцо, потом тотчас же услышала такой резкий звонок у двери, что он прозвучал набатом для ее испуганных ушей. Она так и застыла на месте. Она страшно боялась телеграмм как вестников неожиданных бедствий. Они говорили ей не о счастливых рождениях и веселых свадьбах, а о внезапном ужасе чьей-нибудь смерти. За ту секунду, что она стояла неподвижно, зловещий звон колокольчика у дверей, ударив ей в уши, как будто с силой задел какие-то струны в памяти и напомнил о единственной полученной ею за всю жизнь телеграмме, извещавшей о смерти матери. Не глядя на Несси, она сказала внезапно охрипшим голосом:

— Пойди посмотри, что там такое.

Впрочем, когда Несси, горя нетерпением, побежала в переднюю, миссис Броуди стала себя успокаивать надеждой, что, может быть, рассыльный зашел к ним только справиться насчет какой-нибудь незнакомой ему фамилии или неразборчиво написанного адреса, так как их дом был последний на этой улице и к ним нередко заходили за такими справками. Она напрягла слух до последней степени, стараясь уловить успокоительные звуки разговора у двери, но напрасно: Несси сейчас же воротилась, размахивая оранжевой бумажкой, с триумфом человека, первым сделавшего какое-нибудь открытие.

— Это тебе, мама, — возвестила она, запыхавшись. — Он спрашивает, будет ли ответ.

Мать взяла телеграмму с таким видом, как будто дотронулась до ядовитой гадюки, и, нерешительно вертя ее в руках, рассматривала с глубочайшим ужасом, совсем так, как рассматривала бы это опасное пресмыкающееся.

— Я не могу прочитать ее без очков, — пробормотала она, боясь распечатать телеграмму и стараясь оттянуть страшную минуту.

Но Несси стрелой умчалась и стрелой же примчалась обратно, неся очки в стальной оправе.

— Вот они, мама! Теперь ты можешь прочесть. Скорее же распечатай!

Миссис Броуди медленно надела очки, снова опасливо посмотрела на страшную бумажку в своей руке и, повернувшись к Несси, сказала, запинаясь, в паническом страхе и нерешимости:

— Пожалуй, я лучше подожду отца. Не мне распечатывать такие вещи. Это дело твоего отца, не правда ли, дорогая?

— Ах, нет, мама, открой ее сейчас, — нетерпеливо упрашивала Несси. — Она адресована тебе, да и мальчик ждет ответа.

Миссис Броуди разорвала конверт неловкими, непослушными пальцами, дрожа извлекла из него телеграмму, развернула и прочла. Она читала так долго, как будто в телеграмме было не девять слов, а длинное и запутанное сообщение, из которого ничего нельзя было понять. И пока она так смотрела на телеграмму, лицо ее посерело, как пепел, вытянулось и застыло, как будто ледяной порыв ветра задул слабый огонек жизни, еще теплившийся в этом лице, и заморозил его до странной, неестественной неподвижности.

— Что там написано, мама? — спросила Несси, от любопытства привстав даже на цыпочки.

— Ничего, — ответила миссис Броуди глухим, деревянным голосом. Она тяжело опустилась на диван, а бумага колебалась и шуршала в ее дрожащих пальцах.

Ожидавший на крыльце рассыльный, уже несколько раз нетерпеливо подходивший к двери, теперь сердито засвистел и шумно заколотил ногами о ступеньки, давая знать таким оригинальным способом, что ожидать целый день у дверей не входит в его обязанности.

— Сказать ему, чтобы он подождал ответа? — настойчиво спрашивала Несси, заметив, но не вполне понимая странное оцепенение матери.

— Ответа не будет, — машинально ответила та.

Несси отпустила мальчика, который ушел, громко и беззаботно насвистывая, в сознании всей важности своей роли вестника судьбы, совершенно не тронутая разрушительным действием доставленной им вести.

Несси воротилась в гостиную и, посмотрев на мать, нашла, что у нее весьма странный вид. Она взгляделась пристальнее в лицо миссис Броуди, точно не узнавая ее.

— Что с тобой, мама? Ты такая бледная.

Она слегка дотронулась до щеки матери и ощутила своими теплыми пальцами, что щека эта холодна и тверда, как глина. Тогда, чутьем угадывая правду, она простодушно спросила:

— В телеграмме сказано что-нибудь про Мэта?

Это имя заставило миссис Броуди очнуться от мертвого оцепенения. Будь она одна, она бы разразилась неудержимым потоком слез, но так как здесь была Несси, то она громадным усилием воли удержала подступавшие к горлу рыдания и, пытаясь взять себя в руки, напрягла все силы онемевшего мозга, чтобы придумать выход. Побуждаемая сильнейшим из естественных чувств человека к такому усилию ума и воли, на которое она обычно была не способна, она вдруг повернулась к дочери и сказала чуть слышно, одним дыханием:

— Несси, ступай наверх и посмотри, что делает бабушка. Ничего не говори о телеграмме, только постарайся узнать, слыхала ли она звонок. Ты это сделаешь для мамы, да, девочка?

Со свойственной ей быстротой соображения (которой объяснялись и ее успехи в школе) Несси сразу прекрасно поняла, что от нее требовалось, и, с жаром беря на себя эту миссию, одно из тех конфиденциальных поручений, которые она обожала, кивнула дважды головой — медленно, многозначительно — и делано небрежной походкой вышла из комнаты.

Когда дочь ушла, миссис Броуди расправила телеграмму, зажатую комком в скрюченных пальцах. Хотя содержание ее запечатлелось у нее в мозгу, как выжженное, она бессознательно перечитывала ее, а дрожащие губы медленно шевелились, беззвучно произнося каждое слово:

«Переведи срочно телеграфом мои сорок фунтов до востребования Марсель. Мэт».

Он требует свои деньги! Свои сбережения, которые он посылал ей, те сорок фунтов, что она поместила для него в Строительную компанию. Миссис Броуди немедленно вообразила его в Марселе в изгнании, в отчаянной нужде. Наверное, с ним случилась беда и деньги ему крайне и спешно нужны, чтобы освободиться из сетей какой-то ужасной опасности. Кто-нибудь, вероятно, украл у него кошелек, его оглушили, ударив по голове мешком, наполненным песком, и ограбили, или пароход ушел, оставив его в Марселе без вещей и без денег. Уже самое название «Марсель», никогда раньше не слышанное, иностранное, чуждое и зловещее, леденило ей кровь и говорило о всевозможных бедах, грозящих ее сыну, ибо из одного уже этого непонятного и пугающего требования выслать деньги она заключила, что Мэт — невинная жертва каких-то печальных и ужасных обстоятельств. Тщательно проверяя все цифры, она убедилась, что телеграмма подана в Марселе сегодня утром — как быстро доходят печальные вести! — и рассудила, что если Мэт был в состоянии отправить ее, значит ему, по крайней мере, не угрожает сейчас никакая непосредственная физическая опасность. Может быть, он уже оправился

после нападения на него и теперь терпеливо и с беспокойством ожидает только прибытия своих денег. Мысли миссис Броуди, разбегаясь по этим бесчисленным извилистым путям ее предположений, при всем их разнообразии неизбежно сходились в одном тупике — на безжалостном выводе, что деньги послать необходимо. От этой мысли она содрогнулась. Она не могла послать такую сумму. Она ничего не могла послать: все сорок фунтов, до последнего пенни, были растрачены.

Последние девять месяцев она отчаянно боролась с денежными затруднениями. Муж все больше и больше урезывал сумму, которую выдавал на хозяйство, пока наконец не уменьшил ее наполовину, а в то же время требовал для себя такой же хорошей пищи и в таких же огромных количествах. Если обнаруживалась малейшая попытка жены экономить на его столе, Броуди раздражался злобной и саркастической тирадой, обзывая ее никуда не годной разгильдяйкой, неспособной даже вести как следует скромное домашнее хозяйство. Стараясь уязвить ее, он ставил ей на вид хозяйственные таланты своей старой матери, приводя примеры ее бережливости, подробно описывая восхитительные и вместе с тем недорогие блюда, которые она стряпала для него до его женитьбы. Он грозил, что, несмотря на почтенный возраст матери, передаст все бразды правления в ее умелые руки. Тщетны были робкие возражения мамы, что он дает ей недостаточно денег, что продукты дорожают, что Несси растет и ей нужны новые платья, новая обувь, более дорогие учебники, что бабушка не желает поступиться ни единым из тех благ и удобств, к которым привыкла. Столь же бесполезно было убеждать его, что она не тратит ни единого фартинга на свои личные нужды, что она вот уж три года не покупала себе ничего из одежды, а поэтому выглядит обтрепанной и опустившейся и, в награду за свою самоотверженную бережливость, стала мишенью его насмешек и оскорблений. Видя, что она после первых слабых и неубедительных возражений принимает те урезанные суммы, которые он ей дает, и ухитряется все же на них вести хозяйство, Броуди решил, что раньше был слишком щедр, и так как теперь он был стеснен в средствах и радовался всякой возможности экономить на семье, то он все туже стягивал мошну, и миссис Броуди становилось все труднее и труднее.

Хотя она старалась из каждого шиллинга делать два, покупая на самых дешевых рынках, торгуясь и изворачиваясь всякими способами, так что в конце концов прослыла скаредной и сварливой, — больше так продолжаться не могло. Счета были просрочены, лавочники теряли терпение, и в конце концов, дойдя до отчаяния, миссис Броуди выбрала путь наименьшего сопротивления и прибегла к сбережениям Мэта. Сразу

же стало легче. Броуди реже бранился из-за меню, прекратились жалобы и нарекания старухи; Несси получила новое пальто, плата за учение была внесена, давно уже ожидавшие денег мясник и бакалейщик ублажены. Себя мама не побаловала ничем, ей не досталось ни нового платья, ни даже дешевого украшения — только временная передышка от попреков мужа и от беспокойства из-за долгов. Она утешала себя мыслью, что деньги, посланные Мэтом, вероятно, предназначались для нее. Он ее любит и, конечно, будет рад, что она взяла эти деньги; к тому же, рассуждала она, деньги она истратила не на себя, она, несомненно, опять скопит их и вернет Мэту, когда наступят лучшие времена и дела мужа наладятся. Сорок фунтов! Огромные деньги! Разошлись они так легко и незаметно, а достать их теперь казалось немыслимым. В прежних условиях жизни, да и то только при самой строгой бережливости, ей, может быть, и удалось бы сколотить такую сумму в течение года. Но деньги нужны были немедленно.

Сердце у нее дрогнуло, но она тотчас взяла себя в руки, твердя мысленно, что надо быть мужественной ради Мэта. Она решительно сжала губы и посмотрела на вошедшую в эту минуту Несси.

— Бабушка разбирает вещи у себя в комод, — шепнула Несси матери с видом заговорщика. — Она не слышала звонка и ничего не знает.

— Вот какая ты у меня умница! — похвалила ее мать. — Об этой телеграмме никто не должен знать, слышишь, Несси? Ты об этом и пикнуть никому не смей. Она послана мне и больше никого не касается. Смотри, я тебе доверяю! И если ты будешь молчать, то получишь от меня что-нибудь вкусное. — Понимая, что от нее ждут объяснения, она добавила неопределенно: — Это от одной моей старой знакомой из деревни, от старой подруги, Несси, с которой случилась небольшая неприятность.

Несси, очень довольная тем, что посвящена в тайну матери, прижала указательный палец к губам, как бы показывая этим, что ей можно доверить самые секретные и самые важные дела в мире.

— Ну вот и хорошо. Не забудь же, что ты дала слово. Отец ничего не должен знать, — сказала миссис Броуди, вставая. Ей хотелось посидеть и обдумать положение, но время близилось к двенадцати, и нужно было готовить обед. Какая бы тревога ни обуревала ее, в доме все должно было идти своим чередом, завтрак, обед, ужин должны были появляться на столе вовремя, с неукоснительной точностью. Хозяину нужно было угождать, кормить его сытно и вкусно. Миссис Броуди предстояло начистить большой горшок картошки, и за этим занятием она пыталась придумать, что ей делать.

Она знала, что от мужа помощи ждать нечего. Она на все могла

решиться для Мэта, но посмотреть прямо в лицо мужу и попросить у него такую громадную сумму — сорок фунтов — было выше ее сил, к тому же она заранее знала, что отец откажется послать Мэту деньги. А сообщить ему все значило открыть и свою вину, вызвать дикий гнев, не добившись никакой помощи. Она ясно представляла себе, как Броуди закричит: «Он в Марселе, вот как! Ну и пускай идет оттуда пешком или вплавь добирается до дому. Это будет очень полезно твоему милому сыночку».

Затем она взвесила все возможности, какие сулило ей обращение к Агнес Мойр. Не было никакого сомнения, что Агнес, которая, как и мать, ни в чем не могла отказать Мэту, готова была тотчас послать ему деньги, несмотря на возмутительную холодность и невнимание с его стороны за последние несколько месяцев. Но, к несчастью, так же несомненно было и то, что у Агнес не найдется сорока фунтов. Мойры были люди почтенные, но бедные, нужда могла каждую минуту постучаться к ним в дверь, и даже если бы родители захотели, они, конечно, не смогли бы сразу достать для Агнес такую большую сумму. К тому же в последнее время в обращении Агнес с будущей свекровью сквозила вполне понятная обида, явный намек на страдания оскорбленной невинности. Как же можно перед этой невинной страдальцей сознаться в том, что она, мать Мэта, украла деньги своего обожаемого сына? Непогрешимая мисс Мойр тотчас же ее осудит и, может быть, даже отвернется от нее на глазах у всего города.

Поэтому миссис Броуди решила не обращаться к Агнес, и, пока она механически готовила обед, мозг ее продолжал бешено работать, состязаясь в скорости со временем. Когда Броуди пришел домой, она подала обед, не переставая сосредоточенно думать все об одном и том же, так что с необычной для нее рассеянностью поставила перед мужем маленькую тарелку Несси.

— Ты сегодня пьяна, что ли? — заорал он на нее, посмотрев на маленькую порцию, поставленную перед ним. — Или рассчитываешь, что я сотворю такое же чудо, как Христос с хлебами и рыбой?

Поспешно переставив тарелки, мама виновато покраснела оттого, что так легко выдала свою тайную заботу. Не могла же она сказать в свое оправдание: «Я думала о том, где бы достать сорок фунтов для Мэта!»

— Она, должно быть, прикладывается к бутылке, чтобы поддержать силы, — злорадно хихикнула старая бабка. — Тем-то она, верно, и была занята сегодня все утро!

— Так вот куда уходят деньги, что я даю на хозяйство! — проворчал Броуди в тон матери. — На выпивку! Ладно, я приму свои меры!

— Наверное, оттого у нее нос всегда красный, а глаза мутные, —

подхватила старуха.

Несси не сказала ничего, но слишком явно поглядывала на мать глазами верной сообщницы, и взгляды эти были так многозначительны, что она чуть не погубила все дело. Однако критический момент прошел благополучно, и после обеда, когда Броуди ушел, а старуха отправилась к себе наверх, мама вздохнула свободнее и сказала Несси:

— Ты уберешь со стола, дорогая? Мне нужно выйти за покупками. Ты сегодня хорошо помогла маме, и, если еще перемоешь посуду, я принесу тебе из города конфет на целый пенни.

Поглощенная своей тяжелой задачей, она вдруг проявила даже способности к тонкой стратегии. И хотя дождь перестал, Несси, соблазненная надеждой получить конфеты, а главное — гордая тем, что мать доверяет ей, как взрослой, охотно согласилась остаться дома и перемыть посуду.

Миссис Броуди надела шляпу и пальто, то самое пальто, в котором провожала Мэта в Глазго, и торопливо вышла. Она быстро миновала пустырь и направилась по дороге, огибавшей станцию, затем на углу Релуэй-роуд и Колледж-стрит остановилась перед низенькой лавчонкой, у входа в которую, над полукруглой притолокой двери, висела позорная эмблема — три медных шарика. На окне красовалась надпись грязными белыми буквами, из которых некоторые выпали, другие были разбиты, так что с трудом можно было разобрать: «Покупка золота, серебра, старых фальшивых зубов, деньги под залог», а за окном на небольшой грифельной доске красовалась более лаконичная и менее внушительная надпись мелом: «Покупаю тряпье». С тяжелым чувством стояла миссис Броуди перед этой единственной во всем достопочтенном городе Ливенфорде ссудной лавкой. Она знала, что войти сюда считалось самым постыдным делом, до которого может опуститься приличный человек. Еще страшнее было войти сюда на глазах у кого-нибудь, это влекло за собой бесчестье, позор, гражданскую смерть.

Миссис Броуди все это знала, но, сжав губы, храбро проскользнула в лавку, быстро и легко, как тень. Громкий звон дверного колокольчика возвестил о ее приходе, и, оглушенная его долгими переливами, она очутилась перед конторкой в похожей на коробочку комнате — одном из трех отделений лавки. Очевидно, тут и внутри и снаружи число «три» имело какой-то каббалистический смысл. Очутившись в этом отделении, миссис Броуди почувствовала себя в безопасности, укрытой от любопытных глаз больше, чем она смела надеяться. Даже этим низким людям, видно, не чужд был инстинкт деликатности! К тому времени, когда

звонок перестал дребезжать, ноздри миссис Броуди начали различать пронзительный запах кипящего жира с примесью аромата лука, распространявшийся неизвестно откуда. От этого тошнотворного запаха ей стало дурно, она закрыла глаза, а когда через мгновение открыла их, перед ней стоял низенький тучный человек, как дух, магически возникший из-за густого белого облака чада, наполнявшего внутреннее помещение. У человечка была длинная волнистая квадратная борода, серая, как железо, кустистые брови того же цвета, а под этими бровями мигали блестящие, круглые, как у птицы, глазки; руками и плечами он делал почтительные движения, но черные глазки-бусинки неотрывно смотрели в лицо посетительнице. Это был польский еврей, переселение которого в Ливенфорд можно было объяснить разве только склонностью его нации гнаться за невзгодами. После неудачных попыток кое-как прожить ростовщицеством на неблагоприятной почве Ливенфорда он был вынужден существовать только на те гроши, что зарабатывал покупкой и продажей тряпья. Кроткий и безобидный, он не питал к людям злобы за оскорбительные клички, которыми его встречали, когда он объезжал город на своей тележке, запряженной ослом, выкрикивая: «Тряпки, кости, бутылки покупаю!» И никогда ни на что не жаловался, горько сетуя только в разговоре с теми, кто готов был его выслушивать, на отсутствие в городе синагоги.

— Что скажете? — прошепелявил он, обращаясь к миссис Броуди.

— Вы даете деньги взаймы?

— А что вы хотите заложить? — спросил он напрямик. Говорил он тихо и вежливо, но миссис Броуди испугала грубая обнаженность произнесенного слова.

— Я не принесла ничего с собой. Мне нужно сорок фунтов.

Старик искоса посмотрел на нее, охватив взглядом и порыжевшее, старомодное пальто, и шершавые руки со сломанными ногтями, и потускневшее от времени узенькое обручальное кольцо — единственное кольцо, и смешную затасканную шляпу, не пропустив ничего решительно, ни единой подробности ее убогого туалета. Он подумал, что перед ним сумасшедшая. Поглаживая двумя пальцами свой мясистый крючковатый нос, он сказал серьезно:

— Это очень большие деньги. Нам нужно обеспечение. Вы должны принести золото или брильянты, если хотите получить такую сумму.

Да, конечно, ей следовало иметь бриллианты! В романах, которыми она зачитывалась, бриллианты были обязательным атрибутом каждой настоящей леди. Но у нее не было ничего, кроме обручального кольца да

серебряных часов покойной матери, под залог которых ей в самом лучшем случае могли дать каких-нибудь пятнадцать шиллингов. Начиная понимать всю невыгодность своего положения, она пробормотала, заикаясь:

— А вы не дадите ссуду под мою мебель или под личную расписку? Я читала... в газетах... что некоторые это делают. Разве нет?

Еврей продолжал потирать нос, думая про себя, что эти старые англичанки все такие — худые, жалкие и глупые. Как это она не понимает, что в такой лавке, как у него, можно говорить только о шиллингах, а не о фунтах и что, если бы даже он и мог дать сумму, которую ей нужно, он потребовал бы залог и проценты, а, судя по ее виду, ни то ни другое ей взять неоткуда. Он покачал головой, мягко, но решительно, и, проявляя все ту же любезность и миролюбие (для чего он усердно пользовался руками), сказал:

— Мы такими делами не занимаемся. Попробуйте обратиться в более крупные предприятия, где-нибудь в центре города. О да, они вам это устроят. У них больше денег, чем у такого бедняка, как я.

Миссис Броуди молча смотрела на него, ошеломленная, униженная. Как! Презреть опасность, решиться на такой позор, как посещение этой жалкой трущобы, и уйти, не достигнув цели! Однако ей пришлось примириться с отказом — апеллировать было не к кому.

И, не достав денег, ни единого из тех сорока фунтов, которые ей были нужны, она снова очутилась на грязной улице, среди луж, среди разбросанных повсюду пустых банок из-под консервов, у канавы, засоренной разными отбросами. Торопясь уйти отсюда, она с острым чувством унижения и растущей тоской думала о том, что ничего не достала, а между тем Мэт ожидает денег, уверенный, что они высланы. Заслоняя зонтиком лицо, чтобы ее не узнали, она лихорадочно спешила домой.

Несси, в фартучке, важно разыгрывая роль хозяйки, встретила мать, стоя над аккуратной стопкой чисто вымытых тарелок, и ожидала заслуженной награды — обещанных ей конфет. Но мать сердито отмахнулась от нее.

— В другой раз, Несси, — бросила она. — Не надоедай мне! Я тебе принесу в следующий раз.

Она вошла в чуланчик за кухней и стала рыться в ящике, где хранила для хозяйственных надобностей, главным образом для растопки, старые газеты и журналы, которые муж приносил домой.

Достав пачку газет, она разложила их на каменном полу и опустилась на колени, как будто падая ниц перед каким-нибудь идиолом. Торопливо

пробегаая глазами газеты одну за другой, она наконец испустила невнятный крик облегчения, найдя то, что искала. Что говорил проклятый еврей? «Попробуйте обратиться в более крупное предприятие», — сказал он, безобразно коверкая английские слова. И поэтому она выбрала самое большое объявление в столбце, извещавшее в витиеватых выражениях, что Адам Максевитч, чистокровный шотландец, ссужает от пяти до пятисот фунтов стерлингов без залога, только под расписку, что по вызову загородные клиенты немедленно обслуживаются на дому, а главное — обеспечена строжайшая тайна, более того, на этом пункте фирма даже настаивает.

Миссис Броуди вздохнула свободнее. Она поднялась с пола и, не снимая пальто и шляпы, метнулась на кухню, села за стол и сочинила короткое, но тщательно обдуманное послание. В нем она просила Адама Максевитч посетить ее на дому в понедельник в одиннадцать часов утра. Со всевозможными предосторожностями запечатав письмо, миссис Броуди поволокла свое усталое тело на улицу, снова направляясь в город. От всей этой спешки у нее сильнее заныл постоянно болевший бок, но она шла быстро и около половины четвертого добралась до главного почтамта, где купила марку и благополучно отправила письмо. Там же она написала и отправила по адресу «Марсель, Броуди, до востребования» телеграмму следующего содержания: «Деньги переведу понедельник непременно. Целую. Мама».

Стоимость телеграммы привела ее в ужас, но хотя можно было сократить расход, выбросив два последних слова, она не могла заставить себя сделать это. Надо было прежде всего дать почувствовать Мэту, что это она собственноручно отправила телеграмму, что она, его мать, любит его.

Она возвращалась домой утешенная, успокоенная сознанием, что кое-что уже сделано и что в понедельник она несомненно достанет деньги. Тем не менее к концу дня, который, как ей казалось, тянулся ужасно долго, ее стали разбирать тревога и нетерпение. Утешение, почерпнутое в действии, постепенно исчезало, оставляя ее в унынии, беспомощности, обуреваемую беспокойными мыслями. Она колебалась между нерешительностью и страхом; боялась, что не получит денег, что обо всем узнают; сомневалась в своей способности довести дело до конца и старалась не думать о том, что она, жена Броуди, связывается с ростовщиками, как стараются не вспоминать о жутком и неправдоподобном ночном кошмаре.

Воскресенье прошло для нее нескончаемым шествием бесконечно долгих минут, во время которого она сто раз смотрела на часы, как будто этим можно было ускорить томительный ход времени и положить конец ее

тревоге и мучительному ожиданию. За эти медленно тянувшиеся часы она на разные лады изменяла простой план, составленный ею, с трепетом обдумывала, как ей говорить с мистером Максеви́тчем: то она была убеждена, что он отнесется к ней как к приличной даме, то начинала сомневаться в этом. Достала снова украдкой его объявление в газете, повеселела, прочтя опять утешительное предложение ссудить «до пятисот фунтов», затем была шокирована удивительной наглостью объявления. Когда наконец легла спать, голова у нее шла кругом, и ей приснилось, что она засыпана лавиной золотых монет.

В понедельник утром ей стоило больших усилий держаться как обычно, она вся тряслась от страха, но, к счастью, никто ничего не заметил, и она вздохнула с облегчением, когда сначала Несси, а за ней Броуди ушли из дому. Теперь оставалось только как-нибудь удалить бабушку. С тех пор как она написала письмо, миссис Броуди не переставала думать о том, как опасно во время посещения Максеви́тча присутствие в доме любопытной, болтливой и враждебно относившейся к ней старухи. Опасность, что она откроет все, была слишком грозной, чтобы идти на риск, и мама с неожиданной для нее хитростью приготовилась сыграть на слабой струнке свекрови. В половине десятого, принеся в ее комнату на подносе обычный завтрак — кашу и молоко, она не ушла сразу, как делала всегда, а присела на постель и посмотрела на лежащую в ней старую женщину с притворным и преувеличенным участием.

— Бабушка, — начала она, — вы совсем не выходите из дому в последние дни и очень осунулись. Почему бы вам сегодня утром не погулять немного?

Старуха, зажав ложку в желтой лапе, подозрительно смотрела на невестку из-под белой оборки своего ночного чепца.

— Какое же гулянье, когда зима на дворе? — сказала она недоверчиво. — Ты надеешься, что я схвачу воспаление легких и ты от меня избавишься?

Мама заставила себя весело засмеяться, как ни тяжело ей было это притворство.

— Сегодня чудесная погода! — воскликнула она. — И знаете, что я сделаю? Я вам дам флорин, чтобы вы пошли и купили себе «колечек» и «чудаков».

Бабушка посмотрела на нее недоверчиво, сразу почуяв, что за этим скрываются какие-то тайные соображения. Но ее соблазняла перспектива необычайно роскошного угощения. По своей старческой жадности она особенно любила рассыпчатое печенье, носившее название «колечек», а

большие, плоские, круглые конфеты, которые так несуразно именовались «чудаками», просто обожала. У нее всегда имелся в спальне запас тех и других, который она хранила в двух специальных коробках в верхнем ящике комода. Но сейчас, как было хорошо известно ее невестке, запасы эти истощились. Да, предложение было заманчивое!

— А где же деньги? — спросила она дипломатически.

Мама, не говоря ни слова, показала блестящий флорин, зажатый в ее ладони.

Старуха заморгала тусклыми глазами, быстро сосчитала в уме, что этого хватит и на печенье, и на «чудаков», а пожалуй, и еще на что-нибудь.

— Что ж, пойду, пожалуй, — пробормотала она медленно, с притворным зевком, который должен был показать равнодушие.

— Вот и отлично, бабушка. Я вам помогу одеться, — поощрила ее мама и, трепеща от радости, которую боялась выдать, помогла старухе встать с постели. Не дав ей времени одуматься, она напялила на нее широленные юбки, завязала множество каких-то тесемок, натянула на ноги башмаки с резинками, принесла шляпку, расшитую стеклярусом, накинула на нее черную пелерину. После этого она подала ей ее вставные зубы, которые бабушка на ночь клала в старое надтреснутое блюдце, вручила ей монету в два шиллинга и, вооружив и снабдив ее таким образом в поход за «колечками», свела старуху вниз. Еще не было и половины одиннадцатого, когда она выпроводила ее из дому и увидела, как бабушка ковыляет по дороге. Тогда, проявив максимальную быстроту, она застлала все постели, вымыла посуду, прибрала в комнатах и — как она обычно выражалась — «привела в приличный вид» себя самое. Наконец, совсем запыхавшись, села в гостиной у окна ожидать гостя.

Стрелки мраморных часов на камине близились к одиннадцати. Мама уже вся тряслась от волнения, как будто ожидая, что ровно с первым ударом часов к дому подкатит экипаж и зазвенит колокольчик у входной двери.

Когда часы, пробив одиннадцать, затихли, она стала гадать, принесет ли мистер Максевиц деньги золотыми соверенами в мешке или вручит их ей новенькими ассигнациями, но, когда прошло пять, потом десять и пятнадцать минут после назначенного времени, а никто не приходил, она начала тревожиться. Если посетитель не придет в специально указанный ею час, все ее тщательно обдуманное приготовления пропадут даром, и страшно было даже подумать, что может случиться, если он явится во время обеда, когда муж дома.

В двадцать минут двенадцатого она уже почти утратила надежду, как

вдруг увидела перед домом двух незнакомых ей мужчин. Они пришли пешком, и с ними не было никакой сумки. Одеты оба были совершенно одинаково, и их костюм показался миссис Броуди верхом элегантности, ослепительным образцом последних мужских мод. Их шляпы фасона «дерби», загнутые так, что поля касались тульи, были ухарски надвинуты на лоснящиеся бакенбарды. Коротенькие пиджаки плотно облегали талию, и благодаря большим отворотам грудь колесом выпячивалась вперед, придавая джентльменам сходство с зобастыми голубями, а часть тела пониже спины выпячивалась так же заманчиво в противоположном направлении. Их клетчатые брюки, приятно широкие в верхней своей части, чем ниже, тем теснее льнули к телу и в самом низу уже совсем наподобие краг обтягивали низенькие, не слишком заметные, но тем не менее сверкающие ботинки. У каждого из джентльменов поперек модного пестрого жилета тянулась массивная часовая цепочка, и даже на таком расстоянии, какое отделяло их от миссис Броуди, ей бросились в глаза сверкавшие у них на пальцах перстни, при каждом движении вспыхивавшие и искрившиеся. Никогда еще на памяти миссис Броуди в городе Ливенфорде не появлялись такие самоуверенные и изящные незнакомцы, никогда еще не пролетали здесь птицы с таким блестящим оперением. И хотя она до сих пор представляла себе ожидаемого ею посетителя в виде этакого грубовато-добродушного патриарха в плаще с капюшоном, с косматой бородой, сердце ее забилося, глаза не могли оторваться от незнакомцев: инстинкт ей подсказывал, что эти люди высшего света — послы от Максеви́тча, чистокровного шотландца.

Стоя на середине улицы, они с видом знатоков обзоре́вали дом, и глаза их, казалось, исследовали и критиковали каждую внешнюю архитектурную деталь, буравили крепкие каменные стены, открывая недочеты и презрительно отмечая множество дефектов, до тех пор не известных даже самим обитателям дома.

Наконец после длительного и бесстрастного осмотра один из незнакомцев медленно повернул голову и сказал что-то сквозь зубы своему спутнику, а тот сдвинул шляпу на затылок, прикрыл веками выпученные глаза и захохотал.

Точно пораженная внезапно той болезнью, которая носит название «двойного зрения», миссис Броуди видела, как эти две фигуры одновременно двинулись вперед, прошли бок о бок в калитку, с одинаковым выражением осмотрели каждый камень двора. Когда они остановились перед пушкой у крыльца, миссис Броуди откинулась назад, прячась за занавеской.

— Годна только на слом, но материал стоящий — медь, по-видимому, — сказал один, потрогав пальцами большую жемчужную булавку в своем галстуке.

Второй постучал ногтем по стволу пушки, как будто хотел по звуку проверить ее качество, но тотчас отдернул палец и сунул его в рот. «Ох, чертовски твердая!» — донеслось сквозь полуоткрытое окно до ушей остолбеневшей миссис Броуди.

Зазвенел колокольчик у двери. Она механически пошла открывать и, распахнув дверь, была встречена двумя совершенно одинаковыми любезными улыбками, ослепившими ее смущенный взор выставкой золота и слоновой кости.

— Миссис Броуди? — сказал один, потушив улыбку на лице.

— Это вы нам писали? — спросил другой, сделав то же самое.

— Так вы от мистера Максеvitча? — пролепетала миссис Броуди.

— Сыновья, — сказал первый небрежно.

— И компаньоны, — добавил любезно второй.

Плененная непринужденностью их манер и все же волнуемая смутными опасениями, она нерешительно ввела их в гостиную. Тотчас же их острые глаза, до тех пор не отрывавшиеся от хозяйки, зашныряли по всем предметам в комнате, торопливо оценивая их, и только когда орбиты их наблюдения пересеклись, они обменялись значительным взглядом, и один сказал что-то другому на незнакомом миссис Броуди языке. Язык был ей незнаком, но тон понятен, и ее передернуло от этого оскорбительного тона, она даже покраснела от робкого негодования и подумала, что, во всяком случае, так не разговаривают чистокровные шотландцы. Затем посетители начали наперебой бомбардировать ее вопросами:

— Вы хотите получить сорок фунтов?

— И под строжайшим секретом, чтобы не узнал никто... даже ваш хозяин?

— Немножечко побаиваетесь его, да?

— А для чего вам нужны эти деньги?

Их многоопытные взгляды, избличавшие полную осведомленность, совсем уничтожили миссис Броуди. Они шевелили пальцами, выставя напоказ сверкающие перстни и как бы подчеркивая, что деньги имеют *они*, что нуждается в них миссис Броуди и, следовательно, она у них в руках.

Когда они выпытали у нее всю подноготную относительно дома, мужа, ее самой, ее семьи, они кивнули друг другу и встали оба, как один. Они сделали рейс по гостиной, потом громко и бесцеремонно протопали по всему дому, перетрогав, перещупав, повертев, погладив и взвесив в руках

все вещи, сунув нос в каждый уголок, исследовав и высмотрев все решительно, а мама ходила за ними по пятам, как смиренная послушная собака.

После того как они обозрели все, вплоть до самых интимных деталей жизни в доме, скрытых внутри буфета, шкафов, в содержимом ящиков, и заставили миссис Броуди мучительно покраснеть, проникнув в ее спальню и заглянув даже под кровать, — они наконец спустились вниз, глядя на все, только не на хозяйку. Она уже читала в их лицах отказ.

— Боюсь, что ничего не выйдет, леди. Мебель ваша немногого стоит — громоздкая, старомодная, неходкая! — сказал один с противным напускным чистосердечием. — Мы могли бы ссудить вам под нее две десятки или, ну, скажем, даже двадцать четыре фунта. Самое крайнее — двадцать пять, за вычетом нашего обычного процента, — продолжал он, вынув из жилетного кармана зубочистку и действуя ею так энергично, точно это способствовало вычислениям. — Ну как, согласны?

— Да, леди, — вмешался второй, — времена теперь плохие, и вы, что называется, ненадежная залогодательница. Мы всегда идем навстречу дамам — просто удивительно, сколько дам мы обслуживаем! — но у вас нет солидного обеспечения.

— Ведь у меня все вещи хорошие, фамильные, — возразила мама слабым, дрожащим голосом. — Они переходили по наследству из поколения в поколение.

— Теперь вы бы не могли их продать, мэм, — уверил ее джентльмен с зубочисткой, соболезнующе качая головой. — Нет, и даже в наследство они не годятся. Больше, чем мы, вам никто не даст. Так как же, согласны получить двадцать пять фунтов чистоганом?

— Мне необходимо сорок, — тихо сказала мама. — Меньше никак нельзя.

— А больше у вас ничего не найдется предложить нам, леди? — спросил первый поощрительно. — Дамы всегда что-нибудь да вытряхнут из рукава, когда нужда прижмет. Может, и у вас имеется еще что-нибудь, чего мы не видели.

— Только кухня, — ответила смиренно миссис Броуди и открыла дверь в кухню, боясь, как бы они не ушли, страстно желая удержать их в этом скромном месте в надежде, что авось они пересмотрят свое решение.

Они неохотно, с пренебрежительным видом последовали за ней на кухню, но здесь внимание их сразу привлекла висевшая на видном месте картина в раме из светлого пятнистого ореха. Это была гравюра «Жнецы» с пометкой «первый оттиск» и подписью «Д. Бэлл».

— Это — ваша собственность, леди? — спросил один из посетителей после значительной паузы.

— Да, моя. Она мне досталась от матери.

Молодые люди заговорили между собой вполголоса, стоя перед картиной. Они смотрели на нее через лупу, терли ее, трогали бесцеремонно, как будто она уже была их собственностью.

— А вы не хотите продать ее, леди? Это не бог весть что — о, конечно, нет! Но мы могли бы предложить вам за нее... ну, скажем, пять фунтов, — начал один из них уже другим, заискивающим тоном.

— Продать я ничего не могу, — прошептала мама. — Мистер Броуди сразу бы это заметил.

— Ну, пускай будет десять фунтов! — воскликнул первый, усиленно изображая великодушие.

— Нет, нет! Но если она чего-нибудь стоит, ссудите мне остальные пятнадцать фунтов под залог этой картины. Если вы ее хотите купить, так она уж наверное годится в заклад.

Миссис Броуди ждала ответа в лихорадочном нетерпении, жадно следя за каждым изменением голоса, за быстрой и выразительной жестикуляцией, за каждым поднятием бровей, пока они совещались насчет картины. Наконец, после долгих дебатов, они пришли к какому-то соглашению.

— Будь по-вашему, леди, — сказал один. — Вы получите от нас сорок фунтов, но вам придется подписать обязательство насчет картины и всего остального.

— Мы даем деньги только из сочувствия к вам, — добавил его товарищ. — Мы видим, что вам они очень нужны. Но имейте в виду, что, если вы не заплатите долг вовремя, и эта картина, и вся ваша мебель перейдут к нам.

Она безмолвно кивнула головой, дрожа, как в лихорадке, задыхаясь от нестерпимо острого сознания победы, так трудно ей доставшейся. Молодые люди вернулись в гостиную, сели к столу, и она подписала бесконечное количество бумаг, заготовленных ими, ставя свое имя там, где они ей указывали, со слепой равнодушной беспечностью. Она поняла, что ей в течение двух лет придется платить по три фунта в месяц, но сейчас ни о чем не хотела думать, и когда ей отсчитали деньги хрустящими банковскими билетами, она взяла их, как во сне, и, как лунатик, проводила посетителей. Будь что будет, а у нее есть деньги для Мэта!

В тот же день она отослала ему деньги по телеграфу. Разыгравшаяся фантазия уже рисовала ей, как эти чистенькие кредитки несутся в

воздушной синеве на помощь ее сыну, и когда она отослала их, то в первый раз за три дня успокоилась и вздохнула свободно.

VI

На другое утро Броуди сидел за завтраком угрюмый, рассеянный, и две резкие поперечные морщины (которые в последнее время сильно углубились) обозначались у него на лбу между запавших глаз, как рубцы от ран, придавая и без того мрачному лицу выражение постоянной озабоченности. В неумолимо резком свете раннего утра его лицо — лицо человека, который, зная, что за ним никто не наблюдает, сбросил маску, — казалось, подтверждало брошенное в доме Пакстона досужее замечание. Видно было, что он потерял почву под ногами. Его хмурое лицо было словно низкая стена, из-за которой так и рвалось наружу смятение души, даже сейчас, когда он спокойно и тихо сидел за столом. Он напоминал пронзенного гарпуном, бессильно бьющегося кита. Слаборазвитый интеллект, столь не пропорциональный громадному телу, не способен был указать ему верный путь, и в своих усилиях спастись от окончательной гибели он кидался совсем не туда, куда нужно, и видел, как катастрофа надвигается все ближе и ближе.

Он, разумеется, ничего не знал ни о телеграмме, ни о том, что сделала вчера его жена. К счастью, он и не подозревал, что по всем его владениям с такой наглой бесцеремонностью ступали вчера ноги незваных гостей. Но и его собственных забот и неудач было более чем достаточно, чтобы он, как сухой трут, готов был каждую минуту вспыхнуть и буйно запылать от первой же искры.

Доев кашу, он с плохо скрытым нетерпением ожидал кофе, который миссис Броуди наливала для него в посудной.

Эта утренняя чашка кофе была одной из постоянных мелких невзгод, омрачавших беспокойное существование мамы: чай она готовила превосходно, кофе же ей редко удавалось подать так, чтобы угодить требовательному вкусу Броуди, то есть свежесваренным, только что налитым и страшно горячим. Этот невинный напиток стал удобным поводом для утренних скандалов, и не проходило дня, чтобы Броуди за завтраком не раздражался злобными жалобами. Кофе оказывался то слишком сладким, то недостаточно крепким, то плохо процеженным. Он то обжигал язык, то в нем плавало слишком много пенок от горячего молока. Как ни старалась миссис Броуди, результат никогда не удовлетворял ее супруга. Самый процесс подавания ему этой чашки стал для нее своего рода епитимьей, так как, отлично зная, что у нее трясутся руки, он

требовал, чтобы чашка была полна до краев и чтобы ни единая капля не пролилась на блюдце. Этот последний грех считался самым непростительным, и, когда он случался, Броуди нарочно делал так, чтобы капля с блюдца упала ему на пиджак, и начинал ворчать:

— Неряха, смотри, что ты наделала! Я не могу иметь ни одного чистого костюма из-за твоей небрежности и неосторожности.

Сегодня, когда мама вошла с чашкой, он метнул на нее гневный взгляд за то, что она заставила его ждать ровно девять секунд. Взгляд этот стал насмешливым и не отрывался от нее, пока она, напряженным усилием слегка дрожавшей руки держа чашку на блюдце совершенно неподвижно, медленно двигалась от двери к столу. Она уже почти достигла цели, но вдруг, дико вскрикнув, уронила все на пол и обеими руками схватилась за левый бок. Броуди, окаменев от гнева, посмотрел на разбитую посуду, пролитый кофе и уже потом только на жену, корчившуюся на полу среди всего этого беспорядка. Он заорал на нее. Но она ничего не слышала, обезумев от внезапной судороги, пронзившей ей живот как будто добела раскаленным вертелом, от которого расходились по телу волны жгучей боли.

В первые минуты она страдала ужасно, потом приступы боли постепенно стали ослабевать, как будто остывало раскаленное железо, которым ее припекали; она поднялась и без кровинки в лице стояла перед мужем, не помня в этот миг о том преступлении, которое совершила, пролив его кофе. Облегчение, испытываемое оттого, что боль прошла, развязало ей язык.

— Ох, Джемс! — сказала она, тяжело переводя дух. — Такой сильной схватки у меня еще ни разу не было. Она меня чуть не доконала. Пожалуй, надо будет сходить к доктору. У меня теперь так часто бывают боли, и иногда я нащупываю внизу живота какую-то твердую опухоль.

Она замолчала, заметив его мину оскорбленного достоинства.

— Начинается? — прошипел он. — Теперь ты будешь бегать к доктору каждый раз, когда у тебя немного заболит живот! По-твоему, мы для этого достаточно богаты! И мы можем себе позволить поливать пол дорогим кофе и бить посуду! Наплевать на такой расход, наплевать на то, что испорчен мой завтрак! Ломай, бей еще сколько душе угодно! — С каждым словом он кричал все громче. Затем внезапно перешел опять на глумливый тон: — Может быть, тебе угодно созвать консилиум из всех докторов в городе? Они, пожалуй, сумеют найти у тебя какую-нибудь болезнь, если притащат свои ученые книги и поломают все вместе свои пустые головы! А к кому же из них ты собиралась пойти?

— Говорят, Ренвик — хороший врач, — сказала неосторожно миссис Броуди.

— Что?! — загремел Броуди. — Ты смеешь говорить об этом олухе, который так нагрубил мне в прошлом году? Попробуй только к нему пойти!

— Я ни к кому из них не хочу идти, отец, — примирительным тоном оправдывалась миссис Броуди, — я сказала это только из-за ужасной боли, которая так давно меня мучает. Но сейчас все прошло, и я больше об этом не думаю.

Но Броуди разбушевался не на шутку.

— Не думаешь! Как же! Ты воображаешь, что я не вижу твоей постоянной возни с грязными тряпками! Человеку жизнь может опротиветь из-за такой жены. Нет, я больше терпеть это не намерен. Можешь перебраться в другую комнату. С сегодняшней ночи ты в моей кровати больше спать не будешь. Можешь убираться с моей дороги, ты, вонючая старая развалина!

Итак, он прогонял ее с их брачного ложа, с кровати, на которой она в первый раз отдалась ему, на которой родила ему всех детей. Почти тридцать лет эта кровать была местом ее отдыха; в горе и болезни ее усталое тело вытягивалось на ней. Миссис Броуди не думала в эту минуту о том, каким облегчением для нее будет иметь свой отдельный спокойный угол по ночам, избавиться от угнетающего соседства мужа, перебраться в бывшую спальню Мэри и быть там одной. Она ощущала только острую обиду и унижение оттого, что ее выбрасывают вон, как старую утварь, не годную больше к употреблению. Лицо ее пылало от стыда, как будто она услышала от мужа какое-нибудь грубое, циничное замечание, но, глубоко заглянув ему в глаза, она сказала только:

— Будет так, как ты хочешь, Джемс. Сварить тебе другой кофе?

— Не надо мне твоего поганого кофе! Обойдусь и без завтрака! — крикнул он. Хотя он съел большую тарелку каши с молоком, он убеждал себя, что жена нарочно лишила его завтрака, что снова он страдает из-за ее нерасторопности, которую она хотела скрыть, прикинувшись больной. — Меня не удивит, если ты начнешь морить нас голодом ради твоей проклятой экономии! — прокричал он напоследок и с достоинством вышел.

Злобное возмущение не оставляло его всю дорогу до лавки, и хотя он не думал о происшедшем инциденте, его глодало ощущение обиды, а мысли о предстоящем впереди дне были не такого сорта, чтобы вернуть ему спокойствие. Перри от него ушел, провожаемый, конечно, градом ругани и попреков, — ушел бесповоротно, и Броуди пришлось заменить

этого прекрасного и усердного помощника мальчишкой-рассыльным, который годился только на то, чтобы открывать лавку и бегать по поручениям. Не говоря уже о том, что из-за отсутствия опытного приказчика страдала торговля, все бремя работы в лавке легло теперь на широкие, но непривычные к этому плечи хозяина, и даже его туповатому уму было мучительно ясно, что он совсем разучился обслуживать тех, кто еще приходил в лавку. Он ненавидел и презирал это дело, он не знал, где что лежит, он был чересчур раздражителен, чересчур нетерпелив и вообще считал себя слишком крупной личностью для такого занятия.

К тому же он начинал понимать, что те покупатели высшего круга, которыми он так гордился, не могли одни поддержать его предприятие. Со все возрастающим неудовольствием он убеждался, что они покровительствовали ему только в отдельных случаях и проявляли крайнюю небрежность (разумеется, держа себя при этом самым светским образом) в уплате своих долгов. В прежние времена он по два, три и даже четыре года не требовал с них уплаты, уверенный, что они когда-нибудь да заплатят. «Пускай знают, — говорил он себе с важностью, — что Джеймс Броуди не какой-нибудь мелочный торгаш, которому только бы получить поскорее свои денежки, а такой же джентльмен, как они, и может подождать, пока другой джентльмен найдет для себя удобным заплатить ему». Но теперь, когда доход от его торговли резко уменьшился, Броуди так нуждался в наличных деньгах, что большая задолженность знатных людей графства стала для него источником серьезных затруднений. После тщательной проверки и непривычных трудных подсчетов он послал всем должникам счета, но немедленно оплачены были только два-три счета, в том числе и счет Лэтта, что же касается остальной разосланной пачки, то он с таким же успехом мог бы выбросить ее в Ливен. Не дождавшись никаких результатов, он решил, что бесполезно посылать счета вторично, что должники уплатят, когда это будет удобно им, а не ему; если он будет настаивать на уплате, чего никогда не делал раньше, то уж одно это может разогнать его старых покупателей.

Его собственные долги тем нескольким консервативным оптовым фирмам, у которых он закупал товар, далеко превысили обычные размеры. Он никогда не был хорошим дельцом, имел обыкновение делать заказы, когда и как вздумается, не проверял никогда накладных, счетов, итогов и ждал, пока к нему в определенные сроки явится почтенный представитель той или иной фирмы, как это принято между двумя солидными и уважаемыми предприятиями. Тогда, после учтивой и дружеской беседы на темы дня, Броуди подходил к маленькому зеленому несгораемому шкафу в

стене конторы, торжественно отпирал его и доставал парусиновый мешок.

— Итак, — говорил он внушительно, — каков же наш долг вам на сегодняшний день?

Посетитель извиняющимся тоном бормотал что-нибудь и, делая вид, что предъявляет счета против воли, только уступая настояниям Броуди, вынимал красивую записную книжку, некоторое время сосредоточенно шуршал вложенными в нее бумагами и вежливо говорил:

— Так вот, мистер Броуди, если уж вам это желательно, получите ваш почтенный счет.

А Броуди, бросив беглый взгляд на итог, отсчитывал кучку соверенов и серебра из вынутого мешка. Гораздо проще было уплатить чеком, но он презирал этот способ, считая его каверзным и неблагородным, и предпочитал эффектную процедуру высыпания из мешка блестящих новеньких монет, находя этот способ расплачиваться с кредиторами более джентльменским. «Это деньги, — пояснил он однажды, отвечая на заданный вопрос. — За товар надо платить деньгами; пускай себе те, кому это нравится, выдают вместо денег клочок бумажки. Мои предки платили чистым блестящим серебром, а что было хорошо для них, хорошо и для меня».

Приняв расписку от посетителя, он небрежно совал ее в жилетный карман, и оба джентльмена, сердечно пожав друг другу руки, расставались после соответствующего обмена любезностями.

Так, по мнению Броуди, должен был вести дела каждый приличный человек.

Но сегодня он ожидал такого рода визита не с гордым удовлетворением, а со страхом. Сам мистер Сопер от фирмы «Акционерное об-во Билсленд и Сопер», крупнейшей и наиболее консервативной из фирм, с которыми он имел дело, должен был сегодня посетить его, и, вопреки установившейся традиции, Броуди предупредили об этом посещении письмом — неожиданный и неприятный удар по его самолюбию. Он отлично понимал, чем вызван такой шаг, но тем не менее был сильно задет этим и ожидал предстоящего свидания с тоскливым беспокойством.

Придя в лавку, он хотел работой заглушить неприятное предчувствие, но дела было мало — в торговле полный застой. Пытаясь создать себе какое-то подобие деятельности, он ходил по лавке, тяжелоесный, неповоротливый, напоминая потревоженного Левиафана. Эта мнимая деятельность не обманула даже мальчишку-рассыльного, который, боязливо подглядывая за ним из чуланчика за лавкой, видел, как Броуди через каждые десять минут оставлял ненужную работу и рассеянно

смотрел в пространство, бормоча что-то про себя. С догадливостью выросшего на улице ребенка он понимал, что хозяин близок к разорению, и был очень доволен тем, что скоро ему придется искать себе другое, более подходящее место.

После бесконечно тянувшихся часов ожидания, когда Броуди уже казалось, что сегодня утром сюда не заглянет ни один покупатель, вошел человек, в котором Броуди узнал одного из своих давнишних клиентов.

Говоря себе, что вот клиент, хотя и незначительный, но по крайней мере верный ему, он пошел ему навстречу и поздоровался с усиленной приветливостью.

— Что скажете, мой друг? Чем могу служить?

Покупатель, несколько ошарашенный такой любезностью, ответил коротко, что ему нужна суконная кепка, самая простая, обыкновенная кепка, такая же, как он купил в прошлый раз, серая в клетку, размер шесть и семь восьмых.

— Такая же, как та, что на вас? — спросил Броуди ободряюще.

Покупатель казался чем-то смущенным.

— Нет, — возразил он, — другая. Это моя воскресная.

— Позвольте взглянуть, — сказал Броуди, взволнованный смутным подозрением, и, протянув руку, неожиданно снял с головы посетителя шапку и заглянул внутрь. На блестящей сатиновой подкладке стоял штампель «М. Ш. Г.», ненавистная марка соседа-конкурента. Мгновенно лицо его вспыхнуло злобным возмущением, и он швырнул шапку обратно ее владельцу.

— Вот как! — крикнул он. — Значит, парадную, воскресную шапку вы покупали у других? И у вас хватает нахальства приходить ко мне за простой, обыкновенной кепкой после того, как более дорогую покупку вы сделали у них? Так вы полагаете, что я буду подбирать их объедки? Ступайте туда и покупайте свой дрянной хлам в этом музее восковых фигур. Ничего я вам не продам!

Покупатель ужасно растерялся.

— Послушайте, мистер Броуди, я вовсе не хотел вас обидеть. Я зашел туда просто так, ради новизны. Это жена виновата. Она меня все подбивала: «Пойдем да пойдем, посмотрим, что за новый магазин!» Эти бабы знаете каковы! Но я вернулся обратно к вам.

— А я вас не приму! — заорал Броуди. — Вы думаете, со мной можно так поступать? Я этого не позволю, нет. Перед вами человек, а не такая проклятая обезьяна на палке, как у них в новом магазине! — И он стукнул кулаком по прилавку.

Положение создавалось нелепое. Он как будто ожидал, что пришедший будет ползать у его ног и умолять, чтобы его восстановили в правах покупателя. Уж не рассчитывал ли он в своей бессмысленной ярости, что тот будет вымаливать честь покупать у него, Броуди? Нечто вроде такого вопроса мелькнуло в лице рабочего. Он с недоумением покачал головой:

— Я могу купить то, что мне надо, и в другом месте. Вы, конечно, большой человек, что и говорить, но поступаете, как тот, кто, рассердившись на свое лицо, отрезал себе нос.

Когда покупатель ушел, возбуждение Броуди сразу улеглось, и лицо его приняло огорченное выражение. Он сознавал теперь, что сделал глупость, которая вредно отразится на его деле. Человек, которого он прогнал, всем будет с возмущением рассказывать о его поступке, и, вероятно, не пройдет и нескольких часов, как по городу начнет ходить искаженная версия этой истории. Люди будут делать нелестные замечания насчет его самодурства. В прежнее время он был бы доволен тем, что о нем судачат, и только потешался бы над этим кудяхтаньем, теперь же он по опыту знал, что клиенты, узнав о его выходке, не захотят подвергнуться, в свою очередь, недостойному обращению и будут обходить его лавку за версту. Он даже зажмурился от этих неприятных мыслей и проклинал покупателя, город и его обитателей.

В час он крикнул мальчику, что отлучится ненадолго. С тех пор как Перри ушел от него, некому было замещать его в лавке, поэтому он только в редких случаях ходил домой обедать, и хотя торговля сильно уменьшилась, но во время таких отлучек беспокойство и нетерпение доводили его до раздражительности. Под влиянием странного, ни на чем не основанного оптимизма он боялся пропустить какой-нибудь случай, который может сразу оживить торговлю. Поэтому он и сегодня пошел не домой, а в «Герб Уинтонов», находившийся в нескольких шагах от лавки. Еще год тому назад он считал немыслимым войти сюда в иное время, чем поздно вечером, и через отдельную дверь, предназначавшуюся специально для него и его товарищей-философов. Теперь же дневные визиты сюда вошли у него в обыкновение. Сегодня Нэнси, красивая буфетчица, подала ему на завтрак холодный паштет и маринованную красную капусту.

— Что вы сегодня будете пить, мистер Броуди? стаканчик пива? — осведомилась она, поглядывая на него из-под темных загнутых ресниц.

Он хмуро посмотрел на нее, заметив, несмотря на свою озабоченность, как идут к ее янтарно-белой коже мелкие золотистые веснушки, похожие на золотые крапинки, которыми усеяно яйцо реполова.

— Вам пора знать, что я не пью пива, Нэнси. Терпеть его не могу. Подайте мне виски и холодной воды.

Нэнси открыла уже было рот, чтобы выразить сожаление, что такой приличный человек пьет так много, но струсил и промолчала.

Она считала мистера Броуди большим человеком и настоящим джентльменом. И если верить слухам, жена его была настоящее пугало, поэтому к интересу, который он внушал Нэнси, примешивались сочувствие, жалость, особенно теперь, когда он ходил такой рассеянный и печальный. В ее глазах он был окружен романтическим ореолом.

Когда она принесла ему виски, он поблагодарил, подняв к ней мрачное лицо, выражение которого, однако, не отталкивало, а, напротив, как будто поощряло ее, и, пока Нэнси вертелась у стола, ожидая, не понадобятся ли ее услуги, он, завтракая, осторожно, вполглаза поглядывал на нее. «Хорошенькая, шельма!» — подумал он, водя взглядом по всей ее фигуре, от маленькой ножки в щегольской туфле, с красиво изогнутой лодыжкой, плотно обтянутой черным чулком, к крепким, тугим бедрам, к груди, полной, но красивой, и еще выше — к губам, алевшим, как лепестки фуксии, на белом лице.

Разглядывая девушку, он вдруг ощутил волнение. Внезапное бурное желание, жажда наслаждений, которых он был лишен, нахлынула на него. Хотелось вскочить из-за стола и стиснуть Нэнси своими могучими руками, ощутить в объятиях это молодое, упругое, неподатливое тело вместо той дряблой и покорной бесформенной массы, которой ему приходилось довольствоваться столько лет. На одну минуту у него перехватило горло так, что он не мог ничего проглотить, и во рту пересохло от иной жажды. Ему вспомнились передаваемые шепотком слухи и осторожные намеки насчет поведения Нэнси, и теперь они бешено разжигали в нем похоть, служа порукой, что голод, который он испытывал, легко можно будет утолить. Но он сдержал себя огромным усилием воли и продолжал машинально есть, устремив в тарелку пылающие глаза.

«Как-нибудь в другой раз», — твердил он себе, помня, что ему сегодня предстоит важное деловое свидание, что нужно обуздать себя, подготовиться к беседе с Сопером, которая может иметь решающее значение для его предприятия.

И он, кончая завтрак, больше не глядел на Нэнси, но его теперь влекло к ней, и легкое прикосновение ее тела к его плечу, когда она убирала тарелки, заставило его стиснуть губы. «В другой раз! В другой раз».

Молча принял он из рук девушки сыр и бисквиты, принесенные ею, быстро поел, затем встал и, подойдя к Нэнси вплотную, с

многозначительным видом сунул монету в ее теплую ладонь.

— Вы очень хорошо угождали мне последнее время, — сказал он, как-то странно глядя на нее, — и я вас не забуду.

— О мистер Броуди, надеюсь, это не означает, что вы сюда больше не придете? — воскликнула она огорченно. — Мне было бы так жаль, если бы вы перестали ходить к нам!

— Вам было бы жаль? Правда? — спросил он медленно. — Это хорошо. Думается мне, что мы с вами составили бы неплохую пару. Не беспокойтесь. Я приду опять. — И, помолчав, добавил тихо: — Да! Надеюсь, вы догадываетесь для чего.

Нэнси сделала вид, что краснеет, и потупила голову, поняв, что, вопреки ее опасениям, Броуди заметил ее и склонен подарить своей благосклонностью. Он ей нравился, производил на нее впечатление своей силой. Так как она была уже не девушка, то ее сильнее волновало исходившее от него чувственное обаяние мужской силы. И он был так щедр, этот мистер Броуди!

— Не много проку такому большому мужчине от такой девчонки, как я, — шепнула она лукаво. — Вы и попробовать не захотите!

— Я приду, — повторил он, пристально, жадно глядя на нее, затем круто повернулся и вышел.

Одно мгновение Нэнси не двигалась с места, глаза ее сияли удовлетворением, притворная застенчивость с нее разом соскочила. Затем она подбежала к окну и поднялась на цыпочки, чтобы увидеть шедшего по улице Броуди.

Возвратясь в лавку, Броуди усилием воли отогнал соблазнительные образы, так приятно волновавшие его воображение, и попытался сосредоточить мысли на предстоящей встрече с мистером Сопером. Но мысли разбегались, он, как и всегда, не способен был выработать четкий план действий. Как только он принимался обсуждать возможности, связанные с какой-нибудь идеей, он тотчас отвлекался; снова начинал думать о Нэнси, о ласковом выражении ее глаз, о том, как устроить свидание с ней. Наконец он сердито отказался от этой борьбы с собой и, решив сначала подождать результата беседы с Сопером, а потом уже, если понадобится, попытаться все уладить, вышел из конторы в лавку, чтобы там ожидать прихода посетителя.

Мистер Сопер явился ровно в три часа, как было указано в его письме, и Броуди, стоявший уже наготове, тотчас же пошел ему навстречу и поздоровался.

Когда они пожимали друг другу руки, Броуди показалось, что в

пожатию мистера Сопера больше решительности и меньше сердечности, чем обычно, но он отогнал это подозрение и сказал с усиленной приветливостью:

— Пожалуйста ко мне в контору, мистер Сопер... Приятная погода сегодня, очень теплая для начала весны.

Но посетитель, видимо, не был расположен беседовать о погоде. Когда они сели за стол друг против друга, он посмотрел на Броуди с учтиво-официальным видом, затем отвел глаза. Мистеру Соперу было хорошо известно положение дел Джемса Броуди, и во имя давнишней связи между ним и их фирмой он был склонен щадить его. Но шедший от Броуди густой запах спирта и шумная развязность его приветствия сильно настроили Сопера против него. Сопер был человеком строгих нравственных правил, усердным приверженцем секты «Плимутские братья» и вдобавок примерным членом Шотландского общества трезвости. И, сидя сейчас против Броуди в дорогом, прекрасно сшитом костюме, созерцая свои превосходно отделанные ногти, он сжал губы с выражением, не предвещавшим ничего доброго.

— Если такая ясная погода продержится, пахота пройдет отлично. На днях я был за городом и видел, что на большой ферме уже начали... — продолжал Броуди. Его неповоротливый ум мешал ему настроиться в тон недружелюбному поведению собеседника, и он упорно держался обычного тона прежних бесед. — Я, знаете ли, пользуюсь всяким случаем, чтобы прогуляться за город: люблю смотреть, как добрая пара лошадок вспахивает хорошую, жирную землю.

Сопер дал ему поговорить, затем неожиданно перебил, сказав сухо и резко:

— Мистер Броуди, ваш долг нашей фирме составляет ровно сто двадцать четыре фунта десять шиллингов шесть пенсов. Я приехал по поручению моих компаньонов просить уплаты.

У Броуди был такой вид, как будто в него выстрелили.

— Ч-что так-кое? — пробормотал он, заикаясь. — Что это еще за новости?

— Я понимаю, сумма большая, но вы затянули уплату по счетам, переданным вам нашим представителем в последние три посещения. Так как дело идет о большой сумме и вы наш старый клиент, я, как вы, вероятно, предвидели, лично явился просить уплаты.

В душе Броуди яростно боролись два противоположных чувства — негодование против Сопера и ужасное смущение, в которое его привели размеры долга. Не имея записей, по которым можно было бы все

проверить, он, однако, сразу подумал, что, как это ни печально, цифра, названная Сопером, должно быть, правильна: такие люди никогда не ошибаются. Но сухой тон Сопера поразил его ужасно, а невозможность реагировать на него так, как ему бы хотелось, приводила в бешенство. Будь у него эти деньги, он бы немедленно уплатил Соперу и тут же на месте навсегда порвал с его фирмой. Но он прекрасно понимал, что этого сделать нельзя, и с трудом подавил гнев.

— Такому давнишнему заказчику, как я, вы, конечно, дадите отсрочку? — произнес он с усилием, косвенно признаваясь таким образом, что не может сейчас уплатить.

— Вы ничего не вносили нам вот уже больше года, мистер Броуди, и мы, естественно, начинаем беспокоиться. Боюсь, что придется все-таки просить вас сразу же оплатить счета.

Броуди посмотрел на него, потом на свой несгораемый шкаф, где, как он знал, лежало только около пяти фунтов, подумал безнадежно о своем текущем счете в банке, на котором оставалась уже совсем ничтожная сумма.

— Если вы этого не сделаете, — продолжал Сопер, — то мы, к сожалению, будем вынуждены принять соответствующие меры. Мы неохотно к этому прибегаем, но придется...

Глаза у Броуди стали похожи на глаза раздраженного быка.

— Я не могу уплатить, — сказал он. — Сегодня не могу. Но вам не придется «принимать меры», как вы выражаетесь. Вам бы следовало знать, что Джемс Броуди честный человек. Я вам уплачу, только дайте мне время раздобыть деньги.

— А каким образом вы предполагаете это сделать, смею спросить?

— Спрашивать можете, покуда у вас язык не отнимется, но я не обязан вам это объяснять. Единственное, что вам надо знать, — это то, что к концу недели вы получите свои деньги, над которыми трясетесь. Я так сказал, а мое слово свято.

Выражение лица Сопера немного смягчилось.

— Да, — отозвался он после некоторого молчания, — это я знаю. Знаю и о ваших затруднениях, мистер Броуди. Всё эти новые фирмы с их модными лавками, в которых они сбивают цены... — Он выразительно пожал плечами. — Но и у нас есть свои затруднения и обязательства, которые мы должны выполнять. В нынешние времена в коммерции сентиментальничать невозможно. Однако скажите, как, собственно, у вас обстоят дела?

Броуди хотел было придумать уничтожающий ответ, но вдруг с

мрачным юмором решил, что ничто так не поразит его собеседника, как чистая правда.

— За две недели вся выручка в лавке — меньше трех фунтов, — сказал он отрывисто. — Как вам это нравится?

Сопер в ужасе поднял холеные руки:

— Мистер Броуди, вы меня поражаете! Кое-что я слышал, но не знал, что дела ваши настолько плохи.

Он с минуту смотрел в суровое лицо Броуди, затем промолвил уже более дружелюбным тоном:

— Знаете, иногда умнее всего — разрубить узел. Невыгодное предприятие лучше прекратить прежде, чем оно вас разорит. Не пытайтесь прошибить головой каменную стену. Вы меня извините, — вам понятно, что я хочу сказать. — Он встал, намереваясь уйти.

— Нет, не понимаю! Что вы имеете в виду, черт возьми? — спросил Броуди. — Здесь я всегда был, здесь и останусь.

Сопер остановился на пути к двери.

— Я вам добра желаю, мистер Броуди! — воскликнул он. — И совет вам даю полезный. Вы можете принять его или не принять, дело ваше. Но я, как человек опытный, вижу, что положение ваше здесь безвыходно. Было время, когда вы торговали великолепно, ну а теперь ваши конкуренты рядом найдут сотню способов разорить вас. Дорогой мой, не забывайте — у нас теперь тысяча восемьсот восемьдесят первый год. Все мы идем в ногу с новыми идеями и современными методами, все, кроме вас, и колесо прогресса вас раздавит. Мудрый человек знает, когда сдаваться, и, будь я на вашем месте, я бы закрыл эту лавку и спас бы то, что еще можно спасти. Почему бы вам не взяться за что-нибудь другое? Такой крепкий мужчина, как вы, мог бы вложить свои деньги в ферму и работать на ней с большим успехом. — Он дружески протянул Броуди руку и сказал, прощаясь: — Не забудьте же — в конце недели!

Броуди смотрел ему вслед тупым, лишенным всякого выражения взглядом, ухватившись за край стола, но так сжав руку, что мускулы ее резко обозначились на темной волосатой коже, а жилы напряжились, как туго скрученные веревки.

— Оборудовать ферму! — бормотал он. — Он не знает, как мало денег у меня осталось.

Мысли его ринулись по этому пути, и он сказал сам себе с горьким сожалением:

— А ведь Сопер прав! Если бы я мог это сделать, вот была бы жизнь! Работал бы я на земле, которую так люблю, на своей собственной земле. Но

теперь это уже невозможно. Я должен биться до конца здесь.

Он видел, что придется заложить дом, единственное оставшееся у него имущество, чтобы вырученными деньгами уплатить долг Соперу и остальные постепенно накопившиеся долги. Никто ничего не узнает, он сходит тайно к адвокату в Глазго, и тот все устроит. Но у него уже было такое чувство, словно его дом больше не принадлежал ему. Словно он своими собственными руками должен начать разрушать крепкое здание, которое камень за камнем выросло у него на глазах, как здание его надежд. Он любил свой дом, но придется его заложить, чтобы поддержать честь имени. Прежде всего он должен сохранить незапятнанной репутацию честного и порядочного человека, показать, что он, Джемс Броуди, не останется должен никому ни единого пенни. Да, есть вещи, на которые он неспособен!

Тут внезапно мысли его приняли другой оборот, он как будто вспомнил что-то. Глаза заблестели, нижняя губа немного выпятилась, и рот искривился похотливой усмешкой. Среди пустыни его забот вдруг возник перед ним зеленый оазис наслаждения. Да, но есть вещи, на которые он способен! Скрывая в себе тайное желание, словно преступление, он вышел крадучись из лавки, забыв, что в ней никого не остается, и медленно зашагал к «Гербу Уинтонов».

VII

Миссис Броуди лежала на диване в гостиной — необычная с ее стороны лень, в особенности в такой час дня, когда ей полагалось заниматься мытьем посуды после обеда. Но сегодня силы ей изменили раньше обычного, она почувствовала, что должна полежать, не дожидаясь наступления ночи.

— Я так выбилась из сил, — сказала она бабушке Броуди, — что просто с ног валюсь. Пожалуй, прилягу на минутку.

Старуха неодобрительно посмотрела на нее и, торопясь уйти из боязни, как бы ее не попросили перемыть посуду, бросила на ходу:

— Тебе немного надо, чтобы расклеиться. Вечно ты стонешь да кряхтишь в последнее время. В твои годы я работала вдвое больше, чем ты, и никогда ни на что не жаловалась.

Тем не менее после ухода свекрови миссис Броуди поплелась в гостиную и легла. Почувствовав себя лучше, она лежала, лениво размышляя о том, что, если бы она раньше позволяла себе такой короткий отдых после обеда, она бы лучше сохранилась. Все же она была рада уже и тому, что в последние десять дней у нее не было острых приступов, только постоянная ноющая боль, к которой она уже так привыкла, что почти ее не замечала.

Почти три недели прошло со дня отсылки Мэту денег, а от него не было никаких вестей, так что можно было подумать, будто эти сорок фунтов все еще лежат неприкосновенно в сундуках Максеви́тча. Одно воспоминание об этом смешном и ненавистном имени вызывало в ней легкую дрожь. Ей стоило большого труда наскрести деньги для первого взноса в счет долга: она экономила и урывала крохи, чтобы время от времени радостно опускать несколько накопленных монет в специально для этого предназначенную жестяную коробку, которую прятала у себя в ящике. Мучительно трудно было собирать эти деньги, и она уже предвидела, как этот долг будет угрожающе висеть над ее головой, подобно дамоклову мечу, целых два года.

Разумеется, Мэта она не винила ни в чем, и посреди тягостных дум о положении, в которое она попала, достаточно было одной только мысли о скором возвращении сына, чтобы ее черты оживились бледной улыбкой. В глубине души она была твердо убеждена, что как только Мэт вернется, он тотчас же единым словом освободит ее от этого гнетущего обязательства.

Губы миссис Броуди распустились в улыбке при мысли, что скоро сын снова будет в ее объятиях, утешит ее, сторицей вознаградит за те сверхчеловеческие усилия, которые она делала ради него. Она рисовала себе последние этапы его путешествия, видела, как он нетерпеливо проходит по палубе, поспешно высаживается на берег, едет по улицам, запруженным толпой, затем беспокойно сидит в уголке железнодорожного вагона и, наконец, вскакивает в кеб, который доставит его к ней, к матери!

Картина его возвращения стояла перед нею, ослепляла сладкой уверенностью в близости этого возвращения. Но когда она, рассеянно глядя в окно, увидела, что к воротам подъехал кеб, нагруженный багажом, она наморщила лоб, словно не доверяя собственным глазам.

Не может быть, чтобы это приехал Мэт, ее мальчик, ее родной сын! Но — о чудо! — это был он. Наконец-то он дома, небрежной походкой выходит из кеба, как будто он и не проехал трех тысяч миль морем и сушей, чтобы вернуться к ней. С бессвязными восклицаниями она вскочила, выбежала на улицу, спотыкаясь на ходу, и заключила его в объятия, едва дав ему выйти из кеба.

— Мэт! — захлебывалась она, изнемогая от избытка чувств. — О Мэт!

Он отступил немного назад, протестуя:

— Спокойнее, мама, спокойнее! Этак ты меня раздавишь, ей-богу!

— О Мэт, дорогой мой мальчик! — шептала она. — Наконец ты опять со мной!

— Да ну полно, мама! — воскликнул он. — Не поливай ты меня слезами, я привык к сухому климату. Ну вот опять! Не превращай мой новый галстук в носовой платок!

Под градом его протестов мать наконец выпустила его из объятий, но отойти не хотела и, нежно цепляясь за его рукав, как будто боясь, что снова его лишится, сказала горячо:

— Едва верится, что ты опять со мной, сынок. Какое счастье, что мои усталые глаза опять видят тебя! Ведь я не переставала думать о тебе с той минуты, как ты уехал. Как я скучала!

— Ну конечно, я опять здесь, старушка! — подтрунивал над ней Мэт. — Опять в том самом старом Ливенфорде и в том самом родительском доме, у той самой старой мамочки!

Миссис Броуди смотрела на него с молитвенным обожанием. Может быть, все и осталось таким же, как было, но он-то изменился, это был совсем не тот неопытный юноша, который уехал от нее только два года тому назад.

— Боже, Мэт, как ты похорошел! Ты стал настоящим мужчиной, мой

сын!

— Это верно, — согласился он, глядя больше вокруг себя, чем на мать. — Кое-чему я научился с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз. Я скоро покажу всем в этом старом городишке, что такое настоящий шик. Боже, каким убогим здесь кажется все по сравнению с тем, к чему я привык за эти годы! — И, с повелительным видом обернувшись к кучеру, он крикнул: — Эй ты, вноси багаж!

Миссис Броуди с гордостью увидела, что, уехав с одним небольшим сундуком, Мэт возвратился с целой грудой чемоданов и ящиков. И разве способен он был в тот памятный день, когда, трепеща, вылетел из-под ее крылышка, окликнуть кучера с таким аристократическим пренебрежением, как сейчас? Идя за ним в переднюю, она не могла не выразить своего восхищения переменой в нем.

— О, это пустяки, — возразил Мэт небрежно, — я привык там к целой свите слуг — черных, конечно, — а когда человек привыкнет командовать такой оравой, то ему уже нетрудно заставить слушаться одного старого gharry wallah. Расплатись с ним, пожалуйста, мама! У меня случайно не осталось мелочи.

Взгляд его выражал презрение к такой низменной задаче, как расплата с простым извозчиком, и, в последний раз снисходительно оглядев все кругом, он вошел в дом. Мама побежала за кошельком и, расплатившись с кучером, вернулась, старательно заперев за собой входную дверь, как будто боялась, как бы у нее вдруг снова не отняли сына. Груда багажа в передней порадовала ее, сердце в ней ликовало и пело: «Он здесь! Мэт воротился навсегда!»

Она вошла в кухню, где он уже расположился в кресле, вытянув ноги и всей своей позой изображая скучающего светского молодого человека.

— Довольно утомительное путешествие! — пробормотал он, не поворачивая головы. — Я нахожу, что поезда в Англии производят слишком много шума. У человека от них отчаянно разбивается голова.

— Отдохни, отдохни, мой мальчик! — воскликнула мама. — Ты уже дома — это главное...

Она остановилась, потому что ей нужно было сказать так много, и она не знала, с чего начать. Но тотчас решила, что, раньше чем удовлетворить свое эгоистическое любопытство, ей следует подкрепить силы Мэта едой, приготовленной ее собственными любящими руками.

— Умираю от нетерпения все узнать от тебя, Мэт, — сказала она, — но сначала я принесу тебе чего-нибудь поесть.

Мэт жестом отклонил это предложение.

— Нет, дорогой, ты непременно должен закусить. Кусочек холодной ветчины или чашку чечевичного супа? Помнишь этот вкусный питательный суп, который я, бывало, готовила для тебя. Ты всегда любил его.

Мэт решительно покачал головой:

— Мне не хочется есть. Я привык теперь обедать поздно вечером, кроме того, я подзакусил в Глазго.

Мама, несколько разочарованная, все еще настаивала:

— Тебе после езды, верно, хочется пить. Выпей хоть чашечку чаю. Никто не умеет так готовить чай, как я.

— Ладно, — снизошел Мэт. — Готовь чай, раз это самое большее, что ты можешь сделать.

Она не вполне уловила смысл этого замечания и стремглав кинулась кипятить воду, потом, принеся Мэту большую чашку дымящегося чая, села на низенькую скамеечку рядом с ним, жадными глазами следя за каждым его движением. Мэта ничуть не смущало это страстное внимание; попивая чай, он небрежно достал из кармана портсигар блестящей кожи, вынул оттуда толстую манильскую сигару, очистил ее от соломы и закурил. Все это яснее слов говорило, что он сам себе господин и вполне светский молодой человек.

В то время как мать следила за его развязными жестами и любовалась модным изяществом его костюма из светлого сукна, она с некоторым беспокойством заметила, что лицо его изменилось, выглядело старше, чем можно было ожидать. Особенно постарели глаза: они казались темнее, чем прежде, в углах век появилась сеть мелких морщинок. Черты лица заострились, кожа приобрела желтоватый оттенок и туго обтягивала челюсти. Миссис Броуди пришла к убеждению, что какое-то тяжелое испытание омрачило жизнь сына, пока он был в разлуке с нею, и, когда ей показалось, что Мэт уже немного отдохнул, она сказала мягко:

— Расскажи мне все, Мэт.

Он посмотрел на нее из-под полуопущенных век и ответил коротко:

— О чем именно?

— Обо всем, сынок! Материнских глаз не обманешь. Кто-то тебя обидел, был к тебе жесток и несправедлив. Я так мало знаю о тебе. Расскажи, почему ты уехал из Индии и что... что с тобой случилось на обратном пути.

Мэт шире открыл глаза, помахивая сигарой, и вдруг стал словоохотлив.

— Ах, об этом! — сказал он. — Это объяснить недолго. Не о чем и

рассказывать. Просто я бросил службу, потому что она мне действовала на нервы! Правду тебе сказать, мама, я не выносил проклятого заведующего конторой. Никак ему невозможно было угодить, вечно он всем был недоволен. Если я немножко опаздывал по утрам, засидевшись вечером в клубе, или если иной раз пропускал день, когда получал какое-нибудь приглашение, он становился просто невыносим.

Мэт с обиженным видом посмотрел на мать и, затянувшись сигарой, добавил, негодуя:

— Ты знаешь, как я всегда терпеть не мог, чтобы мною помыкали. Я никогда не позволял никому командовать мною. Это не в моем характере. Ну вот я и высказал ему совершенно откровенно свое мнение и ушел.

— А ты не говорил об этом мистеру Уолди, Мэт? — спросила мать, разделяя его возмущение. — Он ведь наш, ливенфордский, и добрый человек. Он славится своей справедливостью.

— Его-то я и имею в виду, этого господина! — ответил Мэт злобно. — Он-то и обращался со мной как с кули. Это не джентльмен, а какой-то проклятый надсмотрщик над невольниками, ханжа, распеваящий псалмы!

Лицо мамы выразило некоторое смущение и огорчение.

— Так вот почему ты уехал, сынок! Нехорошо было с его стороны так поступать с тобой! — Она замолчала, потом робко добавила: — А мы думали, что, может быть, ты нездоров.

— Здоров как бык, — возразил Мэт хмуро. — Все вышло только из-за проклятой службы. А остальное мне там нравилось. Отличная была бы жизнь, если бы меня оставили в покое... Но эта старая свинья мне не помешает опять уехать за границу — на этот раз в Бирму или на Малайские острова. Ни за что не останусь в вашем дрянном городишке после всего, что я перевидал за границей.

У миссис Броуди сердце упало. Не успел сын приехать, как он уже говорит о новой разлуке, хочет, подобно Александру Македонскому, искать новых побед в каких-то диких чужих странах, которые внушали ей ужас!

— Ты не думай об этом пока, родной, — попросила она дрожащим голосом. — Может быть, ты здесь найдешь службу, которая тебе больше подойдет. Тогда не надо будет нам опять расставаться.

Он отрывисто засмеялся:

— Так ты полагаешь, что я могу сидеть в такой дыре после той жизни, которую вел за границей? Что вы здесь можете мне предложить взамен нее? Только подумай: клуб, обеды в офицерской столовой, танцевальные вечера, скачки, матчи, игра в поло, слуги, которые из кожи лезли, чтобы мне угодить, — все, чего только можно пожелать.

Ослепленная этим романтическим вымыслом, она представила себе сына в избранном обществе, на полковых обедах, рядом с офицерами в красных мундирах, знатными дамами в блестящем атласе и, сознавая убожество всего того, что могла бы ему предложить взамен, сказала подавленно:

— Конечно, дома всего этого не будет. Но я... я изо всех сил буду стараться, чтобы тебе здесь жилось уютно, буду ухаживать за тобой.

Мэт ничего не ответил, и это красноречивое молчание смутило миссис Броуди. Она была опечалена тем, что разговор прервался таким неприятным образом, что после двух лет разлуки сын не находит, о чем говорить с ней, не спешит узнать, как жила она в его отсутствие.

— А как ты себя чувствовал во время обратной поездки? — решила она наконец спросить.

— Сносно! Вполне сносно! — отвечал Мэт. — Погода была тихая. Но к концу я невыносимо скучал и сошел в Марселе.

— Это там, куда я послала тебе... твои деньги? — вставила нерешительно миссис Броуди. — А кстати, они дошли благополучно?

— Да, я получил их вовремя, — ответил он небрежно. — Но я черт знает сколько провозился с разными формальностями, пока мне их выдали. Да, деньги достаются медленно, а уходят быстро.

— Тебе они, верно, понадобились для какого-нибудь важного и срочного дела, Мэт?

— Они мне были *нужны* — и этого достаточно, не так ли?

— Да, конечно, Мэт, я уже по телеграмме поняла, что они тебе очень нужны. Но такая большая сумма!

— Сумма пустячная, — возразил он сердито, — послушать тебя, так можно подумать, что речь идет не о моих собственных деньгах. Я их заработал, не так ли? Я тебя не ограбил, а потребовал свои деньги, которые я имел право истратить, на что мне угодно.

— Истратить! — повторила она. — Но ведь они тебе были нужны на что-нибудь важное, не просто для того, чтобы истратить их, да, Мэт?

Он разразился громким смехом:

— Мама, ты меня уморишь, ей-богу! Ты знаешь, что я возвращался из Марселя уже не морем, а сухим путем. Как же может мужчина не иметь с собой немного карманных денег? — Он остановился и посмотрел на мать с насмешливой важностью. — Хочешь знать, что я сделал с ними, мать? Обошел всех слепых нищих в Париже и раздал им свои деньги. Это было мое последнее маленькое развлечение в веселом городе Париже перед отъездом сюда, в ваш восхитительный город!

Миссис Броуди была совершенно ошеломлена, и в ее воображении встал этот Париж, о котором говорил Мэт. Значит, она унизила себя, добровольно попала в лапы богопротивных ростовщиков только для того, чтобы послать Мэта с набитым кошельком навстречу постыдным развлечениям развратного города! За какие непристойные, отчаянные сумасбродства Мэта придется ей платить в течение двух лет? При всей своей горячей любви к сыну и боязни его обидеть она не могла не сказать с упреком:

— Ах, Мэт, лучше было тебе не ездить в такие места! Я не говорю про деньги, милый, но... но этот город, должно быть, полон искушений для молодого человека. Боюсь, что тебе не следовало туда заезжать, и, уж конечно, Агнес будет того же мнения.

Он опять грубо расхохотался:

— Что подумает или скажет Агнес, меня беспокоит не больше, чем скрип старого башмака. Мысли ее мне хорошо известны, а что касается до ее разговоров, так мне давно надоели псалмы. Никогда я больше не буду сидеть на ее диване. Нет! Не такая женщина мне нужна, мама! С ней все покончено.

— Мэт! Мэт! — всполошилась мама. — Не говори так! Не может быть, чтобы ты это говорил серьезно. Агнес так тебе предана.

— Предана! Пускай побережет свою преданность для того, кто в ней нуждается. А что в ней хорошего? Ничего! Я встречал женщин, — продолжал он восторженно, — таких, что она вся не стоит их мизинца. Сколько в них очарования, резвости, жизни!

Миссис Броуди пришла в ужас, и в ту минуту, когда она умоляюще смотрела на сына, ее вдруг поразила новая мысль.

— Ведь ты не нарушил обета,^[6] сын? — спросила она дрожащим от волнения голосом.

Он посмотрел на нее как-то странно. Мысленно он спрашивал себя: «Неужели мамаша воображает, что я все еще буду держаться за ее фартук? Пожалуй, я был с ней чересчур откровенен».

— Нет. Разве только изредка капельку голландского,^[7] — отвечал он без запинки. — Там, понимаешь ли, приходилось пить его из-за печени.

Миссис Броуди немедленно представила себе его печень в виде жадно впитывающей в себя влагу сухой губки, для насыщения которой он вынужден был поглощать спиртные напитки. Мысленно поблагодарив Бога, что сын возвратился на родину, в более умеренный климат, она храбро вернулась к первой теме.

— Агнес славная девушка, Мэт. Такая жена — спасение для любого человека. И она ждала тебя, была тебе верна. Если бы ты теперь ее оставил, она бы этого не перенесла.

— Ну хорошо, мама, не волнуйся! — сказал он уступчиво. — Я побываю у нее, раз уж ты этого так хочешь.

Ему внезапно пришло в голову, что, пожалуй, забавно будет встретиться с мисс Мойр теперь, когда он обладает уже большим опытом в некоторых вещах.

— Вот и хорошо, сынок, сходи к ней. Я знала, что ты это сделаешь для меня.

Она сразу воспрянула духом, обрадованная своим влиянием на Мэта, уверенная, что после свидания его с Агнес все снова наладится. Если он сбился с пути, Агнес вернет его на узкую стезю добродетели. И, боясь, как бы он не взял назад своего обещания, она торопливо продолжала:

— Боюсь, что ты вел там уж слишком веселую жизнь, Мэт. Я тебя не осуждаю, мой мальчик, но теперь трудно будет тебе настроить свою душу на более благочестивый лад.

Туманные намеки сына ее коробили, она хотела узнать больше, хотела во что бы то ни стало разувериться в своих подозрениях. И продолжала его допрашивать:

— Но ты прочитывал каждый день главу из Библии, не правда ли, Мэт?

Он заерзал в кресле, недовольно посмотрел на нее.

— Ты мне начинаешь напоминать старого Уолди, мама, — сказал он нетерпеливо. — Ты бы еще спросила, ходил ли я по Черинг-роуд с плакатом, на котором написан текст из Священного Писания, и читал ли я по вечерам на майдане^[8] Библию.

— Перестань, Мэт! Замолчи! Я не могу слышать таких легкомысленных речей! — взмолилась мать, вся дрожа. Он не только не разогнал ее подозрений, а, наоборот, укрепил их.

— Может быть, теперь, когда ты вернулся домой, ты снова будешь ходить с Агнес на собрания верующих? Ты так дорог мне, Мэт. Я хочу видеть тебя счастливым, а в этой жизни счастье дается только благочестивым.

— Что ты знаешь о счастье? — возразил сын. — Ты всегда казалась довольно-таки несчастной.

— Ты пойдешь с Агнес на собрание, да, Мэт? — настаивала она. — Ну один раз попробуй сходить, чтобы доставить мне удовольствие!

— Посмотрим, — сказал он уклончиво. — Пойду, если захочется. И

перестань читать мне проповеди, я этого не люблю, отвык от них и не стану их слушать!

— Я знаю, что ты пойдешь ради меня, — шепнула она, кладя увядшую руку на его колено. — Ты знаешь, что Мэри больше нет и ты один у меня остался. Ты всегда был моим утешением.

— Ах да, я слышал насчет Мэри. А куда она девалась после этого маленького происшествия? — хихикнул он.

— Тсс! Тсс! Не говори таких вещей! Стыдно! — Она помолчала, шокированная. Затем сказала: — Она как будто в Лондоне, но у нас дома запрещено упоминать ее имя. Ради бога, не вздумай говорить так при отце!

Мэт оттолкнул ласкавшую его руку.

— Что мне отец! — храбрился он. — Я взрослый человек и могу делать что хочу. Я его больше не боюсь!

— Знаю, знаю, Мэт, ты теперь взрослый, смелый мужчина, — лебезила перед ним мать. — Но у отца все время ужасные неприятности. Не надо слишком испытывать его терпение. Если ты будешь его раздражать, он выместит гнев на мне. Не говори ему ничего того, что говорил мне. Он стал теперь такой вспыльчивый, ему это может не понравиться. Он расстроен, — дела идут не так хорошо, как бывало.

— И поделом ему! — сказал Мэт угрюмо и встал, чувствуя, что мать уже раздражает его, как всегда. — Мне решительно наплевать, что бы с ним ни случилось. Если он опять начнет выкидывать свои штуки, ему не поздоровится. — И он направился к дверям, добавив: — Пойду наверх умыться.

— Иди, иди, Мэт. В твоей комнате все приготовлено. Я держала ее в порядке все время с тех пор, как ты уехал. Ни один человек, кроме меня, в нее не заглядывал, и ничья другая рука не касалась твоих вещей. Постель хорошо проветрена. Иди освежись, а пока ты будешь наверху, я накрою на стол.

Она жадно смотрела ему в глаза, ожидая какого-нибудь слова благодарности за ее заботы, но Мэт все еще дулся на нее и вышел в переднюю, не сказав ничего. Она слышала, как он поднял один из чемоданов и пошел наверх, и, напрягая слух, старалась различить все его движения наверху.

Вот он вошел в спальню бабушки, и до миссис Броуди донесся его новый, самодовольный смех, когда он с шумной развязностью здоровался со старухой. Несмотря на ее смятение, эти звуки наверху успокоили маму, и сердце ее переполнилось горячей благодарностью от сознания, что Мэт так близко. Наконец-то ее любимый сын с нею, дома, после всех этих

томительных месяцев разлуки. Прошептав благодарственную молитву, она торопливо занялась приготовлениями к вечернему чаю.

Скоро вбежала, подпрыгивая, Несси. Она увидела в передней сундуки и в волнении кинулась к матери, крича:

— Мама, приехал?! Какие большие ящики! А где же он? Интересно, привез ли он мне подарок из Индии? Я хочу его увидеть! Где же он?

Получив ответ, она стрелой помчалась наверх, громко окликая Мэта, горя нетерпением его увидеть. Но через несколько минут медленно сошла вниз, остановилась перед матерью, притихшая, с сердитой морщинкой на лбу. Ее радостное возбуждение совсем исчезло.

— Я его почти не узнала, — сказала она тоном взрослой, — он ни чуточки не похож на нашего прежнего Мэта. И он как будто совсем не обрадовался мне.

— Да полно, Несси, не выдумывай! Он так долго был в дороге. Дай ему прийти в себя.

— Когда я вошла, он пил что-то из маленькой кожаной бутылочки. И сказал, чтобы его не беспокоили больше.

— Он будет, вероятно, распаковывать свои вещи, детка, не будь же такой нетерпеливой. У него теперь есть о чем подумать, ему не до тебя.

— Я спросила его про мой компас, а он говорит, что выбросил его. И еще что-то сказал, да я не поняла... вроде того, что компас похож на твой нос.

Миссис Броуди густо покраснела и ничего не ответила. Она уговаривала себя, что Несси, должно быть, что-нибудь перепутала, не так расслышала, но на сердце у нее тяжестью легла догадка о тайном смысле замечания, сделанного Мэтом.

— Я думаю, он мог бы привезти мне хоть самую маленькую нитку кораллов или что-нибудь в этом роде, — не унималась Несси. — И бабушка тоже очень обижена, она сказала, что ему следовало привезти ей какой-нибудь подарок. Он, видно, никому ничего не привез.

— Не будь эгоисткой, Несси! — резко прикрикнула на нее мать, отводя душу в этом окрике. — Ты думаешь, твоему брату больше некуда девать деньги, только тратить их на подарки! Чтобы я больше не слышала от тебя ни единого слова! Марш отсюда и позови бабушку жарить гренки!

Крепко сжав губы, миссис Броуди склонила набок голову с еще большим, чем обычно, выражением терпеливой покорности и принялась накрывать на стол.

Близился уже обычный час вечернего чаепития, когда Мэтью пришел на кухню. Слабый румянец играл на его желтых скулах, он стал

словоохотливее, и, уловив легкий, но весьма подозрительный запах, который распространяло его дыхание, мама сразу поняла, что он выпил для храбрости, готовясь к встрече с отцом. Украдкой наблюдая за ним, она заметила, что, несмотря на давешнее хвастовство, Мэт страшно боится этой встречи. Она тотчас забыла свою обиду и снова инстинктивно насторожилась, готовая защищать его.

— Садись к столу, на свое место, сын, и не утомляйся больше.

— Ничего, мама, мне надо немного размяться, за эти несколько дней езды я совсем засиделся.

Он беспокойно бродил по кухне, нервно тербил все, что ему попадалось на глаза, смотрел беспрестанно на часы и мешал матери, ходившей от стола к буфету и обратно.

Бабушка, вошедшая вслед за ним и теперь сидевшая у огня, воскликнула:

— Ох, парень, да что ты снуешь взад и вперед, как нитка без узла! Ты, видно, перенял там у чернокожих эту привычку? У меня даже голова кружится, ей-богу, когда я на тебя смотрю!

Она все еще злилась на внука за то, что он не привез ей подарка.

Наконец Мэт вместе со всеми остальными сел за стол. Как он ни храбрился, приближение страшного часа — половины шестого — угнетало его. Все те твердые решения, что он принимал за это время, — дать отпор отцу, отстоять свою независимость взрослого, повидавшего свет молодого человека — начали таять, его решимость держать себя при первой встрече с небрежной уверенностью понемногу испарялась. По дороге домой легко было уверять себя, что ему отец не страшен. Теперь же, когда он сидел на своем старом месте, за тем же столом и в той же ничуть не изменившейся комнате, боязливо насторожив уши в ожидании, когда раздадутся твердые, тяжелые шаги, поток привычных ассоциаций нахлынул на него с непреодолимой силой, и, теряя всю свою наигранную смелость, он опять превратился в прежнего робкого юношу, нервно ожидающего отца. Инстинктивно повернулся он к матери и с досадой увидел, что ее прозрачные глаза смотрят на него сочувственно. Он видел, что она понимает его настроение, угадывает его страх, и им овладело яростное возмущение. Он крикнул:

— Что ты уставилась на меня? Это хоть кого взбесит. — И он так сердито посмотрел на мать, что она опустила глаза.

В половине шестого хорошо знакомое звяканье щеколды у двери заставило его вздрогнуть. Звук раздался точно в половине шестого, минута в минуту, так как Броуди после длительного периода, когда он приходил

обедать не каждый день и в разное время, теперь вернулся к прежней пунктуальной точности, совершенно не интересуясь больше своей лавкой.

Когда отец вошел в кухню, Мэтью, собрав все свое мужество и стараясь, чтобы не дрожали руки, готовился выдержать жестокую словесную атаку. Но Броуди не сказал ничего, даже не взглянул на сына. Он сел за стол и принялся с видимым удовольствием пить чай.

Мэтью опешил. Во всех вариантах этой встречи, которые он рисовал себе, не было ни единого, похожего на то, что произошло. И Мэтью охватило непреодолимое желание закричать, как закричал бы наказанный школьник: «Смотри, папа, я здесь! Обрати же на меня внимание!»

Броуди, словно не видя его, спокойно продолжал есть, глядя прямо перед собой и не говоря ни слова, так что создавалось впечатление, будто он нарочно не узнает сына. Но в конце концов, после долгой паузы, когда напряжение в комнате стало уже почти нестерпимым, он повернулся и взглянул на Мэтью. Этот пронзительный взгляд видел все и все говорил. Он пробил наружную скорлупу дерзкой бравады и проник в зыбкую, сжимавшуюся от страха сердцевину, он осветил все закоулки души Мэтью и как будто говорил: «А, вернулся наконец! Я тебя вижу насквозь. Все такая же тряпка, а теперь к тому же и неудачник!»

Под этим взглядом Мэт как будто становился меньше, таял на глазах у всех и, как ни заставлял себя, посмотреть отцу в лицо не мог. Глаза его трусливо бегали по сторонам и, к его мучительному стыду, наконец опустились вниз.

Броуди безжалостно усмехнулся и, таким образом напугав и подчинив сына без единого слова, произнес резким тоном:

— Ага, приехал!

Эти простые слова заключали в себе целую дюжину саркастических, нелестных смыслов. Мама затрепетала. Начиналась травля ее сына, и хотя видно было, что эта травля будет более жестокой, чем она думала, она не смела вставить ни слова, боясь еще больше рассердить мужа. Глаза ее с робким сочувствием остановились на Мэте, в то время как Броуди продолжал:

— Очень приятно снова увидеть твое честное, красивое лицо, хотя оно стало желтым, как гиней. Помнится, оно у тебя было довольно-таки пухлое и белое, а теперь, видно, золото, что ты копил в Индии, наградило тебя желтухой. — Он критически разглядывал Мэта и все более расходился, давая в этих язвительных тирадах выход злобе, накопившейся за месяцы жестоких страданий. — Впрочем, стоило пожертвовать цветом лица! Без сомнения, стоило, — продолжал он. — Ты, конечно, привез кучу золота из

чужой страны, где работал не покладая рук? Ты теперь богатый человек, а? Богат ты или нет? — вдруг повысил он голос.

Мэтью угнетенно покачал головой, и, получив этот безмолвный ответ, Броуди с преувеличенным насмешливым изумлением поднял брови.

— Как?! — воскликнул он. — Ты не нажил состояния? Да не может быть! А я, судя по тому, что ты предпринял увеселительную прогулку по Европе, да по этим внушительным сундукам в передней вообразил, что ты купаешься в деньгах. Ну а если нет, почему же ты вел себя так, что тебя вышвырнули со службы?

— Она мне была не по душе, — пробурчал Мэт.

— Скажите пожалуйста, — подхватил Броуди, делая вид, что обращается ко всему обществу в целом, — ему не по душе была служба! Такому великому человеку угодить, конечно, трудно! И как чистосердечно, как честно он заявляет, что она ему не нравилась!

Затем повернулся к Мэту и уже другим, жестким тоном воскликнул:

— А не хочешь ли ты сказать, что ты на службе не понравился? Мне уже здесь, в Ливенфорде, сообщали, что тебя просто выгнали вон. Видно, ты успел им опротивить так же, как давно опротивел мне.

Он сделал паузу, потом продолжал с язвительной ласковостью:

— Впрочем, может быть, я к тебе несправедлив. Ты, вероятно, рассчитываешь на какой-нибудь новый блестящий пост? Не правда ли?

Тон его требовал ответа, и Мэтью угрюмо пробормотал: «Нет», ненавидя отца в эту минуту так сильно, что даже весь дрожал от ненависти, от невообразимого унижения. Это с ним, опытным, повидавшим свет, искушенным в житейских делах денди, говорят таким тоном! В душе он клялся, что хотя сейчас не сумел дать отпор отцу, но, когда окрепнет, оправится от путешествия, он расплатится с ним за каждое оскорбление.

— Итак, никакой новой службы! — продолжал Броуди с притворной кротостью. — Ни службы, ни денег! Ты просто явился сюда, чтобы сесть на шею отцу. Вернулся, как побитая собака. Ты находишь, вероятно, что легче жить на мой счет, чем работать!

Заметная дрожь пробежала по телу Мэтью.

— Что, тебе холодно? Впрочем, это понятно — слишком резкий переход к нашему климату от ужасной жары там, где ты трудился до того, что схватил желтуху. Твоей бедной матери придется достать для тебя что-нибудь потеплее из этих великолепных сундуков. Помню, она и в детстве вечно кутала тебя во фланель, и теперь, когда ты взрослый мужчина, она тоже не даст тебе простудиться. Нет, нет, боже сохрани, такое сокровище надо беречь!

Он протянул свою чашку, ожидая, чтобы ему налили еще чаю, и заметил:

— Давно не пил чай с таким удовольствием! Это у меня появился аппетит оттого, что я опять вижу за столом твою глупую рожу!

Мэтью, не выдержав больше, перестал делать вид, что ест, встал из-за стола и пробормотал дрожащим голосом, обращаясь к матери:

— Не могу я больше этого выносить! Не надо мне никакого чаю. Я ухожу.

— Сядь! — прогремел Броуди, толкнув Мэта сжатым кулаком обратно к столу. — Садитесь, сэр! Ты уйдешь тогда, когда я тебе это разрешу, не раньше. Разговор с тобой еще не кончен!..

Когда Мэт снова сел на место, Броуди язвительно продолжал:

— Почему тебе угодно лишить нас твоего приятного общества? Ты два года не был дома, а между тем не можешь двух минут побыть с нами. Неужели ты не видишь, что все мы ждем рассказа о твоих замечательных похождениях? Мы с замиранием сердца ждем слов, готовых сорваться у тебя с языка. Ну, что же? Рассказывай все!

— О чем рассказывать? — угрюмо спросил Мэт.

— Ну конечно, о той блестящей веселой жизни, которую ты вел в Индии. О раджах и принцах, с которыми пировал, о слонах и тиграх, на которых охотился, — рассказывай скорее, не стесняйся. Ты теперь стал, я думаю, настоящим сорвиголовой, отчаянным смельчаком? На все способен?

— Может быть, на большее, чем вы думаете, — пробурчал вполголоса Мэт.

— Да? — фыркнул Броуди, услышав его слова. — Так ты нас намерен удивить? Все та же старая история — всегда ты только собираешься что-то делать. Никогда не услышишь о том, что ты *уже сделал*, а только о том, что будет когда-нибудь! Господи! Как погляжу на тебя, на этот лакейский вид да нарядный костюм с иголочки, так просто ума не приложу, что с тобой будет.

Гнев душил его, но он, с трудом сдерживая себя, продолжал все тем же ровным, глумливым тоном:

— Впрочем, довольно об этом. Я так рад твоему возвращению, что не буду к тебе слишком строг. Самое главное, что ты жив и здоров и благополучно выпутался из тех страшных опасностей, о которых ты из скромности умалчиваешь. Следует поместить в газете извещение о твоём приезде. Тогда все твои достойные приятели, особенно приятельницы, узнают, что ты здесь, и налетят, как мухи на мед. Ведь ты это любишь, не

правда ли, любишь, чтобы женщины с тобой нянчились и бегали за тобой?

Мэтью не отвечал, и, подождав минуту, отец его заговорил снова, иронически поджимая губы:

— Я уверен, что в ближайшее воскресенье твоя мамаша поведет тебя в церковь в полном параде напоказ всему приходу. Тебе даже, может быть, удастся устроиться опять в хоре, и все услышат твой чудный голос, славящий Господа. Прекрасное занятие для мужчины — петь в хоре, не правда ли? Да отвечай же, болван! Слышишь, что я говорю?

— Не буду я петь ни в каком хоре, — сказал Мэтью, злобно подумав про себя, что это обычная манера отца — вспоминать старое для того, чтобы поставить его, Мэта, в смешное положение.

— Блудный сын отказывается петь! Слыхано ли что-нибудь подобное! Это он-то, у которого такой чудный, чудный голос! Ну-с, мой храбрый мужчина, — продолжал он грозно, — если ты не хочешь петь в угоду матери, так будешь петь мне в угоду. Будешь плясать под мою дудку! Не воображай, что можешь скрыть что-нибудь от меня. Я тебя вижу насквозь. Ты осрамил и меня, и себя. Тебе не угодно было оставаться на службе и работать, как порядочные люди, ты удрал обратно домой к своей нежной мамаше, как побитый щенок. Но не думай, что тебе это сойдет. Веди себя как следует, или, видит Бог, я с тобой разделаюсь! Понимаешь ты меня? — Он рывком встал из-за стола и устремил сверкающий взгляд на сына. — Я еще с тобой не покончил. Я еще сначала выбью у тебя дурь из головы. Предупреждаю: не попадайтесь мне на дороге, сэр, или я вас уничтожу. Слышал?

Мэтью, видя, что отец уходит, осмелел и, раздраженный сознанием своего унижения, поднял голову, искоса посмотрел на отца и пробурчал:

— Ладно, на дороге вам попадаться не буду.

У Броуди глаза вспыхнули бешенством. Он схватил Мэта за плечо.

— Не смей смотреть на меня так, мерзавец, или я тебя пришибу на месте. И это существо носит фамилию Броуди! Вы позорите меня, сэр! Да, больше позорите, чем ваша потаскуха-сестра.

Когда Мэт снова потупил глаза, Броуди продолжал тоном, в котором смешивались гнев и отвращение:

— Ужасно, что у человека благородной крови может оказаться такое отродье! Ты — первый Броуди, которого люди называют трусом, и, клянусь Богом, они правы. Ты презренный трус, и мне стыдно за тебя!

Он тряхнул сына, как мешок с костями, потом разом опустил, так что тот почти свалился на стул.

— Ты у меня смотри! От моих глаз не укроешься! — крикнул он и

вышел из кухни.

После его ухода Несси и бабушка продолжали сидеть неподвижно и молча смотреть на Мэтью, но мать опустилась подле него на колени и обняла рукой его плечи.

— Ничего, Мэт! Не огорчайся, родной! Я тебя люблю, несмотря ни на что, — всхлипнула она.

Мэт сбросил ее руку. Мускулы его лица судорожно дергались под бледной кожей.

— Я ему отплачу, — прошептал он, вставая, — я с ним расквитаюсь! Если у него со мной еще не кончено, так у меня с ним тоже!

— Ты ведь не собираешься сегодня вечером уйти из дому? — с испугом воскликнула миссис Броуди. — Ты сегодня посидишь со мной, да? Я хочу, чтобы ты был подле меня.

Он покачал головой.

— Нет, — возразил он, с трудом овладев своим голосом, — я должен уйти. — Он облизал пересохшие губы. — Мне надо... надо повидать кое-кого из старых знакомых. Я сейчас уйду. Дай мне ключ.

— Не ходи, сынок! — взмолилась она. — Не принимай близко к сердцу слов отца, он это не всерьез говорил. Просто он очень расстроен в последнее время. Будь хорошим мальчиком, останься дома с мамой. Ты не притронулся к ужину. Оставайся, и я тебя накормлю чем-нибудь вкусным. Ты мое сокровище. Я так тебя люблю, что все готова для тебя сделать.

— В таком случае дай мне ключ, — настаивал он. — Только это мне от тебя и нужно.

Она молча отдала ему свой ключ. Мэт сунул его в карман и сказал:

— Я приду поздно, не дожидайся меня.

Мать в тоске и страхе шла за ним к дверям.

— Будь осторожен, Мэт. Не затевай ничего худого, пожалей меня, сынок. Я не хочу, чтобы отец довел тебя до какого-нибудь безрассудного поступка. Я этого не пережила бы теперь, после того, как ты благополучно вернулся ко мне.

Он ничего не ответил и вышел. Быстро скрылся в темноте. Мать прислушивалась к его шагам, пока они не замерли в тишине ночи, потом, коротко всхлипнув без слез, повернулась и вошла обратно в кухню. Она не знала, что может случиться, но терзалась страхом.

VIII

На другое утро миссис Броуди проснулась рано, когда было еще почти темно, и, вставая, услышала где-то вдалеке первый, слабый крик петуха, возвещавший, несмотря на темноту, наступление нового дня. Накануне она очень долго ждала Мэта, но не слышала, когда он пришел, и теперь, после беспокойного сна, ее первой мыслью было убедиться, все ли с ним благополучно.

Ей уже не надо было, одеваясь, бояться, что она потревожит сон мужа, так как теперь она спала одна в бывшей комнатке Мэри. Но от долгой привычки ее движения были осторожны и так же бесшумны, как движения призрака. Тусклый свет зари проникал в окно спальни и смутно освещал ее поникшую фигуру, дрожавшую от холода. Ее белье было все в заплатках, чинено и перечинено, так что надевать его было сложной задачей, и сейчас, в холодной тьме февральского утра, ее бесчувственные, огрубевшие пальцы с трудом справлялись с заношенными, убогими принадлежностями туалета. Она одевалась ощупью, а зубы тихонько выбивали дробь — единственный звук, обнаруживавший ее присутствие и деятельность.

Когда она наконец оделась, она беззвучно потерла руки, чтобы вызвать в них хотя бы какой-нибудь признак кровообращения, и выскользнула из комнаты в одних чулках.

В спальне Мэта, выходящей на восток, было светлее; тихо войдя сюда, миссис Броуди различила среди беспорядка постели контуры тела, услышала ровное дыхание и сама задышала свободнее и легче. Лицо Мэта в синеватом свете утра казалось свинцовым, в углах губ засохли какие-то струпья, темные волосы спутанными прядями падали на лоб. Язык, казалось, распух и слегка выступал из-за губ, словно не помещаясь во рту, и при каждом вздохе служил как бы резонатором для хриплого дыхания.

Мать тихонько поправила одеяло, осмелилась даже отвести спутанные кудри от глаз, но Мэт беспокойно зашевелился, пробормотал что-то во сне, и она отодвинулась, торопливо убрала руку, которая повисла в воздухе над его головой, словно благословляя его сон. Благословение светилось и в ее глазах, долго не отрывавшихся от сына. Наконец она неохотно, медленно отвела глаза от его лица и пошла к двери. Уже выходя из комнаты, заметила, что пиджак, жилет и брюки Мэта валялись на полу, что сорочка была брошена в один угол, а воротничок и галстук — в другой, и, словно радуясь тому, что может сделать что-то для него, наклонилась, подобрала

разбросанные вещи, аккуратно сложила их на стуле, еще раз взглянула на спящего и тихо вышла.

Внизу все предметы в свете наступавшего утра имели несвежий, противный вид. Ночь, отступая, как океан в час отлива, оставила мебель сдвинутой в беспорядке, в потухшем камине — грязную серую золу, в посудной — батарею немытых тарелок, бесстыдно громоздившихся в раковине. Все напоминало обломки крушения на пустынном берегу.

Раньше чем развить энергичную деятельность — выгрести золу и затопить камин, начистить графитом решетку, вымыть тарелки, подмести пол, сварить кашу и выполнить другие бесчисленные утренние обязанности, — миссис Броуди всегда разрешала себе выпить чашку крепкого чаю, который, по ее собственному выражению, помогал ей подтянуться. Горячий ароматный напиток, как целительный бальзам, согревал, ободрял, разгонял туман в голове, примирял с неизбежными трудами и заботами нового дня.

Однако сегодня она, торопливо заварив чай и налив его в чашку, не стала пить сама, а отрезала и старательно намазала маслом два тонких ломтика хлеба, положила их подле чашки на поднос и понесла его в комнату Мэта.

— Мэт, — шепнула она, легонько тронув его за плечо, — я принесла тебе чай. — Она нагнулась над ним, но Мэт продолжал храпеть, и дыхание его распространяло прогорклый запах спирта, который неприятно раздражал миссис Броуди, так что она невольно заговорила громче: — Мэт, смотри, здесь кое-что вкусненькое для тебя.

Так она, бывало, говорила, убаюкая его, в детстве, и при этих словах он шевельнулся, свернулся калачиком и сердито забормотал спросонья:

— Не мешай спать, бой. Пошел к черту. Не надо мне никакого чотазри.

Мать огорченно затормошила его.

— Мэт, милый, выпей же чаю. Это тебе будет приятно.

Мэтью открыл глаза и посмотрел на нее сонным, тупым взглядом. Миссис Броуди видела, как постепенно в темных зрачках просыпалось мрачное сознание неприятной действительности.

— А, это ты, — пробормотал он невнятно, еле ворочая языком. — Для чего тебе понадобилось будить меня? Я хочу спать.

— Но я принесла чай, милый. Он так освежает! Я сразу побежала вниз и сама его приготовила для тебя.

— Вечно ты пристаешь со своим чаем! Не мешай мне спать, черт побери! — Он повернулся к ней спиной и сразу опять уснул.

Мама жалобно смотрела то на лежавшего ничком Мэта, то на поднос в своих руках, словно не в силах была перенести его отказ и грубость его слов. Потом, решив, что он, может быть, передумает, поставила поднос на стул у кровати, прикрыла чашку блюдцем, чтобы чай не остыл, закрыла сверху тарелкой хлеб и в унынии вышла из комнаты.

Все утро она не переставала думать о сыне. В камине трещал огонь, тарелки были перемыты, обувь вся вычищена, каша пузырилась на плите. Миссис Броуди отнесла наверх мужу горячую воду для бритья, потом принялась накрывать на стол, все думая о Мэте, с горечью вспоминая грубость его обращения с ней, предательский запах спирта изо рта, но все время мысленно стараясь его оправдать. Она говорила себе, что его вывели из равновесия приезд домой, издевательства отца. А что касается его выражений, так бедный мальчик провел столько времени в дикой, грубой стране, да он еще и не вполне очнулся ото сна, когда говорил с нею.

Пока она так размышляла, простив все Мэту, безмолвный дом начал просыпаться, сквозь потолок в кухню доносились тихие и громкие звуки, наверху хлопали двери, и, охваченная страхом перед каким-нибудь новым столкновением Мэта с отцом, она настороженно прислушивалась, боясь услышать внезапный шум, слитный говор сердитых голосов, даже, может быть, звук удара.

Но, к ее великому облегчению, ничего не случилось. Она поспешно накормила и выпроводила в школу Несси, сошедшую вниз со своим ранцем, потом в кухню пришел Броуди и в угрюмом молчании сел завтракать.

Мама приложила все старания, чтобы сегодня все было приготовлено идеально, надеясь привести этим мужа в более милостивое настроение, и решила лгать, если это будет нужно, чтобы скрыть позднее возвращение Мэта. Но, несмотря на мрачный вид Броуди, ее опасения оказались напрасны, и он ушел, ни словом не обмолвившись о сыне.

Проводив его, она вздохнула свободнее. Окончательно ободрившись после запоздалой чашки чаю, приготовила завтрак для бабушки и около десяти часов понесла его наверх. Выйдя из комнаты старухи, она на цыпочках перешла через площадку и приложила ухо к двери в спальню Мэта. Не слыша ничего, кроме мерного дыхания, она тихонько открыла дверь. Сразу увидела, что ничто на подносе не тронuto, и уязвленному сердцу почудился безмолвный укор в этом нетронutom подносе, а тарелка, прикрывавшая хлеб с маслом, и блюдце, бесполезно закрывавшее давно остывший чай, говорили ей о ее глупости и самонадеянности. Мэт все еще спал. Она в недоумении спрашивала себя, не пребывание ли его на

противоположном (как она полагала) полушарии виновато в этом изменении часов отдыха, в том, что Мэт ночью бодр, а днем его клонит ко сну, так что он вынужден теперь спать до полудня. Она не была в этом убеждена, но все же у нее немного отлегло от сердца при мысли, что существует если не эта, так какая-нибудь другая, аналогичная причина его поведения. Она не стала будить Мэта и вышла так же тихо, как вошла.

Пытаясь отвлечься от своих мыслей, она нехотя принялась хлопотать по хозяйству, но, по мере того как время близилось к полудню, ее все сильнее мучило беспокойство. Она знала, что если сын будет еще в постели, когда отец придет обедать, то может произойти ужасная сцена. В тоскливой тревоге прислушивалась она, не донесется ли сверху какой-нибудь звук, признак его запоздалого вставания, и около двенадцати успокоилась, уловив слабый скрип кровати под тяжестью тела и затем шаги над головой. Торопливо налив в кувшин горячей воды из стоявшего наготове чайника, она побежала наверх и поставила его у двери Мэта.

Он одевался долго, но в три четверти первого наконец медленно спустился вниз и вошел в кухню. Мать нежно поздоровалась с ним.

— Я очень рада, что ты так хорошо выспался, дорогой, но ты не завтракал. Хочешь закусить перед обедом? Скажи только слово, и мне ни капельки не трудно будет принести тебе... — Она чуть не предложила ему свое универсальное средство, чашку чаю, но вовремя вспомнила его утреннее замечание и dokonчила: — Все, что только имеется в доме.

— Я никогда не ем по утрам.

Он был одет щегольски, на нем был уже не тот костюм, что вчера, а другой, светло-коричневый, сорочка в тон и красивый коричневый галстук. Поправляя узел галстука белыми гибкими пальцами, слегка дрожавшими, он испытующе поглядывал на мать, ошибочно заключив по ее усиленной ласковости, что она не знает, в каком состоянии он вернулся ночью.

— Мне недостает свежих фруктов, которые мне обычно подавали слуги по утрам, — объявил он, чувствуя, что от него ждут дальнейших разъяснений.

— Завтра утром ты получишь хорошие яблоки, Мэт, — обещала мать со стремительной готовностью. — Я сегодня же закажу их для тебя. И вообще, если ты скажешь мне, чего тебе хочется и к какой пище ты привык в Индии, я постараюсь все тебе достать.

Мэт всем своим видом выразил пренебрежение к тем кислым, сморщенным яблокам, какие она может добыть для него в этой бесплодной стране. Он красноречиво махнул рукой и коротко ответил:

— Я имел в виду манго, бананы, ананасы. Я ем только самые лучшие

фрукты.

— Во всяком случае, я постараюсь тебе угодить, чем только смогу, — храбро ответила миссис Броуди, хотя ее и привело в некоторое замешательство высокомерное заявление сына. — Я накормлю тебя сегодня отличным обедом. А потом, если ты ничего не имеешь против, мы с тобой выйдем погулять.

— Я буду завтракать в городе, — сказал он сухо, как бы давая понять, что это предложение смешно и что меньше всего его утонченная натура способна допустить, чтобы его видели гуляющим с такой дряхлой и опустившейся особой.

У мамы вытянулось лицо, и она пролепетала, запинаясь:

— А я... я приготовила для тебя, сынок, такой чудный питательный бульон, вкусный-превкусный.

— Отдай его родителю, — бросил он с горечью. — Налей ему хоть целое ведро, он все выхлебает.

Он помолчал немного и продолжал уже более любезным, даже несколько вкрадчивым тоном:

— А что, мама, ты не одолжишь мне до завтра фунт или два? Черт знает, какая досада — в банке до сих пор еще не получены мои деньги из Калькутты. — Он нахмурил брови. — Из-за этого я терплю целый ряд неудобств... Из-за их проклятой медлительности я сижу на мели, не имея при себе хотя бы небольшой суммы. Одолжи мне пятерку, я на будущей неделе тебе отдам.

— Пять фунтов! — С миссис Броуди чуть не сделалась истерика, так потрясла ее мучительная нелепость этой просьбы. Чтобы она вот так, сразу, дала ему пять фунтов, она, выжимавшая из себя все соки, чтобы собрать по грошам тот месячный взнос, который с нее скоро потребуют, она, у которой, кроме этих, с таким трудом скопленных трех фунтов, в кошельке есть только несколько медяков и серебряных монет!

— О Мэт, — воскликнула она, — ты сам не знаешь, о чем просишь. Во всем доме не найдется таких денег!

— Да ну, нечего плакаться, — перебил он грубо, — отлично можешь это сделать. Выкладывай деньги. Где твой кошелек?

— Не говори так со мной, милый, — прошептала она. — Я не могу этого вынести. Я все готова для тебя сделать, но ты просишь невозможного.

— Ну тогда одолжи мне только один фунт, если уж ты такая скупая, — сказал он с жестким взглядом. — Давай, давай! Один жалкий фунт!

— Почему ты не хочешь меня понять, сынок? — взмолилась она. — Я теперь так бедна, что едва свожу концы с концами. Того, что дает мне твой

отец, не хватает на жизнь.

В ней вспыхнуло страстное желание рассказать Мэту, каким путем она была вынуждена раздобыть деньги, посланные ему в Марсель, но она подавила это желание, сознавая, что момент сейчас совсем не благоприятный.

— Что же это он делает? Имеет лавку и такой знаменитый дом, — буркнул Мэт. — Куда же он девает деньги?

— Ах, Мэт, не хотелось бы говорить тебе, — заплакала мама. — С лавкой дело плохо. Я... я боюсь, что и дом заложен. Он мне ни словом не заикнулся на этот счет, но я видела у него в комнате какие-то бумаги. Это ужасно! У него теперь конкурент в городе. Я уверена, конечно, что он победит, но пока приходится беречь каждый шиллинг.

Мэт смотрел на нее в хмуром удивлении, однако не хотел отклоняться от первоначальной темы.

— Все это очень хорошо, — проворчал он, — но я ведь тебя знаю, мама. У тебя всегда что-нибудь припрятано на черный день. Мне нужен фунт. Говорю тебе, нужен! Необходим!

— Ах, дорогой мой, разве я не сказала тебе, как мы бедны! — простонала мать.

— В последний раз — дашь ты мне деньги или нет? — сказал он угрожающе.

Когда она и на этот раз с плачем отказала ему, ей одну страшную секунду казалось, что Мэт сейчас ее прибьет. Но он круто повернулся и вышел из комнаты. Стоя на том же месте и прижав руку к заболевшему боку, она слышала, как он, громко топая, пробежал по комнатам наверху, потом сошел вниз, прошел, не сказав ни слова, в переднюю и с треском захлопнул за собой наружную дверь.

После того как гулкое эхо этого стука растаяло в воздухе, оно все еще звучало в мозгу миссис Броуди как зловещее предзнаменование будущего, и она невольно подняла руки к ушам, как бы желая заглушить этот звук. Она села к столу, униженная, глубоко разочарованная. Сидя так с опущенной на руки головой, она говорила себе, что история с деньгами в банке — ложь, что Мэт, промотав те сорок фунтов, теперь не имеет ни пенни в кармане. Он сейчас как будто угрожал ей? Она не помнила этого, она помнила только, что ему очень нужны деньги, а она, увы, не могла дать их ему. Раньше чем она успела разобраться в своих чувствах, она уже решила, что, в сущности, Мэт вправе был ожидать удовлетворения своей просьбы, что в известной степени виновата она, и горе ее затопила огромная волна нежности. Бедный мальчик привык вращаться в обществе

джентльменов, щедро тративших деньги, и было бы только справедливо, чтобы и он, как другие, всегда имел деньги в кармане. Для него это было просто необходимостью после той светской жизни, которую он вел. Несправедливо, чтобы такой элегантный молодой человек, как Мэт, бывал в обществе без денег, которые нужны для поддержания его престижа. Право, он не заслуживал осуждения, и миссис Броуди уже немного жалела, что не дала ему хотя бы несколько шиллингов, — конечно, если бы он согласился их принять. Когда дело представилось ей в этом новом и более отрадном свете, ее начало мучить раскаяние. Она встала и, точно притягиваемая какой-то непреодолимой силой, пошла в комнату Мэта, где с нежной заботливостью принялась убирать разбросанные принадлежности туалета. При этом она убедилась, что у него вовсе не так много платья, как могло показаться на первый взгляд. Один чемодан был совершенно пуст, два ящика набиты летними тиковыми костюмами, а третий — грязным бельем. Она жадно отбирала носки, которые можно заштопать, сорочки, нуждающиеся в починке, воротнички, которые нужно будет накрахмалить, потому что для нее были радостью заботы о сыне, блаженством — уже самая возможность прикоснуться к его вещам. Наведя наконец порядок в его вещах и отобрав для починки и стирки большой узел, который она с триумфом унесла вниз, мама пошла к себе в спальню, прибрала постель и уже в более веселом настроении стала вытирать пыль с мебели. Подойдя к фарфоровой вазочке, стоявшей на столике у окна, она почувствовала неясное замешательство: ей не хватало какого-то привычного, подсознательного впечатления. Она с минуту сосредоточенно размышляла, затем вдруг догадалась, что не слышит знакомого, дружеского тиканья ее часов, которые всегда, за исключением тех торжественных случаев, когда она их надевала, лежали в этой вазочке. Теперь в вазочке не было ничего, кроме нескольких забытых в ней головных шпилек.

Когда миссис Броуди пришлось перебраться сюда из супружеской спальни, она, разумеется, забрала с собой и вазочку, в которой всегда лежали ее часы. В течение двадцати лет прикосновение к этой вещи было у нее связано с тиканьем часов, и теперь она сразу заметила их отсутствие. Хотя она знала, что не надевала часов, она схватилась за кофточку на груди, но часов там не было, и она с беспокойством бросилась их искать повсюду — у себя в комнате, в спальне мужа, внизу в гостиной и на кухне. По мере того как шли эти безрезультатные поиски, лицо ее выражало все большее огорчение. Это были часы ее матери, серебряные, с украшениями тонкой работы, золоченым циферблатом, тончайшими изящными стрелками и швейцарским механизмом, который всегда работал очень

точно. Хотя большой ценности эти часы не представляли, миссис Броуди питала крепкую и сентиментальную привязанность и к ним, и к маленькому выцветшему дагеротипу, изображавшему ее мать и вставленному в крышку часов с внутренней стороны. То была ее единственная драгоценность, и уже только поэтому она так дорожила ею. Нагибаясь, чтобы пошарить на полу, она в то же время прекрасно знала, что положила часы на обычное место. Ей пришла мысль, не взял ли их кто-нибудь случайно оттуда. Внезапно она выпрямилась. Лицо ее утратило выражение досады и точно окаменело. Ее, как молния, озарила догадка, что часы взял Мэт. Она слышала, как он ходил в ее комнате после ее отказа дать деньги, а потом он убежал из дому, не сказав ей ни слова. Ей теперь было совершенно ясно, что он украл ее часы ради той ничтожной суммы, которую он выручит за них. Она с радостью отдала бы их ему, как отдала бы ему все на свете, что только принадлежало ей и что она могла отдать, а он украл их у нее, стащил с гнусной хитростью. Безнадежным жестом она отбросила назад прядь седых волос, выбившуюся из прически во время бесплодных поисков.

— Мэт, сын мой, — вскрикнула она, — ты знаешь, что я сама дала бы их тебе! Как ты мог их украсть!

В этот день, второй день возвращения в семью сына, от которого она горячо ожидала радости и успокоения всех тревог, она погрузилась в еще более глубокое уныние. Обед миновал, день без всяких событий сменился вечером. В том смятении чувств, в котором находилась миссис Броуди, наступление темноты и угасание коротких серых сумерек разбудили в ней острое желание поскорее увидеть Мэта. Только бы им, матери и сыну, остаться вдвоем, и она сумеет смягчить все ожесточение в его сердце. Она была убеждена, что он не устоит перед мольбой любящей матери. Он в раскаянии упадет к ее ногам, если только она сумеет выразить словами ту любовь, которой полно ее сердце. Но Мэт все не шел, и, когда часы пробили половину шестого, а он не явился к чаю, она пришла в безмерное отчаяние.

— Видно, твой храбрый мужчина боится прийти сюда, — усмехнулся Броуди, когда она подавала ему чашку. — Он старательно избегает меня, прячется где-то, дожидаясь, чтобы я ушел из дому. Тогда он приползет тихонько за твоим сочувствием и утешениями. Ты думаешь, я не знаю, что делается у меня за спиной? Насквозь вас обоих вижу!

— Да нет же, отец, — возразила дрожащим голосом миссис Броуди. — Уверяю тебя, мне нечего от тебя скрывать. Мэт только что ушел навестить кое-кого из своих друзей.

— Вот оно что! А я не знал, что у него есть друзья. Послушать тебя, так можно подумать, что он какой-то всеобщий любимец, герой! Ну ладно, передай своему примерному сыну, когда его увидишь, что я коплю до первой встречи с ним все, что имею ему сказать. Я ничего не забуду, пусть не беспокоится!

Она не отвечала, подала ему ужин и, когда он ушел, снова стала дожидаться Мэтью.

В семь часов, приблизительно через час после ухода отца, он явился. Вошел тихонько, с оттенком той приниженности, которую выражало его лицо в юности, бочком прошел в комнату и, умильно посмотрев на мать, сказал тихо:

— Извини, мамочка, я опоздал. Надеюсь, я тебя этим не беспокоил?

Она жадно глядела на него.

— Я *очень* беспокоилась, Мэт! Я не знала, куда ты ушел.

— Да, да, — отвечал он мягко, — это было ужасно необдуманно с моей стороны. Я, знаешь ли, отвык от здешней жизни. Может быть, я стал немного легкомысленным с тех пор, как уехал из дому, мама, но я исправлюсь.

— Нет, ты легкомысленно относишься только к себе самому! — воскликнула она. — Как это ты ходишь целый день не евши? Пил ты где-нибудь чай?

— Нет, — отвечал он, — не пил и в самом деле голоден. Не найдется ли у тебя чего-нибудь поесть?

Она сразу растрогалась, забыла о тяжелых переживаниях сегодняшнего дня и уже поверила, что перед нею снова ее прежний сын, сбросивший с себя, как змея — кожу, все дурные привычки, вывезенные из Индии.

— Мэт, — промолвила она серьезно, — и ты еще спрашиваешь? Конечно, твой ужин стоит в печке, и сию минуту я его подам.

Она побежала к печке и торжественно достала большой кусок жирной трески, варенной в молоке, — его любимое блюдо.

— Погоди минутку, — воскликнула она, — сейчас я все тебе приготовлю.

Бабушка уже ушла к себе, но Несси за столом готовила уроки. Тем не менее мама вмиг разостлала на другой половине стола белую скатерть и поставила все, что требуется для аппетитного ужина.

— Ну вот, — сказала она, — я же тебе говорила, что это недолго. Никто не сделает для тебя все так, как родная мать. Садись, Мэт, и теперь *ты* покажи, на что способен.

Он метнул на нее благодарный взгляд и поник головой.

— О мама, ты слишком добра ко мне! Я этого не заслужил. После того, что я так вел себя, твоя доброта жжет мне совесть, как раскаленные уголья. А знаешь, рыба выглядит очень аппетитно!

Она радостно кивнула головой, жадно наблюдая, как он придвинул стул, уселся на свое место и начал есть большими торопливыми глотками. «Бедняжка, он, видно, умирал с голоду», — подумала она, видя, как сочные белые куски рыбы магически исчезали под непрерывным натиском ножа и вилки. С другого конца стола Несси, грызя карандаш, наблюдала за ним из-за книги с совсем иными чувствами.

— Везет же некоторым! — заметила она с завистью. — Нам сегодня не давали трески.

Мэт оскорбленно посмотрел на нее и предусмотрительно положил в рот последний кусок рыбы.

— Если бы я знал, Несси, я бы тебя угостил. Отчего же ты не сказала раньше?

— Не будь такой обжорой, Несси! — резко прикрикнула на нее мать. — Ты получила достаточно и отлично это знаешь. Твой брат нуждается теперь в усиленном питании, он так переутомлен. Готовь уроки и не приставай к нему. Попробуй еще эти оладьи, Мэт.

Мэт поблагодарил ее нежным взглядом и продолжал есть. Мать была вне себя от радости и, совершенно забыв о пропаже часов, следила за ним любовно, с умилением, каждый его глоток доставлял ей громадное удовольствие, как будто она сама смаковала все, что он поедал. Она заметила на его лице полосу грязи и, восхищаясь собственной проницательностью, догадалась, что он терся у какого-нибудь грязного плетня, прячась от отца. Она огорчилась этим, в ней заговорило покровительственное чувство. Он опять был ее любимым мальчиком, и она хотела укрыть и защитить его от всего мира.

— Что, понравилось, сынок? — спросила она, когда он поел. Она жаждала его похвалы. — Я таки повозилась с этой рыбой... Я знаю, ты всегда любил ее.

Мэт чмокнул губами:

— Прелесть, мама! Лучше всех этих кушаний с пряностями, с которыми мне приходилось мириться в Индии. Честное слово, мне не доставало твоей стряпни. С тех пор как я уехал из дому, ни разу не едал ничего вкуснее.

— Да неужели, Мэт? Как приятно это слышать! Не хочешь ли еще чего-нибудь?

Уголком глаза он успел уже заметить на буфете блюдо с мелкими яблоками, которые она, очевидно, припасла для него. Он с минуту смотрел на нее, как бы размышляя.

— Пожалуй, я съел бы яблоко, мама, — сказал он с простодушием человека, желания которого невинны.

Мама пришла в восторг оттого, что сумела предугадать его желание, и немедленно поставила перед ним блюдо с яблоками.

— Я так и думала. Сегодня утром заказала их для тебя, — с торжеством объявила она. — Ты говорил, что любишь фрукты, и я обещала тебе, что они у тебя будут.

— Спасибо, мама. Я хочу бросить курение, — объяснил он, с трудом надкусывая твердое яблоко, — а говорят, что от яблок перестает хотеться курить. Для чего мне курить, в самом деле? Это мне пользы не принесет.

Миссис Броуди погладила рукой его плечо и шепнула:

— Мэт, как я рада, что слышу от тебя такие речи! Для меня это дороже всего на свете. Я счастлива. Я чувствую, что мы теперь лучше поймем друг друга. Должно быть, во всем виновата долгая разлука. Но все недоразумения посланы нам свыше, как испытание. Я молилась о том, чтобы между нами наступило полное согласие, и молитва недостойной услышана!

Мэт, пристыженный, на мгновение опустил глаза, продолжая трудиться над яблоком, потом снова поднял их и, старательно подбирая слова, сказал медленно, как бы поднося матери новый чудесный сюрприз:

— Знаешь, мама, я сегодня был у Агнес.

Она вздрогнула от удивления и радости.

— Конечно, — заторопился Мэт, не давая ей вставить ни слова, — я сейчас еще ничего определенного сказать не могу. И ты меня ни о чем не спрашивай. Я должен быть нем, как могила, относительно того, что произошло между нами, но все обстоит очень хорошо. — Он заискивающе улыбнулся матери. — Я все-таки решил, что тебе будет приятно узнать об этом.

Миссис Броуди в экстазе сжала руки. Ее восторг умерялся лишь тем, что не ей, а другой женщине, мисс Мойр, удалось вернуть ее сына на путь истины, но все же она не помнила себя от радости и, подавив эту недостойную мысль, воскликнула:

— Вот это хорошо! Это прямо-таки великолепно! Агнес будет так же этому рада, как я! — Ее сгорбленная спина немного выпрямилась, она подняла мокрые глаза к небу в безмолвной благодарности. Когда она снова вернулась на землю, Мэтью разговаривал с Несси.

— Несси, милочка, я только что пожадничал, но теперь я дам тебе половину яблока, если ты ненадолго оставишь нас с мамой одних. Мне надо поговорить с ней по секрету.

— Что за глупости, Несси! — воскликнула мама, когда Несси охотно протянула руку за яблоком. — Если хочешь яблоко, то это не значит, что надо вырывать у брата кусок изо рта.

— Нет, мама, я хочу отдать его Несси, — ласково настаивал Мэт, — но пусть она за это даст нам с тобой потолковать наедине. То, что я хочу сказать, предназначается только для твоих ушей.

— Ну хорошо, — уступила миссис Броуди. — Можешь взять яблоко, Несси. Поблагодари Мэта, и впредь чтобы я больше не слышала от тебя таких неблагодарных замечаний! Оставь пока здесь свои книги и ступай в гостиную, можешь там эти полчаса поиграть гаммы. Ну, беги! Возьми спички, да смотри, осторожнее зажигай газ.

Довольная, что расстается с ненавистными учебниками, Несси вприпрыжку выбежала из кухни, и скоро сюда слабо донеслось неуверенное бренчанье на пианино, перемежавшееся вначале долгими паузами, во время которых яблоко поднималось ко рту с басового конца клавиатуры.

— Ну, Мэт, — сказала нежно миссис Броуди, придвинув свой стул вплотную к стулу Мэта, предвкушая осуществление мечты, которая еще утром казалась ей недостижимой, и трепеща от удовольствия.

— Мама, — начал Мэт плавно, внимательно разглядывая свои ногти, — ты меня прости за мою... гм... резкость эти два дня, но ты знаешь, меня разозлили, и у меня столько забот...

— Я понимаю, сынок, — поддакнула она сочувственно, — сердце у меня обливалось кровью оттого, что я видела тебя таким расстроенным. Не все так знают твою впечатлительную натуру, как я.

— Спасибо, мама! Ты добра, как всегда, и, если ты забудешь все грубые слова, что я говорил, я буду тебе очень признателен. Я постараюсь исправиться.

— Не унижай себя так, Мэт! — вскрикнула она. — Мне неприятно это. Ты всегда был хорошим мальчиком. Всегда был моим любимым сыном, я не помню, чтобы ты когда-нибудь провинился серьезно.

Он на миг поднял глаза и бросил на нее исподтишка быстрый взгляд. Но сразу же опустил их, пробормотав:

— Как хорошо, что мы опять с тобой в мире, мама!

Она смотрела на него с обожанием, улыбаясь, вспоминая, как он в детстве, когда, бывало, на нее рассердился, заявлял, что он с нею «в ссоре».

А когда она снова возвращала себе его милость, это называлось у него «быть в мире».

— И никогда уже не будем больше в ссоре, да, милый? — спросила она нежно.

— Никогда, разумеется! — согласился он и, выдержав внушительную паузу, бросил небрежно: — Мы с Агнес идем сегодня вечером на молитвенное собрание.

— Это чудесно, Мэт, — прошептала она. («Он действительно спасен».) — Я так довольна этим! Ах, как бы мне хотелось пойти с вами обоими! — Она робко остановилась. — Но нет, пожалуй, вы предпочтете быть вдвоем. Мне не следует вам мешать.

— Да, пожалуй, ты права, мама, — подтвердил он тоном извинения. — Ты ведь сама понимаешь, что...

Она посмотрела на часы: без четверти восемь. Ей ужасно жалко было прерывать этот разговор «по душам», но, проявив подлинную самоотверженность, она сказала со вздохом, в котором, однако, не было печали:

— Скоро восемь, тебе надо идти, иначе опоздаешь. — И она сделала движение, собираясь встать.

— Одну минуту, мама!

— Что, родной?

— Я хотел попросить тебя еще кое о чем. — Он колебался и смотрел на нее просительно, так как, по его мнению, наступил критический момент разговора.

— В чем дело, мой дорогой?

— Вот в чем, мама... Тебе я, конечно, могу честно признаться... Я был ужасный мот... Люди злоупотребляли моей щедростью, и сейчас я остался совершенно без денег. Как я могу пойти куда-нибудь с Агнес, когда у меня в кармане пусто? — Он говорил стыдливо, изображая жертву собственного великодушия. — Я привык всегда иметь при себе немного денег. Это так унижительно — ходить с пустым карманом, особенно когда я с дамой и только что вернулся в родной город. Ты бы не могла меня выручить, пока я опять начну зарабатывать?

Она без колебаний нашла его просьбу вполне основательной. Она так и думала, что ее сын, привыкнув возвращаться в высшем обществе, где все очень расточительны, не мог сидеть в Ливенфорде без копейки. Еще менее можно было от него требовать, чтобы он в таком бедственном положении ухаживал за мисс Мойр и сопровождал ее повсюду. В порыве этого нового душевного единения с сыном она отбросила всякое благоразумие и с

великолепной самоотверженностью молча встала, отперла свой ящик и извлекла оттуда квадратную коробку со сбережениями, которые предназначались для уплаты первого взноса в счет ее долга. Она с обожанием посмотрела на Мэтью, не думая о том, что будет, помня только, что она — мать этого любящего и преданного сына.

— Это все, что у меня есть, сынок, — сказала она спокойно, — и наскребла я эти деньги с трудом, на очень важное и необходимое дело. Но я дам тебе часть их.

У него глаза разгорелись, когда мать открыла коробку и достала фунтовую бумажку.

— Это тебе на карманные расходы, сынок, — сказала она просто, протягивая ему бумажку. В изможденном лице светилась любовь, сгорбленная фигура наклонилась немного к Мэту. — Я охотно даю их тебе. — То была жертва, полная высокой и трогательной красоты.

— А сколько у тебя там всего? — спросил Мэтью, встав и подойдя к ней вплотную. — Там, кажется, целая уйма денег!

— Около трех фунтов, — ответила она. — И как трудно мне было собрать их! У нас теперь дела плохи, Мэт, хуже, чем ты, может быть, думаешь. К концу месяца мне эти деньги понадобятся все, до последнего пенни.

— Мама, дай их мне на сохранение, — вкрадчиво убеждал ее Мэт. — Я их буду хранить до конца месяца, не растрачу, не бойся. Не все ли равно, будут они лежать у меня в кармане или в этой старой жестянке? Что за смешное место для хранения денег! Я буду твоим банкиром, мама, хорошо? А мне приятно будет чувствовать, что у меня есть какой-то запас, хотя бы мне никогда и не понадобилось к нему прибегнуть. Просто спокойнее как-то знать, что имеешь при себе деньги. Ну же, мама! Один фунт — это все равно что ничего для такого человека, как я. — Он с ласковой настойчивостью протянул руку.

Миссис Броуди смотрела на него со смутной тревогой и сомнением во взгляде.

— Мне эти деньги будут совершенно необходимы к концу месяца, — сказала она нерешительно. — Бог знает что случится, если их у меня не окажется.

— Но ты их получишь обратно, — уверял он. — Какая ты беспокойная! Положись на меня! Я так же надежен, как государственный банк. — Он взял деньги из открытой коробки, продолжая все время уговаривать ее. — Ведь ты же не захочешь, чтобы твой Мэт ходил как нищий, правда, мама? — Он даже засмеялся нелепости такого

предложения. — Джентльмен должен иметь при себе немного мелочи, это придает уверенности. Все будет в порядке, мама, не сомневайся, — продолжал он, пробираясь уже бочком в переднюю. — Об этом постараюсь я... Ты меня не дожидайся, я, наверное, приду поздно.

Он ушел, весело помахав ей рукой на прощание, а она стояла с открытой пустой коробкой в руках, устремив неподвижный взгляд на дверь, только что закрывшуюся за ним. Она судорожно вздохнула. Фальшивые звуки фортепиано бойко тарахтели у нее в ушах. Она упрямо прогнала опять ужалившую ее мысль о пропаже часов и начинавшее зарождаться сомнение, благоразумно ли было позволить Мэту взять деньги. Мэт хороший! Он снова принадлежит ей душой, их взаимная привязанность победит все и одолеет все преграды. Он пошел сейчас на богослужение вместе с доброй христианкой. В душу мамы снова хлынула радость, и она воротилась на кухню, очень довольная тем, что сделала.

Она села у камина и, глядя в огонь, с задумчивой улыбкой вспоминала нежность к ней Мэта. «С каким удовольствием он ел эту рыбу, — бормотала она про себя. — Буду готовить для него и другие вкусные блюда».

Она только что собралась кликнуть Несси из гостиной и снова засадить ее за уроки, как вдруг у входной двери раздался короткий и резкий звонок. Миссис Броуди испуганно вскочила — час был уже слишком неподходящий для обычных посетителей. Мэтью взял с собой ключ, это не мог быть он. «Какая я стала нервная, каждый пустяк меня теперь пугает», — подумала она, осторожно открывая дверь.

Слабо освещенная мигающим огоньком лампы в передней, перед ней стояла мисс Мойр.

— О Агги, милочка, это ты! — воскликнула миссис Броуди с некоторым облегчением, прижимая руку к груди. — А я ужасно перепугалась. Ты разминулась с Мэтом, он вышел несколько минут тому назад.

— Можно мне войти, миссис Броуди?

Мама снова встревожилась. Ни разу за три года Агнес не называла ее так, и никогда еще она не говорила с ней таким странным, ненатуральным голосом.

— Входи, пожалуй, но... но я же тебе говорю, что Мэтью только что пошел к тебе.

— Я бы хотела поговорить с вами.

Удивленная миссис Броуди впустила Агнес, которая с ледяным видом прошла вслед за ней на кухню.

— О чем ты хочешь говорить, дорогая? — спросила робко мама. — Я ничего не понимаю, право. Мэт пошел к тебе... Ты нездорова?

— Совершенно здорова, благодарю вас, — произнесла мисс Мойр, чопорно поджав губы. — Известно вам, что... Мэтью был у меня сегодня? — Она, видимо, с трудом заставила себя произнести его имя.

— Да, он только что мне рассказал об этом. Он ушел, чтобы проводить тебя на собрание. Он хотел зайти за тобой, — повторяла миссис Броуди тупо, машинально, в то время как судорожный страх сжал ей сердце.

— Ложь! — крикнула Агнес. — Он пошел не ко мне и ни на какое собрание и не заглянет.

— Что?! — ахнула мама.

— Рассказал он вам, что произошло между нами сегодня? — спросила Агнес, сидя очень прямо и сурово глядя в пространство.

— Нет, нет! — прошептала мама в смятении. — Он сказал, что об этом говорить не может.

— Еще бы! — с горечью воскликнула Агнес.

— Да скажи же, ради бога, что случилось? — жалобно простонала миссис Броуди.

Агнес с минуту молчала, сдерживая дыхание, собираясь с силами, чтобы рассказать о своем унижении.

— Он пришел, и от него несло спиртом, попросту говоря, он был почти пьян, и все-таки я ему обрадовалась. Мы пошли в комнатку за лавкой. Он болтал всякие глупости, а потом... потом он хотел занять у меня денег. — Она всхлипнула без слез. — Я дала бы ему, но я видела, что он сейчас же их истратит на виски. А когда я отказала, он стал ужасно ругаться. Он оскорбил меня такими словами... он сказал, что я... — Тут Агнес не выдержала. Из ее больших глаз хлынули слезы, полная грудь тряслась от рыданий, широкий рот искривился какой-то пьяной гримасой. В исступлении горя она упала к ногам миссис Броуди. — Но это еще не все, — рыдала она. — Мне пришлось на минуту отлучиться в лавку. Когда я вернулась к нему, он пытался... он хотел меня изнасиловать, мама! Мне пришлось бороться с ним. Ах, если бы только он был нежен со мной, я бы позволила ему все, чего он хотел. Мне все равно, дурно это или нет. Позволила бы, да! — крикнула она пронзительно. Рыдания душили ее. — Я люблю его, но он меня не любит. Он называл меня безобразной сукой. Он хотел взять... взять меня силой. Ох, мама, все это меня убивает. Если бы он любил меня, я бы ему все позволила. Да, я хотела этого, — твердила она в истерике, — я должна вам сказать правду. Я хуже, чем ваша Мэри. О, хоть бы мне умереть!

Она откинула голову и дико уставилась на миссис Броуди. Глаза обеих женщин встретились, налитые тупым ужасом отчаяния, и вдруг у мамы странно свело рот, так что он весь покосился на одну сторону, она хотела заговорить, но не могла и с невнятным криком упала в кресло. Агнес посмотрела на беспомощную фигуру, в глазах ее медленно просыпался испуг, мысли постепенно отвлеклись от собственного горя.

— Вам дурно? — ахнула она. — Боже, я не думала, что вы примете это так близко к сердцу! Я сама так расстроена и поэтому не подумала, что вам это будет тяжело. Принести вам чего-нибудь?

Глаза мамы искали глаза Агнес, но она не могла говорить.

— Чем мне помочь вам? — воскликнула Агнес. — Вам надо полежать, пойдемте, я сведу вас наверх и уложу.

— У меня болит внутри, — сказала мама глухо. — Должно быть, оттого, что сердце у меня разрывается на части. Я пойду к себе. Мне надо одной полежать спокойно в темноте.

— Позвольте, я вам помогу, — сказала Агнес. Взяв ее безвольную руку в свои, она подняла ее с кресла и, поддерживая, увела наверх, в ее комнату. Здесь она раздела ее и помогла лечь в постель.

— Не надо ли вам еще чего-нибудь? — спросила она затем. — Может быть, грелку?

— Нет, только уходи, — отвечала мама, лежа на спине и устремив глаза в потолок. — Ты очень добра, что помогла мне, но теперь я хочу быть одна.

— Позвольте же мне посидеть подле вас немножко! Мне бы не хотелось вас оставлять сейчас.

— Нет, Агнес, прошу тебя, уйди, — повторяла миссис Броуди тусклым ровным голосом, — мне хочется полежать одной в темноте. Выключи газ и уходи. Пожалуйста!

— Не лучше ли оставить гореть газовый рожок? — настаивала Агнес. — Как хотите, а я не могу вас оставить в таком состоянии.

— Я хочу, чтобы было темно, — приказала миссис Броуди. — И хочу остаться одна.

Агнес хотела было еще что-то возразить, но, чувствуя, что всякие протесты бесполезны, бросила последний взгляд на неподвижную фигуру в постели, затем, как ей было приказано, потушила свет. Оставив комнату в темноте, она молча вышла.

IX

Когда Мэтью захлопнул входную дверь перед носом у матери и легко сбежал по ступенькам, он был в прекрасном настроении и хитро усмехался. Напускная кротость, как маска, слетела с его лица.

«Вот как надо обрабатывать старушку! Ловко! Артистически сыграно! — хихикнул он про себя. — Для первого раза недурно!»

Он был горд своим достижением и весело предвкушал еще больший успех в следующий раз: у мамыши, наверное, припрятана в надежном месте кругленькая сумма, и она перейдет в его руки, стоит только умело попросить! Те несколько шиллингов, что он получил, заложив часы матери, только разозлили его, потому что он рассчитывал взять за них гораздо больше, но теперь, когда у него в кармане было несколько фунтов, его престиж был восстановлен и к нему вернулось веселое настроение. Только бы подобраться к ее сбережениям, и все пойдет на лад! Он уж сумеет повеселиться на эти деньги!

Огни города заманчиво мерцали вдалеке. После Калькутты, Парижа, Лондона он презирал Ливенфорд, но самое это презрение наполняло его восхитительным чувством уважения к себе. Он, человек, повидавший свет, кое-чему научит сегодня жителей этого городишки! Да, черт возьми, он им покажет! Распишет все яркими красками. При этой мысли он от восторга залился хриплым смехом и торопливо огляделся кругом. Шагая вразвалку по направлению к городу, он смутно различил на другой стороне улицы двигавшуюся ему навстречу фигуру женщины и, глядя ей вслед, когда она прошла, пробормотал, подмигнув сам себе: «С этой ничего не выйдет, она слишком торопится куда-то. И чего она так бежит?» Он и не подозревал, что то была Агнес Мойр, шедшая к его матери.

Он быстро зашагал в темноте, окутывавшей его как плащ, наслаждаясь ею, так как она придавала ему смелость, энергию, которых он не ощущал в ярком свете дня. И подумать только, что он когда-то боялся вечернего мрака! Только в эти часы человек оживает, может как следует развлечься! Ему ярко вспомнились ночные кутежи в Индии, и, когда эти воспоминания разожгли его нетерпение, он пробормотал: «Вот это были ночи! Здорово мы пошумели! Обязательно поеду обратно, честное слово!» И он весело юркнул в первый встретившийся по пути трактир.

— Джину и горькой! — крикнул он тоном привычного посетителя таких мест, швыряя фунтовую бумажку на прилавок. Когда ему подали

стакан, он выпил залпом и одобрительно, с авторитетным видом кивнул головой. Держа в руке поданный ему второй стакан джина, он сгреб другой рукой сдачу, сунул ее в карман, лихо заломил шляпу набекрень и осмотрелся вокруг.

Он равнодушно отметил про себя, что этот кабак — убогое место! Скучное освещение, тускло-красные стены, грязные плевательницы, пол, усыпанный опилками. Боже! Опилки на полу — после дорогого, толстого, пушистого ковра, в котором так уютно тонули его ноги там, в веселом уголке Парижа. Несмотря на его требование, в джин не примешали горькой. А впрочем, наплевать, этот кабак только начало! У него было неизменное правило, когда он предпринимал такие веселые экскурсии, первым делом опрокинуть в себя поскорее несколько стаканов джина. «Когда я хлебну капельку, я становлюсь смел, как дьявол», — говаривал он. Пока в его голове не начинали весело жужжать прялки, ему не доставало дерзости, отваги, веры в себя. Ибо, как он ни хорохорился, в душе он оставался тем же слабым, нерешительным, робким юношей, и ему необходимо было некоторое притупление чувствительности, чтобы наслаждаться с полной уверенностью в себе. Его восприимчивая натура очень быстро поддавалась возбуждающему действию алкоголя, в эти часы его смелые мечтания, его требовательные желания воплощались в действительность, и с каждым стаканом он становился все задорнее, принимал все более надменный и вызывающий вид.

— А что, в вашей дыре сегодня будет какое-нибудь развлечение? — важно осведомился он у буфетчика (это была таверна такого сорта, где в силу необходимости за стойкой держат всегда здорового, сильного парня). Буфетчик покачал низко стриженной головой, с любопытством поглядывая на Мэтью и спрашивая себя, кто этот франтик.

— Нет, — ответил он осторожно. — Не думаю. В четверг был концерт на механическом пианино в городской ратуше.

— Боже! — с хохотом воскликнул Мэт. — Это вы называете развлечением? Какие здесь все некультурные! Не знаете ли какого-нибудь уютного местечка, где можно потанцевать и где найдутся две-три шикарные девочки? Что-нибудь самого лучшего разбора?

— Вы не найдете ничего такого в Ливенфорде, — сказал отрывисто буфетчик, вытирая тряпкой прилавок. Потом сердито добавил: — У нас приличный город.

— Это-то я знаю! — развязно воскликнул Мэт, кинув взгляд на единственного, кроме него, посетителя, видимо рабочего, который сидел на скамье у стены и пристально наблюдал за ним из-за пивной кружки. — Еще

бы мне не знать! Это самый мертвый, самый ханжеский угол, самое безобразное пятно на всей карте Европы. Да, жаль, что вы не видели того, что я! Я бы мог рассказать вам вещи, от которых у вас встали бы волосы дыбом. Да что толку? Здешние люди не отличат бутылки «Помроя» от французского корсета.

Он громко захохотал, гордясь собственным остроумием, с все возрастающей веселостью глядя на недоверчивые физиономии. Потом, хотя и довольный произведенным впечатлением, вдруг решил, что здесь не дождешься никаких развлечений и приключений, и с прощальным кивком направился к дверям, еще больше сдвинув шляпу на одно ухо. Он вышел, пошатываясь, и нырнул в ночную мглу.

Он медленно побрел по Черч-стрит. Уже знакомое, блаженное оцепенение начинало ползти у него за ушами, просачиваться в мозг, окутывая его, точно ватой. Им овладело беспечное ощущение радости жизни, хотелось ярких огней, музыки, веселой компании. С раздражением поглядывал он на слепые, закрытые ставнями окна магазинов, на редких спешивших прохожих и, насмешливо передразнивая последнее замечание буфетчика, пробурчал про себя: «Да, у вас тут приличное кладбище!»

Он испытывал в эту минуту глубочайшее презрение и отвращение к Ливенфорду. Что может дать такой город человеку, выдавшему виды, человеку, познавшему мир от притонов Барракпора до парижского бара «Одеон»?

Впав в мрачное настроение, он на углу Черч-стрит и Хай-стрит завернул в другой бар. Здесь лицо его сразу прояснилось. В баре было тепло, светло, стоял оживленный говор; сверкающие зеркала и граненые стаканы отбрасывали мириады слепящих огней. Батарея бутылок с пестрыми ярлыками выстроилась за прилавком, а сквозь полураздвинутые портьеры он увидел в соседней комнате зеленое сукно бильярдного стола.

— Дайте мне марку «Маккей», — внушительно скомандовал он. — Марку «Джон Маккей», другой не пью.

Розовая толстушка с длинными болтающимися агатовыми серьгами предупредительно подала ему все, что он просил. Он любовался ее согнутым мизинцем, пока она наливала виски из бутылки, находя это верхом утонченности, и хотя у толстушки был вид почтенной женщины, он на всякий случай игриво улыбнулся ей. Он ведь такой сердцеед, покоритель женщин, репутацию эту необходимо было поддержать во что бы то ни стало!

— А славно у вас тут! — заметил он громогласно. — Напоминает мне бар Спинозы в Калькутте. Правда, ваш поменьше, но почти такой же

уютный.

Разговор вокруг затих, и Мэтью, удовлетворенно констатируя, что на него обратили внимание, с видом знатока благодушно отхлебнул виски и продолжал:

— Но хорошего виски за границей не получишь, вот в чем беда! Приходится следить, чтобы не подали какой-нибудь дряни, слишком много они примешивают к нему медного купороса. Вот как, например, к джинну в Порт-Саиде. Нет ничего лучше настоящего «Джона Маккея»!

К его удовольствию, вокруг него начали собираться слушатели; какой-то матрос-англичанин фамиллярно подтолкнул его локтем и спросил хрипло:

— Так и ты тоже побывал там, красавчик?

— Только что оттуда, — сообщил Мэт любезно, осушая стакан. — Прибыл морем из Индии.

— И я тоже, — подхватил матрос, глядя на Мэта с застывшей важностью.

Они торжественно пожали друг другу руки, как будто то, что оба они вернулись из Индии, делало их навеки братьями.

— Чертовская жара там, не правда ли, красавчик? От нее у меня делается жажда, которая не проходит и на родине.

— Так промочи глотку! Я угощаю.

— Не-ет! Я!

Они дружелюбно спорили, пока наконец не решили вопрос жребием, подбросив монету.

— Прелестная леди! — крикнул Мэт, бросая убийственный взгляд на толстую служанку. Он выиграл, и матросу пришлось заказать виски для всей честной компании.

— У дам успех, как всегда, — хихикнул Мэт.

Он был доволен, что выиграл, а матрос в избытке пьяного великодушия доволен, что проиграл. Чокаясь, они обменивались рассказами о виденных ими чудесах, а публика слушала, разинув рот, как они рассуждали о москитах, муссонах, барах, восточных базарах, судовых бисквитах, пагодах, священных и несвященных коровах и о формах и интимных анатомических особенностях армянок. Анекдоты лились таким же щедрым потоком, как и виски, до тех пор, пока у матроса, который в питье значительно опередил Мэта, не начал заплетаться язык и не появилась пьяная слезливость. Тут Мэт, считавший это еще только началом своих ночных развлечений и полный преувеличенного чувства собственного достоинства, стал искать предлога отделаться от

собутыльника.

— Чем заняться человеку в этом полумертвом городишке? — вскричал он. — Неужели вы не можете придумать что-нибудь веселое?

Здесь не было людей того круга, в котором он вращался до отъезда в Индию, и никто его не знал. А раз им не было известно, что он уроженец старого города, он предпочел, чтобы его сочли приезжим, каким-нибудь блестящим космополитом.

Но никто не мог придумать для него достойного развлечения, и все молчали; наконец кто-то предложил:

— Как насчет бильярда?

— А, бильярд! — отозвался Мэт серьезно. — Это уже нечто в моем вкусе.

— Бильярд! — заорал матрос. — Да я на этом деле собаку съел! Я согласен играть с кем угодно на что... на что угодно... я... — Его голос перешел в пьяное бормотание.

Мэтью безучастно смотрел на него.

— Вы чемпион, не так ли? Что ж, отлично, играю на пятьдесят, по фунту партия, — задирает он его.

— Согласен, — прокричал матрос. Он смотрел на Мэтью, полуопустив веки, качая головой, и объяснял в несвязных, но бесспорно сочных выражениях, что скорее он позволит разрезать себя на куски и замариновать, чем откажется от своего слова.

— Где деньги? — торжественно спросил он в заключение.

Оба вынули свои ставки, и те зрители, которые первыми предложили играть, удостоились чести хранить их до окончания партии. Здесь никто еще никогда не играл на такую неслыханно большую ставку, и вся толпа, возбужденно жужжа, повалила в бильярдную. Игра началась.

Мэтью, сняв пиджак, с видом настоящего специалиста начал партию. Он считал себя прекрасным игроком, так как усердно практиковался в Калькутте — часто и в те дневные часы, когда ему полагалось сидеть на службе за конторкой. К тому же он с тайным удовольствием видел, что его противник в том состоянии, в котором он находится, не может с ним тягаться. С опытностью профессионала осмотрел он свой кий, намелил его и, чувствуя, что на нем сосредоточены восхищенные взоры всей толпы, пустил шары, но не сумел остановить красный в неприкосновенном поле. Его противник, слегка пошатываясь, бросил свой шар на стол, нацелился на него глазом и нанес твердый удар кием. Шар с силой ударился о красный Мэта и, прогнав его вокруг стола, сквозь сложную систему преград в виде острых и тупых углов, в конце концов шлепнулся за ним в правую нижнюю

лузу. При этом замечательном ударе зрители громко выразили свое одобрение. Матрос повернулся к ним и, опираясь о стол, важно поклонился, затем торжествующе крикнул Мэтью:

— Ну, как тебе это понравилось, дружок? Кто же из нас пьян! Чем не удар, а? Не говорил я разве, что я в этом деле мастак? В следующий раз я тебе сделаю карамболь!^[9] — Он хотел было пуститься в пространные и глубокомысленные рассуждения насчет достоинств сделанного им замечательного удара и длинное объяснение, каким образом он его нанес, но его уговорили продолжать прерванную игру. Он вернулся к ней с видом победителя, однако второй ход был уже менее удачен, чем первый, так как его шар, получив сильный удар в нижнюю половину, весело запрыгал по сукну, задел при этом за край стола и с глухим стуком упал на деревянный пол, под еще более громкие и долгие аплодисменты, чем те, которыми зрители приветствовали первый удар матроса.

— Что я получу за это? — спросил матрос с глупо-важным видом, обращаясь ко всей компании в целом.

— Пинок в задницу! — заорал кто-то в толпе.

Матрос грустно покачал головой, а все захохотали, даже толстая служанка, которая вытягивала шею, чтобы увидеть, чему смеются люди, и нечаянно взвизгнула от смеха, но тотчас, смутясь, умерила свое веселье, выразив его только скромным покашливанием.

Теперь наступила очередь Мэтью, и хотя шары занимали выгодное положение, он начал игру очень осторожно, сделав три легких карамболя и пройдя мимо красного. Затем он начал загонять в правую среднюю лузу ряд красных так ловко, что при каждом ударе шар медленно, с безошибочной точностью возвращался в нужное положение под серединой стола. Толпа, притаив дыхание, с глубоким и почтительным вниманием следила за ним. Под ярким светом ламп его пухлые белые руки скользили по гладкому сукну, как светлые амебы в зеленом пруду. Его прикосновения к кию были так же легки и осторожны, как прикосновения женщины. Виски сделало его твердым, как скала. Он переживал величайшее счастье, какое могла ему дать жизнь: возможность показать множеству толпившихся вокруг людей свое замечательное хладнокровие и ловкость в игре, быть предметом всеобщего восхищения и зависти. Их лесть давала пищу его суетному тщеславию.

Когда он сделал тридцать девять, он важно прервал игру, снова намелил кий и, демонстративно пренебрегая шаром, который выгодно стоял над самой лузой, занялся длительной и трудной задачей сделать бортовой карамболь. Ему это удалось, и тремя быстрыми

последовательными ударами он довел число выигранных им очков до пятидесяти. Раздалась буря одобрительных восклицаний.

— Продолжайте, сэр! Не бросайте игру! Покажите, сколько вы можете еще сделать!

— Кто этот человек? Да он настоящее чудо!

— Ставьте пинту пива, мистер! Такой успех надо спрыснуть!

Но Мэтью с высокомерной небрежностью отказался продолжать игру, положил в карман свой выигрыш и бросил кий на подставку: завоевав себе такую блестящую репутацию, он боялся ее испортить. Все окружили его, хлопали по плечу, толкали друг друга, стараясь пробраться вперед, чтобы пожать ему руку, а он упивался своей популярностью, смеялся, жестикулировал, как и они, болтал со всеми. Его побежденный противник, которого с трудом удалось убедить, что игра кончена, не выразил никакого сожаления и с пьяным добродушием обнял Мэтью рукой за плечи.

— Видал, красавчик, какой я сделал ход, а? — твердил он. — За такой удар можно заплатить фунт! Не жалко и пяти фунтов. Так и резанул — как настоящий норд-ост, ей-богу! Уж я мастак так мастак! — И он вызывающе огляделся кругом, как бы ожидая, не вздумает ли кто возражать.

Они ворвались в буфет, где Мэтью угостил всю компанию пивом. Он чувствовал себя героем; все чокались с ним, потом расселись небольшими группами, обсуждая во всех подробностях знаменитую игру победителя. А Мэт вразвалку ходил по комнате, возглавляя беседу. Он не обнаруживал ни ложной скромности, ни неуместной сдержанности, подходил к каждой группе, говоря в одном месте: «А вы видали, как я сделал карамболь от борта? Недурно, а? Рассчитано было с абсолютной точностью!», в другом: «Черт побери, я в своей жизни выиграл штук двести таких партий, — нет, что я говорю, больше двухсот!», в третьем: «Вот тоже привязался этот дурачок, куда ему тягаться с таким, как я! Я мог бы победить его, играя не кием, а своей тростью!»

Он до небес превозносил свои таланты, и чем больше он пил, тем больше раздувалось в нем глупое тщеславие, пока наконец ему не стало казаться, что комната вся гудит голосами, которые восхваляют его сладкими, как мед, льстивыми словами. Он присоединил и свой голос к этому хвалебному хору, а лампы сверкали над ним, как тысячи свечей, зажженных в его честь, и сердце его ширилось от восторга. Никогда еще он не переживал такого триумфа. Он уже считал себя лучшим игроком в Ливенфорде, в Шотландии, во всем Британском королевстве. Да, это не шутка — взять подряд пятьдесят очков! И с какой стати его хотели унижить, спихнув его в какую-то контору, когда он так блестяще играет в бильярд?

Но неожиданно, в самом разгаре его ликования, благосклонность к нему изменчивой толпы стала таять. Возник горячий спор между двумя вновь пришедшими — ирландским землекопом и каменщиком, — и всеобщее внимание, отхлынув от Мэтью, обратилось на них. Толпа подстрекала замечаниями то одного, то другого, в надежде вызвать драку. В конце концов Мэтью угостил их только пивом, а популярность стоила дороже, и почти сразу он оказался один, в углу, без единого собутыльника, забытый всеми. Он чуть не заревел от обиды при такой внезапной перемене обстоятельств и подумал, что так бывает всегда — никогда ему не удастся долго оставаться в центре внимания, его оттирают на задний план раньше, чем ему бы хотелось. Он готов был броситься к этим людям, вернуть себе их неверное расположение, закричать: «Да посмотрите же сюда! Ведь я тот, кто взял пятьдесят очков! Не забывайте же обо мне! Я великий игрок в бильярд. Обступите меня снова! Не каждый день увидишь такого игрока!»

Его раздражение росло, незаметно перешло в негодование, и от злости он выпил залпом два больших стакана виски, потом последним грозным взглядом обвел всех и вышел из бара. Его уход никем не был замечен.

Мостовая покачивалась под его ногами, как палуба парохода, когда на море легкая зыбь. Но он ловко приспособлял свою походку к этому слабому равномерному покачиванию, балансируя телом из стороны в сторону, так что, несмотря ни на что, сохранял равновесие. Это приятно возбуждающее движение понравилось ему и успокоило зудевшее самолюбие. Переходя Хай-стрит, он пришел к заключению, что, искусно маневрируя на этой беспрестанно меняющей свое положение плоскости, он совершает замечательный фокус, который, пожалуй, может сравниться с его знаменитой победой на бильярде.

Он решил, что еще рано, и с большим трудом пытался разглядеть, который час, на освещенном циферблате городской башни. Широко расставив ноги, откинув голову, он преодолевал пространство.

Шпиль башни тихо качался в такт колебанию земли, стрелки часов различить было невозможно, но Мэтью показалось, что ровно десять часов, и гордости его не было предела, когда через мгновение часы, подтверждая его догадку, пробили десять раз. Он считал мелодичные удары, отбивая такт рукой, с таким глубокомысленным и назидательным видом, как будто сам звонил на колокольне.

Даже в этом мертвом городе Ливенфорде слишком рано было еще идти домой. Чтобы такой человек, как Мэтью Броуди, отправился домой в такое детское время — в десять часов?! Невозможно! Он сунул руку в карман брюк, и, когда там отрадно зашуршала фунтовая бумажка и зазвенело

серебро, он крепче надвинул шляпу и опять пустился в путь. На улице встречалось до обидного мало людей. В настоящем городе он бы знал, что ему делать! Чего проще — вскочить в кеб и, многозначительно подмигнув кучеру, приказать везти себя к bona robas. Оставалось бы только с комфортом развалиться в кебе и курить сигару, пока клячи благополучно доставят его на место. Но здесь, в Ливенфорде, не было на улице ни кебов, ни оживления, ни женщин. Единственная девушка, которую он встретил и галантно приветствовал, бросилась бежать от него в ужасе, как будто он ее ударил, и Мэтью проклинал этот город за его крикливое, мещанское благочестие, проклинал все женское население в целом за почтенный обычай рано ложиться спать, за пагубную стойкость их добродетели. Подобно охотнику, который тем азартнее преследует дичь, чем больше она от него прячется, он снова прошел Хай-стрит всю, от одного конца до другого, тщетно ища, чем бы рассеять пьяное уныние, которое мало-помалу начинало прочно овладевать им. Наконец, когда он почувствовал, что ему необходимо зайти еще в какую-нибудь таверну, чтобы потопить в вине досаду на свои неудачи, он вдруг вспомнил!.. Он круто остановился, сильно хлопнул себя по ляжке, удивляясь своей непонятной забывчивости, и улыбка медленно расплылась по его лицу, пока он вспоминал тот дом на Колледж-стрит, мимо которого в юности всегда проходил торопливо, не подымая глаз и задерживая дыхание. Относительно этого высокого, узкого и мрачного дома, зажатого между «Представительством Клаидской фабрики готового платья» и жалкой ссудной лавкой в конце «Канавы», по временам в городе носились слухи, пробегавшие мелкой рябью по зеркально-гладкой поверхности непогрешимой благопристойности Ливенфорда и создавшие дому темную репутацию, молча принятую к сведению искушенной городской молодежью. Шторы в этом доме были всегда опущены, и днем никто не входил туда, зато вечером сквозь шторы таинственно мерцал свет, слышались шаги входивших и выходивших людей, иногда внутри звучала музыка. Такой разврат, хотя и замаскированный, давно следовало изгнать из древнего и почтенного города, но, видно, над этим домом простерлась рука какого-то тайного покровителя, если и не санкционируя, то укрывая его безобидное, хотя и безнравственное существование. Злые языки даже намекали, что некоторые члены муниципального совета и видные граждане нередко пользовались этим домом свиданий, но, разумеется, самым степенным и благородным образом.

— Вот там ты найдешь приют, Мэт! Увидишь, был ты прав или ошибался. Ты так часто гадал, что делается в этом доме, а теперь

узнаешь! — пробормотал про себя обрадованный Мэтью и шел, качаясь, к Колледж-стрит, решив заняться исследованием тех ужасов, перед которыми с содроганием отступало когда-то его неопытное воображение. Ему вдруг показалось невероятно забавным то, что он, Мэтью, в Ливенфорде направляется в публичный дом, и он захохотал так, что вынужден был остановиться и беспомощно привалиться к какой-то стене; он весь трясся в припадке бессмысленного смеха, и слезы веселья текли по его лицу. Когда он смог наконец продолжать путь, от его недавнего уныния не осталось и следа, и он с великим внутренним удовлетворением констатировал, что сегодня веселится даже гораздо больше, чем рассчитывал. Действие поглощенного им алкоголя еще не достигло своего зенита, и с каждым заплетающимся шагом Мэтью ощущал все более безоглядную веселость.

Он свернул на «Канаву». В этой узкой улице чувствовалось больше жизни, чем на всех широких центральных улицах. «Канав» так и бурлила каким-то скрытым оживлением, из всех углов, даже из-за тонких стен домиков, несло бесконечное разнообразие звуков — голоса, смех, вой собаки, звуки мелодиума,^[10] пение. Мэтью подумал, что здесь не ложатся спать спозаранку; здесь он чувствовал себя в своей стихии, и, остановившись как вкопанный перед освещенным окном, откуда слышалось шумное хоровое пение, он вдруг, как возбужденный пес, поднял вверх голову и присоединил свой громкий пьяный голос к хору. Музыка тотчас оборвалась, через некоторое время окно распахнулось, и на голову Мэтью дугой полился поток помоев. Поток не попал в цель, отклонившись всего на какой-нибудь фут, и только забрызгал ему брюки. Мэтью отступил с честью и весело пошел дальше.

На полдороге от дома, куда он направлялся, его ноздри раздулись, почуяв вкусный аромат поджаренной свинины, распространявшийся из дома, мимо которого он проходил: видно, там готовили запоздалый ужин. Мэтью вдруг почувствовал голод и, осмотревшись вокруг, заметил через дорогу открытую еще лавчонку, нечто вроде закусочной, где продавались такие деликатесы, как пироги, пудинги, студень из головизны и рубцы с луком. Движимый внезапным побуждением, Мэтью перешел улицу, и, пробормотав заплетающимся языком: «Дамы подождут. Мэтью хочет кушать. Надо подкрепить свои силы, дружок», он величественно вступил в лавку. Но тут голод, вызванный виски, оказался сильнее всей его светскости, и он рявкнул:

— Швырни-ка мне мясного пирога, да поживее, и хорошенько полейте его соусом!

— На один пенс или на два? — спросил стоявший за прилавком юнец

довольно засаленного вида.

— На шесть, ты, soor, — сказал дружелюбно Мэт. — Думаешь, мне достаточно ваших жалких порций? Ах ты, bobachee! Достань самый большой пирог и давай его сюда, ну!

Он бросил на прилавок монету, взял поданный ему завернутый в газету пирог и, считая неприличным для себя есть его здесь, вышел из лавки. Шагая по мостовой, он разорвал газету и, запихивая в рот один за другим большие куски пирога, стал жадно есть, оставляя за собой следы этого пиршества на радость всем изголодавшимся кошкам улицы.

Покончив с пирогом, он удовлетворенно вздохнул и, вспомнив о приличиях, обсосал пальцы и брезгливо обтер их носовым платком. Затем пошел быстрее, сытый, пьяный и жаждущий на десерт других, более утонченных и острых наслаждений.

Он добрался наконец до цели, без труда разыскал дом, так как в Ливенфорде заплутать было невозможно, и некоторое время стоял перед ним, глядя на луч света, слабо проходивший сквозь шторы. На миг отголосок прежнего, детского ужаса перед этим домом проснулся в его душе и заставил его колебаться. Но, подстрекаемый мыслью о наслаждениях, ожидавших его там, он схватился за дверной молоток и громко постучал. Резкий, металлический звук разнесся по всей улице, а когда он затих, раскатившись эхом в ущелье переулка, и замерли последние отголоски, их сменила настороженная тишина, казалось обнимавшая дом не только снаружи, но и внутри. Мэтью долго стоял на пороге. А когда он наконец почти решился снова постучать, дверь медленно приоткрылась, оставляя узкий проход. Но Мэтью не смутила негостеприимная узость этого отверстия, и, умудренный опытом, он немедленно придержал ногой дверь.

— Добрый вечер, дорогая леди, — хихикнул он. — Принимаете?

— Что вам нужно? — спросил тихо грубый женский голос из темноты за дверью.

— Полюбоваться на ваше прелестное лицо, дорогая, — отвечал Мэтью самым любезным образом. — Ну же, не будьте так жестоки и бессердечны! Дайте взглянуть на ваши блестящие глазки и стройные лодыжки.

— Кто вы такой? — повторила резко женщина. — Кто вас сюда послал?

— Я старый житель Ливенфорда, милочка, недавно воротился из-за границы — и не с пустым кошельком! — Он заманчиво побренчал серебром в кармане и захохотал отрывистым глупым смехом.

Наступила пауза, потом голос сказал решительно:

— Уходите! Вы ошиблись. Здесь приличный дом. Мы не желаем иметь с вами никакого дела. — И женщина сделала попытку захлопнуть дверь перед его носом. При других условиях этого резкого отпора было бы достаточно, чтобы помешать Мэтью войти, и он, несомненно, убрался бы оттуда, но сейчас нога не давала женщине захлопнуть дверь, и он ответил с некоторой заносчивостью:

— Полегче, мэм! Поменьше важности и строгости! Вы имеете дело с упрямым парнем. Впустите меня, не то я подниму такой шум, что вся улица сбежится к вашему дому. Да, да, весь город созову сюда!

— Убирайтесь вон сейчас же, или я вызову полицию, — сказала женщина уже менее твердо, после минутного молчания, казалось полного нерешимости.

Мэтью торжествующе подмигнул темноте, чувствуя, что победил, с гордостью убеждаясь, что всегда умеет покорить женщину грубостью.

— Нет, не вызовете, — возразил он хитро. — Вам вовсе не хочется, чтобы здесь побывала полиция. Я это знаю не хуже вас. Я как раз такой джентльмен, какой вам нужен, вот сейчас увидите!

Она не ответила, и, ободренный ее молчанием, чувствуя, что отпор сильнее разжег в нем желание, он пробормотал:

— Я войду и погляжу на тебя одним глазком, куколка! — И, протиснувшись плечом в узкое отверстие двери, он, постепенно наступая, очутился в передней.

Здесь он на миг зажмурился от света лампы, которую женщина держала в руке и теперь приблизила к самому его носу, потом нижняя губа его отвисла, и он, не веря глазам, бесцеремонно уставился на женщину. Ее отталкивающее лицо было обезображено большим багровым родимым пятном, похожим на мясистый полип, который присосался к ней и разъел ей щеку и шею. Глаза Мэтью невольно притягивало это лицо, как болезненно притягивает всякое диковинное уродство.

— Что вам нужно? — повторила она резким тоном.

Мэтью пришел в замешательство. С усилием отвел он глаза от ее лица, но, когда огляделся в просторной высокой передней, к нему вернулось присутствие духа, и он подумал, что в доме есть и другие комнаты — комнаты, в которых скрыты заманчивые тайны. Эта женщина была, конечно, только сводня, содержательница дома, и за одной из дверей здесь, несомненно, его ожидает масса удовольствия. Он опять взглянул на женщину, и опять ее уродство приковало к себе его глаза так, что он не мог отвести их и невольно пробормотал:

— Ужасный рубец! Как это вы его получили?

— Кто вы такой? — повторила женщина с раздражением. — В последний раз спрашиваю! Отвечайте, или я вас вышвырну отсюда.

Мэтью в эту минуту забыл об осторожности.

— Мое имя Броуди, Мэтью Броуди, — промямлил он рассеянно. — А где же девочки? Я ради них пришел. Вы мне не подходите.

Пока он говорил, женщина в свою очередь рассматривала его, и в мигающем свете лампы казалось, что удивление и тревога сменяли друг друга в ее угрюмых чертах. Наконец она сказала с расстановкой:

— Я вам уже объясняла, что вы не туда попали, у нас не такой дом, как вы думаете. Здесь вы не найдете для себя развлечений. В доме никто, кроме меня, не живет. Это — истинная правда. Советую вам сейчас же уйти.

— Не верю я вам! — крикнул сердито Мэтью, и, так как гнев его все возрастал, он поднял страшный шум. — Вы лжете, вот и все! Думаете, нашли дурака и этой сказкой отделаетесь от него! Как бы не так! Думаете, я допущу, чтобы меня выгнала такая особа, как вы? Меня, который побывал на другом конце света! Нет! Я ворвусь насильно в каждую комнату этого проклятого дома раньше, чем вы меня выгоните!

В ответ на поднятый им шум с верхней площадки внутренней лестницы раздался чей-то голос, и в ту же минуту женщина закрыла Мэту рот рукой.

— Заткните глотку, я вам говорю! — прошипела она злобно. — Вы так орете, что сбегутся все соседи. Какого дьявола вы врываетесь в дом и беспокоите честную женщину? Вот здесь, в этой комнате, вы будете сидеть, пока не протрезвеете. А тогда я с вами поговорю по-своему! Сидите тут и ждите, пока я не вернусь, иначе вам плохо придется!

Она схватила его за руку и, открыв одну из дверей, выходящих в переднюю, грубо втолкнула в маленькую гостиную.

— Здесь ждите, слышите? Иначе всю жизнь потом будете каяться! — крикнула она, яростно глядя на Мэта, потом захлопнула дверь и оставила его одного в холодной, неуютной комнате.

Она ушла раньше, чем его отуманенный мозг успел сообразить, что произошло. Мэт осмотрел холодную маленькую гостиную, куда его втолкнули, со смешанным чувством досады и отвращения. Ему вспомнились другие дома, где он кружился в вихре шальной музыки и веселого, громкого смеха, где яркий свет играл на сочной теплоте красного плюша и почти обнаженные женщины соперничали друг с другом, добиваясь его благосклонного внимания.

Не пробыл он и трех минут в этой комнате, как пьяные мысли пришли в некоторый порядок, он осознал всю нелепость того, что столь

многоопытный мужчина, как он, позволил запереть себя в этой клетушке, и в нем созрела пылкая решимость. Им не удастся держать его взаперти в этой коробке, в то время как где-то под самым его носом веселятся! Он двинулся к двери, с сугубыми предосторожностями открыл ее и на цыпочках выбрался снова в ту же просторную переднюю. Сюда доходил сверху слабый гул голосов. Мэтью, крадучись, осмотрел переднюю. В нее выходило еще три двери, и он долго смотрел на них, нерешительно и в то же время с надеждой, наконец остановил свой выбор на той, которая находилась напротив гостиной, осторожно шагнул к ней, нажал ручку и заглянул внутрь. Его встретил только холод и мрак затхлого, нежилого помещения. Закрыв снова эту дверь, он обратился к смежной, но и тут был разочарован, обнаружив за ней пустую кухню. Он круто повернулся и, фыркая от негодования, ринулся очертя голову в последнюю дверь.

Он сразу же остановился как вкопанный, трепеща от восторга при виде открывшегося ему зрелища. Перед уютным огнем камина сидела девушка и читала газету. Как неугомонный искатель сокровища, наконец нашедший его, он испустил где-то в самой глубине гортани неслышный крик радости и застыл, насыщая свой взор красотой девушки, любясь теплыми отблесками огня на ее бледной щеке; он успел заметить и стройность фигуры, и красивый изгиб лодыжек, так как девушка, все еще не подозревая о его присутствии, сидела, протянув ноги к огню. Она была хороша собой, а ему сквозь туман опьянения и голодной похоти показалась необыкновенно прекрасной и желанной. Он тихонько подошел ближе. При звуке его шагов она подняла глаза, на лице ее выразилось смущение, она уронила газету и сказала быстро:

— Эта комната занята, она заказана.

Он хитро качнул головой и ответил:

— Совершенно верно. Она заказана для нас с тобой. Не бойся, нас никто здесь не потревожит.

Он тяжело плюхнулся на стул рядом с ней и сделал попытку взять ее за руку.

— Но вы не имели права сюда войти, — запротестовала девушка в паническом испуге. — Не смейте делать таких вещей. Я... я позову хозяйку.

Она была боязлива, как вспугнутая куропатка, и, сказал себе Мэт, облизываясь, такая же жирненькая и мягкая. Его так и подмывало куснуть ее в круглое плечо.

— Не надо, милочка, — сказал он охрипшим голосом. — Я с ней уже виделся. У нас был длинный и приятный разговор в передней. Она не

красавица, но славная женщина. Да! Она получит от меня денежки, а я получу тебя.

— Это неправда! Вы меня оскорбляете! — закричала девушка. — Тут какая-то ошибка. Я вас никогда в жизни не видела. Я с минуты на минуту жду прихода одного человека.

— Он может подождать, пока я уйду, — грубо возразил Мэтью. — Ты мне так понравилась, что я тебя теперь ни за что из рук не выпущу.

Она сердито вскочила.

— Я закричу! — воскликнула она. — Вы с ума сошли! Он вас убьет, если увидит здесь!

— Пусть проваливает ко всем чертям, кто бы он ни был! Теперь ты моя! — заорал Мэт, неожиданно обхватив ее, раньше чем она успела закричать.

В тот самый миг, когда он крепко прижал девушку к себе и наклонился к ее лицу, дверь отворилась. Он повернул голову и только что хотел обругать вошедшего, как глаза его встретились с глазами отца. Одну минуту, казавшуюся вечностью, три фигуры оставались недвижимы, как будто три чувства — удивление, гнев и испуг — превратили их в камень. Затем постепенно рука Мэтью ослабла, девушка молча выскользнула из его объятий. И как будто это движение развязало ему язык, Броуди, продолжая неотступно глядеть в лицо сыну, бросил холодные, режущие, как сталь, слова:

— Он сделал тебе больно, Нэнси?

Хорошенькая буфетчица из «Герба Уинтонов» медленно подошла к нему и, всхлипнув, сказала дрожащим голосом:

— Нет, не очень. Это ничего. Он меня не тронул. Вы пришли как раз вовремя.

Его губы крепко сжались, взгляд стал еще напряженнее. Он сказал:

— Так не плачь, девочка. Беги домой!

— Может быть, мне подождать тебя здесь, в доме, милый? — спросила она шепотом. — Я подожду, если хочешь.

— Нет, — возразил он без малейшего колебания. — Ты уже достаточно тут натерпелась. Иди домой!

Зрачки его расширились, руки сжимались и разжимались. Он медленно продолжал:

— А этого... этого господина предоставь мне... я хочу с ним поговорить с глазу на глаз...

Когда Нэнси торопливо проходила мимо, он, не глядя, потрепал ее по щеке, и в лице его не дрогнул ни один мускул.

— Не бей его, — шепнула она боязливо. — Он не хотел меня обидеть. Ты же видишь, он пьян.

Броуди ничего не ответил и, когда она ушла, спокойно закрыл дверь и подошел к сыну. Они смотрели друг на друга. На этот раз не взгляд отца заставил Мэтью опустить глаза, он по собственной воле сразу опустил их и стал смотреть в пол. В его одурманенной голове мысли буйным вихрем неслись друг за другом. Унизительный страх, испытанный им в первую минуту, сменился противоположным чувством — бешеным, злобным возмущением. Что же, значит, суждено, чтобы отец вечно становился ему поперек дороги? В его разгоряченном хмелем мозгу огнем кипели воспоминания обо всех унижениях, насмешках, побоях, которые доставались ему в жизни от отца. Неужели он покорно стерпит новую трепку за то, что нечаянно напоролся на любовницу отца? В пьяном угаре и исступлении неудовлетворенных желаний, в приливе жаркой ненависти к отцу он стоял не двигаясь, чувствуя, что теперь он наконец превозмог свой страх перед ним.

Броуди смотрел на опущенную голову сына со жгучей злобой, которая в конце концов прорвала сдерживавшие ее железные цепи самообладания.

— Негодяй, — прошипел он сквозь стиснутые зубы, — ты посмел!.. Ты... смел посягнуть на то, что принадлежит мне, и соваться в мою жизнь! Я тебя предупреждал, чтобы ты мне на дороге не попадался, теперь я... тебя задушу!

Он вытянул большие руки, чтобы схватить Мэтью за горло, но тот быстро увернулся, перебежал на другую сторону стола и отсюда, как безумный, сверкающими глазами смотрел на отца. Его бледное лицо покрылось испариной, рот конвульсивно подергивался, он трясся всем телом.

— Ты ничуть не лучше меня, ты, боров! — завопил он. — Не воображай, что будешь и дальше мной командовать. Ты хотел сохранить эту девку для себя, вот и все. Но если она не достанется мне, так я постараюсь, чтобы и тебе она не досталась. Довольно я натерпелся от тебя. Больше не желаю! Нечего на меня так смотреть!

— Смотреть на тебя?! — зарычал Броуди. — Я не смотреть на тебя буду, я буду тебя душить, пока последний вздох не вылетит из твоего поганого тела!

— Ну-ка попробуй! — крикнул Мэт, тяжело дыша. — Не-ет, ни душить меня, ни измываться надо мной ты больше не будешь! Думаешь, боюсь тебя? Нет, не боюсь! Я покажу тебе кое-что, чего ты никак не ожидаешь.

При таком неожиданном и дерзком отпоре Броуди еще больше рассвирепел, глаза его горели, он не сказал ни слова и начал медленно обходить стол, подвигаясь к сыну. Но странно: Мэт не тронулся с места. Вместо того чтобы бежать, он с диким воплем торжества сунул руку в боковой карман, извлек оттуда небольшой пистолет и, крепко зажав его, направил в упор на отца.

— А, ты не знал, что у меня есть эта штучка, ты, боров! — визжал он. — Не знал, что я ее привез из Индии. Он заряжен пулей — это будет гостинец для тебя! Получай же его, черт бы тебя побрал! На, получай, ты, вечно фыркающий на людей буйвол!

И, стиснув зубы за побелевшими губами, он отвел назад указательный палец и нажал собачку. Блеснула желтая молния, и раздался громкий взрыв, который долго еще отдавался в комнате. Пуля, выпущенная в упор, оцарапала Броуди висок и попала в зеркало над камином, которое разлетелось вдребезги, и осколки зазвенели среди затихающих отголосков выстрела.

Одну секунду Броуди стоял, пораженный ужасом, затем с громким криком кинулся на сына и нанес ему страшный удар между глаз своим железным кулаком. Мэтью упал, как падает на бойне животное под ножом, и, падая, ударился головой о ножку стола. Он лежал без чувств на полу, и кровь текла у него из носа и ушей.

— Ах ты, убийца! — пробормотал отец, тяжело дыша и впиваясь горящим взглядом в бесчувственное тело у своих ног. — Ты хотел убить родного отца!

В эту минуту кто-то неистово забарабанил в дверь, и хозяйка дома ворвалась в комнату. Увидев пистолет и неподвижное тело на полу, она вся затряслась. Ее отталкивающее лицо мертвенно побледнело и стало еще страшнее.

— Боже! — ахнула она. — Вы... Вы застрелили собственного сына?!

Броуди прижал носовой платок к ободранному и опаленному пулей виску. Лицо его точно окаменело, а грудь все еще ходила ходуном.

— Уходите! — приказал он, по-прежнему не отводя глаз от Мэтью. — Это он хотел меня убить.

— Так это он стрелял? — воскликнула женщина, ломая руки. — Я знала, что будет беда, когда он сюда ворвался. И какой шум наделал этот пистолет, господи!

— Убирайтесь отсюда, — скомандовал он грубо. — Уходите, вам говорят, или будет еще больше шума, которого вы так боитесь.

— Не делайте ничего безрассудного, — умоляла она. — Подумайте о

репутации дома!

— Ну вас к черту с вашим домом! У него достаточно дурная репутация! — закричал Броуди, метнув на нее яростный взгляд. — Я же вам сказал, что я чуть не погиб! — И, схватив женщину за плечо, вытолкал ее из комнаты. Закрыв за нею дверь, он повернулся и снова мрачно посмотрел на распростертое тело, потом, подойдя, ткнул его ногой.

— Ты чуть не убил родного отца, — пробурчал он. — Клянусь Богом, я с тобой рассчитаюсь за это! — Потом он медленно отошел к столу, сел и, скрестив на груди руки, стал терпеливо дожидаться, пока Мэтью придет в себя. Пять минут в комнате стояла мертвая тишина, только тикали часы на столе да время от времени слышно было, как падала зола сквозь решетку. Потом внезапно Мэт застонал и шевельнулся. Держась обеими руками за голову, он попытался сесть, но не мог и снова растянулся на полу с тихим стоном. Из носа у него все еще текла кровь. Нанесенный отцом удар чуть не разможил ему череп, и теперь он испытывал такие ощущения, какие бывают при сотрясении мозга. Он еще не видел, что отец здесь, так как комната плыла перед его глазами и его мучила смертельная тошнота. Она подступила к горлу, он стал икать, затем хлынула рвота. Отвратительная каша, все содержимое его желудка, лилась изо рта и, мешаясь с кровью, образовала лужу на полу. Казалось, Мэтью никогда не перестанет тужиться, все его тело напрягалось до того, что страшно было смотреть, но в конце концов рвота прекратилась, и, полежав на боку, пока не прошла слабость, он поднялся с трудом, так как голова у него кружилась, доковылял до стула, стоявшего у стола. Лицо его было бледно, измарано кровью, глаза запухли, но он уже начал различать все вокруг и тупо уставился на отца.

— Ты все еще здесь, как видишь, — сказал шепотом Броуди. — И я тоже. — Он произнес последние слова медленно и выразительно, придвинул свой стул ближе к сыну. — Да, мы с тобой наедине в этой комнате. Замечательно, не правда ли? Быть с тобой наедине, видеть тебя так близко для меня редкое удовольствие. — Он помолчал, потом продолжал ворчливо: — Нежная мать была бы довольна, если бы могла видеть сейчас своего молодца-сына. Твой вид наполнил бы ее сердце радостью! Ее привел бы в настоящий восторг этот новый узор, который ты вывел блевотиной на своем модном костюме. Вот он, ее взрослый, примерный сын!

Мэтью не мог произнести ни слова, да от него это и не требовалось. Броуди подобрал с пола пистолет и, нарочно вертя им перед испуганными глазами сына, продолжал уже более сдержанным тоном, как бы размышляя

вслух:

— Вот гляжу я на тебя, парень, и просто не верится, что у такого, как ты, хватило смелости попытаться убить *меня*. Ведь ты такое мелкое дрянцо! Хоть и не большое удовольствие получить пулю в лоб, а все-таки мне жалко, что ты не попал. Ты бы так весело плясал на виселице, качаясь из стороны в сторону, с веревкой вокруг желтой шеи!

Мэтью, совершенно отрезвев, обратил мертвенно-бледное, жалкое лицо к отцу и, под влиянием инстинктивного желания бежать отсюда, сделал слабую попытку встать.

— Сиди на месте, негодяй! — вскипел Броуди. — Думаешь, наш разговор с тобой кончен? Ты уйдешь отсюда тогда, когда я захочу, а может быть, и не уйдешь вовсе.

— Я был не в своем уме, папа, — прошептал Мэтью. — Я не признавал, что делаю. Я был пьян.

— Ах, так ты любишь хватить стаканчик, да? — издевался отец. — Скажи пожалуйста! Вот еще новая джентльменская привычка, вывезенная из-за границы. Неудивительно, что ты выбрал такую мишень для своего пистолета.

— Я не хотел стрелять, — шепотом оправдывался Мэт. — Я купил его просто так, чтобы похвастать. Я никогда, никогда больше не буду!..

— Тсс, не давай так необдуманно обещаний, — продолжал глумиться над ним Броуди. — Мало ли что! Тебе завтра же может понадобится убить кого-нибудь самым настоящим образом, прострелить ему башку так, чтобы мозг вылетел и валялся на земле!

— Папа, папа, выпусти меня, — захныкал Мэтью. — Ты же отлично знаешь, что я не хотел тебя убить.

— Нет, нет, ни за что не пущу. Это недостойно такого великого человека, как ты, не похоже на бравого сына твоей матери. Ты, видно, выблевал из себя все мужество? Можно поднести тебе еще стаканчик, чтобы тебя подбодрить.

Он схватил со стола колокольчик и громко позвонил.

— Заметь, между прочим, — он засмеялся жутким смехом, — мертвый человек не мог бы позвонить в этот вот колокольчик. Если бы ты меня убил, я бы не мог угостить тебя сейчас виски!

— Не повторяй больше этого слова, папа, — заплакал Мэт. — Мне страшно. Я же тебе говорю — я не помнил, что делаю.

Вошла хозяйка. Поджав губы, безмолвно посмотрела на одного, на другого.

— Как видите, мы еще живы, — весело обратился к ней Броуди. —

Живы, несмотря на все пистолеты и порох и всякие сюрпризы из Индии. А раз мы живы, так будем пить. Принесите нам бутылку виски и два стакана.

— Я не хочу пить, — испугался Мэт. — Меня и так мутит. — Голова у него трещала, и уже самая мысль о виски вызывала тошноту.

— Что-о-о? — протянул Броуди. — Да не может быть! Такой прожженный парень, носящий револьверы! Пей, пока угощают, — тебе нужно подкрепиться, раньше чем я тебя передам в руки полиции.

— Полиции! — в ужасе ахнул Мэт. — Нет! Нет! Ты этого не сделаешь, папа!

Противно было видеть, как он испугался. Удар, нанесенный отцом, реакция после хмельного возбуждения и близость отца — все вместе превратило его в какое-то беспозвоночное, готовое пресмыкаться у ног Броуди, только бы его умиловить.

Броуди с омерзением смотрел на сына. Он читал в его мыслях, видел презренную трусость в налитых кровью глазах. Он молчал, пока не вошла женщина с бутылкой и стаканами, затем, когда она вышла, пробормотал про себя:

— Господи помилуй, и такое ничтожество носит мое имя!

Затем он с горечью поднял бутылку и разлил в оба стакана чистый спирт, не разбавляя его водой.

— Ну, — крикнул он, — пьем за моего великого, храброго сына! За славного путешественника, прибывшего из Индии! За любимца дам! За человека, который покушался на убийство отца! — Он свирепо толкнул стакан к сыну. — Пей же, собака, или я выплесну это тебе в рожу!

Он залпом осушил стакан и вперил грозный взгляд в сына, который делал мучительные усилия проглотить свою порцию.

— Ну, вот так! — Он усмехнулся. — Мы с тобой проведем славную ночь вдвоем — ты да я! Наливай второй! Наливай, тебе говорят!

— Папа,пусти меня домой! — закричал Мэт, которому сейчас и вкус, и самый вид виски были противны. — Я хочу домой. Голова у меня готова треснуть от боли.

— Боже, боже! — воскликнул Броуди, очень удачно подражая голосу жены. — У нашего Мэта головка болит... Это, должно быть, болит то место, куда я хватил тебя, сынок? Какой ужас! Что же нам делать?

Он сделал вид, что размышляет, а между тем опрокинул в себя второй стакан.

— Я не могу придумать лучшего средства, чем немно-о-жечко виски. Это единственное лекарство для такого молодца, как ты, — порция доброго, крепкого виски. — Он опять налил полный стакан

неразбавленного виски и, вдруг нагнувшись вперед, сжал пальцами, как тисками, подбородок Мэтью, насильно раскрыл ему рот и быстро влил туда содержимое стакана. Мэтью поперхнулся и раскашлялся, а он как ни в чем не бывало продолжал с жутким подобием веселости:

— Так-то лучше! Гораздо лучше! А теперь скажи мне — не бойся, говори откровенно, — как тебе понравилась Нэнси? Она, может быть, не такого хорошего рода, как твоя мать, но от нее, понимаешь ли, не воняет, как от той. Нет, она чистенькая. Да, что делать, видно, приходится выбирать одно из двух. — Он неожиданно переменял тон и рявкнул злым голосом: — Я тебя спрашиваю: пришлась она тебе по вкусу или нет?

— Я не знаю. Не могу сказать, — захныкал Мэтью, понимая, что, каков бы ни был его ответ, ему не поздоровится.

Броуди задумчиво покачал большой головой:

— Да, правда, я не дал тебе времени рассмотреть ее подробно. Как жаль, что я пришел так рано. Мне следовало дать тебе еще хоть десять минут.

Он нарочно подхлестывал свое воображение, бередил себя с темным, бессознательным садизмом, помня лишь одно — что чем больше он терзает себя, тем больше терзает и сына. Чем яснее он видел, что сыну мучительно вспоминать о своем безобразном поведении, тем упорнее возвращался к этой теме.

— Парень, — продолжал он, — я невольно восхищался, видя, как смело ты наступал на нее. Впрочем, она, конечно, не могла бы ни в чем отказать такому храброму кавалеру. Можно было подумать, что ты дерешься с женщиной, так ты схватил ее!

Мэтью не выдержал. Он дошел до последнего предела мучений и, положив на стол голову, в которой стучала сотня молотков, разревелся, как ребенок, причитая сквозь плач:

— Отец, убей меня, если хочешь, мне все равно. Убей, и кончено, но, ради бога, перестань меня мучить.

Броуди смотрел на него с горькой подавленной злобой. Он рассчитывал насмешками раздражить сына до того, чтобы тот снова на него кинулся, тогда он доставил бы себе удовольствие избить Мэтью до потери сознания. Но надежда эта не осуществилась. Он видел, что сын слишком слаб, жалок, испуган, чтобы можно было его довести до нового взрыва. И с внезапно вспыхнувшим возмущением он наклонился вперед и всей ладонью отвесил тому звонкую пощечину.

— Вот тебе, мерзкий слюнтяй! — крикнул он громко. — А в тебе меньше храбрости, чем в овце!

Исчезли ирония, сарказм, тонкие насмешки, и ярость пенилась, вздымалась в нем, как разбушевавшееся море, лицо его потемнело от бешеного гнева, как темнеет небо, затянувшись грозными тучами.

— Ты посмел коснуться моей женщины! Ты поднял руку на меня! На меня!

Мэт устремил на него жалобные, молящие глаза.

— Не гляди на меня! — заревел Броуди, как будто сын совершил святотатство. — Ты не достоин поднимать глаза выше моих сапог! Каждый раз, как я на тебя смотрю, мне плюнуть хочется! Вот тебе, вот, вот тебе! — И с каждым словом он молотил кулаком по голове Мэтью, как по пустому бочонку, стучая его о стол. — Боже, — воскликнул он с отвращением, — что ты за человек? Голова у тебя звучит, как пустой барабан. Неужели ты только в пьяном виде способен постоять за себя? Неужели у тебя в крови нет ни капли гордости? Неужели ты не гордишься тем, что ты наследник такого имени?

И, окончательно рассвирепев, он схватил Мэта за плечо, поднял, как тряпичную куклу, и поставил на ноги.

— Чего ради я теряю тут время с тобой? Ты пойдешь домой! Я сам сведу тебя туда. Я должен доставить тебя в сохранности твоей мамаше, спасти из этого дома разврата — здесь совсем не место для сына такой благочестивой женщины.

Он продел свою руку под локоть Мэта и привалил к себе его качавшееся полубесчувственное тело, затем бросил на стол несколько монет, нахлобучил шляпу на голову Мэта.

— Петь ты умеешь? — крикнул он, когда выволок Мэта на темную и безлюдную улицу. — Мы бы могли с тобой спеть хором по дороге домой. Вдвоем, ты и я, — просто чтобы показать людям, какие мы друзья. Пой же, негодяй! — грозно потребовал он, больно выкручивая руку Мэта. — Пой, или я тебя убью!

— Что... что... мне петь? — спросил задыхающийся, страдальческий голос сына.

— Что хочешь. Пой гимны! Да, да! — Он ужасно обрадовался этой идее. — Это очень подходящее для тебя дело. Ты только что промахнулся, стреляя в отца, так тебе надо славить и благодарить Бога. Спой «Старую сотню», мой храбрый сын! Начинай!

— «Все те, что живут на земле...» — запел дрожащим голосом Мэт.

— Громче! Живее! — приказывал Броуди. — Побольше души! Представь себе, что ты только что вышел с молитвенного собрания!

Он тащил Мэта, поддерживая его, волочил и встряхивал, когда тот

спотыкался на неровной мостовой, и, отбивая такт, время от времени подпевал припев с кощунственной насмешкой.

Так шли они по узкой «Канаве» домой, и слова гимна звучно раздавались в неподвижном воздухе. Шаги удалялись, глуше доносилось пение, и наконец последний, замирающий звук потерялся в мирной темноте ночи.

Миссис Броуди лежала на тонком соломенном тюфяке своей узкой кровати, окруженная темнотой комнаты и тишиной, царившей во всем доме. Несси и бабушка спали, она же, с тех пор как ушла Агнес, лежала в напряженном ожидании прихода Мэта. После потрясения, пережитого ею сегодня вечером, она ощущала какую-то пустоту в душе и не способна была ни о чем думать. Но физические страдания не оставляли ее ни на минуту. Та острая боль внутри снова вернулась. Она беспокойно ворочалась с боку на бок, пытаясь найти положение, при котором хоть немного утихла бы мучительная боль, которая залпами обстреливала все ее тело. Ноги у нее стыли, а горячими руками она все время водила по стеганому лоскутному одеялу, которым была укрыта. Пальцы машинально ощупывали в темноте каждый квадратик, как будто она бессознательно хотела восстановить в памяти всю работу своей иглы. Она смутно жаждала горячей бутылки, чтобы отвлечь стучавшую в голове кровь к ледяным ногам, но слабость мешала ей встать, и к тому же ей как-то жутко было покинуть свое безопасное убежище. Ей казалось, что за пределами его она встретит новое испытание, что на лестнице ее подстерегает новая ужасная напасть.

Медленно переходили секунды в минуты, минуты переползали в часы, и в мирном молчании ночи миссис Броуди слышала слабый, отдаленный бой городских часов, двенадцать шелестящих звуков. Вот и новый день начался, и скоро придется встретиться лицом к лицу печальный ряд дневных часов и все, что принесет ей рассвет. Но ее мысли не заходили так далеко. Когда часы пробили двенадцать, она только пробормотала: «Как долго он не идет! Оба они ужасно запоздали». С пессимизмом, отличающим разбитые души, она измерила всю глубину бездны печальных возможностей и с отчаянием спрашивала себя, не натолкнулся ли Мэт в городе на отца. Мысль о всяких неожиданных последствиях, которые могла вызвать такая случайная встреча, приводила ее в трепет. Наконец, когда тревога стала уже совсем нестерпимой, она услышала шаги на улице. Ей страстно хотелось броситься к окну, попытаться увидеть что-нибудь во мраке, но не было сил, и она вынуждена была лежать неподвижно, настороженно ожидая, когда щелкнет замок у входной двери. И действительно, она скоро слышала этот звук, но, когда дверь открылась, беспокойство миссис Броуди еще возросло, так как тотчас внизу раздался

громкий голос ее мужа, сердитый, насмешливый, властный, а в ответ — робкий, покорный голос сына. Она слышала медленное движение тяжелого тела, шумно поднимавшегося по лестнице, а за ним — глухие шаги другого, более легкие, менее энергичные, усталые. На площадке перед ее дверью муж сказал громко, угрожающим тоном:

— Ступай в свою конуру, собака! А утром я за тебя примусь!

Ответа не было, послышались только торопливые, спотыкающиеся шаги, и громко хлопнула дверь. В доме наступила снова относительная тишина, сквозь которую лишь иногда прорывались звуки из спальни Броуди — скрип половицы, грохот передвигаемого стула, стук башмаков, сброшенных на пол, кряхтение пружин, когда тяжелое тело повалилось на кровать. Этот звук был последним, и снова ничем не нарушаемое безмолвие воцарилось в доме.

Беспомощное состояние, в котором находилась миссис Броуди, как будто обостряло работу мозга и придавало ей необычайную прозорливость. Она поняла, что произошло то, чего она так боялась, и к тому же с сыном случилось какое-то ужасное несчастье. Последнее она сразу почувствовала по его неверным, заплетающимся шагам, по безнадежной слабости голоса, и воображение ее разыгралось, наполнило оцепенелое молчание ночи тревожными звуками. Ей чудилось, что она слышит чей-то плач. Она спрашивала себя, что это — просто легкое движение ветерка за стенами дома или и в самом деле подавленные рыдания сына? Если это плакал Мэт, кто знает, на какой безумный шаг может толкнуть его отчаяние? Она представляла себе, как ее заблудший, но все так же нежно любимый сын обдумывает способ самоубийства. Плач перешел в тихую, грустную музыку, которая ширилась с заунывной навязчивостью погребального пения. Миссис Броуди всеми силами старалась успокоиться и заснуть, но не могла. Она была в том неопределенном состоянии, когда душа витает где-то на грани между сном и действительностью, и эта жалоба, звучавшая в тишине, билась о ее сознание, как бьются свинцовые волны о покинутый берег, где шум прибоя сливается с отчаянными, безутешными криками морских птиц. Ей виделся под проливным дождем, среди комьев мокрой, только что разрытой глины катафалк из простых, некрашенных досок, а на нем — желтый гроб. Она видела, как его опускали, как падали на него тяжелые комья земли. Тихо вскрикнув, она повернулась на бок. Полусонные видения вдруг рассеялись от жестокого приступа физического страдания. Раздирающая боль, которую она испытывала по временам, теперь накинута на нее и терзала непрерывно с жестокой силой. Это становилось невыносимо. До сих пор такие приступы, хотя и чрезвычайно

тяжелые, бывали кратковременны, теперь же боль не прекращалась. Это было гораздо хуже родовых мук, и на миг у нее мелькнула мысль, не наказывает ли ее Бог за то, что она предала дочь и допустила, чтобы Мэри выгнали вон в бурю, когда у нее начинались роды. Она чувствовала, что ее ослабевшее сердце точно расщепляется на части от ошеломляющей боли. «О Господи, — шептала она, — избавь же меня от нее. Я не могу больше!..» Но боль не утихала, а усиливалась, стала совсем нестерпима. Отчаянным усилием миссис Броуди поднялась с постели, запахнула покрепче длинную ночную сорочку и вышла из спальни. Она шаталась, но страх гнал ее вперед. Она босиком добрела до комнаты сына и почти упала к нему на кровать.

— Мэт, — сказала она, задыхаясь, — у меня опять боль, и не проходит... Беги... беги за доктором. Скорее беги, сын!

Мэтью только что начал засыпать и теперь сразу сел в постели, испуганный ее появлением. Он сперва страшно перепугался, разглядев какую-то длинную белую фигуру, ничком лежавшую поперек его кровати.

— Что такое? — вскрикнул он, узнав мать. — Что тебе от меня надо? — Затем, смутно сообразив, что она больна, сказал: — Что такое с тобой, мама?

Она едва дышала.

— Умираю. Ради Христа, Мэт, — доктора! Не могу вытерпеть этой боли. Если ты не поспешишь, она меня доконает.

Мэт вскочил с постели, голова у него еще шла кругом от всего пережитого этой ночью, и теперь при виде страданий матери его охватило страстное раскаяние. В одну минуту он стал опять мальчиком, робким и жалостливым.

— Это из-за меня, мамочка? — захныкал он. — Это из-за того, что я взял у тебя деньги? Я больше никогда этого не сделаю. И часы выкуплю. Я буду вести себя хорошо!

Она вряд ли слышала, слова не доходили до ее сознания.

— Скорее беги! — стонала она. — Нет больше сил терпеть!

— Иду! Иду! — воскликнул Мэт в отчаянии. Он с бешеной быстротой натянул брюки, напялил куртку и обулся, потом сбежал вниз и бросился вон из дому. Большими шагами, нагнувшись вперед, он побежал по середине мостовой, а ветер, поднятый его быстрым движением, трепал всклокоченные волосы над распухшим, обезображенным шишкой лбом.

— О боже, — бормотал он на бегу, — неужели я окажусь еще и убийцей матери? Во всем, во всем виноват я один, кругом виноват. Я скверно поступал с ней.

В унынии, сменившем пьяную удаль, он чувствовал себя виновником внезапной болезни матери и в судороге слезливого отчаяния взывал к Богу, выкрикивая пыльные и бессвязные обещания исправиться и искупить свою вину, если только Он не отнимет у него маму. Он мчался вперед, откинув голову, прижав локти, сорочка раскрылась на тяжело дышавшей груди, полы незастегнутой куртки развевались по сторонам. Бежал, как спасающийся от правосудия преступник, которым движет один только инстинкт — стремление убежать. Его прямой целью было добраться до города, и сначала в своем горе и растерянности он не думал о дальнейшем. Но потом, когда дыхание уже рвалось из его груди короткими и шумными порывами, а в боку кололо так, что он не мог больше бежать, он подумал о том, где же найти доктора. Он был слишком измучен, сознавал, что у него не хватит сил идти пешком до самого Ноксхилла, где жил доктор Лори. Слишком далеко! Вдруг он вспомнил, что мама в одном из своих пространных писем упоминала о каком-то докторе Ренвике, живущем на Уэлхолл-роуд, и, кажется, отзывалась о нем одобрительно. Вспомнив это, он свернул влево, к железнодорожному мосту, и, понукая свое обессиленное тело, через некоторое время с облегчением увидел красный фонарик над дверью одного из мрачных домов на дороге.

Запыхавшись, он остановился у этой двери, торопливо поискал ночной звонок, нашел его и со всей силой отчаяния дернул ручку. Он дернул ее так сильно, что, стоя на улице у дверей, услышал, как долгий звонок раскатился по спящему дому. Через несколько минут над его головой открылось окно, и оттуда высунулись голова и плечи мужчины.

— Кто там? — раздался сверху резкий вопрос.

— Вы срочно нужны, доктор! — крикнул Мэтью. Его поднятое вверх взволнованное лицо белело в темноте. — Моя мать заболела. С ней очень плохо...

— А чем она заболела? — спросил Ренвик.

— Не могу вам сказать, доктор, — сказал Мэтью прерывающимся голосом. — Я не знал, что она больна, пока она вдруг сразу не свалилась. Ох, у нее такие боли! Пойдемте скорее!

— А где это? — спросил Ренвик, сдаваясь. Ему дело не представлялось в том мрачном и тревожном свете, в каком только и мог видеть его Мэтью. Для него это был просто ночной визит, случай, может быть, серьезный, а может быть, и не серьезный, один из тех часто повторяющихся и досадных случаев, когда его лишали ночного отдыха.

— Дом Броуди, доктор. Вы, наверное, знаете этот дом — в конце Дэррок-роуд.

— Броуди! — воскликнул доктор. Потом, после короткого молчания, сказал уже другим, недоумевающим тоном: — Почему вы обратились ко мне? Ваша мать у меня никогда не лечилась.

— Ах, ничего я об этом не знаю! — крикнул Мэтью в лихорадочном нетерпении. — Ей врач необходим сейчас. Вы должны пойти со мной — она так мучается! Умоляю вас, доктор, тут вопрос идет о ее жизни.

Ренвик был уже не тот, что два года тому назад. Успех дал ему возможность выбирать, отказываться от практики, которая ему была почему-либо не по вкусу. Но против такой мольбы он не мог устоять.

— Ладно, приду, — сказал он лаконично. — Отправляйтесь домой. Я приду вслед за вами, через несколько минут.

Мэтью вздохнул с облегчением, излил свою горячую благодарность в каком-то лепете, обращенном к уже захлопнувшемуся окошку, и торопливо побежал домой. Но, очутившись у ворот, побоялся войти один и стоял на улице, дрожа в своей легкой одежде. Он решил дождаться доктора и войти вместе с ним. Хотя он и застегнул куртку до самого верха и все время запахивал ее поплотнее, ночной холод ножом пронизывал тело. Несмотря на это, Мэт не входил в дом, боясь, что там случилось что-нибудь ужасное и, может быть, он найдет мать в постели мертвой; он стоял в нерешимости у калитки, стуча зубами от холода и страха. Впрочем, ждать ему пришлось недолго; скоро на повороте желтыми пятнами засветились фонари экипажа, потом приблизились и засияли ярче. Наконец они появились уже на противоположной стороне улицы, остановились, сверкнув в глаза Мэтью, и из темноты прозвучал голос Ренвика:

— Почему вы не вошли в дом? Это сумасшествие — стоять на холоде после такого быстрого бега. Вы рискуете смертельно простудиться.

Он соскочил со своей двуколки и, выступив из темноты в круг света, подошел к Мэтью.

— Послушайте, — сказал он вдруг, — что такое с вашей головой? Вас ударили?

— Нет, — неловко пробормотал Мэтью. — Я... я упал.

— Скверный ушиб, — протянул Ренвик, испытующе глядя на него, но больше ничего не сказал и чемоданчиком, который держал в руке, сделал жест, как бы предлагая Мэтью идти впереди него в дом.

Они вошли. Тотчас их окружили тишина и мрак.

— Зажгите же свет, милейший, — сказал с раздражением Ренвик. Чем больше он наблюдал Мэтью, тем яснее видел его слабость и нерешительность и осуждал их. — Почему вы не позаботились обо всем до моего приезда? Если хотите помочь матери, надо взять себя в руки.

— Сейчас, доктор, спички у меня в кармане. — Трясущейся рукой он зажег спичку и поднес к маленькому газовому рожку в передней. В этом тусклом, мерцающем свете оба двинулись вперед, за своими колеблющимися тенями, бежавшими впереди них по лестнице.

Дверь в комнату миссис Броуди была полуоткрыта, и изнутри слышалось громкое частое дыхание, при звуке которого Мэтью заплакал от волнения:

— Слава богу, жива!..

Каким-то чудом героических усилий миссис Броуди из комнаты Мэта добралась обратно в свою и лежала беспомощная, как раненое животное, которое, собрав последние силы, уползло в свое логово. Доктор взял спички из пальцев Мэта, зажег газ в спальне и, спокойно выпроводив Мэта за дверь, сел у постели. Его суровые темные глаза остановились на этом изможденном теле, распростертом перед ним, и, когда он, осторожно взяв руку мамы, сосчитал частый, неровный пульс, заметил признаки резкого истощения, его лицо слегка омрачилось подозрением, мелькнувшим у него в голове. Он тихонько положил руку на тело больной и принялся его исследовать, сразу же своим опытным прикосновением обнаружив ненормальное сопротивление напряженных мускулов. Лицо его становилось все пасмурнее. Миссис Броуди вдруг открыла глаза и, с выражением мольбы устремив их на доктора, медленно прошептала:

— Вы пришли!

Слова и взгляд приветствовали в нем спасителя. Доктор тотчас переменял выражение лица на веселое и успокоительное.

— Вам больно вот тут, — указал он осторожным нажатием руки. — Вот в этом месте, да?

Она кивнула головой. Ей показалось удивительным, что он сразу угадал, где у нее болит. Это придавало ему в ее глазах ореол чудесной и внушающей уважение силы. Самое прикосновение его уже казалось ей целительным, эта рука, тихонько двигавшаяся по ее телу, была как талисман, который должен безошибочно открыть и устранить тайную причину ее мучений. Она с готовностью позволила осмотреть свое изнуренное тело, чувствуя, что этот человек обладает почти божественной властью исцелить ее.

— Вот так лучше, — сказал он одобрительно, когда она ослабила мускулы. — Вы дадите мне исследовать немного глубже — только разок?

Она опять кивнула головой и, покорная его отданному вполголоса приказанию, старалась дышать ровнее, пока длинные уверенные пальцы вызывали острую боль, расходившуюся по всему телу.

— Отлично! — поблагодарил он ее с ласковым спокойствием. — Вы молодчина! — Он и глазом не моргнул, ничем не выдал, что глубоко в тканях ее тела он обнаружил сильно разросшуюся опухоль и болезнь зашла слишком далеко, чтобы ей могло помочь человеческое искусство.

— Давно у вас эти боли? — спросил он как бы между прочим. — Это, конечно, не первый приступ?

Она с трудом ответила:

— Нет! Это уже давно у меня, доктор, но еще никогда так долго не болело, как сегодня. Раньше боль сразу проходила, а на этот раз она долго продолжалась. Сейчас мне легче, но все-таки еще болит.

— Вы, конечно, замечали у себя и другие симптомы болезни, миссис Броуди, — воскликнул Ренвик, выразительным взглядом придавая особый смысл этим простым словам. — Вы же видели, что вы нездоровы. Почему вы не обратились до сих пор к врачу?

— Да, я знала, — отвечала она, — но мне все недосуг было заняться собой. — Она не сказала ничего об отношении мужа к ее болезни и только прибавила: — Я не обращала на это внимания. Думала, что пройдет само собой.

Он с легким укором покачал головой и сказал:

— Боюсь, что вы очень запустили болезнь, миссис Броуди. Возможно, что вам придется некоторое время полежать в постели. Вы должны непременно дать себе отдых. Вы в нем давно нуждаетесь. Необходим полный покой.

— А что же у меня такое, доктор? — прошептала она. — Ничего... ничего серьезного?

Он встал и ласково смотрел на нее.

— Что я вам сейчас говорил? Ни о чем не надо тревожиться. Завтра я приду опять и осмотрю вас хорошенько, когда боль пройдет. А теперь вы уснете спокойно, я сейчас дам вам лекарство, от которого вам станет легче.

— Вы мне поможете? — пробормотала она едва слышно. — Я не могла бы больше выдержать такую боль.

— Болеть больше не будет, — утешил он ее. — Ручаюсь вам.

Она молча наблюдала, как он взял свой чемоданчик, открыл его и достал оттуда маленькую склянку, из которой тщательно отмерил несколько капель в стакан. Потом, когда доктор, долив в стакан воды, опять подошел к постели, она положила свою худую руку на его руку и сказала растроганно:

— Вы так добры! Неудивительно, что ваше имя у всех на языке. Я могу только от всего сердца поблагодарить вас за вашу доброту, за то, что вы ночью пришли помочь мне.

— Выпейте-ка это, — сказал он, тихонько пожимая ее сухие, загрубевшие пальцы. — Это как раз то, что вам нужно.

Она приняла от него стакан с трогательным доверием ребенка, проглотила все, даже темный осадок на дне, улыбнулась вымученной, грустной улыбкой и шепнула:

— Какое оно горькое, доктор. Наверное, хорошо помогает.

Он ободряюще улыбнулся в ответ.

— Ну а теперь спите! — приказал он. — Вам необходим долгий и крепкий сон. — И, все еще не отнимая у нее своей руки, сел у кровати, ожидая, пока снотворное подействует. Его присутствие успокаивало миссис Броуди, оказывало на нее какое-то магнетическое, благотворное влияние. Талисман, который она сжимала в руке, боясь хоть на миг его выпустить, помог ей. Время от времени она открывала глаза и с благодарностью смотрела на Ренвика. Потом зрачки ее медленно сузились, изможденные черты разгладились, она сонно пробормотала:

— Дай вам Бог счастья, доктор. Это вы спасли жизнь моей Мэри, а теперь и меня вылечите. Приходите опять завтра, пожалуйста!

Наконец она уснула.

Ренвик осторожно высвободил свою руку из ее теперь вялых пальцев, уложил все обратно в чемоданчик и постоял еще некоторое время, глядя на спящую. На лице его не оставалось и следа той оптимистической уверенности, которая служила ему как бы защитной маской. Оно было пасмурно, как у человека, который узнал нечто печальное, оно выражало задумчивое участие. С минуту он стоял не двигаясь, потом заботливо укрыв спящую одеялом и вышел из комнаты.

Внизу под лестницей дожидался Мэт, его испуганное лицо белело в полумраке, как бледная луна.

— Ну, как она? — спросил он вполголоса. — Ей лучше?

— Боли прекратились, она спит, — ответил Ренвик. — Самое главное для нее сейчас — покой. — Он пристально посмотрел на Мэтью, не зная, насколько можно с ним быть откровенным.

— Где ваш отец? — спросил он. — Мне надо его повидать.

Взгляд Мэтью сразу потускнел, он потупил опухшие глаза и, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, пробормотал:

— Он спит. Я не хочу его будить. Нет, его лучше не беспокоить. От этого все равно не будет никакой пользы.

Лицо Ренвика приняло суровое выражение.

«Что за странный дом? — спрашивал он себя. — И что это за люди? Мать, сын, да и эта бедная девочка, Мэри, — все запуганы одним

всемогущим существом, главой семьи, неистовым Броуди».

— Не знаю, — сказал он наконец, холодно подчеркивая каждое слово, — найду ли я возможным продолжать лечение вашей матери, но во всяком случае передайте отцу, что я завтра заеду поговорить с ним.

— Значит, она долго проболит? — прошептал Мэт.

— Да, возможно, что месяцев шесть.

— Как долго! — протянул Мэт. — А ведь она делает всю работу в доме. Как мы обойдемся без нее?

— Придется! — сказал доктор сурово. — Приучайтесь заранее обходиться без нее.

— Это почему? — спросил с тупым удивлением Мэт.

— Ваша мать умирает от рака. Вылечить ее невозможно. Она больше не встанет с постели. Через шесть месяцев она будет в могиле.

Мэт пошатнулся, как от удара, и, ослабев, сел на ступеньку лестницы. Мама умирает! Только пять часов тому назад она здесь ухаживала за ним, угощала его вкусным ужином, приготовленным ее собственными руками, а теперь она пластом лежит в постели, с которой уже никогда больше не встанет! Опустив голову на руки, он не видел, как доктор вышел, не слышал стука захлопнувшейся двери. Пришибленный горем и угрызениями совести, он унесся мыслями не в будущее, а в прошлое. Его душа, ведомая памятью, бродила по всем тропам прошедшего, переживала жизнь сначала. Он ощущал нежную ласку материнской руки, прикосновение ее щеки, ее губы на своем лбу. Он видел, как она входила к нему в комнату, когда он, капризничая, валялся в постели, слышал, как она говорила, задабривая его: «Смотри, сынок, я принесла тебе кое-что вкусненькое!» Он вспоминал все выражения ее лица — ласковое, умоляющее, заискивающее, и всегда с той же печатью безграничной любви к нему. Потом это лицо представилось ему в тихой, ясной строгости смерти, но и на безмятежном лице умершей бескровные губы улыбались ему все с той же нежностью, какую она всегда щедро изливала на него. И, сидя в одиночестве на ступеньках лестницы, он разрыдался, твердя шепотом все одни и те же слова:

— Мама! Мама! Ты была так добра ко мне!

XI

— Где моя горячая вода? — кричал Броуди. — Где моя вода для бриться?

Он стоял на площадке перед дверью своей спальни, без пиджака, в брюках и сорочке, и кричал вниз, чтобы ему принесли воду. Он не помнил такого случая, чтобы горячая вода для бриться не стояла уже наготове у дверей в ту секунду, когда она ему требовалась. А сегодня, когда он по привычке наклонился, чтобы взять кувшин, кувшина у дверей не оказалось. Такая небывалая, чудовищная небрежность вызвала сперва удивление, которое немедленно сменилось чувством горькой обиды, еще обострившим то злобное настроение, в котором он встал с постели. Сегодня утром происшествия прошедшей ночи представились ему в новом свете, и, перебирая их в памяти, он все больше и больше распалялся от мысли, что сын узнал о его связи с Нэнси и открыл место их свиданий в доме на Колледж-стрит. Негодование на то, что такой молокосос, как Мэтью, посмел вмешаться в его личную жизнь, заслонило воспоминание об опасности, грозившей ему вчера. Необычайное происшествие — выстрел сына — отошло куда-то в область фантастического, и сейчас в нем будило гнев только то, что ему помешали наслаждаться. Голова у него отяжелела от нездорового сна. Не покидавшая его забота о расстроенных делах, всегда таившаяся где-то в глубине мозга и встречавшая его при каждом пробуждении, усиливала горькое озлобление. А тут, как раз когда ему особенно хотелось побриться и освежиться, чтобы легче было привести в порядок расстроенные мысли, он не нашел горячей воды. «Вечная история! — сказал он про себя. — В этом проклятом доме человек никогда не может получить вовремя то, что ему нужно!» И в приливе законного возмущения он опять заревел:

— Воды! Сейчас же неси наверх воду! Черт побери, долго я еще буду стоять тут и ждать для твоего удовольствия! Воды, черт тебя возьми!

Никакого движения! К его полнейшему недоумению, мама не прибежала, запыхавшись, наверх в пароксизме страха и трепетной угодливости, с знакомым кувшином, из которого шел пар, с робким извинением на устах. Непривычная тишина царила внизу. Как рассерженный буйвол, нюхающий воздух, он, фыркая, раздул ноздри, но не уловил аппетитного запаха еды, в этот час обычно доносившегося из кухни. Он уже собирался сойти вниз, чтобы более энергичным образом

предъявить свои требования, как вдруг отворилась дверь комнаты Мэта и оттуда под заглушенные слова чьего-то напутствия вышла Несси и робко приблизилась к отцу.

Появление дочери несколько умерило гнев Броуди, морщина на лбу разгладилась, злая гримаса губ слегка смягчилась. Присутствие Несси неизменно смягчало его, и, очевидно, по этой причине ее избрали для того, чтобы сообщить ему новость.

— Папа, — сказала она неуверенно, — мама сегодня не встала.

— Что такое?! — крикнул он, словно не веря своим ушам. — Не встала? Еще в постели? В такой час!

Несси утвердительно кивнула головой.

— Она не виновата, папа, — сказала она молящим шепотом. — Не сердись на нее, она нездорова. Она хотела встать и не могла.

Броуди злобно заворчал. Он считал, что жена его просто лентяйка, что она притворяется больной и все это только отговорка для того, чтобы не подать ему воды для бритья. Потом он вспомнил о завтраке. Кто приготовит его? Он порывисто шагнул по направлению к спальне миссис Броуди, чтобы посмотреть, не заставит ли жену одно его появление забыть о нездоровье и заняться более полезным делом, чем лежание в постели.

— Маме всю ночь было очень плохо, — продолжала Несси. — Мэту пришлось бежать за доктором.

Броуди остановился как вкопанный при этом новом потрясающем известии и воскликнул удивленно и сердито:

— За доктором! А почему мне ничего не сказали? Почему со мной не посоветовались? В этом доме все делается за моей спиной, без моего ведома! Где Мэт?

Мэтью, подслушивавший за приоткрытой дверью, медленно вышел на площадку. По его осунувшемуся, измятому лицу видно было, что он не ложился. Он с тревогой поглядывал на отца. Но Несси уже сделала первый шаг, сообщив ошеломительную новость. Теперь Мэту легче было говорить с отцом.

— Почему ты не сказал мне об этом... об этой истории? — спросил Броуди свирепо. Он отказывался поверить в эту «болезнь». По его мнению, все было только заговором против него, выдумкой, чтобы досадить ему. — Почему ты сперва не обратился ко мне?

— Я не хотел беспокоить тебя, папа, — пробормотал Мэт. — Я думал, что ты спишь.

— Какая неожиданная заботливость! — усмехнулся Броуди. — Не всегда ты так заботишься о моем здоровье, а? — Он сделал

многозначительную паузу, потом спросил: — Ты позвал Лори? Что он сказал насчет нее?

— Нет, это был не Лори, — смиренно поправил Мэт. — Я не мог добраться до него, папа. К ней приходил Ренвик.

Броуди весь затрясся от гнева.

— Что?! — зарычал он. — Ты привел в мой дом этого нахала! Где была твоя голова, болван! Не знаешь ты разве, что я и он — заклятые враги? Уж он-то, конечно, уложит твою мать в постель! Еще бы! Я думаю, он ее нарочно продержит в постели целую неделю и сделает вид, что мы ее здесь убивали! Не сомневаюсь, что он пропишет ей цыплят и шампанское, и мне придется себя во всем урезывать, чтобы платить ему за визиты.

— Да нет же, папа, — взмолился Мэт. — Право, это не так. Он сказал, что она... что она очень серьезно больна.

— Ба! Я не верю ни одному его слову. А ты приводишь этого субъекта в дом за моей спиной! Я с тобой рассчитаюсь и за это тоже!

— Во всяком случае... он сказал... Он сказал, что приедет осмотреть ее получше сегодня утром... и что хочет поговорить с тобой.

— Вот как! — протянул Броуди и замолчал, обнажив зубы в отвратительной усмешке. Значит, Ренвик сегодня приедет в его дом? Вероятно, он рассчитывает начать серию ежедневных визитов, думает, что в такой безвольной, покорной женщине, как его жена, он найдет себе очень удобную мнимую пациентку, на которой можно хорошо заработать. Броуди невольно сжал кулаки, как всегда выражая этим свою твердую решимость, и скрипнул зубами. — Я дождусь его и сам встречу, — сказал он вслух с резкой враждебностью. — Услышим, что он имеет мне сказать! Я ему поднесу сюрпризец! Он увидит не ее, а меня!

Затем после некоторой паузы, во время которой он смотрел прямо перед собой и что-то обдумывал, он обратился к Несси:

— Несси, сходи вниз и принеси отцу горячей воды. Только смотри не обварись, дочка! Потом разбуди бабушку, пускай приготовит мне чего-нибудь поесть. Если твоя мать желает нежиться в постели, так здесь есть другие, которым некогда и надо идти на работу. Ну, беги скорее! — И, ласково похлопав ее по худым плечикам, он вернулся к себе в спальню.

Горячая вода была быстро доставлена, и Броуди принялся совершать обычный ритуал утреннего туалета. Но мысли его были далеки от того, что он делал. Он часто вдруг останавливался, в глазах его загорались злые огоньки, и он с гневным презрением встряхивал головой.

— Он намерен держать мою жену в постели, — сердито бормотал он. Ему уже представлялось, что Ренвик уложил маму в постель нарочно, ему

назло. — Нет, какая чертовская наглость! Ну и проучу же я его! Я ему покажу, как опять соваться в мои семейные дела!

Со времени тяжелой болезни дочери он питал закоренелую злобу к Ренвику за обвинения, брошенные ему молодым врачом во время памятного разговора между ними, когда он отказался навестить Мэри, лежавшую в больнице с воспалением легких, или оказать ей какую-нибудь помощь. И сейчас в нем кипела яростная вражда, и он заранее придумывал все те язвительные оскорбления, которые бросит в лицо Ренвику.

Ему ни на минуту не приходило в голову, что следует зайти к жене. Она во всем этом деле была незначительной пешкой, и он не сомневался, что, когда он разделается с Ренвиком, она встанет и примется стряпать ему обед. И обед должен быть особенно хорош, чтобы вознаградить его за утренние непорядки.

— Да, я ему укажу его место! — бормотал он про себя. — Я швырну ему в лицо плату за визит и прикажу убираться вон из моего дома.

Он едва мог проглотить завтрак, до того его душил гнев. Да и завтрак, надо сказать, не возбуждал особого аппетита. Каша была жидко сварена и подгорела. Он мрачно наблюдал за старухой-матерью, которая, подоткнув платье, так что виднелась полосатая нижняя юбка, разводила в кухне невообразимую суету.

— Каша эта ни к черту не годится! — бросил он сердито. — Ее и свиньи есть не станут.

Все было не так, как следует. Гренки — слишком мягкие, недостаточно зажаренные, чай, которым ему пришлось удовольствоваться вместо любимого им кофе, — жидок, заварен раньше, чем закипела вода. Яичница напоминала подошву, а ветчина превратилась в уголь.

— Ей придется встать, — сказал он вслух. — Я не могу есть такую дрянь. Этим мясом можно отравиться.

Грязный и холодный камин зиял перед ним, башмаки были нечищены, а во время бритья он порезался. Пылая негодованием, он шумно встал из-за стола и сел в свое кресло дожидаться Ренвика. Глаза его с неудовольствием следили за старчески неловкими движениями матери, слух был неприятно поражен грохотом разбитого блюда, донесшимся из посудной. Заметив, что Несси слоняется по кухне, он резко приказал ей отправляться в школу. Она и так опоздала уже по меньшей мере на час и надеялась, что ввиду такого редкого события о ней забудут или даже позволят ей сегодня пропустить уроки. Но отец приказал ей идти, и она ушла, не пытаясь протестовать.

Мэтью не появлялся, скрываясь у себя наверху. Из комнаты матери не слышно было ни звука.

Броуди от нетерпения не находил себе места. Он посмотрел на часы, увидел, что половина одиннадцатого, подумал о том, что его лавка уже целый час открыта и стоит пустая и беспризорная, оставленная на глупого и бестолкового мальчишку, способного только пялить глаза на покупателя. Потом он с горечью возразил сам себе, что, собственно, покупатели в лавку теперь заходят редко и его отсутствие не имеет значения.

Он встал и беспокойно ходил по кухне. При этом освещении она казалась ему какой-то новой, незнакомой. Нарушен был привычный ход жизни, и все вокруг казалось странным, чуждым. Это нарушение каждодневной рутины, следовавшее так быстро за необычайными событиями прошлой ночи, создавало впечатление какой-то чудовищной фантастики, подавлявшее его неразвитой ум, а раздражение, вызванное этим замешательством, подливало масла в огонь. Как тигр в клетке, беспокойно шагал он взад и вперед по передней. Чем дольше он ждал, тем больше злился и наконец прошел в гостиную и стал с досадой смотреть в окно, как будто это могло ускорить приход Ренвика. Но тут ему пришло в голову, что доктор может увидеть его здесь и счесть это признаком слабости с его стороны. Он как ужаленный отпрянул от окна и вернулся на кухню, где заставил себя опять сесть в кресло и сохранять наружное самообладание. Так, внешне бесстрастный, хотя внутри у него кипело, он сидел и ждал, и единственным признаком его горячего нетерпения было быстрое, непрерывное постукивание ногой о пол.

В одиннадцать часов зазвенел колокольчик у двери. Как беговой рысак, долго ожидавший сигнала, чтобы, ринувшись с места, разрядить запас энергии, Броуди вскочил с кресла и, подойдя к входной двери, вызывающим, размашистым жестом распахнул ее так широко, что она ударилась о стену. Его высокая, громоздкая фигура загородила вход, мешая доктору пройти.

— В чем дело? — прорычал он. — Чего вам нужно?

Доктор Ренвик остановился у двери, бесстрастный, безупречно изящный в своем хорошо сшитом костюме, выглядевший еще величественнее на фоне нарядного экипажа, запряженного отлично вычищенным жеребцом. Обеспеченный теперь богатой и обширной практикой, придававшей ему уверенность, он не сделал ни малейшей попытки войти и, выдержав значительную паузу, сказал любезно:

— А, на этот раз сам мистер Броуди, как я вижу.

— Я или не я — это все равно, — отрезал презрительно Броуди. — А что вам здесь угодно?

— Право, вы — воплощенная любезность, — спокойно заметил

Ренвик. — Вы ничуть не переменились со времени нашей последней встречи — во всяком случае, не к лучшему.

— Я спрашиваю, зачем вы здесь, сэр? — с трудом выдохнул из себя Броуди. — Нечего тут упражняться в красноречии, отвечайте прямо.

— Что ж, раз вы так грубы, придется мне ответить вам тем же. Я пришел сюда вчера ночью по настоятельной просьбе вашего сына (и очень неохотно, должен сказать), чтобы осмотреть вашу жену. Хоть вы и притворяетесь, будто ничего не знаете, я убежден, что это вам известно. — Он остановился и, небрежно похлопав себя перчаткой по рукаву, продолжал: — Сегодня утром я хотел навестить ее в последний раз, — он сделал сильное ударение на слове «последний», — чтобы после нового, тщательного осмотра проверить тот печальный диагноз, который я поставил вчера ночью.

Броуди злобно смотрел на него. Холодная невозмутимость Ренвика бесила его бесконечно больше, чем любое проявление бешеного гнева. На последнее он мог ответить тем же, но против этой хладнокровной находчивости был так же бессилен, как дубина — против сверкающей рапиры. Раньше чем он успевал пустить в ход тяжелое оружие своего ответа, ему наносили острием рапиры добрый десяток уколов. Ренвик почти обезоружил его заявлением, что не собирается больше навещать больную, и возбудил его внимание уклончивым намеком на состояние миссис Броуди.

— Что же такого страшного вы у нее находите? — иронически проворчал он, невольно меняя тон. — Она большая охотница поваляться в постели.

Ренвик, не отвечая, слегка поднял брови и этим едва заметным движением сразу же дал почувствовать своему собеседнику все неприличие его замечания. Свирепея от этого невысказанного презрения, Броуди прибегнул к своему неизменному средству — ругани, как всегда, когда других средств больше не оставалось.

— Нечего ухмыляться своей дурацкой усмешкой! — крикнул он. — Она ничуть не красит вашу противную физиономию.

Ренвик смотрел на него все так же бесстрастно.

Большинство людей, просто уже в силу своего роста, вынуждены были смотреть на Джемса Броуди снизу вверх, и Броуди доставляло громадное удовлетворение то, что он, разговаривая с человеком, возвышался над ним. Это давало ему ощущение превосходства и силы. Но Ренвик был такого же роста, как он, а к тому же стоял на высоком пороге, и получилось обратное — не Броуди на него, а он на Броуди смотрел сверху вниз.

— Не буду больше терять здесь времени даром, — сказал он сухо. — Не знаю, как вы, а я человек занятой. В таком состоянии духа вы не способны рассуждать здраво. У вас мания величия, и вы хотите, чтобы все перед вами трепетали. Несчастлива ваша семья, без сомнения, боится вас, но мне-то, слава богу, бояться не приходится! Поймите это раз навсегда, если можете. А теперь прощайте! — Он круто повернулся и хотел было уже сойти со ступенек, но Броуди схватил его за плечо.

— Погодите, погодите! — воскликнул он.

Он совсем не ожидал, что разговор примет такой оборот. Он рассчитывал натешить свое оскорбленное самолюбие, заставить Ренвика хорошенько поклоняться, а потом уже ворчливо позволить ему войти. Он понимал, что необходимо узнать мнение доктора о болезни его жены, и хотя ему прежде всего хотелось дать почувствовать Ренвику, что он наемник, слуга, которому можно пренебрежительно бросить плату и прогнать его, он в то же время боялся остаться в полном неведении относительно состояния миссис Броуди.

— Не уходите! Вы еще не сказали мне, чем больна жена. За что вам платить, если вы даже не можете сказать, для чего приходили сюда вчера ночью. Должны же вы как-нибудь оправдать свой приход.

Ренвик обратился к нему холодно-презрительный профиль.

— Вопрос о гонораре, насколько мне известно, и не поднимался. Ну а что касается диагноза, то, как я уже вам сказал, поставить его я смогу окончательно лишь после тщательного внутреннего исследования. — И, стряхнув с плеча руку Броуди, он снова сделал шаг к ступенькам.

— Черт возьми! — воскликнул вдруг Броуди. — Так войдите же и сделайте что нужно. Раз вы уже здесь, отчего этим не воспользоваться.

Ренвик медленно воротился к двери и сказал с вежливостью, бесившей Броуди:

— Раз вы просите меня, я это сделаю, но имейте в виду — сделаю только ради вашей жены. — И, протиснувшись в дверь мимо все еще загораживавшей ее высокой фигуры, торопливо поднялся вверх.

Броуди, оторопевший и взбешенный, остался один в передней. Он сердито сдвинул брови, в замешательстве потер подбородок, протянул было руку, чтобы запереть дверь на улицу, но передумал, решив, что закрывать дверь за Ренвиком — для него унижение.

— Пускай сам закроет ее за собой, — пробурчал он. — Во всяком случае, он проторчит здесь недолго. Скоро уйдет, и больше его ноги здесь не будет.

Он хмуро смотрел в открытую дверь на щегольской экипаж доктора,

дождавшийся у ворот, завистливым глазом отмечая точеные ноги жеребца, его мускулистую спину, красивый изгиб шеи. Он легко определил стоимость и этого великолепного животного, и дорогого кабриолета, и нарядной ливреи кучера, даже его шляпы с кокардой, ловко сидевшей на голове, и это наглядное доказательство чужого богатства было для него горше желчи. Он резко отвернулся, стал мерить шагами переднюю. «Да сойдет он когда-нибудь вниз или нет? — твердил он мысленно. — Что он делает там столько времени?» Он нетерпеливо строил догадки, что происходит наверху, его корчило при мысли об этом осмотре. Хотя он не жил больше с женой, бесцеремонно выгнав ее из спальни, мысль, что другой мужчина трогает ее, приводила его в ярость. Жена его была старая, изможденная, одряхлевшая женщина, но ведь она оставалась все же его собственностью, его имуществом, его движимостью. Эта собственность ему никогда не понадобится, он не будет больше пользоваться ею, но она целиком должна принадлежать ему. Такова была его психология, и, живи он в другом веке, он, вероятно, убивал бы каждую любовницу, надоевшую ему, для того чтобы она не досталась кому-нибудь другому. Сейчас его уже начинали терзать постыдные и нелепые подозрения.

— Клянусь Богом, если он сейчас не сойдет, я сам поднимусь наверх!

Но он не пошел наверх. Что-то в холодном высокомерии Ренвика действовало на него подавляюще, и хоть он ни перед кем не знал страха, но интеллект Ренвика был настолько выше его собственного, что он побеждал, даже смирял его. Всякий смелый и утонченный характер вызывал в нем легкое пренебрежительное недоверие, прелюдию ненависти, необузданной антипатии, лишавшей его и той доли рассудка, которая обычно руководила его поступками.

Он бесновался в передней до тех пор, пока, прождав с полчаса, не услышал на лестнице шагов Ренвика. Следя, как доктор медленно сходит по ступеням, он почувствовал, что должен выразить вслух свое возмущение.

— Вы, кажется, уверяли, что вы человек занятой, — усмехнулся он, — а сколько времени сидели там!

— Для последнего визита это не долго, — возразил невозмутимо Ренвик.

— Ну, что же у нее такое? — перебил Броуди. — Уж конечно, вы там вбивали ей в голову разные фантазии.

— Вам следует, — продолжал доктор спокойно, словно не слыша этого замечания, — завтра же непременно пригласить вашего домашнего врача. Если желаете, я могу с ним переговорить о больной. Жена ваша нуждается

в постоянном заботливом уходе.

Броуди недоверчиво уставился на него, потом насмешливо фыркнул.

— Теперь уж ей, оказывается, и сиделка нужна? — воскликнул он.

— Непременно. В том случае, конечно, — добавил хладнокровно Ренвик, — если это вам по средствам.

Броуди усмотрел в этих словах доктора оскорбительный намек.

— Без дерзостей! — сказал он, тяжело дыша. — Я спрашиваю, чем она больна.

— Рак матки, так далеко зашедший, что он неизлечим, — сказал с расстановкой Ренвик.

У Броуди при этом ужасном слове отвисла нижняя челюсть.

— Рак, — проговорил он. — Рак! — Несмотря на железное самообладание, он немного побледнел. Но сделал попытку скрыть свое волнение. — Ложь! — крикнул он громко. — Это вы придумали нарочно мне в отместку. Вы хотите меня запугать вашей проклятой выдумкой.

— Я очень хотел бы, чтобы это была неправда, но я убедился окончательно, что диагноз мой верен, — сказал грустно Ренвик. — Бедной женщине ничем больше нельзя помочь, только облегчать ее страдания, и ей уже никогда не встать с постели, на которой она лежит сейчас.

— Не верю я вам! — крикнул Броуди. — Для меня ваше мнение вот чего стоит. — Он громко, точно бичом, щелкнул пальцами под самым носом Ренвика. Его волновало не столько несчастье, может быть грозившее его жене, сколько унижительное положение, в которое, как он воображал, хочет поставить его доктор.

— Я обращаюсь к более опытному врачу, чем вы, — воскликнул он. — К моему собственному домашнему врачу. Он на целую голову выше вас. Если она больна, он ее вылечит.

Ренвик наклонил голову.

— От души надеюсь, что он это сделает. Но должен вас предупредить, — добавил он сурово, — что основным условием всякого лечения является покой для больного, отсутствие каких бы то ни было волнений.

— Спасибо, хоть и не за что! — грубо крикнул Броуди. — Ну-с, сколько вам полагается за всю эту музыку? Сколько вам уплатить за то, что вы велели ей лежать в постели? — И он сунул руку в карман.

Доктор, уже на пути к дверям, обернулся и сказал с проницательным взглядом, выдававшим его осведомленность относительно бедственного материального положения Броуди:

— Нет, нет! Я ничего не возьму от вас при нынешних ваших

обстоятельствах. Я об этом и не думал. — Он сделал паузу и прибавил: — Так имейте в виду, я не приеду больше, пока меня не позовут.

И с этими словами он вышел.

Сжав кулаки, Броуди в бессильной ярости смотрел вслед удалявшейся фигуре доктора. И только когда кабриолет скрылся из виду, ему пришел в голову подходящий ответ.

— Пока его не позовут! — крикнул он. — Как бы не так! Ноги его больше не будет в моем доме! Проклятый нахал! Не верю ни одному слову из того, что он тут наплел! Все это ложь! Сплошная ложь! — твердил он, как бы желая убедить самого себя.

Он стоял в передней, не зная, что делать, и, несмотря на все его напускное презрение к диагнозу Ренвика, слово «рак» во всем своем жутком значении жгло ему мозг. Рак матки! Самая отвратительная из форм этой ужасной болезни! Он усиленно делал вид, что не верит, а между тем уверенность уже просочилась в его душу, властно охватила ее.

Понемногу он начинал вспоминать доказательства, достаточно убедительные сами по себе. Значит, ее больной вид не был притворным, а все, что она проделывала в спальне, крадучись, тайком от него, — не неприличием, а горестной необходимостью.

Вдруг его поразила ужасная мысль: а что, если болезнь заразна и перешла к нему? Ничего не зная о способах заражения, он раздумывал, мог ли он заразиться, и воспоминания о прежней физической близости с женой, об их соприкосновениях нахлынули на него, вызывая в нем ощущение нечистоты. Он невольно окинул взглядом свое мускулистое тело, словно ища уже на нем зловещие признаки болезни. Осмотр его успокоил, но эта мысль вызвала легкий прилив негодования на жену. «Неужели она не могла лучше следить за собой?» — пробормотал он, как будто она была до известной степени сама виновата в своей болезни. Он встряхнулся, вздохнул всей могучей грудью, стремясь избавиться от гнетущих и противоречивых мыслей.

Машинально, не сознавая, что делает, он прошел в холодную гостиную, куда редко заходил, и, сидя в этой неудобной комнате, снова принялся обдумывать, что ему делать. Конечно, то, чем он грозил Ренвику, нужно выполнить и пригласить доктора Лори. Но он уже понимал, что это бесполезно. Его колкие слова были продиктованы только грубым желанием оскорбить, в душе же он знал, что Лори далеко не такой хороший врач, как Ренвик.

Он сознавал, что следует пойти к жене, но не хватало духу: теперь, с клеймом этой ужасной болезни, она стала ему еще противнее, чем была.

Ему в тягость была и она, и моральная обязанность навестить ее. Торопливо отогнав мысль о ней, он стал думать о том, как быть с хозяйством. «Ну и кутерьма, — говорил он себе, — не лучше, чем у меня в делах!» Его суровое, тяжелое лицо выражало растерянность, почти трогательную, смягчившую его жесткость, вытеснившую злобу, разгладившую морщины на лбу. Но это было огорчение только за себя самого. Он думал не о жене, а о себе, жалел себя, Джемса Броуди, на которого обрушилось столько неприятностей.

— Да, — пробормотал он тихонько, — хорошо еще, что ты держишься как мужчина среди всех этих незаслуженных несчастий! Немало тебе приходится переносить!

С этими словами он встал и пошел наверх так медленно, словно ему было очень трудно взбираться по лестнице. Перед комнатой миссис Броуди он помедлил, но заставил себя войти. Она слышала его шаги на лестнице и, повернувшись к двери, встретила его заискивающей, умоляющей улыбкой.

— Ты меня извини, отец, — прошептала она. — Я изо всех сил старалась встать, но не могла. Мне, право, очень жаль, что причинила тебе такую неприятность. Хорошо ли тебе приготовили завтрак?

Он смотрел на нее как-то по-новому, замечая теперь мертвенную бледность лица, впадины на висках и у губ, худобу точно сразу истаявшего тела. Он не находил что сказать. Он так давно не обращался к ней ни с единым ласковым словом, что язык отказывался произнести такое слово, и эта нерешительность вызывала чувство неловкости. Он привык в жизни командовать, требовать, карать, бичевать; он не умел выражать сочувствие. И он безнадежно смотрел на жену.

— Надеюсь, ты не сердишься, отец? — спросила она робко, ложно истолковав его взгляд. — Я непременно встану через день или два. Он говорит, что мне нужно немножко полежать. Я постараюсь как можно скорее встать, чтобы не причинять тебе неприятностей.

— Я не сержусь, мать, — сказал он хрипло. Потом с усилием прибавил: — Лежи себе спокойно, пока я позову доктора Лори, чтобы он попробовал тебя вылечить.

Мама сразу встрепелулась.

— Ах, нет, нет, отец, — воскликнула она, — не надо мне его! Мне так понравился доктор Ренвик — я чувствую, что он меня поставит на ноги! Он такой добрый и ученый. От его лекарства мне сразу стало легче.

Броуди бессильно сжал зубы, а протесты миссис Броуди длились без конца. Раньше он выразил бы свою волю, ничуть не интересуясь, как жена к этому отнесется; теперь же, в этом новом положении, в котором и она и

он очутились, он не знал, что сказать. Он решил позвать Лори, но, сделав над собой усилие, изменил ответ, просившийся на язык:

— Ладно, там видно будет. Посмотрим, как ты себя будешь чувствовать.

Миссис Броуди глядела на него недоверчиво, твердя себе, что, если он не позволит ей лечиться у Ренвика, она непременно умрет. Ей понравилась спокойная уверенность доктора, она расцветала от его непривычного для нее ласкового внимания. Она бессознательно тянулась душой к этому человеку, спасшему ее дочь. И он уже говорил с ней о Мэри, восхищаясь терпением и мужеством молодой девушки во время тяжелых испытаний и почти смертельной болезни. Теперь она сразу почувствовала, что муж против ее желания. Она знала, что спорить с ним нельзя, и поспешила его задобрить.

— Как же будет с тобой, Джемс? — спросила она, набираясь смелости. — Надо кому-нибудь заботиться о тебе. Не можешь же ты отказаться от своих удобств!

— Все будет в порядке, — сказал он с усилием. — Моя мать уж постарается об этом.

— Нет, нет! — запротестовала она. — Я все утро это обдумывала. Мне, конечно, придется встать, как только будет можно, но пока следовало бы нанять кого-нибудь, какую-нибудь девушку, которая будет стряпать тебе все так, как ты любишь. Я бы ей все объяснила, научила бы ее, как надо все делать, как варить бульон, чтобы он был тебе по вкусу, сколько держать кашу в печке, как проветривать твоё теплое белье и...

Он прервал ее не допускающим возражения жестом. Как она не понимает, что держать прислугу стоит денег? Что, она воображает, будто он купается в деньгах? Он хотел уничтожающим ответом сразу заткнуть ей рот, прекратить эту пустую болтовню. «Что, она считает меня беспомощным младенцем? — подумал он. — Или воображает, что в доме нельзя без нее обойтись?» Но он знал, что если только откроет рот, то выпалит какую-нибудь грубость — выбирать выражения он не умел, — и поэтому, крепко сжав губы, хранил сердитое молчание.

Ободренная этим молчанием, мама пытливо посмотрела на него, не зная, можно ли рискнуть заговорить о том, что лежало у нее на сердце. Его необычная кротость придала ей храбрости, и она вдруг выпалила, не переводя дыхания:

— Джемс! А может быть... для того, чтобы хозяйство было в порядке... может быть, мы напишем Мэри, чтобы она вернулась домой?

Он отпрянул от постели. Этого он не выдержал. Напускное

спокойствие слетело с него, и, теряя власть над собой, он заорал:

— Нет, никогда этого не будет! Тебе сказано, чтобы ты не смела даже имени ее упоминать. Она вернется сюда только в том случае, если приползет на коленях. Мне просить ее вернуться! Никогда! Я этого не сделаю, хотя бы ты лежала на смертном одре!

Последние слова прозвучали в комнате, как трубный глас. В глазах мамы медленно просыпался страх.

— Как хочешь, Джемс, — сказала она, дрожа. — Но прошу тебя, не говори больше этого страшного слова. Я еще не хочу умирать. Я поправлюсь. Я скоро встану.

Ее оптимизм раздражал Броуди. Он не понимал, что тут сказывалась вкоренившаяся за полжизни привычка всегда в его присутствии носить маску веселой бодрости. Не понимал он и того, что желание выздороветь вызывалось настоятельной необходимостью выполнять те бесчисленные жизненные задачи, которые не давали ей покоя.

— Доктор не нашел ничего особенного, — продолжала она. — Только простое воспаление. Когда оно пройдет, ко мне, я уверена, очень скоро вернутся силы. Это лежание в кровати мне совсем не по душе — у меня столько дел, о которых надо подумать!.. (Ее беспокоил вопрос об уплате долга.) Так, разные пустяки, но о них, кроме меня, некому позаботиться, — добавила она поспешно, словно испугавшись, что муж прочтет ее мысли.

Броуди угрюмо смотрел на нее. Чем пренебрежительнее она отзывалась о своей болезни, тем больше крепло в нем убеждение, что она не перенесет ее. Чем больше она говорила о будущем, тем более ничтожной казалась она ему. Будет ли она так же жалка перед лицом смерти, как была жалка в жизни? Он тщетно придумывал какой-нибудь ответ. Но что он мог сказать обреченной и не подозревающей об этом женщине?

Выражение его лица начинало смущать миссис Броуди. Сначала она с благодарностью предположила, что его мирный тон означает кроткую снисходительность по случаю ее болезни, нечто вроде того чувства, которое побуждало ее ходить по дому на цыпочках в тех редких случаях, когда он заболел и она ухаживала за ним. Но ее поразило что-то странное в его взгляде, и она вдруг спросила:

— Доктор не говорил тебе ничего насчет меня, Джемс? Не сказал чего-нибудь такого, что он скрыл от меня, а? Он долго пробыл внизу.

Броуди тупо смотрел на нее. Казалось, мозг его издалека, медленно, рассеянно воспринимает ее вопрос и не может найти надлежащего ответа.

— Скажи мне правду, Джемс! — воскликнула она уже с испугом. — Я хочу знать правду. Говори же!

И выражение ее лица, и тон вмиг изменились: бодрое спокойствие уступило место волнению и тревоге.

Броуди пришел сюда, не приняв определенного решения, как держать себя с ней. У него не хватило ни сострадания, ни такта, а в эту минуту — и находчивости, чтобы солгать. Он был пойман врасплох, как зазевавшийся зверь в ловушку, он в замешательстве стоял перед этим хрупким, уже отмеченным смертью существом. И вдруг вспылil.

— Наплевать мне на то, что он говорит! — сказал он грубо, неожиданно для себя самого. — Такой субъект способен объявить тебя умирающей, когда у тебя заболит зуб. Ни черта он не понимает! Я же тебе сказал, что позову к тебе Лори.

Эти сердитые, необдуманные слова как громом поразили миссис Броуди. Она тотчас поняла, поняла с жуткой уверенностью, что болезнь ее смертельна. Она задрожала, и глаза ее затянулись мутной пленкой страха, как бы предвестником последней тусклой плевы смерти.

— Значит, он сказал, что я умру? — спросила она дрожащим голосом.

Броуди посмотрел на нее, взбешенный положением, в которое попал. И разразился сердитыми словами:

— Перестанешь ты наконец говорить об этом олухе или нет? Слушая тебя, можно подумать, что он — сам Всевышний. Если он не может тебя вылечить, так в Ливенфорде найдутся другие врачи! К чему поднимать из-за этого столько шума?

— Понимаю... Теперь понимаю, — прошептала она. — Больше не буду поднимать из-за этого шум и надоедать тебе.

Лежа неподвижно в постели, она смотрела не на мужа, а как бы сквозь него. Ее взор, казалось, проникал за тесные пределы этой комнатки и со страхом устремлялся в то неведомое, что ждало ее. После долгого молчания она сказала словно про себя:

— Для тебя это будет небольшая потеря, Джемс. Я уже слишком стара и изношена для тебя. — Потом тихо прошептала: — Но Мэт... О Мэт, сыночек мой, как мне оставить тебя?

Тихо повернулась она лицом к стене, чтобы предаться одной ей ведомым мыслям, забыв о муже, стоявшем у постели за ее спиной. С минуту он смотрел хмуро и растерянно на неподвижную фигуру, потом, не сказав ни слова, тяжело ступая, вышел из комнаты.

XII

Сквозь прозрачную завесу последних капель проходящего ливня вдруг брызнуло яркое августовское солнце и облило Хай-стрит туманным сиянием, а свежий ветер, согнавший с дороги солнца пушистые, похожие на вату облака, теперь медленно уносил дождь дальше в блеске золотого тумана.

— Слепой дождик! Слепой дождик! — нараспев кричала группа мальчишек, мчавшихся по подсыхающей улице к реке купаться.

— Гляди, — закричал один из них другому, — радуга! — И указал вверх, на чудесную арку, которая, подобно тонкой, увитой лентами ручке дамской корзинки, сверкая, изогнулась над всей улицей. Люди останавливались, чтобы полюбоваться ею. Взгляды отрывались от темной и грязной земли и поднимались к небу, все качали головой, весело смеялись, вскрикивали от восторга, перекликались через улицу:

— Как красиво!

— Смотрите, какие краски!

— Да, перещеголяла даже вывеску старого Каупера, честное слово!

Всех веселило неожиданное очаровательное зрелище, поднимало души над обыденностью их существования, и, когда люди снова опускали глаза к земле, образ этой сияющей арки оставался у них в памяти, воодушевляя для трудов предстоящего дня.

Из трактира «Герб Уинтонов» в это царство солнечного света вышел Джемс Броуди. Он не видел радуги и шел вперед с суровым видом, надвинув на лоб шляпу, опустив голову, глубоко засунув руки в карманы, ни на кого не глядя и ни с кем не здороваясь, хотя десятки глаз провожали его. Шагая тяжело, как жеребец, он шел и чувствовал, что «они», эти вечно подсматривающие за ним людишки, следят за ним и сейчас. Вот уже много недель ему казалось, что он и его доживавшая последние дни лавка были предметом странного, неестественного внимания всего города, что обыватели — и те, кого он знал, и те, кого он никогда раньше не встречал, — нарочно проходили мимо лавки, чтобы с откровенным любопытством заглянуть внутрь. Из темноватой глубины лавки эти праздные, нескромные взгляды казались ему полными насмешки. Он кричал в душе: «Пусть смотрят, хитрые свиньи! Пусть пялят глаза, пока им не надоест. Я их потешу!» Теперь, идя по улице, он спрашивал себя с горечью, догадываются ли они, что сегодня он празднует последний день

своей торговли. Знают ли они, что он только что с жестоким юмором усердно пил за упокой своей лавки? Он угрюмо усмехался при мысли, что сегодня он уже больше не продавец шляп, что скоро он выйдет из своей конторы в последний раз и навеки захлопнет за собой дверь.

На противоположном тротуаре Пакстон шепнул соседу:

— Смотрите скорее! Вот Броуди! — И оба впились глазами в могучую фигуру, двигавшуюся по другой стороне улицы.

— Знаете, мне его как-то жалко, — продолжал Пакстон. — Разорение ему не к лицу!

— Это верно, — согласился его собеседник, — такой человек, как он, нелегко его перенесет.

— Несмотря на всю его смелость и силу, он кажется таким растерянным и беспомощным, — рассуждал Пакстон. — Для него это ужасный удар. Заметили, как он сгорбился, как будто под тяжелой ношей?

Сосед покачал головой:

— А мне его не жалко. Он сам давно подготовил свое несчастье. Чего я не выношу в этом человеке, так это его дьявольской, угрюмой гордости, которая растет и растет, несмотря ни на что. Она у него вроде болезни. И гордость-то глупая, бессмысленная. Если бы он мог посмотреть на себя со стороны, он стал бы поскромнее.

Пакстон как-то странно взглянул на соседа.

— Я бы на вашем месте не стал говорить о нем такие вещи, — заметил он медленно. — Даже и шепотом говорить так о Джемсе Броуди рискованно, особенно сейчас. Если бы он вас услышал, он разорвал бы вас на части.

— Он нас не слышит, — возразил тот с легким беспокойством. Потом прибавил: — Видно, он опять выпил. Есть люди, которых несчастье может образумить, ну а с ним выходит наоборот.

Они снова обернулись и посмотрели на медленно удалявшегося Броуди. Помолчав, Пакстон сказал:

— Не слыхали, как здоровье его жены?

— Нет! Насколько я знаю, ее ни одна душа не видела с тех самых пор, как она слегла. Дамы из церковного совета отнесли ей немного варенья и еще кое-что, но Броуди встретил их у ворот и просто-напросто выгнал. Да еще мало того — выбросил у них на глазах все те вкусные вещи, что они принесли ей!

— Что вы говорите?! Не дай бог с ним связаться! — воскликнул Пакстон. Потом спросил после некоторого молчания: — А что, Джон, у нее, кажется, рак?

— Да, так говорят люди.

— Какое страшное несчастье!

— Ба! — возразил другой, собираясь уходить. — Несчастье-то несчастье, но, по-моему, для бедной женщины ничуть не лучше быть душой и телом связанной с таким человеком, как Джемс Броуди!

Броуди между тем успел прийти в лавку, и шаги его будили гулкое эхо в почти пустом помещении, где оставалась уже только десятая доля товара, так как остальной поступил в распоряжение Сопера. Мальчишка, представлявший собой в лавке величину весьма малозаметную, теперь исчез окончательно, и Броуди был один в этом опустевшем, унылом, разоренном месте, где паук ткал тонкую паутину вокруг оставшихся еще на полках картонок, как бы отмечая черту отлива, до которой снизилась торговля в лавке. Стоя здесь, среди заброшенности и пустоты, Броуди бессознательно населял ее образами прошлого, тех дней могущества, когда он важно расхаживал по лавке, не замечая скромных покупателей и как равный встречая и приветствуя людей видных и знатных. Не верилось, что они теперь уже только призраки, вызванные силой его воображения, что он больше никогда не будет смеяться, и шутить, и беседовать с ними в этой лавке, где прошло двадцать лет его жизни. Лавка та же, и он тот же, а вот эти живые люди покинули его, оставив лишь печальные и незначительные воспоминания. Те несколько старых его покупателей — главным образом окрестная знать, — которые еще оставались ему верны, только затягивали неизбежный крах, и теперь, когда все было кончено, Броуди испытывал бурный прилив гнева и горя. Наморщив низкий лоб, он безуспешно пытался понять, как все случилось, разобраться, почему произошла эта странная, невероятная перемена. И как это вышло, что он допустил ее? Невольный судорожный вздох поднял его могучую грудь, но тут же он, как будто негодуя на свою слабость, раздвинул губы так, что обнажились бледные десны, и медленно направился к себе в контору. На письменном столе не было ни писем, ни газеты, всегда ожидавших здесь прежде его пренебрежительного внимания. Только пыль лежала повсюду густым слоем. Броуди стоял посреди этой запущенной комнаты, как человек, который боролся за безнадежное дело и наконец прекратил борьбу. К его печали примешивался легкий оттенок облегчения, потому что он сознавал, что худшее уже позади и кончилась мучительная неизвестность неравной борьбы.

Деньги, которые он получил, заложив дом, были все уже истрачены, хотя он экономил каждый грош, его средства окончательно истощились. Но он утешался тем, что честно выполнил все свои обязательства. Он не

должен никому ни единого пенни, и если и разорен, то, во всяком случае, еще не настолько пал, чтобы искать постыдного спасения в банкротстве.

Не обращая внимания на грязь, он сел в кресло и вряд ли заметил поднявшуюся при этом тучу пыли, не заметил и того, что она осела на его одежде, — настолько он теперь перестал заботиться о своей внешности и костюме.

Он был небрит, и на фоне темной щетины, покрывавшей его лицо, дико сверкали белки глаз. Ногти были обломаны и обкусаны до мяса, башмаки нечищены, галстук, в котором уже не было неизменной булавки, полуразвязан, как будто Броуди рванул его в минуту, когда ему не хватало воздуха. Одежда напялена небрежно. Он одевался теперь утром наспех, кое-как, думая только о том, как бы поскорее уйти из дома, где раздавались внезапные и тревожные крики боли, где царили смятение и беспорядок, где пахло лекарствами и стояла повсюду немытая посуда, где его мучило от скверно приготовленной и неряшливо поданной еды, где раздражал его плаксивый слюнтяй-сын и нерасторопная старуха-мать.

Сидя в конторе, он вдруг полез во внутренний карман и вытащил оттуда плоскую темную бутылку, потом, все так же рассеянно, глядя не на бутылку, а в пространство перед собой, вонзил крепкие зубы в пробку и вытащил ее, сделав быстрое движение шеей. Громкий звук выскочившей пробки разорвал тишину. Припав к горлышку выпяченными в трубочку губами, Броуди постепенно поднимал локоть и пил долгими, булькающими глотками, потом, шумно втянув в себя полуоткрытым ртом воздух, поставил бутылку на стол перед собой и устремил на нее неподвижный взгляд. Эту бутылку наполнила для него Нэнси! Глаза его засветились, как будто в бутылке он увидел отражение ее лица. Славная девчонка эта Нэнси — она для него утешение в горе, она разгоняет уныние. Несмотря на все несчастья, он не бросал ее. Он решил сохранить ее, что бы с ним ни случилось. Он пытался проникнуть мыслью в будущее, наметить какой-нибудь план, решить, что ему делать. Но не мог. Как только он хотел сосредоточить на чем-нибудь мысли, они разбегались, переходили на самые отдаленные и неожиданные предметы. Обрывки воспоминаний молодости проходили перед ним: смех мальчика, который был товарищем его детских игр, залитая солнцем горячая стена, в трещинах которой он вместе с другими мальчиками искал шмелей, дымок над стволом ружья, из которого он в первый раз убил кролика. Ему слышался свист косы, воркованье лесных голубей, смех старухи в деревне, напоминающий звуки волынки.

Он потрянул головой, отгоняя видения прошлого. Снова хлебнул из бутылки, подумав о том, какое громадное облегчение приносит ему виски.

Уныние его несколько рассеялось, губа презрительно вздернулась, и «они» — незримые критики, враги, постоянно присутствовавшие в его мыслях, — еще более, чем всегда, казались жалкими и достойными презрения. Потом вдруг его осенила новая, блестящая идея, и, когда он внимательно обдумал ее, у него вырвался короткий язвительный смех. Именно теперь, когда глаза всего города обращены на него и, подло подсматривая за ним, видят все его неудачи, когда все ждут, что он окончательно падет духом из-за своего разорения, он им покажет, как Джемс Броуди встречает удары судьбы. Он так обставит свой уход, угостит их на прощание таким зрелищем, что все шпионы заморгают глазами.

Он выпил остатки виски, довольный, что наконец-то придумал нечто, способное его расшевелить, счастливый, что мучительные и бесплодные размышления сменяются какими-то определенными действиями, как бы безрассудны они ни были.

Он встал так порывисто, что опрокинул стул, прошел в лавку и, окинув враждебным взглядом последние картонки, еще громоздившиеся на полках за прилавком, подошел к ним и начал быстро выбрасывать их содержимое на пол. Он с какой-то жадной стремительностью швырял наземь шляпы и шапки всевозможных фасонов. Не считая нужным осторожно открывать коробки, он хватал их, рвал, как папиросную бумагу, в дикой ярости дергал и мял их, как будто расправляясь с трупами врагов. Размашистыми, быстрыми движениями он бросал куда попало остатки изодранных в клочки коробок, так что они засорили всю лавку и лежали у его ног, как снег. Опустошив таким грубым способом все коробки, он взял в охапку кучу шапок с пола и, смяв их в своих широких объятиях, торжественно направился к двери на улицу. Его охватила дикая экзальтация. Раз шляпы лежат у него без пользы, он их раздаст всем даром, досадит таким образом своим соседям-конкурентам, лишит их покупателей, и его благородная щедрость будет последней памятью о нем на этой улице.

— Эй! — гаркнул он. — Кому нужна шапка?

Виски разрушило все внутренние преграды, всякое сдерживающее начало, и в этой шальной выходке он видел лишь нечто красивое и величественное.

— Такой случай бывает раз в жизни! — выкрикивал он. — Идите сюда, добрые люди, и глядите, что я дарю вам!

Было около полудня — час, когда на улицах царил наибольшее оживление. Тотчас же Броуди выжидательно обступила толпа уличных мальчишек, а за этим кольцом начало собираться все больше и больше прохожих, безмолвных, недоверчивых, подталкивавших друг друга и

обменивавшихся многозначительными взглядами.

— Шляпы сегодня дешевы! — кричал Броуди во всю силу своих легких. — Дешевле, чем в этом музее восковых фигур рядом, — выкрикивал он с жуткой шутливостью, рассчитывая, что его услышат в лавке Манджо. — Отдаю их даром! Нужны они вам или нет — я заставлю вас взять их!

И он принялся бросать шляпы зрителям.

Итак, он говорил правду, это было бесплатно, и люди с безмолвным изумлением принимали дары, которых они не желали и которые, может быть, им вовсе не пригодятся. А Броуди наслаждался своей властью и, впиваясь взглядом в зрителей, заставлял их опускать глаза. Примитивная, глубоко скрытая потребность его натуры наконец была удовлетворена. Он был в своей стихии — центром толпы, ловившей каждое его слово, каждый жест, смотревшей на него во все глаза и, как ему казалось, с восхищением. Что-то пугающее, дикое было в его эксцентричной выходке, и никто не решался засмеяться. Толпа глядела на него в робком молчании, готовая отпрянуть, если он вдруг бросится на нее, как берсеркер.^[11] Все стояли, словно зачарованные овцы перед громадным волком.

Но скоро простая раздача шляп надоела Броуди, жаждавшему развернуться во всю ширь. Он начал кидать шляпы самым дальним из зрителей через головы остальных. Потом стал швырять их изо всей силы в тех, кто обступил его кольцом, вдруг сразу воспылав ненавистью ко всем этим бесцветным физиономиям. Эти люди уже казались ему врагами, и чем больше он их презирал, тем беспощаднее метал в них шляпы, охваченный бурным желанием причинить боль и разогнать всех.

— Нате! — вопил он. — Берите все! Я больше ими не торгую. Не нужны мне больше проклятые шляпы, хотя они и лучше, и дешевле, чем в магазине рядом. Лучше и дешевле! — твердил он все снова и снова. — Если они вам раньше были не нужны, так вы у меня их возьмете сейчас!

Толпа отступала перед силой и меткостью этого обстрела. Люди расходились, заслоняясь, с недовольными лицами. Шляпы Броуди летели им вслед.

— Прекратить, говорите вы? — кричал он насмешливо. — Будь я проклят, если я это сделаю. Разве вам не нужны шляпы, что вы удираете? Вы упустите случай, который бывает раз в жизни!

Он упивался вызванным им смятением, и, когда толпа разбежалась, он схватил за поля твердый котелок и метнул его вниз с холма, где котелок, подхваченный ветром, весело запрыгал, как мяч по площадке, и в конце концов подкатился под ноги какому-то прохожему, шедшему в дальнем

конце улицы.

— Вот так удар! — крикнул Броуди, хохоча, с шумной хвастливостью. — А вот и еще один! И третий! — И новый залп засвистел в воздухе вслед за первым. Шляпы всех видов бешено прыгали, кружились, плясали, разлетались, катились друг за дружкой вниз по улице. Казалось, сильным ураганом их сорвало с головы у множества людей сразу. Такого поразительного зрелища в Ливенфорде никто никогда еще не видал.

Но в конце концов запас Броуди истощился, и, держа последний метательный снаряд в своей огромной лапище, он медлил, выбирая, в кого бы им запустить, дорожа этим последним снарядом — твердой, как дерево, соломенной шляпой, которая ввиду ее формы и твердости заслуживала, по его мнению, соответствующей мишени. Вдруг он уголком глаза заметил бледное, испуганное лицо Перри, его бывшего приказчика, выглядывавшего из дверей соседней лавки. «А, он здесь, — подумал Броуди, — здесь эта крыса, которая, спасая свою шкуру, убежала с тонущего корабля. Почтенный директор паноптикума Манджо!» И своеобразный снаряд, вертясь в воздухе, как метательный диск, молнией полетел прямо в лицо Перри. Твердый и острый край ударил его по рту и сломал зуб. Увидев, как потекла кровь и как перепуганный насмерть Перри отскочил внутрь магазина, Броуди издал торжествующий рев.

— Вот теперь ты будешь красив, как подобает заведующему музеем восковых фигур, дрянцо ты этакое! Получай то, что тебе давно уже причитается!

Он восторженно потряс руками в воздухе, довольный таким, по его мнению, достойным завершением своего замечательного выступления, и, возбужденно усмехаясь, ушел обратно в лавку. Но когда он увидел пустые полки и остатки разодранных коробок на полу, улыбка застыла у него на губах неподвижной гримасой. Не давая себе времени подумать, он прошел по мусору в контору за лавкой и все с той же дикой потребностью разрушения вытащил все ящики письменного стола, разбил о стену пустую бутылку из-под виски, одним могучим усилием опрокинул тяжелый стол. Потом, с хмурым задором любуясь картиной разрушения, снял с крюка у окна ключ, взял свою палку и с высоко поднятой головой, снова пройдя через лавку, вышел на улицу и запер за собой дверь. Это последнее движение вдруг вызвало в его душе такое ощущение чего-то окончательно непоправимого, что ключ, который он держал в руке, показался ему совершенно ненужным, лишним. Вынув его из замка, он бессмысленно посмотрел на него, держа его на раскрытой ладони, потом вдруг отступил на шаг, швырнул его высоко за крышу здания и напряженно прислушался,

пока до него не донесся слабый всплеск — ключ упал в реку за домом. «Пусть попадают в лавку как хотят, — подумал он злобно. — Я с ней, во всяком случае, покончил».

Идя домой, он все еще не был в состоянии (или не хотел) ни о чем думать. Он не имел ни малейшего представления, что делать дальше. У него был хороший каменный дом, но дом был заложен, и по закладной нужно было платить большие проценты. Нужно было содержать дряхлую старуху-мать, больную жену и бездельника-сына, дать образование маленькой дочери, а между тем он не был способен выполнить все это — у него была только физическая сила, достаточная, чтобы вырвать с корнем средней величины дерево. Он, собственно, не отдавал себе во всем этом ясного отчета, но теперь, когда прошло бесшабашное настроение, он смутно ощущал неопределенность своего положения, и на душе у него было тяжело. Больше всего угнетало его отсутствие денег, и, когда он подошел к своему дому и увидел стоявший у ворот знакомый высокий кабриолет, запряженный гнедым мерином, лицо его омрачилось.

— К черту! — пробурчал он. — Опять приехал? Он думает, что я могу теперь оплатить тот громадный счет, который он мне предъявит?

Экипаж доктора Лори у его дома вызвал в нем жальщее воспоминание о его безденежье, и, рассчитывая избежать тягостной встречи и войти в дом незамеченным, он был сильно раздосадован, когда на пороге столкнулся с Лори.

— Заехал взглянуть на вашу добрую жену, мистер Броуди, — сказал доктор с притворной сердечностью. Это был осанистый господин с напыщенными манерами, с одутловатым лицом, маленьким красным ртом и словно срезанным подбородком, несоответственно украшенным внушительной седой бородой. — Хотел немного ее ободрить, знаете ли. Мы должны делать все, что в наших силах.

Броуди молча посмотрел на доктора, и его мрачный взгляд говорил яснее слов: «Как же, много ты ей помог, пустомеля этакий!»

— К сожалению, я не нашел большой перемены к лучшему, — продолжал Лори поспешно, становясь красноречивее под недружелюбным взглядом Броуди. — Да, улучшения почти не заметно. Боюсь, что кончается последняя глава, мистер Броуди! — Такова была его излюбленная банальная фраза, которой он обычно намекал на близость смерти. И, сказав ее, доктор глубокомысленно покачал головой, вздохнул и с выражением меланхолической покорности судьбе погладил бороду.

Претенциозная напыщенность этого самовлюбленного глупца была противна Броуди, и хотя он и не жалел, что назло Ренвику пригласил Лори

лечить миссис Броуди, но его ничуть не обманывали мнимое простодушие доктора и усиленные выражения сочувствия.

— Я это давно уже от вас слышу, — проворчал он. — Вечно вы со своей последней главой! Мне кажется, вы меньше, чем кто-либо, знаете, что будет. Мне все это начинает надоедать.

— Я понимаю, понимаю, мистер Броуди! — сказал Лори, успокоительно помахивая рукой. — Ваше настроение весьма естественно, вполне естественно! Никто не может предсказать точно, когда произойдет печальное событие. Это в большой мере зависит от реакции крови, то есть от поведения кровяных шариков. В них вся суть. Они иногда оказываются более стойкими, чем мы полагаем. Да! Иногда они проявляют просто поразительную активность! — И, довольный, что выказал таким образом свою ученость, он погладил бороду и с важностью посмотрел на Броуди.

— К черту все ваши шарики! — отрезал презрительно Броуди. — Вы ей помогли не больше, чем моя нога.

— Полноте, полноте, мистер Броуди, — сказал Лори не то примирительным, не то укоризненным тоном. — Будьте же рассудительны. Я езжу к ней ежедневно и делаю все, что могу.

— Сделайте больше: прикончите ее и развяжитесь со всем этим делом, — отозвался с горечью Броуди и, круто отвернувшись, вошел в дом, оставив на месте испуганного Лори с широко открытыми глазами, с округлившимся от негодования маленьким ртом.

В доме Броуди почувствовал новый прилив раздражения, когда убедился, что обед еще не готов. Не считаясь с тем, что сегодня пришел раньше обычного, он накинулся с бранью на мать, согнутая фигура которой мелькала на кухне среди беспорядочно нагроможденной посуды, горшков, картофельной шелухи и помоев.

— Я уже стара становлюсь для этой суеты, Джемс, — прошамкала она в ответ. — Я уже не такая проворная, как бывало. И потом, меня задержал доктор.

— Так шевелись живее, старая, — прикрикнул он. — Я есть хочу!

Он был не в состоянии оставаться здесь, среди такого хаоса, и по внезапной прихоти дурного настроения решил, чтобы убить время до обеда, сходить наверх к жене — к доброй жене, как ее называл Лори, — и сообщить ей великую новость насчет лавки.

— Надо же ей когда-нибудь узнать, — пробормотал он про себя. — И чем скорее, тем лучше. Такие новости не терпят отлагательства.

В последнее время он избегал комнаты больной, и так как жена уже два дня не видела его, то он не сомневался, что его неожиданный визит

будет ей тем более приятен.

— Ну-с, — начал он мягко, входя в спальню, — ты, я вижу, все еще здесь! Я встретил по дороге доктора, и он мне прочел целую лекцию насчет твоих кровавых шариков, — оказывается, они необыкновенно стойки.

Миссис Броуди при входе мужа не сделала ни малейшего движения, и только блеск глаз показывал, что она жива. За шесть месяцев, что прошли с того дня, как она окончательно слегла, она страшно изменилась. Кто не наблюдал, как она таяла постепенно, изо дня в день, тот не узнал бы ее сейчас, хотя она и раньше имела болезненный вид. Ее тело под простыней напоминало скелет с нелепо торчавшими костями бедер. Одна только дряблая кожа покрывала длинные, тонкие кости рук и ног, а туго обтягивавшая скулы кожа походила на сухой пергамент, на котором темнели впадины глаз, нос и рот. Губы у нее были белые, пересохшие, потрескавшиеся, на них, как чешуйки, висели темные клочки сухой кожи, и над впалыми щеками каким-то неестественным бугром выдавались вперед лобные кости, обрамляя это жуткое лицо. По подушке разметались пряди седых волос, тусклых, безжизненных, как и лицо. Слабость ее так бросалась в глаза, что казалось — она даже дышит с неимоверным усилием, и эта слабость мешала ей ответить на замечания мужа; она только посмотрела на него с выражением, которого он не мог разгадать. Похоже, он уже ничем не может уязвить ее.

— Ты не нуждаешься ли в чем? — продолжал он тихим голосом и с напускной заботливостью. — Есть ли у тебя все, что нужно для этих твоих кровавых шариков? Лекарств, я вижу, у тебя, во всяком случае, достаточно, богатый выбор. Одна, две, три, четыре, — считал он. — Четыре бутылки, и все разные! Видно, и тут имеет значение разнообразие. Милая моя, если ты будешь пить их в таком количестве, так придется опять делать заем у твоих достойных приятелей в Глазго, чтобы уплатить за все это.

Где-то в глубине глаз, которые одни только жили на этом изможденном лице, снова открылась давняя рана и зажглась тоскливая мольба. Пять месяцев тому назад она, доведенная до отчаяния, вынуждена была сознаться мужу в том, что задолжала ростовщику, и, уплатив ее долг полностью, Броуди с тех пор ни на минуту не давал ей забыть эту несчастную историю и сотней различных нелепейших способов, пользуясь всяким удобным и неудобным случаем, напоминал ей об этом.

Даже ее взгляд не тронул его, потому что он сейчас не чувствовал к ней никакого сострадания, ему казалось, что она вечно будет медленно умирать, будет бесполезным бременем в его жизни.

— Да, да, — продолжал он благодушно, — ты, оказывается, большая

мастерица истреблять лекарства, такая же мастерица, как растрачивать чужие деньги.

Он вдруг резко переменял тему и серьезно осведомился:

— Видела ты сегодня своего примерного сына? Ну конечно, видела, — продолжал он, прочитав в ее глазах безмолвный ответ. — Очень рад, очень рад. Я думал, что он еще не встал, но вижу теперь, что ошибся. Впрочем, внизу он не появлялся. За последнее время я ни разу не удостоился счастья его увидеть.

Тут она наконец заговорила, с трудом шевеля онемевшими губами, чтобы произнести слабым шепотом:

— Мэт все это время был мне добрым сыном.

— Что же, долг платежом красен, — иронически возразил Броуди. — Ты была ему такой доброй матерью! Результат твоего воспитания делает честь вам обоим!

Он остановился, видя, как она слаба, и вряд ли сам понимая, почему говорит с нею таким образом. Но брала верх укоренившаяся годами привычка. К тому же он был озлоблен своими невзгодами. И он продолжал все так же тихо:

— Да, нечего сказать, славно ты воспитала своих детей! Взять хотя бы Мэри — чего еще можно пожелать? Не знаю точно, где она сейчас, но уверен, что она делает тебе честь своим поведением.

Он заметил, что жена пытается что-то сказать, и выжидательно замолчал.

— Я знаю, где она, — прошептала она медленно.

— Ну да, — отвечал он, глядя на нее, — ты знаешь, что она в Лондоне, но это всем известно, а больше ты ничего не узнаешь никогда.

Тут произошло нечто почти невероятное: больная зашевелила иссохшей рукой, которая казалась окончательно неспособной двигаться, и, подняв ее с одеяла, жестом остановила Броуди. Затем, когда эта рука упала опять, она сказала слабым, часто прерывающимся голосом:

— Ты не сердись на меня... пожалуйста, не сердись, Джемс... Я получила письмо от Мэри. Она хорошая девушка... такая же, как была. Я теперь лучше, чем тогда, понимаю, что я виновата перед ней... Она хочет меня повидать, Джемс, и я... мне надо увидеть ее поскорее, раньше, чем я умру.

При последних словах она попыталась улыбнуться мужу молящей улыбкой, но лицо ее оставалось таким же застывшим и неподвижным, только губы слегка раздвинулись в жалкой, вымученной гримасе.

Краска медленно заливала лоб Броуди.

— Она осмелилась писать тебе! — проворчал он. — И ты посмела прочесть письмо!

— Это доктор Ренвик, когда ты запретил ему приходить сюда, написал ей в Лондон, что я... что я, должно быть, недолго протяну. Он принимает в Мэри большое участие. Он мне сказал тогда утром, что Мэри... что моя дочка Мэри вела себя мужественно и что она ни в чем не виновата.

— С его стороны тоже было большим мужеством произнести это имя у меня в доме! — ответил Броуди тихо, но с силой. Он не решался кричать и бесноваться, видя жену в таком состоянии, и только слабая нить сострадания удерживала его от того, чтобы обрушиться на нее с бранью. Но он прибавил злобно: — Знай я, что он и тут вмешался, я бы ему голову проломил раньше, чем он вышел из этого дома.

— Не говори таких вещей, Джемс, — пробормотала миссис Броуди. — Не могу я теперь переносить, когда люди злятся... Я прожила бесполезную жизнь... И оставляю несделанным многое такое, что нужно было сделать. Но я должна... ох, *должна* видеть Мэри, чтобы с нею помириться.

Он стиснул зубы так, что мускулы небритых щек выпятились твердыми узлами.

— Ты должна ее видеть, вот как! Это очень, оч-чень трогательно! Всем нам следует пасть ниц и со слезами благодарить Бога за такое чудесное примирение! — Он медленно помотал головой из стороны в сторону. — Нет, нет, моя милая, ты ее не увидишь на этом свете, и я сильно сомневаюсь, чтобы вы свиделись на том. Никогда ты ее не увидишь, никогда!

Она не отвечала и, уйдя в себя, как-то отдалилась от него, казалась безучастной. Глаза ее долго не отрывались от потолка. В комнате наступила тишина, только сонно жужжало какое-то насекомое, кружась над ветками сладко пахнущей жимолости, которые Несси нарвала и поставила в вазу около кровати. Наконец легкая дрожь пробежала по телу мамы.

— Хорошо, Джемс, — вздохнула она, — как ты сказал, так и будет, ведь так бывало всегда. Но мне хотелось... Ох, как хотелось увидеть Мэри! По временам, — продолжала она медленно, с большим трудом, — по временам моя болезнь похожа на беременность — такая же тяжесть больно давит внутри и тянет вниз, как ребенок, и тогда я думаю о ее мальчике, которого ей не пришлось увидеть живым. Если бы он остался жив, для меня было бы радостью качать ребенка Мэри на этих руках. — Она обратила безнадежный взгляд на свои исхудавшие руки, которые не могли и чашки поднести к губам. — Но видно, не судил Бог... что ж, так тому и быть.

— Что это еще за новую фантазию ты забрала себе в голову! — Броуди нахмурился. — Какой-то бред среди бела дня! Мало тебе было возни с собственными детьми, понадобилось еще вспоминать об этом... этом...

— Это только мечта, — прошептала она, — у меня их много было за те шесть долгих месяцев, что я лежу здесь... долго они тянулись... как годы.

Она утомленно закрыла глаза, забыв о присутствии мужа, потому что видения, о которых она говорила, снова обступили ее. Сладкий аромат жимолости уносил ее мысли в прошлое, она была уже не в душной, тесной комнате, а снова дома, на отцовской ферме. Она видела низенькие, выбеленные известкой домики, усадьбу, скотный двор и длинный, чистый хлев, с трех сторон примыкавший к чистому двору. Вот и отец пришел с охоты с зайцем и связкой фазанов в руке. Она гладила мертвых птиц, восхищалась их мягким, нарядным оперением.

— Они такие же жирненькие, как ты, — крикнул ей отец со своей широкой, ласковой улыбкой, — но далеко не такие красивые!

Тогда ее никто не называл неряхой, никто не насмехался над ее фигурой.

Вот она помогает матери сбивать масло, наблюдая, как густожелтая масса возникает в белом молоке, словно островок раннего первоцвета на покрытой снегом поляне.

— Не так быстро, Маргарет, дорогая, — ласково журила ее мать. — Этак и руку себе можно вывихнуть!

Да, тогда она не была лентяйкой, и никто не называл ее косолапой.

Счастливые мечты унесли ее в деревню, она снова отдыхала на душистом сене, слышала, как стучали копытами лошади в стойлах, прижималась щекой к гладкому боку своей любимой телки. Она даже имя телки вспомнила. Розабелла — так она сама окрестила ее. «Что это за имя для коровы? — стыдила ее Белла, служанка, ходившая за коровами. — Назвала бы ее уже лучше в честь меня — Беллой!»

Непреодолимая тоска по родной деревне охватила ее, когда она вспомнила длинные жаркие дни, вспомнила, как в такие дни лежала под кривой яблоней, прислонив голову к стволу и следя за ласточками, которые, как синие крылатые тени, носились вокруг карнизов белых, залитых солнцем строений. Когда недалеко от нее падало с дерева яблоко, она подбирала его и глубоко вонзала в него зубы. Она до сих пор помнила чудесный кисловатый вкус, освежавший язык. Потом она увидела себя под рябиной, которая росла над речкой: на ней было кисейное, в цветочках, платье, и она ждала юношу, чья суровая, хмурая сила так гармонировала с ее женственной кротостью.

Она медленно открыла глаза.

— Джемс, — прошептала она, и глаза ее искали его глаза с робкой и грустной настойчивостью. — Помнишь тот день у ручья, когда ты вплел мне в волосы красивые алые ягоды рябины? Помнишь, что ты сказал тогда?

Броуди посмотрел на нее широко открытыми глазами, изумленный этим неожиданным переходом, спрашивая себя, не бредит ли она. Он — на краю гибели, полного разорения, а она несет какую-то чепуху о рябине, которую он рвал для нее тридцать лет тому назад! Губы его судорожно покривились, и он сказал с расстановкой:

— Нет! Не помню. Но ты скажи! Напомни мне, что я говорил тогда.

Она закрыла глаза, как бы затем, чтобы не видеть ничего, кроме этого далекого прошлого, и медленно прошептала:

— Ты сказал, что гроздь рябины не так красивы, как мои кудри.

Он невольно взглянул на жидкие, свалявшиеся пряди, разбросанные на подушке вокруг ее лица, и вдруг его охватило ужасное волнение. Да, он помнил тот день! Он вспомнил и тишину маленькой горной долины, и журчанье ручья, и яркое солнце, и то, как со свистом взвилась вверх ветка, когда он отпустил ее, сорвав пучок ягод. Он снова увидел яркое золото кудрей Маргарет рядом с сочной алостью рябины. Он смутно пытался отогнать мысль, что это... это изможденное существо, лежавшее перед ним на постели, в тот день было в его объятиях и нежными, свежими губами отвечало ему на слова любви. Нет, не может быть!.. А между тем это так! Лицо его странно дергалось, рот кривился. Он боролся с нахлынувшим на него волнением, разбивавшимся об его сопротивление, как мощный поток разбивается о гранитную стену плотины. Какое-то настойчивое, властное побуждение толкало его сказать горячо, от души, так, как не говорил он уже двадцать лет: «Да, я хорошо помню тот день, Маргарет, и ты была хороша тогда, хороша, как цветок, и мила мне».

Но он не мог сказать этого. Его губы не могли произнести такие слова. Что это, разве он пришел сюда хныкать и лепетать глупые нежности? Нет, он пришел сказать ей, что они разорены, и скажет, скажет, несмотря на непонятную слабость, которой он поддался.

— Жена, — пробормотал он сквозь сжатые губы, — ты меня уморишь такими разговорами, честное слово! Когда будем с тобой в богадельне, тогда можешь развлекать меня такой болтовней.

Она сразу открыла глаза и посмотрела на него вопросительно, встревоженно, взглядом, который снова резанул его по сердцу. Но он заставил себя продолжать, кивнул ей со слабым подобием прежней, презрительной шутливости:

— Да, к этому идет дело. У меня не найдется больше пятидесяти фунтов, чтобы выбросить их ради тебя, как я уже раз сделал. Сегодня я окончательно закрыл свою лавку. Скоро мы очутимся в богадельне.

Произнеся последние слова, он увидел, что она переменилась в лице, но, толкаемый какой-то бессознательной злостью — его злила собственная слабость, а больше всего то, что в душе он не хотел говорить так, как он говорил, — он пригнулся к самому лицу жены и продолжал:

— Слышишь? Предприятие мое лопнуло. Я тебя предупреждал еще год тому назад, помнишь? Или у тебя голова занята только этой проклятой ерундой насчет рябины? Говорю тебе, мы — нищие. Вот до чего ты меня довела, а ведь небось считала себя верной моей помощницей! Мы погибли, погибли... погибли!

Действие его слов на больную было моментально и ужасно. Когда смысл их дошел до ее сознания, сильная судорога задержала желтое, морщинистое лицо, как будто это внезапное потрясение мучительно пыталось оживить умирающие ткани, как будто слезы безуспешно стремились брызнуть из высохших источников. Глаза ее вдруг раскрылись во всю ширь, напряженно-внимательные, пылающие, и, сделав огромное усилие, вся дрожа, она приподнялась и села в постели. Казалось, целый поток слов трепещет у нее на языке, но она не в силах выговорить их; холодные, едкие капельки пота росой покрыли ее лоб, она забормотала что-то несвязно, протянула вперед руку. Лицо ее посерело от напряжения, и наконец она заговорила.

— Мэт! — произнесла она громко, ясно. — Мэт! Иди сюда, ко мне! — Она протянула вперед уже обе дрожащие руки, как слепая, и взывала слабеющим, замирающим голосом: — Несси! Мэри! Где вы?

Броуди хотел подойти к ней, первым его движением было кинуться вперед, но он продолжал стоять как вкопанный. Только с губ его невольно сорвались слова, неожиданные, как цветущие побеги на сухом дереве:

— Маргарет, жена... Маргарет, не обращай внимания... Я и половины того не думал, что сказал.

Но она его не слышала и, едва дыша, прошептала:

— Что же медлит колесница твоя, Господи? Я готова идти к тебе.

И она тихо опустилась опять на подушки. Через мгновение последний, сильный, судорожный вздох потряс тонкое, увядшее тело, и оно осталось недвижимо. Вытянувшись на спине, раскинув руки, слегка согнув пальцы, лежала она, как распятая. Она была мертва.

XIII

Броуди оглядел все общество, неловко жавшееся по углам гостиной, пристальным, недобрым взглядом, который скользнул мимо Несси, Мэта и бабушки, сверкнул нетерпением, задержавшись на двоюродных брате и сестре его жены — Дженет и Вильяме Ламсден, — и с грозным выражением окончательно остановился на миссис Ламсден, жене Вильяма. Все они только что вернулись с кладбища, похоронив то, что оставалось от Маргарет Броуди, и родственники, несмотря на негостеприимность и кислую мину хозяина, свято соблюдая старый обычай, после похорон вернулись в дом, чтобы справить поминки.

— Ничего мы им не дадим! — сказал Броуди матери этим утром. Минутная запоздалая вспышка нежности к жене была уже забыта, и его страшно возмущало предстоящее вторжение в его дом родни Маргарет. — Не желаю я их пускать сюда... Пускай уезжают домой сразу после погребения.

Старуха и сама надеялась на чай с хорошей закуской, но после заявления сына умерила свои требования.

— Джемс, — взмолилась она, — надо же угостить их хоть глотком вина и кусочком пирога, чтобы поддержать честь нашего дома.

— Из нашей семьи никого уже не осталось в живых, — возразил он. — А до ее родни что мне за дело? Я жалею, что, когда они написали, я под каким-нибудь предлогом не отделался от их приезда.

— Их приедет, наверное, немного, ведь ехать далеко, — уговаривала его мать. — И нельзя отпустить людей, ничем не угостив. Это было бы неприлично.

— Ну хорошо, угости их, — сдался он и, когда вдруг у него мелькнула одна мысль, повторил: — Ладно, угощай. Корми свиней. Я пришлю тебе кое-кого на подмогу.

Этот разговор происходил утром до похорон. И теперь Броуди со злорадным удовольствием увидел в гостиной Нэнси, вошедшую с печеньем и вином и обносившую гостей. Он опять был самым собой и видел замечательно остроумный вызов в том, что ввел Нэнси в свой дом в тот самый час, когда оттуда выносили тело его жены. Две женщины — умершая и живая, — так сказать, разминулись в воротах.

Он переглянулся с Нэнси, и в глазах его блеснул огонек скрытой насмешки.

— Валяй смело, Мэт! — крикнул он, глумясь, сыну, когда Нэнси подносила тому вино, и нагло подмигнул ему. — Опрокинь стаканчик! Это тебе будет полезно после того, как ты столько плакал. Не бойся, я здесь и присмотрю за тем, чтобы вино не бросилось тебе в голову.

Он с омерзением наблюдал за трясущейся рукой Мэта. Мэт опять осрамил его: безобразно расплакался у могилы, хныкал, распускал нюни перед родственниками мамы и, истерически рыдая, упал на колени, когда первая лопата земли тяжело ударилась о гроб.

— Неудивительно, что он расстроен, — мягко сказала Дженет Ламсден. Это была толстая, добродушная женщина с пышной грудью, выступавшей над верхним краем неуклюжего корсета. Она обвела всех взглядом и добавила в виде утешения: — Но мне кажется, смерть была для нее милосердным избавлением. Я верю, что она счастлива там, где она теперь.

— Как обидно, что бедняжке не положили на гроб хотя бы один венок, — заметила миссис Ламсден, потрянув головой и громко засопев. Губы ее были поджаты под длинным, острым, как будто все разнюхивающим носом, углы рта опущены вниз. Беря угощение с подноса, она пристально посмотрела на Нэнси, затем отвела глаза и снова медленно потрянула головой. — Какие уж это похороны без цветов, — добавила она решительно.

— Да, цветы как будто немного утешают, — примирительно вставила Дженет Ламсден. — Особенно красивы большие лилии.

— Ни разу в жизни не бывала еще на похоронах без цветов, — продолжала едко миссис Ламсден. — На последних похоронах, на которые меня пригласили, не только гроб был покрыт цветами, но сзади еще ехала открытая карета, полная цветов.

Броуди пристально взглянул на нее.

— Что же, мэм, — заметил он вежливо, — желаю вам, чтобы у вас было вдоволь цветов, когда и вас будут провожать к месту последнего упокоения.

Миссис Ламсден посмотрела на него недоверчиво, исподлобья, не зная, считать ли это замечание любезностью или грубостью; так и не решив этого, она с повелительным видом повернулась к супругу, ища поддержки. Супруг, низенький, но крепкий мужчина, явно чувствовавший себя неловко в жесткой и лоснящейся черной паре, накрахмаленной манишке и тугом «готовом» галстуке, великолепный в этом наряде, но все же пахнувший конюшней, понял взгляд жены и тотчас с готовностью начал:

— Цветы приятно видеть на похоронах... Конечно, у каждого свое

мнение, но я бы сказал, что они утешение для покойника. А самое странное то, что они точно так же уместны на свадьбе. Это просто даже удивительно, что они одинаково подходят для таких разных церемоний! — Он прочистил горло и дружелюбно посмотрел на Броуди. — Мне, знаете ли, много раз приходилось бывать на похоронах, да и на свадьбах тоже. Раз я даже ездил за сорок миль, но, поверите ли, друг мой, — заключил он торжественно, — в течение тридцати двух лет я ни одной ночи не ночевал в чужом доме.

— Вот как? — отрывисто сказал Броуди. — Ну да, впрочем, меня это мало интересует.

После такой грубости наступило неловкое молчание, прерываемое лишь время от времени последними слабыми всхлипываниями Несси, у которой от слез распухли и покраснели веки. Обе партии недоверчиво поглядывали друг на друга, как поглядывают незнакомые пассажиры, сидя в одном купе.

— Погода сегодня самая подходящая для похорон, — сказал наконец, чтобы нарушить молчание, Ламсен, глядя в окно на моросивший дождь. За этим замечанием последовал тихий разговор между тремя гостями, разговор, в котором никто, кроме них, участия не принимал и который постепенно становился все оживленнее.

— Да! Ужасный день.

— А вы заметили, какой начался ливень как раз тогда, когда гроб опускали в могилу?

— Странно, что священник не пришел сюда с нами, чтобы сказать хотя бы несколько слов.

— Наверное, у него на то есть причины!

— А хорошо он говорил у могилы! Как жаль, что бедняжка Маргарет не могла его слышать!

— Как это он сказал: «Верная жена и преданная мать» — да?

Они исподтишка поглядывали на Броуди, словно ожидая, что он со своей стороны, как подобает, подтвердит этот отзыв, отдаст последнюю дань покойной жене. Но он как будто не слышал и хмуро смотрел в окно. Видя такое явное невнимание, гости стали смелее.

— А я ведь как раз собиралась навестить бедняжку, и вдруг такая неожиданность! Скрутило ее раньше, чем мы успели приехать!

— Она так сильно изменилась... должно быть, от этой болезни и от всех забот и волнений, которые она пережила.

— А в молодые годы она была веселая, живая. Помню, смех у нее был совсем как пение дрозда.

— Да, хорошая была девушка, — заключила Дженет, бросая

укоризненный взгляд на молчаливую фигуру у окна, точно желая сказать: «Слишком хорошая для тебя».

Снова помолчали, затем миссис Ламсден покосилась на синее шерстяное платье Несси и пробормотала:

— Возмутительно, что бедный ребенок даже не имеет приличного траурного платья. Это просто срам!

— А меня поразило, что похороны такие скромные, — подхватила Дженет. — Только две кареты и ни одного человека из города!

Броуди слушал — он не пропустил ни единого слова из их разговора — и с горьким равнодушием не мешал им говорить. Но тут он вдруг грубо обратился к ним:

— Таково было мое желание, чтобы похороны прошли как можно тише и чтобы не было посторонних. А вам бы хотелось, чтобы я нанял городской оркестр, устроил бесплатную раздачу виски и зажег костер?

Родственники были явно шокированы такой резкостью, теснее сплотились в своем негодовании и начали подумывать об отъезде.

— Вильям, не знаешь ли ты, где здесь в Ливенфорде можно выпить чаю до отхода поезда? — спросила миссис Ламсден голосом, дрожащим от злости, подчеркивая вопросом свое намерение уйти. Она ожидала на поминках не дешевого кислого вина и покупных анисовых лепешек, а богатого выбора горячих и холодных мясных блюд, домашних пирогов, пшеничных лепешек, сладких булочек к чаю и других таких же деликатесов. Приехав из дальней деревни Эйшира, они ничего не знали о разорении Броуди и считали его достаточно богатым, чтобы предложить им более приличное и основательное угощение, чем то, которое сейчас стояло перед ними.

— Если вы голодны, не скушаете ли еще одно печенье? — сказала старуха Броуди, хихикнув. — Это «колечки», они очень вкусные. — Вино казалось нектаром ее неискушенному вкусу, и она им щедро угостилась, так что теперь на высоких скулах ее желтого, сморщенного лица играл легкий румянец. Она безмерно наслаждалась пиршеством, и предание земле останков бедной Маргарет превратилось для нее в настоящий праздник.

— Может быть, выпьете еще капельку вина?

— Нет, спасибо, — сказала миссис Ламсден, высокомерно сжав рот до самого малого диаметра и презрительно выбрасывая слова из этого крохотного отверстия. — Уж разрешите отказаться. Я, знаете ли, до вина не такая охотница, как некоторые другие, и, кроме того, мне не нравится то вино, которое вы здесь пьете. Кстати, — продолжала она, натягивая свои

черные лайковые перчатки, — что это за нахальная, бесстыжая девка у вас тут расхаживает, и это тогда, когда в доме такое горе! Давно она у вас?

Бабушка хотела ответить, но ей помешала легкая икота.

— Я ее не знаю, — пояснила она наконец сконфуженно. — Она только сегодня пришла. Джемс взял ее мне в помощь.

Миссис Ламсден многозначительно переглянулась с кузиной мужа. Каждая из них сделала легкое движение головой, как бы говоря: «Так я и думала!» — и обе с подчеркнутым состраданием посмотрели на Несси.

— И как только ты будешь жить без матери, девочка! — заметила одна.

— Ты можешь погостить у нас, дружок, — предложила другая. — Тебе хотелось бы побегать на ферме, не правда ли?

— Я и сам могу о ней позаботиться, — ледяным тоном вмешался Бродди. — Она не нуждается ни в вашей помощи, ни в жалости. Вы еще услышите о ней, она достигнет того, что для вас и ваших детей всегда останется недоступным.

Когда Нэнси вошла, чтобы собрать стаканы, он продолжал:

— Эй, Нэнси! Вот эти две дамы только что заявили, что ты бесстыжая девка, — так, кажется, вы сказали, мэм? Да, бесстыжая девка. В благодарность за такой хороший отзыв не потрудишься ли ты выпроводить их из дому, а пожалуй, уже заодно и этого маленького джентльмена, которого они привезли с собой.

Нэнси дерзко потрянула головой.

— Если бы это был мой дом, — сказала она, смело глядя в глаза Бродди, — так я бы их на порог не пустила.

Гости встали, скандализированные такой наглостью.

— Какие выражения! Какие манеры! И это при девочке! — ахнула Дженет, идя к дверям. — И в такой день!

Миссис Ламсден, не менее возмущенная, но не потерявшая, однако, присутствия духа, выпрямилась во весь свой высокий рост и заносчиво откинула голову.

— Меня оскорбляют! — завизжала она, поджимая тонкие губы. — Оскорбляют в доме, куда я приехала издалека, истратив столько денег, для того чтобы принести утешение! Я ухожу, о, уж конечно, я здесь не останусь, никто меня не удержит, но, — прибавила она веско, — раньше чем я уйду, я желаю знать, что моя бедная кузина оставила своей родне?

Бродди отрывисто засмеялся ей в лицо.

— Вот как! А что она могла оставить, скажите, пожалуйста?

— Я слышала от Вильяма, что, кроме сервиза, картин, украшений для камина, часов и медальона матери, Маргарет Ламсден внесла в дом мужа

немало серебра.

— Да, и вынесла она из него тоже немало! — грубо отрезал Броуди. — Убирайтесь отсюда! Не могу я видеть вашей противной, кислой, жадной физиономии! — И он энергичным жестом указал гостям на дверь. — Уходите все, ничего вы тут не получите. Я жалею, что позволил вам преломить хлеб в моем доме.

Миссис Ламсден, чуть не плача от ярости и возмущения, на пороге обернулась и прокричала:

— Мы на вас в суд подадим и свое получим! Неудивительно, что бедная Маргарет зачахла здесь. Она была слишком хороша для такого грубияна, как вы! И даже похороны бедняжки вы превратили в вопиющий скандал! Едем домой, Вильям!

— Правильно! — насмешливо захохотал Броуди. — Увезите своего Вильяма домой, в постельку. Неудивительно, что он любит ночевать дома, когда у него под одеялом имеется такое сокровище, как вы! — Он глумливо усмехнулся. — И хорошо делаете, что не отпускаете его никуда ни на одну ночь, а то он сбежал бы от вас навсегда.

Когда миссис Ламсден вышла вслед за другими с высоко поднятой головой и пылающими щеками, он крикнул ей вслед:

— Я не забуду послать вам цветы, как только это потребуется!

Но воротясь в гостиную, он сбросил маску холодного равнодушия и, чувствуя, что ему надо побыть одному, уже другим, тихим голосом приказал всем уйти. Когда все выходили, он обратился к Мэтью и сказал внушительно:

— Ступай в город и поищи работы. Нечего болтаться без дела и хныкать. Больше не будешь сидеть на моей шее!

А когда мимо него проходила Несси, он погладил ее по голове и сказал ласково:

— Не плачь, дочка. Твой отец тебя в обиду не даст. Вытри глаза и поди сядь за книгу или займись чем-нибудь. Ничего не бойся. Я позабочусь о твоём будущем.

Да, вот по какому пути его жизнь должна пойти отныне, — так размышлял он, сидя один в пустой гостиной. Вот его задача — отомстить за себя при помощи Несси! Она его единственная надежда, у нее блестящие способности! Он будет ее беречь, поощрять, толкать вперед, к победе за победой, пока наконец ее имя, а с ним — и его собственное, не прогремит на весь город! В своем полнейшем банкротстве и несчастьях, посетивших его в последнее время, он видел лишь временное затмение, из которого жизнь его когда-нибудь непременно выйдет. Он вспомнил одну из своих

излюбленных сентенций, которую часто твердил: «Настоящего человека ничем не сломишь», — и она его утешила. Он верил, что снова вернет себе прежнее положение в городе, будет еще более, чем раньше, верховодить всеми, и считал образцом стратегии свой план достигнуть этого при помощи Несси. Он уже предвидел то время, когда имя Несси Броуди будет у всех на устах, когда и на него самого будет щедро изливаться всеобщее восхищение и лесть. Он уже слышал, как люди говорят: «Броуди пошел в гору с тех пор, как умерла его жена. Она, наверное, была для него изрядным бременем и помехой». Как это верно! Помогая опускать ее легкий гроб в вырытую для него неглубокую яму, он испытал прежде всего чувство облегчения, оттого что наконец избавился от этого бесполезного бремени, истощавшего и его кошельки, и терпение. Он не вспоминал ничего того, что было в ней хорошего, не ценил всех ее заслуг и помнил только об одном — о ее слабости, о полном отсутствии физической привлекательности в последние годы. Ни то нежное чувство, которое едва слышно заговорило в нем у ее смертного одра, ни воспоминание о первых годах их совместной жизни ни разу больше не шевельнулись в нем. Память его была темна, как небо, сплошь затянутое тучами, сквозь которые не может пробиться ни единый луч света. Он раз навсегда решил, что жена во всех отношениях его не удовлетворяла — как женщина, как подруга жизни, наконец, даже детьми она ему не угодила. Несси не шла в счет, Несси была целиком только его дочерью, и эпитафия, которую он мысленно сочинил жене, вся заключалась в словах: «Ни на что не была годна». Когда неотвратимость ее смерти встала перед ним с внезапной убедительной ясностью, он испытал странное чувство освобождения. Та слабая узда, которую налагало на него присутствие этой женщины в его жизни, уже самой своей слабостью бесила его. Он чувствовал себя еще молодым, полным сил мужчиной, жизнь сулила ему еще много наслаждений, и теперь, когда жена умерла, можно было свободно предаться им. Его нижняя губа отвисла, когда он с чувственным удовольствием подумал о Нэнси, и затем плотоядно выпятилась вперед, словно предвкушая обилие хмельных любовных утех. Нэнси должна всегда быть при нем, теперь ее можно будет оставить жить в доме. Теперь никто не мешает ей принадлежать ему, служить ему, развлекать его, да и, наконец, в доме нужно же кому-нибудь вести хозяйство!

Успокоенный этим приятным решением, он незаметно снова вернулся к мыслям о младшей дочери. Его ум, неспособный охватить более одного предмета сразу, теперь, одоббив мысль о будущем Несси, ухватился за нее с непоколебимым упорством. Ему было ясно, что, для того чтобы

продолжать жить в своем доме, воспитать Несси и дать ей такое образование, как он хочет, ему необходимо поскорее найти источник дохода. Он сжал губы и серьезно покачал головой, решив сегодня же привести в исполнение план, который созрел у него за последние два дня.

Он встал, вышел в переднюю, надел шляпу, взял свой шелковый зонт из подставки и не спеша вышел из дому. Было свежо, и сеял мелкий, почти неощутимый дождик, бесшумный и легкий, как роса. Он влажным туманом оседал на одежду и, как ласка, освежал горячий лоб. Броуди большими глотками пил ароматный, влажный воздух и радовался тому, что он не лежит в узком деревянном ящике под четырехфутовым слоем мокрой земли, а ходит, дышит этим чудным воздухом, живой, сильный и свободный. Благодаря все той же ограниченности его интеллекта унижительный конец его предприятия, даже заключительная сцена на Хай-стрит, когда он дал волю своей необузданной злобе, совершенно стерлись в его памяти. Его неудача представлялась ему уже в новом свете: он не побежден, не просто разорен конкурентом — он благородная жертва коварной судьбы. Вспышка гнева, вызванная Ламсденами, улеглась, и, преисполненный гордого сознания важности своей миссии, он шествовал по улицам, ни с кем не заговаривая и только с достоинством здороваясь с теми, кто, по его мнению, заслуживал такой чести. Он уже всецело был во власти собственной идеи, что теперь, когда ему больше не мешает жена и у него есть Несси, орудие его замыслов, начинается новая и более значительная глава его жизни. Дойдя до Черч-стрит, он повернул в сторону, прямо противоположную Хай-стрит, по направлению к Новому городу. Здесь лавки попадались редко. Слева выстроились в ряд жилища рабочих — жалкие домишки, без палисадников, ничем не отделенные от улицы, а справа бесконечно тянулась высокая каменная стена. Стена эта наверху щетинилась целым лесом высоких деревянных кольев, и из-за нее, вместе с соленым морским ветром, долетали сотни различных звуков. Пройдя несколько сот метров, Броуди остановился там, где высокая стена обрывалась и на улицу выходила группа зданий внушительного вида. Здесь он задержался у главного подъезда. Казалось, он внимательно изучает не бросающуюся в глаза медную дощечку с изящной надписью сверху: «Ливенфордская судостроительная верфь», и пониже: «Лэтта и К^о». На самом же деле он собирал все свое мужество, чтобы войти в эту дверь. Сейчас, когда он был у цели, он испытывал несвойственные ему колебания, его решимость слабела. Уж один только наружный вид этой огромной верфи и смутное представление о том огромном богатстве, которое в ней заключено, подействовали на него угнетающе, унижительно напоминая о

его собственной бедности. Он сердито отмахнулся от этой мысли, сказав себе, что не деньги важны, а человек, и решительно прошел через величественный портик.

Впопыхах он прошел мимо окошка с надписью «Справки», не заметив его, и сразу же заблудился в путанице коридоров. Некоторое время он бродил по ним, как рассерженный минотавр в лабиринте, пока наконец не встретил молодого человека, в котором сразу же признал клерка по карандашу, торчавшему у него за ухом, как вертел.

— Мне нужно видеть сэра Джона Лэтта, — заявил он ему сердито. Он чувствовал себя преглупо в этих коридорах. — У меня к нему неотложное дело.

Молодой человек даже отступил, когда было названо столь священное имя. Доступ к этой высокой особе преграждал непроходимый ряд секретарей, управляющих делами, начальников отделений и директоров.

— Вам назначено явиться? — спросил он неопределенно.

— Нет, — ответил Броуди. — Не назначено.

— Это, конечно, меня не касается, — заметил молодой человек, немедленно снимая с себя всякую ответственность, — но должен вам сказать, что вы бы скорее могли рассчитывать на прием, если бы вам было назначено. — Он выговорил последнее слово так торжественно, словно оно обозначало ключ, открывающий дверь в святилище.

— Назначено или не назначено, а я должен его видеть, — закричал Броуди так свирепо, что молодой человек почувствовал себя вынужденным сделать другое предложение.

— Я, пожалуй, могу доложить о вас мистеру Шарпу, — объявил он. Шарп был его непосредственный начальник и, так сказать, полубог.

— Ладно, сведите меня к нему, — сказал нетерпеливо Броуди. — Да поскорее!

Молодой человек, с удивительной легкостью находя дорогу в коридорах, привел его к мистеру Шарпу и, произнеся несколько пояснительных слов, немедленно ретировался, как бы слагая с себя всякую ответственность за последствия. Мистер Шарп заявил, что не уверен... собственно, даже сильно сомневается в том, чтобы сэр Джон мог сегодня кого-либо принять. Глава фирмы страшно занят, он просил его не беспокоить, он собирается сейчас уехать с верфи, и вообще, если дело не первостепенной важности, то он, мистер Шарп, вряд ли решится доложить сэру Джону о приходе мистера Броуди.

Броуди уставился на мистера Шарпа своими маленькими злыми глазами.

— Скажите сэру Джону, что пришел Джемс Броуди. Он меня хорошо знает. Он сейчас же меня примет! — воскликнул он нетерпеливо.

Мистер Шарп ушел с обиженным видом, но через некоторое время возвратился и ледяным тоном предложил мистеру Броуди подождать, сказав, что сэр Джон скоро его примет. Броуди бросил на него торжествующий взгляд, как бы говоря: «Вот видишь, болван!» — сел и стал ждать, от нечего делать наблюдая гудевший вокруг улей озабоченных клерков, за работой которых следил острый глаз Шарпа. Минуты тянулись долго, и Броуди подумал, что здесь, по-видимому, «скоро» означает весьма значительный период времени. Чем дольше он ждал, тем больше выдыхалась его решительность и тем заметнее росло удовлетворение мистера Шарпа. Посетителю давали понять, что он не может войти в кабинет сэра Джона так же просто, как сэр Джон входит к нему в кабинет, что гораздо труднее добиться беседы с ним здесь, чем поздороваться с ним где-нибудь на сельскохозяйственной выставке.

И Броуди овладело тяжелое уныние, которое не рассеялось даже тогда, когда его наконец вызвали в кабинет главы фирмы.

Сэр Джон Лэтта при входе Броуди бегло поднял глаза от стола и, молча указав ему на кресло, снова принялся внимательно рассматривать лежавший перед ним чертеж. Броуди медленно опустился в кресло и окинул взглядом богато убранную комнату, заметил дорогие панели из тикового дерева, мягкие тона обивки, обилие картин (морских видов) на стенах, модели судов на изящных подставках. Ноги его тонули в коврах, а когда он рассмотрел инкрустацию письменного стола и золотой портсигар, лежавший на нем, ноздри его слегка раздулись и глаза засветились одобрением. «Люблю такие вещи, — казалось, говорило выражение его лица. — Вот в такой обстановке следовало бы и мне жить».

— Ну, Броуди, — сказал наконец сэр Джон, все еще не поднимая глаз. — В чем дело?

Сухость его тона трудно было не заметить, тем не менее Броуди торопливо начал:

— Сэр Джон! Я пришел спросить у вас совета. Вы — единственный человек в Ливенфорде, с которым я готов говорить откровенно. Вам моя жизнь известна, и вы понимаете меня, сэр Джон. Я это чувствовал всегда, и теперь я пришел просить вашей помощи.

Лэтта пытливо посмотрел на него.

— Вы говорите загадками, Броуди, — возразил он холодно, — а такие речи вам не к лицу. Вы ведь скорее склонны к прямым действиям, чем к уклончивым речам... Да и действуете вы не всегда подобающим

образом, — добавил он с расстановкой.

— Что вы хотите этим сказать, сэр Джон? — пробормотал Броуди, запинаясь. — Кто наклеветал вам на меня за моей спиной?..

Сэр Джон взял в руки линейку из слоновой кости и, легонько постукивая ею по столу, ответил не спеша:

— Я потерял к вам расположение, Броуди. До нас не могли не дойти те разговоры и слухи, что ходят в городе относительно вас. Вы делаете глупости или, пожалуй, еще кое-что похуже.

— Вы имеете в виду эту... эту дурацкую выходку со шляпами?

Лэтта покачал головой:

— Это, конечно, сумасбродство, но его можно извинить, зная ваш характер. Я говорил о других, известных вам вещах. Вы лишились жены и, кажется, предприятия тоже? Вы пережили тяжелые неприятности, так что я не хочу слишком строго упрекать вас. Но мне рассказывали о вас скверные вещи. Вы знаете, что я никогда не бью лежачего, — продолжал он спокойно. — Но я с интересом слежу за жизнью обывателей нашего города, и мне неприятно слышать дурное даже о самом последнем из рабочих на моей верфи.

Броуди повесил голову, как высеченный школьник, спрашивая себя, что имеет в виду сэр Джон: поведение ли Мэтью на службе или его собственные частые посещения «Герба Уинтонов»?

— Вы, вероятно, заметили, — продолжал Лэтта все тем же ровным голосом, — что с начала прошлого года я не поддерживал больше вашего предприятия своими заказами. Это потому, что я узнал об одном вашем поступке, который считаю и несправедливым, и жестоким. Вы вели себя по отношению к вашей несчастной дочери как негодяй и дикарь, Броуди, и хотя найдутся люди, которые будут вас оправдывать, твердя об оскорбленной нравственности, мы не считаем возможным иметь с вами дело, пока на вас лежит это позорное пятно.

Руки Броуди конвульсивно сжались, морщина на лбу углубилась. Он с горечью подумал, что Лэтта — единственный во всем Ливенфорде человек, посмевавшийся так говорить с ним, да, единственный, кто произнес такие слова безнаказанно.

— Ничего не могу поделать, — сказал он угрюмо, сдерживаясь, потому что сознавал свою зависимость от этого человека. — Все это — дело прошлого, с этим давно покончено.

— Вы можете ее простить, — сурово возразил Лэтта. — Можете дать мне слово, что она найдет убежище в вашем доме, если ей когда-нибудь это понадобится.

Броуди хранил сердитое молчание, и мысли его были заняты не Мэри, а Несси. Он должен сделать что-нибудь для девочки! В конце концов, что ему стоит дать обещание? И, не поднимая головы, упорно разглядывая ковер, он пробормотал:

— Хорошо, сэр Джон, пусть будет по-вашему.

Лэтта остановил долгий взгляд на громадной, унылой фигуре. Когда-то он в той ограниченной сфере, где они встречались, глазом знатока оценил своеобразие этой натуры. Он любовался Джемсом Броуди как великолепным образцом мужественной силы, посмеивался над его самомнением и снисходительно терпел его возбуждавшие любопытство, напыщенные, туманные намеки. Броуди интересовал его, как интересуется образованного человека все оригинальное и необычное, но сейчас он стал ему противен и жалок. И, глядя на него, Лэтта подумал, что столь раздутое, претенциозное чувство собственного достоинства должно иметь какую-то глубокую причину. Но он сразу же отогнал эту мысль, — в конце концов, Броуди ведь сдал позиции.

— Ну, так чем же я могу вам быть полезен, Броуди? — спросил он серьезно. — Расскажите, как обстоят ваши дела?

Броуди поднял наконец голову, почувствовав, что разговор незаметным образом принял именно такой оборот, какой был ему нужен.

— Я закрыл свое предприятие, сэр Джон, — начал он. — Вы знаете не хуже меня, как со мной поступили эти... — Он проглотил просившееся на язык слово и dokonчил уже сдержаннее: — Эти господа, которые прокрались к нам в город и обосновались у самой моей лавки, как ночные воры. Они пустили в ход всяческие интриги, переманили к себе моего помощника, они сбили цены, чтобы подорвать мою торговлю, продавали разную заваль и хлам вместо хорошего товара, они... они всю кровь у меня высосали!

Собственные слова расшевелили в нем воспоминания, и в глазах его засветилась жалость к себе, грудь тяжело вздымалась. Он убедительно вытянул вперед руку. Но на Лэтта все это как-то не производило впечатления, и, жестом прервав Броуди, он сказал:

— А что вы сделали для того, чтобы помешать их маневрам? Ввели какие-нибудь новшества у себя в предприятии или... или постарались усерднее угождать покупателям?

Броуди смотрел на него с тупым упрямством.

— Я вел дело так, как считал нужным, — сказал он настойчиво, — так, как вел его всю жизнь.

— Ах вот что! — протянул Лэтта.

— Я боролся с ними! Я боролся с ними честно, как джентльмен. Я бы растерзал их на клочки вот этими двумя руками, если бы они имели мужество вступить в открытый бой. Но они подкапывались под меня, а разве я мог унизиться до тех приемов, которые пускали в ход эти мерзавцы?

— Так что у вас теперь дела запутаны? — спросил сэр Джон. — Много долгов?

— Ни одного, — гордо возразил Броуди. — Я разорен, но не должен никому ни единого фартинга. Я заложил дом, и если у меня нет ничего, зато нет и долгов. Я могу начать сначала, как честный человек, если вы захотите меня поддержать. Моей дочурке Несси надо помочь пробить себе дорогу. Она самая способная из всех детей в Ливенфорде. Она, безусловно, получит стипендию, учрежденную вашим отцом, если только у нее будет возможность учиться.

— Почему бы вам не продать этот ваш нелепый дом? — посоветовал Лэтта, смягченный словами Броуди. — Кстати, он теперь слишком велик для вашей семьи. Тогда вы сможете уплатить долг по закладной, а на остальные деньги прожить некоторое время в другом доме, поменьше.

Броуди медленно покачал головой.

— Это мой дом, — сказал он веско. — Я его построил, и в нем я буду жить. Я скорее свалю его себе на голову, чем откажусь от него. — И, помолчав, он прибавил угрюмо: — Если вы ничего другого мне посоветовать не можете, так, пожалуй, не стоит мне больше отнимать у вас время...

— Сидите, сидите, — прикрикнул на него Лэтта. — Вы сразу вспыхиваете, как сухой трут! — Он рассеянно играл линейкой, усиленно что-то обдумывая, а Броуди с недоумением следил за быстрой сменой выражений на его лице.

Наконец сэр Джон заговорил.

— Станный вы человек, Броуди, — сказал он. — Ваша душа для меня — загадка. Минуту тому назад я хотел отказать вам в поддержке, но чувствую, что не могу этого сделать. Я вам вот что предложу: торговля теперь для вас дело неподходящее, Броуди. Вы слишком неповоротливы, и медлительны, и громоздки для этого. Если бы вам даже и удалось взяться за нее снова, ничего бы у вас не вышло. Вам, с вашими сильными мускулами, следовало бы работать физически, но вы, конечно, сочтете это ниже своего достоинства. Ну что же, вы умеете писать, вести книги, делать подсчеты. Можно будет предоставить вам здесь, у нас, какую-нибудь должность. Вот то единственное, что я вам могу предложить, — ваше дело

принять или отказаться.

У Броуди засверкали глаза. Он внушал себе все время, что сэр Джон ему поможет, что крепкие узы их дружбы побудят того оказать ему помощь — и оказать ее по-царски. И он уже вообразил, что сейчас ему предложат крупный и ответственный пост.

— Слушаю, сэр Джон, — сказал он стремительно. — Что вы хотите предложить? Если я могу быть полезен в вашем деле, то я к вашим услугам.

— Мы могли бы предоставить вам место счетовода у нас в конторе, — невозмутимо продолжал сэр Джон. — Как раз сейчас в лесном отделе имеется вакансия. Вас придется, конечно, подучить, но, несмотря на это, я из уважения к вам немного увеличу жалованье. Вы будете получать два фунта десять шиллингов в неделю.

У Броуди отвисла нижняя губа и все лицо от удивления собралось в глубокие складки. Он едва верил ушам, удивление и разочарование омрачили его взгляд. Он только что уже представлял себе, как сидит в роскошной комнате — вот вроде этого кабинета сэра Джона — и руководит армией суесящихся вокруг него подчиненных. Эти радужные видения медленно рассеивались перед его глазами.

— Я дам вам время обдумать мое предложение, — спокойно заметил Лэтта, вставая и направляясь в соседнюю комнату. — А пока вы меня извините...

Броуди пытался собрать мысли. Пока сэра Джона не было в комнате, он сидел как пришибленный, остро переживая свое унижение. Он, Джемс Броуди, — счетовод! Но разве у него есть другой выход? Ради Несси он должен согласиться. Он поступит на это жалкое место, но только... только пока. Придет время, и он им всем утрет нос, а особенно этому Лэтта!

— Итак, — спросил, входя в кабинет, сэр Джон, — что вы решили?

Броуди тупо посмотрел на него.

— Я согласен, — сказал он ровным голосом. Потом прибавил тоном, которому хотел придать оттенок иронии, но который звучал только патетически: — И благодарю вас.

Будто сквозь туман он видел, как Лэтта позвонил в колокольчик, стоявший на столе, слышал, как он приказал тотчас появившемуся мальчику:

— Позовите ко мне мистера Блэра.

Блэр появился с такой же таинственной быстротой, как раньше мальчик. Броуди едва взглянул на маленького, аккуратного человечка, не видел его глаз, еще более официально-холодных, чем у Шарпа. Он не

слушал разговора между сэром Джоном и Блэром, но через некоторое время (он не заметил, много ли прошло времени или мало) понял, что аудиенция окончена.

Он встал, медленно вышел вслед за Блэром из пышного кабинета, прошел по коридорам, куда-то вниз по лестницам, через двор и наконец вошел в небольшую контору, помещавшуюся в отдельном флигеле.

— Вы будете работать не в общем помещении, а здесь, но я надеюсь, что вы этим злоупотреблять не станете. Вот ваш стол, — сухо сказал Блэр. Было ясно, что он рассматривает появление Броуди как незаконное вторжение, и, даже объясняя тому его простые обязанности, он старался вложить в свои слова как можно больше ледяного презрения. Работавшие в той же комнате двое молодых клерков с любопытством поглядывали из-за своих книг на странного пришельца, не веря, что это их новый товарищ.

— Вы запомнили, надеюсь? — сказал в заключение Блэр. — Я, кажется, все подробно объяснил.

— Когда мне приступить к работе? — глухо спросил Броуди, чувствуя, что от него ждут выражения благодарности.

— Завтра, я думаю. Сэр Джон ничего не сказал об этом. Если желаете ознакомиться с книгами, можете это сделать сейчас. — И, уже выходя из комнаты, прибавил уничтожающим тоном: — Впрочем, до гудка осталось всего полчаса, а вам, я думаю, понадобится много больше времени, чтобы осилить это дело.

Молча и словно не сознавая, что делает, Броуди сел на высокий табурет перед конторкой. Открытая счетная книга расплылась перед ним белым пятном. Он не видел цифр, которыми ему отныне предстояло заниматься, не ощущал внимательных взглядов двух безмолвных юношей, смотревших на него с каким-то странным смущением. Он — счетовод! Клерк, работающий за пятьдесят шиллингов в неделю! Душа в нем корчилась, пытаясь уйти от этого неумолимого факта, но вынуждена была признать его. Нет, он не вынесет такого... такого унижения! Как только он выйдет отсюда, он заберется куда-нибудь и будет пить, пить, пока не забудет все, погрузится в забытие, чтобы все случившееся казалось нелепым ночным кошмаром. Сколько еще времени до гудка? Полчаса, сказал Блэр. Ладно, подождем полчаса, а потом — свобода! С дрожью, пробежавшей по всему его телу, он, как слепой, взял перо и обмакнул его в чернила.

Часть третья

— Не может быть, чтобы они так одевались, даже если кожа у них и черная, — говорила Нэнси, посмеиваясь. — Просто вы меня дурачите!

Сидя на кухонном столе, она плутовски посмотрела на Мэта, склонив голову набок, и, чтобы подкрепить свое замечание, поболтала перед его глазами своими красивыми ножками.

— А между тем это самая настоящая правда, — оживленно возразил Мэт. Он стоял, прислонясь спиной к шкафу, и заигрывал с Нэнси, стараясь пленить ее и взглядами, и позой, и всей своей элегантной наружностью. — Туземные дамы, как вам угодно их называть, одеваются именно так.

— Да ну вас! — кокетливо отмахнулась Нэнси. — Вы слишком уж много знаете. Вы скоро захотите меня уверить, что в Индии обезьяны носят штаны.

Оба громко захохотали над этой шуткой, очень довольные друг другом и столь веселой и занимательной беседой: Нэнси — потому что эта беседа прервала скучное однообразие праздного утра и развлекала ее, утомленную обществом вечно угрюмого и злого отца Мэта, Мэт — потому что имел возможность блеснуть перед Нэнси своими светскими талантами, почти так же, как если бы она восседала за сверкающей стойкой какого-нибудь бара.

— Вы ужасный пустомеля, — объявила в заключение Нэнси укоризненным и вместе поощрительным тоном. — Теперь вы рассказываете, будто негры жуют красные, как кровь, орешки и потом чистят зубы палочками, а там еще, пожалуй, вздумаете уверять, будто они расчесывают волосы ножкой стула, как Дэн, — знаете, этот забавный карлик Дэн.

Они снова дружно засмеялись, потом Нэнси сделала серьезное лицо и сказала с напускной скромностью:

— Впрочем, *такие* басни вы, пожалуй, рассказывайте себе сколько хотите. А вот когда вы принимаетесь за свои скользкие шуточки, вы заставляете меня здорово краснеть. Конечно, вам нетрудно одурачить такую бедную наивную девушку, как я, которая никогда не была в чужих краях, — ведь вы много видели любопытного. Расскажите мне еще что-нибудь!

— Но вы, кажется, не хотели меня слушать больше! — поддразнил ее Мэт.

Нэнси надула сочные алые губы.

— Вы отлично знаете, чего я хочу, Мэт. Я люблю слушать про все те диковинные вещи, которые вы видели в чужих странах. А о женщинах вы лучше помалкивайте. Была бы я там с вами, я бы вам не позволила и глядеть на них. Расскажите-ка лучше о цветах, о красивых пестрых птицах, о зверях, о попугаях, о леопардах и тиграх. Мне хочется, чтобы вы рассказали о базарах и храмах, о статуях богов из золота и слоновой кости. Об этом мне никогда не надоест слушать!

— Такой девушке, как вы, и рассказывать приятно, — отвечал Мэт. — Вы такая ненасытная, все хотите знать. Так о чем я говорил, когда вы спросили меня насчет... ну, насчет того, о чем мне запрещено упоминать? — Он ухмыльнулся. — Да, вспомнил: о священных коровах. Вы, пожалуй, не поверите, Нэнси! Миллионы людей в Индии считают корову священным животным. Повсюду вы встречаете ее изображение, а на улицах туземных кварталов расхаживают большие коровы с цветами на рогах и венками златоцвета вокруг шеи и тычут морды повсюду, как будто весь город им принадлежит, — и в дома, и в палатки (это в Индии лавки такие), — и никто их не гонит. Я раз видел, как одна корова остановилась у палатки с фруктами и овощами, и не успел я и глазом моргнуть, как она очистила всю палатку от одного конца до другого, а хозяин лавки должен был сидеть и смотреть, как она пожирает весь его товар! Когда она кончила, ему оставалось только вознести к ней молитву или повязать ей вокруг шеи остатки своих цветов.

— Да не может быть, Мэт! — ахнула Нэнси, от удивления широко раскрывая глаза. — Ну и чудеса вы рассказываете. Подумать только — чтобы люди поклонялись коровам!

— Разные бывают коровы, Нэнси! — лукаво подмигнул Мэт, но тотчас добавил уже серьезнее: — Это еще ничего. Я и не такие вещи там видел. Всего не расскажешь, Нэнси. Вам бы следовало попутешествовать, как я, и вы бы насмотрелись на такие чудеса, которые вам и во сне не снились. А есть места еще прекраснее Индии, где и климат лучше, и москитов меньше, а живет так же свободно.

Пока он говорил, увлеченный собственным красноречием, Нэнси осторожно поглядывала на него. Видела стройную фигуру в опрятном коричневом костюме, подкупающее изящество всей его внешности, бледное лицо, выражавшее слабодушие, в котором не было, однако, ничего отталкивающего, и удивлялась про себя, как она могла испугаться и бежать от него при первой их встрече. За те полтора месяца, что прошли с похорон миссис Броуди (после которых Нэнси официально была водворена в

качестве экономки в дом Броуди), она мало-помалу начала благосклонно относиться к Мэту, защищать его перед отцом, предпочитать легкий разговор с ним угрюмому молчанию и неохотным односложным репликам ее пожилого любовника.

— Да вы меня не слушаете, егоза вы этакая! — воскликнул вдруг Мэт. — Какой смысл мужчине тратить даром слова и силы, если хорошенькая девушка не уделяет ему никакого внимания? А еще требовали, чтобы я вам все описал!

— Так вы находите меня хорошенькой, Мэт? — спросила она, продолжая мечтательно смотреть на него, но незаметно придав взгляду обольстительное выражение и принимая вызывающе соблазнительную позу.

— Ну конечно, Нэнси! — горячо воскликнул Мэт, и лицо его просияло. — Вы просто картинка. Ужасно приятно, когда в доме имеется такая девушка, как вы. Я об этом всегда думал с того дня, как вас увидел в первый раз.

— В тот день вы вели себя как скверный мальчишка, — продолжала Нэнси задумчиво. — Но с тех пор вы очень исправились. Когда я пришла сюда, мне казалось, что вы как будто боитесь со мной разговаривать, но теперь я вижу, что все прошло, и ничуть об этом не жалею... А интересно, что сказал бы ваш отец, если бы знал об этой перемене.

Мэт приподнялся было, собираясь подойти к ней, но при ее последних словах блеск в его глазах сразу померк, и, снова приваливаясь спиной к шкафу, он сердито отозвался:

— Не понимаю, что́ такая молодая женщина, как вы, может находить в угрюмом, сварливом старике. Вам нужен мужчина помоложе.

— Но в нем большая сила, Мэт, — возразила она, словно размышляя и по-прежнему притягивая его взглядом. — И мне нравится, что эта сила мне покорна. Он теперь у меня шелковый. Однако прошу не забывать, — добавила она, тряхнув головой и меняя тон, — что я здесь только экономка.

— Да, — сказал Мэт с горечью. — У вас большой пост! Вы здесь прочно и хорошо устроились, Нэнси!

— А вы? — отпарировала она дерзко. — Вы и сами устроились тут недурно, несмотря на все ваши разговоры о замечательных службах, которые вас ждут за границей.

Мэт восторженно рассмеялся:

— Люблю ваш острый язычок! Вы, если захотите, можете так отделать человека, что он не обрадуется.

— Я все могу, — ответила она многозначительно.

Как она разжигала в нем кровь, эта бесстыдная кокетка, которая целиком принадлежала его отцу и благодаря этому табу была совершенно недоступна для него!

— Вы знаете не хуже меня, Нэнси, что мое устройство — только вопрос времени, — сказал он серьезно. — Я на очереди по крайней мере в шести местах. Первая освободившаяся вакансия будет предоставлена мне. Не могу же я всю жизнь сидеть в этой проклятой дыре. Здесь меня ничто не удерживает с тех пор... с тех пор, как умерла мама. Но скажу вам прямо — мне будет тяжело расстаться с вами.

— Я вам поверю тогда, когда вы получите место, Мэт, — бросила она колко. — Вам не следовало бы позволять старику так запугивать вас. Умейте за себя постоять! Больше доверяйте своим силам! По-моему, вам бы нужно женщину с головой на плечах, которая бы вас подтягивала и учила быть напористым.

— Со стариком я еще поквитаюсь, — заверил ее Мэт мрачно. — Будет и на моей улице праздник. Он мне заплатит за все обиды... — Он помолчал и прибавил с добродетельным негодованием: — Да и за все, что терпела от него моя бедная мать. Впрочем, он скоро окончательно сопьется.

Нэнси не отвечала. Закинув назад голову, она созерцала потолок, выставив напоказ свою красивую белую шею и так изогнувшись всем телом, что юбка ее поднялась чуть не до колен.

— Говорю вам, вы напрасно растрчиваете на него свою молодость, — продолжал, волнуясь, Мэт. — Он просто здоровенный, злющий бык. Смотрите, как он мучает Несси этими уроками, не давая ей вздохнуть. А что он сделал с мамой! Не стоит он вас. Неужели вы этого сами не видите?

Нэнси внутренне разбирал смех.

— А я не из пугливых, Мэт. Сумею за себя постоять. У меня есть кое-какие свои мыслишки на этот счет. Так, секрет, который знают только Нэнси да я, — шепнула она игриво.

— Какой? — жадно допытывался Мэт, возбужденный ее кокетством.

— А это я вам скажу когда-нибудь, если будете паинькой.

— Нет, скажите сейчас, — настаивал Мэт.

Но она не соглашалась. Отрицательно покачав головой, посмотрела на часы и промолвила:

— Ого! Я так и думала, что пора ставить обед на плиту. Я должна помнить о своих обязанностях и не забывать, для чего я взята в дом, иначе меня прогонят. Вы, вероятно, как всегда, будете завтракать в городе?

Мэт тоже взглянул на часы, чтобы определить, сколько времени он еще может безопасно оставаться здесь, прежде чем улизнуть из дому во

избежание встречи с отцом. Со смерти мамы он придерживался такой тактики — всеми способами уклоняться от встреч с отцом.

— Да, я уйду. Вы знаете, когда я сижу с *ним* за столом, у меня кусок застревает в горле. Не от страха, конечно, — потому что он так переменялся, что и слова мне не скажет никогда, но чем меньше мы с ним будем сталкиваться, тем спокойнее для всех. С моей стороны это простое благоразумие.

Когда он с весьма независимым и равнодушным видом отошел от шкафа, Нэнси заложила руки за голову, словно для того, чтобы удержаться в наклонном положении, и усмехнулась ему в лицо все той же легкой, загадочной усмешкой.

— Подойдите на минутку ко мне, Мэт, — шепнула она наконец.

Он, нерешительно глядя на нее, подошел к столу, на котором она сидела, но двигался так медленно, что она прикрикнула на него:

— Ближе, мой милый, ближе. Я вас не укушу.

Мэт подумал, что охотно подвергся бы такому приятному наказанию: уж очень хороши были ее белые ровные зубы, сверкавшие из-за красных улыбающихся губ — губ, которые тем ярче алели на бледном лице, чем ближе он наклонялся к ней...

— Вот это другое дело, — сказала она наконец. — Побольше огня, Мэт! Знаешь что, твой отец поступает как дурак, оставляя такую молодую парочку, как мы с тобой, одних в этом скучном доме, где время тянется так медленно. Будь у него хоть капля здравого смысла, он бы никогда этого не допустил... Я уже столько дней не выходила никуда — только за покупками, — а ему и в голову не придет свести куда-нибудь девушку повеселиться. Послушай, что я тебе скажу, Мэт. Завтра в городской ратуше концерт, — зашептала она, пленительно взметнув темные ресницы, — почему бы нам с тобой не отправиться туда, а? Он ничего не узнает, а деньги на билеты я из него как-нибудь да выужу.

Мэт смотрел на нее как завороченный, не думая о ее словах, которые он едва ли слышал, не видя ничего, кроме ее крепких грудей, так красноречиво выступавших перед его глазами благодаря ее позе, да мелких золотых веснушек (не им одним замеченных), сбегавших по прямому носику до мягкого округленного изгиба вздернутой верхней губы. В эту минуту он понял, что жаждет Нэнси, хоть и боится взять ее, и, заглядывая глубоко в ее темные глаза, ощутил какой-то бессознательный трепет, толкавший его на стремительные действия. Он невольно пробормотал:

— Нэнси! Нэнси! Ты дьявольски соблазнительная женщина!

На секунду манящее выражение ее лица сменилось гордым

удовлетворением.

— Я это тоже начинаю замечать, — сказала она вполголоса. — И следующему мужчине, который возьмет меня, я уже не достанусь так дешево, нет!

Затем сразу же изменила голос и шепнула умильно:

— Так как же насчет концерта, Мэт? Участвует семейство Маккельви; они такие замечательные артисты! Мне до смерти хочется немного развлечься! Мы с тобой отлично можем улизнуть на этот концерт. Нам всегда так весело вдвоем, а на концерте будет еще веселее. Сведи меня туда, Мэт, хорошо?

Чувствуя, как ее дыхание тепло и интимно овевает ему щеку, Мэт пробормотал странным, не своим голосом:

— Ладно, Нэнси! Сведу! Сделаю все, что ты захочешь, только слово скажи.

Он был вознагражден улыбкой. Нэнси легко спрыгнула со стола и чуть-чуть коснулась его щеки кончиками пальцев.

— Значит, решено! — крикнула она весело. — Как мы чудесно повеселимся! Предоставь все мне — билеты и все остальное. Мы условимся встретиться в ратуше, но обратно ты меня проводишь. Идти так далеко и темно, — добавила она лукаво. — Я боюсь одна возвращаться домой. Мне может понадобится твоя защита.

Затем вдруг снова посмотрела на часы и воскликнула:

— Боже, как поздно! Я едва успею поджарить колбасу! Удирай скорее, Мэт, если не хочешь налететь на своего папашу. Иди и возвращайся, когда путь будет свободен и здесь никого не будет. Тогда мы отлично закусим вдвоем — ты и я!

Она подогрела его последним взглядом, и Мэт, не сказав ни слова, вышел из кухни. Кипевшая в нем борьба чувств мешала ему говорить, связывала движения и делала походку неуклюжей.

Когда он ушел, Нэнси принялась готовить обед, но, несмотря на то что она запоздала, без всякой спешки, с самым безмятежным, даже нарочито небрежным спокойствием. Бросила на сковороду целый фунт колбасы и поставила ее жариться на плиту, потом разостлала на столе грязную скатерть, с грохотом поставила несколько тарелок на обычные места и так же небрежно швырнула ножи и вилки.

Неряшливость ее домашней работы составляла поразительный контраст с опрятностью и щеголеватостью ее наряда. Об этой неряшливости свидетельствовал и общий вид кухни. Пыль, лежавшая густым слоем на полках, неподметенный пол, заржавевшая грязная

решетка, невычищенный камин, общая атмосфера запущенности, царившая здесь, — все становилось понятно, если понаблюдать в эти минуты за действиями Нэнси. Весь внутренний вид дома сильно изменился к худшему по сравнению с тем временем, когда маму несправедливо обвиняли в неопрятности, хотя ее никем не оцененными усилиями в доме поддерживалась безукоризненная чистота. А теперь колбаса, протестуя против невнимания к ней, плевалась жиром на стену у плиты и, казалось, приводила всю комнату в состояние печального упадка.

Внезапно, заглушая шипение жира, в кухню, полную чада, донесся из передней стук отпертой и вновь захлопнутой двери, потом тяжелые медленные шаги. Нэнси узнала шаги Броуди, но, несмотря на то что обед не был готов, она ничуть не смутилась и продолжала с тем же безмятежным спокойствием наблюдать за сковородой. Она не побежала сломя голову подавать поскорее вкусный бульон или чашку горячего кофе, налитую обязательно до краев, или чайник из британского металла! Когда она услышала из посудной, что Броуди вошел в кухню и молча сел за стол, она с минуту подождала, потом весело окликнула его:

— Вы сегодня слишком рано, Броуди. У меня еще не совсем готово.

Так как он ничего не ответил, она продолжала выкрикивать, обращаясь к нему — к нему, который никогда ни на секунду не нарушал раз навсегда установленного порядка:

— Вы так неаккуратны последние дни, что я никогда не знаю, когда вас ожидать, — или в этом доме все часы неверны? Как бы то ни было, вы потерпите, я скоро кончу.

Он «терпел», безмолвно ожидая.

За то короткое время, что прошло со дня его поступления на службу к Лэтта, в нем замечалась перемена, еще более разительная и глубокая, чем в комнате вокруг него, и перемена иного характера.

Он сидел, устремив глаза на тарелку, стоявшую перед ним, настолько похудевший, что платье висело на нем мешком, словно с чужого плеча. Его прямая, гордая и всегда воинственная осанка сменилась довольно заметной сутулостью. Лицо из сурового стало мрачным, в глазах, прежде пронзительных, было что-то неподвижное, рассеянное, и белки испещрены красными жилками. Такие же жилки тонкой сеткой покрывали щеки. Губы его были сухи и сжаты, виски и щеки впали, а морщина на лбу отпечаталась так резко, как глубоко выжженное клеймо. Казалось, четкие контуры его фигуры как-то расплылись, каменные черты лица да и весь крепкий массив этого человека подточены, разъедены какой-то неизвестной кислотой, растворенной в его крови.

Когда вошла Нэнси, неся блюдо с колбасой, он быстро поднял глаза, притягиваемый, как магнитом, ее взглядом, но когда она поставила перед ним блюдо, посмотрел на него и спросил надтреснутым голосом, похожим на звук испорченного инструмента:

— Разве ты сегодня не варила для меня суп, Нэнси?

— Нет, — отрезала она. — Не варила.

— А сегодня хорошо бы съесть капельку горячего бульону, — сказал он с легким неудовольствием. — Я порядком продрог. Но раз бульона нет, значит нет. А где картофель?

— Некогда мне было сегодня возиться с картофелем. Я и так с ног сбилась. Вы не можете требовать, чтобы я каждый день все успевала и портила руки в холодной грязной воде, чистя картошку. Я к этому не привыкла. Вы довольствовались обедом попроще этого, когда заходили ко мне в «Герб Уинтонов», а с тех пор дела ваши не поправились. Ешьте что подают и будьте довольны!

Зрачки его расширились, губы сложились уже для сердитого ответа, но он с трудом сдержался, положил себе на тарелку колбасы и, взяв кусок хлеба, принялся за еду.

Нэнси постояла подле него, упершись руками в бедра, нагло рисуясь, в полном сознании своей власти над ним. Когда вошла бабушка, она круто повернулась и вышла в посудную.

Старуха подошла к столу и, сев, пробормотала себе под нос:

— Гм! Опять то же самое!

Но в ответ на это едва слышное замечание Броуди вдруг сразу окрысился на нее по-старому:

— А чем плоха колбаса? Если тебе не нравится простое хорошее мясо, можешь отправляться в богадельню, а если нравится, так заткни свою старую глотку!

Эти слова, а еще больше — взгляд, которым они сопровождались, сразу заставили старуху съежиться, и она трясущимися руками начала без особой жадности накладывать себе на тарелку колбасу, так неосторожно ею раскритикованную. Ее дряхлеющий, отуманенный мозг, неспособный понять все значение совершившихся вокруг нее перемен, понимал только то, что теперь ей было нехорошо, что ей давали меньше еды и еда была невкусная. С отвращением жуя слабыми челюстями, она осмеливалась выражать свое недовольство только быстрыми взглядами на дверь, за которой скрывалась Нэнси.

Некоторое время оба молча ели, потом Броуди вдруг перестал равнодушно жевать, поднял голову при звуке чьих-то легких шагов и,

устремив глаза на дверь в переднюю, настороженно ожидал входа Несси. Она вошла тотчас, и Броуди опять машинально принялся жевать, но глаза его повсюду следовали за нею.

Несси, ухватив под подбородком узкую резинку, сняла свою простенькую соломенную шляпку, бросила ее на диван, потом сняла синюю жакетку и положила ее рядом со шляпой, поправила светлые, как лен, косы и наконец села рядом с отцом. Она устало откинулась на спинку стула и оглядела стол с детски-капризным выражением, ничего не говоря, но чувствуя, что вид застывшего на тарелках жира отбил у нее и без того плохой аппетит.

Она бы с удовольствием съела кусочек жаркого или даже баранью котлетку, но сейчас ее уже тошнило при одной мысли о еде. Несси было пятнадцать лет — возраст, когда тело формируется и требует особенного внимания к себе, нуждается в более изысканной диете. Не зная всего этого, Несси, однако, инстинктивно чувствовала, что теперь, когда у нее бывают головокружения и те серьезные недомогания, о которых не принято упоминать, несправедливо предлагать ей такую еду, какую она видела сейчас на столе. Она сидела, не дотрагиваясь ни до чего, и отец, наблюдавший за ней все время с тех пор, как она вошла, сказал, не меняя выражения лица, но стараясь придать голосу убедительности:

— Да ешь же, дочка, нечего сидеть и ждать, пока обед остынет! Такая большая девочка, как ты, должна иметь волчий аппетит и набрасываться на еду, как будто готова съесть целый дом!

Его слова вывели Несси из задумчивости, и она сразу послушно принялась за еду, пробормотав в виде извинения:

— У меня голова болит, папа. Вот тут, над самой бровью, как будто стянута ремнем. — И она равнодушно указала на лоб.

— Полно, полно, Несси, — отвечал он, понизив голос, чтобы не слышно было в соседней комнате. — Постоянно ты жалуешься на головную боль! Помнишь рассказ о мальчике, который всегда кричал: «Волк! Волк!», так что, когда и в самом деле на него напал волк, никто ему не поверил? Пока не увижу ремень, не поверю, что он у тебя на голове.

— Нет, папа, правда, мне что-то так сильно давит лоб иногда, — кротко сказала Несси. — Знаешь, как тугая-тугая повязка.

— Ну, ну! Главное — мозг, а лоб — это пустяки, моя девочка. Ты должна благодарить судьбу, что мозгом она тебя щедро наградила.

Когда Несси лениво принялась за еду, он продолжал с преувеличенным одобрением:

— Вот и отлично! Ты не сможешь работать, если не будешь есть. Надо

есть все, что дают. Работа должна у такой молоденькой девчонки вызывать аппетит, а голод — лучший повар. — Он неожиданно метнул злобный взгляд на мать и добавил грубо: — Я рад, что ты не так привередничаешь, как некоторые другие.

Несси, довольная тем, что угодила отцу, робко расцветая от его похвалы, удвоила свои вялые усилия есть, но время от времени посматривала на него с каким-то стеснением, а Броуди ударился в воспоминания:

— В твоём возрасте, Несси, я готов был съесть целого быка, когда прибегал с поля обедать. Я был крепкий парнишка и ел что давали. И никогда не наедался досыта. Нет! Мне жилось не так, как тебе живётся, Несси, я был не такой счастливеец, как ты. Скажи-ка, — перешел он на конфиденциальный тон, — как твои дела сегодня?

— Очень хороши, — сказала она механически.

— Ты по-прежнему первая в классе? — настойчиво допытывался Броуди.

— Ах, папа! — с укором воскликнула Несси. — Мне уже надоело твердить тебе, что у нас теперь другой порядок. Я тебе десять раз объясняла, что теперь все решается на экзаменах каждые три месяца. — И с ноткой тщеславия в голосе она добавила: — Ты ведь знаешь, что я уже в старшем классе.

— Да, да, конечно, — согласился он поспешно. — Я все забываю, что к такой взрослой и ученой девице не следует приставать больше с детскими пустяками. Разумеется, нас с тобой теперь интересует только результат экзаменов. — Он сделал паузу, затем хитро спросил: — А сколько времени осталось до самого главного экзамена?

— Месяцев шесть, я думаю, — ответила неохотно Несси, продолжая через силу есть.

— Вот хорошо! И не так уж долго ждать, и достаточно времени, чтобы подготовиться. Ты не можешь пожаловаться, что тебя не предупредили. — Он понизил голос до шепота: — Я уже присмотрю за тем, чтобы мы с тобой, дочка, добились стипендии Лэтта.

К этому времени старая бабка, которая, не слушая разговора, сидела в ожидании следующего блюда и очень хотела, но боялась спросить: «А еще что-нибудь будет?» или «Это все, больше мы сегодня ничего не получим?» — наконец потеряла всякую надежду.

С заглушенным вздохом покорности она отодвинула стул, подняла непослушное тело и уныло заковыляла из кухни. Она уходила к себе в комнату с безутешным сознанием, что и в этом убежище найдет мало

отрадного, так как там ждут ее две пустые жестянки, как ограбленные и не наполненные вновь дарохранильницы, безмолвно свидетельствующие о давнишнем отсутствии ее любимого печенья и конфет.

Погруженный в созерцание дочери, Броуди не заметил ухода старухи. Он говорил почти заискивающим тоном:

— Но разве у тебя нет совсем ничего нового, Несси? Уж, наверное, кто-нибудь тебе что-нибудь да сказал! Разве никто не говорил тебе опять, что ты способная девочка? Я уверен, что ты за домашнюю работу получила самую лучшую отметку.

Он как будто умолял ее сообщить о какой-нибудь похвале, каком-нибудь лестном отзыве о ней, дочери Джемса Броуди. И когда Несси отрицательно покачала головой, глаза его омрачило внезапное подозрение и он яростно воскликнул:

— Уж не наболтал ли тебе чего о твоём отце кто-нибудь из этих щенков? Они, наверное, слышат всякую клевету от старших. Если кто-нибудь из них тебе что-нибудь наплетет, ты только мне скажи! И не верь им. Держи голову высоко, дочка. Помни, что ты — Броуди, и требуй к себе должного уважения. Покажи им, что значит быть Броуди. Да, это ты им докажешь, когда выхватишь стипендию Лэтта из-под самого носа у всех. — Он помолчал, затем с судорожно дергавшейся щекой накинудся на нее: — Наверно, этот грирсоновский щенок передавал тебе какие-нибудь гнусные сплетни?

Несси боязливо шарахнулась от него.

— Да нет же, нет, папа! Никто ничего не говорил. Все так добры ко мне. Миссис Пакстон встретила меня на улице и дала мне шоколадку!

— О, дала шоколадку!

Он помолчал, обдумывая это сообщение. Видимо, оно ему пришлось не по вкусу, так как он проворчал:

— В другой раз скажешь ей, чтобы она оставила при себе свои замечательные подарки! Скажи, что мы ни в чем не нуждаемся. Если ты такая лакомка, что тебе непременно нужны сласти, почему ты не попросила у меня? Разве ты не знаешь, что каждый сплетник в городе так и ждет случая нас унижить? «Он слишком беден, чтобы купить своей дочери какое-нибудь лакомство» — вот что мы услышим завтра, а когда это дойдет до площади, уже будут говорить, что я тебя голодом морю!

Его раздражение все росло, и он еще разжигал его в себе, выкрикивая:

— Тебе следовало бы быть умнее! Ведь все против нас. Но ничего! Пускай швыряют в нас грязью сколько им угодно. Пускай все против меня — я останусь победителем!

Прокричав все это, он поднял глаза и вдруг увидел, что Нэнси, вошедшая в кухню, наблюдает за ним, подняв брови, с критической и слегка насмешливой холодностью. Он сразу сжался и, словно уличенный в каком-нибудь проступке, опустил голову, когда она заговорила:

— Из-за чего такой галдеж? Я думала, здесь с кем-нибудь припадок, когда услышала, как вы орете.

Так как он не отвечал, она обратилась к Несси:

— О чем это вы тут шумите? Надеюсь, он не обижал тебя, курочка?

При появлении Нэнси в кухне Несси стало как-то не по себе, и, сначала побледнев, она теперь густо покраснела и лицом, и шеей. Она ответила тихо и с замешательством:

— О нет. Ничего... ничего такого не было.

— Рада это слышать. А то горланит так, что оглохнуть можно. У меня до сих пор еще в ушах звенит!

Она неодобрительно оглядела их и собиралась уже уйти, когда Броуди, косясь на Нэнси, заговорил с деланой беззаботностью:

— Если ты кончила обедать, Несси, беги на улицу и подожди меня там. Я сию минуту выйду, и мы пойдем вместе.

Когда девочка встала, собрала свои вещи и молча, с натянутым видом вышла, он повернулся, все еще не поднимая головы, исподлобья посмотрел на Нэнси сосредоточенно-страстным взглядом и сказал:

— Посиди со мной минутку, Нэнси. Я тебя совсем не видел сегодня за обедом. Не надо сердиться за то, что я пошумел. Тебе пора бы уже знать мои повадки. Я просто на минуту забылся.

Когда Нэнси неохотно села на стул, с которого только что встала Несси, он посмотрел на нее с удовлетворением собственника, точно вбирая ее всю в себя взглядом, и взгляд этот яснее слов говорил, как она стала нужна ему. Так давно в его доме не было молодой и цветущей женщины и его так сильно тяготила близость старого, бесполезного тела жены, что теперь это крепкое, молодое, беленькое создание вошло в его кровь, как жестокая лихорадка, и, удовлетворяя его бешеные, так долго сдерживаемые желания, почти поработило его.

— Ты не приготовила мне сегодня пудинга, Нэнси, — продолжал он, неуклюже беря ее руку в свою огромную лапу, — так не дашь ли ты человеку что-нибудь взамен, ну хотя бы один поцелуй? Тебя от этого не убудет, а мне твой поцелуй слаще любого блюда, которое ты можешь сготовить.

— Ох, Броуди, вечно у вас одно на уме, — отвечала она, тряхнув головой. — Неужели вы не можете для разнообразия поговорить о чем-

нибудь другом? Не забывайте, что вы здоровенный мужчина, а я только слабая девушка, которую этакому легко извести.

Но в ее укоризненных словах был оттенок игривости, который побудил Броуди крепче сжать ее пальцы и сказать:

— Ты извини, если я с тобой был груб, девочка. Я этого не хотел. Придвинься ко мне поближе. Сядь сюда!

— Что! — взвизгнула она. — Среди бела дня? С ума ты сошел, Броуди? И это после такой ночи, как сегодня! Ах ты, большой обжора! Да ты меня в тень обратишь! Нет, нет, тебе не удастся извести меня, как ты извел ту, другую.

Она мало походила на тень, толстощекая, крепко сбитая, еще располневшая за эти полгода праздной и сытой жизни.

Прекрасно сознавая свою власть над ним, она чувствовала, что Броуди уже утратил для нее свое первоначальное обаяние, что та непонятная сила, которая привлекла ее к нему, истощена пьянством и ее ласками. К тому же у него не хватало денег на удовлетворение всех ее прихотей, он был стар, угрюм и был ей не пара. С чувством, похожим на тайное презрение, она сказала медленно, словно взвешивая каждое слово:

— Я могла бы, впрочем, тебя поцеловать. *Могла бы*, понимаешь? Но что ты мне дашь за это?

— Разве я мало еще дал тебе, женщина? — отвечал он хмуро. — Я взял тебя в дом, ты ешь то же, что и я, и я продал немало вещей, чтобы потакать твоим прихотям. Не требуй невозможного, Нэнси.

— Послушать тебя, так можно подумать, что ты подарил мне целое состояние! — воскликнула она легким тоном. — Что же, я не стою этого, по-твоему? Но я не прошу тебя продавать больше ни булавок, ни цепочек, ни картин. Мне нужно только несколько шиллингов на карманные расходы, чтобы я могла завтра сходить в гости к моей тетушке Энни в Овертон. Дай мне пять шиллингов, и я тебя поцелую.

Он недовольно выпятил нижнюю губу.

— Ты опять уходишь завтра? Вечно ты уходишь и оставляешь меня одного. Когда ты вернешься?

— Вы, кажется, не прочь бы привязать меня к ножке стола! Я вам не рабыня. Я только экономка здесь.

«Вот тебе!» — подумала она, сделав этот дерзкий намек на то, что он до сих пор не выразил намерения жениться на ней.

— Не на всю же ночь я уйду! Вернусь часов в десять. Дай мне две полукроны, и, если ты будешь вести себя как следует, я, может быть, буду даже ласковее с тобой, чем ты того заслуживаешь.

Понукаемый ее настойчивым взглядом, Броуди сунул руку в карман и нащупал не горсть соверенов, как бывало, а несколько мелких монет, из которых он выбрал столько, сколько требовала Нэнси.

— Ну вот, получай, — сказал он, отдавая ей деньги. — Ты знаешь, что, как ни трудно мне сейчас, я ни в чем тебе не могу отказать.

Она вскочила, торжествующе вертя в руках монеты, и готова была уже убежать с ними, но он, тоже встав, ухватил ее за плечо:

— А как же уговор? Забыла? Или ты совсем меня не любишь?

Она тотчас приняла серьезный вид, подняла к нему лицо и, широко открыв глаза, с притворным простодушием прошептала:

— Конечно люблю. Ты думаешь, я была бы здесь, если бы тебя не любила! Выбрось из головы такие глупые мысли! Ты бы еще выдумал, будто я собираюсь сбежать от тебя!

— Нет, этого я бы не допустил, — возразил он, с бешеной страстью притягивая ее к себе.

Прижимая ее небольшое, покорное тело к своему, он чувствовал, что в ней — утоление мук его раненой гордости, забвение всех унижений. А Нэнси, отвернув лицо от его груди, думала о том, как смешна его доверчивая влюбленность, как ей хочется кого-нибудь помоложе, не столь необузданного, не столь ненасытного и такого, который захочет на ней жениться.

— Женщина, и что это есть в тебе такое, от чего у меня сердце готово выскочить из груди, когда я тебя обнимаю? — сказал он хрипло, держа ее в объятиях. — Мне тогда уже ничего не нужно, кроме тебя. И хочется, чтобы это продолжалось вечно.

Слабая усмешка пробежала по скрытому от его глаз лицу Нэнси, и она отозвалась:

— А почему бы этому и не продолжаться? Разве я уже начинаю тебе надоедать?

— И что ты только говоришь! Ты мне милее, чем когда-либо. — И, помолчав, он добавил: — Ведь ты не только ради денег, Нэнси?..

Нэнси сделала негодующую мину и, воспользовавшись случаем, выскользнула из его рук.

— Как вы можете говорить такие вещи! Придет же в голову! Если вы не перестанете, я сию же минуту швырну вам их обратно!..

— Нет, нет, — перебил он торопливо, — я ведь это не в укор, а так... Бери их на здоровье, а в субботу я тебе принесу какой-нибудь подарок.

По субботам он получал жалованье за неделю. И собственные слова напомнили ему вдруг о его подчиненном положении, о перемене в его

судьбе. Лицо его снова омрачилось, сразу постарело, и он сказал, потупив глаза:

— Ну, надо идти. Несси меня дожидается.

Вдруг новая мысль мелькнула у него.

— А где болтается сегодня Мэт?

— Не знаю. — Нэнси подавила зевок, как будто полное отсутствие интереса к этому вопросу нагоняло на нее сон. — Он ушел сразу после завтрака, наверное, вернется только к ужину.

Броуди с минуту смотрел на нее, потом сказал медленно:

— Ну, я тоже ухожу.

— Идите, идите! — воскликнула она весело. — Да смотрите, из конторы приходите прямо домой. Если вы по дороге выпьете хотя бы одну рюмку, я запущу вам в голову чайником, так и знайте!

Броуди посмотрел на нее из-под насупленных бровей покорным пристыженным взглядом, таким неожиданным на этом угрюмом, изрезанном морщинами лице. Успокоив Нэнси кивком головы, он в последний раз стиснул ей руку у плеча и вышел.

Перед домом, во дворе, который теперь густо зарос сорной травой и лишился своего нелепого украшения — медной пушки, проданной на слом три месяца тому назад, терпеливо дожидалась Несси, прислонясь к железному столбу калитки всем своим худеньким, еще нескладным телом. Увидев отца, она откачнулась от столба, и, не обменявшись ни словом, оба пошли рядом, как обычно, к тому месту в конце Железнодорожной улицы, где дороги их расходились.

Броуди направлялся в контору верфи, Несси — обратно в школу. Это ежедневное путешествие вдвоем с дочерью вошло теперь у Броуди в неизменный обычай. По дороге он обычно подбадривал и увещевал ее, внушая, что она должна добиться блестящего успеха, которого он жаждал.

Но сегодня он не говорил ничего. Шел, постукивая толстой ясеновой палкой, пальто висело на нем мешком, шапка, вылинявшая и нечищенная, была сдвинута назад, — печальное и карикатурное подобие прежнего надменного Броуди. Шел молчаливый, замкнувшийся в себе, так поглощенный своими мыслями, что заговорить с ним было невозможно. Он теперь на людях всегда уходил в себя, смотрел прямо вперед, не поворачивая головы, никого не видя и, таким образом, создавая в своем воображении широкие безлюдные улицы, где не было любопытных, насмешливых глаз, где был только он один.

Когда они дошли до обычного места расставания, он остановился — странная, приковывающая внимание фигура — и сказал девочке:

— Ну, беги и старайся вовсю, Несси. Налегай! Помни то, что я тебе всегда твержу: «Если делать что, так делать хорошо». Мы *должны* добиться этой стипендии, понимаешь? Вот тебе. — Он сунул руку в карман. — Вот тебе пенни на шоколад. — Он чуть-чуть усмехнулся. — Ты со мной рассчитаешься, когда получишь стипендию в университете.

Несси взяла монету с застенчивой благодарностью и пошла своей дорогой, чтобы заниматься еще три часа в душном классе. Пусть она не завтракала утром и очень мало ела днем, зато ей предстояло, по крайней мере, насладиться и подкрепиться перед уроками богатейшим угощением — липкой шоколадкой с малиновым кремом внутри!

С уходом Несси всякий след напускного оживления исчез с лица Броуди, и скрепя сердце он продолжал путь в контору, которую ненавидел. Подходя к верфи, он немного замедлил шаг, поколебался, но затем нырнул в дверь трактира «Бар механика», где в общем зале, переполненном рабочими в молескиновых штанах и бумажных рабочих куртках, никого не замечая, словно он был один, проглотил изрядную порцию виски, потом торопливо вышел и, сжав губы, чтобы не слышно было запаха спирта, мрачно вошел в подъезд дома «Лэтта и К^о».

II

Вечером следующего дня, когда Нэнси ушла в гости к тетке в Овертон, а Мэта, как всегда в эти часы, дома не было, в кухне дома Броуди царил полнейший семейный уют. Так, по крайней мере, казалось хозяину дома, когда он, развалясь в своем кресле, наклонив голову набок, скрестив ноги, с трубкой в зубах, держа в одной руке стакан своего любимого напитка, горячего виски с сахаром, созерцал Несси, которая сидела за столом, согнувшись над учебником и сосредоточенно нахмутив светлые брови, затем переводил взгляд на мать, которая по случаю временного отсутствия ненавистной «втируши» не ушла к себе в комнату и сидела скорчившись в своем любимом уголке у пылавшего огня. На щеках Броуди выступил слабый румянец, губы, посасывавшие трубку, были мокры и словно припухли, глаза, в эту минуту задумчиво устремленные на содержимое стакана, красноречиво увлажнились. С ним произошло какое-то непонятное превращение: все горести были забыты, душа полна довольства, вызванного мыслью о том, какое счастье для человека провести вечер в кругу своей семьи.

Собственно, он теперь никогда не уходил из дому по вечерам, да и вообще ходил только на службу, избегая улиц и клуба, изгнанный из маленькой гостиной добродетельной Фими, так что сидение дома у камина для него как будто не должно было представлять такого редкого события и вызывать такое необычайное чувство умиления. Но сегодня он знал, что не будет призван к ответу домоправительницей за опоздание к ужину, заходил кое-куда по дороге со службы и теперь еще более размяк от нескольких дополнительных порций виски и предвкушения новых.

Грусть от разлуки с Нэнси умерялась приятным сознанием непривычной свободы и надеждой на свидание с ней вечером, так что сегодня состояние блаженства, в которое он искусственно приводил себя, наступило раньше обычного, и служба в конторе, обозреваемая с этого кресла в кухне, сквозь прозрачный янтарь виски с сахаром, представлялась ему синекурой, вынужденный и монотонный труд изо дня в день — попросту досужим развлечением: ему уже казалось, что работа эта — прихоть и он может, когда пожелает, бросить ее. Он очень рад, что покончил с торговлей, неблагородным занятием, которое никогда не соответствовало ни его характеру, ни происхождению. Но скоро он оставит и службу на верфи ради более видного и выгодного поста, к изумлению

всего города, собственному удовлетворению и восторгу Нэнси. Его Нэнси — да, вот это любовница для настоящего мужчины! Подумав о ней, он выпил за ее здоровье и с энтузиазмом пожелал ей весело провести время у тетки в Овертоне. Розовый туман разлился по неряшливой, запущенной комнате, окрасил грязные занавеси, заслонил темный четырехугольник стены в том месте, где раньше висела исчезнувшая неизвестно куда гравюра Белла, румянил бледные щеки Несси и смягчал даже увядшее, злое лицо старухи. Броуди, смакуя долгий глоток, заметил из-за края стакана пристальный взгляд матери и, переведя дух после выпитого залпом виски, воскликнул глумливо:

— Ты, кажется, хотела бы быть в эту минуту на моем месте, старая карга? По твоему жадному взгляду видно, что ты жалеешь, зачем это пошло в мой желудок, а не в твой! Так и быть, получай! Но предупреждаю, на случай, если ты не знаешь: это почти чистое виски, сахар прибавляется только для вкуса и воды как раз в меру, то есть очень немного!

Он оглушительно захохотал, довольный собственным остроумием, так что Несси испуганно подняла глаза, но, встретясь с ним взглядом, тотчас опустила их, когда Броуди закричал:

— Занимайся своим делом, маленькая лентяйка! Зачем теряешь время даром? Для того ли я плачу за твое учение, чтобы ты сидела и паялила глаза на людей, когда тебе следует смотреть в книги!

Потом, снова обратившись к матери, он важно покачал головой и словоохотливо пояснил:

— Я должен ее подтягивать! Это единственный способ бороться с той долей лени, которая у нее от матери. Но можешь на меня положиться: несмотря на это, я сделаю из нее ученую. Мозги у нее на месте, а это главное. — Он снова отхлебнул из стакана и шумно запыхтел трубкой.

Старуха с кислой миной посмотрела на него, охватив одним взглядом и его покрасневшее лицо, и стакан виски в руке, потом вдруг спросила:

— Куда это ее... куда это она ушла сегодня?

Броуди с минуту пристально смотрел на нее, потом громко расхохотался.

— Это ты про Нэнси, старая ведьма? Она и тебя, видно, околдовала, что ты боишься даже имя ее выговорить вслух?

После некоторой паузы, во время которой он сохранял насмешливую серьезность, он продолжал:

— Не хотелось бы говорить тебе, но раз уж тебя это интересует — так и быть, скажу: она пошла на собрание Общества воздержания.

Он весь затрясся от хохота, а она, неодобрительным оком взирая на это

бурное веселье, отозвалась со всей колкостью, на какую у нее хватило смелости:

— Не вижу тут ничего смешного. Если бы она ходила на эти собрания, когда была помоложе, она бы, может быть... — Старуха замолчала, почувствовав на себе взгляд сына и испугавшись, что зашла слишком далеко.

— Ну, валяй дальше, — поощрил он ее с иронией. — Кончай, раз начала. Можешь обо всех нас высказать свое мнение, если тебе этого хочется. Есть люди, на которых ничем не угодишь. Ты была недовольна мамой, теперь начинаешь придирается к моей Нэнси! Ты, наверное, воображаешь, что могла бы сама вести хозяйство? Как же! В последний раз ты состряпала такой обед, что чуть не отравила меня.

Он насмешливо поглядывал на нее сверху, придумывая, как бы получше над ней подшутить. Вдруг его осенила дикая идея, которая так ему понравилась, что он восторженно хлопнул себя по ляжке. Ага, ей завидно, что он пьет, она смотрит на его виски во все глаза, как кот на сливки, рада бы вылакать все сама, если бы можно было! Ладно, она получит то, что хочет, пусть знает, как чернить других людей! Он ее напоит, напоит в стельку, виски в доме большой запас, да, впрочем, очень немного и нужно, чтобы оно бросилось в голову такой старой женщине. Предвкушая, какая это будет потеха, он даже закачался в порыве подавляемого веселья и снова ударил себя по ноге. Черт побери, Джемс Броуди всегда придумает как раз то, что надо!

Он сразу перестал смеяться, сделал серьезное лицо и, лукаво сощурив глаза, сказал:

— Пожалуй, нехорошо было с моей стороны так говорить, мать. Я вижу, это тебя крепко задело за живое. У тебя совсем расстроенный вид. Не хочешь ли капельку виски, это тебя подбодрит? — И, когда она быстро, подозрительно посмотрела на него, он с великодушной миной кивнул головой и продолжал: — Да, да, я тебе это серьезно предлагаю. С какой стати я пью его, а ты нет? Ступай, принеси себе стакан.

Тусклые глаза старухи засветились жадностью, но, слишком хорошо зная его привычку насмехаться, она все еще не верила, не решалась идти, боясь, что вот сейчас взрыв хохота принесет с собой разочарование. Облизывая губы, она сказала дрожащим голосом:

— А ты меня не дурачишь, нет?

Он опять энергично покачал головой, на этот раз отрицательно, и, достав бутылку, для удобства поставленную подле кресла, соблазнительно повертел ею перед глазами бабушки.

— Смотри! Тичеровская «Роса Шотландии». Ну, живее! Беги за стаканом!

Бабушка поднялась торопливо, как будто действительно собираясь бежать, и отправилась в посудную, трепеща при мысли об ожидавшем ее удовольствии. Она не брала в рот ни капли со дня похорон, да и тогда это было только вино, а не настоящий, согревающий кровь напиток. Она вернулась, протянула стакан — так быстро, что сын едва успел сдержать новый прилив веселости при виде того, как она торопливо семенила из посудной. Налив ей щедрую порцию, он сказал заботливо и степенно:

— Такому старому человеку, как ты, полезно иногда выпить. Смотри, я даю тебе много, и не слишком разбавляй его водой.

— Ах, нет, Джемс, — запротестовала она. — Не давай мне слишком много. Ты знаешь, я не охотница до виски, так только — самую капелечку, чтобы согреть нутро.

При последних ее словах неожиданное воспоминание, как удар бича, нарушило веселость Броуди, и он вдруг накинулся на нее:

— Не говори при мне этих слов! Они мне слишком напоминают одного человека, которого я не больно люблю. Зачем ты говоришь, как эти противные втируши и лицемеры?

Пока она торопливо пила свою порцию, боясь, как бы сын не отнял ее, Броуди смотрел на нее сверкающими глазами, потом, движимый мстительным чувством, крикнул:

— Пей еще! Давай стакан, налью!

— Нет, нет, — отнекивалась она мягко. — Хватит и этого. Оно меня хорошо согрело, и во рту остался приятный вкус. Спасибо, Джемс, больше не надо.

— Ты со мной не спорь! — закричал он грубо. — Чего это ради ты отказываешься от хорошего виски? Ты просила его — и будешь пить, даже если бы мне пришлось влить его насильно в твою старую глотку. Подставляй стакан! Пить — так пить как следует, по всем правилам.

Удивленная старуха повиновалась, и, когда он снова щедро налил ей, она стала пить уже не торопясь, смакуя, причмокивая губами и задерживая виски на языке, бормоча между глотками:

— Вот это настоящий напиток. Очень любезно с твоей стороны, Джемс, уделить мне так много. Никогда еще не пила столько сразу. Непривычно мне это.

Она молчала, пока в стакане еще оставалась жидкость, затем вдруг выпалила:

— Ох, так и щиплет язык, право! Честное слово, я опять чувствую

себя молодой. — Она захихикала. — А знаешь, что мне вспомнилось? — Она захихикала громче.

Ее веселое настроение вызвало у Броуди хмурую усмешку.

— Да? — протянул он. — Что же это тебе вспомнилось, старуха? Скажи, посмеемся, если смешно.

Она засмеялась еще громче и закрыла сморщенное лицо узловатыми руками в припадке безудержного веселья. Наконец жеманно открыла один глаз, наполненный пьяными слезами, и шепнула, задыхаясь:

— Мыло! Я вспомнила о мыле.

— О мыле! Вот как, — передразнил он ее. — Очень кстати! Что, помыться захотелось? Смею тебя уверить, что тебе давно следовало это сделать.

— Нет, нет, — хихикала она. — Не оттого. Просто я вспомнила, что делали женщины в те годы, когда я была еще молода, если им хотелось выпить, чтобы хозяин не знал об этом. Они... ха-ха... они брали четверть пинты у сельского лавочника и просили записать на счет как мыло... мыло! — Она совсем изнемогала от смеха при мысли об этой тонкой уловке и опять закрыла лицо руками. Но через минуту открыла его, посмотрела на сына и добавила: — Я-то никогда этого не делала. Нет! Я была степенная женщина и умела наводить чистоту в доме без *такого* мыла!

— Ну, ну! Похвастайся! — фыркнул он. — Расскажи, какая ты была примерная женщина! Я послушаю.

— Да, в то время мне жилось хорошо, — продолжала она, уйдя в воспоминания и в своем опьянении утратив весь страх перед сыном. — Но все же со многим приходилось мириться. Отец твой нравом походил на тебя как две капли воды. Такой же заносчивый, а уж вспыльчив — настоящий порох! Придет, бывало, ночью и, если ему что не по вкусу, сразу накинется на меня. Но я себя в обиду не давала, нет! — Она помолчала, взгляд ее стал задумчив. — Помню все, как будто это было вчера. Ох и горд же он был, горд, как сам дьявол!

— Что ж, разве ему нечем было гордиться? — воскликнул Броуди резко, убеждаясь, что виски подействовало на мать совсем не так, как он ожидал, и она перестала быть забавной. — Разве ты не знаешь, из какого рода он происходил?

— Да, знаю, как же, слыхала, — сказала она с пренебрежительной усмешкой, забыв в своей злобе всякую осторожность. — Он разыгрывал из себя знатного барина — то ему подай, это принеси — и одевался, как какой-нибудь герцог, и все толковал о своих предках да о правах, которые он мог бы иметь. Много раз слыхала я от него о его старинном родстве с

Уинтонами... но я часто сомневаюсь, верил ли он в это сам. Разное бывает родство, — добавила она с подавленным смешком, — и думается мне, что его предки породнились с Уинтонами не в палатах, а на задворках!

Броуди смотрел на нее пораженный, не веря своим ушам, и наконец, когда к нему вернулся дар речи, закричал:

— Молчать! Молчать, старая дура! Кто ты такая, чтобы так говорить о Броуди? И ведь ты сама теперь носишь это имя. Как смеешь ты чернить его в моем присутствии! — Он схватил бутылку за горлышко, словно хотел швырнуть ею в мать.

— Полно, полно, Джемс, — пьяно лепетала она, ничуть не смутившись и поднимая в знак протеста неуверенную, дрожащую руку. — Будь же рассудителен! Я не из тех птиц, что подтачивают собственное гнездо, и все это говорится так, в семейном кругу. Ты, наверное, знаешь, как и я, что вся эта история началась очень, очень давно, когда Дженет Дрегхорн, дочка старшего садовника, спуталась с молодым Робертом Броуди, который унаследовал титул герцога только много лет спустя. И никогда они не были связаны ничем хотя бы похожим на брак.

— Придержи свой грязный язык, старая пустомеля, или я вырву его, — зарычал Броуди. — Сидит тут и пачкает мое имя! Да ты помнишь ли, кто ты такая? Для тебя было счастьем, что мой отец женился на тебе. Ты... ты... — Он заикался, так его душил гнев, и с перекошенным лицом смотрел на мать.

Она уже совсем опьянела и, не замечая ни его бешеного гнева, ни испуганного взгляда Несси, продолжала лепетать, бессмысленно ухмыляясь:

— Счастьем! Может быть, да, а может быть, и нет... Если бы ты знал все, ты бы, может быть, считал, что это было счастьем для тебя...

Она разразилась визгливым хохотом, и вдруг ее вставные зубы, всегда плохо державшиеся, выпятились из-за губ, как зубы заржавшей лошади, и от сотрясения, вызванного последним неудержимым взрывом веселья, выскочили изо рта и рассыпались по полу. Это было до известной степени счастливой случайностью, так как Броуди непременно ударил бы ее; теперь же оба смотрели на разбитую челюсть, лежавшую перед ними на полу, как рассыпанные миндалины: мать — с уродливо запавшими щеками и вытянувшимся до неузнаваемости лицом, сын — с тупым удивлением.

— Лежат перед тобой, как бисер перед свиньей, — засмеялся он наконец. — Так тебе и надо за твою чертовскую наглость!

— Мои зубы, такие хорошие зубы! Я носила их сорок лет! — причитала она, сразу отрезвев, с трудом произнося слова. — У них была

такая крепкая пружинка! Что я теперь буду делать? Я не смогу есть! Я и говорить почти не могу!

— Вот и отлично! — проворчал Броуди. — По крайней мере, не будешь чесать попусту свой лживый язык. Поделом тебе!

— Их не починить! — плакалась она. — Но ты бы мог купить мне новую челюсть, Джемс!

Ее полные отчаяния глаза все еще были устремлены на пол.

— Я ведь не смогу прожевывать мясо, и от еды не будет никакой пользы. Обещай, что ты купишь мне другую челюсть, Джемс.

— Нет, на это не надейся! — отрезал он. — Для чего новые зубы такой старухе, как ты? Ведь ты уже одной ногой в могиле! Долго не протянешь. Считай, что тебя Бог наказал!

Она заплакала, ломая костлявые руки, бессвязно бормоча:

— Что я буду делать? Мне никак без них не обойтись! Я так давно их ношу... Что будет со мной? Во всем виновато виски. Они никогда у меня раньше не выскакивали. Пропаду я без них!

Сын, хмурясь, наблюдал ее смешное отчаяние, потом, отведя глаза, вдруг заметил вытянувшееся личико Несси, следившей за всей этой сценой испуганно, но с напряженным вниманием.

— Чего опять уставилась? — крикнул он на нее. (Настроение его резко изменилось после замечаний матери.) — Почему ты не можешь заниматься своим делом? Много ты этак успеешь! Ну, что такое с тобой?

— Я не могу заниматься как следует при таком шуме, папа, — ответила она боязливо, опуская глаза. — Он мне мешает. Мне нелегко сосредоточиться, когда разговаривают.

— Ах, вот оно что! Так что же, в доме довольно места. Если в кухне тебе недостаточно удобно, посадим тебя в гостиной. Там ты ни звука не услышишь. И не будет у тебя предлога бездельничать.

Он встал и, раньше чем Несси успела ответить, подошел, слегка пошатываясь, к столу, сгреб все ее книги в одну беспорядочную охапку, зажал их в своих громадных руках, повернулся и важно направился к дверям, крича:

— В гостиную! Лучшую комнату в доме для моей Несси! Там тебе никто не помешает, и ты будешь работать усердно! Если ты не можешь заниматься в кухне, будешь каждый вечер отправляться к гостиную.

Несси послушно встала и пошла за ним в холодную, пахнущую плесенью гостиную, где он, натываясь в темноте на мебель, бросил наконец ее книги на стол и зажег газ. Слабый свет, мерцая сквозь матовый колпак, заскользил по холодной, ничем не покрытой поверхности красного стола,

осветил пустой, давно не топленный камин, весь холодный неуют заброшенной комнаты, одетой саваном пыли, подавляющую фигуру Броуди и съжившуюся фигурку девочки.

— Ну вот ты и на новом месте! — воскликнул он громко, уже опять повеселев. — И все к твоим услугам. Придвинь сюда стул и начинай. Не говори, что я не забочусь о тебе.

Он положил два пальца на стопку книг и раскидал ее по всему столу, еще больше перемешав и спутав все.

— Ну вот, смотри, сколько у тебя тут места! Что ж молчишь? Не можешь сказать отцу спасибо?

— Спасибо, папа, — прошептала она покорно.

Он благодушно смотрел, как она уселась и сгорбила худенькие плечи, делая вид, что читает. Потом с преувеличенной осторожностью, на цыпочках, вышел из комнаты и, снова просунув голову в дверь, сказал:

— Я приду через минуту посмотреть, как у тебя идет работа.

Он воротился в кухню, очень довольный собой: для Несси сделано как раз то, что нужно. Он-то уж сумеет заставить ее работать! Мысленно поздравляя себя, он снова уселся в кресло и вознаградил себя новым стаканом виски. Только после этого он вспомнил о матери, которая по-прежнему сидела неподвижно, как человек, пришибленный тяжелой утратой, с тупым взглядом, словно какая-то сила высосала из нее всю жизнь.

— А, ты еще здесь? — обрушился он на нее. — Минуту назад ты так бойко работала языком, а теперь что-то уж больно присмирела. Я думал, ты уже ушла высыпаться после всех твоих трудов. Ступай, ступай! Мне до смерти надоело на тебя глядеть. — И так как она вставала медленно, он закричал: — Живей! Чтоб я тебя здесь не видел!

Пока он был в гостинной, она собрала с пола обломки челюсти и теперь, крепко зажав их в руке, вышла из кухни, сгорбившись, с убитым видом. Как это было не похоже на ту веселую стремительность, с которой она недавно побежала за стаканом!

Оставшись один, Броуди еще усерднее стал прикладываться к бутылке, топя в виски неприятное воспоминание о присутствии матери и горький осадок, оставшийся от ее разоблачений. Он знал хорошо, что в ее смущающих старческих воспоминаниях крылась печальная правда, но, как всегда, предпочитал обманывать себя, сомневаясь в верности ее догадок. К этому его упрямый и тяжеловесный ум всегда был склонен, а теперь, казалось, еще больше, благодаря щедрым возлияниям. И скоро он забыл весь разговор, все, кроме смешного и неожиданного происшествия с

зубами, и, блаженно развалиясь в кресле, пьянел все больше и больше.

Чем веселее ему становилось, тем больше он тяготился своим одиночеством и, нетерпеливо покачивая ногой, беспрестанно поглядывал на часы, ожидая возвращения Нэнси. Но было только девять часов, и он знал, что Нэнси вернется не раньше десяти, а стрелки двигались с такой монотонной медленностью, несмотря на его усилия ускорить их движение! Он встал, начал ходить по комнате. У него уже мелькала дикая мысль прогуляться по улицам города, ворваться в клуб и смутить собравшуюся там компанию несколькими грозными, умело подобранными словами. Но хотя эта мысль очень ему улыбалась, он в конце концов отверг ее, боясь, что Нэнси это не понравится. Его мрачное, угнетенное настроение рассеялось, и, неуклюже слоняясь по кухне, с всклокоченными волосами, в измятой одежде, висевшей на нем еще безобразнее, чем обычно, с болтавшимися, как цепи, руками, он жаждал претворить в действие свое радостное возбуждение. Прошлое было на время забыто, все внимание его сосредоточилось на ближайших нескольких часах. Он снова был самим собой. Но время от времени, когда звук его шагов казался ему слишком громким, он останавливался, боясь обеспокоить Несси, и, покачив головой с укором самому себе, начинал шагать тише, с преувеличенной осторожностью.

В конце концов ему в кухне стало тесно. Он машинально вышел и стал бродить по дому. Поднялся по лестнице, прошел через площадку, открыл дверь в комнату матери и, бросив ей колкое замечание, хихикнул про себя; вошел в спальню Мэта, где с отвращением посмотрел на батарею флаконов и баночек с помадой для волос, потом, зажигая повсюду газ, так что весь дом засиял огнями, очутился наконец у себя в спальне. Здесь, покорный какому-то непреодолимому влечению, он медленно подошел к комоду, где Нэнси хранила свои вещи, и, ухмыляясь хитро и вместе сконфуженно, начал вынимать и рассматривать тонкое вышитое белье, купленное Нэнси на деньги, которые он давал ей. Он брал в руки одну за другой все эти красивые, обшитые кружевами вещи, гладил мягкое полотно, перебирал тонкий батист, сжал в большом кулаке длинные чулки, мысленно облекая в эти надушенные одежды ту, которой они принадлежали. В белизне белья его воспаленные глаза видели алебастр тела, бывшего для него источником восторгов и наслаждения. Казалось, ткань, которую он сейчас держал в руках, заимствовала свой цвет от той молочно-белой кожи, которую она одевала. Любуясь здесь в одиночестве этими нарядными принадлежностями туалета, он походил на старого сатира, который, наткнувшись на сброшенный нимфой наряд, схватил его и созерцанием

разжигает в себе притупленную старостью похоть.

Наконец он задвинул ящик, нажав на него коленом, и крадучись вышел из спальни, тихонько закрыв за собой дверь. Но как только он очутился за дверью, стыдливо-лукавое выражение слетело с его лица, и он с видом человека, успешно осуществившего некое секретное предприятие, шумно потирая руки, надувая щеки, сошел вниз. В передней открыл дверь в гостиную и с шутливой важностью прокричал:

— Разрешите войти, мэм? Или вы не принимаете сегодня?

И, не ожидая ответа, которого, конечно, и не дождался бы, вошел в гостиную, говоря тем же тоном:

— Я обошел дом, проверил, все ли в порядке, и принял меры, чтобы тебя никакие воры не могли потревожить. Все окна освещены! Пускай эта замечательная иллюминация покажет всем гнусным скотам, что в доме Броуди живет весело.

Несси не поняла, что он хочет сказать, и смотрела на него своими голубыми молящими глазами, которые казались теперь еще больше на озябшем, вытянутом личике. Сложив дрожащие от холода руки, поджав под себя, чтобы согреть их, ноги в тонких чулках, она уже не способна была ощущать ничего, кроме того, что у нее коченеют руки и ноги. К тому же в ее впечатлительную душу настолько врезалась сцена на кухне, что занятия совсем не подвигались вперед, и оттого она со страхом смотрела на отца.

— Ну, каковы твои успехи? — спрашивал между тем Броуди, пытливо глядя на нее. — Здесь тебе уже ничего не мешает? Сколько ты выучила за то время, что сидишь тут?

Она виновато съежилась, зная, что не выучила ничего, и не умея ничего скрыть от отца.

— Я не очень много успела, папа, — сказала она смиренно. — Здесь так холодно!

— Что? Не много успела? А я-то так старался не шуметь, чтобы тебе не помешать. И о чем ты только думаешь?

— Это из-за холода в комнате, — повторила она. — Наверное, на дворе мороз.

— Опять тебе комната не угодила! — воскликнул он, с пьяной серьезностью поднимая брови. — Разве ты не просила, умоляла перевести тебя сюда? Разве я не перенес тебе сюда собственными руками все книги, и зажег газ, и усадил тебя? Ты сама хотела сюда, а теперь жалуешься! — Его красное лицо выразило величайшее неодобрение и огорчение. — Не много успела! Ты бы усерднее шевелила мозгами, вот дело бы и пошло на лад!

— Если бы тут затопить, — решила робко сказать Несси, заметив,

что он в довольно миролюбивом настроении. — Смотри, я вся дрожу, меня знобит.

Слова ее дошли до его отуманенного мозга, затронули в нем какую-то ответную струну. Он встрепенулся и воскликнул с настоящим пафосом:

— Моя Несси дрожит! Я стою себе, горячий, как только что поджаренные гренки, а моя родная маленькая дочка мерзнет и просит затопить! Отчего же нет? Это разумно. Сию минуту здесь будет огонь, хотя бы мне пришлось нести его собственными руками. Сиди себе спокойно и жди — увидишь сейчас, что твой отец готов сделать для тебя.

Он предостерегающе поднял палец, запрещая ей двинуться с места, тяжело ступая, вышел из гостиной, пошарил в темноте среди угля в чулане за посудной и нашел то, что искал, — длинный железный совок. Размахивая им, как трофеем, он направился к очагу в кухне, опустил решетку и, набрав в совок пылающую кучку докрасна раскаленных углей, понес ее торжественно в гостиную, оставляя за собой дым. Здесь он бросил угли в холодный камин и, воскликнув многозначительно: «Погоди минутку! Одну минутку! Это еще не все», снова исчез, чтобы затем вернуться с большой охапкой щепок в одной руке и совком, опять полным углей, в другой. Тяжело опустившись на колени, он положил щепки на угли и, лежа на животе перед камином, принялся шумно раздувать огонь, пока, к его удовольствию, щепки не вспыхнули. Тогда он, кряхтя, поднялся и, сев на пол у камина, похожий на разыгравшегося в стойле быка, стал подбрасывать в огонь уголь, пока не образовалась высокая, громко потрескивавшая пирамида огня. Обе руки и одна из его пылавших щек были испачканы углем, брюки на коленях измазаны сажей, но он, не замечая этого, с величайшей гордостью любовался результатом своих усилий и крикнул Несси:

— Ну, смотри! Что я тебе говорил! Вот тебе и огонь — да такой, что быка на нем изжарить можно! При таком огне озябнуть уж никак нельзя. Теперь — за работу! Немного найдется отцов, которые так заботятся о своей дочери, — смотри же, чтобы хлопоты мои не пропали даром. Налегай на ученье!

После этого увещания он продолжал сидеть на полу, любуясь вспышками пламени и по временам бормоча про себя:

— Прекрасный огонь! Вот здорово горит!

Но наконец встал, покачиваясь, отбросил ногой в сторону совок, пробурчал: «Пойду принесу свое виски да посижу с тобой» — и вышел из гостиной. Несси по его необычному поведению давно поняла, что отец снова пьян, и, когда он уходил, бросила ему вслед быстрый, полный испуга

взгляд. Она решительно ничего не выучила за весь вечер, и необыкновенное поведение отца начинало ее сильно тревожить. Его обращение с ней в последнее время отличалось, правда, некоторыми странностями — неизменные понукания к занятиям перемежались вспышками неожиданной и необъяснимой снисходительности, но никогда еще он не казался ей таким странным, как в этот вечер. Когда он воротился с бутылкой, Несси, услышав его шаги, выпрямилась и зашевелила бледными губами, делая вид, что усердно зубрит, но не видя страницы, которая была раскрыта перед ней.

— Вот и хорошо, — пробормотал Броуди, — я вижу, ты взялась за работу. Я сделал для тебя все, что нужно, теперь ты сделай для меня кое-что. А расплатишься со мной за все разом, когда получишь стипендию.

Он уселся в кресло у камина и снова принялся за остатки виски. Вечер казался ему долгим-долгим, как год, но ведь он должен скоро окончиться объятиями Нэнси! Броуди еще больше развеселился. Ему захотелось петь. Обрывки мелодий замелькали в его памяти; он усиленно кивал головой и отбивал ногой и рукой такт. Его небольшие глаза прямо лезли на лоб, так усердно осматривал он комнату в надежде найти какой-нибудь выход бурлившему в нем избытку восторга. Вдруг они просияли, остановившись на фортепиано. «Что пользы в этой штуке, — сказал он себе, — если она стоит без употребления?» Такое красивое фортепиано орехового дерева, купленное в рассрочку у Мердока, за которое он выплачивал долг двадцать лет! Просто срам, что оно стоит без употребления, когда человек платил деньги за обучение дочери музыке.

— Несси! — заорал он так, что она подскочила от испуга. — Ты уже, наверное, выучила наизусть всю эту книгу. Отложи-ка ее! Сейчас у тебя будет урок музыки, а учителем буду я. — Он загоготал, потом поправил сам себя: — Нет, я не учитель, я певец. — Он величаво вытянул вперед руку. — Мы исполним с тобой несколько хороших шотландских песен. Садись живо за фортепиано и сыграй для начала «Во всех странах ветер дует».

Несси соскользнула со стула, но нерешительно остановилась, глядя на отца: он вот уже много месяцев запрещал ей открывать фортепиано, и теперь она, зная, что надо исполнить его приказание, все же не смела это сделать. Но Броуди нетерпеливо закричал:

— Да ну же! Чего ты ждешь? Говорю тебе — играй «Во всех странах ветер дует»! Мне уже давно не было так весело, как сегодня. Я хочу петь!

Был одиннадцатый час. Обычно в это время Несси уже спала, к тому же сказалось напряжение долгого вечера, и она была очень утомлена. Но она была настолько запугана, отец внушал ей такой страх, что протестовать

она не посмела. И, подойдя к фортепиано, открыла его, отыскала среди нот Мэри «Песни Шотландии», села и заиграла. Ее дрожащие пальчики старательно наигрывали мелодию, которую требовал отец, а он со своего места у камина горланил слова песни, размахивая трубкой:

Во всех странах ветер дует,
Но Запад мне всего роднее,
На Западе живет красавица,
Та, что сердцу всех милее.

— Громче! Громче! — покрикивал он в промежутках. — Ударяй сильнее. Это я пою о моей Нэнси. Больше души!

И днем и ночью мысли летят
Вечно к моей Джен, —

орал он во весь голос. — Клянусь Богом, вот это правда! Если и назовем ее Джен — от этого ее не убудет! Дальше, Несси! Играй второй куплет и подпевай тоже. Да пой же, тебе говорят! Ну, готово? Раз, два, три!

Я вижу ее в каждом цветке,
Обрызганном росой.

Никогда еще Несси не видела его в таком состоянии, и, охваченная стыдом и страхом, она присоединила свой дрожащий голосок к его реву. Они вместе спели песню до конца.

— Вот это было великолепно! — воскликнул Броуди, когда они кончили. — Надеюсь, нас слышали на площади! Теперь давай другую — «Любовь моя — красная роза». Хотя моя милая больше похожа на белую розу, правда? Ну что, нашла? Какая ты сегодня неповоротливая! А я бодр и свеж, могу петь хоть до зари!

Несси с усилием заиграла новую песню. Он заставил ее дважды сыграть и спеть ее, а потом ей пришлось играть «Берега и холмы», «О моя рябина» и «Энни Лори». Наконец, когда ей уже сводило судорогой руки и голова так кружилась, что она боялась, как бы не упасть со стула, она умоляюще посмотрела на отца и воскликнула:

— Довольно, папа! Отпусти меня спать! Я устала!

Но он сердито нахмурился, когда она так грубо нарушила безоблачное блаженство, в котором он пребывал.

— Так тебе лень даже поиграть для отца! — крикнул он. — И это после того, как я столько потрудился для тебя и камин тебе затопил! Вот какова твоя благодарность! Ладно, будешь играть если не по своей воле, так по моей. Играй, пока я не прикажу тебе перестать, или я отстегаю тебя ремнем! Играй опять первую песню!

Она снова повернулась к клавишам и через силу, ничего не видя сквозь слезы, начала «Во всех странах ветер дует», а Броуди запел, грозно взглядывая на ее покорно согнутую спину всякий раз, когда Несси от волнения фальшивила.

Песня была уже спета наполовину, когда вдруг открылась дверь: Нэнси, его Нэнси стояла перед ним! Глаза ее блеснули, белизну щек мороз окрасил легким румянцем, волосы выбивались завитками из-под нарядной шляпки, красивая меховая жакетка туго облегла чудесный бюст. С разинутым ртом и повисшей в воздухе трубкой Броуди ошеломленно смотрел на нее, сразу перестав петь и спрашивая себя, как это он не слышал стука наружной двери. Так он продолжал смотреть на нее, пока ничего не подозревавшая Несси, словно аккомпанируя его безмолвному изумлению и восхищению, доигрывала песню. Но вот она кончила, и в комнате наступила тишина.

Тогда Броуди рассмеялся — чуточку принужденно.

— А мы как раз пели тут песенку в честь тебя, Нэнси. И ты этого заслуживаешь, ей-богу, потому что ты сейчас хороша, как картина!

Глаза ее сверкнули еще более холодным блеском, и она сказала, поджимая губы:

— Шума, который вы тут подняли, достаточно, чтобы к дому сбежалась целая толпа. И во всех окнах свет! А вы опять напились и еще имеете нахальство приплетать меня к этому! Срам, да и только! Поглядите на свои руки, на лицо. Настоящий трубочист! Каково мне видеть все это после такого вечера, какой я провела!

Броуди смиренно поглядывал на нее, упивался свежестью ее красоты и, пытаясь переменить тему, неловко пробормотал:

— Так ты хорошо провела время у тетки? А я скучал по тебе, Нэнси. Мне кажется, что я тебя целый год не видел! Долго же ты не возвращалась ко мне!

— Жалею, что не вернулась еще позже! — отрезала она, враждебно глядя на него. — Когда мне хочется музыки, я знаю, где ее найти. Нечего

горланить песни в честь меня и пить, ты, мерзкий пьяница!

При этих ужасных словах Несси, которая, словно окаменев, сидела на том же месте у фортепиано, так и шарахнулась назад, ожидая, что отец сейчас кинется на безумную, которая осмелилась их произнести. Но, к ее изумлению, он стоял на месте, смотрел, отвесив нижнюю губу, на Нэнси и бормотал:

— Честное слово, я скучал по тебе, Нэнси. Не нападай на человека, который так тебя любит.

Не обращая никакого внимания на присутствие дочери, он мычал, чуть не плача от избытка чувств:

— Ты моя белая-белая роза, Нэнси. Ты моя жизнь. Нужно же было как-нибудь убить время без тебя! Поди раздевайся и не сердись на меня. Я... через минуту приду к тебе наверх.

— Придет ко мне, скажите пожалуйста! — крикнула она, потряхнув головой. — Да ты вдрызг пьян, скот этакий! Мне что за дело, когда ты придешь наверх! Меня это не касается, и ты это скоро увидишь! — И она, взбежав по лестнице, скрылась наверху.

Броуди сидел неподвижно, опустив голову, занятый одной только тягостной мыслью: Нэнси рассердилась, теперь, когда он придет в спальню, нужно будет умиротворять ее, упрашивать, раньше чем он добьется от нее обычных милостей. Но посреди этих унылых размышлений он вдруг вспомнил о присутствии девочки и, недовольный тем, что при ней выдал себя, пробормотал хрипло, не поднимая глаз:

— Марш в постель, ты! Чего сидишь тут?

Несси ускользнула, как тень, а он сидел у быстро гаснувшего камина, ожидая, пока Нэнси ляжет в постель, где она будет доступнее. Он был слеп и глух к полнейшей перемене своего положения в доме по сравнению с тем днем, когда жена его вот так же, как он сейчас, сидела в тяжком раздумье у потухшего огня. Он жаждал одного: быть подле своей Нэнси. Встал, потушил свет и медленно, стараясь ступать как можно легче, поднялся по лестнице. Сжигаемый страстью, пожираемый жадным желанием, вошел он в освещенную спальню.

Спальня была пуста.

Не веря глазам, он оглядывался вокруг, пока до его сознания не дошло, что на этот раз Нэнси сдержала слово и покинула его. Спустя минуту он, тихонько пройдя через темную площадку, потрогал ручку двери в ту комнату, куда когда-то перебралась его жена, — комнату, где она умерла. Дверь, как он ожидал, оказалась запертой. На мгновение он ощутил прилив бурного возмущения, он готов был кинуться на дверь, вышибить ее

напором своего могучего, разъяренного желанием тела, но тут же сообразил, что такой образ действий ему не поможет, что, ворвавшись внутрь, он найдет Нэнси еще более озлобленной, более упорствующей, чем раньше, полной холодной решимости противиться его желаниям. Она его поработила, теперь сила на ее стороне. И его мгновенно вспыхнувший гнев потух, рука соскользнула с двери, он медленно вернулся к себе в спальню и заперся там. Долго стоял он, угрюмый, безмолвный, потом, толкаемый непреодолимой силой, подошел к комоду, который уже открывал сегодня вечером, медленно выдвинул ящик и, насупив брови, непонятым взглядом уставился на белье, что лежало в нем.

III

Мэтью Броуди вышел из здания ливенфордского вокзала, оставив позади платформу, залитую бледно-желтым светом фонарей, и вступил в холодную, бодрящую мглу морозного февральского вечера. Он был в оживленном, приподнятом настроении. Шаги его четко и быстро раздавались на мостовой, лицо, смутно видимое в окружающем мраке, сияло радостным возбуждением, пальцы рук беспокойно сжимались и разжимались. Он торопливо шел по Железнодорожной улице сквозь редкий, низко стлавшийся туман, над которым неясно маячили вершины деревьев и крыши домов, темными тенями выделяясь на светлом фоне неба. Из-за города через открытое пространство лугов доходил слабый запах далекого лесного пожара, и, втягивая его раздутыми ноздрями, с наслаждением вдыхая всей грудью этот щекочущий привкус дыма в воздухе, Мэт ощущал горячую жажду жизни. Несмотря на то что сегодня он всецело занят был мыслями о будущем, этот резкий и пряный запах разбудил в нем воспоминания. Снова окутал его благоуханный сумрак, полный странных, таинственных звуков, тонких ароматов, залитый прозрачно-белым мерцанием тропической луны. Унылое существование последние полгода, под вечным страхом столкновений с отцом, улетучилось из его памяти, он думал только о прелестях жизни в Индии. И, словно в ответ на призыв этого волшебного края свободы, он зашагал еще быстрее, почти мчался с нетерпеливой стремительностью. Такая торопливость со стороны того, кто обычно по вечерам, возвращаясь домой, замедлял шаги насколько возможно, желая оттянуть встречу с отцом, указывала на крупную перемену в жизни Мэта. Ему действительно не терпелось поскорее сообщить дома новость об этой перемене, и, когда он взлетел по ступенькам, отпер входную дверь и вошел в кухню, он весь дрожал от волнения.

В кухне была только одна Нэнси, она не спеша собирала со стола грязные тарелки.

При внезапном появлении Мэта она посмотрела на него с удивлением и откровенно кокетливой фамильярностью, по которой Мэт сразу заключил, что отца нет дома.

— Где он, Нэнси? — спросил он немедленно.

Нэнси с грохотом поставила тарелки на поднос и ответила:

— Ушел. Должно быть, туда же, куда каждый вечер. В этот час его

одно только и может выманить из дому: необходимость наполнить черную фляжку. — Затем она прибавила лукаво: — Но если вам угодно его видеть, потерпите — он скоро вернется.

— Да, я желаю его видеть! — объявил хвастливо Мэт, бросив многозначительный взгляд в сторону Нэнси. — Мне встреча с ним не страшна. У меня имеется новость, которая заставит его сесть да подумать.

Нэнси быстро глянула на него, на этот раз заметив и то, что он слегка запыхался, и блеск его глаз, и весь важный, таинственный вид.

— Так. Значит, у вас есть кое-что новое, Мэт! — сказала она протяжно.

— Еще бы! Лучшей новости у меня не бывало вот уж девять месяцев. Я сию минуту с поезда, узнал ее только час тому назад, и мне не терпелось поскорее вернуться домой, чтобы сообщить... чтобы бросить эту новость старому черту в лицо!

Нэнси, забыв о тарелках, медленно подошла к нему и сказала вкрадчиво:

— Разве ты только отцу хотел это рассказать, Мэт? А нельзя ли мне первой? Мне очень интересно услышать твою новость.

Широкая улыбка осветила лицо Мэта.

— Ну конечно, и тебе расскажу! Пора тебе знать, как я к тебе отношусь.

— Какая же новость, Мэт?

Видя ее нетерпение, он еще больше развеселился и, желая подразнить ее любопытство, сдержал собственное возбуждение, отошел к своему излюбленному месту у шкафа и, приняв обычную позу, самодовольно посмотрел на нее.

— А ты угадай! Неужели такая умница, как ты, не может догадаться сама? Для чего же у тебя толковая голова на плечах!

Нэнси уже догадывалась, какого рода новость мог сообщить Мэт, но, видя, как его тешит роль единственного обладателя важной тайны, притворилась непонимающей и с очаровательной миной напускного простодушия покачала головой:

— Нет, Мэт, не могу догадаться. Я даже и сказать не решаюсь... Это касается отца?

Он торжественно покачал головой:

— Нет! На этот раз не угадала, дорогая! Оставим в покое отца. Это касается совсем другого человека. Человека помоложе, такого, который может выпить стаканчик, но не напивается, как свинья, который может повести девушку на концерт и дать ей возможность повеселиться. Человека, который в тебя влюблен.

— Это ты, Мэт! О! — ахнула она, делая большие глаза. — Неужели ты хочешь сказать, что получил то место?

— А разве я сказал, что я его не получил? — ухмыльнулся он.

— Значит, получил! Говори скорее, я так волнуюсь, что на месте не могу устоять!

— Да! — воскликнул он, не в силах больше сдерживаться. — Получил! Назначение подписано, печать приложена, и оно у меня в руках. Еду в Южную Америку, проезд оплачен, стол на пароходе бесплатный — и в кармане у меня куча денег!.. К черту этот мерзкий город, и этот дом — будь он проклят, и старого пьяного забулдыгу, которому он принадлежит. Это будет для него недурным сюрпризом!

— Он будет рад, Мэт, — сказала Нэнси, делая шаг поближе.

— Да, рад от меня избавиться, конечно, — ответил он с горечью. — Но и я рад, что уезжаю. И теперь я с ним покрываюсь! Его скоро ждет еще сюрприз, который ему не понравится.

— Не будем о нем говорить. Он просто старый дурак, и больше ничего. Он мне надоед не меньше, чем тебе. Не могу понять, что мне в нем понравилось когда-то.

Она помолчала, потом прибавила с пафосом:

— Я, право, от души рада, что ты нашел службу, Мэт, но только... только...

— Ну, что — только? — спросил он важно, глядя сверху в ее ласковые, молящие глаза. — Я достаточно долго ждал этого назначения.

— Нет, ничего, пустяки, — сказала со вздохом Нэнси, рассеянно, как будто бессознательно водя по его руке мягким пальчиком. — Для тебя это замечательная удача. Ты, конечно, счастлив будешь уехать за границу. Я так и вижу, как большой пароход плывет по синему морю, весь залитый солнцем. Воображаю, какое это красивое место — то, куда ты едешь! Как ты его назвал — Рио?..

— Рио-де-Жанейро, — с гордостью повторил Мэт. — Я буду в каких-нибудь двух-трех милях оттуда. Чудный город, и климат превосходный. Там можно устроиться в сто раз лучше, чем в Индии.

— Да, тебе там будет хорошо, я знаю, — прошептала Нэнси, сжимая уже всю его руку своей мягкой рукой. — А вот мне тут как будет тоскливо без тебя! Не знаю, как и жить! Тяжело для такой молодой девушки, как я, быть привязанной к этому дому.

По взгляду, которым смотрел на нее Мэт, можно было заключить, что подавленное возбуждение не совсем покинуло его или, исчезнув, оставило по себе какое-то внутреннее брожение.

— Ты не хочешь, чтобы я уезжал, — заметил он лукаво. — Я это вижу!

— Да нет же, конечно хочу, гадкий! Я ни за что на свете не стала бы мешать этому. Такая удача! — Она укоризненно стиснула ему руку и добавила: — И ты говоришь, платить будут тоже хорошо?

— Да, жалование прекрасное, — подтвердил он внушительным тоном. — И мне обещано бунгало, так что ничего больше и желать не остается. В конце концов опыт, приобретенный мною на Востоке, все-таки сослужил мне службу!

Нэнси не отвечала. Глядя с выражением трогательного чистосердечия в лицо Мэту, она видела не его, а неведомый, таинственный город в тени экзотических деревьев, кафе на улицах, оркестр на бульваре, видела себя, веселую, улыбающуюся, в кружевной мантилье, в экипаже или за стаканом красного вина, счастливую, свободную. То были такие яркие, такие волнующие видения, что она без труда выжала слезу из глаз и дала ей медленно скатиться по гладкой щеке. Легким движением наклонясь к Мэту, она шепнула:

— Ах, Мэт, дорогой, тяжело мне будет без тебя. Мы расстаемся как раз тогда, когда я начинаю...

Неизведанное еще упоение охватило Мэта, когда Нэнси прильнула к нему, и, сжав ладонями ее опущенное лицо, он заставил ее взглянуть на него.

— Не говори, что начинаешь... скажи, что уже любишь, Нэнси!

Нэнси молчала, но жестом выразительнее слов закрыла рукой глаза, словно боясь, что он прочтет в них всю силу ее страсти к нему.

— Любишь! — вскричал он. — Вижу, что любишь! — Губы у него дрожали, ноздри раздувались от неистовой радости, переполнявшей его. Радость эту вызывала не только близость тела Нэнси, но и сознание, что он отнял ее у отца, что судьба дала ему в руки мощное орудие мщения.

— Я знаю, что я дурная девушка, Мэт, — шептала между тем Нэнси. — Но я решила стать честной. Я от него уйду. Всю прошлую ночь я спала одна в маленькой комнатке. Это... с этим кончено. Я больше и не посмотрю ни на одного мужчину, если он на мне не женится, а уж когда женится, я буду ему верна всегда, что бы с ним ни случилось.

Мэт по-прежнему неотступно смотрел на нее, а она продолжала с большим чувством:

— Мне кажется, я, если постараюсь, сумею сделать мужа счастливым. Я многое такое умею, что ему, наверное, понравится. И я бы изо всех сил старалась ему угодить!

Она вздохнула и опустила голову на плечо Мэта.

А у него мысли путались под влиянием борьбы противоречивых чувств, но сквозь горячий туман, застилавший мозг, он видел ясно, что она вдвойне желанна ему — не для того только, чтобы нанести удар отцу, но и для удовлетворения его собственных вожделений. Таких женщин, как Нэнси, — одна на тысячу: красивая, соблазнительная, пылкая — не напористой и неуклюжей пылкостью Агнес Мойр, а более сдержанной, более тонкой и обольстительной, которая, как пламя, пронизывала ее белое тело и влекла его к ней. Да и красотой она далеко превосходила незадачливую Агнес. Фигура у нее была изящная, а не топорная, как у Агнес, никакой темный пушок не портил чудесной линии ее верхней губки. Нэнси была не только красива, она (в этом Мэт теперь был убежден) была влюблена в него так страстно, что хотела порвать с его отцом только из любви к нему, Мэту. Эти мысли помогли ему утвердиться в своем решении, и он произнес сдавленным голосом:

— Нэнси! Мне нужно тебе сказать одну вещь... еще кое-что, чего ты не знаешь... и что, может быть, тебе будет интересно. Хочешь?

Нэнси томно поглядела на него, откинув назад голову, всем наклоном своего тела как бы приглашая его обнять ее, и только что хотела шепнуть «да», как вдруг дверь в передней щелкнула, открываясь, затем ее с силой захлопнули, и в передней послышались шаги. Молниеносно всякий след томной страсти исчез с лица Нэнси, и, толкнув Мэта к камину, она сказала резким шепотом:

— Стой там и не двигайся. Он ничего не заметит.

В тот же миг руки ее поднялись к волосам и, порхая легко и быстро, как птицы, приладили, исправили тот небольшой беспорядок, в какой пришла ее прическа. Она была уже опять у стола и стучала тарелками, когда в кухню вошел Броуди.

На мгновение он остановился в дверях, покачивая в руке незавернутую бутылку виски, и посмотрел сперва на сына, которого так редко встречал теперь, взглядом презрительного отвращения, потом вопросительно на Нэнси, потом снова с беспокойством на растерянную фигуру у камина. Неповоротливость ума мешала ему уловить смысл того, что здесь произошло, но от его угрюмого взгляда не укрылась легкая краска на всегда бледном лице Мэта, его смущенный вид, нервная напряженность позы, и в памяти его невольно встала сцена в доме на «Канаве», когда он застал сына с Нэнси, вырывавшейся из его объятий. Он не знал ничего, не питал никаких подозрений, но его больно ужалило это воспоминание, и инстинкт подсказал ему, что здесь от него скрывают что-то, происшедшее перед его приходом. Взгляд его потемнел и пронизывал Мэта, который ерзал на месте

тем неувереннее и опускал голову тем ниже, чем дольше продолжалось это молчаливое созерцание.

Нэнси, которая благодаря закоренелой наглости сохраняла невозмутимость и превосходно владела своим лицом, была внутренне взбешена волнением и трусостью героя, которому только что делала такие страстные признания, но попыталась все же выручить его. Обратясь к Броуди, она сказала резко:

— Ну! Чего вы стоите в дверях, Броуди, как большой медведь? Входите и садитесь, да не размахивайте вашей бутылкой, словно собираетесь ею разmozжить нам голову. Что вы так странно уставились на него? Входите же!

Но Броуди, казалось, не слышал и, пропустив мимо ушей ее замечание, продолжал смотреть на сына со своего наблюдательного пункта у дверей, по-прежнему вертя бутылкой, как дубинкой. Наконец он сказал с грубой насмешкой:

— Чему я обязан честью видеть тебя здесь? Обычно в этот час ты нас не удостаиваешь посещением, — нет, родной дом для тебя недостаточно хорош! Ты из тех ночных гуляк, которых по вечерам никогда не увидишь дома.

Мэт открыл было пересохшие губы, но Броуди, не дав ему ответить, продолжал злобно:

— Не говорил ли ты тут Нэнси чего-нибудь такого, что пожелаешь повторить при мне? Если да, я слушаю.

Тут вмешалась Нэнси. Подбоченившись и подняв красивые плечи, она негодуяюще тряхнула головой:

— Вы что — с ума сошли, Броуди? Что это за вздор вы несете? Если вы намерены бесноваться и дальше таким образом, то уже сделайте одолжение — меня к этому не приплетайте!

Он медленно отвернулся от Мэта и посмотрел на нее. Морщина между бровями разгладилась.

— Я знаю, Нэнси, знаю, что все в порядке. В тебе я никогда не сомневался, а он слишком меня боится, чтобы осмелиться на что-нибудь. Но я не могу без злости видеть этого ломаку, этого ничтожного бездельника. На вид — воды не замутит, но я не могу забыть, как он покушался меня застрелить.

Он опять повернулся к Мэту, который побледнел, услышав его последние слова, и с горечью воскликнул:

— Следовало передать тебя полиции за покушение на убийство родного отца. Слишком легко ты отделался в ту ночь! Но теперь я не так

мирно настроен, как бывало, так что не советую больше затевать ничего, иначе — видит Бог! — я раскрою тебе череп вот этой самой бутылкой. Ну а теперь отвечай, что ты тут делаешь.

— Он говорил о какой-то службе, — визгливо крикнула Нэнси, — но я не успела разобрать, в чем дело. («Когда же он наконец заговорит, проклятый болван? — подумала она при этом. — Стоит весь белый и трясется, как студень. Из-за этого рохли все может выйти наружу!»)

— Какая служба? — спросил Броуди. — Говорите сами за себя, сэр.

У Мэтью наконец развязался язык. А ведь по дороге домой он готовился свысока разговаривать с отцом, постепенно подготавливая его к сообщению. И только что он хвастал перед Нэнси, что «бросит новость в лицо старому черту».

— Я получил назначение в Америку, папа, — пролепетал он, запинаясь.

Выражение лица Броуди не изменилось, и, помолчав, он пренебрежительно сказал:

— Так ты наконец намерен взяться за дело! Чудеса! Наследник Броуди решился работать! Что же, это очень хорошо, потому что, когда я тебя вижу, я чувствую, что скоро не выдержу и вышвырну тебя вон из дому. — Он сделал паузу. — А что же это за замечательная служба? Расскажи, расскажи!

— Это по моей старой специальности, — пробормотал Мэт. — Должность заведующего складом. Я уже несколько месяцев тому назад подал заявления в два-три места, но такие удачи, как эта, редки!

— И как это такой субъект, как ты, сумел ею воспользоваться? Слепой тебя нанимал, что ли?

— Счастливая случайность! — пояснил, точно оправдываясь, Мэт. — Человек, который занимал эту должность, скоростижно умер: его сбросила лошадь. И спешно требуется кто-нибудь на его место. Мне придется выехать сразу, на этой неделе, чтобы как можно скорее приступить к работе. Может быть, ты слышал об этой фирме. Это...

Тут с подноса с грохотом упала чашка и разбилась, зазвенев о пол.

— О господи! — вскрикнула Нэнси в ужасном смятении. — Вот что выходит, когда развесишь уши, как старая кумушка. Так всегда бывает, если не думаешь о том, что делаешь, — обязательно что-нибудь разобьешь!

Она нагнулась, чтобы собрать черепки, и при этом метнула Мэту украдкой быстрый, предостерегающий взгляд.

— Извините, я помешала вашему разговору, — сказала она затем Броуди, поднимаясь.

Мэтью заметил ее взгляд, понял его смысл и, несмотря на все возраставшее замешательство, проявил некоторые стратегические способности — опустил глаза и пробормотал:

— Они... они заготавливают там шерсть. Приходится иметь дело с овцами.

— Клянусь Богом, тогда они нашли подходящего человека! — воскликнул его отец. — Потому что большей овцы, чем ты, нет на свете! Смотри, как бы они там по ошибке не остригли и тебя вместе с овцами. Выше голову, ты, мягкотелая овца! Почему ты не можешь держать голову прямо, как мужчина, и смотреть мне в лицо? Весь этот лоск, который ты приобрел с тех пор, как побывал в Индии, меня ничуть не обманывает. Я думал, что поездка в чужие страны сделает из тебя человека, но теперь сквозь весь этот пустой блеск вижу, что ничего из тебя не вышло и ты остался тем же плаксивым болваном, который, бывало, всякий раз, как я на него взгляну, заревет и бежит к матери.

Он стоял, глядя на сына, полный глубокого бесповоротного презрения к нему, так что ему противно было теперь даже донимать его насмешками; он говорил себе с отвращением, что не стоит тратить слова. Слава богу, сын уезжает из дому, прекратится это жалкое существование паразита. Он исчезнет с его глаз, исчезнет из родной страны, и можно будет забыть о нем.

Он внезапно почувствовал усталость, сознавая смутно, что он уже не тот человек, каким был когда-то. Его охватило страстное желание забыться, захотелось быть наедине с Нэнси, захотелось выпить. Он сказал с расстановкой:

— Между нами все кончено, Мэт. Уезжай и никогда больше не возвращайся в этот дом. Я не хочу тебя больше никогда видеть.

Затем повернулся к Нэнси и посмотрел на нее совсем другим, любящим взглядом:

— Поддай стакан, Нэнси. Хотя он этого не стоит, но я хочу выпить за него.

Когда она молча ушла за стаканом, он проводил ее тем же взглядом, говоря себе, что она снова становится к нему нежна, что с отъездом сына им будет уютнее вдвоем, меньше придется сдерживаться.

— Спасибо, Нэнси, — сказал он ласково, когда она воротилась и подала ему стакан. — Ты услужливая девочка. Не знаю, как это я раньше мог обходиться без тебя.

Потом добавил успокоительно:

— Сегодня я лишнего не выпью, не беспокойся. Нет, нет! Этой

бутылки мне должно хватить на неделю. Я отлично знаю, что ты не любишь, когда я много пью, и пить много не буду. Но надо же выпить за успех этой большой косноязычной овцы перед его отъездом в стадо. Не хочешь ли и ты сделать глоток, Нэнси? Это тебе вреда не принесет. Беги, возьми и себе стакан, — предложил он с неуклюжей любезностью, — и я налью тебе немножко, ровно столько, чтобы это тебя согрело!

Нэнси покачала головой, все еще ничего не говоря. Полуопустив ресницы, приоткрыв губы, она сохраняла на лице неопределенное выражение, ни враждебное, ни дружеское, выражение неуловимое, загадочно-сдержанное, которое ободряло Броуди и самой своей непонятностью влекло его к ней. На самом же деле за этой маской крылось презрение к нему и злоба, потому что, унижая Мэта перед ней, Броуди запугивал того и этим затруднял для нее достижение цели, которую она себе наметила.

— Не хочешь? — сказал Броуди мягко. — Ну что же, принуждать тебя не буду. Такая кобылка требует деликатного обращения, не любит, чтобы натягивали вожжи. Я уже это испытал на себе. Тебя нужно брать лаской, а не строгостью.

С отрывистым смехом он откупорил бутылку и, держа стакан на уровне глаз, заблестевших уже при одном виде капавшей жидкости, медленно налил себе щедрую порцию, поднял бутылку, облизал губы языком, затем торопливо добавил еще виски в стакан.

— Для начала можно налить побольше, чтобы не пришлось доливать каждый раз. И я вполне могу одолеть такую порцию, — пробормотал он, наклонив голову и не глядя на Нэнси. Поставил бутылку на шкаф и перенес стакан в правую руку. Затем, вытянув эту руку со стаканом, воскликнул: — Итак, пью за наследника дома Броуди, и пью за него в последний раз. Пускай едет занять свой высокий пост и там остается! Пусть скроется с глаз моих и больше не показывается. Пускай отправляется куда хочет и как хочет, но никогда не возвращается сюда, и, если он когда-нибудь попробует сесть на ту лошадь, о которой он только что говорил, пускай свалится и сломает свою негодную шею, как тот человек, который занимал эту должность до него!

Он откинул голову, залпом осушил стакан до дна, затем, с усмешкой наблюдая за Мэтью, прибавил:

— Это мое прощальное напутствие тебе. Не знаю, куда ты едешь, и даже не желаю знать. Мне все равно, что бы с тобой ни случилось в будущем, потому что я об этом никогда не услышу!

И после этих слов он перестал смотреть на сына, совершенно перестал

замечать его. Выпив виски, он чувствовал себя увереннее. Подняв глаза на бутылку, стоявшую на шкафу, он с минуту глубокомысленно ее разглядывал, откашлялся, выпрямился и, отвернув лицо от Нэнси, сказал важно:

— Но не могу же я, выпив за такое ничтожество, не выпить за такую славную девочку, как моя Нэнси.

Он покачал головой в знак протеста против такой несправедливости и, все еще держа в руке пустой стакан, подошел к столу.

— Нет, это было бы несправедливо! — повторил он, наливая себе новую порцию. — Совесть мне этого не позволяет, надо почтить и девочку. Для нее я готов на все, она так мне дорога, Нэнси! — воскликнул он заискивающе, обращаясь к ней. — Пью за красивейшую девушку в Ливенфорде!

Нэнси так долго сдерживала свой гнев, что ей стало уже просто невмоготу, и глаза ее засверкали, на щеках выступил слабый румянец, казалось — она сейчас топнет ногой и яростно напустится на него. Но она подавила слова, просившиеся ей на язык, и, круто повернувшись, ушла в посудную, где принялась с грохотом мыть тарелки. Броуди стоял с виноватым видом, склонив голову набок, и прислушивался к этому грохоту посуды, в котором ему чудился отзвук раздражения Нэнси. Но скоро он снова перевел глаза на стакан, медленно поднес его к губам и медленно же опорожнил. Затем, подойдя к своему креслу, тяжело опустился в него.

Мэт, все не сходявший с того места у камина, куда его толкнула Нэнси, и в безмолвном страхе наблюдавший за действиями отца, теперь беспокойно зашевелился, неприятно смущенный его близким соседством.

Глаза его забежали по комнате, он кусал губы, потирал свои влажные, мягкие руки, мучимый лихорадочным желанием уйти отсюда, но не смея двинуться с места, так как ему казалось, что отец следит за ним. Наконец, ободренный царившим в комнате молчанием, он расширил сферу наблюдения и решился на одну быструю секунду коснуться мигающим взглядом лица Броуди, сидевшего рядом. Тут он сразу убедился, что страхи его напрасны. Броуди за ним не следил, а внимательно смотрел в открытую дверь посудной.

Успокоенный этим, Мэт рискнул ступить одной ногой вперед и, так как маневр его не был замечен, продолжал потихоньку подвигаться вперед и наконец шмыгнул вон из кухни.

Он хотел выбраться из дому как можно скорее, решившись ожидать на улице, пока отец ляжет спать, но его остановила полоска света, пробивавшаяся в темноте из-за двери в гостиную. Ему пришло в голову,

что, если Несси в гостиной, лучше побыть там с нею некоторое время, раньше чем выйти на улицу в такой мороз. К тому же он испытывал бессознательную настойчивую потребность похвастать своим успехом и насладиться данью восхищения и одобрения, которая вознаградит его за удар, только что нанесенный его самолюбию. Он открыл дверь и заглянул в комнату.

Несси сидела за столом, обложенная неизбежными учебниками; при входе брата она даже глаз не подняла и продолжала сидеть в той же позе — сложив руки, сгорбившись и склонив голову над книгой. Когда же он заговорил, она сильно вздрогнула, вся встрепенулась, как будто неожиданные волны звуков ударили в нее сквозь тишину комнаты.

— Я зашел на минутку, — только и сказал Мэт.

— Ох, Мэт! — воскликнула она, прижимая к левой стороне груди свою маленькую, стиснутую в кулак руку. — Как ты меня испугал! Я не слыхала, как ты вошел. Я теперь так и подскакиваю от каждого шума!

Глядя на нее в эту минуту, на ее наклоненную голову, кроткие прозрачные глаза с таким выражением, точно она безмолвно извинялась за свою слабость, Мэт, потрясенный воспоминанием, забыл на минуту о собственных делах.

— Боже мой, Несси! — воскликнул он, не отводя от нее широко раскрытых глаз. — Ты становишься похожа на маму как две капли воды. Вот сейчас ты — вылитая мама!

— Ты находишь, Мэт? — сказала она, до некоторой степени польщенная тем, что является объектом его внимания. — А чем же я похожа на нее?

Мэт подумал:

— Мне кажется, глазами. В них такое точно выражение, какое бывало у мамы! Как будто ты знаешь, что должно что-то случиться, и ждешь этого.

Его слова огорчили Несси, и она сразу опустила свои предательские глаза, не отводя их от стола все время, пока Мэт говорил.

— Что такое с тобою делается последнее время? Ты стала сама не своя. Что-нибудь неладно?

— Все неладно, — отвечала медленно Несси. — С тех пор как мама умерла, несчастнее меня нет никого на свете, и нет у меня ни единого человека, с кем бы я могла поговорить об этом. Не выношу я эту... эту Нэнси. Она меня не любит. Она всегда за что-нибудь на меня набрасывается. Все у нас переменялось. Дом стал другой, как будто не тот, что раньше. И папа переменялся.

— Тебе его бояться нечего. Ты всегда была его любимицей, —

возразил Мэт. — Он всегда носитя с тобой.

— Лучше бы он оставил меня в покое, — сказала с тоской Несси. — Он вечно гонит меня заниматься. Я не выдержу этого. Я нехорошо себя чувствую.

— Тсс, Несси, — укоризненно сказал Мэт. — Ну вот, опять точь-в-точь мама! Ты должна взять себя в руки. Что такое с тобой?

— У меня постоянно болит голова! Я утром просыпаюсь с этой болью, и весь день она не проходит. Я от нее так тупею, что не могу ничего делать. Я не могу есть то, что теперь у нас едят. И всегда чувствую себя усталой. Вот и сейчас тоже.

— Ты поправишься, когда покончишь с экзаменами. Ты, наверное, получишь стипендию.

— Получу стипендию! — воскликнула она горячо. — Но что со мной будет потом? Что он намерен потом сделать со мной? Можешь ты сказать мне это? Неужели он всегда будет так подгонять меня, а я не буду знать, для чего это? Он ничего не отвечает, когда я его спрашиваю. Он и сам не знает.

— Ты будешь учительницей — это для тебя самое подходящее дело.

Несси покачала головой:

— Нет! Ему этого мало. Я и сама хотела, когда кончу, подать заявление в педагогический институт, но он не позволяет. Ах, Мэт! Хоть бы нашелся кто-нибудь, кто мог бы за меня вступить! Я так несчастна из-за этого и из-за всего остального, что иногда я жалею, зачем родилась на свет!

Мэтью растерянно отвел глаза от ее грустного личика, в котором читалось отчаяние, мольба о помощи.

— Тебе следует почаще выходить и играть с другими девочками, — начал он несколько неуверенно. — Это тебя немного отвлечет от таких мыслей.

— Да как же я могу? — озлобленно воскликнула Несси. — С самых малых лет меня заставляли вечно сидеть дома за уроками, а теперь он каждый вечер прогоняет меня сюда, в гостиную, и так будет целых шесть месяцев. Если бы я посмела уйти, он бы меня отодрал ремнем. Ты не поверишь, Мэт: иногда я думаю, что сойду с ума от этой зубрежки.

— Ведь я же ухожу из дому, — возразил храбро Мэт. — Мне же он не мешает уходить!

— Ты — другое дело, — сказала Несси печально. Минутный взрыв возмущения улегся, оставив ее еще более подавленной, чем прежде. — Да если бы даже я и выходила, что толку? Ни одна девочка не стала бы играть со мной. Они со мной почти не разговаривают. На днях как-то одна сказала, что ее отец наказал ей не иметь ничего общего ни с кем из нашего дома.

Ох, Мэт, как бы я хотела, чтобы ты мне помог!

— Но чем же я могу тебе помочь? — сказал Мэт резко, раздраженный ее мольбами. — Разве ты не знаешь, что я на будущей неделе уезжаю?

Несси уставилась на него, слегка наморщив лоб, и повторила, словно не понимая:

— Уезжаешь?.. На будущей неделе?

— Да, в Южную Америку, — отвечал он важно. — На замечательную новую службу, которую мне там предложили. За много-много миль от этого вонючего городишки!

Тогда она поняла и побледнела от ужасной мысли, что Мэт уезжает далеко, а она, единственная из всех детей Броуди, остается одинокой и беззащитной, обречена нести одна всю тяжесть существования в этом доме. Мэт никогда ей особенно не облегчал его, а в последние месяцы — еще меньше, чем всегда, но он был ее братом, товарищем по несчастью, и только минуту назад она взывала к нему о помощи. Губы у нее задрожали, перед глазами все расплылось, она разразилась рыданиями.

— Не уезжай, Мэт, — всхлипывала она. — Я остаюсь совсем одна. Если ты уедешь, никого у меня не будет в этом ужасном доме.

— Еще что выдумала! — свирепо огрызнулся Мэт. — Сама не знаешь, что говоришь. Упустить такой случай, который бывает раз в жизни, отказаться от денег и свободы и... и всего прочего ради твоей прихоти? Да ты с ума сошла!

— Нет, я сойду с ума, если ты уедешь! — закричала Несси. — Что ждет меня здесь, когда я буду совсем одна? Мэри нет, тебя не будет, я одна остаюсь здесь! Что будет со мной?

— Перестань вопить! — прикрикнул он на нее, торопливо кидая взгляд на дверь. — Хочешь, чтобы все услышали? Если ты не перестанешь, он вмиг очутится здесь и задаст нам. Я должен уехать — и все тут!

— А ты не мог бы взять меня с собой, Мэт? — взмолилась Несси, с трудом подавляя рыдания. — Я, конечно, еще не взрослая, но я могла бы вести для тебя хозяйство. Мне это всегда больше нравилось, чем эти несчастные уроки. Я все буду делать для тебя, Мэт.

По лицу ее видно было, что она готова служить ему как раба. Глаза молили не оставлять ее здесь одинокой и брошенной.

— Тебя ни за что не отпустят. Чем скорее ты выкинешь это из головы, тем лучше. Тебе бы следовало радоваться тому, что твой брат получил хорошее место, а ты ревешь и причитаешь.

— Я рада за тебя, Мэт, — всхлипнула Несси, вытирая глаза мокрым платком. — Я... я плачу оттого, что подумала о себе.

— Вот то-то оно и есть, — рассердился Мэт. — Ты ни о ком, кроме себя, не думаешь. Научись думать и о других. Не будь такой эгоисткой!

— Хорошо, Мэт, — сказала Несси с последним судорожным вздохом. — Я постараюсь. Ты меня извини.

— Вот теперь ты мне больше нравишься, — сказал он важно, несколько смягчившись.

Все время, пока шел этот разговор, он дрожал от холода и теперь воскликнул уже другим тоном:

— Ух, как тут холодно! Как ты можешь ожидать от человека, что он будет стоять и разговаривать с тобой, когда здесь не топлено? Если твоё кровообращение от этого не страдает, так мое страдает. Придется надеть пальто и пройтись, чтобы согреться. — Он потопал ногами, потом круто отвернулся со словами: — Ну, я ухожу, Несси.

После его ухода Несси продолжала сидеть неподвижно, крепко сжимая в руке смятый в комочек мокрый носовой платок. Ее покрасневшие глаза были устремлены на дверь, закрывшуюся перед нею, как двери тюрьмы. Будущее представлялось ей мрачной дорогой, по которой среди темных зловещих теней брела одинокая, полная страха Несси Броуди. Некому было стать между нею и отцом, между ее хрупкостью и настойчивостью его неведомых замыслов. Мэтью уйдет, как ушла Мэри! Мэри! Она так часто думала о ней в последнее время, так жаждала нежных объятий сестры, отрады ее тихой улыбки, ободряющего мужества, светившегося в ее верных глазах. Ей нужен был человек, перед которым она могла бы облегчить усталую душу, которому могла бы поверять свои горести. И она затосковала по спокойной и мужественной Мэри. «Мэри! — шептала она, как молитву, — Мэри, дорогая, когда ты была здесь, я любила тебя не так сильно, как ты заслуживала, но как бы я хотела, чтобы ты теперь была подле меня!»

Когда с губ ее слетели эти безнадежные слова, ее похудевшее, заплаканное лицо вдруг преобразилось, словно освещенное изнутри внезапно вспыхнувшим светом. В скорбных глазах снова засияла надежда и неожиданная мысль, такая дерзкая, что только глубокое отчаяние могло родить ее. Она подумала: почему не написать сестре? Это страшная неосторожность, но в ней ее единственная надежда на помощь! Наверху, в укромном уголке ее комнаты, она хранила письмо, которое мать отдала ей за несколько дней до смерти и в котором Мэри сообщала свой адрес в Лондоне. Если действовать осторожно, отец ничего не узнает. Несси была уверена, что Мэри никогда ее не выдаст, и новое воспоминание о любви сестры придало ей силы. Она встала, словно во сне, вышла из гостиной и

на цыпочках поднялась вверх. Через минуту она возвратилась и, закрыв дверь, настороженно прислушалась, дрожа всем телом. Она достала письмо, но была испугана тем, что сделала, тем, что намеревалась сделать. Однако решимость ее не ослабела. Сев к столу, она вырвала листок из тетради и торопливо набросала короткую записку, полную трогательной мольбы. Она в нескольких словах сообщала Мэри о своем положении и умоляла ее помочь, вернуться к ней, если это возможно. Она писала и все время в волнении поглядывала на дверь, боясь, что войдет отец. Но вот письмо было окончено — несколько кое-как нацарапанных строк, расплывшихся от упавшей на них невольной слезы. Она сложила неровно оторванный листок, вложила его в конверт, принесенный сверху. Потом написала адрес, старательно списывая каждое слово, и спрятала конверт на груди под платье. Бледная, с сильно бьющимся сердцем, она опять склонилась над книгами и сделала вид, что занимается. Но эта предосторожность была излишней. Весь вечер никто не заглянул в гостиную. Тайна была сохранена, и на другое утро по дороге в школу Несси отослала письмо.

IV

Джемс Броуди просыпался. В окно не лились солнечные лучи, ласково бодря отдохнувшее тело, не плясали золотые пылинки в потоках света перед его сонными глазами. Холодный мелкий дождик стекал по стеклам, туманя их, делая комнату темной и скучной, встречая полуоткрытые, слипшиеся ото сна глаза Броуди меланхолическим напоминанием о перемене в его жизни. Он хмуро посмотрел в окно, потом, уже совсем открыв глаза, повернулся к часам и, увидев, что смутно темневшие на циферблате стрелки показывают десять минут девятого — на десять минут позже назначенного, но не соблюдаемого часа вставания, — насупился еще больше. Сегодня он опять опоздает на службу, получит опять резкий выговор от этого наглого выскочки, старшего секретаря, который пытался проверять его и даже грозил доложить помощнику директора, если он, Броуди, не будет аккуратнее приходить на работу.

От этой мысли лицо его как будто еще больше потемнело, выделяясь на белом фоне подушки, морщины углубились и казались высеченными каким-то острым орудием, в глазах, утративших обычное выражение уныния, засветилось тупое, мрачное упрямство. «Будь они все прокляты! — подумал он. — Не дам я им командовать мной! Полежу еще пять минут, наплевать на весь штат директоров верфи!» Он решил, однако, наверстать время, отменив на сегодня бритье; он теперь часто поступал так, назло тем, кто желал заставить его жить по их правилам, следовать их примеру. Эта хитрая уловка пришлась ему по душе еще и оттого, что он теперь неохотно брился по утрам: нетвердая рука часто действовала не так, как нужно, он выходил из себя, пытаясь управлять ею, и дело иногда кончалось порезами. По утрам он теперь вообще бывал не в своей тарелке: не только рука отказывалась повиноваться, но болела голова, язык лежал во рту, как кусок сухого дерева; иногда его мучило при одной мысли о завтраке. Он понимал, что во всех таких неприятных ощущениях виновато виски, и в это серенькое утро с угрюмой трезвостью говорил себе, что должен сократить обычную порцию. Он уже и раньше несколько раз принимал такое решение, но теперь ему казалось, что то было не всерьез. А вот на этот раз надо крепко взять себя в руки, не пить ничего до обеда, да и потом, пожалуй, воздерживаться до вечера, а вечером пить умеренно. Вечером он уж, конечно, будет пить поменьше, чтобы угодить Нэнси, чья благосклонность была для него теперь жизненной необходимостью.

Последние два дня Нэнси была с ним несколько любезнее, и он, успокоившись, решил, что она не возвращалась в его спальню с той ночи, когда рассердилась на него после визита к тетке в Овертон, именно по причине, которую приводила в свое оправдание. Убеждали его в этом ее нынешняя приветливость и терпимое отношение к нему. Нет, не может он жить без Нэнси! Она стала ему необходима как воздух, и уже хотя бы только потому он должен вперед осторожнее прикладываться к бутылке. Он и представить себе не мог больше жизни без этой женщины. Он уверял себя, что сегодня ночью она придет к нему снова, будет еще свежее, еще заманчивее после его вынужденного воздержания.

Последняя мысль вернула ему некоторое подобие былого внутреннего довольства, и, отбросив одеяло, он встал с постели. Но когда холодный воздух комнаты коснулся его тела, он задрожал, нахмурился и, утратив свой довольный вид, торопливо потянулся за одеждой, которая беспорядочной кучей лежала на ближайшем стуле. С величайшей поспешностью кое-как натянул он на себя белье, удостоил беглого внимания только лицо, умыл его перед тем, как надеть засаленный мягкий воротничок, затем завязал галстук, скрученный в веревочку, надел жилет и висевший мешком пиджак. Экономия времени получилась значительная, так как вся процедура одевания отняла у него не более пяти минут, — и вот он был готов, оставалось только спуститься вниз и приступить к завтраку.

— Доброе утро, Броуди! — приветливо воскликнула Нэнси, когда он вошел в кухню. — Сегодня вы молодцом, вовремя! Как спали?

— Не так хорошо, как хотелось бы, — ответил он с ударением. — Мне было холодно. Но я предчувствую, что сегодня ночью мне спать будет уютнее.

— Постыдились бы с раннего утра говорить о таких вещах! — потрянула головой Нэнси. — Ешьте свою кашу и помалкивайте!

Он посмотрел на кашу, сжав губы, с видимым отвращением и сказал:

— Что-то не хочется, Нэнси. Это тяжело для желудка утром. Она хороша на ужин, а сейчас мне и глядеть на нее не хочется. Нет ли у тебя чего-нибудь другого?

— Есть, есть! Я только что поджарила на сковороде отличную жирную сельдь, — сказала она предупредительно. — Не ешьте кашу, если не хочется. Сию минуту принесу рыбу.

Он следил за ее энергичной походкой, видел, как метнулись юбки, как легко и быстро двигались красивые ноги, когда она побежала выполнять свое обещание, и радовался про себя заметному улучшению в ее обращении с ним. Нэнси больше не чуждалась его, не смотрела на него с

враждебными искорками в глазах, даже ухаживала теперь за ним, своей услужливостью до странности напоминая ему покойную жену. Он наслаждался этой заботой о нем, этой преданностью в особенности потому, что она исходила от его обожаемой и столь независимой Нэнси.

И когда она воротилась с тарелкой, он посмотрел на нее украдкой и сказал:

— Я вижу, ты опять стала ласкова ко мне, Нэнси. Я помню утро, когда ты швыряла на стол подгорелую кашу, считая, что и этого за глаза довольно бедному человеку. А жирная жареная сельдь мне больше по вкусу, да и твое обращение со мной тоже. Ты ведь меня любишь, Нэнси, не правда ли?

Она посмотрела сперва на его усталое лицо, все в морщинах, с втянутыми щеками, обезображенное двухдневной щетиной, перерезанное натянутой, не идущей к нему улыбкой, потом — на его неряшливую, сгорбленную фигуру, трясущиеся руки, запущенные ногти и воскликнула с резким смешком:

— Ну конечно! У меня к вам теперь такое сильное чувство, что меня это даже беспокоит. Иной раз погляжу на вас — сердце так и встрепенется в груди.

Улыбка потухла на лице Броуди, глаза его сузились, и он ответил:

— Как я рад это слышать от тебя, Нэнси! Знаю, не следовало бы этого говорить тебе, но не могу не сказать: просто удивительно, до чего ты мне нужна стала.

И, забыв о завтраке, он продолжал почти виновато, словно оправдываясь:

— Никогда бы не поверил, что я способен так привязаться к кому-нибудь. Я думал, что не такой я человек, но, видишь ли, у меня так долго никого не было, что, когда мы с тобой сошлись, ты... да, ты крепко забрала меня в руки. Это чистая правда. Ты ведь не сердишься на меня, что я это говорю, а?

— Нет, нет! — поспешно воскликнула Нэнси. — Ни чуточки не сержусь, Броуди. Я научилась вас понимать. Но будет толковать, ведь стынет отличная рыба, которую я изжарила для вас. Я хочу знать, понравится ли она вам. Надо, чтобы вы хорошо позавтракали, потому что обедать вам придется не дома.

— Обедать не дома! Почему? — удивился Броуди. — Ты только на прошлой неделе была в Овертоне, так неужели сегодня опять пойдешь к тетке?

— Нет, не пойду, — вызывающе тряхнула головой Нэнси. — Но она придет ко мне. И я не желаю, чтобы при ней вы тут вертелись подле

меня, — она приличная женщина и ничего не подозревает... Да, и любит меня. У нее от ваших разговоров глаза на лоб полезут. Вы можете вернуться домой к вечеру, когда она уйдет. Тогда я буду вас ждать в спальне.

Он сперва посмотрел на нее, весь потемнев от гнева, но быстро овладел собой и покачал головой:

— Черт возьми, и обнаглела же ты, девушка! Подумать только — дошла до такой дерзости, что приглашает своих гостей ко мне в дом! Боже, теперь только я вижу, что ты сумела сделать со мной! За то, что ты выкинула такую штуку, не спросив моего позволения, следовало бы хорошенько разогреть тебе задницу ремнем. Но ты знаешь, что я не могу на тебя сердиться. Видно, конца не будет вольностям, которые ты себе позволяешь.

— Да что тут худого? — спросила она сухо. — Неужели честная экономка не имеет права повидаться с родственниками, когда ей этого хочется? Вы прекрасно можете закусить где-нибудь в трактире, а зато я приготовлю к вашему приходу сюрприз!

Он недоверчиво посмотрел на нее.

— Да, сюрприз — подходящее слово после твоего обращения со мной в последнее время. — Он сделал паузу и закончил мрачно: — Будь я проклят, если знаю, почему я так легко уступаю тебе во всем.

— Не говорите так, Броуди, — мягко пожурела его Нэнси. — Иногда вы говорите такие вещи, словно вы какой-нибудь язычник-китаец.

— Что ты знаешь о китайцах! — буркнул он сердито, занявшись наконец рыбой, и начал есть ее медленно, отправляя в рот большие куски. Через минуту он заметил уже другим тоном: — А это вкусно, Нэнси, — такие вещи я бы с удовольствием ел каждое утро.

Она продолжала с какой-то непонятной сдержанностью наблюдать, как он ест, затем, внезапно вспомнив что-то, воскликнула:

— Господи, и о чем я только думаю! Ведь вам сегодня утром пришло письмо, а я совсем забыла о нем!

— Что? — Он перестал есть и удивленно посмотрел на нее из-под густых седеющих бровей. — Письмо? Мне?

— Ну да! Я совершенно забыла о нем из-за этой спешки с завтраком. Вот оно! — И Нэнси, взяв письмо, лежавшее на буфете, подала его Броуди.

Он подержал его минуту в вытянутой руке, потом с недоумевающим видом поднес ближе к глазам, увидел на марке штемпель «Лондон» и, небрежно подсунув под край конверта свой толстый палец, разорвал конверт и вынул из него письмо. С некоторым интересом наблюдая за ним в

то время, как он читал, Нэнси видела, как на лице его так же быстро, как пробегают по темному небу тучи, гонимые ветром, промелькнули сначала сильное замешательство, потом изумление, удовольствие и торжество. С непонятным ей удовлетворением он перевернул листок, потом не спеша перечел его снова и, подняв глаза, загляделся куда-то в пространство.

— Ну кто бы подумал?.. — пробормотал он. — После всего!..

— Что такое? — крикнула Нэнси. — От кого письмо?

— Она смирилась и хочет приползти обратно на коленях! — Он замолчал, поглощенный своими мыслями, как будто его слова уже все объясняли.

— Не понимаю! — сказала Нэнси резко. — О ком вы говорите?

— О моей дочери... О Мэри, — ответил он медленно. — О той, которую я выгнал из дому. Я поклялся, что приму ее обратно только в том случае, если она будет в ногах у меня валяться, а она сказала, что не вернется никогда. А теперь она, вот в этом самом письме, клянчит, чтобы я позволил ей вернуться домой и вести мое хозяйство. Хорошее утешение для меня после всех этих лет.

Он поднял письмо, крепко зажав его в пальцах, и, казалось, не мог досыта на него наглядеться. Потом прочел, глумливо подчеркивая слова:

— «Забудем прошлое. Я хочу, чтобы ты меня простил. Так как мама умерла, я хотела бы заменить ее дома. Здесь мне живется неплохо, но иногда я чувствую себя одинокой». — Он фыркнул: — Одинокой! И поделом ей, клянусь Богом! Пускай так будет и дальше. Она сильно ошибается, воображая, что я приму ее обратно. Не желаю я видеть ее. Нет! Никогда! — Он поднял глаза на Нэнси, как бы ожидая ее одобрения, и продолжал, кривя губы: — Неужели ты не понимаешь, девочка? Ведь это доказывает мою правоту. Она была горда, очень горда, а теперь я вижу, что гордость ее сломлена. Если бы не это, чего ради ей захотелось домой? Боже, какое это для нее унижение — быть вынужденной скулить и клянчить, чтобы ее приняли обратно! И какое торжество для меня — отказать ей! Она хочет быть у меня экономкой! — Он грубо расхохотался. — Недурно, а, Нэнси? Она не знает, что у меня уже есть ты, и хочет занять твоё место!

Нэнси взяла у него из рук письмо и принялась читать его.

— Не вижу тут, чтобы она скулила, — возразила она спокойно. — Письмо написано вполне прилично.

— Ба! Меня интересует, не как оно написано, а суть его. Другого объяснения не придумаешь, и это веселит меня, как стаканчик лучшего виски!

— Так вы не позволите ей вернуться? — спросила Нэнси с испытующим взглядом.

— Нет! — крикнул Броуди. — Не позволю! Теперь у меня есть хозяйка, которая будет заботиться обо мне. Пусть не думает, что мне нужны такие, как она. Она может оставаться в Лондоне и сгнить там, мне до нее нет решительно никакого дела.

— Не следует решать так сразу, — уговаривала его Нэнси. — Все же она вам родная дочь. Подумайте хорошенько и не поступайте опрометчиво.

Он сердито посмотрел на нее:

— Тут и думать не о чем. Никогда я ее не прощу, вот и все.

В глазах его внезапно засверкал огонек, и он воскликнул:

— А знаешь, Нэнси, я придумал, чем ее можно задеть за живое: напиши-ка ты ей, что, мол, место, которое она просит, уже занято. Это ее здорово унизит, а? Напишешь, девочка?

— Нет, не напишу, — отрезала Нэнси. — Выдумает же! Можете сами это сделать, если хотите.

— Ну, во всяком случае, ты мне поможешь сочинить ответ, — возразил он. — Что, если нам с тобой заняться этим сегодня вечером, когда я вернусь домой? Голова у тебя сметливая, и ты, наверное, придумаешь что-нибудь подходящее.

— Ладно, подождите до вечера, — отвечала Нэнси после некоторого размышления. — А я пока подумаю над этим.

— Вот и великолепно! — воскликнул Броуди, уже заранее радуясь мысли, что они вдвоем будут вечером заниматься этим увлекательным делом — сочинять резкий ответ его дочери. — Мы посоветуемся с тобой. Я знаю, что ты все сумеешь, когда захочешь.

В это время издалека донесся гудок. То усиливаясь, то слабея, но все время отчетливо слышный, он ворвался в комнату с неумолимой настойчивостью.

— Боже милосердный, — вскрикнула Нэнси, — вот уже девятичасовой гудок, а вы еще дома! Вы ужасно опоздаете, если не поторопитесь. Живее уходите!

— Наплевать мне на их проклятые гудки, — бросил он угрюмо. — Захочу — так и опоздаю! Можно подумать, что я раб этого проклятого свистка, так ты меня гонишь вон как раз тогда, когда мне не хочется от тебя уходить!

— Я не хочу, чтобы вас уволили, Броуди! Что будет с вами, если вы потеряете службу?

— Найду другую, получше. Я уже и то об этом подумываю. Эта для

меня недостаточно хороша.

— Да не выдумывайте, Броуди! Начнете менять — и может оказаться хуже! Идите, идите, я вас провожу до дверей.

Выражение его лица смягчилось, он поглядел на нее и послушно встал, говоря:

— Не беспокойся, Нэнси. Я всегда заработаю достаточно, чтобы содержать тебя.

У двери на улицу он повернулся к Нэнси и воскликнул чуть не трагически:

— Целый день я не увижу тебя!

Она немного отодвинулась и, полуприкрыв дверь, сказала из-за нее:

— Какая погода! Вы бы лучше взяли зонтик вместо этой старой палки. Вы не забыли, что вам надо сегодня пообедать где-нибудь?

— Помню, — отвечал он покорно. — Ты знаешь, я всегда помню то, что ты мне наказываешь Ну, поцелуй меня разок на прощанье!

Нэнси хотела уже было захлопнуть дверь перед его носом, но что-то в его тоне и лице растрогало ее, и, поднявшись на цыпочки, вытянув вперед голову, она коснулась губами глубокой морщины, пересекавшей его лоб посередине.

— Ну вот, — шепнула она чуть слышно, про себя, — это поцелуй тому, кем ты был!

Он, не понимая, смотрел на нее вопросительно и вместе любовно, глазами верного пса.

— Что ты сказала? — переспросил он с недоумением.

— Ничего, — беспечно воскликнула Нэнси, снова отступая за дверь. — Просто сказала «до свиданья».

Он все медлил, неловко бормоча:

— Если ты это... если ты насчет виски, так знай, что я решил быть благоразумным. Я знаю, ты не любишь, когда я много пью, а я хочу тебе угодить во всем, девочка.

Нэнси тихонько покачала головой, глядя на него пытливо, с каким-то странным выражением:

— Я вовсе не о том. Если вы чувствуете, что вам надо иной раз выпить, так пейте. Ведь это единственное... ведь это вас утешает. Ну, уходите же наконец!

— Нэнси, дорогая, ты хорошо понимаешь человека, — пробормотал он растроганно. — Когда ты такая, как сейчас, я для тебя на все готов!

Он неуклюже переступил с ноги на ногу, несколько сконфуженный своим порывом, затем голосом, охрипшим от подавленного волнения,

сказал:

— Я... ну, я ухожу, девочка. До свидания!

— До свидания, — откликнулась она спокойно.

Заглянув ей последний раз в глаза, он повернулся и, оказавшись теперь лицом к лицу с серым, печальным утром, двинулся вперед под дождем. Странная фигура, без пальто, увенчанная широкой четырехугольной шляпой, из-под которой в живописном беспорядке выбивались густые космы давно не стриженных волос, с руками, заложенными за спину, и смешно волочившейся за ним по грязи тяжелой ясеновой тростью.

Он шел по дороге, погруженный в путаницу противоречивых мыслей, к которым примешивался и стыд за столь неожиданный взрыв чувств. Но постепенно все вытеснила одна-единственная мысль о том, как дорога ему Нэнси. Она, как и он, человек из плоти и крови. Она его понимает, знает, что нужно мужчине, и даже, как видно из ее последнего замечания, понимает, что иногда бывает необходимо выпить стаканчик. Он был так поглощен мыслями о ней, что не чувствовал, как его поливает дождь. Его неподвижно-сосредоточенное лицо словно освещалось порой вспышками света. Но когда он стал приближаться к верфи, размышления его стали менее отрадны, о чем свидетельствовал его ожесточенно-мрачный вид. Он вспомнил, что опаздывает, что его, может быть, ждет нагоняй. Его до сих пор еще угнетало сознание унизости этой службы для него, Броуди. Уже и письмо, полученное сегодня, представилось ему в новом свете — как недопустимая самонадеянность со стороны той, которая когда-то была его дочерью и теперь разбудила в нем горечь воспоминаний о прошлом. Казалось, эти воспоминания вызывали терпкий вкус во рту, а от жареной селедки, которую он ел за завтраком, он сгорал от жажды. Перед «Баром механика» он невольно остановился и, ободренный прощальными словами Нэнси, пробурчал:

— У меня все внутри пересохло, и я все равно опоздал на полчаса. Раз я уже тут, надо зайти.

Бросив полувызывающий взгляд через плечо на здание на противоположной стороне улицы, в котором помещалась контора верфи, он вошел в трактир. Когда же четверть часа спустя вышел оттуда, в его манерах появилось нечто от прежней заносчивой самоуверенности. В таком настроении он вошел через вертящуюся дверь главного входа, прошел по коридорам, теперь уже по привычке легко ориентируясь, и, высоко подняв голову, вошел в комнату, где работал, посмотрев по очереди на обоих молодых клерков, которые подняли головы от работы и поздоровались с ним.

— А что, эта старая носатая свинья уже приходила сюда? — осведомился он. — Впрочем, если и приходила, мне на это решительно наплевать.

— Мистер Блэр? — спросил один из молодых людей. — Нет, он еще не являлся.

— Гм! — воскликнул Броуди, жестоко рассердившись на себя за то неожиданное чувство облегчения, которое он невольно испытал при этом ответе. — Вы, должно быть, думаете, что мне сегодня повезло? Так имейте в виду — мне все равно, узнает он, что я опоздал, или не узнает. Можете ему доложить, если хотите. Мне безразлично.

И, швырнув шляпу на вешалку, поставив палку в угол, он тяжело опустился на свое место. Клерки переглянулись, и после некоторого молчания один из них робко ответил за себя и за товарища:

— Мы ему и словом никогда не заикаемся об этом, мистер Броуди, вы же знаете. Однако с вас так и течет. Вы бы сняли пиджак и высушили его.

— И не подумаю, — грубо отрезал Броуди, раскрыл книгу, которую он вел, взял перо и принялся за работу. Но через минуту поднял голову и сказал уже другим тоном:

— Все-таки спасибо вам. Оба вы славные ребята и не раз меня выручали. Дело в том, что я сегодня получил известие, которое меня расстроило, потому я немного не в своей тарелке.

Клерки были до некоторой степени в курсе его дел благодаря отрывочным разговорам, которыми он их удостаивал в последние месяцы. И тот из них, кто до сих пор молчал, спросил:

— Надеюсь, не из-за Несси, мистер Броуди?

— Нет, — возразил Броуди, — не из-за моей Несси! Она, слава богу, молодцом, занимается вовсю и держит курс прямо на стипендию Лэтта! Она никогда ни на минуту меня не огорчала. Это не из-за Несси, а из-за кое-чего другого. Но я знаю, что сделать. Я и тут своего добьюсь, как всегда и во всем.

Его собеседники воздержались от дальнейших расспросов, и все трое принялись за работу.

Молчание нарушал лишь скрип перьев по бумаге, шуршание перевертываемой страницы, непрерывное кряхтенье табурета да бормотание Броуди, который пытался заставить работать отуманенный вином мозг и справиться с цифрами, мелькавшими перед ним.

Время шло. И вот в коридоре снаружи послышались четкие шаги, дверь отворилась, чтобы пропустить корректную фигуру мистера Блэра. Держа в руках пачку бумаг, он постоял минуту, поправляя на своем

горбатым носу пенсне в золотой оправе и пристально наблюдая за тремя подчиненными, которые продолжали работать под его строгим взглядом. Взгляд этот в конце концов неодобрительно остановился на фигуре развалившегося на стуле Броуди, от мокрого платья которого шел пар. Мистер Блэр предостерегающе кашлянул и сделал шаг вперед. Бумаги в его руке торчали, как взъерошенные перья какой-нибудь птицы.

— Броуди! — начал он резко. — Минутку внимания, прошу вас.

Не меняя позы, Броуди поднял голову от книги и посмотрел на Блэра с едкой иронией:

— Ну, чем я вам опять не угодил?

— Вы могли бы встать, когда я с вами говорю, — строго заметил Блэр. — Все служащие делают это, а вы — нет. Так не полагается.

— Я, видите ли, вообще не похож на других. Может быть, оттого и не делаю того, что другие. Мне и сидя удобно разговаривать. Что вам от меня надо?

— Вот счета, — с раздражением начал мистер Блэр, — узнаете вы их? Если нет, то могу вам сообщить, что это ваша работа — так называемая работа. Они все до единого никуда не годятся. Все цифры неверны, в итогах — грубейшие ошибки. Мне надоела ваша никуда не годная пачкотня, Броуди! Если вы не сумеете объяснить свои ошибки, я вынужден буду доложить обо всем моему начальству.

Броуди перевел засверкавшие глаза от бумаг на чопорное, обиженное лицо Блэра и, остро чувствуя всю невыносимую унижительность своего положения, ответил угрюмо, понизив голос:

— Я старался выполнить эту работу как можно лучше. Ничего больше сделать не могу.

— Значит, ваша «наилучшая» работа нас не удовлетворяет, — возразил Блэр, повышая голос чуть не до крика. — В последнее время вы работаете возмутительно плохо, а ведете себя еще хуже. Даже ваш внешний вид срамит наше учреждение. Я уверен, что, если бы сэр Джон знал, он никогда бы этого не допустил. Да что говорить! — Он заикался от гнева. — От вас даже на расстоянии разит вином. Безобразие!

Броуди сидел молча, потупившись и спрашивая себя, он ли это, Джемс Броуди, покорно переносит такие оскорбления от какого-то надутого ничтожества. Он видел мысленно, как он вскакивает, хватая Блэра за горло, трясет его так, что из того вот-вот и дух вон, затем позорно выбрасывает его за дверь, как выбросил раз человека вдвое сильнее себя. Но нет, он продолжал сидеть, не шелохнувшись, на стуле и глухо пробормотал:

— Вне конторы я провожу время так, как мне угодно.

— Вы обязаны являться сюда в таком состоянии, чтобы вы были способны работать, — сухо настаивал Блэр. — Вы подаете дурной пример этим молодым людям, и ваш внешний вид — пятно на всем учреждении!

— Оставьте в покое мою внешность, черт бы вас побрал! — заревел вдруг Броуди во внезапном приступе ярости. — Я предпочитаю ее вашей тупой самодовольной физиономии.

— Без дерзостей, пожалуйста! — крикнул Блэр, и бледное лицо его вспыхнуло. — Я заявлю кому следует о вашей наглости.

— Отвяжитесь от меня! — орал Броуди, скорчившись на стуле и глядя на него глазами дикого зверя, сломленного неволей, но еще свирепого. — Не выводите меня из себя, иначе вам же будет худо.

Прочтя в этом диком взгляде грозившую ему опасность, Блэр воздержался от дальнейших оскорбительных замечаний, но, пренебрежительно бросив на стол Броуди бумаги, которые держал в руках, сказал ледяным тоном:

— Немедленно исправьте и верните мне без единой ошибки, иначе я приму меры! — И, отвернувшись, важно вышел из комнаты.

Когда дверь за ним закрылась, не последовало никакого взрыва, но тишина в комнате была более гнетущей, чем самая страшная буря. Броуди сидел как каменное изваяние, перебирая в памяти все только что выслушанные оскорбления и не сомневаясь, что взгляды обоих клерков с насмешкой устремлены на него. Уголкем глаза он заметил руку, которая, появившись над краем его стола, бесшумно убрала злосчастные счета, и хотя он знал, что добрые товарищи и на этот раз выручат его, застывшая на его лице угрюмость не смягчилась. Так он сидел некоторое время, не поднимая пера, видел, как исправленные документы снова очутились у него на столе, но не сказал ни слова, сохраняя позу холодного безразличия до обеденного гудка, который раздался ровно в час. Тогда он сразу же встал, схватил шляпу и быстро вышел из комнаты. Некоторые оскорбления могут быть смыты только кровью, но сейчас он стремился иным способом стереть в памяти свой позор.

Вернулся он вовремя, ровно в два часа, уже совершенно преображенный, как будто под влиянием какой-то таинственной благодетельной силы, рассеявшей его уныние, разгладившей суровые морщины на лице, влившей в его жилы веселящую жидкость, которая теперь жизнерадостно бурлила в них и излучала сияние из всех пор его тела.

— Видите, товарищи, я пришел первый, — закричал он с

тяжеловесной шутливостью, когда оба клерка вошли вместе вскоре после него. — Минута в минуту! А вы позволяете себе опаздывать! Это безобразие! Если вы не прекратите этого, я доложу начальству — тому самому пугалу, которое приходило сегодня утром. — Он шумно захохотал и продолжал: — Почему бы вам не брать пример с меня, когда перед вами такой образец добродетели?

— Вы в хорошем настроении, мистер Броуди, — заметил неуверенно один из молодых людей.

— А почему бы и нет? Такие случаи, как тот, что произошел сегодня утром, меня смутить не могут. Если бы не некоторые соображения, я бы свернул шею этому ничтожеству. А вы знаете, — продолжал он конфиденциальным тоном, — отчего он злится? Оттого, что я принят сюда помимо него, благодаря моим связям, и он не мог этому помешать.

Он вынул из кармана трубку, шумно выколотил ее о письменный стол и принялся набивать.

— Неужели вы будете курить, мистер Броуди? — воскликнул первый клерк, с некоторым беспокойством поднимая глаза от книги. — Вы же знаете, что это строго запрещено.

Броуди посмотрел на него, раскачиваясь на стуле, и ответил:

— А кто мне запретит? Я делаю что хочу. Такому человеку, как я, не пристало кланяться и молить разрешения закурить трубку.

Он с вызывающим видом продолжал курить, шумно пыхтя трубкой и небрежно бросив на пол обгорелую спичку. Затем, глубокомысленно покачивая головой, промолвил в промежутках между затяжками:

— Нет, не пристало. И я не буду этого делать. Господи, если бы я имел то, чего заслуживаю, разве я сидел бы в этой поганой конторе! Я стою много выше такой службы, да и всякой службы вообще. Это истинная правда, только я не имею возможности это доказать и должен мириться с тем, что есть. Но ничто меня не изменит. Нет, черт возьми! В этом городе многие были бы счастливы, если бы в их жилах текла такая кровь, как в моих.

Он осмотрелся, ища одобрения, но, заметив, что слушатели, которым надоело неизменно слушать одно и то же, с притворным безучастием склонили головы над работой, почувствовал разочарование. Впрочем, он не преминул воспользоваться их невниманием: достал из бокового кармана небольшую плоскую фляжку, торопливо поднес ее к губам и затем украдкой спрятал обратно. Подкрепившись таким образом, он продолжал, словно не замечая, что его не слушают:

— Кровь всегда скажется и свое возьмет. Я опять верну себе прежнее

положение. Только из-за злобы и зависти человеческой я попал сюда. Но это не надолго. Настоящего человека не сломишь. Скоро люди опять воздадут мне должное, поймут, кто я, и я опять буду на Сельскохозяйственной выставке стоять рядом, плечо к плечу, с господином главным судьей графства и буду в самых лучших отношениях — как равный с равными, имейте в виду!.. — подчеркнул он эти слова, махнув трубкой. — С людьми самой благородной крови, и мое имя будет в списке среди их имен. — Перенесясь мысленно в славное прошлое, он расчувствовался, глаза его увлажнились, нижняя губа отвисла, грудь вздымалась. Он пробормотал: — Да, это большая честь для человека.

— Покурили, и хватит, спрячьте трубку, мистер Броуди, — взмолился второй клерк, прерывая его размышления. — Я не хотел бы, чтобы вы опять навалились на неприятность.

Броуди на мгновение остановил на нем сердитый взгляд, потом неожиданно расхохотался:

— Как вы запуганы, дружище! Вы правы, я выкурил одну трубку, но намерен выкурить вторую, больше того — намерен еще и выпить!

Он с лукавой миной опять вытащил фляжку и на глазах у пораженных клерков долго тянул из нее. Вместо того чтобы спрятать ее обратно в карман, он поставил ее перед собой на самом верху конторки, сказав при этом:

— Здесь ты будешь у меня под рукой, голубушка, и я смогу на тебя поглядывать и следить, как ты будешь пустеть дюйм за дюймом.

Затем, польщенный тем, что на нем сосредоточено тревожное внимание клерков, он продолжал:

— Кстати, о неприятностях. Этот сморчок сказал сегодня одну вещь, такую нелепую, что она не выходит у меня из головы. — Он сильно нахмурился уже при одном воспоминании об этом. — «Ваш внешний вид — пятно на всем учреждении» — так, кажется? Да, это его подлинные слова. Теперь объясните мне, ребята, что он хотел этим сказать, черт его подери? Чем моя наружность плоха? — Он с воинственным видом уставился на клерков, а те нерешительно покачивали головами. — Разве я не красивый мужчина, а? — загремел он, с величайшим удовлетворением принимая их молчание за знак согласия. — Это с его стороны гнусная злоба. Да! Я всегда был видный мужчина, хорошо сложенный, а кожа у меня была чистая, как у ребенка. К тому же, — продолжал он, с хитрым выражением поглядывая на слушателей и поглаживая колючую щетину на подбородке, — я имею еще одно доказательство, что он не прав. Может быть, вы слишком молоды, чтобы знать это, но ничего, я все-таки скажу

вам, что одна девушка — самая красивая девушка в Ливенфорде — предпочла меня всем. Честное слово, при одной мысли о ней уже хочется выпить в ее честь!

Он с картинной торжественностью провозгласил тост за самую красивую даму в Ливенфорде и некоторое время молчал, погрузившись в блаженные размышления о Нэнси. Ему хотелось поговорить о ней, похвастать ее прелестями, но что-то мешало ему, и, когда он, сведя брови, стал рыться в памяти, ища объяснения этой своей невольной сдержанности, его вдруг точно озарило: он понял, что не может свободно говорить о Нэнси, потому что она не жена ему. При этой неожиданной догадке он мысленно выругал себя за такое упущение. «Эх, — пробормотал он про себя, — нехорошо ты поступал, Броуди! Надо было раньше подумать об этом». Он с сожалением покачал головой, снова отхлебнул из бутылки, чтобы привести в ясность мысли, и, охваченный глубоким волнением по поводу прискорбного положения Нэнси, прошептал с пьяной слезливостью: «Пожалуй, сделаю это! Ей-богу, сделаю это для нее!» Он готов был сам себе пожать руку, приветствуя это внезапно принятое им благородное решение сделать из Нэнси честную женщину. Конечно, она стояла на не слишком высокой ступени социальной лестницы, но не все ли равно! Его имя покроет все, покроет их общий грех, а женившись на ней, он одним этим великодушным жестом надежнее привяжет Нэнси к дому, оправдает себя в глазах всех и навсегда положит конец тем грустным и пытливым взглядам, которые, как он замечал порой, бросала на него Несси. Он стукнул кулаком по столу и воскликнул:

— Я это сделаю! Сегодня же вечером скажу ей об этом! — Потом, усмехнувшись при виде оторопелых физиономий клерков, сказал напыщенным тоном: — Не пугайтесь, ребята, это я сейчас обдумывал различные планы и решил сделать кое-что для моей маленькой Несси. Она этого вполне заслуживает. — Затем, перейдя на более простой тон, лукаво подмигнул им и добавил: — Это так, небольшой маневр в домашней политике, о котором вы рано или поздно непременно узнаете.

Он уже собирался просветить их на этот счет, когда один из клерков, предвидя, вероятно, какого рода откровения сейчас последуют, поспешил отвлечь его внимание, спросив:

— А как учится ваша Несси, мистер Броуди?

Броуди прищурился:

— Отлично, разумеется. Вы же знаете, что отлично. Не задавайте глупых вопросов. Стипендия Лэтта уже все равно что у нас в кармане.

И, ухватившись за эту новую тему, возникшую в его осоловелом мозгу,

он продолжал:

— Она для меня великое утешение, эта девчурка. Истинное удовольствие для меня видеть, как она каждый раз вставляет палки в колеса парнишке Грирсона. Она постоянно его побеждает, и всякий раз у его скопидома-папаши, наверное, желчь разливается. Да! Для него это горше полыни!

Он фыркнул при мысли об этом и, сильнее запрокинув бутылку, допивал уже последние капли ее содержимого, как вдруг эта попытка одновременно и смеяться и пить кончилась тем, что он поперхнулся и закашлялся долгим хриплым кашлем.

— Поколотите меня по спине, черт вас возьми! — прохрипел он и нагнулся вперед, качаясь, как больной, измученный слон. Лицо его налилось кровью, глаза блуждали. — Крепче, крепче, — понукал он одного из клерков, который, вскочив со стула, начал тузить его по согнутой спине.

— А скверный у вас кашель, — заметил этот молодой человек, когда припадок наконец кончился. — Вот вам и результат сидения в мокрой одежде.

— Ба! Эка важность — кашель! — возразил Броуди, отирая лицо рукавом. — Я никогда не носил пальто и не буду носить. Зонтик я где-то оставил, но это не имеет значения, дождь мне полезен. Я здоров, как клайдесдальский жеребец. — И он потянулся всем худым телом, чтобы показать свою силу.

— Несси не в вас, мистер Броуди, — сказал первый клерк. — Она выглядит не особенно крепкой.

Броуди сердито посмотрел на него:

— У нее прекрасное здоровье. И вы тоже из тех паникеров, которые у всех людей выискивают болезни? Она у меня молодец! В прошлом месяце, правда, она была чуточку нездорова, но это пустое. Я сводил ее к Лори, и он сказал, что у нее голова, какие встречаются одна на тысячу. А я скажу — на миллион!

Он торжествующе огляделся вокруг, посмотрел на бутылку, желая от избытка чувств хлебнуть из нее, но, увидев, что она пуста, схватил ее и метко швырнул в стоявшую в углу мусорную корзинку (откуда она была позднее великодушно извлечена и брошена в Ливен одним из его многострадальных коллег).

— Что, ловко?! — крикнул он весело. — Да, глаз у меня меткий! Я могу за пятьдесят шагов, не сморгнув, подстрелить на бегу кролика... Кролика! Черт возьми! Будь я там, где мне следовало быть, я бы стрелял не кролика, а куропаток да фазанов. Они бы у меня сыпались на землю как

град!

Он уже готов был начать распространяться о поместьях своей знатной родни, но тут его взгляд упал на часы.

— Скажите пожалуйста! Скоро пять! Да, со мной можно незаметно провести время! — Он шутливо прищурил один глаз, заржал и объявил: — За усердной работой время идет быстро, как сказал бы этот надутый молокосос Блэр. Но, к сожалению, я должен вас оставить, друзья. Вы славные ребята, и я очень вас люблю, но теперь мне надо заняться одним более важным делом. — Он весело потер руки, предвкушая удовольствие, и добавил, ухмыляясь: — Если мой любимец заглянет сюда до пяти, скажите ему, что его счета в порядке и что я ушел купить ему погремушку.

Он поднялся со стула, медленно взял с вешалки свою шляпу, дважды снимал и надевал ее, пока его не удовлетворил залом ее пыльных полей, взял свою тяжелую трость и с пьяной важностью остановился на пороге, покачиваясь и загораживая своим большим телом дверь.

— Ребята, — прокричал он, размахивая тростью, — знали бы вы, куда я сейчас иду, у вас бы слюнки потекли! Но вам туда нельзя! Нет, нет! Только один человек есть в городе, которому это можно...

Он внушительно посмотрел на клерков и закончил с большой драматической выразительностью:

— Это я!

В последний раз скользнул взглядом по терпеливым, но смущенным лицам и медленно вышел из комнаты.

Ему повезло: шумно проходя по коридорам, он никого не встретил и за пять минут до гудка, проскочив через главный вход, очутился на свободе и направился домой.

Дождь перестал, воздух был свеж и прохладен. Недавно зажженные фонари мерцали сквозь сумрак, отражаясь на мокрых мостовых, как бесконечный ряд топазовых лун в черной неподвижной воде. Броуди ужасно забавляло правильное чередование этих отражений, которые как будто плыли ему навстречу в то время, как он шел. Ухмыляясь, он говорил себе, что обязательно расскажет Нэнси об этом виденном им странном явлении — небе, опрокинутом на землю. Нэнси! Он громко замурлыкал от удовольствия, подумав обо всем том, что им предстояло вместе обсудить сегодня вечером, — начиная от сочинения язвительного письма *той* в Лондон и кончая лестным предложением, которое он собирался сделать Нэнси. Она, конечно, сначала будет расстроена, увидев, что он вернулся, пожалуй, больше обычного под хмельком (он великодушно признался в этом вечернему мраку), но, когда она услышит его предложение, нежданная

радость рассеет всю ее досаду. Он знал, что этой ворчунье Нэнси всегда хотелось прочного положения, которое мог ей дать только такой благородный человек, как он, и уже слышал ее изнемогающий от волнения голос: «Вы это серьезно говорите, Броуди? Ох и ошеломили же вы меня! Стать вашей женой? Вы знаете, что я ухвачусь за это, как за счастье. Подите сюда, я крепко-крепко вас расцелую!» Да, она будет к нему милостива, как никогда, после такого великодушного предложения! Глаза его заблестели при мысли о тех интимных доказательствах ее расположения, которые он получит от нее сегодня ночью. С радостным сознанием, что каждый спотыкающийся шаг приближает его к ней, он шагал вперед, ища и не находя слов, способных передать всю силу ее очарования, ее власти над ним. «Она... она прелесть! — бормотал он бессвязно. — Тело у нее такое белое и нежное, как грудка цыпленка, я, кажется, готов ее съесть».

Образы становились назойливее, обостряли его тоску по Нэнси, его возбуждение, и последним торопливым усилием он достиг своего дома, взбежал по ступенькам, нетерпеливо вставил ключ в замок, отпер дверь и ввалился в неосвещенную переднюю.

— Нэнси! — крикнул он громко. — Нэнси! Вот я и вернулся к тебе!

Он постоял в темноте, ожидая, чтобы она отозвалась, но так как ответа не было, он любовно усмехнулся, решив, что она спряталась наверху и ждет его прихода. Достав из кармана спички, он зажег газ в передней, поставил трость в подставку, повесил шляпу и торопливо вошел в кухню. Но и в кухне было темно.

— Нэнси! — закричал он во весь голос с удивлением и некоторым раздражением. — Что это еще за шутки? Я не намерен играть с тобой в прятки! Брось сейчас же все эти фокусы, девушка. Ты мне нужна. Выходи, где ты там?

Никакого ответа. Ощупью добравшись до газового рожка над камином, он зажег свет и, повернувшись, окинул взглядом кухню. С изумлением увидел, что стол не накрыт и никаких приготовлений к ужину не сделано. С минуту он оставался неподвижен, ошеломленно глядя на пустой стол и сердито сжав губы. Но вдруг его осенила догадка, и он пробормотал с прояснившимся лицом:

— Она пошла проводить на вокзал свою тетку. Нет, какова дерзость! Никто, кроме нее, не посмел бы это сделать. Отсылает меня обедать вне дома и потом заставляет еще дожидаться ужина!

Это его слегка забавляло, он даже захохотал громко, почти восхищаясь ее дерзостью. Да, вот такая женщина ему под стать! Но когда веселье его

улеглось, он не знал, что ему делать. Наконец решил ожидать ее возвращения и, встав спиной к камину, лениво блуждал взглядом по кухне. Здесь все напоминало ему Нэнси. Он представлял себе, как она легко порхает по кухне или с небрежным видом садится в его кресло, как улыбается, разговаривает, даже как убегает от него. Да! Даже шпилька от шляпы, воткнутая в дерево кухонного шкафа, говорила об этой ее неподражаемо наглой, равнодушной беспечности. Однако на шкафу лежало еще что-то, приколотое этой самой шляпной булавкой. Письмо. То дерзкое послание, которое он получил сегодня утром от дочери. И, подойдя к шкафу, он пренебрежительно взял его в руки. Но вдруг выражение его лица изменилось: он увидел, что конверт другой и адрес написан косым канцелярским почерком сына, почерком, так напоминавшим сладенькую, вылощенную наружность Мэта, что он не мог без раздражения на него смотреть.

Второе письмо! На этот раз от Мэтью. Видно, этот трус так его боится, что предпочитает писать письма, вместо того чтобы сказать отцу то, что хочет, прямо в лицо, как мужчина! С глубоким презрением смотрел Броуди на аккуратную надпись на конверте, но лицо его смягчилось, когда, глядя сбоку на свою фамилию, выведенную этим четким почерком, он нашел, что она выглядит очень красиво, почти так же красиво, как напечатанная. «Джемсу Броуди, эсквайру». Да, таким именем можно гордиться! Он слегка улыбнулся, благодушное настроение вернулось к нему, и в избытке самодовольства он небрежно разорвал конверт и вынул из него письмо.

«Дорогой отец, — прочел он. — Если бы ты снизошел до того, чтобы выслушать подробности о моей новой службе, ты бы узнал, что эта должность может быть предоставлена только женатому человеку. Не жди, что Нэнси вернется. Она едет со мной и присмотрит за тем, чтобы я не свалился с лошади. Твой любящий и покорный сын Мэт».

Совершенно ошеломленный, Броуди перечитал дважды эти несколько строк, поднял невидящие глаза и недоверчиво пробурчал:

— Что это значит? Какое дело Нэнси до этого идиота с его лошадей? «Твой любящий и покорный сын»... да он, видно, не в своем уме!

Затем внезапно ему показалось, что и он тоже сходит с ума, потому что смысл записки проник в его одурманенный спиртом мозг. Это произошло в тот миг, когда на обороте письма он заметил слова, нацарапанные детски неумелой рукой Нэнси: «Мэт и я уезжаем, чтобы пожениться и зажить весело. Ты слишком любил свою бутылку, чтобы жениться на мне, так можешь сегодня уложить ее с собой в постель вместо меня, старый дурак!»

Страшный вопль вырвался у него. Он наконец понял, что Нэнси

бросила его. Письмо исчезло из глаз, комната закачалась, уплыла куда-то. Он был один среди безмерности мрака. С искаженного лица тупо глядели глаза, как две раны подо лбом, изборозженным морщинами. Теперь он полностью сознавал свою потерю. Мэт, его родной сын, отнял у него Нэнси! В припадке отчаяния он подумал, что гораздо лучше было бы, если бы сын застрелил его тогда в доме на «Канаве», чем нанес ему этот удар, гораздо более ужасный, более мучительный, чем смерть! Этот жалкий, презренный сын восторжествовал над ним. Ему разом стала ясна вся сеть обмана, которой его опутали в последние дни: равнодушие Нэнси, затем ее притворная, хоть и сдержанная, ласковость, то, что она запиралась от него по ночам, мнимая родня в Овертоне, полнейшее отсутствие Мэтью дома — все он понял теперь, вспомнил и то, как он застал обоих в кухне и Нэнси разбила чашку как раз в тот момент, когда он спросил у Мэтью название фирмы, в которой тот будет служить. Боже, каким дураком он был! «Старый дурак» — назвала его Нэнси. Как она, должно быть, смеялась над ним, как оба они насмеются над ним сейчас! Он не знал, куда и как они уехали. Он был бессилен, он знал только одно — что они вместе. Он мог только стоять тут и думать и, корчась от мук ревности, представлять себе их в нестерпимой близости друг к другу.

Он очнулся, как человек, к которому на миг возвратилось сознание, выведенный из мрачного забытья голосом Несси, которая вошла в кухню, боязливо посмотрела на него и прошептала:

— Вскипятить тебе чай, папа? Я тоже не обедала и не ужинала.

Он поднял искаженное лицо, бессмысленно посмотрел на девочку и вдруг хрипло закричал:

— Уходи прочь! Ступай в гостиную. Садись за уроки! Иди куда хочешь, только не приставай ко мне!

Несси бросилась вон из кухни, а он снова погрузился в водоворот мучительных мыслей. С глубокой жалостью к себе он вспомнил, что теперь некому заботиться о нем и Несси, осталась одна лишь слабоумная, беспомощная старуха-мать. Да, его дочери Мэри придется вернуться домой! Он вынужден будет, хотя бы ради Несси, позволить ей вернуться и вести хозяйство в доме. Весь скрытый смысл его беседы с Нэнси насчет этого возвращения стал ему вдруг ясен, и он с новой болью вспомнил, как упрашивал ее написать отказ. А она все время знала, что бросит его! Он опоздал со своим предложением жениться! Как же он обойдется без нее? Острая боль пронзила его, когда он представил себе Нэнси в объятиях сына, подставляющей губы его поцелуям, с радостной готовностью отдающей ему свое упругое белое тело. словно пытаясь заслонить это

мучительное видение, он поднял руку и прижал ее к дрожащим векам, губы его жалобно покривились, и тяжкое, судорожное рыдание вырвалось из груди, нарушив тишину в кухне.

Поезд, вышедший в три часа из Глазго в Эрдфилен, благополучно проделал первую половину маршрута, миновал Овертон и, пройдя под низкими закопченными сводами Килмахейского туннеля, с коротким торжествующим свистом вынырнул на свет ветреного мартовского дня, выпустил длинную ленту пара, которая, подобно вымпелу, вилась за паровозом, и начал тихим ходом спускаться по некрутому откосу, приближаясь к Ливенфорду. Поезд шел налегке (многие вагоны были пусты, в других было по несколько, даже по одному пассажиру) и, словно считая, что теперь, после того как проделан уже крутой подъем Пойндфоулда и остались позади темные пещеры Килмахея, спешить некуда, шел тихо среди взрыхленных серо-коричневых полей, пересеченных железной дорогой, как длинной, суживающейся вдали бороздой.

В поезде, в уголке пустого вагона, лицом к паровозу, одиноко сидела девушка с небольшим чемоданом, который составлял весь ее багаж. Одета в простенький серый костюм изящного, но немодного покроя, в серой бархатной шапочке на темных, туго закрученных волосах, она сидела прямо, но непринужденно, устремив глаза в окно и жадно, с какой-то грустью ловя каждую подробность мелькавшего мимо ландшафта.

У девушки было тонкое лицо, прямой красивый нос с изящно вырезанными ноздрями, подвижный, выразительный рот. Гладкий белый лоб оттенял и подчеркивал очарование кротких темных глаз. И во всем ее облике была меланхолическая прелесть, чистота, светлая печаль, точно какое-то пережитое в прошлом тяжелое горе наложило на каждую черточку этого лица едва заметный, но неизгладимый отпечаток страдания. Эта легкая тень, как будто еще больше подчеркивавшая ее красоту, делала девушку на вид старше ее двадцати двух лет, но вместе с тем придавала удивительную утонченность и благородную простоту, дополняемую строгостью наряда.

Ее руки без перчаток (снятых и брошенных тут же) лежали празднично на коленях ладонями кверху и так же, как лицо, сразу обращали на себя внимание, но по другой причине: лицо было лицом Мадонны, а руки, красные, шершавые, немного распухшие, — руками прислуги. И если душевные страдания придали только бóльшую одухотворенность ее лицу, то руки красноречиво говорили о тяжком труде, заклеившем их

трогательным безобразием, которое составляло такой контраст с красотой лица.

Жадно глядя в окно, она оставалась так же неподвижна, как ее загрубевшие от работы руки, но в выразительных чертах заметно было легкое возбуждение, обличавшее внутреннюю тревогу бурно колотившегося сердца. Она узнала ферму Мэйнса, ее распаханые коричневые поля, омываемые всегда бурлящими, пенистыми водами морского лимана, ее гумно — желтый квадрат на фоне беспорядочно теснившихся друг к другу низких выбеленных строений усадьбы. А вот и потрепанная бурями башня Линтенского маяка и все те же темно-синие массивные очертания самого утеса. Вот выступил на фоне неба длинный скелетообразный силуэт судовой верфи Лэтта, и наконец показался, точно нарисованный пунктиром, острый шпиль городской ратуши.

Взволнованная видом всех этих мест, так хорошо ей знакомых, она думала о том, что здесь ничто, ничто не изменилось. Все так постоянно, так надежно и прочно. Изменилась только она, Мэри Броуди, и теперь ей было больно оттого, что она не прежняя, не та девушка, которая жила здесь, раньше чем судьба каленым железом выжгла на ней свою печать.

В то время как она думала об этом с внезапной острой болью, словно в сердце ее открылась старая рана, она увидела в окно ливенфордскую сельскую больницу, где лежала целых два месяца, борясь со смертью, где умер ее ребенок. И при этом мучительно-горьком воспоминании лицо ее затуманилось, губы страдальчески дрогнули, но слез не было — слезы были все давно выплаканы. Она узнала окно, через которое ее глаза когда-то неотступно смотрели вдаль, усыпанную гравием дорожку, окаймленную лавровыми кустами, по которой она, выздоравливая, делала первые неуверенные шаги, калитку, к которой прислонялась, ослабев и запыхавшись, измученная этими усилиями. Ей хотелось остановить поезд, чтобы подольше удержать воспоминания, но он стремительно уносил ее от этих свидетелей грустного прошлого, и вот уже за последним поворотом с судорожной быстротой замелькали перед глазами Черч-стрит, ряды лавок, публичная библиотека, площадь и, наконец, вокзал.

Каким маленьким показался ей теперь вокзал с его миниатюрными залами ожидания и деревянной будкой билетной кассы! А когда-то, ожидая с волнением на этом самом вокзале поезда в Дэррок, она трепетно удивлялась его громадности.

Трепетала она и сейчас при мысли, что кончилось ее уединение в купе, что она сейчас должна выйти и очутиться на глазах у всех. Однако она решительно встала, взяла свой чемодан и, крепко сжав губы, храбро вышла

на платформу.

Вот она снова в Ливенфорде после четырехлетнего отсутствия!

Она передала свой чемодан подошедшему носильщику, распорядившись, чтобы ей его доставили, отдала билет и, сойдя по небольшой лесенке на улицу, с бьющимся сердцем направилась домой. Воспоминания, осаждавшие ее в поезде, теперь с новой силой нахлынули на нее. Казалось, каждый шаг напоминал о чем-нибудь, надрывая ее и без того измученное сердце. Вот городской выгон, а за ним вдали полоской сверкает Ливен. Вот здесь была школа, которую она посещала в детстве. Проходя мимо подъезда библиотеки, куда вела все та же вертящаяся дверь, она сказала себе, что вот тут, на этом самом месте, она в первый раз встретила Дениса. Мысль о нем не вызвала в ее душе ни острой боли, ни горечи, одно только грустное сожаление, словно она чувствовала себя теперь уже не его возлюбленной, не жертвой его любви, а просто беспомощной игрушкой непобедимой судьбы.

Проходя по Железнодорожной улице, она увидела шедшую ей навстречу женщину, с которой была знакома во времена, предшествовавшие ее изгнанию. Она уже приготовилась с болью в сердце выдержать резкий, осуждающий взгляд. Но не последовало ни взгляда, ни боли: женщина приблизилась и прошла мимо с равнодушным видом, совершенно не узнавая Мэри. «Как же я, должно быть, изменилась!» — с грустью подумала Мэри.

Свернув на Уэлхолл-роуд и подходя к дому доктора Ренвика, она как-то рассеянно подумала о том, найдет ли и он тоже в ней перемену, если они когда-нибудь встретятся. Он был к ней так добр, что даже вид его жилища взволновал ее. Она думала сейчас не о том, что он спас ей жизнь — словно этому она придавала мало значения, — нет, она живо вспомнила письма, которые он написал ей: одно — когда она уехала в Лондон, другие — извещавшие о болезни, а затем и о смерти матери, письма, полные доброты и искреннего сочувствия. Она никогда не вернулась бы в Ливенфорд, если бы не эти письма, так как, не получив известия о болезни матери, она не написала бы домой, Несси не узнала бы ее адреса и ее полный отчаяния призыв не дошел бы по назначению. Бедная, запуганная девочка! И чем ближе Мэри подходила к родному дому с неизгладимо врезавшимся в ее душу воспоминанием о той ночи, когда она его покинула, тем более заметным становилось ее волнение. Потоки горячей крови, вызванные усиленной деятельностью ее громко стучавшего сердца, растопили в конце концов привычную спокойную сдержанность.

Она чувствовала, что снова, как бывало, дрожит перед встречей с

отцом. Но с легким содроганием заставляла себя идти навстречу гнету этого дома, в котором она когда-то была узницей.

Когда она наконец подошла к дому, ее поразил его наружный вид, и в первую минуту она подумала, что это не дом изменился, а она, Мэри, смотрит на него теперь другими глазами. Потом, присмотревшись внимательнее, она заметила те отдельные мелкие перемены, которые придавали ему этот новый, грязный и запущенный вид. Окна были давно не мыты, гардины на них истрепаны и грязны, шторы висели криво. В башенке одно оконце было открыто, другое наглухо забито и напоминало закрытый глаз, так что фасад башни точно подмигивал с застывшей насмешкой. Чистый серый камень фасада был обезображен длинной и неровной полосой ржавой грязи, оставленной потоками воды из сломанной водосточной трубы. Отломанный кусок желоба висел в воздухе, из прямого карниза валилась, как пьяная, черепица, а двор перед домом был пуст, давно не чищен и зарос травой.

Пораженная этими мелкими, но характерными переменами, так преобразившими внешний вид дома, и подгоняемая внезапным страхом перед тем, что она может увидеть внутри, Мэри быстро взбежала по ступенькам и дернула ручку звонка. Ее тревога еще возросла, так как ей пришлось долго ожидать, но наконец дверь медленно отворилась, и в полутьме Мэри разглядела тоненькую фигурку Несси. Сестры посмотрели друг на друга, вскрикнули одновременно: «Несси!», «Мэри!» — и с этим смешанным криком бросились друг другу в объятия.

— Мэри, ох Мэри! — разбитым голосом твердила Несси, прижимаясь к сестре и не в силах от волнения сказать что-нибудь еще. — Моя родная, моя милая Мэри!

— Несси! Деточка! — шептала Мэри, взволнованная не меньше сестры. — Я так рада, что опять вижу тебя. Я часто тосковала по тебе.

— Ты больше никогда не уедешь от меня, да, Мэри? — всхлипнула Несси. — Ты мне так нужна! Держи меня крепко, не выпускай!

— Я тебя больше никогда не покину, дорогая. Я вернулась только ради того, чтобы быть подле тебя.

— Я знаю, знаю, — плакала Несси. — Ты добрая. Ох, как мне тебя не доставало, с тех пор как умерла мама. У меня не было никого. Мне было так трудно!

— Не плачь, родная, — утешала ее Мэри, прижимая голову сестры к своей груди и тихонько поглаживая ее лоб. — Теперь все будет хорошо. Бояться больше не надо.

— Ты не знаешь, что я перетерпела! — страстно выкрикнула Несси. —

Просто чудо, что я еще жива.

— Полно, Несси, полно! Не надо волноваться, не то у тебя заболит голова.

— Нет, у меня все больше болело сердце, — сказала младшая сестра, поднимая на Мэри воспаленные глаза с покрасневшими веками. — Я тебя недостаточно любила, когда ты еще жила дома, Мэри, но теперь я буду любить тебя во сто раз сильнее. Здесь теперь все переменялось. Ты мне так нужна! Я все готова сделать, только бы ты оставалась со мной.

— Останусь, останусь, дорогая, — успокоила ее Мэри. — А теперь утри глаза и рассказывай все по порядку. Вот возьми мой носовой платок!

— Совсем как в прежние времена! — всхлипнула Несси и, выпустив руку сестры, обтерла мокрое лицо платком Мэри. — Я всегда теряла носовой платок, и ты мне давала свой.

Перестав плакать и отодвинувшись немного от сестры, она вдруг воскликнула, глядя на нее:

— Какая ты стала красивая, Мэри! У тебя теперь такое лицо, что просто глаз не оторвать.

— Лицо у меня такое, как было всегда, Несси.

— Нет! Ты всегда была красива, но теперь у тебя лицо точно светится.

— Оставим в покое мое лицо, — ласково промолвила Мэри. — Сейчас надо подумать о тебе. Надо будет постараться, чтобы на этих худых ручках набралось немного мяса. Видно, что о тебе никто не заботился.

— Разумеется, нет, — жалобно сказала Несси, глядя на свои худые до прозрачности руки. — Я не могу есть что попало. А у нас в последнее время такое все невкусное. А все оттого, что... из-за этой... этой... — Казалось, она сейчас опять расплачется.

— Ну, ну, девочка, не надо! — шепотом уговаривала ее Мэри. — Ты расскажешь мне в другой раз.

— Нет, я хочу рассказать тебе сейчас, — истерически прокричала Несси, и слова полились стремительным потоком. — Я ведь в письме тебе ничего не объяснила. У нас в доме жила ужасная женщина, и она убежала с Мэтом в Америку. Папа чуть с ума не сошел, и теперь он только и делает, что пьет с утра до ночи... И... ох, Мэри, он заставляет меня заниматься так много, что это меня совсем убьет. Не давай ему делать этого, Мэри, пожалуйста! Ты спасешь меня от него, Мэри, да? — И она умоляюще протянула руки к сестре.

Мэри стояла в каком-то оцепенении, пораженная тем, что услышала. Наконец она спросила медленно:

— Значит, отец переменялся, Несси? Он уже не так добр к тебе, как

бывало?

— Переменился ли он? Да ты его теперь и не узнаешь! Иногда мне страшно на него смотреть. Когда он не пьян, он ходит как во сне. Ты не поверишь, какая у нас здесь во всем перемена, — продолжала она, от волнения все больше повышая голос, и, ухватив сестру за руку, потащила ее в кухню. — Ты не поверишь, пока сама не увидишь. Вот смотри! Смотри, во что превратилась эта комната. — И она широко распахнула дверь, как бы желая наглядно показать всю громадную перемену в доме.

Мэри безмолвно оглядывала запущенную, непроветренную кухню, потом, обернувшись к Несси, спросила с удивлением:

— И отец это терпит?

— Терпит! — повторила Несси. — Да он и не замечает ничего, и у него самого вид еще хуже: платье висит мешком, глаза впали, совсем ушли под лоб. Я пробовала сама убирать, но стоит мне пальцем чего-нибудь коснуться, как он начинает орать так, что у меня голова готова треснуть от его крика, и велит мне заниматься, и грозит всячески, ну, просто запугивает меня до сумасшествия.

— Вот, значит, до чего уже дошло... — пробормотала Мэри словно про себя.

— И это еще не все, — жалобно воскликнула Несси, широко раскрытыми глазами глядя на сестру. — Бабушка делает что может, но она уже еле ходит. И она его тоже боится. С ним никто не может справиться. Нам с тобой лучше всего убежать отсюда куда-нибудь поскорее, пока с нами ничего не случилось.

Она всем своим видом, казалось, умоляла сестру бежать с нею сию же минуту из развалин родного дома. Но Мэри покачала головой и, стараясь говорить твердо и весело, возразила:

— Мы не можем уйти отсюда, Несси. Давай вместе делать что в наших силах. Здесь скоро все примет другой вид, вот увидишь.

Подойдя к окну, она подняла его, и в комнату ворвался холодный ветер.

— Вот мы и впустили немного воздуха! Пусть комната проветрится, а мы с тобой пока погуляем за домом. Потом я здесь все приведу в порядок.

Она сняла пальто и шляпу, положила их на диван и, снова повернувшись к Несси, обвила рукой ее тонкую талию. Обе вышли из дому по черному ходу.

— Ах, Мэри! — в экстазе воскликнула Несси, тесно прижимаясь к сестре, когда они медленно гуляли взад и вперед по садику за домом. — Как чудесно, что ты опять со мной. Ты такая сильная, я на тебя крепко

надеюсь. Теперь, наверное, все пойдет хорошо. — Затем вдруг прибавила без всякого перехода: — Что с тобой было? Что ты делала все это время?

Мэри вытянула вперед свободную руку.

— Работала. Вот этими самыми руками, — сказала она весело. — А труд никого и никогда не убивает, так что я жива, как видишь.

Несси с ужасом посмотрела на загрубевшую, покрытую мозолями ладонь, пересеченную глубоким белым шрамом. И, подняв глаза на Мэри, спросила:

— А отчего у тебя такой большой шрам? Ты порезалась?

Страдальческое выражение мелькнуло на миг в лице Мэри.

— Да. Но это было давно. Я ведь тебя просила не обращать внимания на твою старую сестру. Нам теперь надо подумать о тебе, девочка.

Несси засмеялась счастливым смехом и вдруг разом остановилась в удивлении.

— Господи, даже не верится, что это я!.. Уж сколько месяцев я не смеялась! Я была бы совсем, совсем счастлива теперь, если бы не то, что столько нужно еще работать до этого экзамена на стипендию. — Она преувеличенно вздрогнула. — Это самое худшее из всего.

— Разве ты не надеешься ее получить? — спросила Мэри осторожно.

— Ну конечно надеюсь! — тряхнула головой Несси. — Я хочу непременно добиться ее, чтобы утереть нос всем в школе... Некоторые из них просто безобразно ко мне относятся! Но вот папа... Он все меня подгоняет и надоедает мне до смерти. Хотелось бы, чтобы он оставил меня в покое. — Она покачала головой и добавила тоном взрослой, совершенно так, как сказала бы ее мать: — Иногда он так на меня орет, что у меня голова готова треснуть. Я из-за него превратилась в тень.

Мэри с состраданием поглядела на хрупкую фигурку, на худое личико с недетским выражением и, ободряюще сжав руку сестры, сказала:

— Ты у меня скоро станешь молодцом, Несси. Я знаю, что для этого нужно делать. У меня имеется в рукаве парочка таких сюрпризов, которых ты никак не ждешь.

Несси повернулась к ней и, вспомнив любимое словечко их детства, сказала с притворно-наивной миной:

— Это у тебя там фокус-покус, Мэри?

Сестры посмотрели друг на друга и, точно не было всех этих лет, отделявших их от детства, вдруг улыбнулись обе разом и громко расхохотались. Смех их прозвучал как-то странно в заброшенном уголке сада.

— О Мэри! — блаженно вздохнула Несси. — Я даже не ожидала, что

мне станет так весело. Я бы век глядела на тебя и обнимала тебя вот так, как сейчас. Ты такая милая. Вот и вернулась ко мне моя большая, красивая сестра! Я храбро поступила, правда, Мэри? Если бы он узнал, что я тебе написала, он бы мне голову оторвал! Ты ведь меня не выдашь, правда?

— Ну конечно нет, — уверила ее с нежностью Мэри. — Я и виду не подам.

— Он должен скоро прийти, — медленно сказала Несси, и лицо ее опять вытянулось при мысли о неизбежном появлении отца. — Ты знаешь, верно, как это вышло, что он стал работать на верфи?

Легкая краска выступила на щеках у Мэри.

— Да, я узнала об этом сразу после смерти мамы.

— Такое унижение! — сказала Несси все с той же серьезностью слишком рано развившегося ребенка. — Хорошо, что бедная мама не дожидая до этого. Это бы ее доконало. — Она помолчала и, вздохнув, прибавила с чем-то вроде грустного удовлетворения: — Я бы хотела, чтобы мы с тобой как-нибудь на днях сходили на кладбище и снесли цветы на ее могилу. На могиле ничего нет, даже ни одного искусственного венка.

Наступило молчание. Сестры задумались — каждая о своем. Но скоро Мэри очнулась и сказала:

— Мне надо идти в дом и приняться за дело. Я хочу успеть все приготовить. Ты побудь еще здесь на воздухе, тебе это полезно. Погоди, увидишь, как славно я все устрою для тебя.

Несси посмотрела на сестру с некоторым сомнением.

— А ты не вздумаешь убежать и оставить меня? — спросила она. — Лучше я пойду с тобой и буду тебе помогать.

— Глупости! Я привыкла к такой работе, — возразила Мэри. — Твое дело сейчас — оставаться здесь и нагулять аппетит к ужину.

Несси выпустила руку сестры, но, следя, как Мэри входила в дом, крикнула ей вдогонку:

— Я буду стеречь тебя под окошком, чтобы ты не убежала!

Войдя в кухню, Мэри принялась наводить чистоту и порядок. Надев фартук, найденный в посудной, она начала хозяйничать с ловкостью и аккуратностью, приобретенными долгим опытом. Быстро начистила решетку, выгребла золу из очага и развела огонь. Вымыла пол, смахнула пыль с мебели и протерла до блеска стекла окон. Затем, выбрав самую чистую из скатертей, накрыла ею стол и начала готовить ужин, настолько вкусный, насколько это позволяли скудные запасы в кладовой. Когда она стояла у плиты, покрасневшись, немного запыхавшись от быстрых движений, можно было подумать, что не было всех этих лет, не было всех

перенесенных ею горьких испытаний и она снова прежняя юная девушка, готовящая ужин для семьи. Хлопоча у плиты, она услышала вдруг в передней медленные, шаркающие шаги, а затем скрип двери, которая вела из передней в кухню, и, обернувшись, увидела сторбленную, дряхлую фигуру старой бабки, которая вошла, прихрамывая, робко, неуверенно, похожая на призрак, бродящий среди развалин бывшего величия. Мэри отошла от плиты, сделала несколько шагов ей навстречу и позвала:

— Бабушка!

Старуха медленно подняла голову, показав желтое, изрезанное морщинами лицо с запавшими щеками, недоверчиво уставилась на девушку, словно тоже увидела призрак, и наконец прошамкала:

— Мэри! Не может быть, чтобы это была Мэри!

Затем покачала головой, не доверяя своим старым глазам, отвела их от Мэри и неуверенными шагами двинулась к посудной, бормоча про себя:

— Пойду соберу для него чего-нибудь поесть. Джемсу надо приготовить ужин.

— Я уже готовлю, бабушка, — воскликнула Мэри. — Вы не беспокойтесь. Пойдемте, я вас усажу в ваше кресло. — И, взяв старуху за руку, подвела ее, покорно ковылявшую, к старому месту у огня, на которое та опустилась, глядя перед собой тупым, невидящим взглядом. Но когда Мэри начала снова из посудной в кухню и обратно, а стол — постепенно приобретать такой вид, какого он не имел уже много месяцев, глаза старухи прояснились, и, глядя то на блюдо с горячими оладьями, дымящимися, не прозрачными, настоящими, то в лицо Мэри, она провела по лбу трясущейся прозрачной рукой в синих венах и пробормотала:

— А он знает, что ты вернулась домой?

— Знает, бабушка. Я писала ему, что приеду, — ответила Мэри.

— А он позволит тебе жить здесь? — прокаркала старуха. — Может быть, он опять выгонит тебя. Когда это было? Не помню что-то. Это было до того, как умерла Маргарет?.. Как красиво ты стала причесываться...

Взгляд ее снова потух, она, казалось, утратила всякий интерес к разговору и, отвернувшись к огню, пробормотала безутешно:

— Я не могу без зубов есть так хорошо, как раньше.

— Не хотите ли горячих оладий с маслом? — предложила Мэри.

— Конечно хочу! — оживилась бабушка. — Где они?

Мэри подала старухе тарелку, и та, с жадностью схватив ее, принялась есть, скорчившись у огня. Наблюдавшая за ней Мэри вдруг была выведена из задумчивости шепотом над самым ее ухом:

— Мне тоже хочется. Дай мне одну штуку, Мэри, милочка!

Несси вошла неслышно и просительно протягивала руку раскрытой ладонью вверх, ожидая, чтобы на нее положили еще теплую свежеиспеченную оладью.

— Ты получишь не одну, а две, — воскликнула весело Мэри. — Да! Столько, сколько захочешь. Я напекла их много.

— Вкусные! — одобрила Несси. — Давно не ела ничего такого вкусного. И как быстро ты их приготовила! Да и кухню не узнать, честное слово! Совсем как при маме... Оладьи легкие, как пух! Такие пекла мама, но эти, кажется, еще лучше, чем те, что она давала нам в детстве, — болтала Несси, уписывая оладьи.

Слушая ее болтовню и наблюдая быстрые, нервные жесты, Мэри вдруг стала пристальнее вглядываться в сестру, и постепенно в душу ее закрадывалась неопределенная, но сильная тревога. Эта быстрая бойкая речь, порывистые, несколько неуверенные жесты Несси, поражавшие ее теперь, при более внимательном наблюдении, указывали на какое-то бессознательное нервное напряжение, беспокоившее Мэри. Обратив внимание и на то, как похудела и вытянулась младшая сестра, как впали ее щеки и виски, она невольно спросила:

— Несси, дорогая, а ты чувствуешь себя хорошо?

Несси сначала запихала в рот последний кусок, а затем с полным убеждением сказала:

— Мне становится все лучше и лучше, особенно после оладий. Оладьи Мэри хороши, а сама Мэри еще лучше!

Она с минуту жевала, потом добавила серьезно:

— Мне бывало иногда очень худо, но теперь я совсем здорова.

Мэри подумала, что ее неожиданное подозрение — просто ерунда, тем не менее она решила сделать все, что может, чтобы добиться для Несси некоторой передышки в занятиях, которые, видимо, были не под силу неокрепшему организму девочки. Ее охватил порыв глубокого чувства, в котором была и сестринская любовь, но главным образом — властный материнский инстинкт, вызванный слабостью и беспомощностью Несси. И, обняв рукой узкие плечи сестры, она привлекла ее к себе и шепнула нежно:

— Я сделаю для тебя все, что в моих силах, дорогая. Чего бы я не дала, чтобы увидеть тебя счастливой и здоровой!

В ту минуту, когда сестры так стояли обнявшись, старая бабушка подняла голову, поглядела на них и с глубокой прозорливостью, неожиданной для ее притупленного старостью мозга, сказала резко:

— Смотрите, чтобы он не увидел вас вместе! При нем не обнимайтесь и вида не показывайте, что вы так любите друг друга. Нет, нет! Он не

допустит никого к Несси. Оставь ее в покое, оставь ее в покое!

Последние слова она произнесла уже с меньшей резкостью, глаза ее опять стали мутны, и с откровенным протяжным зевком она отвернулась, бормоча:

— Я хочу чаю. Разве еще не время пить чай? Джемсу пора бы уже прийти.

Мэри вопросительно взглянула на сестру. На лицо Несси снова набежала тень, и она сказала угрюмо:

— Можешь заваривать чай. Он сию минуту придет. Вот увидишь сама — не успею я допить чашку, как он погонит меня в гостиную! Мне это до смерти надоело!

Мэри, не отвечая, ушла в посудную готовить чай. Ее вдруг охватил страх перед встречей с отцом, которая должна была сейчас произойти, и, забыв на минуту свою тревогу за сестру, она с трепетом пыталась угадать, как он ее встретит. Глаза ее, неподвижно, отсутствующим взглядом смотревшие на струю пара из чайника, вдруг замигали: она вспомнила, как отец грубо ткнул ее сапогом, когда она лежала на полу в передней, вспомнила, что этот удар отчасти был причиной воспаления легких, от которого она чуть не умерла. Пожалел ли он когда-нибудь о своем поступке, подумал ли о нем хоть раз за четыре года ее отсутствия? Воспоминание об этом ударе не покидало ее в течение многих месяцев. Боль от него не проходила все то время, когда она лежала в бреду, когда она, казалось, испытывала тысячу таких зверских пинков при каждом вдохе и выдохе, как ножом пронизывавшем ее острой болью. А обида не забывалась еще долго после выздоровления, и она часто лежала по ночам без сна, думая на все лады об этом поругании ее тела — бесчеловечно жестоком ударе тяжелого сапога.

Сейчас Мэри снова подумала об этих башмаках с толстыми подошвами, которые она так часто чистила, которые и теперь будет чистить в своем добровольном рабстве. Вспомнив тяжелые шаги, уже издали возвещавшие о приближении отца, она вздрогнула, прислушалась — и действительно услышала в передней шаги, медленные, до странности медленные, не такие уверенные, как когда-то, но, несомненно, шаги отца. Минута, которой она ждала, которую представляла себе тысячу раз, минута, которой боялась и тем не менее добивалась, теперь наступила, и с бьющимся сердцем, дрожа всем телом, Мэри храбро шагнула вперед навстречу отцу.

Они сошлись лицом к лицу в кухне, и вошедший безмолвно посмотрел на нее, потом обвел угрюмым взглядом кухню, стол, камин, в котором

весело пылал огонь, и снова обратил глаза на Мэри. Но только когда он заговорил, она окончательно поняла, что это ее отец, узнала горькую усмешку, искажившую его морщинистое лицо. Он сказал:

— А, вернулась?

И, не говоря больше ни слова, подошел к своему месту. Ужасающая перемена в нем, такая перемена, что Мэри едва его узнала, потрясла ее до того, что она не в силах была заговорить. Неужели это отец? Этот высохший старик с нечесаной головой, в неопрятной, засаленной одежде, мрачный, небритый, с одичалым, злобным и вместе печальным взглядом? Несси была права! Никогда бы она не поверила, что он может так измениться, если бы не увидела сама, да и увидев, едва верила собственным глазам. Ошеломленная, она подошла к столу и принялась разливать чай, поставив перед каждым его чашку. Она не села за стол, а осталась на ногах, чтобы прислуживать остальным, все еще не оправившись от потрясения, вызванного ужасным видом Бродди.

Он же по-прежнему не обращал на нее никакого внимания и молча ел. Манера есть у него была теперь небрежная, почти неопрятная, и он, видимо, не замечал, что и как ест. Взгляд его был рассеян, а когда в этом взгляде мелькало сознание окружающего, он останавливался не на Мэри, а неизменно на Несси, как будто на ней сосредоточивалась какая-то крепко засевшая в его мозгу идея, выдвигавшая Несси всегда в фокус его внимания. Все остальные также ели молча, и Мэри, не имевшая еще случая обратиться к отцу и в первый раз прервать это молчание между ними, длившееся вот уже четыре года, бесшумно прошла из кухни в посудную и стояла там настороже, напряженно прислушиваясь. Решив пожертвовать собой ради Несси и вернуться домой, она предвидела борьбу с гнетом отцовской воли, но воли, выражаемой, как бывало, шумно, заносчиво, даже свирепо, а никак не с этой непонятной, нечеловеческой угрюмостью, которая, видимо, владела теперь ее отцом. Его сильный и мужественный характер как будто истаял вместе с его телом, и перед ней был изуродованный остов человека, одержимого чем-то — она не знала чем, — управлявшим каждой его мыслью, каждым поступком.

Мэри не успела пробыть в посудной и нескольких минут, как до ее ушей донесся из кухни его резкий, как-то по-новому звучащий голос:

— Ты кончила, Несси, теперь отправляйся в гостиную и садись за работу.

Мэри тотчас, собравшись с духом, вошла в кухню. Увидев, что Несси, повинувшись приказу, встает из-за стола, притихшая, подавленная, с затравленным видом, она ощутила внезапный прилив мужества и сказала

ровным голосом, обращаясь к отцу:

— Папа, нельзя ли Несси сначала погулять со мной, а потом уже приняться за работу?

Но Броуди ничем не обнаружил, что видит и слышит ее, он был глух к ее словам и, казалось, совершенно забыл о ее присутствии. Он по-прежнему смотрел на Несси и повторил еще более жестким тоном:

— Ну, ступай. Да смотри, прилежно занимайся! Я приду посмотреть, как у тебя идет дело.

Несси покорно вышла. Мэри закусила губу и густо покраснела: молчаливое пренебрежение отца к первым же ее словам показало ей, как он намерен к ней впредь относиться. Ей разрешено жить здесь, но для него она точно не существует! Она не сделала никакого замечания и, когда отец встал из-за стола, а бабушка, поев, ушла наверх, принялась убирать со стола. Унося из кухни тарелки, она видела, как отец взял с буфета бутылку и стакан и сел на свое место у камина; по всему было заметно, что это превратилось у него в неизменную привычку и что он собирается сидеть так и пить весь вечер. Она вымыла и перетерла тарелки, убрала посудную, потом, намереваясь заглянуть в гостиную к Несси, прошла через кухню. Но только что она направилась к дверям, как вдруг Броуди, не глядя на нее, крикнул из своего угла свирепым, предостерегающим тоном:

— Ты куда?

Мэри остановилась и, умоляюще глядя на него, промолвила:

— Я хотела только на минутку зайти к Несси, папа. Я не буду с ней разговаривать, только взгляну на нее.

— Незачем тебе ходить к ней, — отрезал он, по-прежнему глядя не на нее, а в потолок. — Я сам присмотрю за Несси. А тебя попрошу держаться от нее подальше!

— Отчего же, папа? — возразила, запинаясь, Мэри. — Я ей не помешаю. Я не видела ее так давно, и мне хочется побыть с нею.

— А я хочу, чтобы ты была от нее подальше, — возразил он злобно. — Такие, как ты, моей дочери не компания. Ты можешь стряпать и работать на нее, как и на меня, но помни: руки прочь от Несси! Я не потерплю никакого вмешательства с твоей стороны. Ни Несси, ни ее занятия тебя не касаются.

Это было именно то, чего она ожидала, и, спрашивая себя, к чему же было возвращаться сюда, если нельзя помочь сестре, Мэри, твердо и спокойно глядя на отца, собрала все свое мужество, сказала:

— Я иду к Несси, папа, — и шагнула по направлению к дверям. Только тогда Броуди посмотрел на нее, сосредоточив в этом взгляде всю силу своей ненависти, схватил стоявшую рядом бутылку, встал и медленно

двинулся к дочери.

— Еще шаг к этой двери — я раскрою тебе череп, — прорычал он.

И, как будто надеясь, что она ослушается, стоял, глядя ей в лицо, готовый броситься на нее. Мэри отступила, и, когда она скользнула мимо него, он насмешливо воскликнул:

— То-то же! Так уже гораздо лучше! Придется мне, вижу, сызнова учить тебя, как следует себя вести. А к Несси ты не лезь — слышишь? — и не думай, что сможешь меня дурачить. Теперь это не удастся больше ни одной женщине. Сделай ты один только шаг — и я бы прикончил тебя.

Свиrepая мина вдруг разом исчезла с его лица, он вернулся на место и, снова впад в угрюмую апатию, продолжал пить, видимо, не для того, чтобы было веселее, а в бесплодном отчаянном усилии забыть какое-то тайное и безутешное горе.

Мэри села к столу. Она боялась уйти из кухни. То был страх не физический, не за себя, а за Несси. Если бы не жалость к сестре, она бы минуту назад шагнула прямо под страшный удар, которым отец угрожал ей. Она давно уже мало дорожила жизнью, но сознавала, что если хочет спасти Несси от грозившей ей в этом доме страшной опасности, то должна быть не только смела, но и благоразумна. Она поняла, что ее присутствие и прежде всего та цель, которая привела ее сюда, вызовут трудную и постоянную борьбу с отцом за Несси, борьбу, на которую у нее не хватит сил. И, наблюдая, как Броуди все время поглощал виски, не пьянея, она решила не откладывая обратиться к кому-нибудь за помощью и стала обдумывать, что ей делать завтра. Когда в голове у нее созрел четкий план, она огляделась, ища, чем бы заняться, но не нашла ничего — ни книги, ни шитья — и была вынуждена сидеть праздно и неподвижно, в молчании наблюдая отца, который ни разу не поднял на нее глаз.

Вечер тянулся медленно, ползли часы, и Мэри казалось, что это никогда не кончится, что никогда отец не двинется с места. Но наконец он встал и, бросив холодно: «У тебя есть своя комната. Ступай туда, а к Несси в комнату ходить не смей», пошел в гостиную, откуда тотчас донесся его голос, спрашивающий о чем-то, потом убеждающий. Мэри потушила свет и неохотно пошла наверх, в свою старую спальню. Здесь она разделась и села дожидаться.

Она слышала, как пришли наверх сначала Несси, потом отец, слышала, как они раздевались, потом уже больше ничего не было слышно. В доме наступила тишина. Долго ждала Мэри в маленькой комнате, где она уже когда-то пережила столько дней ожидания и горькой тоски. Образы прошлого мелькали перед нею: она видела себя, тоскующую под окном и

не сводившую глаз с серебряных берез, видела Розу — где-то она теперь? — полет яблока, грозу, тот час, когда тайна ее была раскрыта. И, наученная собственным горьким опытом, твердо решила уберечь Несси от несчастья, хотя бы даже для этого ей пришлось пожертвовать собой. Думая об этом, Мэри тихонько встала, открыла дверь, без единого звука прокралась через площадку в комнату Несси и скользнула к ней в постель. Она обняла холодное, хрупкое тело девочки, растирала застывшие ноги, согревала ее своим телом, унимала ее рыдания, утешала, шепча ласковые слова, и в конце концов убаюкала ее. Когда Несси уснула, Мэри еще долго лежала без сна и думала, держа в объятиях спящую сестру.

VI

С сосредоточенным восторгом, на время заставившим ее забыть печаль и тревогу, Мэри смотрела на картину, которая висела здесь в почетном одиночестве, выделяясь на густом темно-красном фоне стены. Мэри стояла перед нею, откинув назад голову, так что свет из окна падал прямо на ее чистый, четкий профиль, полуоткрыв губы, с глубоким вниманием устремив на нее сияющие глаза. Картина дышала на нее холодным серым туманом, который стлался над серой, точно застывшей водой, окутывал мягким саваном высокие тихие деревья, такие же серебристые, как березы под окном ее спальни, одевал и тонкие стебли камыша, росшего вокруг пруда. Под влиянием несравненной меланхолической красоты этой картины, с такой сдержанной силой передававшей настроение покорной безнадежности в природе, Мэри отрешилась от того смятения, в котором пришла сюда. Картина, казалось, вышла из своей рамы и коснулась ее души мечтой, грустным, но ясным раздумьем о горестях жизни. Она привлекла ее внимание, когда Мэри, смущенная, сидела, ожидая в этой со вкусом убранной комнате, так что она невольно встала и подошла поближе. Поглощенная созерцанием, она не слышала, как тихо открылась дверь, не заметила и человека, вошедшего в комнату и теперь смотревшего на ее бледное, преображенное восторгом лицо с какой-то странной жадностью, с таким же безмолвным упоением, как она на картину. Он стоял так же неподвижно, как Мэри, словно боясь нарушить очарование, и смотрел на нее радостно, ожидая, пока глаза ее насытятся прелестью этого тихого пруда.

Наконец Мэри со вздохом отвела глаза от картины, машинально обернулась и вдруг увидела вошедшего. Смущение снова охватило ее, перешло даже в чувство стыда, и она, вспыхнув, опустила голову. Доктор подошел и ласково взял ее за руку.

— Это Мэри, — сказал он, — Мэри Броуди пришла навестить меня!

Она с трудом заставила себя поднять глаза и ответила тихо:

— Так вы еще помните меня? А я думала, вы меня забыли и не узнаете. Я... я так сильно изменилась.

— Изменились? Ничуть, если не считать того, что вы стали еще красивее прежнего. Ну, ну, не надо конфузиться, Мэри. Быть красивой — не преступление.

Она чуть-чуть улыбнулась, а доктор весело продолжал:

— И как вы можете думать, что я вас забыл — вас, одну из первых моих пациенток? Вы больше всех создали мне репутацию, когда я боролся с нуждой и в этой самой комнате не было ничего, кроме пустого ящика, в котором я привез мои книги.

Мэри оглядела богатую, комфортабельную обстановку комнаты и, все еще немного взволнованная, сказала, как бы отвечая на свои мысли:

— Да, теперь здесь побольше вещей, доктор!

— Вот видите! А этим я обязан вам, — воскликнул Ренвик. — Вы победили болезнь своим мужеством, а слава досталась мне!

— Да, только слава, — медленно вставила Мэри. — Почему вы вернули плату за лечение, которую я вам послала из Лондона?

— Из письма я узнал ваш адрес — ведь вы же сбежали от меня не простясь! — и это было единственное вознаграждение, которое мне от вас было нужно.

Он был так рад ей, что Мэри это даже казалось странным. Да, рад и странно близок ей, словно и не прошло четырех лет с тех пор, как он в последний раз говорил с нею, словно он все еще сидел у ее постели, насильно возвращая ее к жизни, заражая ее своей жизненной энергией.

— Рассказывайте же, что вы делали, — продолжал он, стараясь рассеять ее смущение. — Ну развяжите язык! Покажите, что и вы не забыли старых друзей.

— Я вас не забывала никогда, доктор, иначе я не пришла бы сейчас сюда. Никогда я не забуду всего, что вы для меня сделали.

— Тсс! Вовсе не это я хотел от вас услышать. Я хочу, чтобы вы рассказали о себе. Вы уже, наверное, за это время успели покорить весь Лондон и заставить его ползать перед вами на коленях.

Она покачала головой и с легким юмором возразила:

— Нет, я сама ползала на коленях — мыла полы и лестницы.

— Что? — вскрикнул он, пораженный и огорченный. — Неужели вы занимались такой работой?

— Я тяжелой работы не боюсь, — сказала Мэри спокойно. — Она мне была полезна: не оставляла времени думать о моих несчастьях.

— Вы не созданы для такой работы, — возразил с упреком Ренвик. — Это возмутительно! С вашей стороны было очень дурно убежать отсюда тайком. Мы могли бы найти для вас более подходящее занятие.

— Мне тогда хотелось уйти от всего, — пояснила она грустно. — И ничьей помощи я не хотела.

— Ну смотрите, больше так не поступайте, — отозвался Ренвик с некоторой суровостью. — Опять умчитесь, не простившись со мной?

— Нет, — обещала Мэри кротко.

Он невольно улыбнулся ее покорному виду и, жестом попросив ее сесть, придвинул низенькое кресло вплотную к ней и сказал:

— Я совсем забыл о правилах вежливости и заставил вас так долго стоять, но, право, мисс Мэри, ваше появление было такой неожиданностью — и такой приятной неожиданностью! Вы должны меня извинить.

Затем, помолчав, спросил:

— Получили мои письма? Они, верно, были вам неприятны, потому что напомнили об этом городе, да?

Мэри покачала головой:

— Я очень вам благодарна за них. Если бы вы не написали, я бы никогда не узнала о смерти мамы. Эти письма привели меня обратно сюда.

Он посмотрел на нее долгим взглядом.

— Я знал, что вы еще вернетесь сюда. Чувствовал это... Но скажите, что именно заставило вас приехать?

— Несси. Моя сестра, — ответила она медленно. — Дома у нас ужасная обстановка, и она страдала. Я ей нужна — вот я и вернулась. И к вам я пришла сегодня, чтобы поговорить о ней. Это очень бесцеремонно с моей стороны после того, как вы уже столько для меня сделали. Простите меня! Но мне нужна помощь.

— Скажите, чем я могу вам помочь, и я это сделаю! — воскликнул доктор. — Разве Несси больна?

— Не то чтобы больна, — замялась Мэри. — Но она меня почему-то беспокоит. Она так нервна, легко приходит в возбуждение. То смеется, то плачет, и так похудела! Ест она очень мало. Все это меня тревожит, но, собственно, пришла я не из-за этого...

Она немного помолчала, собираясь с духом, потом решительно продолжала:

— Все дело тут в отце. Он обращается с ней так странно... Он ее не обижает, нет, но заставляет заниматься сверх сил, все время, не только в школе, но и дома все вечера напролет. Запирает ее одну в комнате и приказывает зубрить для того, чтобы она выдержала экзамены лучше всех и получила стипендию Лэтта. Он крепко вбил это себе в голову. Несси говорит, что он твердит ей об этом постоянно, грозит ей всякими наказаниями, если она провалится. Если бы он оставил ее в покое, она бы все равно прилежно училась, но он ее подгоняет и подгоняет, а она такая слабенькая, и я боюсь, как бы с ней чего не случилось. Вчера ночью она целый час плакала, раньше чем уснула. У меня так тревожно на душе!

Ренвик, глядя в ее печальное, озабоченное лицо, живо представил себе, как она утешает и успокаивает сестру, вспомнил вдруг о ребенке, которого она лишилась, несмотря на все его усилия спасти этого ребенка, и сказал серьезно:

— Я вижу, что вы встревожены, но вмешаться в это дело нелегко. Надо обсудить, как это сделать. Вашего отца ведь нельзя обвинить в жестоком обращении с ней?

— Нет. Но он ее запугивает. Он всегда любил ее, но теперь он так переменялся, что даже его любовь превратилась во что-то странное и жуткое.

Ренвик, конечно, слышал о новых привычках Броуди, но не хотел расспрашивать Мэри и только спросил:

— А почему он так стремится, чтобы Несси получила стипендию Лэтта? Эта стипендия, кажется, до сих пор всегда доставалась мальчикам, а девочке — никогда?

— Вот этим-то, может быть, все и объясняется, — уныло предположила Мэри. — Он всю жизнь бредил каким-нибудь необычайным успехом, который бы его прославил, всегда хотел, чтобы Несси выдвинулась, — только из тщеславия, разумеется. Но уверяю вас, он не знает, что будет делать с ней, после того как она получит эту стипендию. Он гонит ее вперед без цели.

— А сын Грирсона тоже претендент на эту стипендию? — осведомился Ренвик после минутного размышления. — Ваш отец и Грирсон, кажется, в не слишком хороших отношениях?

Мэри покачала головой.

— Нет, тут, по-моему, более глубокие причины, — возразила она. — Послушаешь отца, так можно подумать, что, когда Несси получит стипендию, ему будет завидовать весь город.

По лицу Ренвика было видно, что он понимает ее.

— Я вашего отца знаю, Мэри, и понимаю, что вы хотите сказать. Боюсь, что с ним не совсем благополучно. В нем всегда было что-то такое... Видите ли, мне пришлось как-то с ним столкнуться, — Ренвик не сказал, что это было из-за нее, — и мы с ним с тех пор не ладим. Если бы я и счел возможным повидаться с ним, от этого было бы мало толку. Всякое мое вмешательство только разозлило бы его и ухудшило его поведение.

Наблюдая за Ренвиком, пока он, сосредоточенно глядя перед собой, обсуждал вопрос, Мэри думала о том, как он добр и внимателен к ней, как вникает ради нее во все обстоятельства, вместо того чтобы действовать наобум. Глаза ее бродили по его живому и вместе суровому смуглому лицу,

обличавшему сильный характер, по худой, подвижной, немного сутулой фигуре и наконец остановились на его руках, сильных, нервных, казавшихся особенно смуглыми от белоснежных крахмальных манжет. Эти уверенные, но такие деликатные руки исследовали тайны ее бесчувственного тела, спасли ей жизнь, и, сравнив их мысленно со своими собственными, распухшими, потрескавшимися, она почувствовала всю глубину пропасти, отделявшей ее от этого человека, к чьей помощи она так смело прибегала. Какие чудесные руки! Мэри вдруг показалась себе такой жалкой, ее присутствие среди этой роскоши — таким неуместным, что она торопливо отвела глаза, словно боясь, что он перехватит и поймет ее взгляд.

— Не хотите ли, чтобы я переговорил относительно Несси с директором школы? — спросил наконец Ренвик. — Я хорошо знаком с Джибсоном и могу по секрету попросить его помочь нам в этом деле. Сначала я подумал, не переговорить ли мне с сэром Джоном Лэтта, но ваш отец служит у него в конторе, и это ему могло бы повредить. Нам, врачам, приходится соблюдать осторожность: такое уж у нас щекотливое положение... — Он усмехнулся. — Так хотите, чтобы я сходил к Джибсону? Или, может быть, вы лучше пришлете ко мне Несси, чтобы я осмотрел ее?

— Мне кажется, было бы очень хорошо, если бы вы переговорили с директором. Он когда-то имел на отца большое влияние, — сказала Мэри с благодарностью. — А Несси так запугана отцом, что она побоится идти к вам.

— А вы не боялись? — спросил доктор, и взгляд его сказал ей, что помнит о ее былом мужестве.

— Боялась, — чистосердечно призналась Мэри. — Боялась, что вы не захотите меня принять. А мне больше некого просить помочь Несси. Она так молода. Я не хочу, чтобы с ней случилось что-нибудь дурное... — Она заговорила тише. — Вы ведь могли и не захотеть меня видеть. Вы знаете обо мне все, знаете, какая я была.

— Не смейте! Не смейте говорить так, Мэри! Я знаю о вас только хорошее. Я не забывал вас все эти годы, потому что вы славная, благородная и храбрая девушка. — Посмотрев на нее, он чуть не прибавил: «И красавица», но удержался, сказал только: — За всю мою жизнь я не встречал такой кротости и самоотверженности. Они мне врезались в память навсегда. Я не могу слышать, как вы себя унижаете.

Она вспыхнула от горячей нежности этих слов и сказала:

— Вы так добры, что всегда хвалите меня, но я этого не заслуживаю. Я

только была бы счастлива сделать что-нибудь для Несси и тем искупить свои ошибки.

— Что за старушечьи речи! Сколько вам лет?! — сердито прикрикнул на нее Ренвик. — Двадцать второй? Господи! Да вы еще совсем дитя, перед вами вся жизнь. Все страдания, что вы пережили, забудутся, а счастья настоящего, в полном смысле этого слова, вы и не знали еще. Начните же опять думать о себе, Мэри. Я видел, когда вошел, как вы смотрели на эту картину. Превратите же свою жизнь в целую галерею таких картин, развлекайтесь, читайте все книги, какие можете достать, интересуйтесь всем на свете. Я могу вам найти место компаньонки, тогда вы побываете за границей.

Мэри была против воли увлечена его словами. И мысли ее унеслись в прошлое. Она вспомнила, в какой трепетный восторг приводил ее, бывало, Денис, рисуя ей волшебные картины будущего своими разговорами о Париже, Риме, о путешествиях по обширным неведомым странам. Это было давно, в те дни, когда он открывал перед нею новые горизонты единым взмахом отважной, беспечной руки и уносил ее стремглав на ковresse-самолете своих образных, веселых речей.

Ренвик с проницательностью, смутившей Мэри, прочел ее мысли и сказал медленно:

— Я вижу, вы все еще думаете о *нем*.

Она подняла на него глаза с легким огорчением, угадывая, что он неверно истолковал ее молчание. А между тем это было только грустное воспоминание, не больше. Но, чувствуя, что она не может и не должна изменять памяти Дениса, она ничего не возразила.

— Я хотел бы сделать что-нибудь для вас, Мэри, — сказал Ренвик тихо. — Помочь вам стать счастливее. У меня есть кое-какие связи. Вы позволите мне найти вам подходящее место, достойное вас, раньше чем я уеду?

Она вздрогнула при этих словах, внезапно отнявших у нее ощущение тепла и уюта, и пробормотала, запинаясь:

— Так вы уезжаете отсюда?

— Да, через полгода примерно. Я буду работать в Эдинбурге над изучением одной специальной отрасли медицины. Мне представляется возможность быть зачисленным там в штат. Это почище сельской больницы! Для меня это большая удача.

Она уже видела себя одинокой, лишенной его мужественной, надежной поддержки, видела, как она тщетно пытается защитить Несси от отца, противопоставляя свои ничтожные силы пьяному безрассудству отца

и слабости сестры. И ей в этот миг стало ясно, как много надежд она возлагала на дружбу человека, стоявшего перед ней, как велико ее уважение к нему.

— Это чудесно, что вам представился такой случай, — сказала она тихо. — Вы этого вполне заслуживаете. Я уверена, вас в Эдинбурге оценят так же, как оценили здесь. Нет надобности желать вам успеха.

— Не знаю, — сказал Ренвик, — но я очень доволен. В таком городе, как Эдинбург, приятно жить: он красив, несмотря на свои серые тона. Взять хотя бы улицу Принца осенью, когда в садах листья шуршат под ногами и замок рыжим силуэтом рисуется на фоне неба, а по Артурову Трону вьется синий дымок, и воздух так и звенит, чистый, крепкий, как хорошее вино. Этот город нельзя не любить.

Он весь оживился от воспоминаний и продолжал:

— Конечно, Эдинбург — мой родной город, так что вы должны извинить мое пристрастие к нему. Но, право, там все как-то величественнее, чем в других городах, и красивее, и такое же чистое, как и воздух.

Затаив дыхание, Мэри слушала его, живо представляя себе картину, которую он рисовал, и его самого на фоне этой картины. Она видела, например, не только улицу Принца, но и фигуру Ренвика, шагающего среди ее серых домов и мягких красок дворцового парка.

— Как хорошо вы говорите! Я никогда не была там, но легко могу себе все это представить, — шепнула она.

— Так вы мне позволите найти вам место, раньше чем я уеду? — настаивал Ренвик. — Вам надо уйти из вашего дома.

Мэри видела, что ему очень хочется, чтобы она согласилась, но устояла перед этой заманчивой перспективой. Она сказала:

— Я вернулась сюда по собственной воле, чтобы заботиться о Несси. Я не могу ее сейчас оставить. Последние месяцы ей жилось страшно тяжело, и, если я снова уеду, бог знает что с ней будет.

Ренвик понял, что решение ее непоколебимо, и его охватила глубокая тревога за ее будущее. Он уже видел, как она, несмотря на его вмешательство, гибнет на алтаре своей самоотверженности жертвой необузданного тщеславия отца. Для того ли он спас ее от смерти, чтобы она снова вернулась в ту же обстановку, подверглась той же опасности в другой, еще более страшной форме? Волнение его было так сильно, что оно удивило даже его самого, но, маскируя свои чувства, он сказал весело:

— Я сделаю для Несси все, что в моих силах. Сегодня или завтра повидаю Джибсона. Все, что возможно, будет сделано. Не тревожьтесь о

ней так сильно. Поберегите и себя.

Решив, что цель ее достигнута, не смея больше отнимать у него время, Мэри тотчас поднялась и готовилась уйти. Доктор встал тоже, но не сделал никакого движения к выходу и молча смотрел ей в лицо, на которое теперь, когда она стояла, падал неверный луч бледного мартовского солнца, такой бледный здесь, в глубине комнаты, что он походил на свет луны. Взмолвленный, как был когда-то взмолвлен другой мужчина, глядевший на нее при лунном свете, доктор затаив дыхание любовался красотой этого лица, ярко выступавшей в таком освещении и только выигрывавшей от простого, незатейливого наряда. Его воображение одевало эту девушку в атлас цвета блеклой лаванды, видело ее в серебряном сиянии южной луны, в садах Флоренции или на балконе в Неаполе.

Мэри решительно ступила вперед маленькой ножкой в грубом башмаке, направляясь к дверям. Доктору ужасно хотелось удержать ее, но он не находил слов.

— Прощайте, — услышал он ее тихий голос — И благодарю вас за все, что вы сделали для меня и раньше, и теперь.

— Прощайте, — сказал он машинально, идя за ней в переднюю, сознавая, что она уходит. Он открыл перед ней дверь, смотрел, как она сошла по ступеням, и, испытав вдруг острое чувство утраты, повинувшись порыву, крикнул ей вдогонку поспешно, неуклюже, как школьник: — Вы скоро придете опять, да?

Потом, стыдясь своей несдержанности, сошел вниз и в объяснение этого возгласа сказал:

— Когда я поговорю с Джибсоном, мне ведь нужно будет сообщить вам результат.

Мэри снова поглядела на него с благодарностью и, проговорив: «Я приду на будущей неделе», торопливо ушла.

Медленно возвращаясь обратно в дом, доктор удивлялся своему порыву, этому неожиданно высказанному вслух желанию, чтобы Мэри поскорее пришла опять. Сначала он с некоторым стыдом за себя приписал это обаянию ее красоты в том освещении, в котором он видел ее только что у себя в приемной. Но потом он честно признался себе, что это было не единственной причиной его поведения. Мэри Броуди всегда привлекала его удивительной красотой своего внутреннего облика, и жизнь благородной и мужественной девушки вплелась в его существование в этом городе короткой и трагической нитью. С той самой минуты, когда он впервые увидел ее без чувств, в таком печальном состоянии, среди грязи и убожества, как лилию, вырванную с корнем и брошенную на навозную

кучу, его привлекли к ней ее юность и беспомощность, а позднее — терпение и стойкость, с которой она, без единой жалобы, переносила долгую болезнь и горе после смерти ребенка. Он ясно видел к тому же, что, хотя Мэри не была больше девушкой, она целомудренна и чиста, как этот свет, что недавно играл на ее лице. Она возбуждала в нем восхищение и живой интерес, и доктор давал себе слово, что поможет ей перестроить жизнь. Но она тайком уехала из города, как только ей позволили силы, вырвалась из той сети осуждения и злословия, которую, должно быть, ощущала вокруг себя. В годы ее отсутствия Ренвик по временам думал о ней. Не раз вставала она в его памяти, тоненькая, светлая, хрупкая, и был во всем ее облике какой-то настойчивый призыв, словно она хотела сказать ему, что нити их жизни снова переплетутся.

Доктор сел к столу, погруженный в мысли о Мэри, моля судьбу, чтобы возвращение ее в этот дом скорби, откуда ее так жестоко изгнали, не окончилось снова трагедией. Через некоторое время мысли его приняли иное направление, и он достал из ящика стола старое письмо в одну страничку, уже немного выцветшее за четыре года, написанное круглым почерком, косыми, загибавшимися книзу строчками. Он перечел его снова, это единственное письмо Мэри к нему, в котором она посылала ему деньги — вероятно, с трудом скопленные из ее скудных заработков, — желая хоть немного вознаградить его за лечение и заботы о ней. Держа письмо в тонких пальцах, доктор задумался, глядя прямо перед собой; он видел в своем воображении Мэри за той работой, о которой она упоминала, видел, как она на коленях скребет щеткой полы, как она стирает, моет на кухне посуду, выполняет все обязанности прислуги.

Наконец он со вздохом оторвался от этих мыслей, положил письмо обратно в ящик и, так как до вечернего приема больных у него оставался еще целый час, решил, не откладывая, сходить к директору школы и поговорить с ним о Несси. Сказав экономке, что он вернется к четверем, доктор вышел из дому и не торопясь направился в школу, до странности серьезный и рассеянный.

Школа находилась неподалеку, в центре города, немного в стороне от других домов Черч-стрит, благодаря чему больше бросалась в глаза строгая, но поражающая прекрасными пропорциями архитектура ее обветшавшего фасада и гордо красовавшиеся на мощеной площадке перед ним две русские пушки на высоких лафетах, взятые под Балаклавой отрядом уинтонской добровольческой кавалерии, которым командовал Морис Лэтта.

Но Ренвик, подойдя к зданию школы, сразу же вошел внутрь, не

замечая ни фасада, ни пушек; поднявшись по отлогим, истертым каменным ступеням, он прошел по коридору, все с тем же озабоченным видом постучал в дверь директорского кабинета и вошел.

Джибсон, на вид слишком молодой для поста директора, не успевший еще отлиться в форму ученого педанта, сидел за письменным столом, заваленным бумагами, посреди своего небольшого кабинета, уставленного по стенам книжными полками. Этот толстенький человек в опрятном коричневом костюме не сразу поднял глаза и продолжал изучать какой-то лежавший перед ним документ.

Легкая улыбка скользнула по серьезному лицу Ренвика, и через минуту он сказал шутливым тоном:

— Ты все тот же усердный труженик, Джибсон. — И когда тот, вздрогнув, поднял глаза, продолжал: — Глядя на тебя, я вспомнил старые времена, когда ты вот так же постоянно сидел и изучал что-нибудь.

Джибсон, просветлев при виде Ренвика, откинулся на спинку стула и, знаком попросив гостя сесть, промолвил легким тоном:

— Я понятия не имел, что это ты, Ренвик. Думал, что это кто-нибудь из моей чернильной команды, трепеща, ожидает заслуженной кары. Этих сорванцов полезно держать в благоговейном страхе перед высшим начальством.

Они обменялись улыбкой, почти такой же непосредственной, как когда-то в школьные годы, и Ренвик сказал:

— Ты точь-в-точь старый бульдог Морисон. Я непременно скажу ему это, когда вернусь в Эдинбург. Он будет польщен таким комплиментом.

— Посмеется, ты хочешь сказать, — воскликнул Джибсон, и глаза его приняли мечтательное выражение, словно смотрели в прошлое. — Эх, как бы мне хотелось вернуться в наш старый город! Везет тебе, черт тебя возьми!

Затем, остановив вдруг взгляд на Ренвике, он спросил:

— Неужели ты уже пришел проститься?

— Нет, нет, дружище. Я уеду месяцев через шесть, не раньше. Я еще пока не бросаю тебя одного в этой глуши.

Лицо его приняло другое выражение, некоторое время он молча смотрел на пол, потом устремил глаза на Джибсона и сказал серьезным тоном:

— Я пришел по не совсем обычному делу и хочу поговорить с тобой о нем по секрету. Мы с тобой старые друзья, но мне трудно объяснить тебе, чего я хочу. — Он опять помолчал, потом продолжал с некоторым усилием: — У тебя в школе учится одна девочка, в которой я принимаю

участие, больше того — за которую я тревожусь. Это Несси Броуди. Я косвенно заинтересован в ее здоровье и ее будущем. Прими во внимание, Джибсон, что я не имею ни малейшего официального права обращаться к тебе таким образом, я это отлично знаю, но ты ведь не похож на других директоров и наставников. Мне нужно узнать твое мнение, а может быть, понадобится и твоя помощь.

Джибсон внимательно посмотрел на друга и тотчас отвел глаза. Он не спросил, почему Ренвик интересуется Несси, и ответил медленно:

— Несси Броуди? Она способная девочка. Да, очень понятливая, но у нее странный склад ума. Память у нее замечательная, Ренвик: если ты прочтешь ей вслух целую страницу Мильтона, она повторит все почти слово в слово. Схватывает она все быстро, но вот способность рассуждать, более глубокие свойства мышления у нее развиты непропорционально слабо. — Он покачал головой. — Она, что называется, примерная ученица, соображает быстро, но, к сожалению, я замечаю в ней некоторую ограниченность интеллекта.

— Я слышал, она добивается стипендии Лэтта, — сказал Ренвик. — Что же, это ей по силам? Получит она ее, как ты думаешь?

— Может быть, и получит, — ответил Джибсон, пожимая плечами. — Но к чему она ей? Да и трудно сказать, получит или нет. Это не от нас зависит. Программа университетских экзаменов не совпадает с нашей школьной программой. Ей следовало бы идти в педагогический институт. Вот это ее призвание.

— В таком случае не можешь ли ты не допустить ее к экзаменам на стипендию? — спросил Ренвик с некоторой стремительностью. — Я имею сведения, что здоровье ее пошатнулось от усиленной подготовки к ним.

— Невозможно! — возразил Джибсон. — Я же тебе только что сказал, что это не в нашем ведении. Стипендия предоставлена городу, назначает ее университетское начальство, и к экзамену допускают всякого, кто удовлетворяет их требованиям. Должен сознаться, что я уже пробовал говорить на этот счет с ее почтенным родителем, — Джибсон нахмурил брови, — но ничего не вышло. Он упорно стоит на своем. Конечно, у девочки такие серьезные шансы на получение стипендии, что отговаривать ее от этого кажется безумием. А впрочем...

— Что? — подхватил Ренвик.

Вместо ответа Джибсон взял со стола какую-то бумагу и, бегло просмотрев ее, передал своему другу, промолвив с расстановкой:

— Странное совпадение: я читал это как раз тогда, когда ты вошел. Что ты на это скажешь?

Ренвик взял листок и, увидев, что это перевод латинской прозы (как ему показалось, Цицерона), переписанный красивым, но не сформировавшимся еще почерком, начал читать, но вдруг остановился. Между двумя фразами этого прекрасно сделанного гладкого перевода были вписаны на местном диалекте неразборчиво, почти каракулями, следующие слова: «Налегай, Несси! Что делаешь, делай хорошо. Если не получишь стипендии Лэтта, то я буду знать, кто в этом виноват». Дальше продолжался перевод.

Ренвик в удивлении посмотрел на Джибсона.

— Это мне сегодня утром прислал ее классный наставник, — пояснил тот. — Он вырвал этот листок из тетради Несси Броуди.

— А перевод она делала в школе или дома? — быстро спросил доктор.

— В классе. Должно быть, она написала эти слова бессознательно, но, несомненно, они написаны ее собственной рукой. Что это значит? Наследие тех знаменитых шотландских предков, о которых мы так много слышали от старика? Или раздвоение личности? Ты больше разбираешься в таких вещах, чем я.

— Какое там, к черту, раздвоение личности! — перебил его Ренвик в некотором замешательстве. — Это просто минутная рассеянность ума, доказательство чрезмерного нервного напряжения, в котором (судя по тому, что она написала) ее держит чужая сильная воля. Как ты не понимаешь? Она утомилась, работая над упражнением, внимание ее ослабло, и тотчас же в памяти всплыла та подсознательная мысль, которая ее постоянно мучает, подгоняет. И, раньше чем мысль оформилась у нее в мозгу, девочка уже машинально написала эту фразу. — Он покачал головой. — Слишком ясно, чего она боится.

— Мы не переутомляем ее занятиями, — заметил Джибсон. — Ее здесь всячески щадят.

— Знаю, знаю. Девочку губят не в школе. Все зло в этом сумасшедшем отце. Что же нам делать? Ты говоришь, что уже пробовал повлиять на него, но безуспешно, ну а я для него все равно что красная тряпка для быка. Как же быть? — Он положил листок с переводом обратно на стол Джибсона и, указывая на него, dokonчил: — Эта штука меня очень пугает. Такие симптомы я наблюдал в моей практике, они всегда предвещают очень плохой конец. Не нравится мне все это.

— Ты меня удивляешь, — заметил директор после паузы, во время которой он пытливо вглядывался в собеседника. — А ты уверен, что в этом случае не преувеличиваешь под влиянием какого-то предубеждения?

И когда Ренвик молча покачал головой, он продолжал:

— Не хочешь ли взглянуть на девочку — на одну минутку, конечно, чтобы ее не испугать?

Доктор подумал и ответил решительно:

— Разумеется, хочу. Мне надо самому проверить свое предположение. Это ты хорошо придумал.

— Так я ее сейчас приведу, — сказал Джибсон, вставая и направляясь к двери. — Надеюсь, ты будешь с ней осторожен. Ни в коем случае не следует упоминать об этой истории с переводом.

Ренвик кивком головы выразил согласие и, когда Джибсон вышел из кабинета, продолжал сидеть неподвижно, сдвинув брови, устремив хмурый взгляд на страничку, исписанную Несси, как будто эти странные, бессвязные, затесавшиеся в латинский текст слова сливались перед его глазами в видение, пугавшее и расстраивавшее его. Его вывел из задумчивости приход директора и Несси, которую Ренвик видел в первый раз. Рассмотрев эту худенькую, горбившуюся девочку с кроткими, умоляющими глазами, тонкой белой шейкой, слабохарактерным ртом и подбородком, он перестал удивляться тому, что она так цепляется за Мэри и что Мэри со своей стороны горит желанием ее защищать.

— Вот одна из наших лучших учениц, — дипломатически сказал Джибсон, обращаясь к доктору, после того как сел на свое место. — Мы представляем ее всем нашим посетителям. Никто из учеников старших классов не обладает такой памятью, как она. Не правда ли, Несси? — добавил он, мельком посмотрев на нее.

Несси вспыхнула от гордости. Ее детская душа наполнилась глубокой благодарностью и еще более глубоким благоговением, к которым примешивалось некоторое смущение, так как ей было непонятно, зачем ее вдруг вызвали сюда. Она молчала и не поднимала глаз от пола; тонкие ножки в высоких, сильно поношенных башмаках и грубых шерстяных чулках немного дрожали, не от страха, а просто от волнения в присутствии таких двух важных особ, как директор и доктор Ренвик. Она понимала, что заданный ей вопрос — чисто риторический, и не смела заговорить, пока не обратятся прямо к ней.

— Вам нравятся занятия в школе? — ласково спросил Ренвик.

— Да, сэр, — ответила боязливо Несси, поднимая на него глаза, как испуганная козочка.

— А что, они вас никогда не утомляют? — продолжал он все так же мягко, боясь задать вопрос в более определенной форме.

Несси посмотрела на директора, как бы прося позволения заговорить, и, успокоенная его взглядом, ответила:

— Нет, сэр! Не особенно. Только иногда голова болит. — Она сказала это робко, как будто головная боль была чем-то предосудительным, потом, уже увереннее, продолжала: — Папа водил меня к доктору Лори месяцев шесть тому назад, и доктор сказал, что это пустяки. Он сказал даже, — прибавила она наивно, — что у меня хорошая голова на плечах.

Ренвик молчал, ощущая на себе слегка иронический взгляд Джибсона, но нерешительные, уклончивые ответы этого запуганного ребенка представлялись ему столь же малоубедительными, как и только что приведенное ею мнение его чванного коллеги. Подозрение, что Несси больна сильным перенапряжением нервов, подтверждалось всем ее видом и поведением.

— Я слышал, что вы хотите держать экзамен на стипендию Лэтта, — сказал он наконец. — Не лучше ли вам отложить это на год?

— О нет, сэр! Этого никак нельзя, — возразила она поспешно. — Я должна получить ее в этом году. Мой отец говорит... — Тень омрачила ее лицо, и она продолжала уже сдержаннее: — Он хочет, чтобы я получила стипендию Лэтта. Это для девочки большая честь — до сих пор ни одна девочка ее не получала, но мне кажется, что я смогу ее добиться.

Она снова немного покраснела, смущенная не этим нечаянным проявлением самонадеянности, а тем, что осмелилась произнести в их присутствии такую длинную речь.

— Ну так хотя бы не работайте чересчур много, — сказал в заключение Ренвик и повернулся к Джибсону в знак того, что он закончил свои наблюдения.

— Ну хорошо, Несси, — сказал директор, отпуская ее ласковым взглядом. — Беги теперь обратно в класс и помни, что тебе сказал доктор Ренвик. Хорошую лошадь прищипоривать не надо. Не занимайся дома слишком много.

— Благодарю вас, сэр, — ответила смиренно Несси и выскользнула из кабинета, смутно недоумевая, зачем ее звали, но гордясь таким исключительным вниманием к себе. Вспоминая благосклонный взгляд директора, она решила, что этот всемогущий человек о ней несомненно высокого мнения. И, с самодовольной миной входя в класс, говорила себе, что нахальному и любопытному мальчишке Грирсону будет о чем поразмыслить, когда он узнает, что она, Несси Броуди, беседовала запросто с самим директором.

— Надеюсь, я не задержал ее слишком долго? — сказал Ренвик, глядя на приятеля. — Мне достаточно было взглянуть на нее.

— Ты был воплощенная скромность, — уверил Джибсон. —

Попечители меня не выгонят за то, что я допустил нарушение дисциплины. — Он остановился, затем добавил тем же тоном: — А ловко она тебе отрезала насчет Лори!

— Ба! — возразил Ренвик. — Между нами говоря, мнение Лори для меня не стоит выеденного яйца. Он просто чванный осел. Эта девочка в плохом состоянии.

— Полно тебе, Ренвик! — сказал Джибсон успокоительно. — Это просто твоя фантазия. Я не заметил в девочке ничего ненормального. Конечно, она в опасном возрасте и отец у нее старый дуралей и пьяница, но все обойдется, все обойдется. Ты преувеличиваешь, ты всегда был неисправимым защитником угнетенных и не позволял мучить даже белой мыши.

— Она как раз мне и напоминает белую мышку, — сказал Ренвик упрямо. — И ей плохо придется, если не присмотреть за ней. Не нравится мне запуганное выражение ее глаз.

— А меня больше поразил ее запущенный вид, — вставил Джибсон. — Она начинает уже выделяться этим среди других детей в школе. Заметил ты, как она бедно одета? Какой-нибудь год назад этого не было. Броуди не имеет теперь ни одного пенни, кроме жалованья, а большую часть жалованья он пропивает. Скажу тебе еще одно, но это между нами: до меня дошли слухи, что он просрочил уплату процентов по закладной на дом, на его нелепый замок. Не знаю уж, чем дело кончится, но этот человек, несомненно, идет навстречу своей гибели.

— Бедняжка Несси! — вздохнул Ренвик. Но думал он в эту минуту не о Несси, а о Мэри, представляя ее себе среди нищеты и разрушения родного дома.

По лицу Джибсона нельзя было понять, зародилась ли у него какая-либо смутная догадка относительно истинных побуждений его друга во всем этом деле. Он ведь мог вспомнить, что Ренвик когда-то с большим чувством рассказывал ему необычайную историю Мэри Броуди. Но он только похлопал его по плечу и сказал ободряюще:

— Да развеселись ты, мрачный эскулап! Никто не умрет, ручаюсь тебе. Я буду следить за Несси.

— Да, надо идти, — сказал Ренвик, взглянув на часы и вставая. — Что пользы сидеть тут и печалиться, я и тебя задерживаю, да и своими делами пора заняться. Скоро четыре.

— Да, у твоей приемной уже, наверное, выстроилась целая очередь богатых старых дам, — насмешливо подхватил Джибсон. — Не пойму, что они находят в таком уроде, как ты.

Ренвик расхохотался:

— Они ищут не красоты, иначе я бы направил их к тебе! — Он протянул руку Джибсону. — А славный ты малый, Джибсон! Тебя мне больше всего будет неоставать, когда я уеду отсюда.

— Так я и поверил! — возразил тот, крепко пожимая ему руку.

Из кабинета Ренвик вышел быстро, но, сойдя по отлогим каменным ступеням и пройдя между двумя серыми русскими пушками, он незаметно для самого себя замедлил шаг, и, пока он шел домой, его снова одолели мрачные мысли: «Бедная Несси!» Ему виделась хрупкая фигурка, укрывшаяся в нежных объятиях сестры, которая, защищая поникшую на ее руках девочку собственным телом, глядела на него, Ренвика, терпеливо и мужественно.

Это видение становилось все ярче, все неотступнее мучило его. И соблазнительные перспективы будущего, недавно еще всецело заполнявшие его мысли, вдруг утратили свою прелесть, померкла радость предстоящей новой работы в Эдинбурге, забыта была и прохлада дворцовых садов, и романтический замок, и даже пряная свежесть ветра, который дует с Келтонских холмов. С хмурым лицом вошел доктор Ренвик к себе в дом и принялся за работу.

VII

Теплое апрельское утро перешло за полдень и, полное свежих ароматов и возбуждающих звуков ранней весны, осеняло город Ливенфорд как благословение. Но для Броуди, шедшего домой обедать, не было ничего благословенного в этом пробуждении природы вокруг него. Полный горечи, он не ощущал ласки теплого воздуха, не видел, как наливался соками каждый новый побег. Клумбы нарциссов, кивающих золотистыми головками, застенчивые белые подснежники, пылающие шары крокусов, которыми пестрели палисадники вдоль дороги, оставались незамеченными. Тихие крики грачей, которые носились вокруг своих новых гнезд на высоких деревьях, росших у поворота дороги, были для него лишь надоедливym шумом, раздражавшим слух. Когда он дошел до деревьев и птичий гомон стал слышнее, он метнул вверх злобный взгляд, бормоча:

— Вот раскричались, проклятые, прямо в ушах звенит!.. Эх, будь у меня ружье!..

Вдруг, как будто в ответ на эту угрозу, какой-то низко летавший грач пронесся над самой его головой и с насмешливым «кра-кра» уронил ему каплю на плечо. Лицо Броуди потемнело, как грозовая туча: даже птицы — и те против него, и те его пачкают. Одну минуту казалось, что он готов срубить все деревья, разорить гнезда и убить всех птиц в грачевнике. Но, судорожно скривив губы, он стер грязь с пальто носовым платком и в еще более дурном настроении продолжал путь домой.

Несмотря на то что условия его жизни со времени возвращения Мэри улучшились, внешний вид его мало изменился. Мэри чистила и утюжила его платье, стирала и крахмалила ему белье, начищала башмаки до блеска, но, так как он теперь напивался каждый вечер, лицо его было еще больше испещрено красными жилками, еще землистее, впадины на щеках обозначались резче, платье, хоть и приняло более опрятный вид, висело мешком на его исхудавшем теле и казалось на нем таким же неуместным, как новый костюм на огородном пугале. Не сознавая этого, он имел вид человека, сломленного судьбой, и, с тех пор как его бросила Нэнси, опускался все больше и больше. В первое время он упорно твердил себе, что на Нэнси свет клином не сошелся, что есть другие женщины, не хуже, а то и лучше ее, что он быстро заменит ее другой, еще более красивой любовницей. Но самолюбие его было глубоко уязвлено, когда он убедился, что он уже слишком стар и непривлекателен для того, чтобы пользоваться

успехом у женщин, и теперь, когда прошли для него счастливые дни полного кошелька, слишком беден, чтобы покупать их любовь. К тому же после первого возмущения и попыток самообмана он понял, что ему нужна только его Нэнси, что никакая женщина не заменит ее. Она точно околдовала его, она проникла в его кровь, и теперь, в ее отсутствие, он тосковал по ней одной, жаждал ее и знал, что никогда никто, кроме нее, не сможет утолить этой жажды.

Он пил, чтобы забыть ее, но забыть не мог. Виски туманило рассудок, глушило острое сознание утраты, но даже и тогда, когда он бывал пьян, в оцепенелом мозгу вставали мучительные картины, его преследовали образы Нэнси и Мэта. Он видел их всегда вместе, в их новой жизни. Проклиная себя за эти мысли, видел их счастливыми, забывшими о нем, о прошлом, тяготевшем над ними. Смех Нэнси, смех Афродиты, звенел в его ушах, и вызван он был не его ласками, а ласками Мэта. С мучительной ясностью видел он, как она ласкает сына так же, как ласкала его, и глаза его невольно смыкались, лицо багровело и принимало беспомощное выражение.

В настоящую минуту он, однако, был поглощен другим. Конечно, не обидой, нанесенной ему грачом, — эта обида только подбросила лишний уголек в костер его ярости, — а гораздо более серьезным оскорблением. Лицо его было менее апатично, чем обыкновенно на людях, движения нервнее, и он с необычной для него быстротой шагнул по направлению к дому.

Он испытывал острую потребность рассказать кому-нибудь о случившейся с ним сегодня неприятности, и так как Несси была единственным существом, с которым он еще разговаривал более или менее непринужденно, а к тому же дело как раз касалось ее, он спешил ее увидеть. Когда он, отперев входную дверь, вошел в дом, угрюмая сдержанность на минуту ему изменила и он позвал торопливо:

— Несси, Несси!

Он вошел в кухню раньше, чем Несси успела откликнуться на зов, и сурово глянул в ее испуганные глаза на повернутом к нему лице. Несси сидела за столом, ложка с супом застыла в ее руке по дороге ко рту, и вся ее поза выражала внезапный испуг.

— Говорил тебе этот Грирсонов щенок что-нибудь насчет стипендии Лэтта? — выпалил он свирепо.

Ложка с плеском упала обратно в тарелку, Несси нервно затрясла головой и, подумав, что вопрос, слава богу, не так страшен, как она ожидала, ответила:

— Нет, папа. Во всяком случае, ничего особенного не говорил.

— Припомни, — настаивал он. — Подумай хорошенько. Что значит «ничего особенного»?

— Видишь ли, папа... — Голос Несси уже дрожал. — Он постоянно говорит что-нибудь нехорошее про... про нас. Иногда он выкрикивает разные насмешки насчет меня и... стипендии Лэтта.

— А говорил он тебе, чтобы ты отказалась от экзамена? Отвечай!

— Он, конечно, хотел бы, чтобы я не держала экзамена, папа, — ответила она, поджимая губы. — Это я отлично знаю. Он, наверное, думает, что это увеличит его шансы, а у него никаких и нет!

Губы Броуди раздвинулись в злобной усмешке, обнажая желтые зубы.

— Вот оно что! — воскликнул он. — Я так и думал. Ну конечно, я был прав!

Он сел за стол и, не обратив никакого внимания на тарелку дымящегося супа, которую Мэри молча поставила перед ним, приблизил свое лицо к самому лицу Несси.

— Повтори это еще раз, — пробурчал он.

— Что, папа?

— Да насчет Грирсонова щенка.

— Что он не имеет никакой надежды получить стипендию Лэтта? — спросила она робко. И, видя, что отец доволен, невольно подлаживаясь под его настроение, негодуяще фыркнула: — Нет, конечно не имеет. И тени надежды! Если бы даже я не держала экзамена, все равно: другие учатся не хуже его. Но раз я участвую в этом, он ни за что ее не получит.

— Ты, значит, для него вроде как камень преткновения?

— Ну конечно, папа.

— Вот это здорово! Ей-богу, здорово! — бормотал Броуди, глядя на нее расширившимися глазами. — Это мне приятно слышать. — Он помолчал. — Знаешь, что было сегодня, когда я шел себе спокойно домой обедать, как все добрые люди? — Ноздри его раздулись, голос перешел в крик. — Иду я домой спокойно и прилично, как вдруг подходит ко мне эта проклятая скотина, мэр Грирсон, наш свежеиспеченный замечательный мэр. (И как это такого субъекта делают мэром, убей меня бог, не понимаю! Подхалимничал до тех пор, пока своего добился. Это позор для города!) Вероятно, он воображает, что, раз он теперь мэр, ему все можно, потому что он имел наглость обратиться ко мне среди бела дня и предложить мне, чтобы я не посылал тебя держать экзамен на стипендию Лэтта. — Он посмотрел на Несси, видимо ожидая от нее взрыва негодования, и, почувствовав это, она ответила неуверенно:

— Ему просто завидно, папа, вот и все!

— Думаешь, я ему не сказал этого прямо в лицо? — воскликнул Броуди. — Сказал, не беспокойся. Я ему ответил, что ты всегда побивала его негодного щенка и опять его победишь, опять, опять! — Он азартно выкрикнул несколько раз это слово. — Нет, подумай, какое дьявольское нахальство — пробует очистить дорогу сыну, уговаривая меня оставить тебя в школе еще на год. И когда я бросил ему это прямо в лицо, он имел дерзость круто изменить тон и начал распинаться насчет того, что он, мол, представитель города и что его обязанность вмешаться в это дело: ему, видишь ли, сообщили, что ты не сможешь учиться дальше, что здоровье у тебя недостаточно крепкое, и он защищает не свои, а твои интересы! Но я его хорошо отделал!

Он сжал кулаки, на мгновение превратившись в прежнего Броуди, и прокричал:

— Да, отделал его на все корки! Я повторил слова Лори прямо в его хитрую физиономию. Я его заставил замолчать!

Он торжествующе захохотал, но через мгновение опять нахмурился и пробурчал:

— Клянусь Богом, он мне за это заплатит! Да и за все остальные дерзости, что он наговорил мне! И почему я не свалил его с ног, сам не понимаю! Ну да ничего — мы с тобой оплатим ему другим путем! Правда, Несси? — Он умильно посмотрел на нее. — Ты оставишь в дураках его ублюдка, да, Несси? И тогда мы полюбуемся на убитый вид важного папаши! Ты это сделаешь? Сделаешь, дочка?

— Да, папа, — ответила она покорно, — сделаю для тебя.

— Вот и хорошо. Очень хорошо. — Он потер узловатые руки со сдержанным воодушевлением. Потом вдруг, под влиянием какой-то тайной мысли, мрачно насупился и, опять наклонясь близко к лицу Несси, воскликнул: — Смотри же, победи его! Клянусь Богом, лучше тебе победить его, потому что, если ты этого не сделаешь, я... я схвачу тебя за вот эту твою тонкую шейку и задущу. Ты должна получить стипендию, или тебе придется плохо!..

— Я получу, папа! Получу, — заплакала Несси.

— Да, ты это сделаешь, иначе... — крикнул он дико. — Говорю тебе, в этом городе против меня имеется заговор. Все решительно против меня. Меня ненавидят за то, что я таков, каков я есть. Мне завидуют. Они знают, что я выше их, что, если бы я занял подобающее мне положение, я отирал бы свои грязные сапоги об их вылощенные рожи... Ну да ничего, — покачал он головой в диком порыве, — я еще им покажу! Я их заставлю

бояться меня. Лэтта послужит началом. Она вставит палки в колеса господину мэру, а там начнем уже действовать по-настоящему!

В эту минуту Мэри, которая все время держалась в глубине кухни, с сильным беспокойством слушая бешеные выкрики отца и наблюдая его обращение с Несси, подошла к столу и умоляюще сказала:

— Ты бы ел суп, покуда он не остыл, папа. Я так старалась, чтобы он был повкуснее! И дай Несси поесть — ее нужно хорошенько подкормить, раз она так много работает.

От этих слов возбуждение Броуди сразу улеглось. Выражение его лица изменилось: казалось, что-то выглянувшее было наружу опять быстро спряталось в глубину души, и он сердито воскликнул:

— А тебя кто просит вмешиваться? Почему ты не можешь оставить нас в покое? Когда мне понадобится твой совет, я к тебе обращусь.

Он взял ложку и с недовольным видом начал есть суп. Но через минуту, видимо все еще размышляя о дерзком вмешательстве Мэри, проворчал:

— Свои замечания насчет Несси изволь держать про себя. Я сам знаю, что ей нужно.

Некоторое время все молча ели, но, когда принялись за следующее блюдо, Броуди опять обратился к младшей дочери и, поглядывая на нее сбоку, начал тем вкрадчивым тоном, который он неизменно принимал, задавая такого рода вопросы, и который, как эти постоянно повторявшиеся вопросы, доводил уже Несси чуть не до истерики:

— А каковы сегодня твои успехи, Несси?

— Хороши, папа.

— Хвалил кто-нибудь сегодня мою дочку? Ну же, вспомни: наверное, о тебе что-нибудь да говорили. Сегодня ты, наверное, отличилась на уроке французского языка, да?

Она отвечала ему механически, наобум, не задумываясь, только чтобы избавиться поскорее от этой терзавшей ей нервы необходимости придумывать все новые, приятные отцу ответы на его нелепые настойчивые расспросы, утолять его неутолимую жажду все новых доказательств того, что дочь его является предметом всеобщего внимания. Наконец, удовлетворившись ответами, которые Несси давала, едва сознавая, что говорит, Броуди развалился в своем кресле и, глядя на нее благосклонным взглядом собственника, сказал:

— Хорошо! Ты не посрамишь имени Броуди! Ты делаешь недурные успехи, девушка. Но могла бы добиться еще бóльшего, да, бóльшего! Ты должна так обеспечить себе стипендию Лэтта, как будто она уже лежит вот

здесь на тарелке перед тобой! Ты только подумай: тридцать гиней каждый год, и это в течение трех лет! Значит, всего девяносто гиней, почти сто золотых соверенов! Перед тобой лежит, как на тарелке, сотня золотых соверенов и ждет, чтобы ты их взяла. Тебе не придется ни ползти, ни нагибаться за ними, только взять их с тарелки; черт возьми, если ты не протянешь эти маленькие ручки и не возьмешь их, я тебе шею сверну!

Он глядел на пустую тарелку, стоявшую перед Несси, и ему чудились на ней столбики соверенов, сверкающих нарядным блеском золота. При нынешних его обстоятельствах сумма эта казалась ему громадной.

— Да, это большая, большая награда! — бормотал он. — И она твоя! Завидуящие глаза этого олуха Грирсона прямо лезут на лоб при мысли, что она достанется нам! Я его научу, как оскорблять меня на главной улице города!

Он затрясся в приступе короткого неслышного смеха, потом опять посмотрел на Несси, подняв брови, с глупо-хитрым видом и сказал конфиденциальным тоном:

— Я сегодня рано приду домой, Несси. И мы примемся за дело в ту же минуту, как кончим ужин. Ни минуты терять не будем! Сядем за книги, не успев проглотить последний кусок! — Он опять хитро посмотрел на нее. — Ты будешь в гостиной, а я останусь здесь следить, чтобы ни одна душа тебя не потревожила. Тишина! Покой! Вот что тебе нужно, и я позабочусь, чтобы они у тебя были. Будет тихо, как в могиле! — Ему, должно быть, понравилось это сравнение, потому что он повторил последние слова звучно и выразительно. Потом уже более суровым тоном закончил: — Налегай! Старайся! Гни спину! Что делаешь, делай как следует. Помни, что ты — Броуди, и, стиснув зубы, добивайся победы.

Считая, очевидно, свою миссию на данный момент выполненной, довольный собой, он оставил в покое Несси и тяжелым взглядом уперся в лицо старшей дочери, как бы говоря: «Ну-ка, попробуй вмешаться!»

— Ну, чего уставилась? — спросил он, подождав минуту. — Разве тебе не сказано держаться в стороне, когда мы с Несси разговариваем? Когда нам понадобится от тебя что-нибудь, мы тебя позовем. Я тебя предупреждал, когда ты опять вошла в мой дом: лапы прочь от Несси! Смотри же, не забывай этого. Я не желаю, чтобы ее испортили баловством, как испортила мне остальных детей ее глупая мать!

Мэри собиралась уже выйти из кухни, зная по опыту, что это лучший способ его утихомирить, как вдруг раздался громкий звонок у входной двери, и она от неожиданности остановилась. Все приходившие к ним в дом — главным образом посыльные из лавок — звонили всегда с черного

хода, и звонок у парадной двери был редким событием, настолько необычным теперь, что Броуди насторожился и, прислушавшись, приказал дочери:

— Посмотри, кто это там!

Мэри, выйдя в переднюю, отперла дверь и увидела посыльного, который стоял на ступеньках крыльца с небольшим пакетом в руке и, дотронувшись до шапки, сказал вопросительно:

— Мисс Мэри Броуди?

Мэри утвердительно кивнула головой, с некоторым беспокойством глядя на пакет, который ей передавали. По глянцевиной коричневой обертке и красивой розовой тесемочке, которой он был перевязан, видно было, что это не обычная посылка из лавки, где она заказывала провизию. Изящный пакет явно был того же происхождения, что и другие посылки в такой образцовой упаковке, время от времени приходившие неизвестно от кого весь последний месяц. Но все те посылки приносились утром, в один и тот же час, когда она бывала одна дома. Поэтому Мэри с неожиданной тревогой задала посыльному странный вопрос:

— Вы не опоздали?

Он смущенно переступил с ноги на ногу и, своим видом укрепив Мэри в ее подозрении, начал оправдываться.

— У меня была куча поручений, мисс, — сказал он. — А этот пакет прибыл из Глазго, и мне пришлось дожидаться его.

Он был явно рад, что Мэри приняла посылку, не браня его, и без дальнейших разговоров ушел, стуча сапогами, оставив Мэри на пороге с аккуратно перевязанной легкой коробкой, которую она держала так, как будто это был тяжелый груз, причинявший ей большое неудобство. Этими лакомствами, которые ей регулярно присылались неизвестно откуда, но всегда в удобный час и потому втайне от отца, она, не задумываясь, радостно закармливала Несси. И пакет, вероятно, оттуда же. С бьющимся сердцем она осторожно закрыла дверь и, живо сообразив, что делать, скользнула в гостиную, спрятала пакет под диван и вернулась в кухню с робкой надеждой, что отец не спросит, кто приходил. Но она сразу увидела, что надеяться на это нечего, что он с нетерпением ожидает ее, даже сел опять в кресло и теперь смотрит на нее пристально и с любопытством.

— Кто это звонил? — И так как она молчала, повторил настойчиво: — Отвечай же! Чего стоишь как пень? Кто это был?

— Это только посыльный, папа, — ответила она тихо, стараясь не выдать голосом свое беспокойство.

— Посыльный! — повторил недоверчиво Броуди. — С парадного хода!

Господи, до чего мы еще дойдем! — И, вскипев от этой неожиданной мысли, закричал: — Я не намерен терпеть еще и такие оскорбления. Кто его прислал? Скажи мне кто, и я сам пойду туда и все выясню. Откуда этот посыльный?

— Не знаю, — запинаясь, вымолвила Мэри.

— Не знаешь?

— Нет, — повторила она и, все еще пытаясь его успокоить, поспешно добавила: — Не сердись, папа, это больше не повторится. Не расстраивайся.

Он с минуту смотрел на нее уничтожающим взглядом. От него не укрылось ее замешательство, слабо, но отчетливо проступавшее сквозь обычную ясность лица.

— Покажи, какие покупки он принес, — процедил он наконец сквозь зубы. — Я не видел, чтобы ты принесла сюда что-нибудь.

— Они в гостиной, — ответила она тихо, делая движение по направлению к посудной. — Это только один сверток, и ничего там нет интересного для тебя.

— Принеси его сюда! — настаивал Броуди. — Я желаю видеть этот таинственно исчезнувший сверток.

— Ах, папа, неужели ты мне не веришь?

— Неси сюда пакет, говорят тебе! — заревел он. — Или я буду знать, что ты еще ко всему прочему и лгунья!

Мэри видела, что ослушаться невозможно, нерешительными шагами вышла из кухни и скоро воротилась с пакетом.

Броуди уставился на него, изумленный тем, что пакет действительно существует, но еще более удивленный его необычным видом.

— Розовая ленточка, — пробурчал он. — Ишь ты, как нарядно! — Затем резко изменил тон: — Так ты хочешь меня уверить, что тебе присылают из лавки овсянку в такой упаковке, с этими побрякушками? Сию минуту открой коробку. Я хочу собственными глазами увидеть, что внутри.

Зная, что противиться бесполезно, Мэри, с фатальным спокойствием ожидая неизбежного, взяла со стола нож, разрешила тесемку и через несколько секунд вынула из ваты, в которую она была уложена, большую сочную кисть черного винограда. Броуди, точно не веря глазам, смотрел, пораженный, на свисавшую с руки Мэри чудесную гроздь, казавшуюся каким-то экзотическим цветком, расцветшим внезапно в темной кухне. Ягоды все были крупные, крепкие, прекрасной формы и покрыты голубоватым налетом, таким нежным и пленительным, как дымка, в

которой встает перед моряком далекий берег. Они заманчиво качались на толстом гладком стебле, распространяя сладкий, напоенный солнцем аромат, и, казалось, их сочная и нежная мякоть готова, прорвав оболочку, брызнуть, растаять на языке смесью чудесных ощущений вкуса и запаха. Черный виноград в такое время года! Неслыханная роскошь!

— Откуда это? — крикнул Броуди громко и повелительно. — Кто его прислал?

— Не знаю, папа, — ответила Мэри искренно, потому что эти таинственные подарки действительно ни разу не сопровождались запиской, и она могла только догадываться, смутно и радостно, что они от Ренвика.

— Знаешь, негодница! — зарычал он. — Иначе ты бы его не спрятала!

Глядя на нее со злобным недоумением, он вспомнил вдруг о депутации благочестивых и самоуверенных дам из церковного комитета, явившейся к его жене во время ее болезни с фруктами и вареньем.

— Наверное, это прислала какая-нибудь из тех поганных, слезливых святош? Так мы уже получаем милостыню, пользуемся городской благотворительностью?! Вот до чего дошло? Ты, наверное, делаешь жалобную мину для того, чтобы они тебя жалели. О боже, да они скоро еще вздумают нам посылать суп и религиозные брошюры!

Он грубо вырвал виноград из рук Мэри, презрительно повертел его перед глазами и тут только сообразил, что эти изысканные фрукты стоят очень дорого и никакой церковный комитет не мог их послать. Ироническая усмешка медленно поползла по его лицу, и он воскликнул:

— Нет, я догадываюсь, в чем тут дело. Тебе не известно, кто их послал? Это, что называется, от неизвестного благодетеля! Всемогуший боже! Так ты опять принялась за старое, потаскуха! Начинаются подношения от любовников! Фу, меня тошнит от этой мерзости!

Он посмотрел на Мэри с отвращением, но она спокойно и стойко встретила его взгляд, и только бедная Несси проявляла признаки испуга и огорчения, к счастью им не замеченные.

— Но ты их есть не будешь! — закричал он грубо. — Нет, ни единой ягодки не отведаешь. Можешь облизываться на них сколько угодно, но ты их не коснешься. Вот что я с ними сделаю!

И, произнеся эти слова, он швырнул виноград на пол и яростно наступил на него своим тяжелым башмаком, так что сок брызнул во все стороны. Раздавил его в темную массу, которая, как кровь, залила серый линолеум.

— Вот тебе! — орал он. — Вот как я поступаю! Путь мой горек, но я с него не сверну. Жаль, что я не могу раздавить вот так же, как этот виноград,

того скота, что послал его! Я бы с удовольствием поступил с ним так, кто бы он ни был... Вот, теперь тебе придется здесь убрать, это тебе полезно, работа отвлечет твои мысли от мужчин, успокоит твой зуд, шлюха! — И, говоря это, он разбрасывал ногой остатки винограда по всей кухне. Потом, схватив Мэри за плечи, нагнулся к самому ее лицу и грубо прошипел: — Мне все твои штуки понятны, моя красавица, но не заходи слишком далеко, помни о том, что с тобой уже раз случилось. — Сказав это, он оттолкнул ее от себя с такой силой, что она ударилась о стену и, оставшись на месте, с краской унижения на щеках безмолвно смотрела на отца.

Через минуту он повернулся к Несси и совершенно другим голосом, мягким, умильным, почти заискивающим, который он нарочно сделал таким, чтобы этим контрастом больше уязвить Мэри, сказал:

— А ты, доченька, не обращай внимания на то, что тут говорилось, да и на нее тоже. Тебе и совсем даже лучше с ней не разговаривать, разве только когда тебе что-нибудь понадобится. Эти вещи тебя не касаются. Да и пора нам с тобой идти: если не поторопишься, опоздаешь в школу, а этого никак нельзя!

Он взял Несси за руку и с подчеркнутой ласковостью увел ее из кухни. Уходя в переднюю, Несси успела бросить испуганный и виноватый взгляд на сестру.

Когда за обоими захлопнулась дверь на улицу, Мэри тяжело перевела дух.

Она откачнулась от стены, к которой толкнул ее отец, и, с сожалением глядя на загрязненные, разбросанные по полу остатки винограда, которым Несси не придется полакомиться, все же подумала с некоторым облегчением, что произошедшая сейчас неприятная сцена и ее унижение не оттолкнули от нее Несси. Слова, брошенные ей в лицо отцом, обидели ее нестерпимо, и, вспоминая его несправедливость к ней, она закусила губу, чтобы удержать горячий поток гневных слез. Не имея никаких доказательств, она чутьем угадывала, что это доктор Ренвик по доброте своей прислал ей виноград, да и все прежние подарки. А теперь и глубокое чувство благодарности к нему, и ее самоотверженная забота о Несси — все было опоганено, затоптано в грязь отцом, так грубо истолковавшим ее поведение. Ей снова дали почувствовать ее положение в глазах света, безжалостно напомнили о пятне, которое, видно, не смоемся с нее в этом городе до самой ее смерти.

Слегка вздрогнув, она отогнала эти мысли и принялась убирать со стола, потом снесла тарелки в посудную и медленно начала мыть и перетирать их. Работая, она старалась думать не о себе, а о Несси и

утешала себя мыслью, что Несси как будто немного окрепла за последнее время, хотя и продолжает заниматься подолгу и через силу, что она ест лучше и ее худые щеки начинают округляться. Мэри готова была вынести что угодно, только бы уберечь Несси, увидеть ее здоровой и счастливой. Для нее было высшей радостью то, что она могла немного приодеть Несси из собственных скромных сбережений, которые привезла с собой в Ливенфорд. Ее тешила мысль, что девочка не имеет больше того запущенного вида, в каком она застала ее, когда приехала.

Вытерев и поставив на полку последнюю тарелку, она пришла в кухню с ведром горячей воды и тряпкой, опустилась на колени и принялась мыть пол. Занятая этим делом, она вдруг представила себе, какое было бы лицо у Ренвика, если бы он мог увидеть ее в эту минуту, увидеть плачевный результат его щедрости. Но при этой мысли она не усмехнулась, а снова вздохнула и подумала, что надо будет попросить его прекратить эти великодушные подарки. Со времени ее первого посещения она виделась с ним два раза и с каждым разом все больше понимала, какое горячее участие он принимает в Несси. Но она почему-то стала бояться свиданий с ним, бояться того непонятного чувства, которое охватывало ее всякий раз, когда она встречала внимательно-ласковый взгляд его темных глаз. Внезапно ей пришли на память слова отца, и даже наедине с собой она зажмурилась от стыда, с отчаянием спрашивая себя, какого же рода чувство она питает к этому человеку, который всегда относился к ней так дружески, с такой добротой. Пожалуй, это хорошо, что он скоро уедет из Ливенфорда, и кончатся ее неуверенность и душевное смятение.

Однако когда она подумала о его отъезде, лицо ее почему-то затуманилось. И даже тогда, когда она, вымыв пол, села к столу чинить одежду Несси, мысли о Ренвике не оставляли ее. Он сказал, что ее жизнь должна вместить целую галерею картин, но в настоящее время вся ее галерея состояла из одной лишь картины: его портрета. Кухня, раньше такая грязная и запущенная, сияла теперь безупречной чистотой. Такой же безупречный порядок царил во всем доме. Ее главная работа на сегодняшний день окончена. А между тем она не в состоянии ни сесть за книгу, ни заняться или развлечься чем-нибудь другим, как он советовал, — она способна только сидеть и думать о нем. Нет, это просто невероятно!

Правда, что касается развлечений, возможности у нее были довольно-таки ограниченные. Хотя ее возвращение не вызвало никакого волнения на поверхности жизни города, она все же избегала людей, и в последнее время у нее вошло в привычку выходить из дому только после наступления сумерек. Один-единственный раз отступила она от этого правила — когда

ездила в Дэррок на могилу, в которой были похоронены вместе Денис и их ребенок. Тот же самый поезд мчал ее в Дэррок, по тем же улицам звучали ее унылые шаги, но на вывеске «Погребка» красовалась уже другая фамилия, а доктор, к которому она обратилась в тот день ее последней печальной поездки в Дэррок, также исчез во мраке неведомого, послушный зову судьбы. Стоя на коленях у могилы (находившейся на склоне Дэррокского холма), Мэри не испытывала бурного прилива горя, только тихую печаль, рожденную главным образом мыслями о ребенке, лежавшем здесь, так близко и вместе с тем навеки разлученном с нею. Казалось странным, что тельце этого ребенка, такое трепетно-живое, так энергично шевелившееся в ее теле, теперь лежит зарытое в земле, навеки оторванное от тела матери. Странно было и то, что она, мать, никогда не видела и уже никогда не сможет увидеть своего ребенка. Она лежала еще без сознания в больнице, когда ее мальчик, слишком рано появившийся на свет и простуженный в ту страшную ночь, умер, а она не знала этого и так и не видела его. Несправедливость судьбы к этому ребенку камнем давила душу Мэри в то время, как она поднималась с колен и затем шла с кладбища. Она верила, что наказана по заслугам, и покорно приняла наказание, но за что у ее ребенка отнято короткое счастье существования?

Садясь в поезд, чтобы ехать обратно в Ливенфорд, она сказала себе, что эта поездка — последняя, что больше она никогда не придет на могилу. И когда поезд отошел от станции, сквозь туман ее тоски ей почудилась на перроне призрачная фигура — призрак Дениса, весело и бодро машущего ей рукой на прощание, прощание навеки.

Но сейчас, когда она сидела за шитьем, в задумчивости поникнув головой, мысли ее были заняты не тем последним прощанием с Денисом, а предстоящим ей более реальным расставанием, и она наконец вынуждена была сознаться себе, что ей тяжело думать об отъезде Ренвика. Она ясно понимала, какая пропасть разделяет их, пропасть, через которую мостом служило только его великодушие. Она твердила себе, что даже на дружбу его не смеет надеяться, что жаждет только его присутствия где-нибудь вблизи, — и, значит, ничего недозволенного нет в ее огорчении по поводу его отъезда. Ливенфорд опустеет для нее!

Она не в состоянии была больше сидеть и шить: глаза не видели стежков, иголка не слушалась пальцев. Она плакала, думая о предстоящей разлуке с чувством, которое — увы! — не смела даже назвать дружбой. Она встала в волнении, презирая себя, ломая руки от гнева на свою несчастную слабость, и, словно ей не хватало воздуха в комнате, вышла, как слепая, в садик за домом. Здесь она стала ходить взад и вперед, пытаясь успокоиться.

В то время как она гуляла тут, чувствуя, что спокойствие мало-помалу возвращается к ней, она вдруг заметила, что на кусте сирени, который, с тех пор как она его помнила, никогда не цвел, теперь распускалась одна большая чудесная кисть цветов. С живым интересом она подошла ближе и, осторожно нагнув ветку, на которой зацветала сирень, обхватила и приласкала пальцами зеленый побег. Рассматривая верхушки полураскрывшихся бутонов, она с изумлением убедилась, что это белая сирень. Какая прелесть! Она никогда не подозревала, что это куст белой сирени, и вдруг теперь, как счастливое предзнаменование будущего, это унылое деревцо зацвело, и скоро на нем закачаются благоуханные белые цветы и будут всю весну радовать ее взор.

«Несси тоже будет рада», — подумала она, осторожно выпуская из рук ветку, и уже в более радужном настроении вошла в дом.

День миновал, сумерки упали на землю, наступил и прошел час вечернего чаепития. Несси, как всегда, была водворена с учебниками в гостиную, а Броуди сидел на кухне со своей бутылкой. Снова перебив посуду и приведя в доме все в порядок, Мэри решила сходить к доктору Ренвику и возможно деликатнее объяснить ему, почему она не может впредь принимать подарки, которые он присылает для Несси. Ей легко было уйти из дому незамеченной. По вечерам она могла делать что ей угодно, лишь бы не мешать занятиям Несси в гостиной. Надев шляпку и пальто, она выскользнула из дома через черный ход, так как отец приказал ей уходить и приходить только этим путем.

Вечер был прохладен, ветерок ласкал щеки, невидные во мраке цветы от росы благоухали сильнее, и Мэри быстрыми, легкими шагами пошла по дороге, укрытая темнотой. Она не спрашивала себя, отчего у нее так легко на душе. Трепет наступающей весны волновал ее, радовал, как обрадовала зацветающая на кусте сирень, а предстоящая встреча с Ренвиком наполняла бессознательным ощущением счастья. Но пока она дошла до Уэлхолл-роуд, она уже успела смутно разобраться в причинах своего веселого настроения и под влиянием неожиданно пришедшей мысли невольно замедлила шаги. Какое она имеет право надоедать занятому человеку, которого ждут пациенты, который, несомненно, утомлен после целого дня трудной работы? И если это он прислал виноград, какая дерзость с ее стороны отказываться от него! Ее ножом резанула мысль, что цель ее визита к Ренвику — только хитрая уловка, подсказанная изворотливым умом, предлог увидеться с ним. Оскорбительные слова отца встали в ее памяти как приговор, и ей уже казалось ненужным обращение к доктору Ренвику теперь, когда Несси стала поправляться. По какой-то непонятной

ассоциации чувств ей вспомнилась другая весна, и она сказала себе, что в ту пору Денис добивался встреч с нею, преследовал ее своей любовью, теперь же (она мучительно покраснела в темноте) *она* хочет навязать свое жалкое общество человеку, который не стремится ее увидеть.

Тем временем она дошла уже до дома Ренвика и остановилась на противоположной стороне улицы, грустная и подавленная, глядя на дом и вспоминая его красивое убранство, чудесную картину, которая привела ее в восхищение. Нет, она не войдет, она только минуту постоит тут и поглядит на окна, под покровом ночи, думая о том, кто живет здесь. И в будущем, когда он уедет навсегда из города, она вот так же будет приходить на это место и воображать, что он внутри, в той нарядной комнате.

Стоя тут, она услышала быстрое и неровное цоканье копыт, увидела два желтых огня во мраке, и, раньше чем она успела отойти подальше, двуколка доктора подкатила к дому. Отступив назад, в тень, падавшую от стены, Мэри наблюдала веселую суету у подъезда, слышала, как лошадь рыла копытом землю, как бряцала сбруя. Потом раздался уверенный голос Ренвика, так близко, что Мэри вздрогнула. Он говорил кучеру:

— Сегодня мне больше никуда не придется ехать, Дик, по крайней мере, я на это надеюсь! Покойной ночи!

— Покойной ночи, сэр. Авось вас сегодня больше никто не потревожит, — услышала Мэри ответ грума, и, вскочив опять на козлы, он отъехал к конюшне.

Напрягая зрение, Мэри следила, как Ренвик, едва видный в темноте, взошел на крыльцо, потом, когда распахнулась дверь, его фигура четким силуэтом встала на фоне яркого света, падавшего изнутри, и она ясно увидела его. На мгновение он обернулся и взгляделся в темноту, устремив глаза прямо по направлению к Мэри. Она знала, что ее не видно, но вся задрожала, словно боясь, что он ее заметит, подойдет и спросит, зачем она стоит здесь в такой час и подсматривает за ним. Но он не воротился. В последний раз взгляделся в ночь и вошел в дом, закрыв дверь, оставив Мэри теперь в полной темноте.

С минуту она стояла неподвижно, изнемогая от волнения, затем пошла домой крадущейся походкой, сутулясь, как будто озарившая ее догадка тяжестью позора легла ей на плечи. Она знала теперь, что она, Мэри Броуди, отверженная, утратившая чистоту, мать мертвого ребенка без имени, снова любит, но не любима.

VIII

В воскресенье после обеда полагалось предаваться отдыху, и хотя Броуди в этот день вставал поздно, а обедал не раньше двух, он свято соблюдал традицию, и праздные часы от трех до пяти заставляли его неизменно лежащим без пиджака на диване, но не в гостиной, а в кухне: гостиная была теперь предоставлена Несси для занятий, которые и в дни отдыха продолжались так же усиленно, как и в будни. Броуди видел геройское самопожертвование в том, что он ради Несси перенес свой отдых на менее почетное место.

В это воскресенье жаркое июльское солнце разморило его и нагнало дремоту. Убедившись, что младшая дочь села за книги, внушительно напомнив ей о близости великого дня экзаменов (который был назначен на следующей неделе), он улегся в кухне с видом человека, заслужившего отдых. Жужжание мухи на окне скоро убаюкало его.

Как он только что внушал Несси, наступал последний круг скачек. И в то время как он храпел в приятном сознании, что, уступив Несси гостиную, он со своей стороны сделал все для обеспечения ей успеха, Несси лихорадочно принялась в последний раз перечитывать третью книгу Евклида. Лицо ее пылало от жары в гостиной, а жужжание мух, под которое так сладко уснул Броуди, раздражало и отвлекало от работы. Она никогда не была особенно сильна в геометрии, и теперь, когда до экзаменов оставалось всего несколько дней, неуверенность в своих знаниях по этому предмету пугала и мучила ее так, что она решила еще раз бегло просмотреть всю третью книгу. Наморщив лоб и шевеля губами, она зубрила восьмую теорему, но, как ни старалась сосредоточиться, слова прыгали по странице, чертежи расплывались, линии принимали странные, причудливые формы, немного напоминая те фантастические образы, что являлись ей в последнее время в беспокойном сне и мучили ее по ночам. «Отношение оси угла к перпендикуляру равно коэффициенту...» Нет, нет, что она болтает, ведь это же совершеннейшая бессмыслица! Надо внимательнее учить, иначе стипендия, которая уже все равно что у нее в кармане, ускользнет от нее, шмыгнет прочь, как белая мышка, быстро съев все золотые соверены, словно это сыр... Какая жара! И как болит голова! По английскому языку она подготовлена отлично, по латыни прекрасно, по французскому тоже хорошо, об алгебре и говорить нечего. Да, она способная, это все говорят, и, конечно, те, кто экзаменует на стипендию,

увидят это при первом же взгляде на нее. Когда она гордо и уверенно шла в школу в дни экзаменов, ей всегда казалось, что люди шепчут друг другу: «Это Несси Броуди. Первая ученица в классе. Она и этот экзамен, конечно, выдержит лучше всех — это так же верно, как то, что ее имя Броуди». Может быть, и профессора в университете нагнутся друг к другу и скажут то же самое. Во всяком случае, они это скажут после того, как просмотрят ее работу. Так должно быть непременно, иначе отец потребует от них ответа. Да, да, если они не признают ее и не выдвинут ее на первое место, он стукнет их головами друг о дружку, так что головы защелкают, как кокосовые орехи... кокосовые орехи... Мэт обещал привезти их ей, когда уезжал в Индию, и она мечтала еще о попугае и обезьянке, но Мэт почему-то забыл об этом, а теперь, когда он уехал с этой гадкой женщиной, он никогда уже и не вспомнит о своей сестренке Несси. Женился он на Нэнси или нет? Но все равно, Нэнси — дурная женщина, даже если Мэт и надел ей кольцо на палец. Она совсем не то, что Мэри, которая так добра и ласкова к ней. А между тем Мэри не замужем, и все же почему-то у нее был ребенок, который умер и о котором никто никогда не вспоминает. Мэри и сама никогда о нем не говорит. Но лицо у нее такое грустное, как будто что-то лежит у нее на сердце и она не может о нем забыть. Мэри постоянно заботится о ней, приносит ей суп, и яйца, и молоко, обнимает ее и все уговаривает не заниматься так много. Мэри хочет, чтобы она получила стипендию, но хочет этого только для того, чтобы отец не притеснял ее. Мэри, ее хорошая Мэри заплачет, если Несси не дадут стипендии. Нет, ей не придется плакать; если Несси провалится, она никогда не скажет об этом Мэри. Вот замечательно придумано! Пройдут годы, а она, Несси, никому и словом об этом не обмолвится... Господи, что за мысли ей приходят сегодня в голову? Провала быть не должно! Если она не окажется на первом месте, «во главе класса», как всегда говорил отец, ей придется за это расплатиться. «Я сверну твою тонкую шею, если ты дашь кому-нибудь опередить себя, после того как я столько с тобой возился!» — вот что он всегда долбит ей в уши между нежностями и похвалами. А руки у него большие.

«Ось угла к перпендикуляру...» Нет, право, это верх несправедливости, что она должна сидеть и зубрить в такой жаркий день, да еще в воскресенье, когда ей следовало бы пойти на воскресное чтение Библии в белом платье с розовым поясом, которое ей сшила мама. Но платье уже износилось, и она из него выросла: она теперь уже совсем взрослая. Мама любила посылать ее в воскресную школу, умытую, в лайковых перчатках. Теперь она никуда не ходит, а все работает, так

усердно работает. «Да, папа, я стараюсь вовсю. Что делаешь, делай как следует». Мама всегда наказывала им угождать отцу. А теперь мама умерла. У них нет матери, а у Мэри — ребенка. Мама и ребенок Мэри, оба сидят теперь в облаках, машут ей и поют: «Несси Броуди получит стипендию». Ей хотелось пропеть это тоже во весь голос, но что-то сжимало горло, мешало ей. В последнее время она начинала терять веру в себя. Нет, нет, получить стипендию Лэтта — великое дело для девочки, да еще девочки, которая носит имя Броуди. Великое дело — но и трудное же! Она раньше была уверена в успехе, так уверена, словно груды золотых гиней уже лежала перед ней и все могли это видеть и удивляться ей. Но теперь тайное жуткое сомнение закралось ей в душу. Об этом никто не знал и никто не узнает — вот единственное, что утешало Несси. «Да, папа, у меня все идет великолепно, лучше быть не может. Это Грирсон не имеет никаких шансов на успех. Я стою у него на дороге. „Лэтта“ уже у меня в кармане». Отцу нравилось, когда она так говорила, он потирал руки и одобрительно улыбался ей, а ей было приятно, что она угодила ему. Она будет скрывать от него свои сомнения так старательно и ловко, что он никогда их не заметит. Она знает, как надо поступать, она ведь умница.

Так Несси разбиралась в собственной душе, восторгаясь собой, поздравляя сама себя, и ей казалось, что она видит, как текут ее мысли с чудесной плавностью, как они несутся подобно сверкающим, шумящим волнам ослепительного света.

Но вот она внезапно встрепенулась, глаза утратили рассеянное выражение, а лицо — безмятежное спокойствие, и, потирая лоб рукой, она посмотрела на часы. «Господи, о чем я только думаю! Задремала я, что ли? Целый час прошел, а я ничего не повторила!» — пробормотала она сконфуженно. И, покачав головой, недовольная своей слабостью и потерей драгоценного часа, она только что опять принялась за Евклида, как дверь тихонько отворилась и в комнату вошла ее сестра.

— Вот тебе стакан молока, дорогая, — шепнула Мэри, на цыпочках подходя к столу. — Отец спит, я и подумала, что могу заглянуть к тебе. Молоко холодное-прехолодное, я целый час держала кувшин под краном.

Несси взяла стакан из рук сестры и с рассеянным видом начала пить.

— И вправду холодное, — сказала она через минуту. — Оно такое вкусное, как мороженое в жаркий день. Как душно сегодня, Мэри!

Мэри легонько прижала ладонь к щеке сестры.

— У тебя горит лицо, — сказала она. — Не хочешь ли погулять полчаса со мной на воздухе?

— А если он проснется и увидит, что я ушла? — возразила Несси,

бросив на нее быстрый взгляд. — Ты знаешь, что тебе достанется больше, чем мне. Нет! Я останусь тут. Мне от молока уже стало не так жарко. И потом, я должна до пятницы повторить всю эту книгу.

— А как твоя голова? — спросила Мэри после некоторого молчания, во время которого она с беспокойством наблюдала за сестрой.

— Все так же. Она не болит, а как-то немеет.

— Может быть, положить тебе опять компресс из холодной воды с уксусом?

— Не надо, Мэри. Компресс мало помогает. После будущей субботы, когда я выдержу экзамен, мне сразу станет лучше. Это единственное, что может меня вылечить.

— Может быть, тебе чего-нибудь еще хочется? Скажи, я принесу.

— Нет, ничего не хочется. Ты такая добрая, Мэри. Просто удивительно, до чего ты добра ко мне, а ведь и тебе много приходится терпеть. Как бы я жила без тебя?

— Ничего особенного я не делаю для тебя, — возразила Мэри грустно. — Хотелось бы делать гораздо больше. Если бы я могла помешать тебе экзаменоваться на стипендию! Но это невозможно.

— Не говори так! — торопливо перебила Несси. — Ты знаешь, что я должна непременно ее получить. Я только об этом и думаю вот уже полгода, и, если бы мне пришлось теперь отказаться от нее, у меня бы разбилось сердце. Я *должна* ее получить.

— А тебе в самом деле хочется продолжать учение в университете? — спросила Мэри с сомнением.

— Ты только подумай, сколько я занималась, — ответила Несси с волнением. — Как меня заставляли работать! Неужели же все это пропадет напрасно? Надеюсь, что нет. Я так теперь втянулась, что, если бы и захотела, не могу остановиться. Иногда у меня такое чувство, как будто что-то меня держит крепко и тащит вперед.

Мэри, видя нервное состояние сестры и пытаясь ее успокоить, сказала ласково:

— Ну, теперь уже все скоро кончится, Несси, не думай об этом. Передохни денек-другой, не переутомляйся.

— Как ты можешь говорить такие вещи! — с раздражением воскликнула Несси. — Ты знаешь, что мне все нужно повторить, знаешь, как это важно. Эта третья книга еще плохо укладывается у меня в голове. Я должна... надо вколотить ее туда, как гвоздь, чтобы она там осталась и не выскочила. Меня ведь могут на экзамене спросить как раз из этой книги, а ты говоришь, чтобы я не занималась!

— Тише, тише, родная, не волнуйся! — умоляла Мэри.

— Как тут не волноваться! — горячилась Несси. — Я сижу и выматываю себе мозги над книгами, а ты воображаешь, что мне достаточно прогуляться в университет и попросить, чтобы мне дали «Лэтта», а потом принести ее домой в кулаке, как шоколадку. Нет, это не так просто, уверяю тебя!

— Да полно же, Несси, деточка, успокойся! — уговаривала ее Мэри. — Не сердись, я ничего подобного не думала.

— Нет, думала! Все так думают! Думают, что если я способная, так мне все легко дается. Они не знают, сколько труда я потратила на эту подготовку. Сколько меня заставляли работать. Это может с ума свести!

— Знаю, знаю, Несси, — сказала Мэри тихо, глядя ее по голове. — Все знаю: как ты трудилась, как тебе не давали вздохнуть. Не расстраивайся. Ты просто устала и оттого боишься. Ведь ты всегда так верила в успех. Да и что за беда, если тебе не достанется эта злосчастная стипендия? Не все ли равно?

Но Несси была так взвинчена, что никакие уговоры на нее не действовали, и она разразилась слезами.

— Тебе все равно! — истерически всхлипывала она. — Каково это мне слышать, когда я всю душу вложила в то, чтобы получить ее! И называть сотню золотых соверенов «злосчастной стипендией»! Это хоть кого расстроит! Разве ты не знаешь, что отец сделает со мной, если я провалюсь? Ведь он меня убьет.

— Ничего он тебе не сделает, Несси, — возразила Мэри твердо. — Теперь я здесь, и тебе бояться нечего. Я буду подле тебя, когда мы узнаем результат, и, если он попробует хоть пальцем тебя тронуть, тем хуже для него.

— А что ты можешь сделать? — сказала Несси сквозь слезы. — Ты говоришь так, как будто тебе важнее дать отпор отцу, чем мне получить «Лэтта».

Мэри ничего не отвечала на эти недобрые слова и утешала Несси, лаская ее, пока наконец рыдания девочки не утихли и она, утерев глаза, сказала неожиданно спокойно:

— Господи, каких только глупостей мы с тобой не наговорили! Ну разумеется, я получу стипендию, и дело с концом!

— Вот и отлично, дорогая, — обрадовалась Мэри, видя, что сестра немного успокоилась. — Я знаю, что ты ее получишь. Как сегодня идет работа?

— Великолепно, — ответила Несси несколько сдержанно, с натянутым

видом, странно противоречившим ее словам. — На всех парах! Не знаю, что это на меня нашло только что. Ты забудешь то, что я тебе говорила, Мэри, да? — продолжала она настойчиво. — Ни слова об этом никому! Не хочу, чтобы папа знал, что я так глупо вела себя. Я так уверена в том, что получу стипендию, как в том, что выпила вот это. — И она залпом допила оставшееся в стакане молоко.

— Ты знаешь, что я ничего ему не скажу, — ответила Мэри, растерянно глядя на сестру, с некоторым удивлением наблюдая эту внезапную перемену настроения. Действительно ли Несси верила в свой успех, или она только старалась скрыть тайный страх провала? С тоскливой тревогой думая об этом, Мэри медленно сказала:

— Ты сообщишь результат мне раньше, чем отцу, да, Несси? Обещай, что скажешь мне первой, как только узнаешь.

— Ну разумеется, — уверила ее Несси все тем же тоном, но отвела глаза и сделала вид, что смотрит в окно. — Но нам объявят не раньше чем через две недели после экзаменов.

— Так обещаешь? — настаивала Мэри. — Мы с тобой вместе распечатаем извещение, да?

— Да, да! — запальчиво крикнула Несси. — Ведь я же тебе это давным-давно сказала. Можешь даже сама его распечатать, мне все равно. Я обещала и сдержу слово. Ты бы, вместо того чтобы твердить одно и то же, лучше ушла и дала мне заниматься.

Мэри с новым беспокойством поглядела на сестру. Уж очень не похожа была эта притворная самоуверенность и раздражительный тон на обычную простодушную кротость и ласковость Несси. Но она решила, что Несси просто возбуждена близостью экзамена, и сказала мягко:

— Уйду, уйду, не буду тебе мешать. Но прошу тебя, детка, не переутомляйся. Я беспокоюсь за тебя.

Взяв со стола пустой стакан и отступая к двери, она добавила просительно:

— А может быть, ты бы все-таки вышла со мной на несколько минут? Я иду прогуляться.

— Нет! — Несси сердито затрясла головой. — И не подумаю! Буду заниматься, и ничего мне не сделается! — Она улыбнулась Мэри с забавной снисходительностью, это она-то, которая минуту назад так горько рыдала, которая неизменно выказывала полную покорность сестре! — Иди, гуляй, девушка! — добавила она. — А мне надо наедине подумать кое о чем.

— Над Евклидом? — подозрительно спросила Мэри с порога.

— Да, над Евклидом, — подхватила Несси с отрывистым смехом. — Ну, ступай и не мешай мне.

Мэри вышла, прикрыв дверь, и так как в кухню, когда там отдыхал отец, ей входить воспрещалось, она медленно направилась к себе в спальню, все еще держа в руке пустой стакан. Она смотрела на него, пытаясь утешиться мыслью, что в последнее время Несси окружена заботами, что она лучше питается. Но, несмотря на эти успокоительные мысли, она вздыхала, из головы у нее не выходил неожиданный взрыв гнева со стороны Несси, лишнее доказательство той душевной неуравновешенности, которая тревожила ее в сестре с самого дня приезда. Надевая шляпу и перчатки, чтоб выйти на обычную прогулку, она говорила себе, что надо будет эту неделю, решающую неделю перед экзаменом, внимательнее наблюдать за Несси.

Воздух был тих и зноен, улица пуста. Вот почему Мэри по воскресеньям всегда выходила в этот послеобеденный час, а не вечером, когда та же улица кишела гуляющими парочками. К тому же, так как в это время отец спал, она была спокойна, зная, что Несси на час-другой избавлена от его навязчивого внимания, и эта уверенность давала ей ощущение свободы, которое она теперь так редко испытывала. Она пошла вверх по улице и на этот раз выбрала левый поворот, который вел прямо к далеким Уинтонским холмам, казавшимся еще более далекими от радужной дымки зноя, почти совсем закрывавшей их. Такая же дымка нависла над дорогой и при малейшем движении воздуха поднималась, как мираж, создавая иллюзию, будто вдали, на дороге, лежат озера. Но никаких озер не было, повсюду лежала лишь сухая пыль, которая скоро покрыла башмаки Мэри белой тонкой пудрой и при каждом шаге легкими хлопьями садилась ей на платье. День был прекрасный, земля купалась в жарком солнечном свете, но для прогулки час был неподходящий, и скоро капризный локон, никогда не слушавшийся головной щетки, намок и свесился Мэри на лоб, она пошла медленнее, чувствуя, что устала. Вместе с усталостью пришло опять воспоминание о странном поведении Несси, жара показалась ей невыносимой, и она решила идти домой, как вдруг заметила кабриолет, быстро мчавшийся ей навстречу. Она сразу узнала и экипаж, и того, кто сидел в нем, и в трепетном смущении хотела было свернуть с дороги и скрыться, но медлила, остановилась в нерешимости, оглядываясь, словно ища, где спрятаться. Затем, увидев, должно быть, что бежать поздно, опустила голову и торопливо пошла навстречу экипажу. По дороге она старалась сделать равнодушное лицо, надеясь, что ей удастся пройти мимо незамеченной, но, к ее великому смущению, она, не глядя,

услышала, что скрип приближавшихся колес постепенно затих, экипаж остановился перед ней и голос Ренвика произнес:

— Добрый день, мисс Броуди.

Мэри не решалась поднять голову, боясь, что лицо выдаст ее смятение. И, подумав с болью, что теперь она уже для него не Мэри и даже не мисс Мэри, а мисс Броуди, запинаясь, пробормотала:

— Здравствуйте.

— Сегодня чудесная погода, — воскликнул весело доктор. — Но слишком жарко, чтобы гулять пешком. Это все равно что переходить Сахару.

Значит, он заметил и разгоряченное лицо, и пыль на башмаках! У нее, наверное, вид растрепанной и неопрятной бродяги!

— Мне бы для приличия следовало сказать, что наша встреча случайна, — продолжал доктор. — Но это не так. Я ехал сюда, потому что мне известно, что вы по воскресеньям здесь гуляете. Я хотел расспросить вас относительно Несси.

Как ей радостны были бы его слова, если бы не эта последняя, все объясняющая фраза! Стоя растерянно, с опущенной головой, она понимала, что надо сказать что-нибудь в ответ, иначе он сочтет ее дурочкой, или чудачкой, или тем и другим вместе, и, сделав над собой большое усилие, она медленно подняла глаза, встретила его взгляд, заметила мгновенно, несмотря на все свое замешательство, как четко выделяется на фоне неба его смуглое живое лицо, и невнятно прошептала:

— Я не могла вам рассказать о Несси, я давно вас не встречала.

— Слишком давно. И по вашей вине. Я вас не видел несколько недель, я уже думал, что вы опять сбежали из Ливенфорда, не простясь со мной.

— Нет, я теперь останусь здесь навсегда, — возразила она медленно. — Это вы скоро распрощаетесь с нами.

Его лицо слегка омрачилось.

— Да, осталось только две недели. Время летит стрелой. — Он вздохнул. — Странно. Теперь, когда мой отъезд уже близок, я начинаю терять интерес к тому новому, что ждет меня. Вначале я был так рад, а теперь вижу, что этот старый город крепко привязал меня к себе.

— У вас, верно, здесь так много друзей...

— Вот именно! У меня здесь есть друзья.

Он машинально играл хлыстом, глаза его смотрели, не видя, на шевелившиеся уши лошади. Затем он серьезно взглянул на Мэри:

— Если вы свободны, то не покатаетесь ли со мной, мисс Броуди? Я вас, быть может, больше не увижу, а хотелось бы поговорить кое о чем.

Согласны?

Разумеется, ей хотелось ехать. Отец будет отдыхать до пяти, и более подходящий час трудно было выбрать. Тем не менее она колебалась.

— Я... я не одета для катанья, и мне надо быть дома к пяти, и потом...

— Ну, значит, едем, — ответил Ренвик, с улыбкой протягивая ей руку. — У вас впереди добрых полтора часа. А что касается вашего туалета, так он еще чересчур хорош для моей старой двуколки.

Не успела Мэри опомниться, как она уже сидела рядом с ним, так близко рядом, на красном плюшевом сиденье. Доктор застегнул легкий фартук экипажа, защищавший от пыли, тронул кнутом лошадь, и они помчались вперед. В этом движении было что-то захватывающее. Ветер, поднимаемый им в неподвижном воздухе, овеивал щеки Мэри, небо больше не пылало, а тихо светилось, пыль не досаждала — она была просто мягким порошком, облегчавшим бег лошади, и после утомительной ходьбы Мэри была рада посидеть молча, глядя на мелькавшие мимо поля. Слишком смущенная близостью Ренвика, чтобы глядеть на него, она уголком глаза видела гладкую, мягкую кожу его перчаток, посеребренную сбрую лошади, монограмму на фартуке, все щегольские детали этой «старой двуколки», как он назвал свой экипаж, и снова, как тогда у него в доме, она остро почувствовала разницу между его и своей жизнью. Пускай в прошлом он знал борьбу с нуждой, теперь ему не приходилось дрожать над каждым фартингом, донашивать платье, пока оно не расползется по швам, заглушать в себе всякую потребность развлечений, выходявших за пределы строжайшей экономии. Но она подавила это ощущение, отогнала мысли об ожидавшей ее разлуке и, решив не портить себе этот единственный час редкого развлечения, отдалась неиспытанному блаженству.

Ренвик в свою очередь смотрел на ее чистый профиль, слабый румянец, выступивший на щеках, наблюдал ее необычное оживление со странным удовлетворением, с гораздо более острой радостью, чем Мэри — мелькавшие мимо картины.

Ему вдруг страшно захотелось заставить ее повернуться к нему так, чтобы он мог заглянуть ей в глаза. И он прервал молчание, сказав:

— Вы не жалеете, что поехали со мной?

Но Мэри по-прежнему не смотрела на него, и только губы ее дрогнули слабой улыбкой.

— Я рада, что поехала. Все так чудесно. Я не привыкла к этому и буду потом часто вспоминать...

— Мы еще успеем доехать до берега Лоха, — ответил он весело. — И

если Тим прибавит шагу, успеем даже напиться чаю.

Мэри пришла в восторг от такой перспективы и, обратив внимание на лоснившуюся спину Тима, обличавшую хороший уход, подумала, что он будет мчать их достаточно быстро, чтобы выиграть время для чаепития, но не настолько быстро, чтобы довезти ее домой раньше времени.

— Тим, — повторила она беспечно. — Какое славное имя для лошади!

— И лошадь-то славная, — отозвался Ренвик и, уже громче, обратился к лошади: — Не правда ли, Тимми?

Тим наставил уши и, словно довольный этой похвалой, внес немного больше прыти в свою размеренную рысь.

— Видите? — продолжал Ренвик, одобрительно посмотрев на улыбнувшуюся Мэри. — Он понимает, что я о нем говорю, и старается не ударить в грязь лицом. Старый лицемер! Он еще больше разленится в Эдинбурге. Слишком много овса и мало работы.

— Так вы берете его с собой?

— Да. Продать Тимми у меня бы духу не хватило. Таков уж я. — Он помолчал, потом продолжал, словно размышляя вслух: — Может быть, это нелепо, но, когда я люблю что-нибудь — картину, книгу, лошадь, что бы то ни было, — я не могу расстаться с ним. Уж когда люблю, так люблю. Я упрям. И подхожу ко всему со своей собственной меркой. Пусть какой-нибудь критик хоть двадцать раз твердит мне, что картина хороша, а если она мне не нравится, я ее не повешу у себя. Я покупаю картину только в том случае, если она завладевает мною, и тогда я уже не могу с нею расстаться.

— У вас в столовой чудная картина, — вставила Мэри, глядя прямо перед собой.

— Да. И я рад, что она вам тоже понравилась. Она меня утешает в одиночестве. Я купил ее в институте. Впрочем, она не мне одному понравилась, — добавил он с усмешкой. — Критики тоже ее одобрили.

Разговор о картине напомнил Мэри цель ее первого посещения Ренвика, и, предупреждая его вопрос относительно Несси, она сказала:

— Я так вам благодарна за все, что вы сделали для Несси. Вы более чем добры к нам обеим. (Она так и не рассказала ему до сих пор об участии винограда, и он продолжал посылать подарки, к счастью больше не попадавшие на глаза Броуди.)

— Мне хотелось немного помочь вам, — ответил он. — Как чувствует себя Несси?

— Здоровье ее как будто лучше, — в голосе Мэри звучала все же легкая тревога, — но у нее так часто меняется настроение! Ее волнует

близость экзамена. Он будет в субботу. Я делаю что могу.

— Я знаю. Но если она выдержала все это время и не заболела, значит с ней все благополучно. Ради нее надеюсь, что она получит эту стипендию. — Он долго молчал, потом заметил серьезным тоном: — Вам лучше быть подле нее в то время, когда будет объявлен результат. И если я понадобится, сразу же обратитесь ко мне.

Мэри была уверена, что к тому времени, когда станет известен результат экзамена, доктора уже не будет в Ливенфорде. Но, подумав, что он и так достаточно для нее сделал, она ничего не сказала и сидела молча, погруженная в свои мысли. Так он думает, что с Несси все будет благополучно! Что же, она, Мэри, постарается, чтобы так и было. Она будет следить за сестрой, беречь ее, в случае неудачи защитит от гнева отца.

Ее вывел из задумчивости голос Ренвика.

— А здесь, оказывается, расширили дорогу. Проехать будет совсем легко. И здесь прохладнее.

Мэри подняла глаза и обомлела: Ренвик отклонился в сторону от большой дороги и, не подозревая об этом, вез ее теперь по той самой тропе через еловую рощу, где она заблудилась в ночь грозы. С застывшим лицом смотрела она на деревья, снова окружавшие ее. Теперь они не качались под натиском урагана, не падали с оглушительным треском, вырванные с корнем, а стояли тихо, мирно, в ясном спокойствии. Лучи яркого солнца пробивались меж темных ветвей угрюмых елей, делая их менее угрюмыми, инкрустируя золотом колючие ветви, рисуя на прямых сухих стволах нарядный узор из мерцающего света и тени. Проезжая через этот лес теперь, в безопасности, в удобном экипаже, Мэри содрогнулась, вспоминая, как, истерзанная, беременная, пробиралась здесь ощупью во мраке, спотыкаясь, падая, как проколола руку острым сукон, как ее преследовали бредовые видения и голоса — и никто не видел ее, не слышал ее зова.

Слеза задрожала на ее реснице, но, крепко вонзив пальцы в длинный рубец на ладони, словно для того, чтобы это напоминание о ее мужестве в ту ночь придало ей силы, она не позволила слезе скатиться и обратила взгляд на долину, открывшуюся внизу, когда они выехали из леса. А вот и ферма, куда она добралась тогда. На ярко-зеленом фоне сочного луга виднелся дом, а неподалеку от него — низенький сарай, приютивший ее измученное тело. Белые стены прикрыты сверху желтой соломенной крышей, из единственной трубы поднимается дым и длинной, тонкой голубой лентой тянется к небу.

Мэри с усилием отвела глаза и, пытаясь овладеть собой, сидела очень

прямо, в напряженной позе, глядя вперед, а уши Тима качались и расплывались перед ее помутившимся взором. Ренвик, вероятно, инстинктивно почувствовал, что молчание Мэри вызвано каким-то внезапным приливом печали, и долго не говорил ничего. Только когда они перебрались через вершину Мэркинчского холма и перед ними внизу открылась спокойная, сверкающая гладь Лоха, он сказал тихо:

— Смотрите, какая красота и покой!

Картина действительно была чудесная. Озеро, отражая густую, ослепительную лазурь безоблачного неба, лежало холодное, неподвижное, как полоса девственного льда, и от краев его уходили вверх крутые, одетые густым лесом склоны холмов, тянувшихся до зубчатой цепи гор вдали. Тихую гладь озера разрывал лишь в одном месте ряд островков, драгоценным ожерельем лежавших на груди Лоха, зеленых и лесистых, как и его берега, и отражавшихся в воде, как в зеркале, так отчетливо, что глаз не мог бы отличить островок от его отражения.

На ближайшем к ним берегу раскинулась деревушка, и домики ее группами белели на фоне яркой зелени и синевы воды и неба. Ренвик указал на нее кнутом.

— А вот и Мэркинч, — значит, будет чай, Мэри! Надеюсь, красоты природы не лишили вас аппетита.

Ее прекрасное лицо, тихое, как гладь этого озера, просветлело при словах доктора, и она улыбнулась со слабым отблеском прежней радости. Он назвал ее Мэри!

Дорогой, вьющейся по склону холма, они спустились в Мэркинч, и Ренвик, с пренебрежением миновав маленький непривлекательный трактир при въезде в деревню, подъехал к крайнему коттеджу в конце улицы, окаймлявшей берег Лоха. Многозначительно взглянув в сторону Мэри, он выскочил из экипажа и постучал в дверь. Коттедж своим видом не нарушал общей гармонии. Его белые стены были обрызганы ярким золотом настурций, зеленое крылечко увито, как беседка, красными розами, его садик благоухал резедой — таким Мэри когда-то рисовала себе коттедж в Гаршейке.

Дверь открыла маленькая сгорбленная женщина, которая всплеснула руками и радостно воскликнула:

— Доктор! Доктор! Вы ли это?! Глазам не верю!

— Ну конечно я, Дженет, — сказал Ренвик ей в тон. — Я — и со мной дама. И оба мы умираем с голоду после долгой прогулки. Если вы не угостите нас чаем с лепешками собственного изготовления, и вареньем, и маслом, и бог знает чем еще, мы немедленно исчезнем и никогда больше не

приедем к вам.

— Ничего подобного вы не сделаете, — энергично возразила Дженет. — Не пройдет и пяти минут, как вам подадут такой чай, какого вы во всем Мэркинче не найдете.

— А можно нам пить его в саду, Дженет?

— Ну разумеется, можно, доктор! Где хотите, хоть на крыше моего коттеджа.

— Спасибо, лучше уж в саду, — сказал со смехом Ренвик. — Пожалуйста, Дженет, велите вашему парнишке присмотреть за Тимом. И крикните нам, когда все будет готово. Мы погуляем на берегу.

— Ладно, ладно, доктор. Все будет сделано, — с готовностью отозвалась Дженет. Когда она ушла, доктор подошел к Мэри.

— Походим? — спросил он. И когда она молча кивнула, он помог ей выйти из экипажа, говоря: — Дженет заставит нас ждать не больше пяти минут, но вам не мешает пока размять ноги. Они, наверное, у вас затекли от долгого сидения.

«Как эта женщина обрадовалась ему, — думала Мэри. — И все, кто его знает, всегда рады услужить ему!» Думая об этом, пока они шли по гальке, покрывавшей берег, она промолвила:

— Вы с Дженет, видно, старые знакомые. У нее глаза чуть не вылезли на лоб от радости, когда она вас увидела.

— Я когда-то немного помог ее сыну в Ливенфорде, — ответил он небрежно. — Она славная старушка, но болтлива, как сорока. — Он скосил глаза на Мэри и прибавил: — Впрочем, она печет замечательные лепешки, а это главное. Вы должны обязательно съесть ровно семь штук.

— Почему непременно семь?

— Это счастливое число. И как раз подходящая порция для здоровой и проголодавшейся молодой девицы. — Он критически посмотрел на нее. — Жаль, что я не могу последить за вашим питанием, мисс Мэри. В этой легкой впалости щек есть своя грустная красота, но она в то же время означает, что вы отказываете себе в масле и молоке. Готов биться об заклад, что вы отдаете Несси все то, что я посылаю вам.

Мэри вспыхнула:

— Нет, право же, нет... Вы так добры к нам...

Он с состраданием покачал головой:

— Когда вы наконец вспомните и о себе, Мэри? Мне больно думать, что будет с вами, когда я уеду. Вам нужен кто-нибудь, кто строго следил бы за вами и заставлял бы вас беречь себя. Вы будете мне писать и сообщать, как ведете себя здесь без меня?

— Да, — медленно ответила Мэри, и казалось, что на нее слегка повеяло холодом от воды, у которой они стояли. — Я буду вам писать, когда вы уедете.

— Вот и прекрасно, — весело сказал Ренвик. — Я это считаю твердым обещанием с вашей стороны.

Они стояли рядом, любуясь мирным спокойствием открывшейся перед ними картины, которая казалась Мэри такой далекой от ее горестного существования в родном доме, так высоко стоящей над ее жизнью. Победенная и точно освобожденная этой красотой, она не в силах была больше подавлять в себе любовь к человеку, стоявшему рядом с ней. Ее влекло к нему чувство более глубокое и волнующее, чем то, что она уже испытала когда-то. Она жаждала доказать ему свою преданность, свое поклонение. Но это было невозможно. Надо было стоять спокойно рядом с ним, несмотря на то что сердце ее билось так, словно хотело выскочить из груди. Слабое журчание Лоха, едва-едва плескавшегося о берег, одно только нарушало тишину. Он шептал ей в уши, кто она такая, она, Мэри Броуди, мать внебрачного ребенка, и бесконечно повторял слово, которым заклеил ее отец, когда выгонял из дому в ту грозную ночь.

— Я слышу надтреснутый колокольчик Дженет, — сказал наконец Ренвик. — Вы готовы приступить к лепешкам?

Она кивнула головой, не отвечая, так как что-то сжимало ей горло, и когда доктор легонько взял ее за локоть, чтобы помочь пройти по усыпанному галькой берегу, это прикосновение было нестерпимее всех страданий, какие она когда-либо испытывала.

— Все готово! Все готово! — кричала Дженет, суется вокруг как бешеная. — Стол и стулья и все уже в саду, как вы приказали. И лепешки свежие, сегодня утром пекла.

— Чудесно! — одобрил Ренвик, придвигая стул Мэри и сядя на свое место. Хотя тон его давал понять Дженет, что она здесь больше не нужна, старая женщина не уходила и, с восхищением осмотрев Мэри, облизала губы, готовясь заговорить. Но в эту минуту заметила выражение лица Ренвика и, с трудом удержав готовый сорваться с языка поток слов, пошла к дому.

Когда она ушла, покачивая головой и бормоча что-то себе под нос, Мэри и Ренвик почувствовали легкое стеснение. Чай был превосходен, в саду прохладно, прямо благоухала резеда, а им обоим было как-то не по себе.

— Дженет старая болтуня, — сказал Ренвик с искусственной небрежностью. — Если бы я позволил, она бы нас совсем оглушила.

После этого замечания он погрузился в неловкое молчание, а Мэри вдруг вспомнился тот единственный в ее жизни случай, когда она вот так же сидела за столом наедине с мужчиной: это было в крикливо-нарядном кафе Берторелли, она ела мороженое, а Денис жал ей ногу под столом и чаровал ее живостью и блеском речей.

Как не похож на ту обстановку этот тенистый деревенский сад, наполненный ароматом сотни цветов! Как не похож на Дениса ее нынешний спутник, который не болтает о заманчивых поездках за границу и даже, увы, не ласкает под столом ее ногу. Как раз в эту минуту он укориженно качал головой.

— В конце концов, вы съели только две, — проворчал он, трагически глядя на нее. И добавил с расстановкой: — А я сказал: семь.

— Они такие громадные, — оправдывалась Мэри.

— А вы такая маленькая! Но вы бы стали больше, если бы слушались меня.

— Я всегда вас слушалась в больнице, помните?

— Да. — Он сделал паузу. — Тогда слушались.

Он опять стал молчалив, вспоминая, какой он впервые увидел ее — с закрытыми глазами, безжизненную, бледную — сломленную, вырванную с корнем лилию. Но наконец он взглянул на часы, затем хмуро на Мэри. — К сожалению, время бежит. Едем обратно?

— Да, — сказала Мэри жалобно. — Если вы думаете, что пора...

Они встали и молча покинули сладостное уединение этого сада, как будто созданного, чтобы укрывать пылких любовников. Усадив Мэри в экипаж, доктор вернулся на крыльцо, чтобы расплатиться с Дженет.

— Не надо мне ваших денег, доктор, — говорила Дженет своим протяжным голосом, напоминавшим звуки волынки. — Мне одно только удовольствие угостить вас и эту милую барышню.

— Возьмите, Дженет, иначе я рассержусь!

Она почуяла перемену в его настроении и, взяв деньги, шепнула смиренно:

— Уж не оплошала ли я в чем? Простите старуху, если так. Или, может, лепешками не угодила?

— Все было отлично, Дженет, великолепно, — успокоил он ее, садясь в экипаж. — До свиданья!

Все еще недоумевая, она помахала им рукой на прощанье и, когда они скрылись за поворотом, опять покачала головой и, бормоча что-то, вошла в дом.

На обратном пути Ренвик и Мэри разговаривали мало. Задав ей какой-

нибудь вопрос: удобно ли ей, не прикрыть ли ей ноги, довольна ли она прогулкой, не пустить ли Тима быстрее, — Ренвик опять погружался в молчание, которое становилось все более гнетущим по мере того, как они подъезжали ближе к Ливенфорду.

Домашний очаг уже снова протягивал навстречу Мэри свои щупальца, готовые сомкнуться вокруг нее. Там отец, с опухшими ото сна глазами и пересохшей глоткой, встанет угрюмый и немедленно потребует ужин. Там Несси нуждается в сочувствии и утешении. Там обступят ее сразу бесчисленные заботы и обязанности. Эта короткая и нежданная передышка от печальной жизни близилась к концу, и хоть она и была сплошным наслаждением, сердце Мэри мучительно болело от мысли, что это, вероятно, почти наверное, последняя ее встреча с Ренвиком.

Они были уже почти у самых ворот, и, остановив лошадь на некотором расстоянии от дома, Ренвик сказал каким-то странным голосом:

— Ну вот мы и приехали. Как скоро это кончилось. Правда?

— Да, очень скоро, — как эхо, откликнулась Мэри, вставая и выходя из кабриолета.

— Мы бы могли подольше оставаться в Мэркинче, — сказал он натянуто. Потом, помолчав: — Может быть, я вас не увижу больше. На всякий случай простимся.

Они обменялись долгим взглядом. В глазах Мэри светилась мольба. Ренвик снял перчатку и протянул ей руку, сказав ненатуральным голосом:

— Прощайте!

Она механически подала ему свою, и, ощутив пожатие его сильных, прохладных пальцев, которые ей так нравились, которые когда-то умели успокаивать боль в ее истерзанном теле и никогда больше его не коснутся, пальцев, которые она обожала, она вдруг потеряла власть над собой и, зарыдав, прижалась горячими губами к его руке, страстно целуя ее, потом бросилась бежать от него и вошла в дом.

Одно мгновение Ренвик смотрел на свою руку, словно не веря глазам, потом поднял голову и, глядя вслед исчезавшей фигуре Мэри, сделал движение, как бы собираясь выскочить из экипажа и бежать за ней. Но не сделал этого и снова долго, со странным выражением смотрел на свою руку, уныло покачал головой и, надев перчатку, медленно поехал прочь.

IX

— Принеси еще каши для сестры! — крикнул Броуди громко, обращаясь к Мэри. — Что ты ей дала порцию, которая и в глазу не поместится?! Как она будет работать на пустой желудок, да еще в такой день, как сегодня!

— Не надо, папа, — робко запротестовала Несси. — Это я просила Мэри не давать мне много. Она мне приготовила яйцо. Меня сегодня тошнит от одного вида каши.

— Молчи, дочка. Ты не понимаешь, что для тебя полезно, — возразил Броуди. — Счастье, что у тебя такой отец, который о тебе заботится и следит, чтобы ты ела то, что здорово. Налегай на кашу! От нее твои кости обростут мясом, и ты наберешься сил для того, что тебе предстоит.

Говоря это, он, очень довольный собой, откинулся на спинку стула, наблюдая, как его младшая дочь пыталась дрожащей рукой через силу запихать еще несколько ложек каши между судорожно сжимавшихся губ. Он не понимал, что ей от волнения претит еда и что гораздо лучше сегодня оставить ее в покое. Он был в приподнятом настроении по случаю великого дня, дня состязания на стипендию Лэтта, и даже не пошел в контору в обычный час, остался дома, чтобы поддержать и ободрить Несси своим присутствием.

«Что я был бы за человек, если бы не проводил дочь в такой день, когда ее ждет „Лэтта“?» — размышлял он. Нет, он не такой человек! Он не забывал своей задачи все эти томительные месяцы, да, не забывал и следил, чтобы дочь выполняла свой долг, так зорко следил, что теперь было бы глупо испортить суп, пожалев щепотку соли! Нет, он не пойдет сегодня утром на службу, пропустит, пожалуй, весь день. По такому случаю можно и прогулять день. Ведь это праздник. Он не жалел сил, чтобы его подготовить, и, честное слово, сумеет им насладиться. При этой мысли он слегка усмехнулся и, по-прежнему с удовлетворением созерцая Несси, воскликнул:

— Вот так хорошо, молодчина! Ешь, ешь! Торопиться некуда. Твой отец с тобой.

— Не довольно ли, папа? — рискнула вступить Мэри, умоляющими глазами смотря на отца. — Может быть, ей сегодня от волнения не хочется есть. Я сейчас дам ей яйцо.

— Налегай, Несси, налегай, — протянул Броуди, не обращая никакого

внимания на слова Мэри. — Я знаю, что тебе полезно. Ты бы тут умерла с голоду, если бы не я. Не такой у тебя отец, чтобы позволить тебе сидеть три часа на экзамене с пустым желудком.

Он чувствовал себя в своей стихии, он пожинал плоды своих забот о Несси: забыты были все превратности судьбы, утихла на время острая боль воспоминаний о Нэнси, и, растянув рот в широкую язвительную усмешку, он воскликнул:

— А мне сейчас пришло в голову, что этот олух Грирсон тоже, быть может, сидит за столом, смотрит, как его щенок набивает брюхо, и думает, что ему делать. Ей-богу, приятная мысль! — В улыбке его проступила горечь. — Мэр города, шутка сказать, достойный представитель Ливенфорда! Пари держу, что сегодня он имеет довольно-таки жалкий и встревоженный вид!

Он на минуту остановился и, увидев, что Несси благополучно одолела кашу и пьет разболтанное в молоке яйцо, крикнул резко, словно горечь, разбуженная мыслью о Грирсоне, не вполне его оставила:

— Несси! Заешь хоть лепешкой с маслом это пойло, если тебе уж так хочется его пить! — Он бросил сердитый взгляд на Мэри и прибавил: — От такой кормежки не растолстеешь! — Потом опять обратился к Несси тоном увещевания: — Не мигай так глазами, девушка! Можно подумать, что тебе предстоит сегодня бог знает какое страшное дело, а не пустяковая письменная работа. Ведь все у тебя в голове, и тебе остается только взять перо и написать ее. Чего тут волноваться и отказываться от такой хорошей, питательной каши?

Он самодовольно обозрел сызнава глубокую мудрость своих рассуждений и, вдруг разозленный нелепым, по его мнению, волнением Несси, резко спросил ее в упор:

— Какого черта ты трусишь? Или ты не моя дочь? Что во всем этом страшного, чтобы так бояться?

Несси подумала о высоком экзаменационном зале, в котором заскрипят два десятка перьев, азартно состязающихся между собой, представила себе безмолвную черную фигуру экзаменатора, сидящего на кафедре как строгий, всесильный судья, увидела себя самое, маленькую, незначительную, согнувшуюся фигурку, пишущую с лихорадочной быстротой. Но, пряча глаза, сказала поспешно:

— Я ничего не боюсь, папа. Может быть, меня немножко беспокоит поездка. А о «Лэтта» я совсем и не думаю. Они могли бы уже заранее объявить результат, чтобы остальным не надо было и трудиться ехать на экзамен.

Он опять широко улыбнулся ей и воскликнул:

— Вот это лучше! Теперь я узнаю свою дочь! Недаром же я тебя столько времени тренировал! Теперь, когда я тебя выпущу на круг, ты помчишься как стрела. — Он остановился, довольный этим сравнением, и оно смутно напомнило ему те дни, когда он в таком же веселом возбуждении, как сейчас, отправлялся на выставку скота.

— Я тебя сегодня вроде как на выставку веду, Несси, и горжусь тобой! Я заранее знаю, что ты вернешься с красным билетиком на шее. Моя дочь, Несси Броуди, — вот чье имя сегодня будет у всех на устах. Мы взбудоражим весь город. Клянусь Богом! Теперь они, встречая меня, будут глядеть на меня совсем другими глазами. Мы им покажем!

Он любовно, почти с восторгом посмотрел на Несси и сказал, помолчав:

— Господи, боже мой, я просто поражаюсь, как посмотрю на эту головку да подумаю, сколько в ней учености: тут и латынь, и французский язык, и математика, и бог знает что еще! А вся-то она не больше моего кулака. Да, правильно говорит пословица, что мал золотник, да дорог, не в величине дело, а в качестве. Большое удовлетворение для человека видеть, что его способности проявляются в дочери, и дать ей возможность показать себя. Когда я был в твоём возрасте, у меня такой возможности не было. — Он вздохнул из сочувствия к себе самому. — Нет. А между тем я бы далеко пошел, если бы мне ее дали. Но мне пришлось идти в люди и самому прокладывать себе дорогу. В те времена не было никаких стипендий, а были бы — так я бы себя показал!

Он поднял глаза на дочь и воскликнул уже другим, веселым тоном:

— Ну а с тобой будет иначе, Несси. Тебе дорога будет укатана. Об этом позабочусь я. Увидишь, что я сделаю для тебя, когда ты получишь «Лэтта». Я... я... буду подгонять тебя, и ты пойдешь так далеко, как только можно. — Он стукнул кулаком по столу и, победоносно глядя на Несси, закончил: — Разве ты не довольна тем, что я делал для тебя?

— Да, папа, — сказала тихо Несси. — Я... я очень довольна всем!

— Еще бы! Ни один человек в Ливенфорде не сделал бы для своего ребенка того, что сделал я для тебя. Смотри же, не забывай этого! Когда вернешься домой со стипендией, не возгордись! Помни, кому ты этим обязана!

Она боязливо покосилась на него и сказала тихо:

— Уж не думаешь ли ты, папа, что я принесу ее сегодня домой? Немало времени пройдет, раньше чем будет объявлен результат. Не меньше двух недель!

Лицо Броуди выразило неудовольствие, как будто Несси внезапно испортила ему всю радость.

— Опять ты за старое! Что означает вся эта болтовня о результатах? Думаешь, я ожидаю, что ты принесешь деньги домой в мешке? Я знаю, что они придут в свое время. И я за ними не гонюсь... Но что-то мне кажется, что ты начинаешь бояться, как бы они не ускользнули у тебя из рук.

— Вовсе нет, папа, — поспешно возразила Несси. — Я об этом и не думаю. Я только боялась, как бы ты не подумал, что мне уже сегодня будет, наверное, все известно.

— «Наверное», — повторил он медленно и с ударением. — Так, значит, ты еще не уверена?

— Да, да, — вскричала она, — твердо уверена! Я сама не знаю, что говорю, — это от волнения перед поездкой в университет.

— Не распускайся! — сказал он предостерегающе. — Помни, тебе шестнадцать лет, и если ты сейчас не научишься владеть собой, так уж никогда не сумеешь. Не теряй головы — вот что я тебе скажу... Взяла ты с собой то, что нужно: перо, и перочистку, и резинку, и все прочее?

— Я получу все, что нужно, на месте, — кратко объяснила Несси. — Для нас там все приготовлено.

— Вот как! Что ж, это хорошо, у тебя не будет отговорки, что ты забыла взять из дому перо. — Он посмотрел на часы: — Время идти на вокзал. Ты поела как следует?

Несси опять затошнило от волнения, но она прошептала:

— Да, папа.

Он встал и направился к подставке с трубками, самодовольно заметив:

— Ну, я свое дело сделал.

Когда он повернулся к ним спиной, Мэри шагнула к сестре и сказала вполголоса, почти на ухо Несси:

— Я провожу тебя на станцию, Несси, чтобы тебе было веселее, и усажу в вагон. Я не буду тебе надоедать разговором.

— Что такое? — крикнул Броуди, обернувшись с молниеносной быстротой. Он, к несчастью, слышал ее слова. — Ты пойдешь на вокзал, вот как? Очень любезно с твоей стороны! Ты уже опять суешься куда тебя не просят. «Сделаю то да сделаю это»! Начинаются телячьи нежности! Точь-в-точь как, бывало, твоя мать. Разве Несси не может пройти несколько шагов одна, ты должна вести ее на веревочке? — Его насмешливое фырканье перешло в рычание. — Говорил я тебе или нет, чтобы ты оставила мою Несси в покое? Никуда ты не пойдешь! И ничего для нее не сделаешь. Она пойдет одна. — Он повернулся к Несси. — Ты ведь не

хочешь, чтобы она тебе надоедала, правда, дочка?

Опустив глаза, Несси пробормотала, запинаясь:

— Нет, папа, раз ты не велишь.

Броуди опять посмотрел на Мэри, злобно и вызывающе:

— Слышишь? Ты ей не нужна. Не вмешивайся не в свое дело. Все, что нужно, сделаю я сам. Я сам сегодня принесу ей ее вещи. Эй, Несси, где твоя шляпа и пальто? Я сам провожу тебя из дому.

Он весь преисполнен был сознания той чести, которую оказывает дочери.

Несси молча указала на диван, где, вычищенная и выутюженная, лежала ее старенькая синяя шерстяная жакетка, которую она носила постоянно, единственная, которая у нее осталась, и соломенная шляпка, щеголявшая теперь новой шелковой лентой, купленной Мэри и нашитой ее же прилежными руками. Броуди поднял жакетку и шляпу, подал их Несси и так далеко простер свою любезность, что даже помог ей надеть жакетку. Несси стояла одетая, готовая к путешествию, — такая маленькая и невыразимо трогательная. Он похлопал ее по плечу и объявил с такой важностью, как будто одел ее всю собственными руками:

— Ну вот, теперь можно и в путь. Ты понимаешь ли, какая это честь, что я ради тебя не пошел сегодня на службу? Ну, пойдем, я тебя провожу до дверей.

Но Несси, видимо, уходить не хотелось. Она стояла, отвернув от него голову, и смотрела в любящие, темные глаза Мэри. Нижняя губа у нее немного опустилась, худые пальцы переплелись и нервно дрожали. Ее чистая кожа, с которой снова исчез появившийся было румянец, была бледна до прозрачности и, казалось, туго обтягивала миниатюрное личико. Бледность эта подчеркивалась золотом тонких волос, сегодня не заплетенных в косы и свободно падавших на плечи. Она стояла неподвижно, сознавая, что настал тот великий момент, к которому она стремилась, но ей не хочется встретить его лицом к лицу. Затем, словно забыв вдруг о присутствии отца, она подошла к Мэри и шепнула ей тихо, почти неслышно:

— Мне не хочется идти, Мэри. Мне опять что-то сжимает голову, как обручем. Лучше бы мне остаться дома.

Но тут же, не успев перевести дух, словно не сознавая, что произнесла только что эти слова, воскликнула громко:

— Я готова, папа. У меня все в полном порядке, и я готова идти.

Он внимательно посмотрел на нее, потом медленно отвел глаза.

— Ну так идем, да смотри у меня! О чем это ты шепталась с ней?

Довольно копаться, иначе опоздаешь на поезд.

— Не опоздаю, папа, — сказала она поспешно и отошла от Мэри, не взглянув на нее, словно и не слыша последнего ободряющего шепота сестры, обещания встретить ее на вокзале, когда она вернется. — Нет, нет! Не для того я работала целых шесть месяцев! Как ты можешь думать это? — Она откинула назад узкие плечи и, показывая свою готовность, торопливо пробежала мимо отца в переднюю, подошла к двери на улицу и широко ее распахнула. — Я ухожу, папа! — крикнула она громко и добавила, подражая ему: — А буду дома, когда приду.

— Да погоди ты минутку! — крикнул он, нахмурившись, и, тяжело ступая, двинулся вслед за ней. — Ведь я же сказал, что провожу тебя до дверей, сказал или нет? Что это на тебя нашло? Чего ты вдруг помчалась? — Он взглянул из-под косматых бровей в лицо Несси, затем, убедившись, что глаза ее весело блестят, воскликнул: — Вот молодчина, вижу, что тебе не терпится скорее попасть на экзамен. Я тебя настроил как следует. Теперь ты обязательно победишь!

Он хлопнул в ладоши, как делают, испугивая птиц:

— Ну, теперь беги и хорошенько на соли Грирсону.

— Можешь на меня положиться, — ответила она бойко. — Я ему так насолю, что он станет совсем просоленный.

— Ай да умница! — воскликнул он с восторгом, провожая ее глазами, пока она выходила за ворота и шла по улице.

Несси ни разу не оглянулась. Стоя у дверей и следя за ее легкой фигуркой, исчезающей вдаль, Броуди ощутил мощный прилив былой гордости. Ну и молодчина же у него дочка! Умница, каких мало, остра, как иголка, и эта иголка проколет Грирсона, как большой пузырь, так что из него выйдет весь воздух, как из лопнувшей волынки. А всем этим Несси обязана отцу. Он хорошо вытенировал ее, она рвется, как борзая на привязи, и вот сейчас ушла с огнем в глазах, который и его разогрел. А все оттого, что он, Броуди, воспитывал ее строго, вдохнул в нее часть того огня, который горел в нем самом, наполнил ее решимостью к победе. «Налегай, Несси!» — было его боевым кличем, и он дал более чем блестящие результаты. Она выйдет из школы со стипендией Лэтта. И опередит на сто миль этого Грирсона. Грирсон, может быть, даже окажется на последнем месте. Зло усмехаясь при этой утешительной мысли, он медленно повернулся, жадно втянул в себя чистый утренний воздух и, довольный тем, что он сегодня свободен, поднялся по ступеням и вошел в дом.

В передней он постоял без цели, воодушевление его несколько выдохлось: было только одиннадцать часов, впереди целый свободный

день, и он не знал, чем ему заняться. Постояв с минуту, вошел в кухню и, опустившись в свое кресло, сидел, искоса наблюдая за Мэри, которая сутилась на кухне. Она не сделала никакого замечания по поводу того, что он не пошел на службу, и, как всегда сдержанная и тихая, продолжала выполнять свои утренние обязанности. Но сегодня в озерах ее глаз залег еще больший мрак, и мрачная тень окружала их. Ее манера держать себя ничем не выдавала ее тайных мыслей. Броуди открыл было рот, чтобы заговорить с ней, сделать какое-нибудь язвительное замечание насчет того, что она не ровня Несси, приправив его колким намеком на ее прошлое. Но не сказал ничего, зная, что все его слова будут встречены тем же непроницаемым молчанием. Нет, он не будет говорить с ней. Пускай себе злится и молчит, сколько ей угодно, он знает, что скрывается за этим притворным равнодушием. Она добивается привязанности Несси, вмешивается, где только может, она стоит у него на дороге, из кожи лезет, чтобы при каждом удобном случае ловко мешать его целям. Ничего, подождем! Если только она хоть раз открыто выступит против него — этот день будет для нее роковым.

Незаметно наблюдая за плавными, грациозными движениями дочери, он по ассоциации внезапно вспомнил о другой женщине. О женщине, которую он любил так же сильно, как ненавидел эту, — о Нэнси, последней, разбудившей в нем страсть и даже душу, даже мечты. Но он крепко стиснул зубы и отогнал ее навязчивый образ, не желая, чтобы что-либо омрачило сегодняшний триумф. Он хотел думать только о Несси — о Несси, его утешении, которая сейчас сидит в поезде, повторяя мысленно те уроки, которые он заставлял ее так усердно заучивать, или, быть может, думая о последнем его напутствии. Он всегда предчувствовал, что этот день будет великим днем в его жизни, и теперь не хотел поддаваться гнетущим мыслям и решил поддерживать в себе то бодрое настроение, с которым встал сегодня утром. Надо выпить стаканчик — только чтобы немножечко встряхнуться.

С заблестевшими глазами он встал со своего места и отошел к буфету, отпер маленькое отделение слева, вынул заветную черную фляжку и стакан, всегда теперь стоявший рядом с нею наготове. Со стаканом в одной руке и бутылкой в другой он вернулся на место, налил себе виски и выпил, смакуя каждый глоток, держа его некоторое время на языке. Первая утренняя порция всегда доставляла ему больше наслаждения, чем все остальные, и сейчас она так приятно согрела ему глотку, что он не мог не выпить поскорее вторую. Первый стакан — за себя, второй — в честь Несси. Сейчас она уже не в поезде, если послушалась его указаний (а она,

несомненно, это сделала) и вышла в Портике. Она, вероятно, взбирается уже по крутому склону Джильморского холма к серому зданию университета, стоящему на его вершине. Это величественное здание, пропитанное дыханием науки, — подходящее место для испытаний на стипендию Лэтта, достойное того, чтобы в его стенах родилась слава Несси Броуди. До профессоров уже, может быть, дошла молва о ее способностях, так как вести о выдающихся учениках всегда распространяются, хотя бы и косвенным путем, в преподавательских кругах. А если и нет — Несси носит имя, которое они сразу отметят, которое послужит ей паспортом здесь и повсюду, где бы она ни очутилась.

Он выпил за университет, опять за Несси и, наконец, за фамилию Броуди.

Вот теперь у него стало веселее на душе! Сегодня виски производило на него иное действие, чем обычно, когда оно только глушило мрачное уныние. Сегодня к нему возвратилась веселость прежних дней — дней, когда он был на вершине благополучия. Он это чувствовал, возбуждение его все росло, и он уже мысленно искал ему выхода. Невообразимая скука для веселого человека — сидеть под хмурым взглядом всегда печальной дочери. Решив, что надо поискать развлечений вне дома, он подумал было, не пойти ли ему в контору, разумеется, не для того, чтобы работать, а так, неофициально, чтобы поболтать с этими двумя молокососами в его отделе и дать лишний щелчок в противный нос выскочке Блэру. Но по субботам в конторе работали полдня, так что они скоро уже кончат и уйдут домой, — кроме того, он чувствовал, что такое событие надо отпраздновать более подобающим образом, не в обстановке его ежедневной работы.

Поэтому он без сожаления отверг первоначальную идею, и скоро она окончательно исчезла из его головы — он потопил ее в новой порции «Горной росы».

...Роса! Роса на траве, зеленой траве, на лужайке для игры в шары. Ага! Вот это идея! Кто посмеет сказать, что знаменитая смесь Тичера, которую он всегда предпочитал другим напиткам, не вдохновляет на удачные мысли? Лицо его просветлело, когда он вспомнил, что летний турнир ливенфордского Крикетного клуба назначен сегодня на Уэлхоллском лугу, и он широко улыбнулся при мысли, что там будут все видные люди города, обязательно будут, начиная от маленького Джонни Пакстона и кончая самим господином мэром Грирсоном!

— Черт возьми! — пробормотал он, шлепнув себя по ляжке, совершенно так, как когда-то. — Вот это мысль! Я увижу там всех сразу и ткну им в нос стипендию Лэтта! Покажу, что мне они ничуть не страшны.

Давно пора мне опять напомнить о себе людям. Слишком долго я откладывал это.

Он для полноты удовольствия выпил еще стакан, затем, повысив голос, крикнул Мэри в посудную:

— Эй ты, там, поторопись с обедом! Мне он нужен поскорее! Я ухажу и сперва должен поесть. Но смотри, чтобы это была настоящая еда, а не такие помои, как те, которыми ты утром поила Несси.

— Твой обед готов, папа, — отвечала Мэри спокойно. — Ты можешь хоть сейчас сесть обедать, если хочешь.

— Хочу. Подавай скорее, вместо того чтобы стоять и пялить на меня глаза.

Мэри быстро накрыла на стол и подала обед. Но хотя он пришелся Броуди по вкусу и, несомненно, был бесконечно лучше, чем обеды, которые готовила ему Нэнси, Мэри не услышала от него ни похвалы, ни благодарности. Впрочем, он отдал честь всему, что она приготовила, и с аппетитом, вызванным виски, жадно жевал, занятый планами на сегодняшний день и размышлениями о Несси. Сейчас она уже, наверное, на экзамене, сидит, быстро исписывая страницу за страницей, тогда как другие, а в особенности юный Грирсон, грызут деревянные кончики своих перьев и завистливо посматривают на нее. Потом он представил себе, как она, исписав одну тетрадку, встает с места и с пылающим от гордости лицом подходит к кафедре, чтобы попросить у экзаменатора вторую. Она уже окончила одну тетрадку, первая из всех — Несси Броуди, его дочь, а этот олух Грирсон еще и половины не написал! Он тихонько хихикнул от удовольствия, что у него такая дочка, что Грирсон посрамлен ею, и с еще большим аппетитом принялся за еду.

До конца обеда мысли его текли главным образом в этом направлении, а окончив, он встал и опять принялся за виски, опустошив бутылку на радостях, что Несси, наверное, потребуется не две, а три тетради, чтобы показать профессорам свои обширные знания.

Было все еще слишком рано идти в Уэлхолл, так как он хотел подождать, пока там соберутся все видные люди города, к тому же он чувствовал, что еще не дошел до того беззаботно-восторженного состояния духа, которое необходимо было для задуманного выступления. Но когда в бутылке не осталось ни капли «Горной росы», он решил пуститься в путь и посидеть часок в «Уэлхоллском погребке», который находился по соседству с площадкой для игр. Таким образом, он вышел из дому и зашагал по улице уже не с тем сосредоточенно-угрюмым лицом и невидящим взглядом, с каким теперь всегда проходил по городу, а воодушевленный уверенностью

в успехе дочери, развязно, небрежно, словно приглашая всех смотреть на себя. Вначале он встречал мало прохожих, но, когда переходил Вокзальную улицу, он заметил на противоположном тротуаре полную собственного достоинства фигуру доктора Лори, который на этот раз не ехал, а шел пешком. Броуди тотчас перешел улицу и поздоровался с ним.

— Добрый день, доктор Лори! — крикнул он приветливо. В прежние времена он называл его просто Лори, и в его обращении любезности не бывало и следа. — Рад видеть вас.

— Здравствуйте, — ответил тот, подумав о своем неоплаченном счете и вкладывая в свое приветствие всю ту небольшую дозу сухости, на которую был способен.

— Очень кстати, что мы сегодня встретились, очень кстати. Знаете, что происходит в эту самую минуту?

Лори с некоторой опаской посмотрел на него и осторожно сказал:

— Нет.

— Пока мы с вами тут беседуем, моя Несси в университете получает стипендию Лэтта! — воскликнул Броуди. — Вот и оправдаются ваши слова. Помните, вы сказали мне, что такая голова, как у нее, бывает одна на тысячу?

— Как же, как же! — важно подхватил Лори уже несколько дружелюбнее. — Очень приятно это слышать. Получает «Лэтта». Это все-таки поддержка. Все-таки некоторый доход, не правда ли?

Он искоса поглядел на собеседника, рассчитывая, что тот поймет намек, затем вдруг уставился ему прямо в лицо и воскликнул:

— Получает, вы сказали? То есть ей уже присудили стипендию Лэтта?

— Все равно что присудили, — ответил самодовольно Броуди. — Она как раз сейчас экзаменуется, сию минуту. Я сегодня не пошел на службу, чтобы снарядить ее туда в самом лучшем виде. Она ушла с таким блеском в глазах, который обещает победу. Она заполнит три тетрадки, раньше чем сдать работу.

— Вот как! — снова уронил Лори и, как-то странно посмотрев на Броуди, незаметно отступил назад, говоря: — Ну, мне надо идти... Важный консилиум... А моя лошадь, как назло, потеряла подкову по дороге, и я опаздываю.

— Не уходите еще, доктор, — запротестовал Броуди, крепко беря за пуговицу смущенного Лори. — Я еще не рассказал вам и половины всего о моей дочке. Я ее не на шутку люблю, честное слово. По-своему люблю. Да, по-своему. Я много потрудился над ней за последние полгода.

— Пустите меня, пожалуйста, мистер Броуди, — воскликнул Лори,

пытаясь освободиться.

— Мы с Несси немало насиделись по ночам, — продолжал внушительно Броуди. — Пришлось уйму поработать, но, клянусь, стоило того!

— Послушайте, сэр, — крикнул Лори визгливым, негодующим голосом, вырвавшись наконец и оглядываясь, чтобы убедиться, не видел ли кто, как с ним фамильярничает субъект такого разбойничьего вида, — вы себе слишком много позволяете! Я этого не люблю! Прошу вас впредь так со мной не обращаться. — И, бросив последний оскорбленный взгляд на Броуди, надул щеки и торопливо пошел дальше.

Броуди с некоторым удивлением смотрел ему вслед. Он не находил в своем поведении ничего такого, что могло вызвать возмущение доктора Лори. Наконец, покачив головой, он продолжал путь и без дальнейших приключений добрался до надежной гавани «Уэлхоллского погребка». Здесь его не знали, и он до трех часов сидел молча, все время наполняя желудок виски, а воображение — картинами успехов дочери. В три часа он поднялся, надел шапку, решительно сжал губы и, пошатываясь, вышел на воздух.

До Уэлхоллского луга было рукой подать, он дошел до него, ни разу не споткнувшись, и вскоре оказался на огороженной площадке. Гладкий четырехугольник луга ярко зеленел на солнце, испещренный лишь темными фигурами игроков, расплывчато мелькавшими перед глазами Броуди. «Что это за игра для взрослых людей! — подумал он презрительно. — Катают несколько шаров по земле, как компания глупых ребятишек!» Взяли бы ружье, лошадь, как делал он когда-то в молодости, если уж хочется позабавиться и размяться.

Глаза его, не задерживаясь на зелени лужайки, торопливо отыскивали небольшую группу людей, сидевших на веранде павильона в дальнем конце площадки. Он усмехнулся с саркастическим удовлетворением, увидев, что, как он и предполагал, все «они» собрались здесь — от простака Джона Пакстона до его светлости господина мэра. Он весь подобрался и медленно направился к ним.

Сначала его не заметили, так как все их внимание было обращено на происходившую перед ними игру, но вдруг Пакстон поднял глаза, увидел его и ахнул от удивления:

— Вот чудеса-то! Посмотрите, кто идет!

Восклицание Пакстона сразу возбудило всеобщее внимание, и, следуя за его удивленным взглядом, все посмотрели на несуразную, важно шествовавшую фигуру. Посыпались восклицания:

— Господи помилуй! Да это Броуди! Я его не видел уже много месяцев!

— А важности сколько! Точно какой-нибудь лорд!

— Ого, вот и наш пьяный герцог собственной персоной.

— Посмотрите на его физиономию и на платье!

— А его здорово шатает!

Когда Броуди подошел близко, все замолчали, устремив глаза на лужайку, делая вид, что не замечают его, но Броуди, ничуть этим не смущенный, остановился перед ними, слегка покачиваясь, обводя всех насмешливым взглядом.

— Ах, как мы поглощены наблюдением за шариками! — фыркнул он. — Какое занимательное времяпрепровождение! Мы скоро начнем увлекаться игрой в мячик, как глупые девчонки. — Он сделал паузу и солидно осведомился: — Кто же выиграл, мэр? Не скажете ли вы мне, вы, высокий представитель города?

— Игра не кончена, — ответил Грирсон после минутного колебания и все еще не глядя на него. Злоба, которую он некогда питал к Броуди, испарилась с тех пор, как тот дошел до такого жалкого состояния. Кроме того, ведь он, Грирсон, был теперь мэром.

— Никто еще не выиграл, — добавил он мягче.

— Эта игра еще никем не выиграна, — повторил Броуди. — Так, так! Очень сожалею. Но я могу вам сообщить о другой игре, которая уже выиграна.

Он сверкающими глазами оглядел всех и, выведенный из себя их явным безучастием, закричал:

— Я говорю о стипендии Лэтта. Может быть, вы полагаете, что и то состязание не кончено, как эта дурацкая игра в шары? Но я вам говорю, что оно окончено, и победила моя Несси!

— Тише, Броуди, тише! — воскликнул Гордон, сидевший прямо против него. — Вы мне мешаете следить за игрой. Сядьте или отойдите в сторону и не орите нам прямо в уши.

— Где захочу, там и буду стоять. Ну-ка, сдвиньте меня с места, если можете, — возразил Броуди с опасными нотками в голосе. Затем протянул насмешливо: — Кто вы такой, чтобы командовать тут? Вы только отставной мэр, вы больше не повелитель, на вашем месте теперь наш дорогой друг Грирсон, и с ним я желаю говорить. — Он устремил иронический взгляд на Грирсона и обратился к нему: — Вы слышали, что я сказан о «Лэтта», мэр? Что это вы так вздрогнули? Ах, я и забыл, что ваш многообещающий сын тоже претендует на нее. Сын мэра Грирсона также

экзаменуется на стипендию. Боже! Да она, наверное, все равно что у него в кармане.

— Я этого никогда не говорил, — возразил Грирсон, невольно задетый за живое. — Пускай себе мальчик попытает счастья, хотя он, конечно, не нуждается в деньгах, чтобы продолжать учение.

Броуди даже зубами скрипнул при этом метком намеке и яростно напряг мозг, чтобы придумать уничтожающий ответ, но, как всегда при пикировке с Грирсоном, не мог найти подходящих выражений. Сознание, что он, только что сохранявший столь высокомерное равнодушие, единым словом сбит с позиции, бесило его. Чувствуя к тому же, что он не произвел на них того впечатления, какое ему хотелось, он дал волю гневу и закричал:

— А для чего же вы меня просили не пускать дочь экзаменоваться, если не для того, чтобы ваш щенок получил стипендию? Отвечайте, вы, жалкая свинья! Вы меня остановили на площади и просили не посылать Несси на экзамен.

— Тише! Не орите у меня над ухом, — холодно обрезал его Грирсон. — От вас так и разит спиртом. Я уже вам говорил, что просто пожалел вашу Несси. Один человек, который в этом деле понимает, просил меня переговорить с вами, и я теперь жалею, что послушался его.

— Вы лгун! — зарычал Броуди. — Проклятый сладкоречивый обманщик!

— Если вы пришли сюда, чтобы затеять со мной ссору, вам это не удастся, — возразил Грирсон. — Никакого обмана тут нет и никакого секрета тоже. Теперь, когда ваша дочь экзаменуется, я могу рассказать вам, что поговорить с вами меня просил доктор Ренвик.

— Ренвик? — недоверчиво воскликнул Броуди. Он остановился, осененный внезапной догадкой, и выпалил: — А, теперь я все понимаю! Это вы его на меня натравили. Он с вами заодно меня преследовал! Он ненавидит меня так же, как... как все вы! — Он, как слепой, взмахнул рукой. — Я знаю, все вы, завистники, против меня, но мне на это наплевать. Победа будет за мной, и я вас всех еще буду топтать ногами. Есть ли у кого из вас дочь, которая способна добиться стипендии Лэтта? Отвечайте мне.

— Получит ваша дочь стипендию или нет — нам-то какое до этого дело, черт возьми! — крикнул кто-то. — Получит — и на здоровье! А мне решительно все равно, кому эта стипендия достанется.

Броуди уставился на говорившего.

— Вам все равно? — повторил он с расстановкой. — Врете, вам не все равно. Вы лопнете от злости, когда Броуди получит «Лэтта».

— Ступайте-ка вы домой, ради бога, — сказал Гордон тихо. — Вы вне себя и несете чепуху. Вы сами не понимаете, что говорите.

— Пойду, когда захочу, — промямлил Броуди. Пьяное возбуждение внезапно его покинуло, ярость утихла, его больше не подмывало кинуться на Гирсона и разорвать того на части. И, видя на лицах окружающих только безучастие или отвращение, он проникся глубокой жалостью к самому себе. Он спрашивал себя, возможно ли, что это — те самые люди, которыми он верховодил когда-то, которым внушал почтительный страх. Они его никогда не любили, но он держал их в узде силой своей воли, а теперь они ускользнули из-под его власти. И его сочувствие к себе самому возросло до таких размеров, что почти готово было излиться в слезах.

— Я вижу, в чем тут дело, — мрачно пробормотал он, обращаясь ко всем вместе. — Вы воображаете, что я человек конченный. Теперь я уже для вас недостаточно хорош. Господи! Если бы это не было так смешно, я готов был бы заплакать. Подумать только, что такие, как вы, сидят здесь и смеют смотреть сверху вниз на меня — меня, человека такого высокого рода, что предки мои не захотели бы о вас и ноги обтереть.

Он по очереди оглядел всех, тщетно ища поощрения, хоть какого-нибудь признака, что слова его произвели впечатление. Но все же продолжал медленно, подавленно, неубедительным тоном:

— Не воображайте, что со мной кончено. Я опять начинаю идти в гору. Настоящего человека не сломишь — не сломите вы меня, как ни старайтесь. Подождите, увидите, чего добьется моя Несси. Это вам покажет, из какого теста сделаны Броуди. Вот за этим-то я и пришел сюда. Я вас и знать не хочу. Я только хотел вам сказать, что Несси Броуди получит «Лэтта», что это сделал я, и больше мне ничего не нужно.

Он обвел всех хмурым взглядом, и, так как все молчали и ему самому тоже нечего было больше сказать, он отступил. Сделав несколько шагов, остановился, обернулся, открыл было рот. Но слов не было, и он наконец поник головой, отвернулся и побрел прочь. Ему дали уйти, не послав вслед ни единого слова.

Уйдя с луга и шагая по дороге в горьких мыслях о нанесенном его гордости ударе, он неожиданно заметил вдали обеих дочерей, шедших со станции.

В каком-то тупом замешательстве он взгляделся в них, в Несси и Мэри Броуди, своих детей, словно необычная встреча на людях с ними обеими смутила его. Но сразу же сообразил, что Несси возвращается с экзамена, что Мэри ослушалась его и встретила сестру на вокзале. Ничего! С Мэри он расправится потом, а сейчас он жаждал узнать, как прошел экзамен,

жаждал утолить больно задетое тщеславие известием об успехе Несси. И, торопливо зашагав вперед, встретился с ними посреди улицы. Жадно пожирая глазами утомленное личико младшей дочери, он воскликнул:

— Ну, как дела, Несси? Скорее говори! Все благополучно?

— Да, — прошептала она. — Все благополучно.

— Сколько тетрадей ты написала? Две или три?

— Сколько тетрадей? — откликнулась она слабым эхом. — Только одну тетрадку, папа.

— Только одну тетрадку! Это за все время, что ты там просидела! — Он в удивлении воззрелся на нее, потом лицо его приняло жесткое выражение, и он спросил резко: — Что же ты молчишь, как немая? Не видишь, что я хочу знать все насчет стипендии? В последний раз спрашиваю: скажешь ты наконец, как выдержала экзамен?

Она сделала над собой громадное усилие, посмотрела на отца умоляющими глазами и с вымученной улыбкой на бледных губах воскликнула:

— Великолепно, папа! Мои дела великолепны. Лучше нельзя.

Он пытливо вглядывался в ее лицо, вспоминая, как вызывающе хвалился только что ее успехом, и наконец произнес медленно, странно сдавленным голосом:

— Надеюсь, что это так. Надеюсь! Потому что если нет, то, видит Бог, тебе плохо придется!

Прошла неделя после экзамена, наступила суббота.

В одиннадцатом часу утра Несси Броуди стояла у окна гостиной, глядя на дорогу в нетерпеливом ожидании, в тайном волнении, от которого глаза ее ширились и ярко блестели на маленьком личике, словно высматривая появление на пустой улице чего-то необычайного, потрясающего. Сознание, что она одна в комнате и никто за ней не наблюдает, способствовало свободному, несдержанному проявлению на ее лице тех чувств, которые она старательно скрывала всю прошедшую тревожную неделю.

Всю эту неделю отец был невыносим, переходя от нежности к угрожающему тону, пугавшему Несси до ужаса. Но она все покорно переносила, утешаясь сознанием, что ее тактика гораздо умнее, гораздо тоньше, чем его шумное хвастовство и угрозы. Несси верила, что стипендию отдадут ей, и эту неделю после экзамена ее уверенность росла с каждым днем. Не может быть, чтобы все ее труды, вынужденная зубрежка, все эти долгие часы терпеливого сидения в холодной гостиной остались неознагражденными. Несмотря на то чувство недовольства своей работой, с которым она вышла из университета после экзамена, уверенность к ней возвратилась, она считала, что стипендия уже, как выражался отец, у нее в кармане. Но все же оставалась еще возможность, слабая и нелогичная возможность провала. Это было немыслимо, невозможно, но на всякий случай Несси с инстинктивной хитростью приняла предосторожности. Оба — и отец и Мэри — были уверены, что результат экзаменов будет объявлен не раньше чем через неделю. Так она сказала им, и они ей поверили. Но она-то знала отлично, что извещение придет сегодня утром. Его она ожидала сейчас, потому что утреннюю почту из Глазго приносили всегда в одиннадцать часов, а в университете ей сказали, что о результатах испытаний каждому из экзаменовавшихся будет отправлено почтой извещение в пятницу вечером. Несси хитро усмехнулась при мысли о том, как ловко она всех обманула. Это была блестящая идея и смелая — вроде того неожиданного письма к Мэри, — и она ее сумела осуществить! Отец так подгонял, так угнетал ее подготовкой к этому экзамену, что ей нужно было теперь выиграть время, свободно вздохнуть, подумать обо всем на досуге. И вот ей это удалось. У нее будет впереди целая неделя, раньше чем он грозно потребует доказательств ее успеха, да, целая неделя на то, чтобы

поразмыслить и придумать, как ей спастись от кары в случае провала. Но она, конечно, не провалилась, она победила, и ей, наверное, не придется употребить каждую минуту в этой драгоценной неделе на придумывание предосторожностей против гнева отца. Вся неделя будет для нее неделей тайной радости, она будет хранить свой секрет до тех пор, пока наконец, не выдержав, неожиданно с торжеством прокричит его в ошеломленные уши отца и Мэри. Они ничего не будут знать, пока она, Несси, им не скажет. Никто не узнает, даже Мэри, которая так добра к ней, так любит ее. Пожалуй, Мэри следовало бы рассказать. Нет, это испортило бы всю затею. Когда придет время, Мэри узнает первая, а пока надо все хранить в тайне. Ни один человек не должен смотреть из-за ее плеча, когда она будет открывать извещение, она хочет в эту минуту быть одна, укрытая от взглядов, которые могут заметить, как дрожат ее руки, как сверкают глаза.

Глядя в окно, она вдруг встрепенулась, различив в конце улицы фигуру человека в синем — почтальона, который, обходя дома в обычном порядке, мог дойти до их дома не раньше чем через полчаса. Через полчаса она получит письмо, и, значит, надо, чтобы она была одна, чтобы ей никто не помешал. С трудом оторвала она глаза от фигуры вдали, невольно, почти машинально повернулась и пошла к дверям. Лицо ее изменило выражение, стало непроницаемым, потом медленно нахмурилось. Эта напускная мрачность еще усилилась, когда она вошла в кухню и, подойдя к Мэри, сказала устало, сжимая лоб рукой:

— Опять у меня эта головная боль, Мэри! И сегодня хуже, чем всегда.

Мэри с состраданием посмотрела на сестру:

— Бедняжка ты моя, как мне тебя жалко! А я уже думала, что ты избавилась от нее навсегда.

— Нет, нет! Она опять вернулась. Мне так больно. Дай мне поскорее порошок!

Из-под руки, которой она заслонила глаза, Несси наблюдала, как Мэри подошла к белой коробочке, всегда стоявшей на камине, как она открыла ее и, увидев, что коробка пуста, соболезнующе воскликнула:

— Ох, ни одного порошка не осталось! Какая досада! А я была уверена, что есть еще один или два.

— Ни одного? Но это ужасно! Я не могу обойтись без них. Голова у меня готова треснуть от боли. Мне нужно сейчас же принять порошок!

Мэри озабоченно посмотрела на опущенную голову сестры и сказала:

— Чем же тебе помочь? Хочешь компресс из холодной воды с уксусом?

— Я же тебе говорила, что он мне не помогает, — сердито настаивала

Несси. — Тебе придется сходить за порошками. Иди сию же минуту.

Лицо Мэри выразило смутное подозрение, и она сказала, помолчав:

— Я сейчас не могу уйти из дому, дорогая. Мне надо готовить обед. Приляг, я тебе потру лоб.

— Ступай за порошками! — закричала Несси. — Неужели ты не можешь сделать для меня такой пустяк, а еще твердишь всегда, что на все для меня готова! Боль не пройдет, пока я не приму порошок, ты же знаешь, что только это мне помогает!

После минутного колебания, во время которого она огорченно глядела на Несси, Мэри медленно взялась за тесемки своего фартука и еще медленнее развязала их.

— Ну хорошо, дорогая, я не могу видеть, как ты мучаешься. Схожу и попрошу, чтобы их сразу при мне приготовили.

И, уже выходя, прибавила успокоительно:

— Я в одну минуту слетаю. Полежи, пока я не вернусь.

Несси послушно легла на диван, говоря себе с внутренним удовлетворением, что эта минута продолжится целый час и она успеет получить письмо и прийти в себя, раньше чем Мэри доберется до города, дождется, пока в аптеке приготовят лекарство, и вернется домой.

Услышав, как за сестрой захлопнулась наружная дверь, она слабо усмехнулась. Эта улыбка опять разбила сдержанность, лицо ее снова приняло хитрое выражение, и она, вскочив, помчалась в гостиную.

Да, вот Мэри идет по дороге, спешит, бедненькая, за порошками, не зная, что в доме имеется еще целых два, спрятанных ею, Несси, в ящик комода. Вот она проходит мимо почтальона, не заметив, что он направляется к ней. А между тем у него сегодня есть в сумке кое-что такое, что принесет Несси больше облегчения, чем все порошки, которые может прописать Лори. Как он ползет! Это Дэн, старший из двух почтальонов, разносящих почту в их участке. Тот самый, который, бывало, приносил письма от Мэта и вручал их с многозначительной миной, восклицая:

— Судя по виду, что-то важное!

Но ни одно письмо от Мэта не было так важно, как то, которого она ожидает! Почему же Дэн не торопится?

Стоя у окна, она смутно почувствовала, что уже стояла раз в таком же вот волнении и ожидании у этого самого окна в гостиной. И без всякого усилия памяти сразу припомнила, что это было в день, когда мама получила телеграмму, так ее расстроившую.

Вспомнила, с каким трепетом радостного возбуждения держала она в руках оранжевую бумажку и как ловко она потом маневрировала, чтобы

убедиться, что бабушка ничего не заметила. Теперь она не боялась бабушки, уже полуслепой, почти совершенно глухой и выходившей из своей комнаты, только когда ее звали обедать или ужинать.

Дэн подходил все ближе, неторопливо переходя то на одну сторону улицы, то на другую, прихрамывая, как будто у него были мозоли на всех пальцах, и неся свою тяжелую сумку на согнутой спине, как носильщик. Как он ползет! Но странное дело — сейчас Несси уже не так страстно хотелось, чтобы он поторопился, наоборот, она хотела бы, чтобы он оставил ее письмо напоследок. Сегодня, кажется, все решительно на их улице получили письма, и все, как ей и хотелось, раньше, чем она. Интересно, получил ли уже извещение Джон Грирсон! Вот будет ему удовольствие! Она бы дорого дала, чтобы увидеть его вытянутую физиономию, когда он вскрыет конверт! А ей что-то сейчас уже совсем не хочется получить письмо! Она и так знает очень хорошо, что стипендия досталась ей. И не стоит возиться, вскрывая конверт, чтобы в этом убедиться. Некоторые конверты так трудно вскрывать!

Но вот Дэн действительно подошел к их дому, и Несси вся задрожала: ловя открытым ртом воздух, следила она, как Дэн проходил мимо калитки с беспечным видом, словно зная, что для Броуди писем быть не может. Но затем он вдруг остановился, повернул назад, и сердце Несси сильно подскочило, подкатилось к самому горлу.

Целая вечность прошла, раньше чем раздался звонок у дверей. Но в конце концов он прозвенел, и Несси волей-неволей пришлось оторваться от окна и пойти в переднюю — не так стремительно, как она когда-то, подпрыгивая, бежала за телеграммой, а медленно, со странным ощущением отрешенности от всего, — она как будто все еще стояла у окна и видела, как ее собственное тело медленно выходит из комнаты.

Письмо в длинном, твердом, внушительном на вид конверте с голубой печатью на обороте было уже у Дэна в руках, и глаза Несси приковались к нему. Она стояла в дверях, не видя улыбки, сморщившей рыжеватую, в синих венах щеку Дэна и обнажившей его желтые от табака зубы, почти не видя и самого старика-почтальона, только смутно слыша слова, которых она ожидала: «По письму сразу видно, что оно важное».

Письмо было уже у нее в руках, ее пальцы, казалось, ощущали сквозь конверт толстую шершавую бумагу, глаза уже видели ее собственное имя, написанное тонким почерком в самой середине белого листка. Она не помнила, сколько времени созерцала это имя, но, когда она подняла глаза, Дэна уже не было, а она и не поблагодарила его, ни слова ему не сказала! Взглянув на пустынную улицу, она почувствовала глухое раскаяние в своей

невежливости, сказала себе, что загладит ее каким-нибудь образом в другой раз — извинится перед Дэном или подарит ему табак на Рождество. А сейчас надо вскрыть конверт, который он ей вручил. Закрыв дверь, она повернулась и, решив, что ей незачем возвращаться в постылую гостиную, бесшумно прошла через переднюю в пустую кухню. Здесь она немедленно освободилась от письма, положив его на стол. Потом воротилась к двери, убедилась, что она плотно затворена, подошла и к двери в посудную, осмотрела ее таким же порядком и наконец, видимо убедившись окончательно в том, что она одна, подошла опять к столу и села.

Все произошло так, как она хотела, случилось именно так, как она мудро предвидела, и теперь она в одиночестве, скрыта от посторонних глаз, делать ей больше нечего, ждать нечего, остается только открыть письмо.

Она опять посмотрела на него, но не тем неподвижным взглядом, как тогда, когда брала его от Дэна, а с все растущим нервным возбуждением. Губы вдруг онемели, во рту пересохло, и она дрожала всем телом. Она видела не этот длинный белый конверт, а себя самое, вечно согнутую над книгой, в школе, дома, в экзаменационном зале университета, и всегда над ней склонялась массивная фигура отца, отбрасывавшая на нее и вокруг нее вечную тень. Письмо, казалось, как зеркало, отражало ее лицо, и это лицо говорило ей, что все, ради чего она трудилась, ради чего ее заставляли трудиться, вся цель ее жизни лежит здесь, на столе, вся она — в нескольких словах на листке бумаги, который скрыт в этом конверте.

На конверте стояло ее имя, и то же имя должно оказаться на этом скрытом внутри листке, иначе пропало даром все, что она делала, пропала вся жизнь. Она знала, что внутри — ее имя, единственное имя, которое всегда упоминалось в школе с одной только похвалой, имя победительницы, получившей стипендию Лэтта. И все же ей было страшно заглянуть в конверт.

Но это же просто смешно! Чего ей бояться собственного имени, которое, как всегда справедливо подчеркивал отец, было именем почтенным, благородным, которым она имела право гордиться? Она — Несси Броуди, обладательница стипендии! Все это предусмотрено много месяцев тому назад, все решено между нею и отцом. Господи, ведь она умница, самая способная девочка в Ливенфорде, первая девочка, получившая стипендию Лэтта, гордость семьи Броуди! Как во сне, рука ее протянулась к письму.

Как глупо, что ее пальцы дрожат, разрывая твердый конверт. И какие они худые, эти пальцы. Она не хотела, чтобы они открыли конверт, а они это сделали. Даже и в эту минуту они дрожат, сжимая листок.

Нет, должна же она посмотреть на свое имя — имя Несси Броуди! Уж конечно, ничего в этом нет неприятного — увидеть на минутку свое собственное имя. Время настало! Сердце ее внезапно забилося в нестерпимом безумном волнении. Она развернула листок и взглянула.

Имя, которое встретил ее меркнувший взор, не было ее именем. То было имя Грирсона. Джон Грирсон получил стипендию Лэтта!

Одну секунду она смотрела на бумагу, не понимая, затем глаза ее наполнились ужасом, и ужас этот рос, расширял ее зрачки до тех пор, пока слова не слились, исчезли совсем. Она сидела неподвижно, оцепенев, едва дыша, все еще сжимая в руке извещение, и в уши ей вливался поток слов, произносимых рычащим голосом отца. Она была одна в комнате, он — за милю отсюда, в конторе, но силой расстроенного воображения она отчетливо видела его перед собой, слышала его голос:

«Так Грирсон победил! Ты допустила, чтобы этот выскочка опередил тебя! Пускай бы хоть это был кто-нибудь другой, но Грирсон, сын этой мерзкой свиньи! И после того, как я всем твердил, что ты ее получишь! Это черт знает что такое, слышишь? Черт знает что такое! Ты безголовая идиотка, это после того, как я столько возился с тобой, заставлял работать. Боже! Я этого не перенесу. Я сверну твою тонкую шею!»

Несси глубже забилась в кресло, словно пытаюсь спрятаться от невидимо присутствующего здесь отца. В глазах ее по-прежнему застыл ужас, как будто отец наступал на нее, протянув свои громадные руки. Она не двинулась с места, даже губы не шевельнулись, но услышала свой жалобный крик:

— Я сделала все, что могла, папа. Я ничего больше не могла. Не трогай меня, папа!

«Все, что могла! — шипел он. — Но этого было недостаточно, чтобы одолеть Грирсона! А еще клялась, что „Лэтта“ у нее в кармане! Я опять опозорен; на этот раз благодаря тебе! Я с тобой рассчитаюсь за это! Говорил я, что тебе плохо придется, если провалишься!»

— Нет, нет, папа, — шептала она. — Я не думала, что провалюсь. Больше этого не будет, обещаю тебе! Ты ведь знаешь, что я всегда была впереди всего класса. Я всегда была твоей дочкой Несси. Ты не обидишь такую маленькую, как я. Я в другой раз выдержу экзамен лучше.

«Никакого другого раза не будет! — заорал он. — Я... я задушю тебя за то, что ты сделала мне!»

Он бросился на нее, и, зная, что он сейчас убьет ее, она вскрикнула, закрыв глаза, в безумном, невероятном испуге. Но вдруг тот обруч, что сжимал ей мозг последние утомительные месяцы зубрежки, лопнул, и она

ощутила чудесный покой и тишину.

Голову перестало давить, исчезли тиски, сжимавшие ее, исчез и страх, она была свободна. Она открыла глаза, увидела, что отца здесь больше нет, и улыбнулась беспечной, насмешливой улыбкой, игравшей в ее подвижных чертах, подобно солнечным зайчикам, и незаметно перешедшей в веселый смех. Смех был негромкий, но судорожный, слезы потекли по ее щекам, и все ее худенькое тело тряслось. Так она смеялась долго, потом веселость исчезла так же быстро, как пришла, слезы сразу высохли, и лицо ее приняло хитрое выражение. Несси не раздумывала больше, как давеча в гостиную: теперь какая-то сила внутри ясно указывала ей путь, думать было не нужно. Сжав губы в прямую линию, она осторожно, как какую-нибудь драгоценность, положила на стол письмо, которое все время держала в руках, и, встав с кресла, водила взглядом по комнате, вертя головой, как заводная кукла. Когда она перестала ею вертеть, по лицу пробежала улыбка, и, шепнув самой себе тихонько, ободряюще: «Что делаешь, делай как следует, милая Несси», она повернулась и на цыпочках вышла из кухни. Все с той же преувеличенной и безмолвной осторожностью она поднялась по лестнице, постояла, прислушиваясь, на площадке, затем, успокоенная, мелкими шажками пошла к себе в комнату. Здесь она без колебаний подошла к умывальнику, налила в таз холодной воды из кувшина и старательно умыла лицо и руки. Умывшись, вытерлась, натерев до блеска полотенцем свое бледное личико, затем, сняв старенькое серое платье из грубой шерсти, вынула из шкафа кашемировое, свой лучший наряд. Но и он ее, видимо, не вполне удовлетворил, так как она покачала головой и пробормотала:

— Это недостаточно красиво, Несси, милочка. Для такого случая нужно бы что-нибудь получше.

Однако она надела его все с той же неторопливой уверенностью движений, и лицо ее просветлело, когда она подняла руки к волосам. Расплела косы и несколькими быстрыми движениями щетки расчесала их, время от времени шепча одобрительно: «Мои чудные волосы, мои красивые, красивые волосы». Наконец, довольная тем, что расчесала до блеска массу тонких золотых волос, постояла перед зеркалом, оглядывая себя с рассеянной, загадочной улыбкой. Достала свое единственное украшение — нитку коралловых бус, подаренную когда-то матерью, чтобы загладить промах забывчивого Мэта, хотела было надеть их на шею, но вдруг отдернула руку, в которой держала бусы. «Они будут колоть», — прошептала она и осторожно положила их на стол.

Не теряя больше времени, она тихо вышла из комнаты, сошла вниз и в

передней надела свою жакетку и соломенную шляпку с красивой новой шелковой лентой, купленной и нашитой Мэри. Теперь она была готова к выходу, одета точно так, как в день экзамена. Но она не вышла из дому, а крадучись скользнула обратно в кухню.

Здесь она стала действовать быстрее. Ухватившись за спинку одного из тяжелых деревянных стульев, она передвинула его на середину кухни, потом притащила к стулу книги, лежавшие на шкафу, сложив их аккуратной и устойчивой кучкой, на которую полюбовалась с довольным видом, и поправила ее легкими и точными прикосновениями пальцев, доведя до полной симметрии. «Вот это аккуратно сделано, моя милая, — пробормотала она удовлетворенно. — Из тебя бы вышла отличная хозяйка». Говоря это, она стала пятиться назад, все еще любуясь своей работой, но когда дошла так до двери, повернулась и шмыгнула в посудную. Здесь, нагнувшись, порылась в бельевой корзине, стоявшей у окна, выпрямилась с радостным восклицанием и воротилась в кухню, неся что-то в руке. Это был обрывок тонкой веревки, на которой развешивали белье. Теперь движения ее стали еще торопливее. Проворные пальцы лихорадочно делали что-то с концом веревки. Она вскочила на стул и, стоя на книгах, привязала другой конец к железному крюку на потолке. Потом, не сходя со стула, взяла со стола письмо и приколотла его себе на грудь, бормоча: «Первая премия на выставке, Несси! Как жаль, что это не красный ярлычок». Наконец она осторожно просунула голову в петлю, завязанную ею, стараясь не сдвинуть шляпы, заботливо выпростала свои распущенные косы из петли и плотно надела ее на шею.

Все было готово. Она стояла, весело балансируя на баррикаде книг, как ребенок на построенном им из песка замке, и взгляд ее, жадно устремленный в окно, пытался проникнуть сквозь листву сиреневого куста. В то время как глаза ее искали далекое небо, заслоненное кустом, ее нога, упиравшаяся в спинку стула, оттолкнула его, и она повисла.

Крюк в потолке бешено завертелся в балке, куда он был вбит, но балка крепко держала его. Веревка натянулась, но не порвалась. Несси висела, дергаясь, как марионетка, на веревке, и тело ее, казалось, вытягивается, отчаянно тянется одной болтающейся в воздухе ногой, стремясь достигнуть пола, но не достигая его на один-единственный дюйм. Шляпка нелепо съехала на лоб, лицо постепенно темнело по мере того, как веревка врезывалась в тонкую белую шею. Глаза, такие ласковые, всегда умоляющие, голубые, как незабудки, затуманились болью и легким удивлением, потом медленно начали стекленеть. Ее губы вздулись, полиловели и раскрылись, челюсть отвисла, тонкая струйка пены тихо

потекла по подбородку. Она качалась взад и вперед, качалась в комнате, безмолвие которой нарушал только слабый шелест листьев сирени за окном. Но вот наконец тело в последний раз слабо вздрогнуло и замерло неподвижно.

В доме царило безмолвие — безмолвие смерти. Но после долгой тишины кто-то задвигался наверху и медленно, часто останавливаясь, стал спускаться по лестнице. Наконец дверь в кухню открылась, и вошла старая бабушка. Приближался час еды, и бабушку привлекло в кухню желание поджарить себе гренки помягче. Она ковыляла вперед, опустив голову, ничего не замечая, пока не наткнулась на тело Несси.

— Тсс, тсс, куда это я забрела? — пробормотала она и отступила, ошеломленно глядя полуслепыми глазами на висевшее тело, которое от толчка опять пришло в движение и тихо качнулось на нее. Лицо старухи подозрительно сморщилось, она вгляделась и вдруг раскрыла рот. Когда же тело мертвой девочки снова коснулось ее, она шарахнулась назад и завизжала:

— Ай! Боже милосердный! Что... что это? Она... Она...

Новый крик разорвал воздух. С бессвязным восклицанием она повернулась, поскорее выбралась из кухни и, распахнув настежь дверь на улицу, бросилась бежать, спотыкаясь, вон из дому. Она пробежала так через двор на улицу и, готовая бежать дальше, столкнулась вдруг с Мэри, почти упала ей на руки. Мэри вгляделась в нее с некоторым испугом и воскликнула:

— Что случилось, бабушка? Вы заболели?

Старуха уставилась на нее. Лицо ее дергалось, впалый рот судорожно гримасничал, язык не слушался.

— Что такое с вами, бабушка? — повторила Мэри в удивлении. — Вы нездоровы?

— Там... Там... — бормотала старуха как безумная, указывая негнущейся рукой на дом. — Там... Несси! Несси там! Она... она повесилась в кухне!

Мэри быстрым, как молния, взглядом посмотрела на дом, увидела открытую дверь. С криком ужаса бросилась она мимо старухи, все еще держа в руке белую коробочку с порошками от головной боли, взбежала по ступеням, промчалась через переднюю на кухню.

— Боже! — вскрикнула она. — Моя Несси!

Она уронила коробочку с порошками, рывком выдвинула ящик кухонного шкафа и, схватив нож, изо всех сил ударила им по натянутой веревке. Веревка в ту же секунду разорвалась, и еще теплое тело Несси

беззвучно свалилось на Мэри и соскользнуло на пол.

— Господи! — крикнула Мэри снова. — Спаси ее для меня! Мы с ней одни на свете. Не дай ей умереть!

Обхватив руками мертвую сестру, она уложила ее на пол и, упав на колени, дрожащими руками принялась распутывать веревку, впившуюся в распухшую шею, пока наконец не развязала петлю. Она колотила Несси по рукам, терла ей лоб, испуская бессвязные крики, заглушенные рыданиями:

— Скажи мне хоть слово, Несси! Я люблю тебя, родная моя сестренка! Не покидай меня.

Но никакого ответа не было из этих раскрытых, безжизненных губ, и в муке отчаяния Мэри вскочила на ноги и бросилась на улицу. Дико озираясь вокруг, она увидела мальчика на велосипеде, ехавшего мимо.

— Стойте! — закричала она, неистово размахивая руками. И когда он подъехал к ней, удивленный, она прижала руки к груди и прокричала, задыхаясь:

— Поезжайте за доктором! За доктором Ренвиком! Скорее! Сестра моя больна! Скорее, скорее!

Подогнав его последним криком, она побежала обратно в дом, налила воды и, опять став на колени, подняла Несси, обняв ее за плечи, смочила ей распухшие губы, пыталась влить ей воду в рот. Потом, подложив под валившуюся назад голову подушку, брызнула водой в потемневшее лицо, бормоча разбитым голосом:

— Скажи же мне что-нибудь, Несси! Я хочу, чтобы ты была жива! Хочу, чтобы ты была жива! Я бы никогда тебя не покинула. Зачем, зачем ты меня услала?!

Смочив Несси лицо и не зная, что еще можно сделать, она стояла на коленях над распростертым на полу телом, слезы текли по ее лицу, она ломала руки как безумная.

За все еще открытой дверью послышались торопливые шаги, и в кухню вошел Ренвик. Сперва он не заметил тела Несси, заслоненного стоявшей на коленях Мэри, и, видя только последнюю, остановился, громко окликая ее:

— Мэри! Что случилось?

Но, ступив шаг вперед и опустив глаза, он увидел на полу Несси и вмиг стал на колени рядом с Мэри. Руки его быстро задвигались по мертвому телу, а Мэри смотрела на него безмолвно, с мукой во взгляде. Через минуту доктор поднял глаза и, глядя на нее через труп сестры, сказал медленно:

— Встаньте, Мэри! Дайте мне положить ее на диван.

Теперь она по его голосу поняла, что Несси мертва, и, пока он поднимал тело на диван, она встала, губы ее дергались, сердце билось так, что казалось, оно разорвет грудь.

— Я виновата! — прошептала она обрывающимся голосом. — Я вышла, чтобы принести ей порошки.

Ренвик повернулся к ней от дивана и нежно посмотрел на нее:

— Вы ни в чем не виноваты, Мэри. Вы все для нее сделали, что могли.

— Зачем она это сделала? — простонала она. — Я так ее любила. Я хотела ее уберечь.

— Я знаю. Бедная девочка, должно быть, сошла с ума, — сказал он грустно. — Бедный, запуганный ребенок!

— Я бы для нее на все пошла, — прошептала Мэри. — Я бы за нее жизнь отдала.

Он смотрел на нее, на это бледное лицо, убитое горем, думая о ее прошлом, о ее новом несчастье, о серой безнадежности ее будущего. И, глядя в глаза, полные слез, чувствовал, как поднимается в нем всепоглощающая волна нежности. Подобно источнику, много лет скрытому глубоко под землей и внезапно хлынувшему на поверхность, чувство это затопило его бурным потоком. Сердце его болело за Мэри, и, охваченный внезапно сознанием, что он не может больше ее оставить, он подошел к ней, говоря тихим голосом:

— Мэри! Не плачьте, дорогая! Я люблю вас.

Она посмотрела на него сквозь слезы, как слепая. Он подошел еще ближе, и в тот же миг она очутилась в его объятиях.

— Я не оставляю тебя здесь, дорогая, — шептал он. — Ты пойдешь со мной. Я хочу, чтобы ты была моей женой.

Он утешал ее, рыдавшую у него на груди, говоря ей о том, что полюбил ее, должно быть, с того часа, когда впервые увидел, но сам не знал этого до сих пор.

Вдруг в кухне раздался громкий голос, обрушившийся на них с невероятной свирепой силой.

— Проклятье! Это еще что значит? В моем доме!

Это был Броуди. Стоя на пороге и не видя дивана, заслоненного створкой открытой двери, он смотрел на Ренвика, обнимавшего Мэри, и глаза его от бешенства и изумления готовы были выскочить из орбит.

— Ах, так вот кто твой любовник! — крикнул он грубо, входя в кухню. — Вот откуда тот роскошный черный виноград! Клянусь Богом, мне не приходило в голову, что твой любовник этот... этот господин.

При этих словах Мэри дрогнула и хотела отойти от Ренвика, но он

удержал ее и, продолжая обнимать одной рукой, пристально смотрел на Броуди.

— Нечего бросать на меня величественные взгляды! — проворчал Броуди с коротким злобным смехом. — Вы мне глаза не замажете. Теперь вы у меня в руках. Один из столпов общества в нашем городе приходит к человеку в дом и превращает его в публичный дом!

В ответ Ренвик сурово выпрямился, медленно поднял руку и указал на диван.

— Вы перед лицом смерти, — сказал он.

Глаза Броуди невольно опустились под его холодным взглядом.

— Ошалели вы, что ли? Все вы здесь шальные! — пробурчал он. Но повернулся туда, куда указывал палец Ренвика, и, увидев тело Несси, вздрогнул, шагнул вперед. — Что... Что это? — дико закричал он. — Несси! Несси!

Ренвик увлек Мэри к дверям и, прижимая ее к себе, остановился и сказал сурово:

— Несси повесилась, потому что она не получила стипендии, и вы — виновник ее смерти.

Затем он увел Мэри из кухни, и они вместе вышли на улицу.

Броуди не слышал, как они уходили. Ошеломленный последними словами Ренвика и странной неподвижностью лежавшего перед ним тела, он пробормотал:

— Они хотят меня запугать! Проснись, Несси! Это твой отец говорит с тобой. Да ну же, доченька, вставай!

Нерешительно протянув руку, чтобы разбудить Несси, он заметил бумагу на ее груди. Схватив ее, оторвал от платья, к которому она была приколота, и трясущейся рукой поднес к глазам.

— Гирсон! — прошептал он сдавленным голосом. — Гирсон получил ее. Она провалилась!..

Бумага упала из рук, и взгляд его невольно остановился на шее Несси, окруженной багровым рубцом. Но и теперь еще он не верил. Он опять дотронулся до ее неподвижного тела, и лицо его стало таким же багровым, как рубец на белой коже мертвой.

— Боже! — пробормотал он. — Она... Она повесилась...

Он прикрыл глаза руками, словно не в силах вынести это зрелище.

— Боже! Она... она... — И потом, задыхаясь, ловя ртом воздух: — Я любил мою Несси...

Тяжелый стон вырвался из его груди. Качаясь, как пьяный, он слепо пятился от мертвого тела и, не сознавая ничего, упал на стул. Взрыв

рыданий без слез потряс его, разрывая грудь острой болью. Опустив голову на руки, он сидел так, одержимый одной мучительной мыслью, сквозь которую пробивались, однако, и другие, бесконечный поток образов, скользивших мимо центральной фигуры — его мертвой дочери, как процессия призраков вокруг трупа на катафалке.

Он видел сына и Нэнси вместе под ярким солнцем, видел поникшую фигуру и робко склоненную набок голову жены, насмешливое лицо Грирсона, издевающегося над его горем, Ренвика, обнимавшего Мэри, смелого молодого Фойля, давшего ему когда-то отпор у него в конторе. Видел раболепного Перри, Блэра, Пакстона, Гордона, даже Дрона. Все они безмолвно проходили перед его закрытыми глазами, отвернувшись от него, осуждая его, и грустно смотрели на тело его Несси, лежавшее на катафалке. Не в силах больше терпеть пытку этих видений, он поднял голову, отнял от глаз руки и искоса поглядел на диван.

Сразу же ему бросилась в глаза худенькая рука мертвой, свисавшая с края дивана, вялая, неподвижная. Восковые пальцы, маленькая ладонь. С содроганием поднял он глаза выше и, как слепой, посмотрел в окно. В это время дверь медленно отворилась, и в кухню вошла его мать. Ее недавний ужас уже испарился из одряхлевшей памяти, и все печальное событие затерялось в дебрях слабоумного мозга. Доковыляв до своего обычного места, она села против сына. Ее полуслепые глаза искали его глаза, она старалась угадать его настроение. Наконец, приняв его молчание за хороший знак, она прошамкала:

— Пожалуй, пойду поджарю себе кусочек мягкой булки.

И встала, не помня ничего, кроме собственных нужд, поплелась в посудную, потом, воротившись, села у камина и принялась жарить принесенный ею ломтик булки.

— Я смогу макать его в суп, — бормотала она про себя, жуя губами. — Тогда мне легче будет съесть его.

Потом, снова бросив взгляд на сына через разделявший их камин, она наконец заметила его странный вид, голова ее встревоженно затряслась, и она воскликнула:

— Ты не сердишься на меня, Джемс, нет? Я только поджарю себе славный, мягкий ломтик булки. Ты знаешь, как я люблю гренки. Я и тебе приготовлю, если хочешь.

И она захихикала, робко, заискивающе, бессмысленным старческим смехом, который нарушил жуткое безмолвие в комнате. Но сын не отвечал и по-прежнему, как окаменелый, смотрел в окно, за которым теплый летний ветер шелестел в редкой листве кустов, окаймлявших сад.

Ветер усилился. Он поиграл ветками смородинных кустов, поднялся выше, нежной лаской коснулся листьев трех высоких, тихих, серебристых берез, осыпая их мерцанием света и тени, потом, неожиданно налетев на дом, точно набрался от него холода и поскорее умчался назад, к прекрасным холмам Уинтона.

~

A. J. Cronin

HATTER'S CASTLE

Copyright © A. J. Cronin, 1931

All rights reserved

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство Иностранка®

notes

Примечания

1

Кличка ирландцев в Англии (уменьшительное от распространенного имени Патрик).

Давид Ливингстон — миссионер и исследователь Африки.

Стинго — крепкое пиво.

4

Смесь виски, горячей воды и сахара.

Так называют в Англии день 1 апреля.

Обет воздержания от спиртных напитков.

Голландский джин.

Майдан — в Южной и Восточной Азии площадь для военных учений или базаров и место публичного гулянья.

Удар сразу по двум шарам противника.

10

Музыкальный инструмент вроде аккордеона.

Берсеркеры — по преданию, норвежские воины, сражавшиеся с безумной яростью.